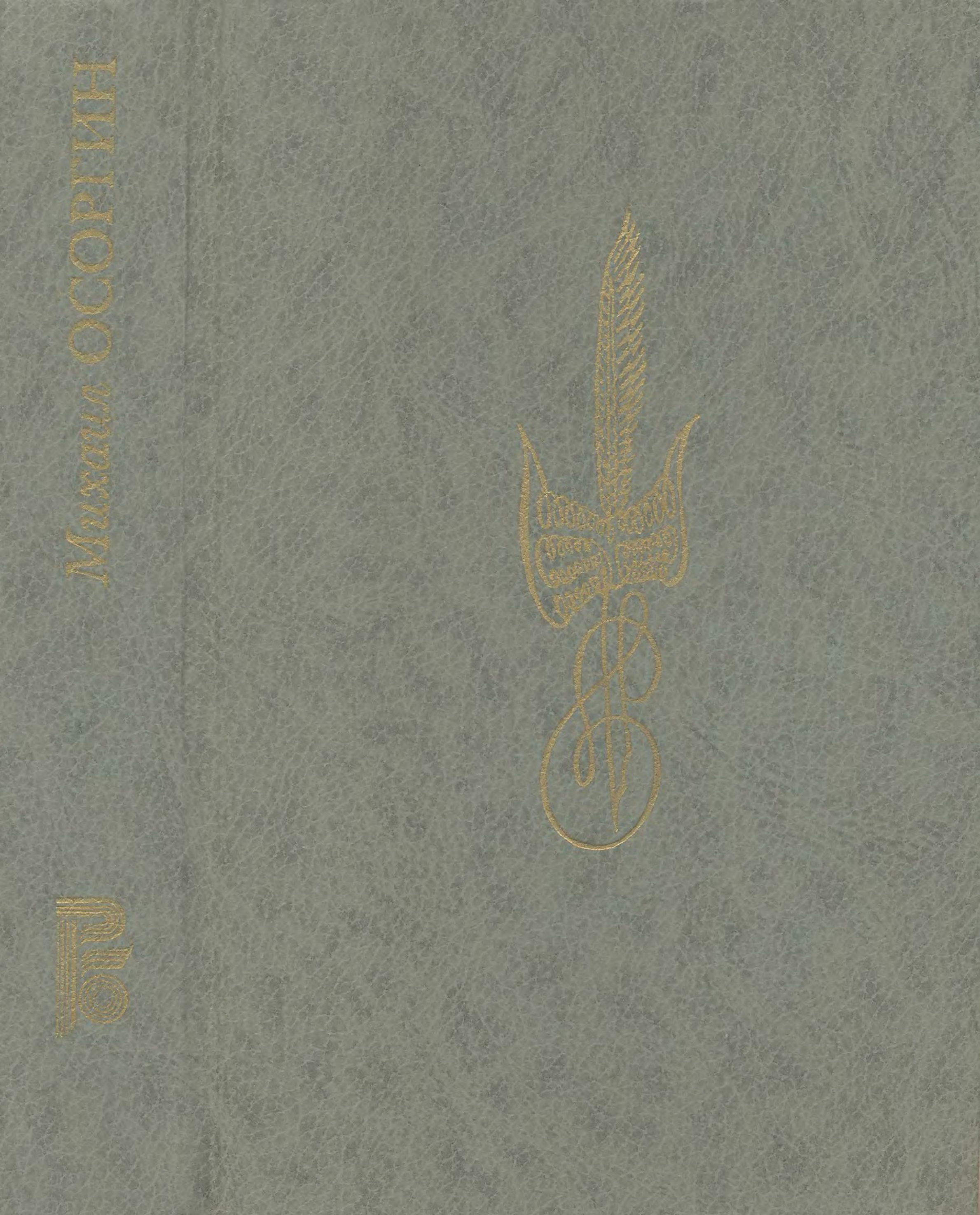
Михаил Осоргин



Михаил Осоргин

Русская библиотека 1900 · 2000


Михаил Осоргин


Русская
библиотека
1900·2000



Михаил ОСОРГИН

собрание сочинений

Михаил
ОСОРГИН



собрание сочинений

том 1

СИВЦЕВ ВРАЖЕК
роман
ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ

РАССКАЗЫ

том 2

СТАРИННЫЕ РАССКАЗЫ



Михаил ОСОРГИН



собрание сочинений

том 1





МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ • НПК "ИНТЕЛВАК"

1999

УДК 82 Осоргин 2
ББК 84 Р
О-75

Художник
Е. Б. Чупрыгин

ISBN 5-239-01984-3 (т.1)
ISBN 5-239-01983-5
ISBN 5-93264-002-2 (т.1)
ISBN 5-93264-004-9

«ЛУЧШИЕ НА СВЕТЕ КНИГИ НАПИСАНЫ БОЛЬШИМИ СЕРДЦАМИ...»

Святая Юлиания Лазаревская (умерла в 1604 году)– муромская помещица Ульяна Устиновна Осорьгина, одна из героинь книги В. О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» – раздала все свое имущество нищим. При царе Борисе, в жестокие голодные годы, она дошла до крайней нищеты, но и тогда ее окружали нуждающиеся «без числа». И когда стали укорять их: «Она сама помирает с голоду», – выяснилось, что хлеб печется Юлианией из лебеды, но имеет вкус необыкновенный. Георгий Федотов называл ее «святой православной интеллигенции», образцом христианской любви.

Духовный облик и даже жизнь Юлиании странным образом перекликаются с судьбой ее далекого потомка Михаила Андреевича Осоргина, хоть и называвшего себя безбожником, но высланного из страны за деятельное участие в Комитете помощи голодающим.

Ирина Николаевна Угримова, близко знавшая Осоргина, рассказывала: «Когда в Париже стало известно, что за роман «Сивцев Вражек» он получил в Америке премию, у него буквально не было отбоя от «стрелков» – профессиональных нищих. Как-то раз, – я была у Осоргиных в квартире, – раздался звонок в дверь. Михаил Андреевич пошел открыть, и я спросила: «Кто это был?» Он говорит: «Опять стрелок». И рассказал, что, оказывается, эти «стрелки» перепродавали друг другу адреса людей, где можно что-то получить. Михаил Андреевич об этом знал. Тогда я его спросила: «Зачем же вы даете?» – а он ответил очень серьезно: «Нельзя не помочь тому, кто об этом просит».

В жизни Осоргина было немало трагических поворотов, он не раз попадал под безжалостные «колеса

истории», – но всегда поднимался, с достоинством перенося испытания, посылаемые судьбой. Недаром, поминая его, прежде всего говорили о его духовной высоте: «порядочный», «один из немногих джентльменов в Париже», «воспитанная душа», «последний рыцарь духовного ордена русской интеллигенции». С полным правом Осоргин мог сказать о себе: «Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли независимой, в сущности, довольно ленивого и не заслужившего такого внимания, – я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил себя малодушным, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было»[1].

* * *

«Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого»[2], – писал Осоргин.

Он родился 7 октября 1878 года в Перми, принадлежал к родовитой, но обедневшей дворянской семье. Бабушка писателя со стороны отца, Андрея Федоровича Ильина, была урожденная Осоргина. С 1907 года фамилия эта стала псевдонимом Михаила Ильина, сдвоилась с собственной фамилией, а затем в документах заменила ее. (На могильном камне в Шабри – двойная фамилия, Михаил Андреевич Ильин-Осоргин.) С трогательной любовью писал он о Каме («не красота – душа растворенная»), о тихих улицах родного города, об умных и добрых родителях, о «минутах счастья», которых так много в воспоминаниях о детстве.

Мальчику было двенадцать лет, когда умер отец. Рано пришли самостоятельность, осознание необходимости знаний, увлеченность литературой. Еще гимназистом он начал печататься в пермских газетах. Его первый рассказ был опубликован в «Журнале для всех» под неслучайным псевдонимом «М. Пермяк».

[1] *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 137.
[2] Там же. С. 12.

В 1897 году юноша поступил в Московский университет. С первого взгляда он полюбил Москву: писал о своем «московском гражданстве», об особом «московском чувстве», когда замираешь от «музыкального перечня московских улиц», – недаром первый роман Осоргина назван «Сивцев Вражек».

Не испугался бедности, жил на литературные заработки: был фельетонистом и хроникером пермских газет, газетным секретарем и редактором.

С 1902 года началась адвокатская практика – постижение быта, нравов, экономической подоплеки московской жизни. Михаил Ильин – помощник присяжного поверенного Московской судебной палаты, присяжный стряпчий при Коммерческом суде, опекун при сиротских судах, юрисконсульт Общества купеческих приказчиков, член Общества попечительства о бедных – считал свою работу «не доходной, но веселой». В те годы он написал книжку «О вознаграждении за несчастные случаи» и единственное в жизни стихотворение «Молитва социал-демократа», неожиданно для автора ставшее широко известным.

Молодость совпала с годами брожения общества. О своей роли в революционном движении Осоргин писал просто: «Был в революции незначащей пешкой, рядовым взволнованным интеллигентом»[1]. Однако же был увлечен романтикой революционной борьбы, написал десятки воззваний, хранил типографский шрифт и оружие, укрывал беглых. На его квартире была явка, заседал комитет партии эсеров. «Помнится, и тов. Ленин, под кличкой Вл. Ильин, оказал честь моей квартире»[2], – не без иронии рассказывал он позже.

Он на деле убедился в душевной чистоте и жертвенности героев 1905 года, вступивших в бой с неравными силами. Не понаслышке писал Осоргин в романной дилогии «Свидетель истории» и «Книга о концах» о трагических страницах истории русского террора. Среди его друзей в то время были и бежавший из Сибири Николай Иванович (Петр Андреевич Куликовский), вместе с Каляевым и Савинковым участвовавший в покушении на великого князя Сергея Александровича, а позже убивший московского градоначальника Шувалова; и Владимир Мазурин, мечтавший об учительской работе, но ставший организатором жестокого «экса» Кредитного общества

---

[1] *Осоргин Мих.* Девятьсот пятый год (к юбилею) // Современные записки. Париж, 1930. № 44. С. 268.

[2] *Осоргин Мих.* Николай Иванович // На чужой стороне. Берлин–Прага, 1923. № 3. С. 91.

и казненный в 1906 году; и Всеволод Владимирович Лебединцев (Кальвино), «пылкий альтруист», принимавший участие в покушении на министра Щегловитова, выданный Евно Азефом и тоже казненный.

«Какая путаница для историков – какой материал для романистов»[1], – писал Осоргин. Он пытался разобраться в том, «как геройствовали и как трусили, как умирали и как мальчишествовали, как были правы и как ошибались». Позже не отрекался от своих молодых увлечений, но был глубоко разочарован, «чувствовал тяжесть на плечах», груз ответственности – с удивлением писал об опрометчивой легкости, с которой и он сам, и его соратники судили тогда о благе народа.

В декабре 1905 года Михаил Ильин оказался в Таганской тюрьме. Ожидая смертного приговора, сохранял бодрость духа, старался работать: писал дневник, впоследствии опубликованный, переводил с французского книгу Э. Долеанса «Роберт Оуэн». Через полгода чудом вышел на свободу: следователь выпустил под залог, а жандармерия, уже приготовившая его к пятилетней ссылке, не сразу спохватилась. Бежал в Финляндию, оттуда – в Италию.

* * *

В Италии он поселился в местечке Сори близ Генуи, где на вилле «Мария» образовалась эмигрантская коммуна. «Великая красота Средиземного моря – жидкая лазурь в малахитовой оправе, с оторочкой жемчужной пены <...>. А мы занимались статистикой безлошадных, Лавровым, Михайловским и параллелями между православием и социал-демократией»[2].

Просуществовав около двух лет, коммуна распалась. Осоргин отошел от эмигрантских кругов и, как это было в его жизни не раз, оказался в оппозиции. Е. А. Ляцкий писал об Осоргине Горькому 7 октября 1912 года: «В эмигрантской среде против него существует какое-то предубеждение»[3]. Неприязнь была взаимной. «Какая жалкая картина! <...> Инциденты, оппозиции, контроппозиции, товарищеские суды, товарищеские сплетни, протоколы о нравственности, разоблачение предателей. <...> Гнилье, гнилье, гнилой воздух, ужасная зараза! <...> За границей

---

[1] *Осоргин Мих.* Девятьсот пятый год // Современные записки. 1930. № 44. С. 299.

[2] *Осоргин Мих.* Венок памяти малых // На чужой стороне. 1924. № 6. С. 193.

[3] Литературное наследство. Т. 95. С. 505.

я держусь подальше от них»[1], – такова жесткая характеристика, данная Осоргиным русской эмигрантской среде, которую он даже сравнивал с тюремной.

Италия не стала для него музеем – и это отличало его от большинства русских эмигрантов, замкнувшихся в своих узких кружках. Он влюбился в эту страну, проникся ее жизнью, оценил высокую душевную культуру, артистический вкус итальянцев. «И откуда они брали эту приветливость и тонкость общения, – удивлялся он, – эту внимательность подхода к чужому и не всегда понятному им душевному надрыву?»[2]

Осоргин стал постоянным корреспондентом популярной газеты «Русские ведомости», в которой, из номера в номер ведя летопись жизни Италии, опубликовал более четырехсот статей. Затем написал книгу «Очерки современной Италии» (1913). Вспоминая прошлое, утверждал, что был в Италии счастлив, хотя счастья своего не ценил: «Любя, – да еще как любя! – клял свою голубую тюрьму»[3].

Постоянность мыслей о России, «устремленность на северо-восток» отразилась в резкой полемике Осоргина с М. Горьким, относящейся к 1913 году. Горький, руководствуясь сиюминутными политическими увлечениями, говорил «об отсутствии у русских чувства родины», называл тоску по родине чувством животным, ссылался на мнение своих земляков, обосновавшихся во Франции и говоривших: «А ну ее, вашу Россию!»[4] Осоргин отвечал ему: «У нас в России многого боятся: например – слова «патриот» <...>. Я сам русский, но тоскую так, как не пожелал бы тосковать никому другому. Может быть, чувство это и не высокого калибра, даже и вправду животное, но дела это не меняет. Да и неправда, не низкое оно, как не низко чувство любви к матери»[5].

* * *

В августе 1916 года в «Русских ведомостях» была опубликована статья Осоргина «Дым отечества», вызвавшая поток писем читателей, приветствовавших его

---

[1] *Осоргин Мих.* Призраки: Три повести. М., 1917. С. 18.
[2] *Осоргин Мих.* Там, где был счастлив: Рассказы. Париж, 1928. С. 24.
[3] *Осоргин Мих.* Из маленького домика. <Рига>, 1921.
[4] *Осоргин М. А.* Русская эмиграция и «римский съезд» // Вестник Европы. 1913. № 7. С. 298; Письмо М. Горького к М. Осоргину. Конец марта 1913 г. // Архив М. Горького (Москва).
[5] Письма М. Осоргина к М. Горькому от 18 и 25 марта 1913 г. // Архив М. Горького.

возвращение домой. Он приехал в Петроград кружным путем – через Францию, Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Заступничество депутата Государственной думы В. А. Маклакова спасло от нового ареста, но жил он все-таки на полулегальном положении. Это, впрочем, не помешало отправиться в путешествие по Волге, побывать в Перми на открытии университета, съездить на Западный фронт.

Февральская революция застала Осоргина в Москве. «Человеческая река на Тверской улице, – вспоминал он, – день общего сияния, красных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день»[1].

Осоргин сотрудничал в журнале «Голос минувшего», в газетах «Народный социалист», «Луч правды», «Родина», «Власть народа», редактировал литературное приложение к последней – «Понедельник». В эти годы в полной мере проявились общественный темперамент Осоргина, его организаторские способности. Мало кто помнит теперь, что именно Осоргин создал Всероссийский союз журналистов и стал его первым председателем. В Московском отделении Союза писателей он был товарищем председателя, написал первый устав Союза (совместно с М. О. Гершензоном).

В московском писательском кооперативном издательстве «Задруга» вышло несколько книг Осоргина, в том числе две беллетристических – «Призраки» (1917) и «Сказки и несказки» (1918). Страсти и намеки, туманность и манерность «Призраков» были этапом пути писателя, оказавшегося в круговороте литературных влияний. Позже Осоргин не хотел даже вспоминать об этих книгах.

Тогда же была написана документальная работа «Охранное отделение и его секреты» (1917). Саднящий след в душе после знакомства с материалами московской охранки («море величайшей грязи») остался надолго, потом нашел выход на страницах романа «Книга о концах».

Октябрьского переворота Осоргин не принял. «Менять рабство на новое рабство – этому не стоило отдавать свою жизнь»[2]. Книга «Из маленького домика», написанная в 1917–1919 годах, свидетельствовала о пережитых минутах отчаяния.

В главе об Октябре возникает блоковский образ – солдат с девушкой. У солдата глупые и добрые глаза, курносая девушка поет песенку, но любить их Осоргину

---

[1] *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 139.
[2] Там же. С. 193.

кажется уже невозможным: «Мне они страшны, солдат с девушкой»[1]. Он не может забыть о другом солдате, отбивавшем ручкой пулемета такт песенки про двух приятелей: «Вот Фома пошел на дно, а Ерема там давно». Мысль о России, где «заблудилась и летает какая-то шальная пуля, выпушенная октябрьским пулеметчиком», где «нет способа так жить, чтобы пуля эта вам не грозила»[2], – не раз появится в его статьях, потом попадет и на страницы романа «Сивцев Вражек».

26 октября 1917 года Осоргин опубликовал статью «Драться так драться». «Нам не приходится учиться сопротивлению: оно нам хорошо знакомо»[3], – писал он. А сопротивляться мог одним – словом. И делал это ярко, резко, с присущим ему даром предвидения. Но возможностей для работы становилось все меньше, одна за другой закрывались газеты. Осоргин вспоминал, как из разгромленной редакции вышли солдаты, оставив запах шинелей и бумажку: «Газета Наша Родина Пропуску Нет Задерживано»[4].

В августе 1918 года, когда была «задерживана» вся вольная печать, Осоргин и несколько его товарищей, среди которых были искусствовед П. П. Муратов, поэт В. Ф. Ходасевич, прозаики Б. К. Зайцев и А. С. Яковлев, литературовед Б. А. Грифцов, философ Н. А. Бердяев, историк А. К. Дживелегов, открыли Книжную лавку писателей, ставшую своеобразным клубом московской интеллигенции.

«За прилавками у нас велись философские и литературные споры, в которых принимали участие и клиенты-завсегдатаи. Было тесно, дымно от печурки, тепло от валенок, холодно пальцам от книг, весело от присутствия живых людей и приятно от сознания, что дело наше и любопытно, и полезно, и единственно не казенное, живое, свое»[5], – писал Осоргин, бывший, по свидетельству современников, главным лицом в Лавке. Здесь спасали от разграбления старые библиотеки, от голода – писателей и ученых, которым старались дать за принесенную книгу максимальную плату. «Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками, – иронизировал А. Б. Мариенгоф, – выходили из лавочки

[1] *Осоргин Мих.* Из маленького домика. <Рига>, 1921. С. 3.
[2] *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 217.
[3] Власть народа. 1917. № 152. 26 октября.
[4] *Осоргин Мих.* Задерживано // Наша Родина. 1918. № 15. 23 мая – 5 июня.
[5] *Осоргин Мих.* Книжная лавка писателей // Новая русская книга. Берлин, 1923. С. 39.

со слезой умиления – точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотворной Иверской»[1].

В Лавке образовалось несколько «отделов» спасения русской культуры: собирались члены Религиозно-философского общества, проводились заседания италофильского кружка «Студио Италиано», сюда за несколько месяцев до смерти приезжал читать свои стихи А. А. Блок.

Осоргин перевел с итальянского пьесу К. Гоцци «Принцесса Турандот». С ее знаменитой системой меняющихся реприз она с огромным успехом шла и идет в Театре Вахтангова именно в его переводе.

Возникло при Лавке рукописно-автографическое издательство, где, «преодолевая Гутенберга», писатели сами переписывали, иллюстрировали и сшивали свои книги. Рассказывая об уникальной коллекции рукописных книг, изготовленных в Лавке (всего их было несколько сотен), В. Г. Лидин вспоминал, в частности, о книге Осоргина «Похвала березовым дровам», написанной автором на бересте[2].

Одна из самых печальных страниц московской жизни Осоргина – история его участия во Всероссийском комитете помощи голодающим, существовавшем чуть больше месяца. Однако именно эта недолгая деятельность стала причиной очередного трагического перелома в судьбе писателя.

В 1921 году число жертв голода исчислялось миллионами. За границей ужасались слухам о случаях людоедства, но те, кто побывал тогда в Поволжье, говорили об этом как о рядовом явлении. «Объективно, издали, это – неописуемый ужас...
А на месте это – быт, естественное разрешение продовольственного вопроса. Нужно уметь близко жизни в глаза глядеть»[3], – писал Осоргин.

Комитет помощи голодающим был образован 21 июля 1921 года. Возглавил его Л. Б. Каменев. В него вошли крупные писатели, деятели культуры (М. Горький, Б. К. Зайцев, К. С. Станиславский), ученые (президент Академии наук А. П. Карпинский, вице-президент В. А. Стеклов, академики В. Н. Ипатьев, А. В. Ферсман, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург), экономисты, специалисты по сельскому хозяйству, кооператоры (А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев,

---

[1] *Мариенгоф А. Б.* Роман без вранья. Л., 1927. С. 94.
[2] *Лидин Вл.* Друзья мои – книги: Рассказы книголюба. М., 1976. С. 8.
[3] *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современные записки. 1922. №13. С. 223.

А. И. Угримов), толстовцы, имеющие большой опыт помощи голодающим (П. И. Бирюков, В. Ф. Булгаков, А. Л. Толстая) и многие другие. Патриарх Тихон благословил деятельность Комитета и обратился к верующим с воззванием о помощи голодающим.

Видное место в Комитете занимали Е. Д. Кускова, бывшие министры Временного правительства С. Н. Прокопович и Н. М. Кишкин. Существовала при Комитете и ячейка коммунистов, среди которых были М. М. Литвинов, Л. Б. Красин, Н. А. Семашко, А. В. Луначарский. Они обязывались следить, чтобы эта организация не использовалась в контрреволюционных целях.

В отличие от неповоротливых и не пользующихся авторитетом государственных образований Комитету помощи голодающим удалось быстро развернуть работу, наладить международные связи. «Нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодающие губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей из центра и Сибири, <...> в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать Комитету официальному»[1].

Осоргин редактировал газету Комитета «Помощь», но успел выпустить только три номера. Работа Комитета была прервана внезапным арестом его членов в конце августа 1921 года. Им были предъявлены политические обвинения, которые формулировались весьма туманно.

Письма В. И. Ленина свидетельствуют, что Комитет, пренебрежительно называемый им «Кукиши» (по фамилиям Кусковой и Кишкина), был обречен на гибель еще до своего официального создания. «Милая моя Семашка! <...> – писал Ленин 12 июля 1921 года. – Не ревнуйте к Кусковой <...>. От Кусковой возьмем имя, подпись, пару вагонов от тех, кто ей (и эдаким) сочувствует. Больше ни-че-го. Не трудно, ей-ей, это сделать»[2].

Фритьоф Нансен, который в июне 1921 года от имени Международного Красного Креста вел переговоры с советским правительством о посылке продовольствия в Петроград, решил назначить членов Комитета помощи голодающим своими представителями, осуществляющими надзор за распределением продуктов. Ленин был оскорблен этим «наглейшим предложением» Нансена, в успешной деятельности Комитета он видел угрозу для престижа

---

[1] *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 161.
[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 44. С. 24.

власть имущих. Последовал грозный приказ: «Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого «правительственного сообщения»: распущен за нежелание работать. Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать «Кукишей». Баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места <...>. Изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев»[1].

Осоргин резко отметал подозрения касательно политических целей членов Комитета. «Никто из нас <...>, – писал он, – не задавался политическими заданьями. Совесть не позволила нам остаться зрителями в такой страшный момент народного бедствия <...>. Одно жалко, что мы не продержались дольше и не смогли спасти хоть тысячу, хоть сотню лишнюю людей от смерти и людоедства»[2].

Дневник, написанный в царской тюрьме, Осоргин закончил словами: «Еще поживем, еще поспорим. Еще много, много раз посидим в тюрьме»[3]. К несчастью, эти слова оказались пророческими. Арест за участие в Комитете помощи голодающим стал уже третьим по счету. За плечами была не только Таганская тюрьма, но и арест в 1919 году, когда Осоргин попал на Лубянку в «Корабль смерти». Освобождать его тогда приехал вместе с поэтом Ю. К. Балтрушайтисом председатель Моссовета Л. Б. Каменев. Осоргин вспоминал: «Маленькое недоразумение, – поясняет Каменев, – но для вас как писателя это материал <...>». За пять дней в «Корабле смерти» я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом»[4].

И вот опять Лубянка, особый отдел ВЧК, внутренняя тюрьма. В сырой, зацветшей зеленью камере с замазанными окнами, без книг, без прогулок, где кормили «похлебкой из гнилой и червивой воблы, давая на «второе блюдо» остатки этой воблы»[5], Осоргин просидел два с половиной месяца. «Я совсем опух, отек, кашлять стал: и вообще в те дни надломил надолго здоровье»[6]. На этот раз

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 53. С. 141–142.

[2] *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 224.

[3] *Осоргин Мих.* Картинки тюремной жизни: Из дневника 1906 г. // Русское богатство. 1907. № 12.

[4] *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 149.

[5] *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Июнь – декабрь 1940 г. Париж, 1946. С. 69.

[6] *Осоргин Мих.* Чтобы лучше ощущать свободу. (Из «Воспоминаний») // На чужой стороне. 1924. № 8. С. 119.

хлопоты друзей оказались тщетными. Не помогло и заступничество А. В. Луначарского.

Совершенно больного отправили Осоргина в ссылку в Царевококшайск (ныне Йошкар-Ола), но доехать туда он не смог. Разрешили остаться в Казани. Занимался там устройством книжного магазина, редактировал «Литературную газету», был частым гостем в Казанском университете.

Весной 1922 года Осоргину было разрешено вернуться в Москву. «Последнее русское лето» он провел в деревне Барвихе Звенигородского уезда. Увидев возле своей избы машину с чекистами, скрылся, добрался до Москвы, несколько дней провел в больнице, принадлежавшей его другу, а позже тестю А. И. Бакунину, но, не найдя выхода, сам отправился на Лубянку. Там ему был объявлен приговор: высылка с обязательством покинуть страну в течение недели, а в случае невыполнения – высшая мера наказания. Высылали на три года, на больший срок не полагалось, но с устным разъяснением: «То есть навсегда»[1]. На прощанье следователь предложил в очередной раз заполнить очередную анкету. На первый ее вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» – Осоргин ответил: «С удивлением»[2].

Каковы причины высылки, не объясняли, но было ясно – подозревался в инакомыслии. Осоргин не раз обвинял Троцкого в том, что он поддержал идею высылки, однако автором ее был Ленин, который в мае 1922 года принял решение: «Надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)...»[3] Ленин сам назвал «кандидатов на высылку» и обязал членов Политбюро внести в это дело свою лепту. Ленинский план был выполнен.

На пароходе в Германию отправился в путь и Осоргин. Он вспоминал позже о недоумении следователя при его заявлении о нежелании уезжать: «Ну как же это – не хотеть за границу?»[4] Не только для Осоргина, для многих высланных, все мысли, планы, труды которых были нерушимо связаны с Россией, отъезд был трагедией. Жизни ломались, казалось тогда, с бессмысленной жестокостью. В свете происшедшего позднее стало ясно, что участь высланных могла быть и хуже. Но в те дни – осени 1922 года –

---

[1] *Осоргин Мих.* Как нас уехали // Последние новости. Париж, 1932. № 4176. 28 августа.

[2] *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 182.

[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 54. С. 198.

[4] *Осоргин Мих.* Как нас уехали // Последние новости. 1932. № 4176. 28 августа.

были только боль, обида, отчаяние. О последних мгновениях, когда еще был виден «отплывающий берег России», Осоргин писал: «Удивительно странное чувство в душе! Словно бы, когда она тут, на глазах, – не так страшно за нее, а отпустишь ее мыкаться по свету – все может случиться. А я ей не няня, как и она мне не очень любящая мать. Очень грустно в эту минуту». Берег исчез и, присоединившись к своим спутникам – товарищам по несчастью, Осоргин предложил тост: «За счастье России, которая нас вышвырнула!»[1]

Осоргин прожил зиму в Берлине, ездил в Италию, читал лекции, работал над рассказами для альбома рисунков Бориса Григорьева. Рассказы получились грустными: «Мы люди случайного плаванья, шхуны без компаса с обломанными мачтами и свихнутым рулем»[2]. На этот раз и Италия, где к власти уже пришел Муссолини, показалась чужой. С осени 1923 года Осоргин обосновался в Париже.

Отношения Осоргина с русской эмиграцией складывались непросто. Ф. А. Степун так рассказывал о сложной психологической ситуации, в которой оказывались высланные из России: «Я волновал и отталкивал моих собеседников не совершенно чуждою мне защитой большевиков как власти, а защитою моей веры, что, несмотря на большевиков, Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу»[3]. Н. А. Бердяев также вспоминал о тяжелом впечатлении, оставшемся после первых встреч с эмигрантскими кругами: «Атмосфера была насыщена не только реакцией против большевистской революции, она была реакционной вообще, по самым первоначальным эмоциям»[4].

Степун писал об «эмигрантщине» как недуге, поразившем многих русских, оказавшихся за рубежом, при котором ощущение причиненного революцией страдания заслонило весь мир. Среди людей, избегших «эмигрантщины», одним из первых он называл Осоргина.

Осоргин был готов к тому, что его встреча с зарубежными соотечественниками будет «несозвучной».

---

[1] *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 216.

[2] *Григорьев Б.* Boui-boui au bord de la mer*. Берлин, 1924. С. 3.

[3] *Степун Ф.* Мысли о России // Современные записки. 1923. № 17. С. 365.

[4] *Бердяев Н.* Самопознание. Париж, 1949. С. 272.

* Кабачок на берегу моря (*фр.*).

«От бед и несчастий российских никакой «нечаянной радости» не ждали и не ждем. Россию настоящую, страдающую, всю целиком, с ее язвами и ее пробуждающейся жизнью, любим не меньше предполагаемой «будущей»[1], – писал он. Наперекор русским эмигрантам, которые «плачут, жалуются, просят», он говорил о своем символе веры: «На вопрос, кто вы, нужно отвечать не «извините, я русский», а просто «русский»[2].

Осоргин понимал, что его позиция не вписывается ни в какое «полное собрание обязательных мнений» – ни в эмигрантское, ни в советское: «Жег себя с двух концов». Не стремясь попасть «в тон общему эмигрантскому хору», он писал о необходимости «духовного сближения с новой Россией», о «духовном возвращении»[3] – эти мечты вызвали бурю в эмигрантской прессе. Не принималось и его убеждение в единстве русской литературы: «Алданов, Булгаков, Бунин, Горький, Замятин, Куприн, Леонов, Ремизов, Федин – все они наши»[4]. Осоргин вспоминал о споре с И. А. Буниным, характерным для тех лет: «Какое вы имеете право писать о талантливости Маяковского?» – «Но раз я считаю его талантом, и большим». – «Все равно нельзя говорить, потому что он мерзавец»[5]. Такая логика Осоргину была чужда, оценку художественных достоинств книги он никогда не ставил в зависимость от политических взглядов автора. «Помню старого народовольца, который в своей защитительной речи на суде говорил, что «даже в прокуроре может оказаться живой искра Божия», – писал Осоргин о герое книги Н. Огнева Косте Рябцеве. – Я тоже смею говорить, что может она оказаться и в председателе комсомольской ячейки»[6].

Стремление к объективности многих раздражало. Степень неприятия могла быть разной – от скрытых уколов Г. В. Адамовича, изображавшего Осоргина капризно непослушным, «задорным» писателем[7], до «плещущих в лицо ядом» А. Ф. Керенского, М. В. Вишняка, И. И.

---

[1] *Осоргин Мих.* Встреча // Дни. Берлин, 1923. № 105. 4 марта.
[2] *Осоргин Мих.* Итальянское письмо // Воля России. Прага, 1923. № 15. С. 41.
[3] *Осоргин Мих.* Требуется ланцет // Последние новости. 1925. № 1691. 28 октября.
[4] *Осоргин Мих.* Советская литература // Последние новости. 1930. № 3319. 24 апреля.
[5] Письмо М. Осоргина к М. Горькому от 6 марта 1925 г. // Архив Горького.
[6] *Осоргин Мих.* По полям словесным // Последние новости. 1927. № 2318. 28 июля.
[7] Современные записки. Париж, 1930. № 5.

Бунакова. Когда П. Н. Милюков вынес приговор: «Будь навсегда одиночкой», – Осоргин не испугался и этого: «Откуда Павел Николаевич догадался о моих вкусах? Вспоминаю, как, сидя в «общей», я всегда просил, чтобы меня перевели в одиночку; это спасает от заражения истерией, кликушеством и другими эпидемическими болезнями. И гораздо лучше думается и работается»[1].

Одиноким Осоргин не был. Находил общий язык с молодыми писателями, умел поддержать, посоветовать. Он редактировал серию книг «Новые писатели», содействовал выходу нескольких удачных книг литературной молодежи. Философ и социолог Г. Д. Гурвич писал об этой важной черте Михаила Андреевича: «Осоргин был самым молодым по духу представителем русской эмиграции, и эта вечная его молодость делала из него вождя не только всей русской литературной молодежи за границей, но и вообще русской молодежи в эмиграции»[2].

О «возвращенчестве» Осоргина писали в эмигрантской прессе зло и язвительно. Думал ли он о возвращении на родину? Да, думал. Сохранял советское гражданство и советский паспорт до 1937 года, когда в консульстве произошел резкий разговор и разрыв: «Консул поставил Михаилу Андреевичу на вид, что он не в линии советской политики»[3]. Последние пять лет до смерти Осоргин жил вообще без паспорта.

Поддерживать связь с Москвой становилось все труднее: ловил каждую весточку, пристально следил за советской периодикой, читал все доходившие до Парижа новые книги – но все реже появлялись его рецензии, все суровее становились оценки. В 1935 году был сделан горький вывод: «Книги появляются – литературы нет, есть только рассуждения о ее призрачном расцвете»[4]. Он догадывался о подспудных процессах, писал о значении молчания, неучастия в хоре «ликующих и праздноболтающих». А газеты и журналы показывали только лицо официальной литературы, глубоко ему антипатичное: «советское литературное послушание», «всеобщий перепуг, который

---

[1] *Осоргин Мих.* Самоубийственная страничка из... // Последние новости. 1925. № 1714. 24 ноября.

[2] *Гурвич Г. Д.* Памяти друга // Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. № 4. С. 357.

[3] *Осоргина Т.* Как это было // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 6. Париж, 1988. С. 98.

[4] *Книжник* <*Осоргин М.*> Книжные новости // Последние новости. 1935. № 5418. 23 января.

необходимо выдавать за приподнятость», а за всем этим – «потеря чести».

Положение было безнадежным. «Умом ясно понимая, что возвращение в Россию для него по политическим причинам невозможно, сердцем до самого последнего времени стремился к своему народу и своей природе»[1], – писала вдова писателя Т. А. Бакунина-Осоргина.

Постоянная борьба ума и сердца, стремление стать выше обиды и тоски, не затенить ими любви к родине, органическая невозможность подчиниться, смириться с судьбой и породили пронзительные, неустаревающие строки Осоргина:

«Ту огромную землю и тот многоплеменный народ, которым я, в благодарность за рожденные чувства и за строй моих мыслей, за прожитое горе и радость, дал имя родины, – никем и ничем отнять у меня нельзя: ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня – ничем, никак, никогда. Нет такой силы и быть не может.

И когда говорят: «Россия погибла, России нет», – мне жаль говорящих. Значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфитеатром Государственной думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, знакомым говором, полицейским участком, – не знаю еще чем, чем угодно, но не всей страной его культуры – от края до края, не всем народом – от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибло любимое, но Россия вовсе не «любимое». Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто – он, лишь с ним связанный, – лишь ему принадлежит.

И пока связан, пока зелен, пока жив – должен верить в свое родное дерево. Иначе – во что же верить? Иначе – чем же жить!»[2]

Осоргин много работал, печатался в газетах и журналах Берлина, Парижа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Шанхая, Стокгольма, Риги. В одних парижских «Последних новостях» он опубликовал более тысячи рассказов, статей, фельетонов. Псевдонимов было у него не меньше десятка: Робкий человек, Непонятая женщина, Обитатель, Провинциал, Оптимист, Обозреватель, Старый книгоед, Книжник, А. Зацепа и другие. Писатель В. С. Яновский

---

[1] Cahiers du Monde Russe et Soviétique. Vol. XXV (2-3). April - Septembre. Paris, 1984. P. 301.

[2] *Осоргин Мих.* Россия // Дни. 1924. № 584. 8 октября.

вспоминал, что многие русские, оказавшись в эмиграции, считали для себя лестным получить «субсидию». «Впрочем, все знали, – замечал он, – что Осоргин и Алданов никогда ни от каких «обществ» или частных жертвователей субсидий не получали и не желали получать»[1]. Давалось это нелегко. Осоргин не раз жаловался, что «право работать «для души» приходится покупать месяцами работы «для дела», губительной для всякого, кто мечтает раскопать в себе художника»[2].

Работой «для души» для Осоргина стало в те годы осуществление замысла его первого романа, который родился еще в Москве. В один из октябрьских вечеров 1917 года Осоргин вместе с известным композитором и виолончелистом был гостем старой пианистки. В пустой квартире стоял только рояль: накануне все имущество хозяйки, заработанное многолетними уроками музыки, было реквизировано. Рояль забрать не успели, но обещали за ним вернуться. «Она не возражала – это было бесполезно, но не могла отказать себе в удовольствии ответить им, что самого ценного она им все-таки не отдаст <...>: «Мой ум, мои знания, мой музыкальный талант – это останется мне <...>. Вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли, а я, всего лишившись, останусь такой же богатой...»[3]

Осоргин вспоминал, как утром шел вместе с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель: «Я тоже нес домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать, – идею романа, в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только спустя три года в казанской ссылке были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман именем одной из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек»[4].

Когда речь идет об этом романе, слово «первый» звучит странно, не имея своего традиционного смысла, обычного в применении к другим писательским судьбам. Роман был издан в 1928 году, когда Осоргину исполнилось пятьдесят лет. Сколько уже было в его жизни подъемов и спусков, сколько раз казалось, что земля рушится под ногами. И все,

---

[1] *Яновский В. С.* Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С. 18.
[2] Письма М. Осоргина к М. Горькому от 18 января 1929 г. и 26 октября 1924 г. // Архив М. Горького.
[3] *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 136.
[4] Там же. С. 137.

что было им пережито, продумано, прочувствовано, весь огромный жизненный опыт он вложил в эту книгу.

«Сивцев Вражек» – роман о трагедии русской интеллигенции в переломные, смутные времена, когда интеллигенция и народ слились воедино, жили общими радостями и общими трудностями. «Мы, литераторы и ученые, – писал Осоргин, – за последние годы сами были башмачниками, торговцами, чистильщиками снега, землекопами, землепашцами, портными, чернорабочими, нищими. Философы торговали за прилавком и выносили поганые ведра, писатели продавали селедку и «пакеты против вшей», профессора пилили дрова и чистили картошку, адвокаты мыли солдатское белье, артисты закапывали «жмуриков» (покойников), все научились таскать и мыть тюремную «парашу», подтирать полы в арестантских уборных <...> – испытали все...»[1]

Осоргин писал Горькому 23 октября 1924 года: «Я – чистой воды скептик и пессимист, и только неисчерпанная животная радость мешает мне ликвидировать в себе человека. Это должно сказываться в писании, как сказывается в жизни, ставшей для меня совершенным мучением. К счастью, любовь нелогична, и легкий воздух, красота чужой души, даже веточка хвои – толкает обратно в жизнь, к ее приятию вопреки голосу рассудка и наперекор страстному призыву в небытие»[2]. Столкновение этих двух начал читатель почувствует в книге.

Осоргин видел противоречия своего времени и сумел их показать. Жестким, суровым пером человека, не примирившегося с Богом (как говорил Б. К. Зайцев[3]), с судьбой (скажем мы), написаны страницы о жизни и смерти Астафьева и его палача. А рядом возникают нежные, изящные черты Танюши, картины, исполненные мягкости и лиризма, написанные «акварельными красками».

Критики писали об иронии и горечи Осоргина, были в романе и мрачные предвиденья. В главе «Opus 37», повествующей о последней музыкальной пьесе композитора Эдуарда Львовича, – «клубке трагической неразберихи», «странице преступной», – возникает цифра, которая стала страшной для миллионов советских людей. Трагическое совпадение.

---

[1] *Осоргин Мих.* Встреча // Дни. 1923. № 105. 4 марта.
[2] Архив М. Горького.
[3] Современные записки. 1928. № 36. С. 533.

Но ощущения безысходности в романе нет – надежда жива. После самой суровой зимы наступает время прилета ласточек, возвращающихся из своей «вынужденной эмиграции». «И Танюша, и ласточки, образы мягкости и молодости, кажется, единственное, что может автор противопоставить свирепости жизни <...>, – отмечал Борис Зайцев. – Раз он видит в молодости, любви, в душевной красоте и благообразии некоторое утешение, то уж не так все отвратительно в нашем мире»[1].

В начале работы над романом Осоргин писал: «Перетасовка классов, состояний, обмен золота на бумажки, сумерки богов и заря новых идолов, великая катастрофа... Кто-то наступил ногой на муравейник, а лес стоит, лес шумит, и ни один листок не шелохнулся от всеединого вопля муравьиного»[2]. Эта мысль, звучащая во всей книге Осоргина, привлекла внимание Горького и заняла ключевое место в его отзыве о романе. Письма Горького к Осоргину исчезли во время второй мировой войны, но в архиве Горького сохранились черновики его писем, посвященные роману «Сивцев Вражек». К первому письму Горький, стараясь точнее сформулировать свою мысль, написал четыре черновых варианта – один этот факт говорит о внимании и к роману, и к его автору. Одобряя «внушительный и огромный», «соблазнительный и человечески дерзкий» замысел книги – «изобразить нашу русскую трагедию как одну из сцен непрерывного Вселенского террора», Горький говорил и о скрытой «опасности умаления и унижения человека <...>, ибо на фоне драм «космических» наши человеческие драмы как будто теряют свое значение, тогда как, на мой взгляд, смерть Ан. Франса и даже В. Брюсова должна быть значительнее гибели целого стада звезд и всех мышей нашего мира»[3].

Строй размышлений Осоргина, который, по мнению многих критиков, напрасно навязывал человеку «родство с муравьями, мышами, в лучшем случае, – ласточками»[4], вызывал сомнения и у Горького. Подводя итоги этой полемики, Осоргин отвечал Горькому: «Человек – это то центр мира, то ничтожная песчинка. Нужно найти какой-то

---

[1] Современные записки. 1928. № 36. С. 533.
[2] *Осоргин Мих.* Тем же морем // Современные записки. 1922. № 13. С. 214.
[3] Архив М. Горького.
[4] Современные записки. 1928. № 36. С. 532.

тон, нужно поймать какую-то любовную ноту, которая должна эту «песчинку» возродить внезапно в высокое достоинство Человека»[1]. Не раз повторяя мысль об относительности «великого и малого», о непрочности и зыбкости человеческих представлений, Осоргин подчеркивал: «Мудр только тот, кто не считает себя и свое – центром вселенной, кто изучает прошлое и работает для будущего»[2].

В 1930 году Осоргин закончил «Повесть о сестре». Старшая, любимая сестра Михаила Андреевича – Ольга Андреевна Ильина-Разевиг – умерла, когда он жил в Италии. «Вести о смертях, – писал Осоргин, – так часто получались в моем земном раю, среди роз, лилий, пальм и кипарисов, что я к ним привык – да не оскорбит это слово более чуткого сердца. Наши тогдашние сердца загрубели и покрылись мозолями от частых прикосновений смерти: где-то в глубине откладывалось горе, но наружу не выходило»[3]. Ночью, спустившись к скалам, он собрал в букет «зеленые листики на тонких, прочных нитях, растущие веером»[4]. Итальянцы называют их «волосами Венеры». Тогда букет был единственно возможной для него данью памяти сестры, позже ею стала книга.

Есть в героине Осоргина и в книге о ней загадка неброского очарования, «какая-то своя ценность, как в картине старого мастера». Это повесть о женщине прелестной и даровитой, но несчастливой. У нее «был муж, были дети, был дом, было хозяйство, но не было семьи», ее дом стал «холодным домом», ее уделом – духовное одиночество. В этой женщине, соблюдавшей все законы и заповеди, все правила и установления, чувствовался «скрытый огонь», «непокорная душа», «внутренне сгоравшая в бунтарстве». Но она, «более способная на жертву, чем на сопротивление»[5], не нашла ни применения своим способностям, ни обыкновенного человеческого счастья. И не пыталась переломить судьбу. В ее душевном облике, чистом и цельном, писатель видел «красоту утраченной женственности».

Критики отмечали, что героиня Осоргина – женщина рубежа веков, промежуточной эпохи. В ней нет прежней покорности, но нет и самостоятельности. Она как бы

---

[1] Письмо М. Осоргина к М. Горькому от 23 октября 1924 г. // Архив М. Горького.

[2] *Осоргин Мих.* Великое и малое // Восход. Париж, 1933. № 6. С. 69.

[3] *Осоргин Мих.* Сестра // Последние новости. 1928. № 2824. 15 декабря.

[4] Там же.

[5] Там же.

останавливается на половине пути: уничтожив семью, продолжает в ней оставаться; мечтая найти свое дело, не ощущает серьезной потребности в самостоятельной работе. И все же не в принадлежности определенной эпохе сила этого образа – такие женщины были и будут во все времена. Привлекательность его в художественном решении, найденном Осоргиным, в ненавязчивости повествования без точных объяснений и определенных толкований. «Образ остается живым и понятным, сохраняя нежную неясность очертаний»[1].

В тридцатые годы вышли в свет два романа Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах», повесть «Вольный каменщик», посвященная жизни русской эмиграции, и три сборника рассказов, опубликованные в Париже, Таллине и Софии.

Рассказы из книги «Чудо на озере», вошедшие в этот том, написаны просто и искренне. Литературный критик К. М. Мочульский говорил о «приеме наивного рассказчика»[2], которым пользовался Осоргин. Но вряд ли доверительная интонация писателя была лишь литературным приемом, стремлением создать «иллюзию простоты и правды»[3]. Рассказы Осоргина о самом важном в жизни человека написаны с сердечным чувством и душевной болью, подлинность которых не вызывает сомнений.

«Нет ничего труднее спокойной простоты – основы поэзии»[4], – писал Осоргин. В статье «О простоте» он говорил и о своем пути: «Почти каждый писатель начинает со стихов, с непростого, с вычуры. Развиваясь и созревая, он переходит к вымученной прозе (пышные эпитеты, надуманные образы, искусственная перестановка слов и др.), пока не приблизится – если дано ему – <...> к высокой простоте...»[5]

Главным для Осоргина была не игра словами, а глубина, значительность, достоинство мысли. Его рассказы по форме просты, но в этой простоте есть что-то высокое и утешительное, есть гармония.

* * *

В последнее десятилетие жизнь Осоргина делилась между старым кварталом левобережного Парижа,

---

[1] *Сазонова Ю.* // Современные записки. 1931. № 45. С. 509.
[2] *Мочульский К.* // Современные записки. 1931. № 46. С. 494.
[3] Там же.
[4] *Осоргин Мих.* Куприн // Последние новости. 1930. № 3354. 29 мая.
[5] *Осоргин Мих.* О простоте // Новая газета. Париж, 1931. № 4. 15 апреля.

«царством книг, рукописей, писем, гравюр, портретов и маленьких вещичек, загрузивших письменный стол»[1], и местечком, названным в честь покровительницы французской столицы святой Женевьевы, где его трудами на месте пустыря и мелколесья был разбит сад.

Стремясь «уйти как можно дальше от всякого участия в жизни политической»[2], Осоргин писал о единственно возможном для него теперь счастье: «Зарыться в книги или цветочные клумбы, быть в молчаливом, но таком достойном обществе не живших людей, немых животных и растений – то, что французы, применяясь к своему изысканному вкусу, называют башней из слоновой кости <...>, а мы, русские, чуждаясь за́мков, именуем кельей под елью. Ни в ком не нуждаться, никому и ничему не быть помехой. Может быть, это – усталость, но, во всяком случае, не слишком дерзкое к жизни требование»[3].

Но и это счастье, эта с таким трудом, с такими душевными усилиями созданная осмысленная жизнь были утрачены. Началась вторая мировая война. Положение Осоргина – «в чужой стране, которую хочет раздавить страна чужая»[4], – с каждым днем становилось все опасней. В июне 1940 года Осоргин и его жена вынуждены были бежать из Парижа. Они отправились в Шабри, «тихое благодатное местечко» срединной Франции, где уже обосновались их русские друзья. Городок стоял на реке Шер, которая разделила свободную и оккупированную зоны Франции. Настроение было тяжелым: «Думать бесполезно, потому что ничего не придумаешь. Бесполезно желать. Бесполезно мечтать. Всего бесполезнее считать что-нибудь хоть сколько-нибудь полезным <...>. Липкая, непросыхающая Тоска. С потолка спускают такие противомушиные липкие бумажки. Мухи гибнут. Человек, сев на такую бумажку, остается жив. Но это не жизнь»[5].

Осоргины пытались вернуться в Париж, но там их ожидал новый удар. «В моей долгой жизни, – писал Михаил Андреевич, – время от времени зачеркивается все прошлое,

---

[1] *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Июнь – декабрь 1940 г. Париж, 1946. С. 15.
[2] Там же. С. 24.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 21.
[5] Там же. С. 54.

вся его внешняя обстановка и весь его внутренний смысл, сколько-нибудь с ней связанный; и тогда жизнь начинается сызнова, с первого камня нарастающих стен»[1]. Парижскую квартиру Осоргины нашли опечатанной, библиотека и архив Михаила Андреевича («тысячи писем близких и далеких, живых и умерших людей, преимущественно писателей рубежа двух веков, собранные за 35 лет моих блужданий»[2]) были вывезены.

Чтобы сохранить свободу, надо было вновь бежать. Последние два года жизни Осоргин провел в Шабри. Несмотря на трудный быт военных лет и усиливавшуюся давнюю болезнь, он продолжал много работать. Тоску побеждало творческое, созидательное начало его характера. «Трагедия неразрешимого, предстояние пропасти – это и есть, по-видимому, самое в нас человеческое, самое высокое и действительно загадочное, мистическое <...>, – писал Осоргин А. И. Бакунину 26 января 1941 года. – Отвергнув нравственный абсолют, приняв его ненаходимость, можно слишком себя распустить, сделаться беспринципным <...>. Следовательно, какой-то критерий правды, какая-то настроенность, направленность к ней должна у человека быть. Что-то он должен для себя строить, а не успокаиваться на разрушении. Нужно не искать пропасть, а лишь знать, что она на пути неизбежна, и не к ней стремиться, а через нее к недостижимому, но манящему»[3].

Стремясь быть полезным, он безуспешно добивался разрешения посещать лагеря военнопленных, много усилий тратил на работу в созданном в Ницце Обществе помощи русским, отправляя продуктовые посылки нуждающимся литераторам.

В Шабри были написаны две публицистические книги: «В тихом местечке Франции» и «Письма о незначительном», изданные после его смерти. Они были составлены из корреспонденций, которые Осоргин, подвергая себя большой опасности и почти без надежды на получение его писем друзьями, отправлял в Америку – «как

---

[1] *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Июнь – декабрь 1940 г. Париж, 1946. С. 81–82.

[2] Там же. С. 86.

[3] Cahiers du Monde Russe et Soviètique. Vol. XXV (2–3). April – Septembre. Paris, 1984.

прощальный привет». Последнее из писем было послано за месяц до смерти.

Книги эти – не только интересный исторический источник, но и яркий человеческий документ, свидетельство наблюдательного, умудренного жизнью человека.

Осоргин не уставал повторять, что жизнь человеческая – краткий миг, шаткий мостик между двумя вечностями, путь по которому должен освещаться не осуждением, а пониманием. Труден был этот путь для разорванного на части поколения Осоргина – и для эмигрантов, и для оставшихся в России. Близкий друг Осоргина Андрей Соболь покончил жизнь самоубийством. Последние письма Соболя к Осоргину о положении писателя в Советской России, где «каждое маленькое право на честность покупается огромной болью», рвут душу: «Писать я никому не буду, объяснять ничего не буду, ибо перед сном надо только чистенько умыться, переодеться во все чистое и сказать миру – солнцу, моей Собачьей Площадке, Москве моей, близким моим, – про себя, только про себя: прощайте и не сердитесь»[1]. Тоска и отчаяние – это пережил и Осоргин, но ему помогали мысли о вечном возрождении, помогала вера в Россию, которая должна восстать из пепла.

В эти же годы были завершены и «Времена» – одна из вершин русской мемуарной литературы. «В этой повести превосходно все, и я жалею, что не могу процитировать из нее целые страницы»[2], – писал М. А. Алданов.

Умер Михаил Андреевич Осоргин 27 ноября 1942 года в Шабри. Там и похоронен.

* * *

Лучшей традицией русской литературы Осоргин считал великодушие. Отход от него вел в никуда – к «попугайному отклику на злобу дня», к надоевшему «трактованию французского любовного треугольника»[3]. Цель своего пути Осоргин видел в «неустанных поисках истины», в «насаждении любви». «Человечность – основа русской

---

[1] *Осоргин Мих.* Трагедия писателя//Последние новости. 1929. № 3100. 17 сентября.

[2] *Алданов М.* Предисловие // *Осоргин Мих.* Письма о незначительном. Нью-Йорк, 1952. С. 18.

[3] *Осоргин Мих.* Литературные размышления // Последние новости. 1936. № 6671. 3 июля.

литературы, холодные писатели, неверующие, нелюбящие, не понимающие жертвенности, не прощающие ошибок, презрительные – у нас не вырабатываются. Начнут блестяще – и лопнут без особого треска... Критик может кривить рот в усмешку, а все-таки лучшие на свете книги написаны большими сердцами»[1].

Понять этот важнейший закон творчества и оставаться верным ему всю жизнь помогло Осоргину его Большое сердце.

О. Ю. АВДЕЕВА

---

[1] *Осоргин Мих.* Куприн // Последние новости. 1930. № 3354. 3 июля.


СИВЦЕВ
ВРАЖЕК

Часть первая

ОРНИТОЛОГ

В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует – столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, русейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рожденье весны, прощанье с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знанье свое – любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул – хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул – и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, – из-под книжного шкапа выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется – все благополучно, все спят, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь.

Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни – в столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие – в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход – из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов, ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка – и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: «Что? Почему? Ах, это все равно!» Но вот дышит ровно, спит.

Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, – а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни. Вылупились птенчики – три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка – осталась без родителей.

Старуха жива – былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась.

Здесь было покойно, как нигде, и, как нигде, безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.

Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстро и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.

В круге зрения мышки блеснуло – и она отпрянула. На тонкой мордочке заработали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком

огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!

Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома. Профессор играл: «Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр... и трель... а вот как щелкает – никак не изобразишь!» Его жена, старушка Аглая Дмитревна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. «Ну, руки у меня стары, еле двигаются». Танюша – будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполье в те вечера. И ночью не выходят на разведки.

Эдуард Львович – пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Странный немного человек.

А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло – и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни – за книжный шкап, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира – но еще далеко до конца.

Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу – и исчез.

Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце задело занавеску окна.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Родилось утро – в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилось в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, щурясь,

столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели – еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.

Ранним утром, при окне открытом – какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая – день хороший, вторая – сегодня воскресенье. Вместо третьей думы – беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холодной водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, птичьего профессора, сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было – значит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино «чирр». Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом сразу ноги на коврик – и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. «Вовсе я не безобразная!!»

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту – холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, – разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.

Пока пришита пуговка – уже девятый час. Будить дедушку – привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

– Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.

– Алло, Танюша, встаю, встаю...

– Как вы спали?

– Хорошо; ты как?

– Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие; щурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с при-

липшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.

На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и натыкала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в Гирши, локтем прижимая распавшиеся листы римского права. Под каменным мостом мальчик, водя языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

Звенел трамвай неистово и напрасно, и городовой белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролеток и одного ломовика.

В этот день семинарист, уж полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение.

Это был вообще – замечательный день.

КЛАДБИЩА

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкапы и регистраторы, набитые бумагами.

В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило Полярный север высшими формами органического мира; когда пришло время́, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора

до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараньями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек, – было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питанье, смерть – были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы. По проволокам текли правда и ложь, месились, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки – и рушился вместе с нею.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю – и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданием солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубленую, точную немецкую прозу. Посланник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.

Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только бóльшую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой национального яда, был честен, пылок, искренен и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но, по счастливой случайности, пули ни разу их не задели.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации – иного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов училось стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель – грудь австрийского эрцгерцога.

Этого могло и не случиться. Но тогда/случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось – в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окно даже весною. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигнальной станцией мира и пульсом страны.

Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, властители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше, чем: придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, – но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет распахнула окно и увидела первую ласточку, – искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на нашесте наклонила случайно голову и избегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой и тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.

Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падет, распластанный и оглушенный остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И осталось бесследным.

На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плугом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

КОСМОС

Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидал красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглая Дмитревна, в очках, с большой старинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.

У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает, – она удивлена; когда удивлена, – у нее подымаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительный и неприятно умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога, с женой, – оба они люди незаметные.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место – по левую руку Аглаи Дмитревны – ждало его. Вообще – все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?

– Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилаживать и приспосабливать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика не отрицал, – но разве это колеблет науку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглая Дмитревна в своем кресле под лампой – с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.

Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он вол-

новался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными космами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось – конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд – хорошо.

Вместо «л» Эдуард Львович выговаривал нечистое «р». И сказал:

– Я бы хотер попробовать сыграть... но только есри вы хотите срушать... но могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

– Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

– Готово ри – как сказать... Я уж не знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать «Космос».

Физик отозвался:

– Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

– Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он – инженер, но неудачник. У него некрасивая, старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ – все это слыхал, имена, – но

как различать? Скрябин – диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос – это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах! И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я – профессор, я известен и стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки – как цветы, музыка – пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнц, носится остывшая планета – лампа Аглаи Дмитревны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно – выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша – сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитревна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание – огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом – не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, – но художественной догадкой знания не подменишь. Семь цветов спек-

тра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой – тысячелетие тому назад, другая звезда – десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... эвклидова геометрия.

ТАНЮША

Танюша сидела на диване, подобрав ноги и головой прижавшись к плечу дедушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонии. Маленькой горящей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не искала: просто вбирала ее в душу и рядом с ней – в ее орбите – жила. Отдала работе несознанной мысли и свое легкое тело, и душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебанье звуков.

Большую комнату заполнила образами и видела рожденье их под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними – за пределами стен. Дыша – открывала рот, чтобы не мешать слуху. Послушно принимала в склады ума новые тюки нераспакованной мысли – запасы сырья, к обработке которого послепосле, с утренней силой приступит. Не боялась, – но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он – цельность и завершенье, она – на пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она только начала собирать крупицы реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к аксиоме, не принимала

теорий, негодовала на двойное решенье, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной бороды, – но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатерти – к сладкому и страшному «зачем жизнь?» и особенно «как жить?». Однажды уже додумалась: что цель жизни – в процессе жизни; и потом мучилась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с дедушкой, Поплавский сказал, что три точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным, чем проверяла свои выводы? Как дедушка может усмехаться и быть спокойным – ученый дедушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о своих смешных точках, у него даже глаза стали грустными. А дедушка, который должен же понимать и который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:

– Не говорите вы при Танюше о таких ужасах! Она спать не будет.

И действительно, Танюша в тот вечер долго не засыпала, хотя думала и не о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного нет?

И тогда же – попутно – догадалась, что есть люди, берущие готовое и строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья построить не на чем, так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Дедушка из первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не поколебимое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.

И чутко, ухом музыкальным лаская дробь звуков, сливая их в целое, порою – сама пианистка – видя их в пяти нитях нотной бумаги, – слушала Танюша странную и сильную импровизацию своего учителя и думала свое, мелкое, бытовое, житейское – и великое, не разрешимое для мягких еще мускулов сознания. Ее мироздание лишь строилось.

Сейчас Эдуард Львович кончит – совсем почти мелодией. Все, что искал и что высказывал, – свел к немногим простейшим звукам. Неужели для него это так ясно? Кончил – и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу виноватыми глазами, и Аглая Дмитревна поверх очков одобрила, сказавши:

– Уж так хорошо, что и не знаю. Заслушалась я вас!

Вышло это у нее просто. Другие думали, что сказать; но сказать было нечего. И Танюша, очнувшись, вздохнула.

LASIUS FLAVUS

На заре светлого дня в землю черную, поспевшую для посева, ангел жизни бросал семена.

Выходило солнце, и дрожащее ожиданием семя заволакивалось теплым паром, набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку корня.

Корень стремился вглубь, искал сытной влаги, цеплялся за жирные частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый лист и распластать перед солнцем.

А когда заходило солнце, ангел смерти выносил на поля лукошко с сорными травами и среди новых зеленых всходов бросал семена зла и раздора. К утру и их зеленый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым всходам засеянных полей.

Несуществующий великий обещал в тот год победу ангелу смерти. И когда вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешно взобрался муравей Lasius flavus[1]. Это не был охотник за травяными тлями. Муравейник на опушке леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но известили лазутчики, что в окрестностях неспокойно, что грозит муравьиной республике нападение охотничьих племен Formica fusca[2], которые уже перебежали насыпь строящейся железной дороги и стягивают свои силы у поворота поля. Страшен был не бой – страшно было грозящее рабство. И это в момент, когда крылатые самки уже вернулись с первого вылета бескрылыми и готовились стать матками новых рабочих поколений.

В июльский зной загорелась первая битва. Стальные челюсти впивались в щупальцы и ножки противника, срезали их одним напряжением мускулов, тела свивались клубком, и сильный перегрызал талию слабейшему.

Там, где сходились армии, песочная дорожка покрывалась огрызками ног, обломками челюстей, дрожащими шариками тел. А по обходным дорожкам грабители спешно тащили куколок, обеспечивая себя будущими рабами. Иной проголодавшийся воин забирался в стойла врага и жадно

[1] Рыжий *(лат.)*.
[2] Муравей темный, черно-бурый *(лат.)*.

выдаивал упитанную, породистую тлю; а минуту спустя уже извивался на земле в мертвой схватке с пастухом, защищающим собственность своего племени.

Шел бой до самого заката, и уже окружен был муравейник все прибывавшими армиями бледно-желтого полевого врага. Но случилось то, чего не могли предвидеть лучшие из муравьиных стратегов.

Задрожала земля, надвинулись гудящие тени, и внезапно муравейник был снесен неведомо откуда пришедшим ударом. На дорожках все спуталось, и враг с врагом в неостывшей схватке были раздавлены невидимой и неведомой силой.

Рядом никла и затаптывалась трава, песчинки вдавливались в муравьиное тело, и от стройных армий не осталось и следа. В пространствах, не ведомых даже острейшему муравьиному уму, быть может, в чуждом ему измерении, как невидимая гроза, как мировая катастрофа, прошла божественная, неотразимая, всеуничтожающая сила.

Погибли не только муравьиные армии. Погибла полоса посевов, примятых солдатским сапогом; поникли пригнутые к земле и затоптанные кустики вереска, миллионы живых и готовившихся к жизни существ – личинок, куколок, жучков, травяных вшей, гнезда полевых пташек, чашечки едва распустившихся цветов, – все погибло под ногами прошедшего опушкой отряда. А когда тут же, вслед за пулеметной командой, утомленные лошади провезли орудие, – на месте живого мира осталась затоптанная полоса земли с глубокой колеей.

И долго еще ковылял по ставшему пустыней живому Божьему саду чудом уцелевший муравей-лазутчик пастушеского племени Lasius flavus, не находя более ни друзей, ни врагов, не узнавая местности, затерявшийся, несчастный, малая жертва начавшейся катастрофы живущего.

Как было приказано, отряд остановился в деревушке. Лаяли и с визгом убегали собаки, солдаты с ведрами и манерками потянулись к реке, хриплый голос говорил слова команды, кудахтали потревоженные куры, и ночь опустилась над землей, не запоздав ни на секунду времени.

И загорелись в небе звезды миллиардолетним светом.

ПЛАНЫ

Программа ласточки, прилетевшей на Сивцев Вражек из Центральной Африки и жившей над окном Танюши, была в общих чертах выполнена. Птенцы вывелись, окрепли,

научились летать и были готовы к самостоятельной жизни. Забот теперь было мало, интерес к жизни не так могуч, и главные устремления ласточки и всего ласточкиного народа сводились к усиленному питанию, чтобы выдержать осенью обратный перелет. Искренне упивалась жизнью только молодежь, еще чуждая страстей, веселая, готовая целый день шнырять, гоняться за мухами, болтать вздор на телеграфной проволоке и на закате ловить в выси лучи уходящего солнца, когда внизу ползут уже сумерки.

Программа жизни неприятно умного студента Эрберга была сложнее. Он кончал университет, имел в виду остаться при нем по специальности (государственное право) и жениться по чувству и с расчетом. Так как торопиться было некуда, то он мог хорошо и внимательно присмотреться, прежде чем выбрать себе жену среди молоди профессорских семейств. Одной из кандидаток на счастье была Танюша. Поэтому студент Эрберг посещал воскресенья профессора орнитологии; но держа Танюшу в резерве, студент Эрберг продолжал неспешно осматриваться, вполне уверенный, что недостатка в выборе не будет.

В июле была объявлена война. Среди полумиллиарда людей, житейские планы которых она поколебала, был и неприятно умный студент Эрберг, только что сдавший государственные экзамены. Как все умные люди, вкусившие от мудрости государственной науки, он считал, что война не может продолжаться дольше двух-трех месяцев. Поэтому, не спеша портить свою карьеру и обеспечивать себе место в гражданском тылу, он поступил в школу прапорщиков. Форма ему шла, офицерская пойдет еще больше. Вынужденный отдых от умственных занятий был необходим. Военная муштровка укрепляла тело. Эрберг сразу научился печатать ногами, рапортовать, держать пояс подтянутым и в полном порядке укладывать на ночь одежду. Он был высок ростом и в ученье стоял фланговым.

Больше всех в Эрберга была влюблена горничная Дуняша, брат которой был на войне с первых дней. Эрберг, как будущий офицер, казался ей существом высшим, недосягаемым; он и был им для Дуняши, и она краснела пятнами от подбородка до кончика ушей, помогая ему снимать юнкерское пальто. И Дуняша же первая заметила, что с Эрберга не сводит Леночка круглых удивленных глаз. И понятно – он красив, значителен и о военных операциях говорит с тою же уверенностью, как раньше говорил о

театре Станиславского и вопросах международного права. Но в форме он милее, моложе, ближе сердцу простой девушки.

Если бы Танюша знала, что она – одна из избранниц Эрберга, она бы его боялась; но Эрберг ничем ее от других не отличал, разве – ласковой почтительностью и особым вниманием к старушке Аглае Дмитревне. Это последнее Танюше нравилось, и к Эрбергу она относилась хорошо. Интересов его не понимала и не разделяла. Но все же молодец, что не захотел укрыться в тылу, как другие, а записался в прапорщики. За это Эрберга в профессорском доме все одобряли, и Танюша была довольна: это – ее знакомый. О Леночкиных чувствах немного догадывалась, – но время было такое, когда мало думалось и говорилось о личном, о чувствах, даже о музыке: война захватила всех, об ином и говорить было как-то странно.

У Эрберга была мать, уже пожилая: ее он никому не показывал – или не приходилось, или расчета не было. Покойный отец был из рижских немцев, а мать из московских мещан, совсем незначительная. И у матери были планы: пускай все будет в жизни так, как хочет ее замечательный сын. Ведь раньше было в жизни так, как хотел его отец, – и дурного не вышло. Мужчины знают больше, чем догадываются женщины. И она носила наколку, вела хозяйство и заботилась о чистоте наброшенных на кресла плотных, добротных вязаных салфеточек.

Эрберг целовал матери руку. Если бы поцеловала она ему – было бы и это просто и естественно. Когда он выходил, мать не спрашивала, куда он идет и когда вернется. Если нужно – скажет и сам.

В планах ласточки был неспокойный, беспутный перелет; в плане Эрберга – прочность и корень. Когда Эрберг пил чай, он ставил свой стакан на средину блюдечка верной, спокойной, красивой рукой.

ВРЕМЯ

В подвальном помещении под кабинетом ученого-орнитолога, в том месте, где в фундаментальную стену упиралась балка, было на стене зеленоватое пятно, покрытое пухом белой плесени. На сыром каменном полу насыпался небольшой валик мельчайших перегнивших кусочков дерева и сырых пылинок извести.

В глазах мышки это пятно было как бы гобеленом. Его грибной рисунок был замысловат, тонок и многотонен. Тысячи поколений работали над ним. Выпоты сырой гашеной извести пробуждали жизнь в промежутках кирпичной кладки, под слоем штукатурки. Без общего командования, как бы без плана шла работа разрушения. Микроскопические существа, любя и питаясь по-своему, вспахивали и унаваживали грибное поле. Они гибли, выделяли тепло и возбуждали деятельность жирной грибницы, возрастившей дремучий лес стройных пальм, вислых ив и цепких фантастических лиан.

Та же непрестанная жизнь и непрерывная, без часов и минут отдыха, работа согревала деревянную балку. Мягчайший, мельчайший червячок с прочной стальной головой сверлил ходы сквозь волокна дерева; уставши – окукливался, становился жучком, клал яичко, умирал. Новый червячок прокладывал новый путь, чертя в древесной мякоти условный рисунок. И мертвое, холодное дерево, когда-то страстно сосавшее землю, когда-то пластавшее зеленый лист к лучам солнца, – вновь согревалось, дышало теплом миллиона гнезд и мастерских, мечтая о возврате в землю и новом воскресении в живящих соках.

И, деловито, упрямо, блестя шариком глаз, напрягая мускулы хвоста, серая мышка зубами и коготками отламывала щепочки от толстой доски пола. Эту работу начали ее предки. Был сделан точный инженерный расчет расстояний и направления. Расчет уже забыт, но следы зубов и когтей указывали верный путь... Упираясь задними лапами в неровность стены и мякоть щебня, мышка сразу делала два дела: продолжала культурную работу поколений и стачивала слишком быстро росшие зубы.

Шум извне спугнул труженицу подполья. По булыжной московской мостовой переулка, громыхая, проехала телега. Со стены упало несколько чешуек; неубранным сором завалило ход червяка. Лопнула в балке истлевшая ворсинка дерева. Старый особняк профессора задрожал и накренился на несколько линий, незаметно даже для зоркого мышиного глаза. Непросохшая капля вчерашнего дождя залилась между камушком и внешней стеной. На крыше дома лопнул ржавый гвоздик, державший лист кровельного железа. Ласточка под окном выпорхнула из гнезда, продержалась в воздухе, осмотрела глиняные скрепы своего сооружения и, успокоившись, вернулась к оставленным яичкам. Ее дом был нов и крепок.

Профессору понадобилась справка; долго перелистывал толстый немецкий том, потом вспомнил, что в прежних своих работах уже приводил эти цифры. Выдвинул из регистратора коробку, вынул рукопись давнишней работы, стал искать, удивился прежнему выводу: новые данные меняют его. Рукопись была того же формата, как и новая, недавно начатая; и те же линейки бумаги. Но старая бумага пожелтела. И почерк профессора, прежде крупный и уверенный, помельчал, стал неровным, скосился направо. Профессор этого не заметил. Со стены глянула на него молодая жена в платье с буфами на плечах, тонкая в талии, улыбнулась, – но и ее он не заметил.

Рядом в комнате старушка вынула из стакана и насухо вытерла челюсть. Вставила, пожевала, приладила и посмотрела в зеркало: впадины щек растянулись, изгладились. Вдохнула и поправила чепчик.

Танюши дома не было. Танюша сидела в большой полупустой аудитории и внимательно слушала лекцию. Профессор с осторожностью, боясь быть слишком крайним, подкапывался под теорию прогресса. Его критический ум требовал круговорота истории. Уходя в глубь веков, он рисовал красивую картину исчезнувшей культуры Востока. И перед удивленной Танюшей, пережившей свою шестнадцатую весну, народы Средиземноморского побережья, культуре которых ее учили изумляться в гимназии, – лишь изживали или реставрировали обломки культуры древнейшей, созданной народами, ранее их пришедшими в мир.

Из глубины веков вставала величественная религиозная система, охватившая своей дисциплиной все стороны жизни, проникавшая и интересы духа, и мелочи быта, заполнявшая всю жизнь человека.

Под наслоениями греческой науки и философии, внезапно лишенными оригинальности, проглядывал Вавилон, сияла высокая мысль египтян, иранцев, индусов. Непрерывность исторического развития пресекалась гибелью культур и завершенностью процессов.

В старом профессоре это рождало пессимизм и горечь мысли; в юных душах рождалось иное: восторг перед прошлым, уважение к отдаленному предку, не просто человекоподобному, а мыслителю, поэту, великому политику.

Из развалин древности пробивался новый источник жизни, мысль стремилась к новому возрождению.

Но и старому и юным одно было ясно: крушение ценностей, хотевших быть абсолютными, шаткость здания се-

годняшнего быта, близость грозы, сгустившейся над новым Вавилоном.

Танюша слушала профессора, внимательно наблюдала, как с носа его постоянно спадало золотое пенсне, глядела в прошлое, чувствовала будущее и росла. На нежном мозге быстрыми штрихами зачеркивались записи детской думы и простых верований, каракульки ребяческих дневников исчезали под скорописью новых слов, и капал деготь мысли в мед сердца.

Танюша слушала, и рот ее был полураскрыт.

СОЛДАТЫ

С барским особнячком на Сивцевом Вражке очень малым был связан брат Дуняши, Андрюша, рядовой Колчагин, пехотинец.

Этот жил до призыва в деревне, а война застала его на двадцать третьем году жизни. Не оглянулся, как оказался в окопах, а скоро снялись и начали отступление.

Впрочем, шли ли вперед, шли ли назад, – рядовой Колчагин не знал. Неприятеля близко не видал, а только ухом слышал. Из-за чего война – понять не мог, а что приказывали – делал аккуратно. Был вынослив, пищей доволен. Как неженатый и без своего хозяйства, по деревне скучал меньше других. Утомившись – спал; мог и выпить, когда было на что или когда угощали. Офицеров, которые не дрались, уважал; которые дрались – еще больше, считая именно их настоящими.

Таких же, как он, были еще тысячи и еще миллионы – постарше, помоложе, поглупее, подогадливее. В массе они были великой военной силой, по отдельности – Иванами, Васильями, Миколаями из деревни Вытяжки близ села Крутояр. Верст за тысячу и за две от их деревни были местечки с каменными стройками и богатыми запасами навоза: Блаукирхе, Иоганнисвальд. Солдаты из этих местечек носили медные каски, были грамотнее, понимали больше и лучше маршировали. Но, грозное войско – вместе, по отдельности они были Гансами, Вильгельмами, мелкими хозяйчиками, батраками, рабочими. Еще дальше к западу жили и ушли на фронт Жаны и Базили из местечек Масси и Бьевр; южнее – из живописного прибрежного Пьеве ди Кастелло и горного Рокка ди Сант Антонио, где женщины провожали молодых Джованни, Джузеппе и Базилио.

Новобранцы, особенно при женщинах, держали себя браво и героически; в душе же их была безмыслица, прикрытая робким недоумением. Но было придумано много простых, легко произносимых слов и довольно красивых оборотов речи, одинаковых на всех языках, для замены и облегченья мысли. Придумываньем таких слов были заняты адвокаты с малой практикой, старавшиеся через журнализм попасть в парламент. В том, что все это хорошо, честно и даже умно, были искренне уверены многие хорошие, честные и умные люди, и это придавало настоящий вес войне и патриотизму.

Под зданиями дипломатических кладбищ были проложены канализационные трубы, по которым гадкая жидкость текла в центральную клоаку, а оттуда на поля орошения, где росла прекрасная цветная капуста. Таким образом, путем тщательной очистки чиновная ложь и мерзость на последнем этапе превращалась в красоту храбрости и чистую слезу. Люди же ограниченные говорили о простом обмане, что было несправедливо: обман был очень сложен и величественен. Поэтому люди с узкими лбами стали пораженцами, мудрые же отошли от жизни, одни – на долгие годы, другие – навсегда.

Между теми, и другими, и еще третьими, и четвертыми, и всеми остальными разница была так мала, так незаметна, что судьба решила, не копаясь в мелочах и из опасения возможной ошибки, всем им уготовать одну и ту же участь. Она взмахнула бичом и на всех телах оставила красный, неподживающий рубец.

Да. Но дело в том, что было нечто гораздо важнее таких рассуждений, а именно вопрос о рубашке и штанах. С казенными как-то сразу вышла заминка, а походных бань и совсем не было. Иметь же свою, домашней работу рубаху – это совсем особенная вещь, этого в двух словах не расскажешь, но разумному и так понятно. Если баня была светлой Пасхой, то рубашка – воскресным днем, вроде воздуха после душной барачной землянки. Поэтому Андрей написал Дуняше письмо, которое прошло нужную цензуру, дошло до кухни на Сивцевом Вражке и попало в столовую профессора.

Читала письмо Танюша, обсуждали все, а Дуняша старалась прикинуть, сколько обойдется послать братану рубашку, если сошьет ее она сама.

После обеда в кухню пришла Танюша и дала Дуняше денег, гораздо больше, чем было нужно, сразу на две рубашки и

на штаны. Танюша стеснялась, а Дуняша была бы рада, если бы только могла понять, почему господа дали ей денег на нужду брата? Жила давно, считала их добрыми, дарили часто, очевидно ценя ее службу. А почему дают на рубашку Андрюше, не так понятно. И Дуняша взяла как подарок себе.

Теперь стало проще. Дуняша купила добротной материи, шила вечерами, сшила и послала. Танюша узнала ей, как переслать Андрею на фронт, сама все надписала. Написали и письмо. И было Дуняше так странно, что вот из этой кухни пойдет и письмо и рубашка прямо на фронт, где Андрюша стреляет в немцев.

Так и случилось. Прошло с месяц, и опять почтальон принес солдатскую весточку: Андрей рубашки получил, как раз впору; с неприятелем же мы скоро справимся. Ганс писал то же своей жене в местечко Блаукирхе. Но лучше всех написал письмо красавчик Джованни из Пьеве ди Кастелло – своей невесте. Он посылал ей mille baci[1] и в самом конце приписал: «L'amour é invincibile, come la forza italiana»[2].

Впрочем, его отряд стоял пока в окрестностях Вероны. Но не в том дело. Открытка была красива, а в левом углу – Савойский герб. Розина показала подруге, и обе были в восторге.

Ложась спать, Розина письмо положила под подушку. И заснула она только после долгих вздохов. В своей деревне она считалась самой красивой девушкой.

У ТАНЮШИ

В день рождения Танюши (семнадцать лет) Сивцев Вражек до утра слушал музыку, но не Эдуарда Львовича, а приглашенного тапера. В доме профессора, таком штатском, таком солидном, впервые появилась военная молодежь, и сразу много, – офицеры больше юнкера, и только один Белоушин – вольноопределяющийся. Дуняшин брат Андрей был в отпуску, на побывке после легкой раны, и помогал ей прислуживать. Он говорил Дуняше:

– Здесь што! У нас на фронте, в штабе, не так еще отплясывают. И музыка – всем музыкам музыка, потому што полковой оркестр. А здесь што!

Перед офицерами Андрей стоял навытяжку, к юнкарям становился боком, вольноопределяющегося совсем не замечал, когда подавал чай.

[1] Тысячу поцелуев *(ит.)*.
[2] «Любовь, как итальянская мощь, непобедима» *(ит.)*.

Самым блестящим офицером был Стольников, совсем молодой офицер, но уже поручик, произведенный на фронте. Здоровый, стройный, загорелый, умница, неплохой танцор. Лучше его танцевал только Эрберг, еще юнкер, но уже перед выпуском. Если сердце Леночки колебалось, то только Стольников мог отвлекать его внимание от кумира давнего. Стольников был прямее и проще, но Эрберг привлекал серьезностью и загадочностью. Леночке на вечере в Сивцевом Вражке было весело, и ее брови меньше обычного удивлялись.

Стольников на днях возвращался на фронт – с охотой. В Москве он был по делам, командированный по закупке лошадей. К фронту он уже привык, здесь чувствовал себя гостем. Он был артиллерист, нанюхался пороху, имел, что рассказать, сжился с батареей. Ему казалось, что жизнь сейчас там, а не здесь. Но и здесь хорошо, когда весело, когда не говорят пустяков о войне, которой не понимают.

Эрберга скоро могли отправить на фронт. Теперь уже всем ясно, что война затянется.

Были студенты: медик Муханов, юристы Мертваго и Трынкин, естественник Вася Болтановский. Этот – большой приятель Танюши, энтузиаст, верующий, театрал, любитель музыки. По мнению Васи, с которым Танюше было легко и свободно говорить, мир немножко сошел с ума, но это не беда, а очень интересно.

– Мы увидим такие вещи, такие события, что сейчас и не придумаешь. Очень интересно сейчас жить, Танюша!

Вася Болтановский был любимцем старого орнитолога, который знал отца Васи таким же пылким и жизнерадостным студентом. Васю единственного профессор, со всеми изысканно, по-старинному вежливый, назвал на «ты», любя брал за вихор и отечески ласкал.

– Жить, милый мой, всегда интересно, и никаких для этого особенных событий не требуется, а уж вернее – наоборот. Такие-то события только мешают внимательно читать книгу природы. Ты вот естественник и должен это лучше других знать. Войну лучше в микроскоп разглядывать, разницы никакой нет. А уж жить лучше в мире.

Вася возражал:

– В микроскопе козявка, а тут человек. И я не о войне одной говорю. Тут, профессор, весь мир вверх тормашками... Не успеет война кончиться – такие начнутся дела... прямо жутко и весело.

– Жутко, да не больно весело. Убьют тебя – матери твоей не больно весело будет. Нельзя, Вася, так говорить! Ты кровь учти, кровь. Цена какая!

Вася задумчиво говорил:

– Да, это – да. Вот с этим мириться трудно. Если бы не кровь...

Медик Муханов, еще не сдавший курс остеологии, вставлял солидное мнение:

– Без крови, профессор, операции не бывает.

На что получал от профессора, не любившего медицины:

– Ну, положим, бывают операции и без крови; если вы себе челюсть свихнете, вас врачи резать не станут. А главное – живет весь мир существ без медицинских операций, живет не хуже нашего, и гордиться нам нечем. Насильственных вторжений в мировую эволюцию природа вообще не терпит; она мстит за это, и жестоко мстит.

Танюша думала, что дедушка прав лишь постольку, поскольку он – добрый и поскольку убийство человека отвратительно. Но ведь война не совсем простое убийство, и разве существует мирная эволюция природы? И там скачки и там войны, революция, борьба. Дедушке хочется, чтобы все было просто, мирно и хорошо. Но в действительности бывает совсем не так.

Но тут уже начинался вопрос, на который ответа Танюша не имела.

О войне было мнение и у Дуняшиного брата Андрея. Он излагал его на кухне Дуняше в таких выражениях:

– Человека я наверное убивал, хотя и не своими руками, а, конечно, пулей. А доведется – и штыком пропорю. И, однако, я не убивец, а я воин. Воюем же мы, Дунька, для причин государства, а не для себя. Мне на немца вполне наплевать, хоша я его и должен ненавидеть, так как через него страдаю по долгу присяги. Приказывают – и идем без сопротивления для принятия ран и даже смерти. А чтобы хотеть мне войны – я ее хотеть не могу, а совсем даже не желаю, прямо тебе говорю. И, главное дело, – вши! Почему я их кормить должен? А между прочим, кормим. Это надо понимать.

На вопрос же профессора: «Когда вы немцев победите?» – Андрей ответил молодцевато:

– Так точно, обязательно скоро их прикончим во славу отечества. Иначе невозможно.

И покосился на молодого боевого офицера. Тот сказал: «Молодец, пехота!», а Андрей выпалил:

– Рады стараться, ваше благородие!

Все рассмеялись, юнкера позавидовали, а Леночка окончательно решила, что сегодня Стольников интереснее Эрберга.

Андрей, проходя в переднюю, как бы невзначай задел локтем вольноопределяющегося. Дуняше же на кухне заявил:

– Только один и есть наш, заправский; а которые прочие – так, шаркуны, пороху не нюхали.

ТАПЕР

В углу гостиной, на низком кресле, некрасиво подобрав ноги и сильно горбясь, сидел Эдуард Львович, нечаянно забытый всеми и, конечно, самый неинтересный в этот день человек. Он невольно морщился, слушая, как тапер барабанил по клавишам рояля, и душою болел за инструмент.

Он не мог не прийти на вечер Танюши в такой ее торжественный день (семнадцать лет!). Теперь можно было бы и уйти, не ожидая ужина, но Эдуард Львович не решался.

Из своего уголка он видел мелькавшее платье Танюши, иногда ее прекрасную русскую головку с гладко зачесанными волосами. Таня расцветает и должна стать крупной и красивой женщиной. Она очаровательна не одной юностью: она по-настоящему хороша. Она так же хороша, как жалок и некрасив сам Эдуард Львович. Она молода, он – скорее старик. Он талантлив, и это не дает ему ни перед кем преимуществ. Даже Вася Болтановский, курносенький, вихрастый, смешной, имеет шанс перед Эдуардом Львовичем, потому что Вася Болтановский молод и смел. Он обнимает Танюшу за талью и кружит по зале. И Танюша близко дышит на Васю. Тапер барабанит по клавишам, и это мучительно.

Вошли в гостиную студент Мертваго, тонкий, старообразный, бритый, и с ним барышня, фамилии которой Эдуард Львович не знал, так как ее просто называли «невестой Мертваго». Она была лишь годом старше Танюши, но уже казалась молодой дамой: спокойная, изысканно одетая, говорили – богатая. Студент Мертваго кончал университет в будущем году. Значит, через год он наденет фрак и будет говорить: «Господа судьи и господа присяжные заседатели», а по вечерам перелистывать деловые обложки с фамилией патрона. Призыв его не коснется – единственный сын. Ему везет, студенту Мертваго!

Но ему Эдуард Львович не завидует. В сущности, и Васе он завидует только сейчас, когда тот танцует с Танюшей. Эрбергу – гораздо чаще и больше. Эрберга Эдуард Львович немного боится: Эрберг умен и расчетлив. Но как странно, что он будет офицером и пойдет на войну. Может быть, Эрберг просчитался?

Профессор отыскал композитора:

– Хорошо это, когда молодежь веселится! Шли бы и вы танцевать.

Эдуард Львович потер руки:

– Да. То есть нет. Я уже не могу! Но я смотрю с удовольствием.

– Танюша у нас растет!

«У нас» приобщало к семье и Эдуарда Львовича. Понятно: он музыкальный воспитатель Танюши. Эдуард Львович покосился на бороду профессора и увидал широкую и радостную улыбку. И тогда он решил, что сейчас уйдет домой. Но никак не мог найти фразы на эту тему и не знал, своевременно ли об этом говорить. И только еще раз потер руками. В эту минуту тапер неприлично сфальшивил и оборвал танец.

Профессор перевел глаза на будущих супругов Мертваго, подошел к невесте, похлопал по плечу студента, не придумал для них ничего, кроме: «Ну, так как же? Ага, ну-ну» – и грузно направился в столовую, где Аглая Дмитревна строго осматривала приборы: все ли на месте, верен ли счет, разложила ли Танюша бумажки с фамилиями. С собой Танюша выбрала посадить Васю и Эдуарда Львовича. Старики не ужинали. Однако профессор, подойдя к столику, выпил полрюмки водки и закусил грибком. Это согрело его и развеселило. С некоторой завистью взглянул на накрытый стол, вспомнил о катаре, сказал жене: «Ну, бабушка, ты захлопоталась», поцеловал ее сморщенную руку и хотел пройти в кабинет. Но на пороге остановился и вернулся. Опять подошел к старушке:

– Смотрел я, бабушка, на Танюшу нашу. Танюша-то, знаешь, ведь растет у нас, а?

Аглая Дмитревна посмотрела на мужа, считая в памяти, сколько не хватает вилок. Профессор похлопал ее по щеке, и бабушка забыла счет. Профессор опять сказал:

– Семнадцать, а? Не шутка! Танюше-то нашей. Внучке-то!

И тут доброе лицо Аглаи Дмитревны озарилось улыбкой. Может быть, вспомнила, что и ей было семнадцать;

может быть, вспомнила, сколько нужно еще вилок. И смотрели друг на друга, старенькие такие. И вдруг из глаз профессора, прямо на бороду, упала капля. Смутился, заспешил, зацепился пуговицей сюртука за старухино кружево, сказал:

– Э-тэ-тэ-тэ, какая штука! А я сейчас грибком, знаешь, закусил.

И оба, совсем маленькие старикашки, вытирали друг другу глаза. У Аглаи Дмитревны ротик собрался в морщины, а капля с бороды птичьего профессора попала на сюртук; бабушка замочила в ней руку.

В обход залы, тайком через столовую бочком в переднюю выбрался Эдуард Львович. Там долго, волнуясь, искал свое пальто в куче шинелей – рыжеватое пальто на клетчатой подкладке. Потом приоткрыл дверь в кухню и униженно попросил:

– Дуняша, вы бы не отказали запереть за мной двери?..

– А что, барин, ужинать не останетесь?

– Да. Нет, благодарю вас...

И до самого поворота за угол энергичный тапер преследовал робкого композитора.

ВИДЕНИЯ

Солдат Андрей Колчагин, Дуняшин брат, был ранен на войне – очень легко. Пуля чиркнула по его голове, сорвала кусочек белобрысой щетины и улетела дальше; может быть, зарылась в землю, а может быть, в чье-нибудь сердце. Они шли тогда в атаку занимать австрийский окоп. Ничего, заняли. Но Андрея Колчагина подобрали санитары, так как он упал, не то от потери крови, не то от контузии.

Рана зажила скоро, а в лазарете Андрей лежал больше из-за головной боли: не давала она ему покоя. Иной раз выл, иной раз не мог пошевелиться. А как полегчало, получил отпуск. И в Москве, на отдыхе, совсем поправился. Жил нигде, спал у Дуняши на кухне, а она в своей комнате. Питался же с профессорского стола и очень был благодарен. В чем мог, помогал по хозяйству, ходил по поручениям. Отпуск имел месячный.

Одно осталось от болезни – неровный сон, иногда кошмары. Особенно если выпивал лишнее. Вообще же Андрей Колчагин не пьянствовал, так – иногда, в праздник. Да и вина в продаже не было, значит – от случая к случаю.

Проснулся Андрей ночью от своих слов; ясно и браво сказал: «Так точно». И колотилось в левом боку о тонкий тюфяк на полу, как пулемет: не скорей, не тише и так же громко. И сон сразу улетел.

Он уже к этой болезни привык. Лежал между сном и несном, о чем-нибудь думал. В лазарете вот так лежал рядом с вольноопределяющимся, из господ, и чего только тот не наговорил Андрею: голова замечательная, до всего дошел! И насчет жизни, и про войну – что может ее совсем и не нужно, и про разные обманы, – про все говорил смело, потому что у него отрезали ступню и ему все равно было – нечего жалеть. По тому самому Андрей ему и не очень доверял, тем более что из господ, бывший учитель. Но слушать – слушал.

Теперь Андрей, лежа один, ничего из этих разговоров не мог припомнить; только вот одно, что, может, войны никакой и не нужно, а только обман. Голову солдату морочат. И вши на фронте едят до невозможности. Все это, однако, за отечество. А почему бани нет? И так затявкает пулемет, – вот как сейчас на левой стороне, под боком: ту-ту-ту...

Затем думал Андрей о сапогах; и вообще о сапогах, и о новых и франтовских в особенности. Вспоминал разные сапоги, какие видал. За офицерские сапоги (носить в тылу на праздниках) отдал бы он, пожалуй, пол-отпуска. Однако в окопах они совсем ни к чему.

Затем о кухне думал, но немного. Что мыши бегают, что Дуняша во сне сопит носом, что жареным луком пахнет и что не хочется встать и пойти до ветру. А пулемет под боком выводил свою песню, и на лбу Андрея был пот. Что это за болезнь такая, не проходит?

Отчего-то начал думать про своего ротного, – и уж до чего же его не любят солдаты! Другие офицеры – туда-сюда, всякие бывают, а вот ротный – зверь и совсем не человек. В деле храбрый, ничего против него не скажешь, ничего и не боится, а вот в ученье или так – ну не человек, а как волк! Один глаз раскосый, орет на всякого и дерется. Нет хуже офицера, который дерется зря, от злости.

И вот тут начался у Андрея кошмар. Будто ротный бьет Андрея, и будто Андрей его тоже бьет. А бьет ни по чему, по воздуху, никак попасть не может. И страшно Андрею, и уж никак нельзя остановиться, все равно пропадать, так уж было бы за что. У самого теперь от злости в груди скачет, из гимнастерки выскакивает. Левой рукой Андрей впихнул

обратно сердце, держит, а правой в морду ему, в морду, промежду глаз раскосых, – и все мимо. Выходит – пропадать приходится ни за что; это ему всего обиднее: так и не отведешь душу на офицерской морде с усами. А у ротного кривой глаз еще смеется; никогда раньше не смеивался.

Попробовал Андрей проснуться – слава тебе Господи! Ничего нет, и, однако, стоит он перед взводным, а тот его деревянной ложкой по левому боку: раз-два, аз-два, аз-два; ложка-то казенная, насквозь и прошла. Больно не больно, а обидно. И опять растет злость у Андрея, и опять перед ним ротный, и та же скверная история. Схватил его Андрей за горло, под воротником, мнет, – а горло мягкое, как тряпка, ничего не выходит. Ротный ворочает глазом, а из горла сипит: «Расстреляю тебя, сукинова сына». Хвать рукой за ложку и выдернул ее из Андрея вместе с мясом. Ахает Андрей и просыпается – опять весь в поту.

Перелег на другой бок. Сосед, вольноопределяющийся, прижал ноздрю, сморкнул и говорит простым голосом: «Вся война ни к чему, а ротного мы сейчас будем на куски». Взял простыню, будто это ротный, и начал рвать и складывать, рвать и складывать. И подумал Андрей: «Вот то-то, сам ты – барин, тебе всё игрушки». Тут засвистало, и – чирк его, Андрея, по голове. Закричал он нехорошее выражение и проснулся опять, уже теперь совсем проснулся.

Было за окном светло. Большая муха звенела в стекло, а голова у Андрея побаливала. Из крана помочил затылок, так и фельдшер советовал, прогулялся до ветру, – а на будильнике часов шесть – седьмой. Решил Андрей больше не ложиться – все равно скоро подыматься. Натянул штаны, накинул гимнастерку и вышел за ворота, где дворник подбирал на мостовой на скребку и сыпал в ящик. А Андрей смотрел, без особого любопытства, но с сочувствием. Хотя был он кавалер, но в дворницкой работе ничего низкого не видел.

Потом постояли, покурили. Дворник сказал:

– Нынче рано поднялся.

– После лазарета сна нет настоящего.

– Сколько дён осталось?

– Завтра последняя неделя пойдет. И опять вшей кормить.

– А как, охота, неохота?

– Чего ж, и там люди. Вот только кабы знать – может, вся эта и война ни к чему.

Дворник, двадцать лет служивший при доме, подумал и авторитетно заметил:

– Это, брат, дело не наше. Нам этого знать нельзя. А как в Расее неприятель, то, значит, и воевать приходится.

Андрей сказал:

– Кровь-то, чай, наша.

– А что такое наша кровь? Кому тебя нужно? Скребком да и в ящик. На том свете разберут.

Голова Андрея побаливала. Все же пошел принести Дуняше охапку дров для плиты.

День был понедельник – тяжелый день. Туго просыпались на Сивцевом Вражке.

DE PROFUNDIS [1]

Сталь, медь, чугун – таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он стоит неподвижно.

Затем он охает всей грудью и кашляет короткими срывами. Дрогнул он – дрогнула, звякнула, ожила вся цепь вагонов. Над ним клуб дыма, в его груди копошится его нянька, паразит и ласкатель – чернолицый, промасленный кочегар. Еще пищи огню, которым он дышит! И вот он уже далеко.

Громадный, круглогрудый, мощный, – вдали он превратился в головку гусеницы, ползущей по земле. Он приручен и деловито тянет за собой все, что доверено его силе. Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Все они – железные рабы человека.

В теплушке, перегруженной живыми телами, он увез на фронт рядового Колчагина. Теперь везет в классном вагоне молодых офицеров; среди них расчетливый, неприятно умный Эрберг, в новенькой форме, серьезный, всегда загадочный для влюбленных Леночек. Эрберг смотрит на стрелки часов и считает стуки поезда.

Две минуты верста – медленно! Окна бегут мимо столбов с пометкой. Большой столб и четыре промежуточных камня с меркой пройденных сажен. Ти-та-та, та-та-та. А что, если Эрберг не вернется? Расчетливый юноша, вы знаете свою судьбу? Пуля знает свой путь, человек идет грудью ей

[1] De profundis – начало покаянного псалма «Из глубины воззвах», который поется при отпевании по католическому обряду (Псалтирь, 130, 1–2). В более широком смысле – молитва над умирающим, отходная *(лат.)*.

навстречу, не видя ее полета. А что, если Эрберг вчера в последний раз видел Москву, – и башни кремлевские, и Сивцев Вражек? Ти-та-та, та-та-та. Как это странно! А ведь возможно! Эрберг спрятал часы и застегнул френч.

Толчок. Прирученный гигант остановился, хлебнул воды, разжег новый огонь, вздохнул паром. В вагоны и теплушки спешно карабкались солдаты; за плечами ранцы, в ранцах домашние сухари, у кого и нога баранья. И куда спешить! Ведь там убьют! Вот здесь едет в классном вагоне офицер, – а там поле, над полем небо, на поле тело, прорванное осколком; и то тело ехало так же, тем же путем и с надеждами теми же.

Солдат, швырнув в теплушку ранец, карабкался левой коленкой, а правая нога болталась, такой неуклюжий, чистый мужик! Эй, смотри не опоздай, служивый, с побывки! Поторапливайся, доживай деньки! Получай Георгия за храбрость и ведро извести на гнилые раны, чтобы и рот залепило, чтобы и на том свете не жалобился; сверху бугор земли и общая солдатская панихида. А ранец? А куда же денут твой ранец? Гложи скорее баранью ногу, – эх вы, солдаты, головы бараньи! Но вот ведь и умный человек, расчетливый барин, едет в одну с вами сторону и везет вас один паровоз. Может быть, мир и действительно сошел с ума? И опять тронулся поезд.

Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные тела человечьи. На десять человек – пятнадцать ног; хватит! У кого дырочка в спине, пониже лопатки, – насквозь, под соском вышло. Кашляет – значит, жив. А тот слепой – значит, тоже жив; зрячих на земле не осталось.

Входят в поезд дамы с красными крестами, несут чай, махорку, цветы. И тому, что с дырочкой в груди, достался букетик полевых колокольчиков – за чин его офицерский, за молодость и отвагу. А вдруг бы он вскочил и из последних сил – стал душить, душить, бить костылем по красному кресту, по здоровым женским грудям, плюская их деревянным молотом: это за букетик-то! Но улыбаются раненые: у сестер на губах умиление и мед. А так мало меду вкусили молодые воины, которых везет обратно поезд!

Сбыл их, сбросил на конечной станции, – и назад, без устали. Теперь тащит груз немалый: пулеметы – убивать, противогазы – чтоб не убили, снаряды – убивать, медикаменты – чтобы не умереть, бомбометы – убивать, повозки – для раненых... Что еще? Мясорубки где же? Чтоб в одном котле порубить и прожать сквозь железное сито вместе ивановы

мозги и петровы сердца? Где сера и смола, чтобы сделать факелы из людских туш, – жить будет светлее? И еще железная кошка с круглыми когтями: заводить в глазные впадины и рассаживать черепную коробку в осколки и клочья. Вместо них везут бинт – перевязывать малую царапину: бедный солдатик щепал лучину и напорол мизинец; занозу вынули, йодом, ватки, сверху бинтом – получилась куколка. А если он возропщет? И вы думали, что солдаты останутся на фронте, когда повеет в воздухе свежим? Да! Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе. Но не всякий обязан быть умным: захотелось в цари дураку.

Довез и эту кладь. Везет назад вагон почтовый – от Миколая Дарье с поклоном и всем соседям: «А я ничего, здоров». Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогонку из-под земли: «Стой, подожди, я помер». К Дарье от Миколая новый приказ: долго жить. А сам Миколай жил недолго, очень недолго, – зарыт в землю по двадцатому году.

Есть и от Эрберга два письма, одно – матери, другое – на Сивцев Вражек. «В деле еще не был, но вообще обо мне не тревожься. Все это не так страшно, как кажется».

И Танюше: «Мой привет Вашему дому. Часто вспоминаю Ваши музыкальные воскресенья. Все это кажется таким далеким... И полон надежды еще не раз услышать, как...»

Полон надежды? О Эрберг! О расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист, – вам еще это не знакомо? О Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь: солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О Эрберг!

В тот день на Сивцевом Вражке Эдуард Львович играл «De profundis».

ОТЛЕТ ЛАСТОЧКИ

Невысоко в небе тучкой летели ласточки из России в Центральную Африку – только на зиму, чтобы там переждать холод и опять вернуться.

Родиной их была Россия, она же и страной любимой. На ее полях, под окнами было лучшее: пища, приют, любовь; на чужой стороне только отдых. Но на родине слишком мало солнца было зимой, сердце ласточки могло обра-

титься в кусочек льда; и слишком губительно жгло солнце летом в Центральной Африке – как бы не сгореть от его ласки. Были и другие причины перелета белогрудых птичек, но человеку о них знать не дано, даже тому старому профессору, над окном которого осталось прочное гнездышко из московской глины.

И по пути видели ласточки со своих высот:

по зеленому фону – нити рек и прохладные пятна озер; как кучки мусора – города и городочки, и вокруг них реже лес, скуднее зелень полей, точно дыма и грязи их чуждается природа, уходит подальше.

Еще видели – низко пролетая – спокойного пахаря за спокойной лошадью и за ним след поднятой земли.

Еще видели быстрый бег поезда по двум нитям железа и ход автомобиля по серой укатанной дороге, – но лет ласточек был быстрее.

Еще видели, как огромным червяком ползли отряды солдат с двух сторон к одной границе, где была взрыта земля и где червяки таяли и исчезали.

Случилось, что в небе появилась птица небывалой величины и грозно и нудно гудевшая, а вокруг нее мячиками скакали белые и желтые клубочки. В один из таких желтых клубочков, отставших в небе от чудно́й птицы, влетели несколько ласточек и тотчас, сжавши крылья, комочком упали к земле. И ближние к ним отуманили головки ядом, который человек послал в небо.

Но все это только мелькнуло при быстром лете; с высоты же земля была прежней, и мало на ней заметен человек. Только зелень и серь полей исчертил он прямыми чертами, разметил малыми квадратами.

Летели ласточки над морем и сверху видели море до самого дна. Как малый листок на пруду, ветром гонимый, – плыли по морю корабли, один за другим, и малость их на огромном море говорила не о могуществе, а о ничтожестве человека. На один корабль опустились в пути усталые птички. Было темно, глаза их не видели.

Когда утром ласточки поднялись, чтобы лететь дальше, в глубинах морских появилась странная, неуклюжая рыба, подплыла к кораблю, поднялась на поверхность, выплюнула и погрузилась обратно. Тогда содрогнулся воздух с такой силой, что едва не перебил крылышек пернатым путницам. А затем корабль накренился и тихо пошел ко дну. Все ласточки видели, но не поняли, да и не задумывались, зачем рыба потопила полный людей корабль, мирно шедший по морю.

Затем летели ласточки над песками, зная, что цель их близка, и считая свои потери.

А потери их были страшны. Проводник завел их в пути отдохнуть на берегу Сицилии. И вот с ночи вышли на берег люди с корзинами, сетями и палками и стали избивать малых птичек. Много тогда погибло. Мягкие, вялые птичьи трупики уносили с берега корзинами; многих потоптали и оставили чернеть на песке, когда уцелевшие птички улетели на рассвете. К страшному делу людей отнеслись ласточки, как отнеслись бы к урагану или подкравшемуся невзначай убийце-морозу: кто спасся, тот благословлял жизнь и воспевал солнце.

И на пути ласточек блеснул первый оазис, встреченный их веселым «чиррр»...

УХОД ЧЕЛОВЕКА

Когда ласточки улетели с берега Сицилии, оставив много мертвых растоптанных соплеменниц, – одна из несчастных, с подбитым крылом, не могла следовать за стаей. Здоровым крылом она била воздух, подбрасывая от земли усталое тело и вытягивая шею в сторону полета подруг. Ее «чиррр» было неслышным шепотом, ее страданье к сумме мирских страданий не прибавило ничего.

Когда солнце поднялось выше, ласточка затянула глаза синеватым пологом и стала часто глотать горячий воздух. Когда снова склонилось солнце – ласточка умерла. Это была – та самая, что под окном дома на Сивцевом Вражке три весны подряд устилала новым пухом старое гнездо. Та, что видела человеческую девушку Танюшу с кувшином в руках над голыми плечами, что слаще щебетала для старого профессора, чем кукует его кукушка. Это была та ласточка, что склюнула под самой крышей точившего балку червяка.

И лежал в лощине, поодаль от искрошенного снарядами леса, в ста верстах от своей границы, но на чужой земле – как будто не вся земля наша! – тяжко раненный человек в форме прапорщика. Осколок шрапнели пробил ему грудь, засорив рану клочком бумаги, где красное залило синий штемпельный оттиск и ненужное больше слово «Эрберг».

Он был еще жив, неприятно умный в жизни и расчетливый человек. Но уже не был больше расчетлив и был близок к мудрости. Одним неконтуженным глазом смотрел в мутное от слезы, воспаленное небо, пальцами целой руки скреб в корнях трав. Ухо его ловило стон, слышный близко, знакомый, свой; а потом стон переходил в хрип, в груди

булькало, и чужое тело охватывал уже не первый холод. Было ли живо сознанье – знал только тот, чье имя застряло в слипшейся ране.

Мышь, высунув из норы голову, повела усами и скрылась, учуя недоброе. Недоброе могло быть хищной птицей, могло быть голодным волком. Сегодня и птицы и волки будут сыты.

Жук с золоченой спиной, точно и он в офицерском чине, вяло и без дела прополз мимо. Он искал, куда спрятаться на зиму, думая, что выживет; но его часы были сочтены.

Солнце взошло, поднялось, посмотрело хмуро и плавной малой дугой ушло под землю, оставив красный след.

У Эрберга была в Москве мать, старая и робкая женщина. Она не знала, что матерью ей осталось быть не больше часа.

Все это было просто, одинаково нужно и не нужно. В учете утрат мира – нуль, в учете жизни одного – всё. Но всё – пока последнее дыхание еще колеблет воздух над сухими синими губами.

И вдруг из точки, где спряталось живое сознание, борясь за себя и не желая гасить свой светильник, – вспорхнула мысль и ласточкой унеслась к небу. Центр мира перестал быть центром; мир потерял опору, закружился и унесся за мыслью. В то же время с легким треском электрической искры в одной бывшей жизни мгновенно порвались все нити мечтаний, сомнений, привязанностей, и все стало ясно, и все стало просто, и мягко зашелестели бристольские листочки распавшегося карточного домика.

Проще и лучше, чем стало теперь, не мог бы придумать мудрейший человеческий ум. Оставалось только убрать, скрыть землей, общим покровом, оболочку житейской гордыни, тело без имени, рану без боли, бурый кусочек бумаги без реального значения.

Тогда зажглась в небе звезда, оглянула поверхность земли, нашла лежащее тело Эрберга и отразилась в его открытом мертвом глазу, – отразилась бледно и нехотя, как бы по долгу службы и уважения к ушедшему из жизни. Скоро звезду – до завтра – закрыло облако.

САМЫЙ НЕРАЗУМНЫЙ ЗВЕРЕК

Возможно, что военные историки уже установили или могут установить, по чьей команде и чьим легким движением пальцев взвился и разорвался в небе первый снаряд мировой войны.

Возможно, что первый выстрел был слабым ружейным; быть может, это был залп – и нельзя решить, как звали первого братоубийцу.

И точно ли выкупалась в свежей крови первая пуля и раздробил кость осколок первого снаряда или они, пролетев положенное, смущенно зарылись в землю? Какое бесценное поле для изысканий! Сколько дал бы за этот малый свинец и чугун американский коллекционер!

Как имя первой осиротевшей матери? Поставлен ли ей памятник с фонтаном – фонтаном слез? В чьем альбоме красуется марка первого письма, написанного солдатом с фронта? И первый стон раненого записан ли граммофоном? Веревкой ли задушено или камнем придавлено первое открытое, вслух брошенное проклятие?

Отныне, впредь на много лет, ничья ищущая мысль, ничье живописующее перо не запашет и не взрастит поля без красных маков войны.

Отошло в далекое прошлое время василька и полевой астры. Земля дышит злостью и сочит кровь.

Там, где не растет красный мак, – там спорынья на колосе и красный гриб под шепчущей осиной. Багряны закаты на море, пылающими струйками стекает кровь по столбам северного сияния. И воспоминанье не черной мухой, а насосавшимся клопом липнет к нечистой совести.

А между тем – все это не так, природа не изменилась. В тот день, когда началась европейская война, ни одна травинка в поле, ни один белый цветик, росший зачем – неведомо, не взволновался величием минуты, ни один горный ручей не ускорил светлого бега, ни одно облачко не пролило лишней слезы.

Аисты, не найдя старых гнезд в разрушенных домах, несут детей в соседние села. Яблоко, зарумянив одну щечку, подставляет солнцу другую. Слеп крот, юрка мышь, еж колюч. Неведомо нам почему – пчела точно знает ближний путь по воздуху и жук гудит басовой струной.

«Что со мной?» – говорит, набухая, горошина. «Ух, как трудно!» – поднимает глыбу земли горбатый, сочный росток. «Шутка сказать – мы!» – заявляет белый гриб, дождем умываясь. «И мы!» – ему вторит бледная поганка. А купол неба раз навсегда истыкан золотой булавкой.

Лопнула куколка бабочки, и выполз мотылек с примятыми крыльями.

На одной и той же улице умер человек, не отложив дня смерти до развязки событий, и родился младенец, не испугавшись будущего. И в семьях их эти случаи были событием большим, чем великая война.

И вот что еще случилось. Огромным гусиным пером на огромном свитке, беглым полууставом, старуха писала историю. Когда раздался первый залп, перо дрогнуло и уронило кровавую каплю. Из капли побежал дальше вьющийся чернильный червячок, как малая змейка, а седая косма старухи, упавшая на пергамент, размазала каплю на целый локоть свитка.

Когда старуха заметила, то поймала прядь волос, обсосала сухим языком и закинула за ухо. А чернильный червячок бежал дальше, кривляясь, теряя кусочки на запятые, забираясь под строку, раскидываясь скобкой над полууставом. И лгал, белил грех, чернил подвиг, смеялся над святым, разводил желчь слов слезами крокодила. А дьявол за спиной старухи ловил перо за верхний кончик, щекотал старухину жилистую шею, шептал ей в ухо молодые соблазны, потешаясь над ней, как малый ребенок.

Шамкая ртом беззубым, отмахиваясь от дьявола свободной рукой, старуха писала и думала, что пишет правдивую историю. Может быть, так и было. Под утро запел петух, дьявол сгинул, а старуха заснула над красно-грязным свитком пергамента.

Был у старухиной кошки малый серый котенок – плод любви на соседней крыше. Когда старуха заснула, он прыгнул ей на колени, оттуда на стол. На груде пожелтевших от времени бумаг еще догорал светильник. Котенок услышал старухин храп, удивился, нагнул набок мордочку и лапкой тронул старуху за усатую губу.

Как раз в тот момент старуха видела во сне ровную дорогу. На середине пути дорога была перетянута колючей проволокой. Старуха не заметила и на всем ходу напоролась на колючку верхней губой. Тогда она взмахнула во сне руками, котенок шарахнулся в сторону и опрокинул светильник.

Вылилось масло, вспыхнул пергамент; но сгорел он не весь. Люди мудрые, люди ученые, каждый по-своему, все поразному, подберут позже слово к слову, уголек к угольку. Пропал только верхний кусок свитка, на котором крупными буквами вывела старуха: «Кто виноват». И это на века и века будет предметом спора.

Котенок же от испуга проголодался, побежал к блюдечку и стал лакать молоко, вымочив всю мордочку. Затем, обли-

зываясь, сел посреди комнаты и стал думать о том, что скучно бывает и в молодые годы.

Это был самый неразумный зверек подлунного мира.

СЛУЧАЙ С ЧАСАМИ

В старых и любимых часах профессора – часах с кукушкой – давно уже развинтился винток, на котором держался рычажок, сдерживающий заводную пружину.

В два часа ночи, как всегда, орнитолог перетянул обе гири – темно-медные еловые шишки – и пошел спать. Винток покосился и ждал.

К трем часам зубчатое колесо едва заметным поворотом накренило винток, и он выпал. Пружина сразу почувствовала неожиданную свободу и стала раскручиваться; от колеса – ни малейшего сопротивления. Стрелки тронулись и быстро забегали по циферблату, а кукушка, не успев раскрыть рта, в испуге замолкла.

Пока все в доме спали, время бешено летело. Вихрем порошились со стен дома чешуйки штукатурки, лопались скрепы крыши, червячки, мгновенно окукливаясь, делаясь жучками, умирая, размножаясь, точили балку. Постаревшая кошка во сне проглотила сотню мышей, проделавших в полу десятки новых ходов. Ласточка, уже не та, уже другая, не вынув из-под крыла головки, успела дважды побывать в Центральной Африке.

Уже у самой постели бабушки Аглаи Дмитревны стояла тень в старом саване, косясь на приоткрытую дверь орнитолога, – и румянцем молодой крови оделась грудь спящей Танюши.

На всех фронтах ураганным огнем сметались окопы и жизни. Мяч удачи, храбрости и стратегии летал от врага к врагу. Слезы, не просыхая, образовали ручеек, к которому спускались солдаты с манерками. Валами росли братские могилы, и мертвец бесстрастно дремал на груди мертвеца, которого вчера, не целя, не зная, убил поворотом ручки пулемета.

Когда от залпов вздрагивала земля, – кости Ганса плотнее прижимались к костям Ивана, и череп с улыбкой спрашивал:

– Мы в безопасности, враг Иван? Наш блиндаж – самый верный.

А Иван отвечал, стуча зубами:

– Двум смертям не бывать, враг Ганс!

И оба, в холоде уютной могилы, смеялись над теми, кого поблизости в окопах лениво ест серая жирная вошь.

Просто и немятежно было тем, кто уже использовал привилегию не жить. Остальные с растущим ужасом смотрели, как душными газами оседает на землю багровый туман будущего, и спешно, боясь опоздать, толкаясь жесткими локтями, бросались на пищу, искали любви, прижимались и рождали потомков, для которых игралась эта великая человеческая комедия.

Исчерпав энергию пружины, часы с кукушкой остановились. Но было уже поздно: ни один человек не может вернуть прошлого. Завтра старый профессор встанет еще постаревшим, не зная, чем объяснить такую слабость: припадком катара? Аглая Дмитревна в положенный час не оставит постели, а мужу скажет:

– Я полежу нынче. Что-то неможется мне, милый мой. Пошли-ка ко мне Танюшу.

И она уже больше не встанет и не будет сидеть в столовой за самоваром. Когда в воскресенье придет Эдуард Львович, – приоткроют дверь в спальню Аглаи Дмитревны, чтобы и она могла послушать музыку.

Два года, пробежавшие так быстро, потерянные бабушкой, – приобретены внучкой. И, занеся кувшин над голым плечом, Танюша заметит его здоровую округлость и кинет беглый стыдливый взгляд на окно: не видят ли ласточки? Вытираясь новым мохнатым полотенцем, она потянется, напряжется и вздрогнет от нового для нее ощущения силы и желания. И бесстрастное зеркало, изучившее каждую черточку девочки-девушки Танюши, отметит в записях своей зеркальной памяти:

– Числа такого-то *родилась женщина.*

Под утро дворник Николай, с побелевшими висками, вышел на улицу с метлой и скребком. Перекрестился, посмотрел на небо, деловито перевел взгляд на мостовую, зевнул и начисто усердно подмел вдоль всей стены пыль и чешуйки осыпавшейся штукатурки.

В доме все еще спали; работали только он и ласточка. Но уже дребезжала телега зеленщика, ехавшего на Арбатскую площадь.

ДЯДЯ БОРЯ

За годы мирной жизни каждый нашел свою клетушку, прочно врос в ее стены и выставил на ней свой номер, по которому его и можно было найти. Каждый талант вывешал-

ся и вымерялся. От массы отделилась кучка избранных, – и был кучке избранных особый почет.

Поэта отметил перст музы, ученого – признанье неучей, артиста – шепот толпы. Головой выше плотника – архитектор, маляр перед художником – пигмей. На одном дереве росли два яблока, но солнце зарумянило одно, червь точил другое. Приказал Господь приказчикам разложить по прилавку жизни человеческий товар – лицом показать: сверху лучшее, под низ поплоше. Ина бо слава солнцу, ина тусклой оплывшей свече.

Но жизнь взбаламучена войной – и все изменилось. Кому нужен космос Эдуарда Львовича? Кому – старый ум птицеведа? Пошатнулось мироздание, птицы разогнаны грохотом орудий. Отврати напряжением глубокой философской мысли полет пули! Рассей чистой поэзией удушье газов! Чугун и медь жаждут безымянного мяса, – не время взвешивать мозг. Слава тому, кто нужен сегодня, только на сегодня, новому богу – единому богу войны. И вот тут-то большим человеком стал дядя Боря, сын профессора орнитологии.

Дядя Боря, не отличавший Шопена от Скрябина, дядя Боря, терпимое ничто, рядовой инженер-механик, не хватавший звезд. Ага! Теперь он понадобился, дядя Боря!

Он вставал с первым светом и был на фабрике ко второму свистку. Там, где раньше штамповали пуговицы, – теперь он делал полевые телефоны. Вместо плужных ножей теперь он варил иную сталь. На Каме повыше Перми он строил подъездной путь до завода суперфосфатов – не ко благу земледелия, оно подождет: в жертву удушливому богу войны. Вместо швейных шпулек он сверлил пулеметный ствол.

Дядя Боря был многолик, был везде, по всей России, во всех странах, всюду – первый, нужнейший человек. Нужнее его был только тугоголовый, с волосатой грудью, с бычачьей шеей высокий генерал прусских войск да два-три опытных, давно приспособленных шпиона. Впрочем, еще врач, смелый молодой хирург, корнавший до колена ногу с оторванной ступней. Но это лишь для совести нашей – нельзя же жить совсем без совести. Дядя Боря, как и генерал, нужен был для главного: для убийства.

Дядя Боря никого никогда не убил. Собственно говоря, подлинный дядя Боря, Борис Иванович, сын профессора, скромно делал свое дело – руководил работой большого завода, являясь утром, уходя к ночи, заглядывая на завод

и в праздник. Но он стал теперь выше тех, кто слушал импровизацию Эдуарда Львовича при полупотушенном свете. Стал надолго выше их всех, взятых вместе, теперь ведь уже неважно, подлинно ли прямая линия – ближайшее расстояние!

Внезапно выросли люди, которых недавно никто не знал и не хотел признавать. Не те – пушечное мясо (их и сейчас признавали лишь в цифрах), а рангом выше, хотя тоже простые, недалекие, невзрачные, но деятели. Была сейчас их пора; все догадались, что только они и суть настоящие люди.

Дядя Боря, уже почтенного возраста человек, носил теперь френч и стал моложе. Дядя Боря обрил бороду, но оставил полуседые усы. Танюша говорила:

– Дядя Боря, вы стали таким интересным, что я опасаюсь за сердце Леночки.

Жена дяди Бори хмурилась, но он был доволен. Он был даже весел. В общем разговоре он не уклонялся, не отходил на второй план. Он выжидал и вставлял слово: и все видели, что дядя Боря не просто имеет мнение, а знает. Раньше просто не догадывались, о чем говорить с дядей Борей – не о паровых же котлах. И придумывали что-нибудь вроде паровых котлов, но доступное и всем остальным и всем одинаково неинтересное.

Дядя Боря стал нужен многим и по очень многим делам. Это именно он устроил юриста Мертваго, который только что женился, в Земгор. Мертваго называли теперь земгусаром, но все-таки форма его напоминала военную. Дядю Борю видали в обществе крупных коммерческих тузов; быть может, те старались обойти кругом и использовать видного инженера; могло дело идти о поставках или в этом роде. Но ни в ком никогда не могло возникнуть сомнений в честности дяди Бори, именно этого дяди Бори, сына орнитолога, дяди Танюши. Другие дяди Бори, делая дело общее, делали дело и свое. Было время такое, когда интерес личный часто совпадал с интересом государственным и общественным. В мирное время это бывает реже, хотя тоже бывает.

Когда по воскресеньям Эдуард Львович играл, дядя Боря, во френче, без бороды, садился теперь близ лампы Аглаи Дмитревны и сидел освещенный, слушая с удовольствием Скрябина, которого он принимал за Шопена.

Однажды, когда Эдуард Львович кончил одну из своих импровизаций (ту, где жизнь звуков гаснет сама и слышно, как она угасает), дядя Боря первым громко сказал:

– Чудесно! Вы сегодня в ударе, Эдуард Львович. Очень приятно слушать. А все же надо идти: фабрика меня ждет. У нас сейчас и воскресенья, и ночные работы. Гоним на всех парах!

Попрощался и вышел. И больше никто ничего не сказал Эдуарду Львовичу. И больше Эдуард Львович в тот вечер не играл. Так, говорили о разном и разошлись рано.

Ложась спать, Танюша думала об Эдуарде Львовиче. И в первый раз ей пришло в голову:

– Любил ли кого-нибудь Эдуард Львович? Ведь он не был женат.

И еще подумала:

– Какой он несчастный!

У Танюши была поверх большой еще маленькая подушечка, думка, с кружевной оторочкой. Танюша положила на нее голову, немного вбок, так, что ухо вмялось в легкий пух. И заснула.

ЦАРАПИНА

Друг детства Танюши, любимец орнитолога, Вася Болтановский окончил университет. Сдав последний экзамен, он забежал домой, умылся и посмотрел на себя в зеркало.

За время экзаменов похудел, зато глаза веселые. Как был, так и остался вихрастым. Усы ничего, бородка дрянь, совершенная дрянь. Пиджак тоже дрянь – единственный штатский наряд Васи. А экзамены – черт побери – все-таки кончены; с ними и студенчество кончилось. Это – здорово! Вася попробовал покрутил ус, но в зеркале получилась полная чепуха. Он немножко смутился.

Делать аб-со-лю-тно нечего. Как-то сразу стало нечего делать. Вася оставлен при университете, значит, впереди работы много. А пока – решительно нечего делать, нелепость какая! Не заказать ли визитные карточки? Или сбрить бороду?

Вася закрыл рукой бородку до губ; получилось ничего себе. После экзаменов осталось ощущенье нечистоты какой-то, чернильно-книжной пыли. Маникюр сделать? Ну, это уж ерунда, а вот бороду...

Парикмахер, намылив Васе физиономию, рассудительно заметил:

– Действительно, по качеству лица – ни к чему бородка. Подбородок же у вас явственно с ямочкой, и скрывать не

приходится; в известном смысле украшенье. Головку повыше-с, еще немножечко! С фронта как будто о победах слышно...

Обедал Вася в столовой Троицкой, в конце Тверского бульвара. Всех знал, кто там обедает. И горбатенького господина с кокардой, и армянку из консерватории, и несчастных супругов, начинавших шепотом ссору за вторым блюдом, и приват-доцента с галстухом фантэзи. И конечно, Анну Акимовну, которая, сидя у окна налево, съедала за обедом десять ломтей хлеба.

Съев борщ, Вася попросил поросенка, но только, если можно, окорочок. Дали окорочок, заливной, к нему хрен в сметане. Выпил Вася и кувшинчик хлебного квасу. Съел и кисель с молоком, – все по-праздничному. Когда обтирал губы салфеткой (своей, на кольце метка), вспомнил, что борода сбрита. Так приятно – гладко! И свежесть за ушами – простриг парикмахер.

И по бульварам Вася зашагал к Сивцеву Вражку. Помахивал толстой тростью, смотрел на встречных со смелой радостью. Ибо сегодня Вася – настоящий, окончательно взрослый человек. Встречных студе́нтов жалел любовно: сколько им еще трепаться!

На повороте с бульвара встретилась приятная барышня, подарила взглядом. Вася тоже подарил – и заторопился на Сивцев Вражек, чтобы скорее увидеть профессора и... Танюшу. Впрочем, профессора сейчас дома нет, он все еще экзаменует.

Милый особнячок. А и стар же ты! Раньше Вася не замечал, а сегодня, сбрив бородку, сразу заметил. Стоял особнячок профессора прямо, – а как будто и слегка вкось. Ворота явно покосились. И много облупилось штукатурки.

Танюшино окно наверху, оно открыто. И Вася, отступив на середину дороги, запел плохим тенорком:

– Ви ро-за, ви ро-о-о-за...

Танюша выглянула в окно:

– Идите, Вася, я открою. Сдали?

– Сдал все. Свободный гражданин.

– А борода где? Зачем это вы?

Вася подумал: «То есть как зачем?» – и подошел к крыльцу. Дверь открылась, и Вася тотчас догадался, что он с самых юных лет отчаянно и окончательно влюблен в Танюшу, и бесповоротно, что, впрочем, и неудивительно, так как лучше,

милее, ближе и красивее ее никогда никого на свете не было и не будет. Если раньше это как-то не приходило ему в голову, то сейчас в этом не остается сомнений. Упасть на колени и вползти за Танюшей вверх по лестнице или что-нибудь в этом роде выразить как-нибудь. Она такая строгая, белая кофточка, воротничок, а он умирает от любви.

Когда Танюша, протянув руку, сказала: «А знаете, Вася, так вам гораздо, ну гораздо лучше!» – Вася совсем переполнился чувством, сел на ступеньку лестницы и заявил, что дальше он – ни шагу не двинется, что или Танюша погладит его по голове, или он тут же умрет немедленно.

Она не погладила, он не умер, и оба поднялись наверх в Танюшину комнату. Здесь стало полегче. Зеркало посмотрело на Васю без его жалкой бородки и подумало: «Эге, а ведь он действительно влюблен».

– Как бабушка?

– Бабушке сегодня лучше, но вообще плохо.

– Профессора еще нет?

– Дедушка на экзаменах. Вы его непременно дождитесь, он о вас спрашивал. Что вечером делаете?

Хорош вопрос! Васе вообще нечего делать, ни вечером, ни все лето.

– Ничего не делаю.

– Останетесь у нас? Оставайтесь, я сегодня тоже свободна.

Вошла кошка. Вася схватил ее за шиворот, поднял к лицу, и кошка оцарапала его свежебритый подбородок. Вася бросил кошку, обтерся платком и сказал:

– Вот проклятая зверуха! Танюша, а я люблю вас, прямо как собака...

И покраснел, не зря подумав, что сказал глупость. Сказать бы просто: «Я вас люблю», а тут зачем-то приплел собаку.

Всегда правдивый, он поправился:

– Таня, я собаку приплел тут зря. А я просто, без собаки, действительно до чертиков...

Вышло еще нелепее. Но, конечно, если бы хотела понять – поняла бы. Но она сказала спокойно:

– А вы лучше одеколоном... Покажите-ка. Да она вас сильно оцарапала! Ну и сам виноват...

Не сбрей бороду Вася Болтановский – незаметна была бы царапина. Вот нашел время бриться! И больно. Любовь Васи начала утихать.

Сели рядышком на кушетке. Говорили о том, как каждый проведет лето. Пожалуй, из-за бабушкиной болезни придет-

ся остаться в городе. Вспоминали об общих знакомых, кто сейчас на войне. Эрберг погиб давно – был первым близким из убитых. Были и еще. И сейчас на фронте много старых друзей. Стольников редко, но все же пишет, – хороший он, Стольников! Леночка – сестра милосердия, но не на фронте, а в Москве; летом на дачу тоже не едет. Леночка много говорит о раненых и влюблена в нескольких докторов. Белый костюм с красным крестом к ней очень идет.

– Знаете, Вася, а я бы не могла. То есть могла бы, конечно, но это... как бы сказать... как-то не для меня... я не знаю.

Танюша сегодня серьезная; тоже устала от экзаменов. Сошли вниз, в столовую. Вернулся профессор, проголодавшийся, обнял Васю, поздравил. Пока дедушка обедал, Танюша, по просьбе больной старухи, лежавшей в спальне, сыграла ее любимое. Бабушка угасала без больших страданий, даже без настоящей большой болезни, но как-то так, что всем был ясен ее скорый конец. Силы жизненные в ней исчерпались, потихоньку уходила. Насколько можно – к этому даже привыкли. За месяцы ее болезни сильно стал горбиться и профессор, но крепился.

Вечером к Танюше зашла подруга, консерваторка. Вася гадал им:

– На сердце трефовая восьмерка, а скоро получите червонное письмо.

Консерваторка была довольна, она ждала письма.

После Танину подругу провожал домой. И, оставшись один, не знал, в кого же он, собственно, влюблен, в Танюшу или в ее приятельницу? Все-таки решил: в Танюшу! Хотя это странно – ведь с детства ее знает, совсем были как брат с сестрой. Но, решив, опять пожалел, что приплел зачем-то собаку: «От смущения!»

Вернулся домой, в Гирши. На столе груда книг и немытая чашка. В остатках жидкого чая – несколько мух и желтый окурок. Завтра нужно отдать прачке белье. И вообще нужно куда-нибудь на лето уехать. К родственникам решил забежать завтра; надо все же.

И внезапно, – как днем будто бы любовь к Танюше, – встала перед ним жизнь. Юность кончена – начинается путь новый и трудный. Может быть, и правда – понадобится попутчица жизни? Кто же? Танюша? Друг детских лет? Подумал о ней теперь уже с настоящей нежностью. Подумал и самому себе признался с удивлением, что Танюши он совершенно не знает. Раньше знал – теперь не знает.

Это было открытием. Как это случилось? И еще одно: он все еще мальчик, а Таня – женщина. Вот что проглядел он за книгами!

От смущенья хотел потрепать бородку, – но был гладок подбородок, а на нем царапина.

Не любить Танюши нельзя, ну а любить ее по-особенному, как в романах, ему, Васе Болтановскому, тоже нельзя. Ну как же это может быть; даже как-то нехорошо, неудобно!

Это было очень грустно. Тогда он взял книжку и зачитался, пока не стали слипаться глаза.

Вася Болтановский был обладателем счастливой способности: он спал, как сурок, и просыпался свежим, как раннее утро. Поэтому он любил жизнь и не знал ее.

ЗА ШТОРАМИ

На стуле у двери сидела кошка, вчера оцарапавшая бритый подбородок оставленного при университете. Не цапай за шиворот! Кошка облизывалась и скучала. Вышла крупная ночная неудача: старая крыса, знаменитая старая крыса подполья, ушла от ее когтей.

Ушла сильно помятой. Уже была в лапах... и как это только могло случиться? Никакого вкуса в старой крысе нет, и не в том дело. Но как это могло случиться? В кошке было оскорблено самолюбие охотника. В таких случаях она скучала, зевала и глаза ее тухли: глаза, обычно горевшие в темноте зеленым светом.

Устроившись удобно, но не подгибая передних лап, чтобы оставаться в боевой готовности, кошка стала дремать, оставив бодрствовать только уши. До света еще час-два.

Старая крыса все еще дрожала от пережитого ужаса. Забившись в самую тесную щель подполья, она зализывала раны. Не самые раны опасны, – но нельзя, чтобы их заметили молодые крысы. Будут следить, ходить по пятам и при первой слабости загрызут. Вот что всего опаснее. Не пощадят седых волос и облысевшей спины. Проклятая ночь выдалась сегодня!

Над постелью Аглаи Дмитревны наклонилась длинная худая фигура в сером. Протянула руку и острым ногтем надавила под одеялом сосок дряблой груди. Бабушка ахнула и застонала от боли.

Смерть постояла у постели, послушала старухин стон и отошла в уголок. Вот уже второй месяц она дежурит у постели

Танюшиной бабушки, оберегает ее от соблазна жизнью, готовит к приятию пустоты. Когда засыпает сиделка, смерть подает старухе пить, прикрывает ее одеялом, любовно подмигивает ей. И старушка, не узнавая смерти, слабеньким голосом говорит ей: «Спасибо, родненькая, вот спасибо!»

А когда старуха засыпает, смерти хочется поозорничать: откинет одеяло, щипнет старуху в бок, костяшками ладони закроет ей рот, чтобы стеснилось дыханье. И тихонько смеется, всхлипывая и обнажая гнилые зубы.

К утру смерть тает, забивается в складки одеяла, в комод, в щели окон. Если кто-нибудь быстро откинет одеяло или выдвинет ящик комода, – все равно не найти ничего, кроме соринки или мертвой мухи. Днем смерти не видно.

Старую крысу окружили молодые: смотрят черными шариками, слушают ее повизгивания. Она скалит зубы, и дрожит ее длинный хвост. Пошевелится – и полукруг крысенят сразу делается шире; боятся старой: есть еще в ней сила. Но глаз не отводят, смотрят на зализанную шерсть, где видно красное, откуда сочится капля.

Слышит визг крысы и кошка и шевелит ухом. Но все тихо, все в доме спят. Крысы напуганы, не выйдут сегодня.

Старуха тянется рукой к ночному столику, к стакану с кисленьким питьем. Костлявая рука помогает, и на минуту сталкиваются два сухих сустава – старухи и ее смерти. Идет по руке холодок.

– Ох, смерть моя, – стонет Аглая Дмитревна.

– Здесь я, здесь, лежи спокойно, – говорит худая в сером.

И утешает старуху:

– Ничего там нет, и бояться нечего! Свое время отжила, чужого веку не заедай. В молодые годы веселилась, танцы танцевала, платья красивые носила, солнышко улыбалось тебе. Разве плохо жила? А старик твой – разве не счастлива с ним была? А дети твои – разве не было от них радости?

– Сына-то ты рановато прибрала, отца Танюшиного, – жалуется Аглая Дмитревна.

– Сына прибрала, понадобилось; а зато внучку оставила вам, старикам, на радость и утешенье.

– А как же ей жить без нас? Тоже и старик не вечен.

– Ну, старик еще поживет, старик крепкий. Да и она совсем стала большая. Девушка умная, не пропадет.

– А мне как без него на том свете? А ему как без меня на этом оставаться? Сколько вместе прожили.

Тут смерть смеется, даже всхлипывает от удовольствия, но беззлобно:

– Вот о чем думаешь! Тебе какая забота – лежи в могиле, отдыхай. Обойдутся и без тебя, ничего. От больной-то, от старой, какая радость? Что от тебя, кроме помехи? Пустяки все это!

Слышно, как в кабинете кукушка кукует четыре раза. За окном, пожалуй, светло, но закрыто окно тяжелыми шторами.

– Ох, смерть моя, – стонет Аглая Дмитревна.

– Подушечку поправить надо, – говорит сиделка. – Все сбилось.

Поправляет подушки и опять садится дремать в кресле у постели.

Проник свет в подвал. Крысенята разбрелись по закоулкам. Задремала и старая раненая крыса. Кошка на окне лениво ловит большую сонную муху. Поприжмет и оставит; та опять ползет. Время летнее – уже совсем светло.

Видит Танюша под утро третий сон: и опять Стольников, веселый, довольный, смеется.

– В отпуске? Надолго?

Стольников радостно отвечает:

– Теперь уж навсегда!

– Как навсегда? Почему?

Стольников протягивает руку, длинную и плоскую, как доска; на ладони красным написано: «Бессрочный отпуск».

И вдруг Танюше страшно: почему «бессрочный»? А недавно писал, что скоро повидаться не придется, так как от командировки отказался: «Сейчас уехать с фронта нельзя, да и не хочется; время не такое».

Стольников вытирает руку платком; теперь рука маленькая, а красное сошло на платок. Танюша просыпается: какой странный сон!

Только шесть часов. Танюша закинула руки и заснула снова. Полоса света через скважину в шторах пересекла яркой лентой белую простыню и столбиком стала на стене над постелью. Отбился волос и лежит на подушке отдельно. На правом плече Танюши, пониже ключицы, маленькое родимое пятно. И ровно, от дыханья девушки, приподымается простыня.

ПЯТАЯ КАРТА

Стольников нащупал ногой выбитые в земле ступени и спустился в общую офицерскую землянку под легким блиндажом. Внутри было душно и накурено. На ближней лавке доктор играл в шахматы с молодым прапорщиком. У стола

группа офицеров продолжала игру, начавшуюся еще после обеда. Стольников подошел к столу и втиснулся между играющими.

– Ты два раза должен пропустить, Саша. Ты играть будешь?

– Буду. Знаю.

Когда круг стал подходить к нему, он, потрогав в кармане бумажки, сказал:

– Все остатки. Сколько тут?

– Вам сто тридцать, с картой.

– Дайте.

Глаза играющих, как по команде, переходили от карты банкомета к карте Стольникова, который сказал:

– Ну-ну, дайте карточку.

– Вам жир, нам... тоже жир. Два очка.

– Три, – сказал Стольников и протянул руку к ставке.

Карты перешли к следующему.

Война прекратилась. Вообще исчезло все, кроме поверхности стола, переходящих из рук в руки денег, трепаной «колбасы» карт. Никогда Стольников не был студентом, не танцевал на вечере Танюши, не превращался из свежего офицерика в боевого капитана с Георгием, не был вчера в опере и не вернется в тыл. Табачная завеса отрезала мир. Закурил и он.

– Твой, Саша, банк.

– Ну вот вам, ставлю весь выигрыш. Для начала... девятка. Не снимаю. Вам тройка, мне – опять девять. В банке триста шестьдесят. Тебе – половина, вам сто; тебе, Игнатов, остатки? Эх, надо бы еще раз девятку... Ваша... нате берите.

Стольников передал «машинку», сделанную из гильзовой коробки «Катыка». Играли десять человек, теперь придется ждать. Глаза всех перешли на руки его соседа слева. Уши слышали:

– Чистый жир... вот черт! По шести! – Нет, у нас только по семи. Снимаю половину. Куда ты зарываешься! То есть ни разу третьей карты! – У меня и второй не было... Надо переломить счастье.

Ломали счастье, бранили «гнилую талию», пробовали пропустить два банка, рассовывали бумажки по карманам френча (на крайний случай). Приходила четвертая карта – и человек возвышался, делался добрее, лучше, соглашался дать карту на запись. Затем в три больших понта его деньги

утекали, и он нервно щупал отложенную «на крайний случай» бумажку.

Прапорщик в конце стола пропускал и банк и понт. К нему уже не обращались.

– Прогорел?

– Начисто.

– Это, брат, бывает. Полоса такая.

– У меня всегда такая полоса.

Но не уходил. Смотрел. Как будто счастье могло свалиться на голову и неиграющего. Или... кто-нибудь разбогатеет и сам предложит взаймы; а просить не хочется.

Стольникову везло.

– Мне второй день везет. Вчера в деле, сегодня в картах.

При словах «в деле» на минуту все очнулись, но только на минуту; и это было неприятно. Никакой иной жизни, кроме этой, не должно быть.

Вошел солдат, сказал:

– Гудит, ваше благородие.

– Немец? Иду. Ведь вот черт, как раз перед моим банком.

– Задайте ему жару, Осипов!

Артиллерист вышел, и никто не проводил его взглядом. Когда он выходил из двери, снаружи послышался давно привычный шум далекого мотора в небе. Через несколько минут громыхнуло орудие.

– Осипов старается. И чего немцы по ночам летают?

Бухнуло. Это был ответ немецкого летчика. Но Осипов уже нащупал врага на небе: слышно туканье пулеметов. Бухнуло ближе. Все подняли головы.

– А ну его к... дай карточку. Семь. Продавай банк, а то сорвут после семерки. Ну, тогда дай карточку...

Бухнуло с страшной силой совсем рядом с землянкой. Опрокинулась свечка, но не потухла. Офицеры вскочили с мест, забирая деньги. С потолка посыпалась сквозь балки земля.

– Черт, едва не угодил нам в голову. Надо выйти посмотреть.

Стольников громко сказал:

– Банк, значит, за мной, я недодержал!

Офицеры высыпали наружу. Прожектор освещал небо почти над самой головой, но полоса света уже отклонялась. Орудие грохотало, и пулемет трещал беспрерывно. Офицер постарше сказал:

– Не стойте кучкой, господа, нельзя.

– Он уж улетел.

– Может вернуться. И стаканом двинет.

Яма от взрыва была совсем рядом. К счастью, жертв никаких, немец напугал впустую.

Стольников вспомнил, что папиросы кончились, и пошел к своей землянке. Дойдя до нее, остановился. Небо было чисто на редкость. Луч прожектора проваливался в глубину и теперь вел врага обратно – едва светлевшую точку на темном фоне. Бухнуло снова – первую ногу чугунную поставил на землю небесный гигант. Близко упал стакан ответного выстрела.

– Почему нестрашно? – подумал Стольников. – А ведь легко может убить! В деле – да, там жутко; но там и думать некогда. А эти игрушки с неба...

Затем он вспомнил:

– А банк за мной. Четыре карты побил. Оставлю все. Хорошо бы побить пятую... Это будет здоровый куш!

И ему представилось, как он открывает девятку. Невольно улыбнулся.

Когда ударил последний подарок немца, офицеры инстинктивно бросились к блиндажу. Слушали у двери, как удаляется шум мотора и замирают пулеметы. Потом все стихло, и они вернулись к столу. По-видимому, немец, отлично нащупав расположение запаса, все же сыграл впустую, только молодых солдат напугал.

– Осипов вернется. Где ему подстрелить эту птицу!

– Слишком высоко летел.

– Сядем, что ли? Чей банк?

– Стольникова. Он четыре карты побил.

– А где Стольников? Будем его ждать?

– Надо подождать.

Кто-то сказал:

– Он за папиросами пошел, сейчас вернется.

Вбежал вестовой – к доктору:

– Ваше высокоблагородие, господина капитана Стольникова ранили.

И, опустив руку от козырька, первому выходящему прибавил потише:

– Ножки им, почитай, совсем оторвало, ваше благородие! Немечкой бонбой...

МИНУТА

Темная ночь окружила домик и давит на старые его стены. Проникла всюду – в подвалы, под крышу, на чердак, в большую залу, где у дверей сторожит кошка. Полумраком

расползлась и по бабушкиной спальне, освещенной ночником. Только Танюшино открытое светлое окно пугает и гонит ночь.

А тихо так, что слышно тишину.

С ногами в кресле, закутана пледом, Танюша не видит строк книг. Лицо ее кажется худеньким, глаза смотрят вперед пристально, как на экран. На экране тихо проходят картины бывшего и не бывшего, с экрана неподолгу смотрят на Танюшу люди, и чертит рука невидимые письмена мыслей.

Мелькнул Вася Болтановский с поджившей царапиной. Эдуард Львович перевернул ноты, Леночка с красным крестом на белоснежном халате и дугой удивленных бровей под косынкой. И фронт: черная линия, шинели, штыки, неслышные выстрелы. Рука на экране чертит: давно не было писем от Стольникова. И сама она, Танюша, на экране: проходит серьезная, как чужая.

И опять туман: это – усталость. Закрыла глаза, открыла: все предметы подтянулись, стали на прежние места. Когда пройдут минуты и часы молчанья – что-то родится новое. Может быть, стук пролетки, может быть, крик или только шорох крысы. Или в переулке хлопнет калитка. И мертвая минута пройдет.

Снова на экране Вася с бритым подбородком. Он ломает спичечную коробку и говорит:

– Принимая во внимание, что вы, Танюша, все равно выйдете замуж, интересно знать, вышли ли бы вы за меня? Раз, черт возьми, все равно выходить.

Щепочки летят на пол, и Вася их подымает по одной, – чтобы не поднять сразу головы.

– Ну а нет, Танюша, серьезно. Это до глупости интересно...

Танюша серьезно отвечает:

– Нет.

Подумав еще, прибавляет:

– По-моему – нет.

– Так-с, – говорит Вася. – Ясное дело. Здоровая пощечина, черт возьми! А почему? Мне уж-ж-жасно интересно.

– Потому что... как-то... почему за вас, Вася? Мы просто знакомы... а тут вдруг замуж.

Вася не очень естественно хохочет:

– А вы непременно за незнакомого? Это ловко!

Вася ищет, что бы еще поломать. От коробки осталась одна труха.

Танюша хочет пояснить:

– По-моему, замуж, – это – кто-то является... или вообще становится ясным, что вот с этим человеком нельзя расстаться и можно прожить всю жизнь.

Вася старается быть циником:

– Ну, уж и всю жизнь! Сходятся – расходятся...

– Я знаю. Но это – если ошиблись.

Вася мрачно ломает перышко:

– Все это – суета сует. Ошиблись, не ошиблись. И вообще – к черту. Я-то лично вряд ли женюсь. Свобода дороже.

Танюша ясно видит, что Вася обижен. Но решительно не понимает, почему он обижен. Из всех друзей он – самый лучший. Вот уж на кого можно положиться.

Вася тает на экране. Тень «того, кто является» скользит в тумане, но не хочет вырисоваться яснее. И было бы бесконечно страшно, если бы явился реальный образ, с глазами, носом, может быть, усами... И был бы он совсем незнакомый.

И вдруг Танюша закрывает глаза и замирает. По всему телу бежит холодок, грудь стеснена, и рот, вздрогнув, полураскрывается. Так минута. Затем кровь приливает к щекам, и Танюша холодит их еще дрожащей рукой.

Может быть, это от окна холодок? Какое странное, какое тайное ощущение. Тайное для тела и для души.

Экран закрыт. Антракт. Танюша пробует взяться за книжку:

«Приведенный отрывок достаточно красноречиво...»

Какой «приведенный отрывок»? Отрывок чего?

Танюша листает страницу обратно и ищет начальные кавычки. Она решительно не помнит, чьи слова и с какой целью цитирует автор.

На лестнице шаги сиделки:

– Барышня, сойдите к бабушке...

СМЕРТЬ

В подполье огромное событие: старая крыса не вернулась. Как ни была она слаба, все же ночами протискивалась в кладовую через отверстие, прогрызенное еще мышиным поколением, теперь совершенно исчезнувшим из подполья.

В кладовой стояли сундуки, детская колясочка, были грудой навалены связки старых газет и журналов, – поживы никакой. Но рядом, через коридор, была кухня, под дверь

которой пролезть не так трудно. В другие комнаты, особенно в ту, большую, крыса не ходила, помня, как однажды уже попала в лапы кошке.

На заре старая крыса подполья не вернулась. Но чуткое ухо молодых слышало ночью ее визг.

Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:

– Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.

Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом – заела век молодых.

К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитревны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивленными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.

Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть, – и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.

По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитушке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый-орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обиженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле – едином, бессмертном – зачалась новая суетливая работа.

У постели Аглаи Дмитревны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.

Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Сивцевом Вражке. В остальном мире было

все благополучно: хотя тоже пресекались жизни, рождались существа, осыпались горы, – но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.

Только здесь было настоящее:

Бабушка умерла любимой

. . . .

...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуия...

НОЧЬ

Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.

В кресле, удобно просиженном, в ореоле седин, затененных от лампы, – и тихо-тихо кругом от здешней думы до границ Мира, – сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитревна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.

Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит в глубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, вновь перечтет написанное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой, – и все не дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, конечно, в соединение в новом бытии, – да и не нужно оно. А в небытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы – и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты – и в прах возвратишься.

Стены книг и полки писаний, – все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда «она» позовет. И видит ее молоденькой девушкой, – ямочкой на щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:

– Обойдите кругом, нельзя мять! А я, так и быть, подожду.

И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем – не светом ли солнечным так запомнилось?

И вместе шли – и пришли. Но теперь не подождала – ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...

Вошла Танюша в халатике и спальных туфлях. Нынче ночью не спят. Ночная птица над домом огородила деда и внучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль не спит.

– Без бабушки будем теперь жить, Танюша. А привыкли жить с бабушкой. Трудно будет.

Танюша у ног, на скамеечке, головой у дедушки на коленях. Мягкие косы не заколола, оставила по плечам.

– Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к нам с тобой добрая. Бабушка наша, бедная.

И долго сидят, уж выплакались за день.

– Спать-то не выходит, Танюша?

– Мне, дедушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы не спите... А если приляжете, хоть на диван, я все равно около посижу. Прилегли бы.

– Прилягу: а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.

И опять долго молчат. *Этого* не скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносится журчанье словесных монахини струй, – видят и свечи и гроб, и дальше ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темной парчой, – и вокруг пламенем дрожащие свечи.

Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящий хаос звуков, простую, удобную непонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний, – и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это – ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а не в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери – усмешка, и щелкает счетчик турникета.

Вот и все.

Сна нет, но нет и ясности образов. Между сном и несном слышит старик девичий голос по ту сторону последней двери:

– Я подожду здесь...

Пойти бы прямо за ней, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где она ждет, протянув худые руки.

Открыл глаза – и встретил большие, вопрошающие лучи глаз Танюши:

– Дедушка, лягте отдохните!

САПОГИ

Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед ним на лавке.

Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были не сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей неимоверным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Роман в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову и замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай знал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот сапоги Романовой работы кончились.

Не то чтобы кончились они совсем нежданно. Нет, признаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков и две подошвы переменил на них Николай. Были на обеих ногах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизинце человека полагается быть мозоли. Одна заплата – от пореза сапога топором, Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплата на месте, протершемся от времени. И каблуки и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз он поставил Николаю на новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целость каблука на многие годы вперед. И в подошвы набил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной планке. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкими, но с тех пор о сносе их Николай забыл думать.

И как это случилось – неизвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменить валенки на сапоги. Николай достал их из ящика близ печки, где они лежали, аккуратно с осени намазанные деревянным маслом, чтобы не треснула кожа. Достал – и увидал, что подошва на обеих ногах отстала, на одной совсем, на другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозная. Николай погнул подошву – и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут он увидал впервые, что и голенище так износилось, что просвечивает, а тыкнешь покрепче пальцем – получается горбик и не выправляется.

Снес их к сапожнику, Романову наследнику, но наследнику мастерской, а не таланта. Тот, как увидал, поднеся к свету, сразу сказал, что больше чинить нечего, кожа не выдержит. Николай и сам видел это и никакой особенной надежды не питал.

– Значит – конченое дело?

– Да уж... и думать не стоит. Пора о новых подумать.

Николай вернулся с сапогами, положил их на лавку и не то чтобы загрустил, а крепко задумался.

Думал о сапогах и вообще – о непрочности земного. Если уж такая пара сносилась – что же вечно? Издали посмотрел – как будто прежние сапоги, и на ногу зайдут привычно и деловито. Ан нет – это уж не сапоги, а так, труха, негодная и на заплаты, не то что на дворницкую работу. А ведь будто и подкова не совсем стерлась, и гвоздь цел; внутри же и он ржавый.

Пуще всего поражала Николая внезапность происшедшей безнадежности. Ставя последнюю заплату, сапожник головой не качал, гибели не предсказывая, просто показал пальцем, что вот отселе и доселе наложит, пришьет, края сгладит. Это была обычная починка, а не борьба с гибелью. Была бы борьба – и утрата была бы проще. А так – полная гибель пришла внезапно.

– Видать – внутре оно гнило. И гвозди проржавели, и кожа сопрела. А уж аккуратно. И, главное дело, работа не простая, а Романова, знаменитая. Ныне так не сошьют.

Пока заправлял в лампе фитиль, все думал, и не столько о том, что вот нужно новые шить, сколько о бренности земного. Кажется – ничем не сокрушишь и снаружи все ладно. А пришел день, ветром дунуло, дождем примочило, – внутри труха, вот тебе и сапоги. И все так! И дом стоит, стоит – и упасть может. И с самим человеком то же самое.

Зашел повечеру соседний дворник, тоже уже пожилой, непризывной. Рассказал ему Николай о сапогах. Посмотрели их, поковыряли.

– Делать тут нечего. Новые надо. Выкладывай денежки. Сейчас такого товару и в заводе нет.

– Справлюсь. Не денег жалко – работы жалко. Работа была знаменитая.

Покурили. Сразу стало в дворницкой дымно, кисло и сытно.

– Тоже вот, – сказал Федор, – все дела сейчас непрочны. И тебе война, и тебе всякий непорядок. Нынче постовой докладывал: и что только делается! Завтрашний день, го-

ворит, может, нас уберут. И на пост, говорит, никто не выйдем, будем дома сидеть, чай пить.

– Слыхал.

– А уж в Питере, говорит, что делается – и узнать нельзя. Может, и царя уберут. А как это без царя? Непонятное дело.

– Как же можно, чтобы царя отставить, – сказал Николай и опять посмотрел на сапоги. – Не нами ставлен.

– Кто его знает, время нонче такое. И все от войны, от нее.

Выходя из дворницкой, Федор еще раз ковырнул пальцем самый плохой сапог, покачал головой:

– Капут дело!

– Да уж сам вижу, – недовольно сказал Николай.

По уходе соседа бросил сапоги в ящик и хмуро слышал, как стукнула подкова о дерево. Хорошо еще, что валенки были обшиты кожей. В сенях взял скребок и вышел на вечернюю работу.

«ПЛИ!»

Вася Болтановский рано, в начале десятого, звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке. Отворила Дуняша с подоткнутым подолом и сказала:

– Барышня и барин в столовой. На ведро, барин, не наткнитесь, я полы мою.

Танюша встретила:

– Что случилось, Вася, что вы так рано? Хотите кофе? Ну, рассказывайте.

– Многое случилось. Здравствуйте, профессор. Поздравляю вас: революция!

Профессор поднял голову от книги:

– Что нового узнал, Вася? Газеты нынче опять не вышли?

Вася рассказал. Газеты потому не вышли, что редакторы всё торговались с Мрозовским. И даже «Русские ведомости» – это уж прямо позор! В Петербурге же переворот, власть в руках Думы, образовалось Временное правительство, говорят даже, что царь отрекся от престола.

– Революция победила, профессор. Точные известия. Теперь уж окончательно.

– Ну, посмотрим... Не так все это просто, Вася.

И профессор опять углубился в свою книжку.

Танюша охотно согласилась пойти прогуляться по Москве. В эти дни дома не сиделось. Несмотря на еще ранний

для Москвы час, на улицах народу было много, и видно – не занятого делами.

Танюша и Вася пошли бульварами до Тверской, по Тверской до городской думы. На площади стояла толпа, кучками, не мешая проезду; в толпе немало офицеров. В думе что-то происходило. Оказалось, что пройти туда было свободно.

В продолговатой зале за столом сидели люди, явно нездешние, недумские. От входящих требовали пропуск, но так как пропусков не было, то процеживали публику по простым словесным заявлениям. Вася сказал, что он «представитель прессы», а про Танюшу буркнул: «Секретарь». Было ясно, что и за столом подбор лиц довольно случаен. Однако на вопрос: «Кто заседает?» – отвечали: «Совет рабочих депутатов». Совещание было не очень оживленным; какая-то растерянность сдерживала речи. Смелее других говорил солдат со стороны, которого, впрочем, также именовали «делегатом». Солдат сердито кричал:

– О чем говорить? Нужно не говорить, а действовать. Идем к казармам – и всё. Увидите, что наши примкнут. Чего еще ждать! Привыкли вы в тылу зря разговаривать.

Вышли небольшой толпой. Но уже у самого входа она разрослась. Кто-то, забравшись повыше, говорил речь к публике, но слова доносились плохо. Чувствовалась обычная обывательская радость. Ободряло только присутствие нескольких солдат и офицера с пустым рукавом шинели. Небольшая группочка двинулась в направлении Театральной площади, за ней толпа. Сначала озирались по сторонам, не появятся ли конные, но не было видно даже ни одного городового. Толпа разрослась, и с Лубянской площади по Лубянке и Сретенке шло уже несколько тысяч человек. В отдельных группах затягивали «Марсельезу» и «Вы жертвою пали», но выходило нестройно; своего гимна у революции не было. Пришли к Сухаревке, но в виду Спасских казарм толпа опять поредела; говорили, что из казарм будут стрелять.

Вася и Танюша шли с передними. Было жутко и занятно.

– Вы, Таня, не боитесь?

– Не знаю. А будут стрелять?

– Не знаю. Я думаю – не будут. Ведь там уже знают, что в Петербурге революция победила.

– Почему же они не выходят, солдаты?

– Ну, вероятно, еще не решаются. А теперь, когда увидят народ, выйдут.

Ворота казарм были заперты, калитки отворены. Здесь чувствовалась нерешительность, а может быть, был отдан приказ – не раздражать толпы. Поговорили с часовым. К удивлению передних, часовые пропустили, и часть толпы, человек в двести, вошла во двор казарм. Остальные благоразумно остались за воротами.

Только несколько окон в казармах было отворено. В окнах видны были солдаты, в шинелях, с возбужденно любопытствующими лицами. Солдаты были заперты.

– Выходите, товарищи, в Петербурге революция. Царя свергли!

– Выходите, выходите!

Махали листками, пытались добросить листки до окон. Просили выслать офицеров для разговора. И, посылая солдатам дружеские и бодрые улыбки, сами не знали, с кем говорят: с врагами или с новыми друзьями. Боязливо порхало недоверие из окон и в окна.

Казарма молчала.

Подошли толпой к дверям. Внезапно двери распахнулись, и толпа отпрянула, увидав офицера в походной форме и целый взвод солдат со штыками, занявший лестницу. Лица солдат были бледны; офицер стоял как каменный, не отвечая на вопросы, не произнося ни одного слова.

Было странно и нелепо. Шумной толпе позволяют кричать на дворе казарм, и кричать слова страшные, новые, бунтовские, соблазняющие, – но солдаты не выходят. Из некоторых окон кричат:

– Заперты мы. Не можем выйти.

Из других доносятся скептические возгласы:

– Ладно, болтайте! Вот как разнесут вас пулеметами – вот вам и революция.

Как бы в ответ из боковой двери быстро, один за другим, винтовки на весу, выбежал взвод солдат и цепью стал против толпы. Командовал молоденький офицер. Было видно, как у него трясется подбородок. Солдатская молодежь была бледна и растерянна.

Почти в тот же момент раздалась команда:

– Пли!

И залп.

Танюша и Вася стояли впереди, прямо перед дулами ружей. Оба, ухватившись за руки, невольно отпрянули. С боков толпа рассыпалась и побежала к воротам. Кто были в центре – попятились и прижались к стене.

– Пли! Пли! – еще два залпа.

Взволнованным, почти плачущим голосом, дрожа нервной дрожью, Вася бормотал, стараясь заслонить собой Танюшу:

– Танюша, Танюша, они стреляют, они стреляют в нас, в своих, не может быть, Танюша.

Бежать было некуда, либо убьют, либо случится чудо.

Когда залпы прекратились, Вася огляделся: ни стонов, ни раненых, ни мертвых. Была минута гробового молчания. Только от ворот доносились крики: там разбегался народ.

И вдруг – визгливый, тоненький голосок одного из мальчишек, которые всегда и всюду бегут перед толпой:

– Холостыми палят, холостыми!

И, выскочив вперед, мальчишка стал кривляться перед солдатами:

– Холостыми, холостыми паляете!

Вслед за ними к солдатам подбежали несколько рабочих, стали хватать их за винтовки, спутали их цепь, что-то кричали им, в чем-то убеждали. Кое-как, повинуясь окрику офицера, те отбились от толпы и исчезли в подъезде.

Начался снова шум, крики в окнах, снова с улицы в ворота хлынула толпа:

– Выходите, товарищи, выходите к нам!

Танюша стояла, прижавшись к стене казармы, и дрожала. На глазах ее были слезы. Вася держал ее за руку:

– Танюша, милая, что же это такое! Какой ужас! Какой вздор! Как же это можно – сегодня стрелять. Правда, холостыми, но разве можно. В народ стрелять! Танюша!

Все еще дрожа, она потянула его за рукав:

– Вася, пойдем отсюда. Мне холодно.

Держась у стенки, они быстро вышли со двора казарм, миновали шумную толпу, молча, под ручку, дошли обратно до Сретенки и сели на первого встречного извозчика:

– На Сивцев Вражек.

Танюша вынула платок, вытерла глаза и, улыбнувшись, виновато взглянула на Васю:

– Не сердитесь, Вася.

– Да разве же я...

– Нет, а только я очень взволновалась. Я в первый раз...

– Я и сам расклеился, Танюша.

– Знаете, Вася, мне почему-то стало грустно-грустно. Мне не было страшно, даже когда они стреляли. Но у них такие несчастные лица, у солдат, что мне было жалко весь мир, Вася. Совсем не звери, а жалкие люди. И так стыдно...

– Они не виноваты, Таня.

– Я и не виню, но... как это ужасно, Вася, когда толпа и когда люди с ружьями. Я думала, что революция – это героическое. А тут все боятся и не понимают...

И прибавила, помолчав:

– Знаете, Вася, мне не нравится ваша революция!

«ЧУДО»

Его ноги округлены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттерли до блеска все его медные части и номер. Он привез сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.

Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казенному встречают светские сестры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.

Старший врач сказал младшему врачу:

– Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!

Доктор хотел сказать: «Этот человек», но не договорил: обрубок не был человеком. Обрубок был обрубком человека.

Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.

Родных не было, знакомые не встретили – не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был «чудом». Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.

Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились «чуду». Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, все же массировали. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили – смотрел им вслед; вот идут на ногах, как ходил и он: раз-два, раз-два...

Ему, как «чуду», дали отдельную каморку. Всегда при нем был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истек.

Из старых товарищей, университетских, навестили двое; обоим был благодарен, но сказал, что больше не нужно приходить, что пока ему людей видеть не хочется. Поняли. Да и им тяжело было: о чем говорить с ним? О радостях или тягостях жизни? О будущем? От Танюши передали цветы. Он сказал:

– Передайте: спасибо ей. Когда полегче будет, я извещу ее. Меня отсюда скоро выпишут, нечего лечить. Здоров. Где-нибудь поселюсь... вот с Григорием. Тогда приходите.

Он лежал еще месяца три. Он был «здоров», даже располнел. Доктора говорили: «Чудо! Смотрите, как он выглядит. Вот натура!»

И Стольников выписался из госпиталя. В студенческом квартале, в переулке Бронной, Григорий снял ему и себе две комнатки. И был при нем нежной нянькой.

Что их связывало? Беспомощность одного – бездомность другого. Оба узнали что-то особенное, прòстоватый солдат и офицер-обрубок. Они подолгу говорили вечерами. Больше говорил Стольников, а Григорий слушал. В темноте чиркал спичкой, всовывал папиросу в рот Обрубка, ставил ему под голову блюдечко для пепла. Сам не курил. А то Стольников читал вслух, а Григорий, набожно слушая непонятную книгу, по знаку перевертывал страницы. Понемногу Стольников сам научился делать это карандашом с резинкой, своей «магической палочкой», которую он забирал в рот. Вслух прочел Григорию почти всего Шекспира. Григорий слушал удивленно и важно: странные образы, непонятные разговоры. Понимал по-своему.

Как ребенок, Обрубок учился жить. Мозг его вечно был занят изобретениями. Он придумал установить над изголовьем наклонную лесенку – подыматься на мускулах шеи; без этого тело перевешивало обрубки ног, – хотя подыматься ему было ни к чему. Со стенной полочки он умел брать ртом папиросу и, держа ее в зубах вместе с «магической палочкой», надавливать пуговку прикрепленной к полке зажигалки и закуривать. Он учился этому больше недели, однажды едва не сгорел в постели и научился.

У Стольникова были небольшие средства, хватавшие для *такой* жизни. Он купил себе кресло на колесах и придумал сам доступный ему двигатель, – но лишь в пределах комнаты; в том же кресле Григорий вывозил его на прогулку по Тверскому бульвару и на Патриаршие пруды. Он завел себе пишущую машинку и научился писать, держа во рту изогнутую палочку с резинкой и передвигая каретку рыча-

гом, приделанным к креслу у левого плеча. Сердился, что бумагу вставлять должен все же Григорий, велел склеить длинные листы, писал плотными строчками. Весь стол его был уставлен коллекцией странных, им изобретенных приборов, изготовленных либо Григорием, либо мастером – по заказу. Молчаливо надевал Григорий Обрубку на голову обруч с приспособленными ложкой и вилкой, и движением кожи лба Обрубок учился пользоваться этими сложными для него орудиями. Воду и чай пил через соломинку. Часто, видя его усталую беспомощность, Григорий говорил:

– Да позвольте, ваше благородие, я вас покормлю. Зачем зря надрываетесь?

– Подожди. И не зря! Жив – значит, надо учиться жить. Понимаешь?

Деловые их беседы были кратки.

У Обрубка не было протезов. Врачи признали их бесполезными:

– Если хотите – для украшения. А так... За границей еще можно достать, и то только для правой руки; для нее есть кое-какая надежда...

Но для украшения он мог надеть френч с заполненными рукавами.

Он хотел надеть его, когда ждал первого визита Танюши. Но раздумал и на первый раз принял ее, оставаясь в постели.

И Танюша, которая знала точно о несчастии Стольникова, удивилась:

– Какой у него здоровый вид, хоть и лежит неподвижно.

С Танюшей зашел навестить молодого человека и старый орнитолог. Они сидели недолго. Уходя, Танюша обещала прийти, когда он ее опять позовет.

Дома она долго плакала, вспоминая свой визит, – а плакала Танюша редко. Стольников не был для нее ничем, – лишь случайным и недавним знакомым. Но, конечно, он был самым несчастным человеком из всех, кого она знала и могла себе представить.

Ложась спать, полураздетая, она подошла к зеркалу и увидала прекрасные руки, легко закинувшиеся, чтобы заплести волосы в толстую косу. В руках была жизнь, и молодость, и сила. Какое счастье иметь руки! И вдруг, представив себе синие шрамы над отпиленной костью, Танюша вздрогнула, отпрянула, упала лицом в подушки и зарыдала от жалости, от страшной жалости к Обрубку, которой ему нельзя высказать. Это хуже, чем видеть мертво-

го... раздавленный жизнью и еще копошащийся под нею человек.

– Он, конечно, меня ненавидит; он должен ненавидеть всех...

С ФРОНТА

От вокзала, мимо Смоленского рынка, по Арбату – одним потоком, а дальше, расщепляясь в ручьи малые, и утром, и днем, и ночью, шли тени солдатской рвани, неся с собой грязь траншей, котомки немытых рубах, позванивая чайником о приклад ружья. Шли тротуаром, врассыпную, частными гражданами, не пытаясь строиться. Войну с фронта несли вглубь, но думали не о ней, а о деревне.

Лиц не было. Были шинели и гулкие сапоги. Лица исчезли в небритых щеках, ушли во впадину глаз, в бессонное, в совесть дезертира, в тупое упрямство не хотевшего оглянуться. Так и шли, никогда не оглядываясь, не зная дороги, не разговаривая, но и не теряя спины переднего. Шли по вехам, стадно, пока не терялись в переулках. Тогда передний спрашивал дорогу у пугливого прохожего, остальные тупо тянулись за ним.

И снова скоплялись в преддверии, в залах, на перроне вокзалов, привычно, как в траншее, готовые ждать, пока молчаливая команда не бросит их в атаку на поезд, дальний, ближний, дачный, куда бы ни шел, только бы вперед, ближе к дому, а иные, махнув рукой на все, всасывались в город, плодя в нем тревогу и больную траншейную вошь.

Одни были с ружьями, другие бросили или продали надоевшее бремя, и только у пояса болтался в ножнах штык, который мог пригодиться в хозяйстве. И, встретив на ходу в городе свеженького юнкера, печатавшего чищеным сапогом, смотрели недолго и удивленно, не трудя отупелого и уставшего мозга.

Ни с кем не прощаясь, свернул солдат с Арбата направо в переулок, поправил за спиной ружье, дулом вниз, с привязанным штыком, поправил и фуражку и зашагал быстрее. Дорогу, видно, знал. Дальше, по Сивцеву Вражку, шел молодцем, хотя видна была большая усталость на небритом и грязном лице. Свободной рукой толкнул калитку, – да оказалась на запоре, а за калиткой залаяла собака. Раньше пса не было. Постучал кулаком крепко, увидал звонок, позвонил. И не то смущенно, не то с деланной отвагой

встретился опухшими глазами с суровым взглядом дворника Николая.

– Чего надобно? – сурово спросил дворник.

– Товарищу Николаю почтенье. Не признал разве?

– Дуняшин братан, что ли?

Дворник вгляделся недоверчиво. Были уже сумерки.

– Он самый, рядовой Колчагин, серый герой в отставке. Опять к вам на постой.

Поздоровались. Но смотрел Николай неодобрительно.

– Что ж так, или воевать кончил?

– Не век воевать.

– Убег, что ли?

– Так точно. Начальства не спрашивал. Какая была война – покончили ее.

– Та-а-к. В деревню?

– Обязательно в деревню отдохнувши. В дороге цельный месяц намаялся.

– Та-ак.

Дуняша и обрадовалась и испугалась. Очень уж страшен был с дороги любезный брат.

– Кухню-то мне всю натопчешь. А ружье на што с собой приволок? Ружье-то казенное?

– Теперь не разбирают, что свое, что казенное. А вот бы мне, Дунька, в баню обязательно надо.

– Баню топили нынче, словно тебя ждали. Белье-то есть?

– Найдем. Сам вымою, лишь бы баня. А то натащу тебе зверья.

Баня при особнячке была своя, как во всяком хорошем старом хозяйстве. И до позднего вечера не выходил из бани рядовой Колчагин. Мылся, стирал, сушил. И котомку с собой захватил. Чай пить явился красный, распаренный, повеселевший, в новой гимнастерке офицерского покроя.

– Гимнастерка действительно хороша! При расставанье досталась. Насекомое же, Дуня, я все повытравил паром. Баня у вас настоящая, век бы в ней сидел. Конечно, господа живут не по-нашему.

Узнал от Дуняши про смерть старой барыни.

– Что ж, старуха была. А мы на фронте молодыми гибли и от неприятеля и от болезни на пользу одного капитализма.

– Это кто ж?

– А уж я знаю кто. Энтого обмана с нас довольно!

А впрочем, просил сестру соседям про приход его не болтать. И на расспросы Дуняши отвечал уклончиво:

– Чего ж было оставаться? И войны никакой нет...

Спать лег на лавку и заснул сразу.

Дуняша, убирая со стола, задела рукавом кран потухшего самовара. Из крана тонкой струйкой на пол полилась вода, разошлась ручейками, отыскала щели в деревянном полу, залилась, исчезла... Кошка, подняв голову, долго смотрела, пока вода лилась из крана, но, замочив лапку в натекшей луже, брезгливо отряхнула и отошла.

Когда Дуняша вернулась в кухню из своей комнатки, самовар был пуст. Рядовой дезертир Колчагин тяжело всхрапывал.

У ПАМЯТНИКА

– Нынче гулять, ваше благородие, как бы дождя не было.

Прежде чем выкатить кресло из тупика на улицу, Григорий набросил на плечи Обрубка короткий плащ.

– Не нужно, Григорий, тепло.

– Я к тому, ваше благородие, что погоны: как бы чего не вышло.

В те дни срывали с офицеров погоны. Ужель и калеку обидят? Но народ темный, и Григорий побаивался.

– Не нужно, Григорий, оставь.

Кресло на высоких колесах въехало на бульвар. Против Богословского переулка кружком стояла толпа, а в центре господин в очках, худой и остробородый, спорил с солдатом. Солдат доказывал об окопных вшах, господин говорил о Франции и Англии. Кругом слушали внимательно.

На кресло Стольникова покосились, проводили взглядом и опять стали слушать, протягивая шеи через передних: словам верили меньше, лицу больше. Один слушатель полугромко заметил:

– Вон их сколько, калеченых!

Навстречу Обрубку няня катила детскую колясочку, где из белого капора таращила голубые глазки девочка. Когда обе коляски поравнялись – встретились два взора, детский и взрослый. Но Обрубок не улыбнулся.

Чем ближе к Пушкину, тем больше кучки вокруг спорящих. Говорили о земле, об учредительном собрании, о партиях, но больше о фронте. И доносились фразы:

– ...а которые окопались в тылу...

– ...почему я должон проливать...

– ...а почему я могу знать, что вы есть за человек? Солдатскую форму всякий может...

– ...тоже и ученые нужны, для просвещенья. А только...

Самая большая толпа, как всегда, была у памятника. Говорил офицер на костыле и с перевязкой. Фуражку его пустили по толпе, и все доверчиво давали на инвалидность. Сбоку, перед лавочкой, стоял столик, и сидевший за ним сыпал кредитки в шкатулку. Подходили и жертвовали, сами иногда не зная, на что и кто собирает.

Перед креслом Обрубка толпа расступилась, и Григорий подвез его почти к самому памятнику. Оратор, уже охрипший, показывал толпе на Стольникова и, вытирая пот, кричал:

– За что вот такие, – вон, глядите, – проливали кровь? Чтоб отдать теперь Россию немцам? Нет, граждане, мы этого не допустим!

Было видно по штанине, что нога оратора забинтована. Красный, недавний шрам был на левой скуле, и, когда он открывал рот, кожа на шраме натягивалась и лоснилась. Когда он кончил, его сменил штатский в очках, и толпа придвинулась ближе с интересом. Через минуту она уже гудела, так как штатский говорил против войны. Кто-то крикнул:

– Постыдился бы! Вон тут офицер безрукий-безногий.

Штатский кричал:

– Вот потому-то и довольно...

Но на него наседали. Два матроса и солдат кричали на толпу:

– Свободу слова, товарищи, так нельзя!

Обрубок повернул голову, вцепился зубами в погон, оторвал его и сказал наклонившемуся Григорию:

– Сними. И тот, оба сними. И брось ему.

– Кому, ваше благородие?

– Тому, черному, который говорит. Брось ему в рожу!

Григорий исполнил приказание, и погоны шлепнулись о грудь оратора. Толпа завыла, и черный исчез вместе с солдатом и матросами.

Теперь обступили кресло Стольникова. Кричали ему: «Правильно!» Какая-то дама визжала непонятное и убеждала всех идти и бить немцев. Сестра милосердия с кудряшками стала рядом с Григорием, взявшись за ручку кресла, и знаками, – ее голоса слышно не было, – приглашала снять шапки перед искалеченным офицером. Передние сняли, задние напирали. Кто-то крикнул:

– Тише, граждане, он будет говорить!

И действительно, толпа смолкла и круг раздался. Стольников обвел толпу взглядом и в наступившей тишине ясно и отчетливо сказал:

– Говорить мне вам нечего. Вы – рабы, а тот, черный, что говорил против войны, может, и мерзавец, а он прав. К черту вашу войну! Григорий, вези меня отсюда!

Передний ряд расступился. Сестра милосердия оставила ручку кресла. В задних рядах не расслышали, но закричали: «Правильно, верно, спасибо, господин офицер!» Господин с бородой объяснял своей жене: «Совсем больной человек, калека; разумеется, он озлоблен». И только один солдат с расстегнутым воротом гимнастерки, в восторге и задыхаясь, кричал:

– Получили вашей матери! Тоже теперь и они понимают, как ноги им окромсали. Хо! Вот так здорово!

И, вытянув из кармана горстку, принялся за семечки. За левым ухом у него торчала папироса.

Веселого солдата звали Андрей Колчагин.

ДВОРНИК

Был октябрь бесснежен. Ночью подмерзало, днем таяло. Перед самым светом дворник выходил из калитки профессорского дворика со скребком и скошенной набок метлой. Мел долго, чисто и, уходя, смотрел недружелюбно на запущенный тротуар и на мостовую соседей. И думал о том, что со всеми этими слободами стал народ лентяй. На дворе свет, а улица не метена.

Зеленщик остановился на минуту поболтать со старым знакомым и земляком. Скрутили по собачьей ножке, покурили. Лошадь косилась на окна.

– Старый-то барин живет, ничего?

– Живет. Убивался, конечно, да попривык. Со внучкой легче. Без ей плохо бы было.

Зеленщик профессора знает хорошо. Знает лет двадцать. Это он и дворника им поставил, однодеревенца.

– На базаре разговоры, – сказал зеленщик, смотря в сторону. – Особенно солдат пришлый. «Ружьев, – говорят, – нипочем не отдадим». – «А в кого стрелять?» – «В кого, – говорят, – приведется, в бар». – «А потом что?» – «А потом, – говорит, – войну навсегда прикончим и станем землю отымать». – «Да ведь ты покончил свою войну, убег!» – «Что ж, – говорит, – что убег. Нынче свобода! А вшей-то я даром, что ли, кормил?»

– Народ темный, – сказал дворник.

– Это конечно, что темный. А сила в их есть, вон их

сколько с вокзала тянется. И идут, и идут, и днем идут, и ночью идут. Поди на фронте ничего не осталось. Пока до деревни дойдет – жить ему надо. Ну, их и мутят.

– Кто мутит-то?

– Ораторы у них. На кажной площади собрания. Чтобы буржуев уничтожили и чтобы всю власть. А он слушает да на ус мотает.

Лошадь опять покосилась на окна. Зеленщик дернул вожжой.

– Так я думаю, что миром не кончится это дело. Это кабы прежде, а нынче порядку некому наводить. И опять же с ружьем они.

– Наше дело сторона, – сказал дворник.

Зеленщик промолчал. Докурили. Попрощались до приятного. Тронулась телега на Арбатскую площадь.

Выглянуло было солнце зимнее, но в белом молоке исчезло. Хлопнуло несколько калиток на Сивцевом Вражке, запахло дымом. Зябко засунув руки в рукава солдатской шинели, прощелкал каблуками человек писарского вида, с картонной папкой под мышкой. Дворник долго смотрел ему вослед, туго думая, чья возьмет: барская ли сила или бунтарь, солдатчина. Пройдя в ворота, осмотрел и их: хотя починки и требуют, а простоять могут еще годы. Подумал: «Сказать барину, хорошо бы какого пса завести, на случай воров. Много народу теперь шляется бездомного, а сторожат улицу плохо. Ему дежурить, а он спит либо пьян. И полиции нет. И вообще время ненастоящее, тревожное».

Ушел в свой дворницкий флигель в большой задумчивости, с лицом строгим, монашеским. Печка разгорелась. Чай пить дворник ходил в кухню, к Дуняше.

И застучал по черной лестнице гвоздастыми, вечными сапогами.

Был одинокий, пожилой, ближе к старости. Хмурый. Ума тугого и прочного. Входя в кухню, крестился широким крестом, здоровался словами, за чай садился молча, разглаживая усы, чтоб не мешали. И крошки хлеба собирал на ладонь, а как накопятся – в рот.

– Как барин встанут, покличь меня, Дуня. Хочу насчет собаки поговорить.

– На што тебе собака? Еще ее кормить!

– На то, чтобы стерегла дом. Вон сейчас время какое.

– Ворота-то на запоре.

– Ворота... Этот запор по прежнему времени хорош был, а нынче и через ворота. Народ пришлый, того и гляди

залезут. А собака, она залает, все же острастка. Ты, как проснется, покликай.

– Ладно, покликаю.

Допил вторую, перевернул чашку, усы вытер клетчатым платком.

– Дровец принести ль?

– На две печки. Столовую нынче не топим, и так жарко.

И опять затопал подковами новых сапог по кухонной лестнице:

– Эх, снегу все нет! А пора быть снегу.

На минуту в дворницкой душе промелькнула деревенская картинка: поля, пашни, лес – всё под глубоким снегом. Чистый, не забитый полозьями, не мешанный с землей и навозом. Снег – друг, не пачкотня.

На минуту промелькнула, – и снова стала городской душа степенного дворника старого профессорского особняка на Сивцевом Вражке.

ЗАВИСТЬ

– Почему он не идет, Григорий?

– Придут еще, ваше благородие, час ранний.

– А как он доберется? Приведут?

– Сами найдут дорогу. Через два крыльца живут. Они и в лавочку, бывало, сами один ходят.

Поручик Каштанов, ослепший на войне, пришел только в девятом часу. Григорий, заслышав шаги и голос, вышел и довел слепого до стола Обрубка.

– Ну, где ты тут, друг Саша, пребываешь?

– Здесь, здравствуй.

И Стольников прибавил:

– Опять зря руку протягиваешь. Нечего мне тебе подать.

– Ладно. Оба мы хороши. Оба лучше.

И, дотянувшись на голос, похлопал Обрубка по плечу.

Сначала они молчали. Курили. Григорий поил чаем. Стольников был возбужден и не сводил глаз с приятеля: перед ним был человек, быть может такой же несчастный, как и сам он (неужели это возможно?!). Человек, не видящий мира, его красок, его влекущих очертаний. Стольников видит мир, – но не может обнять его. Каштанов может обнять мир, – но не видя, что и кого обнимает. В эту минуту «мир» казался Стольникову женщиной.

Для начала говорили не о себе, а о событиях, об общих

друзьях по батарее. А когда Григорий ушел в свою комнату, скоро перевели разговор на свои бедствия, – и спеша, полушепотом, смущаясь, но и перебивая друг друга, соперничая размерами ужасного горя своего, высказывали друг другу все, что передумали поодиночке, в долгие ненужные дни одного, в вечную ночь другого.

Скороговоркой, хватая себя за виски и беспорядочно шаря руками, шептал слепой Каштанов:

– Вот ты говоришь – ноги, руки... а зачем они мне! Куда идти, что мне делать этими руками? Ты знаешь, Саша, ведь ничего нет, одна темнота, и звуки из темноты, голоса, шум, музыка, смех, – и всего этого, Саша, нет, только сны, а взаправду нет. Ты и дома, и за окном видишь, тебя по улице возят, – а для меня этого нет, одна ночь. Вот ты говорил: ноги свои чувствуешь. Я тоже свет чувствую – каким знал. Перед глазами дома, люди, женщины, так бы к ним и кинулся, – а нет их, Саша, совсем нет, в ночи утонули. Когда я знаю, что темно, вечер, – мне легче. А когда на лице чувствую солнце, и греет оно, – вот когда, Саша, совсем невыносимо. Оно меня ласкает, а я его проклинаю за слабость его: почему не разгонит оно эту темноту вечную.

Перебивая, Стольников тем же шепотом, – точно тайна у них, – кричал:

– Это, Каштанов, лучше. Вот ты не видишь и говоришь: нет ничего. А я вижу, знаю, что есть, – только не для меня. Ты сам в лавочку ходишь, до меня один добрался, а меня Григорий в коляске возит и кормит с ложки. Ты пойми – разве я человек? Ты хоть ночью со всеми равен, – я никогда. Ты можешь женщину обнять...

– Да ее же нет, Саша, ведь глазами-то я не увижу ее, какая она!

– Знаю, что не увидишь, а все же обнять можешь. А я вижу, и полюбить могу, я, может быть, Каштанов, люблю даже, давно люблю, – а коснуться не могу, за руку не могу взять. Я ей противен, Каштанов, я ведь не человек, а синяя культяпка, обрубок, недоразумение. Я мочиться сам не могу, черт меня... возьми меня черт... Вот я реву, а мне и слезы согнать нечем, я головой трясти должен. Мне они в нос текут, черт их, черт, черт...

Он всхлипывал и мотал головой. И тогда Каштанов вставал, вынимал платок, ощупью отыскивал лицо Стольникова и вытирал ему глаза:

– Ты, Саша, успокойся.

Молчали. Но недолго. С первых слов снова пробуждался

страстный спор, и опять Каштанов, захлебываясь, громко шептал:

– Все это, Саша, так, я знаю. Только вот что я тебе скажу, Саша. Я вот порой не только ноги-руки, а всего себя отдал бы за одну только минуточку, чтобы только глазами увидать. Ты говоришь – любишь, а ты знаешь ли, как я любил, и она жива, существует, однажды была у меня, я и голос ее слышал, – каждую нотку знаю. У нее, Саша, глаза были... что я говорю – были... ну да, для меня были, а теперь нет, синие-синие, удивительные глаза. И вот, Саша, их нет больше – для меня нет. Ты говоришь – обнять, а мне нужно глазами обнять, хочу улыбку видеть, а так мне каждое слово кажется обманом и ложью, и никого мне не надо. А солнышко я тоже обнимать должен? И еще есть на свете море, дали, леса есть, красота есть, картины есть, – а где это, Саша? Все дьявол съел. Ты пойми! И ни рук, ни ног мне не надо, ни к чему. Так вот ногтями вцепился бы и содрал эту заслонку...

– Ты, Каштанов, можешь вылечиться. Вон я читал – есть приспособление, к вискам, какие-то глазные нервы возбуждаются...

– Ты мне не ври! Ты зачем говоришь это? Ведь у меня оба яблока вынуты, одни ямы остались!

– Кто знает, может быть, еще изобретут.

– Изобретут, да! Уж скорее тебе протезы.

– Так что же, я буду железными палками обнимать, грудь ласкать? Да?

И дальше, о чем бы ни говорили, – они кончали одним: женщиной, которой не мог видеть один, которой не мог обнять другой. Они были молоды – обрубок и слепой. И они говорили, пока в душе их не вырастала дрожащая злоба и зависть друг к другу, злоба слепца к обрубку, зависть обрубка к слепцу. Они ревновали друг к другу женщину, которой не было, которая не хотела их знать, – изумительную красавицу, с синими глазами и нежной кожей.

Приходил Григорий и видел их искаженные лица, слышал злые речи, старался унять их словами:

– Ваши благородия, соседи спят, опять ругаться будут. Час поздний, ваши благородия.

Он отводил домой Каштанова и, вернувшись, укладывал в постель ослабевшего и беспомощного Стольникова, – жалкий остаток того, кто был красивым и смелым офицером, приветливым товарищем и неплохим танцором.

Лишь три года прошло с того дня, как он в последний раз весело танцевал у Танюши в день ее праздника – начала ее осьмнадцатой весны.

ОКТЯБРЬ

Надо было летать в эти дни октября белым мушкам и мотылькам, устилая дорогу слой на слой. Надо бы детям кидаться снежками, чтобы красными были пальчики и за воротом мокро и чтобы пряно пахло мехом шубки, когда вывесит ее мама сушить ближе к печке. Надо бы от глаз к губам перепрыгивать смешливой радости, какую дает первый пушистый снег, чистый, вкусный, деловитый и ласковый.

Но снега все не было. А летали в те дни над Москвой свинцовые шмели, вдоль улиц, поверх крыш, из окон наружу, снаружи в окна. И кидались люди страшными мячиками, от взрыва которых вздрагивали листы железа на особнячке Сивцева Вражка.

Начался свинцовый снег на Тверском бульваре. В обычный час, утро проведя в лаборатории университета, Вася Болтановский зашел в столовую Троицкой, что окнами выходила на бульвар. Сел у окна, где садился обычно, а на столике рядом с тарелкой положил салфетку с меченым кольцом. Давно налаженная жизнь катилась по рельсам на малых притершихся колесиках, и хоть сильно подорожал заливной окорочок, все же в день воскресный подавали блинчики с вареньем и клюквенный кисель, островками лиловевший в молочном озере. Было тревожно, но жизнь упорно хотела продолжаться.

После супа с клецками – буженина с картофельным пюре. А когда Вася Болтановский корочкой хлеба обтер остаток соуса, в конце бульвара, против дома градоначальника, началась стрельба. Из окна в перспективе бульвара видны были бежавшие по аллее фигуры прохожих ли, или жаждущих нового строя, или защитников старого. В столовой спешили с блюдами. Вася допил сухарный квас и вышел на бульвар. Свинцовые шмели, вылетев из гнезда, уже носились по бульвару без толку и без назначения. И скоро первый долетевший цокнул в оконное стекло знаменитой студенческой столовой.

Не было снега в аллее бульвара, и темнеть стало быстро. Теперь уже в разных частях города залпами громыхали невидимые ружья. Кто-то стрелял в кого-то, но уж, конечно, – брат в брата. За ружьями пулеметы, за ними орудия. Вечером, и всю ночь, и пять дней кряду сжавшийся в комнатах своих обыватель слушал пальбу орудий и туканье пулеметов. Свинцовый страх обметал крыши, ища врага, залетал в окна, рябыми делал внешние стены домов.

В первую же ночь светло стало у Никитских ворот: загорелся дом, запиравший устье бульвара, и дотла сгорела столовая Троицкой, где днем Вася ел буженину с картофельным пюре; не успев загореться, истлела салфетка и, обуглившись, треснуло деревянное кольцо с меткой.

Догорел этот – занялся пламенем другой громадный дом на внутреннем проезде бульвара, и бледное утро увидело на месте жилого дома – почерневший, дымящийся колизей, на который некому еще было любоваться.

Из горевших и обстрелянных домов выбегало довольство и в ужасе шарахалась нужда, – и оба попадали под огонь пулеметов. С каждым выстрелом – ближе к победе, меньше врагов. Из отельчика в доме, где была и столовая, выползли и заметались с узлами десять старух; одни убежали, прикрывшись шалью от свинцового дождя; другие умерли со страху; третьи наглотались пуль и сгорели, – ближе стала свобода. Горсть молодых солдат из углового дома стреляла в горсть молодых юнкеров напротив; кого убили, кто успел проскользнуть вдоль стены и скрыться, – еще на миг приблизилось гадаемое царство братства и равенства.

Закинув руки и отбросив ружье, лежал на дороге убитый солдат, смеясь зубами небу; он так и не узнал, за чью правду пал и какая сторона причислит его к падшим своим героям. А под прикрытием уступа ворот покашливал и плевал кровью белый мальчик в папахе, перед тем стрелявший из ружья, весело и задорно, все равно в кого и куда, и по юнкерам, и по всякой скользящей тени, и по брату, и по бабушке, больше мимо, шлепая пулю о штукатурку дома, – а теперь сам с пулей в легком, уже не жилец, – прощай, бедный глупый мальчик! – И еще на шаг ближе подошла свобода.

За крепкими стенами, в комнате окнами не на улицу, совещались, обсуждали, договаривались, командовали, распоряжались люди штатские, не умевшие спускать курок и заряжать пулемет лентой. Но не в них была сила и не в них было дело. То, чему быть надлежало, решала случайность да веселая пуля, ставшая лишней для ушедших с фронта. Еще был Кремль, был Арсенал, было еще Александровское училище, – и был сумбур и склока людей, которые всегда правы и которые побеждают только тогда, когда идут не рассуждая и без мысли. Но то и было страшно, что под воздушным сводом пуль и шрапнели клубилась, блуждала и путалась мысль, только вчера повылезшая из черепных коробок, – спорила, терялась, отчаивалась, догадывалась и путалась в нитях чужой мысли.

Победить должен был тот, кто привык не думать, не взвешивать, не ценить и кому терять нечего. Он и победил. Люди в штатском, посовещавшись, вынесли резолюцию: «Победили мы». И, отогнав победителя, заняли в умершем городе командующие высоты.

Все это было правильно и справедливо; так же на их месте поступили бы их штатские противники.

Вася Болтановский жил в Гиршах на Бронной, во втором корпусе дома. Из его окна ночью видно было зарево пожара, и, как и все, Вася не спал. Иногда ему казалось странным и неестественным, что вот он, молодой, не трус, не апатичный, – сидит дома, не пристав ни к какой стороне. Минутой позже думалось: да ведь ничьей стороны и нет, это просто – разыгравшаяся стихия, пожар от случайно брошенной спички. И затушить его нечем. Выйти на улицу без оружия? Зачем? Достать оружие и стрелять? В кого? Из двух правд – в которую? Но разве могут быть две правды? Не две, а много; у природы одна правда, у человека – другая, противоречащая в корне правде природы. И еще иная, совсем иная у другого человека. Каждый бьется за свою – такова борьба за существование. Но вон тот идет умирать за других – вопреки личной своей выгоде. Есть своя правда и в корысти и в самопожертвовании. С кем же он, Вася, лаборант университета и Танюшин приятель? Ни с кем из мечтающих о власти. Его правда в том, чтобы можно было серьезно работать и чтобы Танюша была счастлива. Это уж действительно искренне.

Под утро Вася заснул, но рано проснулся, разбуженный выстрелами близ самого дома. Это была случайная, беспорядочная стрельба, может быть, преследование, может – простое озорство. Кому нужно стрелять в мирном студенческом квартале!

О занятиях сегодня невозможно и думать. Разве попытаться пробраться боковыми улицами до лаборатории?

В девятом часу Вася вышел, метнулся к Никитским воротам, но стрельба заставила его повернуть обратно. Тогда он пошел в сторону Садовой и Скарятинским переулком пересек Большую Никитскую. На Поварской не было ни одного человека, и любопытство потянуло Васю пройтись до Бориса и Глеба, а то и до Арбатской площади. Но едва он подошел к устью Борисоглебского переулка, как дрогнул воздух от взрыва снаряда, сбившего часть купола на церкви. Вася ахнул, пробормотал: «Ну что же это делается, что делается!» – и прибавил шагу, свернув в переулок. Он,

собственно, и не разобрал, что случилось, но напуган был основательно. На Собачьей площадке было покойно, и хомяковский дом хмурился степенно и солидно. Теперь, в сущности, оставалась последняя попытка – пройти к университету Арбатом. Дойдя до угла Арбата, Вася остановился и с любопытством стал смотреть налево, откуда доносились частые выстрелы. Попытаться?

Нужно было быть глубоко штатским и полным неведения лаборантом, чтобы покойно стоять и не замечать жужжания пуль. Никто Васи не остановил, и ему не могло прийти в голову, что в него стреляют вдоль улицы. Локтем, по студенческой привычке, прижимая книжки, он тихонько перешел Арбат. Он не знал, что из-за опущенных занавесок в домах на него с удивлением и испугом глядели обыватели, а пуля в трех шагах от него расплющилась о булыжник мостовой. Нет, идти по Арбату все же жутко, да и пройдешь ли площадью; там близко Александровское училище, где уж, наверное, идет бой. И притом – так привычно и просто обогнуть Николу в Плотниках и выйти на тихий и приютный Сивцев Вражек, где в старом профессорском особнячке, должно быть, еще не отпили кофе, а то Дуняша разогреет. Ничего сегодня не выйдет из занятий.

Утро явно потеряно. Но можно это утро выиграть в другом. Кстати, есть о чем потолковать и с профессором, который, конечно, сидит дома. С Танюшей поделиться впечатлениями. Хотя – впечатлений не много, просто – муть какая-то, вздор.

Вася позвонил и, заслышав шаги на лестнице, приятно улыбнулся.

В ПРОСТЕНКЕ

Ржавчине, медленно глодавшей железо крыши, червячку, точившему балку, крысам, строившим новые ходы для дерзких ночных набегов, сырости, плесени, миллиарду мельчайших, невидимых существ, во имя любви, размноженья и права на жизнь колебавших устои особняка на Сивцевом Вражке, – очень в эти дни помогала дрожь, обуявшая Москву, воздушная дрожь от малых пуль и смеявшихся над трусостью снарядов. Вздрагивали оконные стекла, шатая подсохшую замазку, лопался малый гвоздочек, сыпались чешуйки старой краски, терял соринку кирпич, жирными кусками падала обратно вниз, в печку, доверху

облепившая трубу сажа. Ни для кого не заметно – лишь для крохотных созидателей и разрушителей, работавших нынче без устали и отдыха.

Не видна на старом лице новая мелкая морщинка. Высоко над крышей, разрезая воздух, пролетел снаряд, пущенный с Воробьевых гор наудачу, плохим прицельщиком, – и болезненно пригнулся к земле мирный профессорский домик, зажмурился, прищурился, затаил дыханье, потом расправился, – и еще одной морщиной больше. Но не видно и не слышно никому, – только за обоями легкое шуршанье. Может быть, забрался таракан из кухни.

Профессор сказал:

– Домой, Вася, не ходи; мы тебя не пустим. И нам с тобой спокойнее. Кончится завтра стрельба – вот и пойдешь.

– Я не боюсь, профессор.

– Бояться что ж молодому человеку. А зря рисковать не к чему. У вас там, у Никитских ворот, самое пекло. А главное – нам окажешь услугу. Нам с тобой веселее. И мне и Танюше.

Леночка телефонировала с Чистых прудов, где жила:

– У нас тут ужас. Стреляют на почте. Говорят, что и телефонную станцию окружили.

Телефонная барышня, повторив номер, спрашивала:

– Из какой части города звоните? Что у вас?

– Из Сивцева Вражка. Здесь тихо. А у вас?

– У нас ужас! Не знаем, что будет. Позвонила.

Но во многих районах телефон уже не действовал.

– Хотите, Вася, пройти наверх ко мне? Дедушка пойдет работать.

Профессор не нарушал давнего хода жизни – работал до позднего часа, окружив себя атласами, табличками, вглядываясь в оперенье горлинки на меловой бумаге, внося поправки в устаревшую классификацию. Костяным ножиком разрезал листы английского журнала, все же как-то дошедшего, миновав границы, спускал со лба очки, бежал по строчкам носом, отмечал на полях карандашиком. Все это так важно: перелет, пенье, маленькие яички с серыми крапинками, загнутый клюв, яркий глазок на крыльях... Все это очень, очень важно, это вечное и для вечного.

А в крышу едва слышно тявкнула пуля, совсем шальная и пьяная, залетевшая то ли с Арбата, то ли со Смоленского рынка.

– Я пойду, а вы, молодежь, посидите. Тебе, Вася, спать приготовят в бабушкиной комнате, а то в зале, где хочешь. Таня скажет.

– Скажу, дедушка, вы идите. Мы у меня еще посидим.

– Все же, Танюша, не садитесь у самых окон. Кто его знает. Лучше в простенке.

– Хорошо, дедушка.

Попрощавшись, прошли к Тане наверх. Тут хорошо было и поговорить и помолчать.

– Чем все это кончится, Вася?

– Ну, Кремля не возьмут. А там Арсенал.

– А если возьмут?

Говорили, перебирали слухи. Танюша думала: «Странно. Вот Вася не трус, а ему точно все равно, как посторонний. Другой бы...»

Кто другой? Бегло перебирала в памяти знакомых, военных и штатских, живых и умерших. Дрался ли бы Эрберг? Возможно. А Стольников, если бы он... Конечно! Несчастный, что он сейчас переживает! Но она не могла бы – слишком нетронутой душой – вместить того, что переживал в эти дни Обрубок.

Вася курил, и Танюша ненадолго открыла форточку. Донесся стук недалеких выстрелов. Тук-тук-тук... Это, кажется, пулемет.

Прислушиваясь, замолчали. Сидели на диване, близко. Танюша думала о революции. Вася думал: «Знаю, что я ее люблю. И что она ко мне только дружески ласкова. И что я ее все-таки ужасно люблю. Что же, так это и будет?»

С этой думой поднял глаза на Танюшу и внимательно посмотрел.

– Что, Вася?

– Нет, ничего.

Танюша встала и притворила форточку:

– Брр... какой холод сегодня.

– Да, а снегу все нет. А уж октябрь кончается.

Октябрь кончался. Но начинался долгий, великий и мучительный *Октябрь*.

Снег выпал только тогда, когда к концу пятого дня смуты московской перестали летать свинцовые шмели. Снег выпал наутро дня шестого – хлопьями, необильный, смущенный, но нужный всем. Забелил изрешеченные крыши, белой простыней покрыл неубранный труп, подморозил и запудрил кровь на мостовых, на дворах.

Сразу в Москве стало тихо. Боязливо выглянул обыватель, но любопытство потянуло. Любопытство и нужда: кончились запасы хлеба, съестного, керосину, дров. Жить-

то все равно как-нибудь нужно. Плечом прокрадывался в полуоткрытую дверь магазина.

И встречный спрашивал знакомого встречного:

– Кто же верх-то взял?

– Говорят, они, большевики.

– Что же будет?

– А что будет. Долго не продержатся. Придут войска – наведут порядок. Разве же это возможно – во всей Москве стрелять! Дожили до чего.

– Булочная-то наша открыта ли?

– Открыта. А то со двора пройдите.

Озираясь круглыми, любопытными глазами, жмясь ближе к стенам домов, через улицу – горбясь и мигом, шли каждый по своему делу, готовые сейчас спрятаться в подъезд, в переулок, за тумбу.

И если было, что радовало глаз, то только – чистый, еще не затоптанный, бодро холодящий снежок, запорошивший напуганную и усталую за эти дни обывательскую Москву.

ПУЛЯ

Эдуарду Львовичу никогда не приходило в голову, что можно было купить новое одеяло, которое, дотрагиваясь до подбородка, подвертывалось бы и под ноги.

Неудобство слишком короткого одеяла он испытывал всегда, но боролся с этим только сомнительными средствами: прикрывал ноги своим стареньким пальто на клетчатой подкладке. И не от скупости, а просто по недогадке. Бедности Эдуард Львович не испытывал, жил скромно и мог много тратить на ноты и книги по музыке; впрочем, еще посылал деньги в Ригу тетке, которой не видал двадцать лет, – высылал по традиции и по привычке, так как начал высылать еще при жизни матери.

Одеяло плохо прикрывало ноги, и спать приходилось на боку, согнувшись. Одно ухо слушало, как в подушке отдается пульс, а другое слушало стук пулемета на улицах: тук-тук-тук-тук. Смысл пулеметной стрельбы был Эдуарду Львовичу совершенно и окончательно чужд (это не из его мира), но ритм был как раз его областью. Одеяло медленно сползало с ног, и холодок делал сон беспокойным. Тогда Эдуард Львович во сне шевелился, жесткие волоски непобритой щеки скрипели по полотну подушки.

Ритм пульса и ритм пулемета не совпадали; требовалось примирить их, уложить в порядке и системе на нотной бумаге. И вот тут начиналась мучительная путаница. Черные нотки, большеголовые, с хвостиками, разбегались по всему миру. Часть их рассаживалась по холмикам, по крышам и чернела на горизонте аллейками и телеграфными столбами. Другая часть ползала по одеялу, цапáясь за нити нотной бумаги, дергая их, как струны, забираясь не в тот ключ, кидаясь из мажора в минор. Эдуард Львович старался ласково подманить их, прикрывал крышечкой легато, но черные головастики брыкались хвостами, вырывались и опять разбегались – одни по холмикам, другие по складкам одеяла.

Эдуард Львович ясно понимал, что невозможно достигнуть полного примирения тех, на горизонте с этими, на одеяле. О какой-нибудь мелодии не могло быть и речи. Прекрасно, пусть будут диссонансы; можно и на них построить музыкальную идею, – но непременно должен быть смысл, единый и обязательный для всех закон гармонии. И вот в ответ он слышал только раскатистый смех пулемета и жалобный стук в подушке. Примирение, по-видимому, невозможно.

Но с чьей же стороны затруднение? Те, на холмах, поразительно равнодушны и устойчивы. В них есть что-то мертвое – как кладбищенские кресты на фоне неба. Привычный ранжир, все головки в одну сторону; все это, почти исключительно, четверти и восьмые. Совсем иное те, что окружили подушку беспрерывным неровным туканьем, не поддающимся учету. Там – бытовая устойчивость, здесь – суматоха, брожение. Эдуард Львович попробовал поймать одного живчика за двойной хвостик, но промахнулся, и рука его непомерно вытянулась в пространство. Тогда он приподнялся на цыпочки, стоя босыми ногами на снежном холме, и стал дирижировать хором нотных головастиков: быть может, они поддадутся.

К удивлению Эдуарда Львовича, хор оказался прекрасным. Свободно отделившись от земли и плавно размахивая руками, Эдуард Львович летал вдоль огромных, нескончаемых нотных заграждений, от горизонта к горизонту, и все более убеждался, что режущие ухо диссонансы были лишь вблизи, а с высоты, в отдалении, все звучало великой гармонией, изумительным хором и совершенной музыкой. Ему захотелось вовлечь в хор самые отдаленные инструменты, едва видные на горизонте. Но он не успел спуститься к ним

со страшной своей высоты: раздался звон, и композитор потерял равновесие.

Эдуард Львович проснулся и не мог понять, какой звук разбудил его. Оттянув одеяло к ногам, он некоторое время прислушивался: может быть, позвонили в передней? Но все было тихо. Да и звон был – скорее – как от разбитого стакана. Подумал о своем сне: изумительный сон. Особенно любопытно в нем, что слияние и гармония таких несогласных, по-видимому, ритмов оказываются возможными. В этом – глубокий смысл. Надо подойти издали и с высот. Возникла как бы идея новой странной композиции, трудной, но возможной. Понять, представить возможно, – ну а воссоздать?

Тянуло холодком. Эдуард Львович поправил в ногах пальто, согнулся совсем калачиком, скрипнул по подушке небритой щекой и старался не шевелиться, чтобы согреться. Холодком тянуло, и воздух стал как будто свежее. Нотки исчезли, исчезли и холмики, но туканье пулемета стало еще чаще и отчетливее. Однако ухо уже привыкло к нему. И Эдуард Львович заснул.

Когда стало светать, в верхней части окна, в обеих рамах обнаружились дырочки в стекле, а от дырочек шли кругом лучи. Рассвело еще, и новая дырочка обнаружилась в обоях, на стене против окна. Обои вокруг дырочки припухли от распыленной штукатурки.

Никто в окно не метил. Октябрьские пули летали всюду, не очень заботясь о цели. Зачем-то одна из них, самая бесполезная, но и безвредная, залетела в комнату композитора, нарушив на минуту его музыкальное сновидение.

КАРЬЕРА КОЛЧАГИНА

На шестой же день забежал в кухню особняка Андрей Колчагин. Был небрит, красен, весел, хоть и вздрагивал, – за эти дни поистрепался. Пришел с ружьем и набитой сумкой. В мешке нашлась колбаса, круг сыру, большой ком масла, к которому крепко примерзла газета. Еще какая-то рухлядь, которой Дуняше не показал. Впрочем, дал ей будильник, початый пузырек одеколону и шелковую кофту с узкими рукавами и кружевом.

– Это что ж, откудова у тебя?

– Нашел. Ящик на дворе разбился.

– На што ж мне, на меня и не налезет! Это барыни носят.

– Барыням нынче, Дуняшка, капут пришел. И барыням и баринам. Наша власть одолела.

– Ты где ж был? Ужли стрелял?

– Ясное дело. В самом был сраженье. Телефонную брали.

– Кто брал-то?

– Кто. Мы и брали, большевики.

– Нешто ты с ими?

– С кем больше? С народом мы! Против юнкарей и всей буржуазии. Теперича им крышка, наша взяла.

– Не пойму я что-то, из-за чего стреляют. Смута одна.

– Тебе и понимать нечего. Ты бери кофту и духи бери. Теперь этого добра мы можем сколько угодно.

– Чужое поди?

– Чужое. Разговаривай! И дура же ты, Дунька. Деревня.

Однако господам – сказал – лучше не показывать, не их дело. Так и сказал: «Господам». Других слов еще не было, не знал точно, буржуи ли живут в особняке, где кухня всегда была ему ласковым приютом.

Пробыл недолго, ночевать не остался, даже в бане не был, – а как раз топили. Уходя, захватил и ружье, нацепив на плечо дулом вниз. Сумку тоже захватил с собой, но пустую: содержимое запер в свой сундучок.

По улице шел Андрей Колчагин шагом уверенным. Из-под фуражки выбился у него клок волос, по-казацки, хоть и был он пехотой. Встречные, прохожие, смотрели на него недружелюбно и с опаской; он на них не смотрел. Чувствовал себя Андрей Колчагин не простым человеком, солдатней, а значительным, вроде героя, – как раньше было в деревне, перед отправкой на фронт.

Прошел прямым путем в Чернышёвский, к воротам совдепа, где уже много солдат без толку толпилось, – у всех за плечами ружья дулом в землю. Здесь перекинулся словом, выкурил папиросу, справился, как пройти с бумажкой, через какой подъезд. Встретил некоторых, что вместе с ним брали телефонную; но у них бумажки не было. Протолкался, подождал в очереди, добился все-таки. Держал себя не попростацки, а без боязни, боевиком; и слова говорил подходящие.

За столом, в комнате кислой и дымной, сидел, вписывал, ставил печать человек жидкий, черноватый, в пиджаке, но не робкий. Покрикивал на солдатню. На Колчагина не глядя, вписал его фамилию на бумажку, хлопнул печатью, сказал:

– Вот, товарищ, отправляйтесь по назначению.

– А куды идти-то?

– Написано. На Хамовниках будете. Кто следующий?

Пришлось шагать обратно. Бумажку с печатью сунул Колчагин за обшлаг.

В Хамовниках, в большом занятом доме, была толкотня и полная неразбериха. И не узнаешь, кто тут главный, кто командир и чем командует. Солдаты сидели в креслах, на столах, на подоконниках, и паркет был заплеван и забросан окурками. Кто покрикивал на других, того и слушали.

Колчагин прошел по комнатам, ища, кому вручить свой новый документ, – и не нашел. Было таких же ищущих еще несколько. Тогда Колчагин взял у них бумажки, сверил, небрежно бросил им: «Ладно, все в порядке; подождите». И затем стал уже спрашивать бумажки у всякого нового пришедшего. И вдруг почувствовал себя вроде как бы начальством. Власти не было – нужно власть налаживать. Налаживать власть стал Андрей Колчагин. И все поняли, что так и быть должно. Теперь к нему обращались уже с некоторым почтением, как к старшему.

Затем приехал на дребезжащей машине какой-то штатский, влетел в первую комнату, крикнул: «Здравствуйте, товарищи, сейчас все будет», – но ему никто не ответил. Он заметался, перекладывая свой портфель со стола на стол, искал чернильницу и явно не знал, что делать дальше. Вот тут-то и выступил Андрей Колчагин, спокойный, в фуражке, с папиросой в зубах:

– Мандаты проверены, товарищ. Все в порядке. Сейчас выставим охрану, а то всякий пройдет сюда без надобности. И двери прикажу на запор, без особого пропуска не лезть.

Приезжий очень обрадовался, даже не сумел сважничать и разыграть начальство. Было ясно, что начальство уже родилось в лице Андрея Колчагина.

Все были голодны. Колчагин выбрал пятерых, послал «раздобыть». И бумажку им выдал; сам писал плохо, но нашелся более грамотный, которому Андрей и приказал быть как бы писарем. Подписывал же сам: «Начальник команды товарищ Колчагин».

Раздобыли в арбатском магазине, который пришлось вскрыть на нужды борцов, только некому было вручить расписку, так как хозяина не оказалось. Притащили в мешках: большой круг сыру, какая нашлась колбаса, много масла, разные коробки. Колчагин принял, все велел запереть в комнату. Потом выдавал сам для дележа. И в свой мешок тоже поклал на случай – сколько вошло.

Кто ушел, кто остался. Спали тут же, не раздеваясь, на полу. Колчагину предоставили диван. И понятно: начальст-

во, трудилось больше других. Ложась спать, Андрей сначала проверил охрану и назначил смену.

Поутру на другой день опять приехали какие-то организаторы, толклись на месте, говорили о пишущих машинках, отмечали на дверях комнат, передвигали столы, уходили, приходили. Колчагин неизменно сопровождал их, помогал двигать столы, записывал что-то себе на бумажку, а по уходе их садился за письменный стол в первой комнате, смотрел зорко и покрикивал на входящих. Люди сменялись – Колчагин оставался.

Так потекли дни. В комнатах заскрипели перья, в приемной толкалась сначала солдатня, потом появились и обыватели, напуганные, нерасторопные. Сюда свозили вещи, сюда приводили арестованных, отсюда летели приказы от имени Хамовнического совдепа, – но ничто не могло произойти без ведома и санкции Андрея Колчагина, которого звали комендантом. Никто его не ставил, не выбирал, не утверждал в звании. Колчагин был необходим, естественен, неизбежен. И когда проситель, обойдя все комнаты, терял последнюю надежду, – ему говорили:

– А вы, товарищ, обратитесь-ка лучше к товарищу коменданту.

И проситель робко стучал в «кабинет коменданта», где за столом пил чай с сахаром и булкой известный во всем Хамовническом районе товарищ Колчагин, властный, толковый и не знающий сомнений. Иных направлял, другим решал дело сам, выдавая бумажку с подписью и собственной своей комендантской печатью.

НОЧИ ОБРУБКА

Страшнее дней были ночи Обрубка. Часто в эти кошмарные ночи, между сном и явью, мерещился ему последний бунт калек и уродов.

На низких колясочках, с деревяшкой в каждой руке, чтобы упираться о землю, – черепашьим вихрем летят обрубки войны к войне новой. А он, совершеннейший из обрубков, чудо хирургии, – чудом же мчится впереди всех за командира. За ним слепые, скрюченные в рог, лишенные лица, глухие, немые, отравленные, сонные – взводы георгиевских уродцев.

Революция новая, небывалая, последняя: всех, кто еще здрав и цел, окорнать в уродов, всех под один уровень!

Зубами отгрызть уцелевшие руки, колесом проехать по ходящим ногам, наколоть видящие глаза, отравить дышащие легкие, громом протрясти мозговые коробки. Всех под одну стать!

И женщин! Дайте нам женщин-обрубков, таких же, как мы. С руками и ногами целыми, с глазами видящими и лживыми, они будут презирать нас и отталкивать. Пусть они будут обрубками: мы оставим им только груди. Мы будем сползать и соединяться без рук и без ног. И пусть родятся у нас такие же дети.

Все перестроить! Пусть одеждой человеку будет мешок, а работать он будет зубами. Только слепым и безумным оставить право иметь конечности, – пусть водят и носят других калек. Не все ли равно: разве не водили нас и раньше слепые и безумные? Если захотят того глухие и немые – всем здоровым вырвать языки и проткнуть уши каленой иглой! И старым, и детям, и девушкам.

Пусть будет тишина в мире, придумавшем боевые марши и гимны, барабанный бой и грохочущее орудие.

Кошмар, кошмар: из отрубленных ног костры на площадях. Вокруг костров быстрой каруселью летят коляски безногих, – бунт безногих, шабаш уродов, – а безумные бросают в огонь ненужные больше книги, стулья, рояли, картины, обувь, главное – обувь, и еще перчатки, обручальные кольца – весь хлам, нужный только целым, которых больше нет и не будет. Теперь вы поняли!

Высшая красота – рубец и культяпка. Кто больше изрублен и изрезан – тот всех прекрасней. Кто смеет думать иначе – на костер. Вымарать на иконах и на картинах руки и ноги, изуродовать лица, чтобы прежней красоты не оставалось и в памяти. Опрокинуть и разбить в музеях античные статуи, оставив только мраморные торсы да бюсты с отбитыми носами. Воздвигнуть на больших площадях копии ватиканского торса Геркулеса, – единственная достойная статуя, идеал красоты повоенной!

Миром будет править синяя блестящая культяпка. А провалится мир – туда ему и дорога!

От кошмарных дум и снов Обрубок стонал протяжно и мучительно. Перебирая мускулами спины, старался перевернуться на бок. Он умел делать это с налету, резким движением, головой упираясь в подушку и помогая себе сильной шеей; но иногда, не рассчитав движенья, падал на живот и, измучившись, плакал, как ребенок. Чтобы поправиться, долго раскачивался, опять напрягал шею и копошился в яме

мягкого тюфяка. Отдышавшись, закрывал глаза, – и тогда кошмар начинался снова, в полуяве-полусне его мучительной ночи.

Думать о другом? О чем? Вспоминать о прошлом, когда можно было на этих ногах обойти весь мир, этими руками обнимать и отталкивать, когда было все доступно, игра и борьба, поход и вальс, жест и работа? Когда можно было... можно было почесать плечо, не делая для этого трудных и утомительных движений головой, чтобы хоть достать подбородком? Ему казалось, что еще никогда и ни у кого не чесалось так сильно плечо, и с холодным ужасом думал: а вдруг, как не раз бывало, зачешется бок или грудь? Позвать Григория? Бедный Григорий! Что бы он дал, Обрубок, чтобы стать таким «бедным», с руками и ногами, – пусть пожилым и полуграмотным солдатом. Кем угодно, на какой угодно грязной работе. Каторжником – да, и каторжником. Даже шпионом! Любая жизнь лучше его жизни.

Ему вспоминались постоянные больные и напрасные споры его с соседом, Каштановым, потерявшим на войне зрение. И теперь он находил тысячу новых доводов и доказательств тому, что жизнь слепого во много раз легче, что все же она – настоящая жизнь, полная возможностей. Ночью, вот сейчас, в темноте, Каштанов равен всем другим. Он лежит удобно в постели, может встать, налить в стакан воды, выпить, крепко потянуться, опять заснуть. Может спать не один и не видя – ласкать. И этот счастливчик смеет жаловаться, смеет сравнивать!

Упершись затылком в подушку, Обрубок приподнял спину, изогнул тело и стал медленно и напряженно опускаться с протяжным, сквозь зубы, сдавленным звериным, волчьим воем.

В соседней комнате скрипнула кровать и зашлепали босые ноги Григория:

– Али не можется, что стонете? Может, надо что?

Попоил водой, из столика вынул плоское суденышко, долго возился с калеченым, как с ребенком, поправил постель, укутал, дал покурить, подставил блюдечко для пепла, – все при свете ночника. Посидел рядом, на самой постели, рукой скрывая зевоту.

– Что же, Григорий, так всегда и будешь за мной ходить?

– А что ж, ужель вас оставлю! Мне жить хорошо, только бы вас утешить. Не стоит об этом думать, ваше благородие. Меньше думаешь – лучше спится.

– Ты и вправду веришь в Бога, Григорий? Или только так говоришь, стараешься в него верить?

– В Бога я верю, как же не верить в Бога.

– Добрый он, твой Бог?

– Добрым ему не к чему быть. Он строгий.

– А зачем он меня искалечил, твой Бог?

– Как можно, ваше благородие, это ж не Господь, а люди! Их это дело.

– А он позволил людям.

– Значит, свои у его соображения, нам о том знать не дано. Вам, ваше благородие, смириться надо, такая уж вам судьба.

– Ну, хорошо, Григорий, я смирюсь. Иди спать.

Григорий зевал и закрещивал рот.

– Если что опять нужно – покликайте, а напрасно себя не мучайте.

– Спасибо, Григорий, иди.

Думал о Григории и его строгом Боге, имеющем свои соображения. О верующих, могущих смириться в любом несчастии. И странно – им не завидовал. Только им, единственным, и не завидовал. И в себе такой веры не находил и не искал. Обман!

Но, о них думая, затихал и вправду смирялся, позволяя сну мягкими руками коснуться глаз. И во сне видел себя здоровым, не спешащим использовать свое здоровье – свои цельные руки и ноги, свою молодость. Видел женщину – шутил с ней.

Обрубку еще не было тридцати лет. В этом возрасте перед человеком вся его жизнь. Но Обрубок не был человеком...

ОБЕЗЬЯНИЙ ГОРОДОК

Замкнутым кругом вырыли ров, сделав внешнюю стену отвесной. Получился островок, выхода с которого не было.

Посреди острова высокое сухое дерево с голыми ветвями. На них обезьянам удобно заниматься гимнастикой.

Под деревом домики с окнами, чердаками, крышами, – совсем как человеческие. Хорошие качели. Бассейн с проточной водой, а над ним, на перекладине, подвешено на веревке кольцо. Все для удовольствия.

Огромной семье серых мартышек жилось привольно. Плодились, размножались, наполняли городок.

Смотритель зоологического сада рассчитал правильно: обезьяний городок пользовался большим успехом у публики. Мартышкам бросали орехи, хлеб, картофель, любова-

лись их фокусами, смеялись над их любовью и семейными раздорами.

Смотритель решил переселить в городок и рыжую породу. Добавили домик, крышу сделали покрепче. Новые граждане были чуть-чуть покрупнее, мускулами крепче, нравом озорнее.

Сначала все шло хорошо. Были, конечно, драки, но без драк не бывает прочной общественности. Затем выяснилось соотношение сил и началось расовое засилие.

Был среди рыжих один – чистый разбойник. Сильный, ловкий, злой, командир среди своих, он стал истинным бичом серых. Не пропускал случая задеть, куснуть в загривок, цапнуть за ногу.

Сначала побаивался тронуть самку-мать, возле которой суетился голый, тоненький живчик. Но кончилось тем, что белыми острыми зубами, ловко подкравшись, тяпнул нежного младенца и спасся на дерево от разъяренной матери.

Проделка рыжим понравилась; они почувствовали свою силу. И тогда же в обезьяньей душе серых впервые родилось сознание предопределенности, грядущей неминуемой гибели их патриархального племени.

Серый страх поселился в обезьяньем городке. И скоро худшие ожиданья оправдались.

Рыжий засильник скучал. Все одно и то же, все одно и то же. Даже никакого серьезного сопротивления. После того как он, загнав робкую жертву на край ветки, заставил ее сделать неудачный прыжок вниз (серый сломал заднюю руку), – никто из серых больше на дерево не лазил. Отнимать пищу тоже скучно – и надоело, и не к чему, своей достаточно. Нужно что-нибудь особенное.

От скуки рыжий делал стратегические обходы, высматривал кучу дрожащих обезьянок, бросался прямо с крыши домика в самую гущу, цапал за загривок кого попало, потом садился поодаль, почесывая бок, и белыми зубами дразнился и издевался над трусами. Те вновь скучивались поодаль, уставив на него близкие глазки и стуча зубами. Куда бы он ни упрыгивал, – все как по команде повертывались в его сторону, зорко наблюдая за его движениями и готовясь в нужный момент отпрыгнуть. Когда он отходил далеко или спал дома, – они решались зализывать раны, глодать морковку, искать друг у друга блох и, наскоро и несмело, любить друг друга. Жизнь, хоть и ставшая невыносимой, должна была продолжаться. Но это была жизнь обреченных.

Однажды, когда рыжий скучал от безделия, один из серых рискнул позабавиться: прыгнул в кольцо над бассейном и стал качаться. Рыжий заметил, тихо спустился в ров, обошел понизу обезьянью усадьбу, нацелился, внезапно появился у бассейна, поймал серого за хвост и быстро сдернул его в воду.

Серый поплыл к краю, – но враг его был уже там; поплыл к другому, – но и здесь не удалось выйти. Едва он цеплялся за край, рыжий засильник крепкой рукой ударял его по маковке головы и окунал в воду.

Вот наконец новая и интересная забава. Серая жертва обессилела и, погружаясь в воду, пускала пузыри. Когда, в последний раз, мокрая обезьянья головка появилась у края, рыжий, уже без особого увлечения, лишь легким щелчком, погрузил ее в бассейн и подержал недолго. Теперь всплыли только пузыри. Издали на эту шалость рыжего смотрели дрожащие серые обезьянки, скаля зубы и поджимая хвосты.

Рыжий подождал, обошел еще раз бассейн, задорно выгнул спину, потом отошел, присел, оскалил зубы, отряхнул мокрую руку и, найдя турецкий боб, принялся его чистить. Забава окончилась, и опять стало скучно.

Но в общем, опыт ему понравился, и бассейн стал чаще привлекать его внимание. Теперь он уже сам загонял сюда новые жертвы. Когда ему удавалось схватить крепкими зубами зазевавшегося серого, он подтаскивал его к бассейну, отбиваясь зубами от судорожных рук, и быстро сталкивал в воду. Топил не торопясь, давая жертве немного отдышаться, лукаво отходя к краю и возвращаясь вовремя, чтобы погрузить голову слабого пловца, играл, забавлялся, прыгал в кольцо, качался и вновь подоспевал вовремя. Утопив, скучал, растягивался на крыше домика, забирался на дерево и сильными мускулами сотрясал большие сухие ветви.

Серая колония убывала. Страх перешел в безнадежность. Примеру главаря следовали и другие рыжие, нападая врасплох на исхудавших, облезлых, растерянных, дрожащих обезьянок, забираясь в их дома, выгоняя их наружу, отнимая пищу, перегрызая руки, вырывая клочьями шерсть. Серая колония таяла – рыжая плодилась и благоденствовала.

Смотритель зоологического сада слишком поздно заметил исчезновение серых, – лишь когда воду спустили для чистки бассейна. Сторожам досталось. Оставшихся серых переселили из вольного городка в особую клетку. Здесь их откормили, а к клетке привесили дощечку с их латинским

названием. Разрешили жене одного из сторожей поставить рядом столик с пакетиками турецких бобов. Это давало сторожихе небольшой постоянный доход, особенно по воскресным дням, а саду – экономию на пропитание обезьяньего племени.

Глядя на пополневших мартышек, невозможно было установить. вспоминают ли они об обезьяньем вольном городке, своей утраченной отчизне. Близко поставленными глазками они смотрели на публику, принимали подаяние, скалили зубы и, не стесняясь людей, делали на глазах всех то, что полагается делать человеческому подобию.

ИНВАЛИДЫ

Сегодня с утра к Стольникову забегали защитные шинели с пустыми рукавами, стучащие деревянные ноги и возбужденные лица со страшными шрамами. Обрубок внезапно стал их общепризнанным вождем, хотя было у них подобие своей организации – Союз инвалидов – и хотя из двух требований, с которыми решили они выступить, первое («Война до победнаго конца») не находило в нем сочувствия. Вторым была помощь инвалидам великой войны: но и об этом мало думал Стольников. Его волновала только мысль об открытом выступлении безруких, безногих, изуродованных людей. О них забыли – их слово теперь обязаны выслушать. И чем громче, чем резче, чем злее и настойчивее прозвучит оно, – тем лучше.

Было решено, что его, как совершеннейшего из инвалидов, понесут впереди в кресле, поставленном на высокие носилки. Остановится процессия перед домом Совета депутатов, и там будут сказаны речи.

К двум часам собрались кучками на Тверском, расселись на лавочках, потоптались у Пушкина, бродили по площади. Когда принесли Стольникова, все подтянулись к нему. Знамя было одно: красное. Союза инвалидов.

Получилась толпа сотни в три. Носилки с креслом несли трое посильнее; четвертым был Григорий. Рядом шли безрукие и на костылях. Вели под руку нескольких слепых, в том числе и Каштанова. В толпе белелось много повязок.

По самому тротуару, припадая на одну ногу, ковылял страшный солдатик, у которого не было лица; на блестящей коже чернели лишь глаза без ресниц и без бровей, буравились дырочки носа и висел сбоку клочок путаной бороды.

Когда процессия остановилась, на балкон дома Совета депутатов вышло пять человек. Один, блондин с бородкой, похожий на интеллигентного купчика, полный и уверенный в себе, перевесился дородным телом через перила балкона и замахал рукой. Четверо облокотились на перила, без особого любопытства разглядывая толпу уродцев. Была эта картина не новая.

Из толпы инвалидов кричали нестройным хором. Слышались слова «до победы», «позор», «мы требуем», некоторые махали листками, но видна была плохая организованность выступления и несогласованность желаний пришедшей толпы.

Блондин на балконе опять махнул рукой и начал говорить. Голос его был хрипл, очевидно надорван постоянными речами; сегодня он говорил с балкона уже в шестой раз – шестой толпе солдатских шинелей. И речь его была заучена, одна для всех, разнились только обращения. Сейчас он говорил к «товарищам-инвалидам империалистической бойни». Слова ударялись о памятник Скобелеву, с которого только что сняли бронзовые фигуры, пролетали дальше и терялись в низких сводах гауптвахты. Прохожие задерживались ненадолго, – к демонстрациям у Совета давно привыкли, слова с балкона давно были известны. Внимание привлекало только кресло Обрубка, возвышавшееся над толпой.

Стольников, покачиваясь при неловких движениях носилок, не отрывая глаз, смотрел на здорового, двурукого, двуногого оратора. Привязанный к креслу, он ярче обыкновенного чувствовал свое бессилие, свою неспособность к жесту, сейчас так ему необходимому.

В середине речи оратора начали прерывать; к концу гул голосов совсем заглушил его слова. Те, что стояли ближе к носилкам Обрубка, засучили рукава и совали к балкону синие культяпки рук, другие махали костылями и кричали с надрывом. Непонятное кричали и слепые. Солдат без лица вышел вперед и мычал: он был нем.

Оратор выкрикнул последнее, рукой показал куда-то вдаль и вверх, утер губы платком и попятился к двери; за ним вышли и другие.

Нужно было что-то делать, а что именно – никто точно не знал. Делегаты с листом требований вернулись; лист у них взяли, но самих в здание Совета не пустили. У входа в Совет стояли молодые солдаты с винтовками, другие были расставлены на тротуаре и прогоняли останавливавшихся прохожих. Из подъезда вихрем вылетел юноша в военной форме, одетый чище других и лучше затянутый кушаком,

очевидно – командир, перебежал тротуар и, не подходя близко к голове процессии, закричал:

– Проходите, товарищи, расходитесь, довольно! Нельзя занимать площадь.

Вернулся и вывел наряд, занявший весь тротуар перед домом.

Толпа инвалидов потопталась на месте, но крайние, поздоровее, уже пятились. Те, что несли знамя, двинулись в сторону улицы.

В этот момент, покрывая гул толпы, раздался резкий и дикий, почти нечеловеческий крик, сорвавшийся в визг:

– Разбойники! Р-р-раз-бой-ни-ки!

Носилки покачнулись. Быстро, свободной рукой, Григорий подхватил падавшее с кресла тело Обрубка, сломавшего легкую перекладину, которая его сдерживала. Из толпы бросились помочь. Почти вплотную подбежал и начальник караула с двумя солдатами.

– Убрать! Уноси его отсюда, пока хуже не будет. Товарищи, слышали приказ: расходись немедленно!

Обрубок был без чувств. Григорий, передав свой край носилок, подвязывал ручки кресла, обматывая той же веревкой грудь Обрубка и спинку кресла. Затем, толкнув в бок парня с перевязанной щекой, державшего передний край носилок, глухо скомандовал:

– Айда, заноси край. Нечего тут проклажаться.

Толпа смолкла и быстро двинулась. Только часть пошла за Стольниковым; другая, перегоняя свернутое знамя, рассыпалась в противоположную сторону Тверской.

– Как бы чего не вышло, – сказал инвалид, шагавший рядом с Григорием. – Они, брат, не посмотрят, что он безногий-безрукий. Главное дело, что офицер... Этакое им крикнул.

– Чего с него взять, – буркнул Григорий. – Все уже взято.

И, поторапливая носильщиков, он одним насупленным, суровым взглядом заставлял толпу встречных и любопытных сворачивать с пути странной процессии.

Обрубок очнулся, отыскал глазами Григория, затем снова опустил голову и до самого дома не открывал глаз. Только при неловких движениях носилок лицо его вздрагивало болезненно.

КРУГ СЖИМАЕТСЯ

Сегодня Дуняша вытопила печь в гостиной, где теперь стоит рояль, занимая полкомнаты. Зал и столовая заперты. Танюша переселилась в бабушкину комнату, рядом со спаль-

ней дедушки. Второй этаж не отапливался, так как дрова достаются с трудом. В последний раз ездили за дровами вместе Николай и Дуняша, а подводу дал зеленщик. Привезли березовых, сухих, отличных, а откуда – это уж секрет Николая, зря болтать нечего. По дороге какие-то пробовали остановить подводу, но Николай отстоял:

– Везу себе, свои кости греть. Отымай у других, а не у рабочего человека. Меня, брат, не испугаешь! Я сам совдеп.

И ничего, пропустили.

Эдуард Львович играл Шопена. Играл спокойно, не дергаясь. Танюша, хозяйка особняка, разливала чай. Орнитолог не на диване, а в глубоком кресле. Был и Поплавский, худой как тень, – очень ему тяжело жить. Конечно, и Вася Болтановский, каждодневный теперь гость; да и не гость, а свой человек. Из новых знакомых – Алексей Дмитриевич Астафьев, философ, приват-доцент. С ним Таню познакомил Вася, а старый профессор знал его немного по университету и одобрял. Только мужчины; даже Леночки не было; Леночка перед самой революцией вышла замуж за доктора.

Чай был настоящий, из старых запасов; хлеб белый, из муки, которую привезли из деревни Дуняше. Сахар пайковый – еще выдавали иногда.

Профессор думал о том, что вот нет в углу лампы, освещавшей седую голову и чепчик бабушки и ее рукоделье. Потом переводил глаза на Танюшу и видел, что Танюша, заменившая бабушку за самоваром, стала, пожалуй, совсем взрослой. Уверенная, заботливая, задумчивая; даже слишком задумчивая, – в ее годы можно бы и легкомысленнее быть, но только, конечно, не в такое время; сейчас беззаботных нет. А Вася все на нее смотрит, все смотрит. Славный паренек Вася, да только вряд ли Танюша отметит его особо: мальчик он хоть и хороший, а не по Танюше. Совсем другой человек ей нужен.

Поплавский сказал:

– И тепло же у вас. И уютно, еще уютнее прежнего. У меня дома настоящий мороз; я в одной комнате заперся, а в столовой с потолка свесились сталактиты; у нас водопровод лопнул.

Эдуард Львович потер руками и подумал, что ведь у него тоже холодно. Правда, есть печурка, но обращаться с ней очень трудно, даже если дрова наколоты на маленькие кусочки и положены рядом. Подумал Эдуард Львович, но ничего не сказал: это не из его области разговор. Главное,

есть у него рояль. А ведь у некоторых отобрали. Опять поежился и потер руками.

Танюша спросила Астафьева:

– А вы где живете, Алексей Дмитрич?

– Я живу на Владимиро-Долгоруковской. Дом у нас сейчас заселен рабочими, а из буржуазных элементов только я остался. Пока не трогают, но, вероятно, выселят и меня. Шумно у нас, а любопытно.

Вася рассмеялся:

– Чего же любопытного, когда у вас все отобрали.

– Ну, что ж за беда. Да и не все, книги остались.

– Без полок?

– Полок осталось мало. Но я их сам сжег; холодновато было.

– И книги отберут.

– Может быть, отберут. Я не так уж и огорчусь.

– А как работать?

Астафьев улыбнулся, не сразу ответил:

– Работать... Конечно, по-прежнему работать будет невозможно; да и теперь нельзя. Но ведь... и нужно ли?

На него смотрела Танюша, и он продолжал:

– Философия стала уж слишком очевидной роскошью. Как и вообще наука. Для себя самого – да, а для других – не знаю. Чему учить других, когда жизнь учит лучше всякого философа?

Танюша подумала: «Что это он, иронизирует или кокетничает парадоксами?» Поплавскому стало грустно от таких слов. А старый орнитолог обеспокоился:

– Как же тогда, делать-то что же, улицу мести? Мудрость, веками накопленная, не может же вдруг, в один день стать ненужной.

Астафьеву очень не хотелось возражать. И вообще говорить не хотелось. Было так уютно в старом особнячке, так тепло и старинно. И так хорошо от музыки Эдуарда Львовича и от чая, налитого руками Танюши. Но нужно ответить.

– Видите, профессор, вот ваша область, естествознание, она такая, ну, безошибочная, что ли. А философия ведь даже и не наука, хотя и зовется наукой наук. Ее рождает роскошь жизни или усталость от жизни. Она – пирожное. И еще она – насмешка. И еще она – уход. Жизнь же сейчас такова, что если от нее отойдешь на минуту – она от тебя уйдет на дни. Кто хочет выжить, тот должен за нее цепляться, за жизнь, карабкаться, других с подножки сшибать, – как в трамвае.

– Тоже и это – философия, – сказал профессор. – Печальная, конечно.

– Да нет, почему печальная. Просто подошли мы ближе к природе. Быт огрубел и упростился; должно и бытие ему соответствовать.

Поплавский вставил:

– Ну, бытие не грубеет. Бытие, напротив, тоньше становится. Мы сейчас глубже чувствуем. Быт идет сам собой, а жизнь духовная...

– Думаете, сложнее становится? А я не думаю. Обыватель от усталости становится немного философом, а философ – обывателем; оба циники. От этого бытие не выигрывает. А главное – все это не нужно, как прежде было нужно. Сейчас важнее сохранить и развить мускулы, а книги – зачем книги, разве что популярные брошюры, учебники, пожалуй, сказки – для отдыха.

И Астафьев улыбнулся так, что можно было принять его слова за шутку, а можно и за серьезное.

Эдуард Львович обвел всех близорукими глазами и на редкость уверенным голосом, картавя, сказал:

– Хотите ри, я сыграю что-нибудь крассическое?

Пока он играл, Астафьев смотрел на Танюшу, которая, стараясь не стукнуть ложечкой, мыла чашки. Астафьев думал: кто она такая? С детскими еще чертами лица – взрослая женщина.

Танюше шел двадцать первый год. Она была стройна и красива. Лицо очень строгое, почти холодное, – хотя и очень русское. Улыбка, наоборот, цельная, несдержанная, согревающая. Когда улыбка сбегала с лица Танюши, на минуту на лице оставался румянец и ласково играли глаза. Затем опять рождалась Диана. Вечером серые глаза Танюши казались темными и синими. Волосы гладко зачесаны над большим лбом. Танюша была из породы тех немодных женщин, которые не могут сделать неизящного движения и которым не приходится думать, как держать руки или как наклонить голову. Такой она была на людях, в обществе. Иною она была одна: глаза раскрывались шире, на лбу появлялась легкая складочка, и Танюша становилась хрупкой и испуганной девочкой, которая не знает, куда ей идти, у чьей двери постучаться, у которой на всем свете нет никого, кто мог бы указать и посоветовать. Танюша смотрела в окно и видела серое небо; она брала книгу, на страницах которой не было ответа. Она вздыхала, и кофточка казалась ей тесной. Тяжелые волосы оттягивали голову. Все

предметы в комнате, давно знакомые, смотрели на нее равнодушно и слишком логично. Тогда она шла к дедушке и прижималась к его жесткой щеке. Дедушка гладил ее и думал: «Что будет с моей Танюшей?»

Эдуард Львович играл сегодня с особой уверенностью и, когда играл, знал определенно, что люди растерялись, а истина известна только ему, Эдуарду Львовичу. Только он обладает вполне несомненным. И несомненного отнять нельзя. Несомненное – музыка, мир звуков, власть звуков, композиция. Он ударял пальцем по клавише, и клавиша отвечала так, как он хотел и требовал.

За окнами падал снег. Ни лошади, ни пешехода не было на Сивцевом Вражке.

В Хамовниках, в большом доме с освещенными окнами, суетились люди в гимнастерках, в кожаных куртках, в солдатских шинелях. Выходили группами, садились в автомобили и летели быстрее нужного. Пока Эдуард Львович играл, неуклюжий солдатский палец выводил буквы его фамилии и прикладывал печать. Музыка, композиция несомненны и неотъемлемы. Но рояль – вещь, которая может быть отнята с еще большей легкостью, чем отнимают сейчас жизнь. И притом рояль очень нужен для рабочего клуба.

Вписав в бланк мандата фамилию композитора, тот же палец, уже гораздо свободнее и увереннее, даже несколько игриво, подписал внизу и собственное имя с красным росчерком:

«Андрей Колчагин».

И поставил печать.

ВЕЩЬ

Выходная дверь с треском захлопнулась, но с лестницы еще доносились голоса, а струны рояля при толчках звучали удивленным баском.

Комната выходила во двор, и как грузили рояль на подводу, Эдуард Львович не видел.

Однако один из реквизиторов вернулся, постучав – вошел и утешительно повторил Эдуарду Львовичу:

– Значит, вы, гражданин, особенно не волнуйтесь. Если окажется, что у вас исключительное право от учреждения по музыке, тогда обратно получите, не этот, так другой. А против декрета мы не можем, и рабочие клубы в высшей степени нуждаются в музыкальных фортепьянах; всякому

мы оставлять фактически не можем, так что ясное дело. А зря волноваться нечего, никто вас не обидит, и все идет на нужные потребности страны. Вы даже должны, как образованный человек, радоваться. А впротчем, можете жаловаться.

И ушел.

Хотя Эдуард Львович ел, пил и спал, как все остальные люди, но от этих остальных людей он отличался тем, что как-то мало замечал, что он ест и пьет, а спать он ложится потому, что играть ночью нельзя, – спят остальные люди. Кроме того, у остальных людей были еще малопонятные Эдуарду Львовичу интересы: семейные, деловые, политические. По нотам жизни своей они разыгрывали опусы, весьма чуждые композитору и как-то не вполне подчиняющиеся контрапункту. Вероятно, все это было нужно, но уж, во всяком случае, можно было обойтись и без этого при наличии того всеобъемлющего и всеисчерпывающего, которое зовется музыкой.

Это доказано и опытом. Эдуарду Львовичу уже за пятьдесят лет, у него не было ни семьи, ни других привязанностей, а если и было что-то подобное в молодости, то теперь все это уже давно претворено в звуки и легко укладывается в пять строк нотной бумаги. И уж, конечно, Эдуард Львович не заметил, как он из обыкновенного, как хроматическая гамма, человека, хотя и с абсолютным слухом, сделался – гражданином.

Когда человек, назвавший Эдуарда Львовича гражданином, ушел, на полу остались пятнышки пыли в тех местах, где раньше были ножки рояля, а от пятнышек, как колеи на полу, шли к дверям три светлые ленты. А на этажерке ноты, вдруг ставшие ненужными, в особенности рукописные, в большой старой папке.

И еще осталась в комнате никому на свете не нужная, старая, подержанная вещь – сам Эдуард Львович. Вещь постояла среди комнаты, потрогала себя рукой за редкие волосы на висках и посадила себя на стул у стены. Круглый же табурет с повышающимся сиденьем стоял пустым среди комнаты, и сесть на него было бы теперь как-то странно: неизвестно, куда обратиться лицом; совершенно безразлично.

С полчаса вещь просидела так, вполне сознавая важность случившегося, но путаясь в деталях, а главное, не понимая, что же нужно теперь делать. Был даже момент, когда вещь улыбнулась и подумала: «Это же ведь не может быть! Ве-

роятно, это что-нибудь из *той,* из *их* жизни, не имеющей отношения. Нельзя же предположить, что вдруг действительно кто-то зачем-то мог отнять и увезти... ну, почти что... то есть не почти что, а именно... душу, – взять ее и увезти на подводе? Ведь невозможно же без инструмента не только обработать, но и наметить в главных чертах симфонию или даже небольшой романс, и вообще – ну ведь нельзя же жить на свете без инструмента, как же это так? Что же тогда останется?»

Это было настолько нелепо и похоже на шутку, настолько невероятно, что вещь, сидевшая на стуле у стенки, попробовала улыбнуться; затем она на минуту закрыла глаза. Немедленно же три светлые ленточки на полу исчезли, на пятнышки пыли встали ножки рояля, и все вернулось. Открыв же глаза снова, вещь опять увидела пятнышки и полоски к выходной двери.

И вот тут из дальнего уголка памяти, из старой нотной тетрадки, где все записи пожелтели и полустерлись, позабытым мотивчиком внезапно выглянула мысль, что подобный случай уже был однажды. И подробности: тоже вынесли предмет вроде ящика и тоже на его месте осталась незаполненная пустота. Ящик поменьше и полегче, узкий. Ящик был гробом, а лежала в нем мать Эдуарда Львовича, сожитель всей его жизни, почти до самых седых его волос.

Но была и разница. Какая же была разница?

Во-первых, тогда Эдуард Львович вышел из комнаты вслед за ящиком и шел за ним по улице до могилы. Ящик опустили в землю. Потом... потом Эдуард Львович вернулся домой, и квартира (тогда у него была своя, никем не оспариваемая квартира) показалась ему пустой. И вот тут... произошло что-то примиряющее, утешит... ну да. Он сел за рояль и стал играть. И играл до сумерек. И играя – забыл о потере. И каждый раз, как он чувствовал наступившую в жизни пустоту, – он заполнял ее звуками рояля.

А теперь? И вот тут мысль мучительно путалась и терялась. Разумный Эдуард Львович исчезал, а на стуле оказывалась ненужная вещь, старая и выцветшая, называющаяся гражданином.

Экономическая печурка потухла, и ноги Эдуарда Львовича стали зябнуть. Сначала он хотел снова затопить печурку, но понял, что теперь это совершенно ни к чему. Тогда надел свою рыжую шубенку, валенки, шапку и, осторожно ступая, чтобы не наступить на вытертые на паркете ленточки, вышел из дому.

Тусклым огоньком теплилось в памяти, что идти нужно вслед... за этим ящиком, в котором вложено все содержание жизни. Нужно за ним идти, так как можно пожаловаться. Но куда за ним идти? Какой улицей? В каком направлении?

В тот раз его несли за Дорогомиловскую заставу. Потом по дороге, в ворота и в глубину налево, маленькая могила за решеткой; и там у могилы лавочка.

Эдуард Львович сильно устал, но нашел могилу легко, - знакомая могила. Даже соседние могилы были знакомы. Так хорошо было встретиться, опять быть в кругу таких простых, тихих и приятных... действительно, точно друзья. С того раза, однако, прошло... Эдуард Львович считал... уже лет... уже лет пятнадцать или уж шестнадцать. Какая уютная эта могила – его матери, – хотя такая простая. И он присел на лавочку.

Глубокой старушкой умерла его мать. Теперь же и сам он почти старичок. Волос мало и волосы седые. Когда волос было больше и они седыми еще не были, то случалось... вот тут опять из старой нотной тетрадки украдкой зазвучали мотивчики... случалось, что было на что пожаловаться матери, – на первые неудачи, на равнодушие публики, на непонимание критики, – разные были тогда обиды, и тоже немалые... но, конечно, не *такие, такой* никогда еще не было. И если он теперь... если, например, он и теперь пожалуется своей родной матери (потому что ведь теперь обида новая и несносная), то она его, во всяком случае, поймет; другие, остальные люди, может быть, и не поняли бы, но мать – старый друг! Она поймет!

В валенках плохоньких, подшитых на пятке кожей, в шубенке трепаной, снявши шапку, на гражданина не похожий, но очень похожий на ненужную и подержанную вещь, – седой, никому не нужный и теперь человечек сполз с лавочки в снег на коленки и, обжигая лысину о железо решетки, стал плакать, по-ребячьи всхлипывая. На кладбищах нужно плакать по другим, – а он по самому себе, так как его обидели, отняли у него игрушку всей жизни. Бедный такой, точно маленький, а сам уже старичок. И, как ребятенок, все слова забыл, а помнил и повторял только одно коротенькое словечко «мама», – других слов не было. Вытирал нос рукавом, а обильные слезы буравили дырочки в снегу и застывали светлой сосулькой на завитушке решетки. Сквозь туман слез он смотрел на дырочки и на сосульку, а всхлипывания свои укладывал на ноты, ставил форшлаг, отделяя черточкой, помечал паузой на три четверти.

Когда все слезы кончились, встал, огляделся, смущенно улыбнулся, поклонился могиле вежливым поклоном, потоптался, как в передней, перед уходом из гостей, и пошел к выходу, проваливаясь в сугробах нечищеного кладбища...

Пошел к дому, – и долго плелся по улицам, шаркая валенками, уступая дорогу прохожим, стараясь от холода спрятать лицо в мездру воротника.

Дома его ждала комната, не согретая печуркой. В комнате было темно, и не видно ни пятнышка пыли, ни полосок на паркете. Вещь осторожно приоткрыла дверь, вошла, нащупала в темноте стул у стенки и села.

БРОНЗОВЫЙ ШАРИК

Танюша навестила Стольникова. На этот раз он принял ее сидя в кресле. На нем был френч с напрасными рукавами. Кресло – у стола, где разложены «изобретения», и посередине – бронзовый шарик на листе темно-зеленой бумаги.

Танюша, войдя, сразу опять почувствовала ту неловкость, которая удерживала ее от второго визита. Как-то странно даже войти: нельзя подать руки. Может быть, нужно поклониться. И, конечно, нужно смотреть просто, приветливо и весело. *Нужно сделать лицо* – это всего труднее. И она покраснела еще на пороге.

Ясно понимала Танюша, что не нужно спрашивать ни о здоровье, ни «как поживаете», что нужно непринужденно говорить самой о чем-нибудь и о ком-нибудь, рассказывать, развлекать. Но это так трудно. И обрадовалась, когда Стольников заговорил сам. Он сказал:

– Приятно, очень приятно мне видеть вас, Танюша. Я называю вас Танюшей по-прежнему, хотя вы совсем большая стали; но я-то стал зато вроде как бы старик, хотя Григорий и называет меня малым ребенком. Как же ваши занятия, Танюша?

Она стала рассказывать и заметила, что он почти не слушает, а думает о своем. Она спросила:

– Вам что-нибудь нужно? Помочь вам чем-нибудь?

– Пожалуй, мне покурить хочется. Возьмите папиросу и суньте ее без стеснения прямо мне в рот. Вот так, спасибо, а пепельницу Григорий прямо передо мной ставит.

– Это что за шарик у вас?

– Шарик... Да, это замечательный шарик.

И вдруг, с изменившимся лицом, он заговорил быстрым шепотом:

– Шарик этот, Танюша, может все изменить и перевернуть, все вернуть... Вы не верите в чудо? Я в такое чудо верить могу, ведь я сам, говорят, чудо, чудо хирургии и выносливости. И вот я смотрю на этот шарик и жду... он должен зашевелиться. И он, Танюша, зашевелится, я его заставлю, взглядом заставлю.

Она не поняла, но Обрубок и не смотрел на нее.

– Должна быть такая сила, понимаете, выработаться сила. Сначала пустяк – действие на шарик, чтобы покатился; а если это будет, тогда, вы понимаете, в дальнейшем будет все возможно, только нужна гимнастика воли. Если заставлю, тогда мне не нужно рук и ног, я и без них буду сильнее многих и всех, – понимаете.

С напряженными мускулами лица, слегка раскачиваясь, он фиксировал шарик взглядом, как бы толкая его мыслью. Папироса упала в подставленную пепельницу. И так же напряженно, широко раскрыв глаза, полная жалости и жути, смотрела на него Танюша и испуганно думала: «Что же делать, Господи, что же делать! Он помешался, он совсем болен».

На минуту закрыв глаза, Стольников как-то сразу успокоился, улыбнулся своей прежней, давней улыбкой, прямо взглянул на Танюшу и сказал:

– Нет, Танюша, вы этого не думайте, я не сумасшедший. Тут совсем другое. Тут единственный исход, спасенье единственное. Моя жизнь, вы понимаете, несладка. Но если надо жить – надо ее, жизнь, создать терпимой; а такая, теперешняя, нетерпима. Так жить непереносимо мне, Танюша. Либо верить, либо не верить. Мой шарик не такое уже безумие. Безрукие пишут ногами, безногие передвигаются при помощи рук, глухие слушают трубкой, слепые учатся видеть при помощи каких-то инструментов. Все это – чудеса не меньше моего чуда, которого жду я. Я ведь тоже многого добился: я вот могу есть суп ложкой и сам в постели закуриваю. Бесконечно многого можно добиться. Писать ртом совсем просто. Но хочу я добиться бесконечно большего, потому что и несчастье мое бесконечно большое. Есть области духа, нам еще мало ведомые, но реальные, а не гадаемые. Можно устраивать взрывы на расстоянии, без проводов. Можно в Европе слышать голос из Америки. Говорят, можно будет управлять полетом аэроплана без пилота. Это все, конечно, чудеса. Это – техника; а в области духа чудес должно быть больше. Факиры тоже не все шарлатаны. И не таких уж

чудес я хочу. Я не скалу хочу двинуть, а легкий шарик. Человек – источник огромной силы: изучить ее нужно и направлять ее. Нет, Танюша, я не безумный.

– Я и не думала...

– Нет, вы именно подумали, я знаю. Я вообще многое чувствую острее, чем другие, чем здоровые... целые люди. Но не в том дело. А дело в том... Но вот... хотите, Танюша, взгляните на меня.

Она подняла глаза и встретила его опять изменившийся взгляд, сразу словно и проницательный, и далекий, нездешний. Опять в темных больших глазах Обрубка, в глубине их, в зрачке, искоркой горело то, что Танюше показалось безумием.

– Вы не бойтесь, вы смотрите. Теперь смотрите сюда, на шарик, и вот смотрите... пристальней... вот... вот...

Танюша замерла. И вдруг случилось непонятное, странное своей простотой и неожиданностью: бронзовый шарик качнулся, покатился в сторону Танюши, докатился до края стола и со стуком упал к ее ногам. Танюша вскрикнула, отшатнулась, вскочила и отбежала к двери. Опомнившись, она оглянулась и увидела откинутую назад голову Обрубка. Его глаза были полуоткрыты и казались белыми. В комнату вошел Григорий:

– Что вы, барышня? Или плохо им?

Увидав, в каком состоянии Обрубок, Григорий покачал головой:

– Бывает это с ним. Опять своим шариком забавлялся. Эх, барышня, какой они человек несчастливый. И день, и ночь вот так маются. Вы идите, барышня, я тут сам управлюсь, это пройдет у него. Скоро отойдет, я знаю, тревожить не нужно. А вам тут быть неудобно.

Танюша вышла, едва держась на дрожащих ногах. То, что случилось, было так странно и так ужасно. Показалось ей – или и правда? Или он толкнул столик? А как он был бледен и как безумны были его глаза. Это – самое страшное, что видела Танюша в своей жизни.

Морозный воздух улицы вернул ей силы. Миновав Бронную, Танюша быстрой походкой пошла в сторону консерватории. Если бы она встретила кого-нибудь из знакомых, она не узнала бы.

ВИЗИТ

К Стольникову пришли под утро и стуком в дверь подняли Григория:

– Вы, гражданин, кто?

Григорий, хоть и понял, хмуро ответил вопросом:
– А вы сами кто такие? Чего вам нужно?
Четверо стояли с ружьями, а спрашивал пятый, в кожаной куртке, с красным бутафорским бантом. Махнул у Григория под носом наганом:
– Мы вот кто. Офицер Стольников который тут?
– На что вам его? Спят они. Не к чему их беспокоить.
– Ты что же, денщик его, что ли?
– Денщик.
– И тебя заберем. Денщиков, брат, нет больше, коли не понимаешь. Ну, поворачивайся.
И ввалились в спальню Стольникова.
Григорий смотрел мрачной тучей. Не испугался нисколько – видал всякие виды.
Обрубок лежал под одеялом, повернув голову к вошедшим. Он проснулся от стука, понял и теперь смотрел на вошедших молча, нахмурив брови. В глазах была злая насмешка.
– Вы, что ли, офицер Стольников? А ну, вставай, не стесняйся, здесь баб нет.
Григорий мрачно и раздельно сказал:
– Спроси сначала, могут ли они встать. Не знаете сами, куда идете. Разве это полагается инвалидов беспокоить?
Черная куртка прикрикнула:
– Ты, товарищ денщик, не очень разговаривай; заберем и тебя без предписания. Подымай своего барина. Мандат у нас имеется. Без разговоров, граждане, документы свои предъявите.
Стольников тихо произнес:
– Дай им документы, Григорий.
– Вы что же, инвалид? – спросил черный.
Стольников не ответил, смотрел черному в глаза насмешливо.
– Спрашиваю – надо отвечать! И в постели нечего прохлаждаться. Предписано доставить вас, а уж там разберут, чем больны. Это дело не наше.
Солдаты смотрели с любопытством. И лицо, и голос лежащего офицера были особенными. И видели, что начальник наряда смущен, хоть и старается держать тон.
Отдавая документы, Григорий сказал тихо:
– Без рук, без ног они. Нечего вам с ними делать.
Начальник наряда промычал:
– Дело не мое. Есть приказ доставить. И никаких не может быть рассуждений. Ходить-то может он?

– Ежели говорю, без рук, без ног.
– Мне все одно, хоть без головы. Приказ ясный, значит, не о чем говорить. Смотри, как бы и тебя не забрали.
– Меня нельзя, я за ним хожу.
– Нянька? Тоже – солдат называется.
– Уж какой есть, тебя не спрашивал.
– А ты, товарищ, не дерзи, управа найдется. Ладно, подымай своего барина.
Стольников, сверкнув глазами, сказал громко:
– А ты, хам, на войне-то воевал? Или только с офицерами воюешь?
Черный вспылил:
– Забирай его, ребята, как есть, нечего смотреть.
Ни один солдат не двинулся.
Тогда черный, держа в руке наган, подошел к постели Стольникова и закричал:
– Встать!
Встретил насмешливый взгляд. Стольников не шевельнулся.
Черный в бешенстве схватил край одеяла и сдернул с лежащего. В прорез рубашки глянул лоснящийся рубец плеча; другой рукав был подвернут под спину, а вся рубашка – под бедра. Не дрогнув мускулом лица, Обрубок только впился в лицо черного.
Тогда сказал Григорий:
– Что же это, братцы, делается! Разве так можно!
Один солдат стукнул прикладом и проворчал:
– Эй, брось его, пущай лежит. Какая в нем безопасность.
Другой поддержал:
– На кой он кому нужен. Видишь – инвалид полный.
Григорий подошел к постели, плечом отстранил черного и накрыл офицера одеялом. Обрубок лежал, закрыв глаза. Левая щека дергалась. Зубы стиснул.
Черный, не зная, что делать, закричал на Григория:
– А ну ты, товарищ, забирай свое барахло и собирайся. Айда, шевелись. Это у вас что тут за машина? Забирай, ребята, машину, велено для канцелярии. Протокол составим и айда. Вы, гражданин инвалид, до расследования останетесь дома, под арестом. Мое дело сторона, мандат имеется. А ты собирайся, денщик. Тебе там покажут, как офицера укрывать.
Григорий сказал решительно:
– Я не пойду. Тащи силой, коли на тебе креста нет. Воины!
Черный поднял наган, навел на Григория:

– Это видал? Скажи слово!

Но руку его резко отвела другая рука. Молодой солдат, покраснев до белесых волос, угрюмо буркнул:

– Оставь! Говорю, не замай. Машинку, коли надо, забирай, а его оставь. Не туда попали. Один на войне изрублен, а другой за ним ходит. Чай, не звери мы. Айда, собираться будем.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер:

– Это дело не ваше, товарищи; я тут отвечаю один, а ваше дело исполнять.

– Ладно, очень тоже не начальствуй. Говорю – забирай машину, и будет.

И остальные заступились:

– Верно; здесь, товарищ, дело совсем особое. Тоже понимать нужно.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер в кобуру, повернул к двери:

– Ну, там который-нибудь, прихвати машину.

– Ладно.

Четверо повернули головы к Стольникову и, смотря вбок, один за другим козырнули:

– Счастливо оставаться!

Молодой задержался, подошел к пишущей машинке, потрогал, опять покраснел:

– А ну ее к лешему, на кой она! Пущай остается.

И к Григорию:

– Ты, товарищ, ничего не беспокойся. Тоже и мы люди.

Затем к Обрубку – фронтом:

– Счастливо оставаться, ваше благородие!

И вышел, стуча сапогами.

КОНЦЕРТ

Дуняша в теплом платке поверх кофты и в валенках, Танюша в старых ботиках и серой меховой шапочке. Последние морозы. Город замерз. Только бы дотянуть до весны – там будет легче.

На дверях совдепа много всяких объявлений, отстуканных на испорченных ремингтонах. Лент нет, и печатают копировальной бумагой.

Печати огромные, а подписи рыжие, смешанными чернилами. Комендант принимает дважды в день. Что за должность: комендант? Подпись крупными каракулями: «Колчагин». И росчерк ржавым пером.

– Кого вам?

Пропустили. Однако пришлось обождать. На счастье, вышел сам, увидал, сказал: «Пожалуйте, я сейчас». И очень строго на кого-то прикрикнул:

– А вы зря ходите, гражданин, раз сказано бесповоротно!

Даже Дуняша присмирела. Танюша смотрела с любопытством: вот он, живший у них на кухне, а сейчас начальство. От него зависит судьба Эдуарда Львовича и, верно, еще многих людей.

В «кабинете» своем Колчагин стал иным. Со смущеньем поздоровался, видимо, волновался:

– Уж простите, что обождали. Верно, дело до меня? Вот, Татьяна Михайловна, где довелось встретиться. Конечно, сейчас время такое. Порядки наводим новые. А вы присядьте, может, чайку выпьете. Ты, Дуня, тоже садись, давно тебя не видал. Сейчас прикажу чай.

– Нет, не нужно, мы ведь по делу, а вас другие ждут.

– Подождут, неважно. Там все больше по напрасным делам. Конечно, решать приходится.

Не знал, как держать себя Дуняшин брат; суетился, но и важности терять не хотел. А Танюша не знала, как называть его. Раньше звала Андреем. Выручила Дуняша.

– Андрюша, пошто у барина, у Эдуарда Львовича, у учителя-то барышни, рояль отняли?

Танюша объяснила. Андрей, хоть и сам подписывал бумагу, не помнил, о ком разговор.

– Нельзя ли ему обратно отдать? Он композитор и профессор консерватории. Ему нельзя без инструмента. Что же ему делать?

Андрей вспомнил:

– Который косой, у вас все играл?

– Ну да, он.

– А кто же отнял?

Навел справку. Узнал: для рабочего клуба. Но рояль еще не отправлен, а клуб еще не открыт. Вызвал кого-то по телефону, главное, чтобы показать деловитость. Покричал в трубку, похмурился, вышел из комнаты:

– Сейчас узнаю и прикажу.

Видимо, рад был, что может сделать властно и быстро. С четверть часа где-то пропадал, хлопотал, вернулся:

– Можно будет восстановить. Конечно, музыкант, дело совсем особое. По недоразумению у него отобрали.

Дуняша для крепости намекнула:

– Ты уж постарайся, Андрюша, для Татьяны Михайловны. Она тебе рубашки на фронт посылала.

– Так я что ж, обязательно. Сам с вами и на склад поеду. Это дело особое, по ошибке, за всем не усмотришь. Времена сейчас, конечно, другие, но мы против граждан ничего не имеем, различаем. Вы, Татьяна Михайловна, будьте покойны, и ежели у вас в доме какое недоразумение, придут там, или реквизиция, – обязательно ко мне, и будьте покойны.

Опять вышел – бумажку написал, печати. Приказ, одним словом.

– Пожалуйте, на склад поедем. Я уж сам для верности.

Вышли. Ждал у ворот автомобиль, шумный, облезлый, рвущийся. Колчагин был важен и суров, шоферу сказал отрывисто:

– Айда, товарищ, на склад, где намедни были.

На складе, в сарае бывшего торгового помещения, навалена была мебель, ковры, картины со сломанными рамками, письменные столы, пианино, зеркала, – все поцарапанное и поломанное в спешной перевозке. Роялей стояло два, и узнать знакомый – Эдуарда Львовича – нетрудно. Но Боже, в каком он виде: запыленный, грязный, с поцарапанной крышкой. Таня обрадовалась ему, как родному.

– Вот этот, Андрей, вот этот! Как же быть, как взять его?

Колчагин решил быть великодушным и властным до конца:

– Доставим, я прикажу.

– Наверное? А когда?

– Прикажу грузовик. Будьте покойны. Не сегодня, так завтра. Адресок оставьте.

Танюша погладила полированную поверхность рояля, приподняла крышку: не заперт. Не испорчен ли при перевозке? Присела на ящик, обеими руками прошла по клавишам.

Милый Эдуард Львович. Как он будет счастлив!

На звуки рояля заглянули в сарай два солдата и человек в штатском. Колчагин, с кобурой у пояса, стоял важно и самодовольно.

– Может, сыграете что?

Танюша удивленно оглянулась:

– Здесь?

– Так что же, и здесь. Мы бы послушали. Конечно, какие мы слушатели?

Танюша была преисполнена счастьем. Сыграть им? Только бы вернули рояль, а она готова на все. Холодно рукам... Она опять оглянулась и увидала, что у дверей сарая собра-

лись еще любопытные. Сыграть им? О, она сыграет.

Дуняша нашла, обтерла и поставила стул. Танюша погрела руки дыханием, радостно улыбнулась (как странно играть здесь!) и стала играть первое, что вспомнилось.

Клавиши были как белые и черные льдинки, и иголки мороза покалывали пальцы. Но звуки были теплы и отзывались на великую Танюшину радость: она играла для своего учителя, для одинокого, никому не интересного Эдуарда Львовича, для обиженного старого ребенка. В первый раз она могла отблагодарить его за счастье музыки, за годы строгого внимания к ней, к ее успехам, за все. Она готова играть, пока слушаются пальцы, пока потребует этого Дуняшин брат и эти люди у двери. Все равно – в холодном сарае или в блестящей огнями зале, знатокам или солдатам. Как это странно и как это прекрасно!

Играла напряженно, так как пальцы скользили по заиндевевшим клавишам. И чувствовала, как к старых ботинках стынут пальцы ног на педалях. И все-таки она играла.

Кончила и не знала, нужно ли играть еще. Пальцы страшно озябли и не отогревались дыханьем... Обернулась с виноватой улыбкой и увидела, как все, в молчанье, смотрят на нее глазами добрыми, смешными, пораженными. У двери уже толпа, а первые, подвинувшись ближе, молчат, ждут. Кажется – нужно еще играть им? От озноба в пальцах – слезы проступают на глазах. Но если нужно...

Голос Колчагина:

– Очень спасибо вам, товарищ Татьяна Михайловна. Вот отлично играете! Конечно, не место здесь.

Другие заметили:

– Покорнейше благодарим. Вот это уж музыка настоящая.

Дуняша помогла:

– Руки-то, чай, замерзли совсем. Вон тут какой мороз. У меня в валенках ноги окоченели.

Человек в кожаной куртке подошел:

– Обязательно просим, товарищ, в клубе нашем поиграть. Мы клуб открываем и инструмент поставим. Обязательно просим. Чем можем, отблагодарим, пайком там каким, все как полагается.

– Да, да, я сыграю, – растерянно отвечала Танюша. – Сколько хотите. Только бы этот рояль отвезти.

Колчагин опять авторитетно заявил:

– Как сказано. Либо нынче же, либо завтра, как грузовик будет. Приказ готов, дело за подводой. Раз сказано – не беспокойтесь.

Из склада вышли втроем. У ворот все прощались с Танюшей, опять благодарили, и она думала:

– Какие они хорошие! Я, кажется, плохо играла. Но какие они хорошие. Они удивительно слушали. И вообще все так хорошо! Только бы вернули, только бы вернули.

К особнячку в Сивцевом Вражке, лихо громыхая, подкатил по снегу комендантский автомобиль. Вышли Танюша и Дуняша.

– Так ты уж, Андрюша, позаботься.

– Сказал – значит, будет. Счастливо оставаться, Татьяна Михайловна! В случае чего – вы уж прямо ко мне.

Вышедшему из ворот дворнику козырнул с приветливой важностью:

– Товарищу Николаю!

И шоферу:

– Обратно в совдеп поедем.

Дворник Николай посмотрел вслед машине, покачал головой, пробурчал про себя:

– Вот оно, новое начальство. Дунькин братан, дизинтир. Дела-а!

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

– Никого не было, Дуняша?

– Был товарищ один, вас спрашивал.

– Какой товарищ?

– Солдат. Пожилой уж. Велел сказать – Григорий, с Бронной улицы. И чтоб вы зашли к им.

Танюша очень давно не навещала Стольникова; она бы навестила, но чувствовала она, что ее посещенья радости Обрубку не дают, скорее напротив, как-то волнуют его. И она не забыла – и он, конечно, помнит, – сцену с бронзовым шариком. Бедный, ему тяжело видеть ее, здоровую девушку, с которой он когда-то танцевал. После той странной сцены она была у Стольникова несколько раз, но всегда с кем-нибудь, чаще с Васей Болтановским, который удивительно умел быть простым, приветливым и даже веселым. С ним легче.

Теперь Танюша пошла одна. Не случилось ли чего-нибудь с больным, что ее вызывает Григорий?

Оказалось, что Стольников сам послал Григория к Танюше и просил ее прийти.

Он был сегодня прост, только как бы смущен:

– Очень по вас соскучился, решил побеспокоить. Я все один.

– Ну, конечно, Александр Игнатьевич... Я и сама зашла бы, но я не знала, хотите ли вы видеть...

У Стольникова засмеялись глаза:

– Видеть вас, Танюша, всегда хорошо; только сам я не всегда в хорошем состоянии, чтобы принимать гостей. А вот сегодня ничего, дышу.

Она все-таки не знала, о чем говорить:

– Книг вам нужно принести? Я захватила с собой, но не знаю, интересно ли вам это.

Он поблагодарил, потом сказал:

– Вы меня не занимайте разговором, Танюша. Мне просто посмотреть на вас хотелось. Вот вы какая растете, красивая, славная. Только вот время сейчас тяжелое.

Она рассказала про разные домашние заботы, про то, как у Эдуарда Львовича реквизировали рояль, как бедный едва не помешался, как она была с Дуняшей в совдепе, где комендантом служит Дуняшин брат. Старалась не терять нити рассказа и все время видела глаза Стольникова, сегодня такие простые и ласковые, не отрывавшиеся от ее лица. И Танюша даже увлеклась своими рассказами.

Иногда входил Григорий и тоже смотрел на нее ласково. Ее он давно одобрил: навещает инвалида, все же легче ему. Настоящая и хорошая барышня.

В паузе Стольников сказал:

– Я вам письмо писал, Танюша, длинное. Не послал, потому что теперь не надо. В письме рассказывал про себя больше. Кому-нибудь рассказать нужно, а кому же? Вам легче, и поняли бы меня лучше.

Танюша молчала.

– Я там писал про свои ощущенья. Мир для меня сейчас совсем особенный, не как для других. Как бы посторонний мир. Иной раз злобствую сильно, а иногда примиряюсь. Иначе бы жить уж совсем, совсем невозможно. Вот и писал вам. И о себе, – это по слабости своей, конечно, – и о вас. Как бы благословляя вас на жизнь. Ведь это ничего, Танюша?

– Ну, Господи, конечно же.

– Вот. Вы не смущайтесь, я вам скажу... я вас очень люблю, так, знаете, по-хорошему. Ведь и букашке, то есть как бы это сказать, ведь и такому... ну... не совсем человеку, вот как мне, тоже хочется чувствовать, что-нибудь в сердце своем ласкать. Я ваше имя ласкаю, Танюша. Вы простите. Это я себе для прицепки к жизни придумал.

Оба помолчали, потом он опять продолжал:

– Да... По старым воспоминаниям. Я не очень воспоминаний чуждаюсь. Кусочками прошлого все же можно иногда жить...

Какой сегодня необыкновенный Стольников. И как он может говорить так просто. И как это странно.

– Вот. И знаете, Танюша... какое у вас имя славное... знаете, может быть, мир-то человеческий, все эти события, и личные радости, и всякие горести, – все это слишком переоценено, а в сущности, все это сводится к немногому. Ну, к сну, например. Сон – счастье, и всем равно доступен. Или к радостной минуте полного освобождения – к смерти.

– Не нужно, Александр Игнатьевич.

– Ах, нет, Танюша, я ведь не о печальном. Это так, философски. Не подумайте, что я хочу плакаться на судьбу мою... поистине горемычную. Я совсем о другом сейчас. Только объяснить это нелегко.

Он долго искал слов. Потом вдруг вскинул на Танюшу большие свои глаза и, со смущением мальчика, деланно и шутливым тоном сказал:

– Да-с... И решил я вас попросить о неприятной помощи мне в моих думах; даже, правильнее, о помощи моей жизни, поскольку, конечно, я живу. Сделаете?

– Скажите, я все сделаю, только я не знаю...

– Танюша, вот что... Вообще-то это несложно, только немножко оригинально... Ну, я путаюсь от смущенья... Вот что. Вы сейчас пойдете домой, вам, верно, и пора. А только вы меня, как уходить будете, по-це-луй-те.

И, задрожав, прибавил:

– Вот она, жертва ваша. За все мое, что я пережил...

У Танюши похолодело сердце. На минуту почувствовала непереносимый страх, хуже, чем тогда, с бронзовым шариком. Обрубок сидел, закрыв глаза и запрокинув голову.

Она встала, подошла и со смешанным чувством ужаса и бесконечной жалости обняла рукой голову Стольникова, наклонилась и приблизила к его губам свои. Он открыл глаза, в такой близи ставшие огромными. Тогда она, дрожа от волнения, холодными губами поцеловала сухие, горячие губы Обрубка, затаившего дыхание, не ответившего ей ни единым движением. Он замер, и лицо его был нездешним.

Танюша отступила на шаг, потом отошла к двери, сказала едва слышно:

– Прощайте.

Он не шелохнулся, не открыл глаз, не ответил. Танюша вышла.

Это был первый поцелуй Танюши. Первый ее поцелуй был дан мужчине, которого нельзя было назвать ни мужчиной, ни человеком.

«ИРА»

Григорий с утра ушел стать в очередь за крупой. Обрубок сидел в своем передвижном кресле у стола. Посередине стола, как всегда, лежал бронзовый шарик. В открытое окно доносился стук колес и визгливый голос женщины:

– Я с ночи стояла, а как подошла – закрыли. Все, говорят, вышло, раньше завтра не будет.

Другой голос отвечал:

– Что же это делается, Господи.

Комната Стольникова была на втором этаже. Когда Григорий вывозил Обрубка на прогулку, он сначала спускал по лестнице кресло, затем, как ребенка, сносил Обрубка на руках.

Была весна. Беззаботны были – и то на вид – только воробьи и ласточки.

Бронзовый шарик лежал неподвижно. Неподвижны были и глаза Обрубка, на него устремленные, – стальные серые глаза.

Бронзовый шарик мал и ничтожен. Но вокруг него образовались круги, и первый круг захватил бытие Обрубка, печальное и нечеловеческое бытие. И дальше шли круги, все шире. В одном вмещалась Москва, в другом Россия, в третьем Земля, а дальше – бесконечность. В пределах вечности ничтожно было бытие Обрубка, незаметное, несуществующее, как математическая точка; но оно было центром, блестящим, слепящим глаз; от него исходили лучи и освещали весь мир страшным смыслом и значением.

Обрубок порвал нить взора и закинул голову. Вместо неба – грязный потолок с желтым подтеком над окном. Беззвездно и пусто в душе, – нельзя питать ее обманом. Нет руки, чтобы смахнуть замутившую глаза влагу. Во имя чего он должен был испытать это? Какой мечтой жить остатку человека? Откуда взять силы? Зачем?

Стиснув зубы, он мычал:

– Убей меня, Григорий! Раб, убей господина!

Григорий стоял в очереди за горстью крупы и шестью кусками сахара.

Обрубок остатком ноги навалился на плоский рычаг, им изобретенный, и кресло слегка откатилось назад. Вот и все, что ему доступно. Бронзовый шарик отдалился и потускнел. Круг сузился до пределов личной, никому не нужной жизни Обрубка. На улице женщина крикнула:

– Наделали дел. Как теперича без хлеба?

Отвечал грубый голос:

– Ладно, не сдохнешь. А и сдохнешь – не потеря.

Обрубок снова навалился на рычаг и подкатил кресло к окну. Грудь его была на уровне подоконника. В доме напротив были открыты окна; на одном грудой были навалены подушки и одеяла, в пятнах, давно не стиранные.

Он видел только полоску неба, заслоненного этажами дома. По небу плыло облако, а глубина была синей и прекрасной. Была весна, кому-то нужная, к кому-то ласковая. Острым клинышком прорезала небо ласточка и юркнула в гнездо.

Тогда культяпкой руки он уперся в подоконник, напряг мускулы и отделился от кресла. Был как ребенок, которому хочется вскарабкаться на стул. Там, за окном, больше простора. Уперся подбородком в холодную доску, сильной шеей поднял неповоротливое тело и замер так. Если кресло откатится – он упадет на пол. Но кресло стояло боком, прочно.

Так, помогая себе движением челюсти, добрался до планки, сдерживавшей раму, и впился зубами. Положить грудь на подоконник – вот все, что нужно было Обрубку. Ребро подоконника больно давило грудь, но он выдержал и последним напряжением перевалил на доску все тело. От движения его кресло откатилось и упал плед, которым Григорий подвертывал остатки ног Обрубка.

Теперь он лежал на подоконнике, едва прикрытый длинной рубашкой, измученный крайними усилиями, ослабевший. Лежал ничком, повернув голову к улице. Стало видно больше неба.

А что там, на земле?

Упираясь подбородком, он подполз к краю окна и перевесил голову вниз. Внизу была неметеная каменная панель, и под самым окном лежала коробка от папирос «Ира». Эти самые папиросы курил и Обрубок; может быть, это его коробка.

Подоконник холодил тело. По улице прошел прохожий, взглянул вверх, увидал смотрящую голову и прошел мимо. Теперь улица была пуста.

Обрубок подполз ближе к краю, еще раз пристально посмотрел на коробку «Ира», затем поднял голову и увидел, что облако заходит за крышу. Небо совсем чистое. Где-нибудь в поле, в деревне, теперь дышится легко, привольно. Но только тем, кому есть чем и есть для чего жить, тем, кому стоит бороться за будущее, цепляться за свое бытие. Злобы к ним нет. Злобы нет ни к кому. И любви нет ни к кому. И вообще нет ничего. Вверху – бездонное небо, внизу – пустая коробочка на грязных плитах тротуара.

В окне напротив, где лежали подушки, показалась фигура женщины. Увидав Обрубка, она ахнула и крикнула внутрь комнаты:

– Настасья, Настасья...

Обрубок сделал резкое движение, освободил грудь, выгнул шею кверху и бросил голову вниз. Тело наклонилось, замерло и медленно опустилось обратно на подоконник. Тогда он, с детским стоном досады, снова сильно повторил движение. Уродливый комок его тела качнулся снова, замер лишь на секунду и стал перевешиваться. Затем коробка с надписью «Ира» внезапно приблизилась, метнулась вверх и снова выросла – уже огромной...

«ОСТОРОЖНО»

Григорий, степенный и серьезный, в штопаной солдатской одежде, в серых обмотках на ногах, медленно шел по Большой Никитской улице, заглядывая в грязные стекла пустых, забитых досками магазинов. Где-то, проходя, видел, помнится, нужное. Словно бы от церкви наискосок.

И правда, стоял в окне массивный, богатый, на ножках, с украшениями, только совсем запыленный гроб. Найдется, может быть, и попроще.

На двери висячий замок и дощечка с сургучной печатью. Григорий вошел во двор справиться.

Женщина, которую спросил, встретив в воротах, сначала не поняла, а потом испуганно ответила:

– Не знаю я, батюшка товарищ. Ничего не ведаю. Заколочен гробовщик. Сам-то он не жил тут. Ты бы в домовом справился, если надобно.

В домовом комитете тоже сказали, что магазин реквизирован, а бывший хозяин выехал и адреса не оставил. Может, и убежал.

Григорий нахмурился:

– Как же теперь, если надо хоронить?

– В совдеп нужно идти либо в участок ихний. Гроба сейчас по распределению. Народу мрет столько, что не хватает. В очередь становись. А то к знакомому плотнику, если имеется. Только сейчас подходящих досок не найти. Сейчас мертвым не лучше живых. Жена, что ли, у вас померла?

Григорий не ответил и ушел.

В совдеп, однако, не пошел, узнав от соседа, что гробы дают только на время – свезти на кладбище. А там нужно опростать и назад везти. Да и не всякому дадут, ждать приходится. А уж лучше самому смастерить, какой выйдет. Сейчас больше без гробов хоронят.

Сделал в пути крюк: зашел на Арбатскую площадь, где в церковной лавочке – говорили – есть свечи. С опаской, а все же дали. Расплачивался из большого кожаного своего кошеля, отвернувшись, потому что в кошеле, под нынешними, ненастоящими деньгами, лежала зашитая в тряпочку золотая десятка, а с ней рублей на пять серебра.

Придя домой, поставил около покойника свечи, зажег, перекрестился и опять вышел по делам. Заприметил поблизости лавочку, где вечером, видать, бывает свет. Зашел узнать, нет ли порожних ящиков. Сначала сказали: «Все пожгли, заместо дров», а после согласились променять за пять фунтов муки большой, совсем прочный, железными скобками окованный порожний ящик из-под посуды, на котором большими печатными буквами ясно обозначены были слова:

«ВЕРХ – ОСТОРОЖНО».

Остаток дня Григорий провозился в сарайчике при доме. Пилил, стругал, набивал ножки. Стал ящик пониже, но днище осталось квадратным. Надпись «верх» исчезла; осталось только слово «осторожно».

Как ни болело сердце Григория, что нет гроба настоящего, какой полагается христианину, однако перенес ящик в комнату, поставил на стол, устлал внутри одеялом и белой простыней, положил и подушку для бедной разбитой головы.

Со всем управился один. Ничем не мог пособить слепой Каштанов, сидевший в углу на стуле и внимательно слушавший движения Григория. Из соседей не заглянул никто. Про несчастье знали, – но было и своих несчастий выше горла. Заходил милиционер, записал, сказал: «Пришлют доктора

засвидетельствовать смерть». Но до вечера никого не прислали.

Так же неудачно вышло и со священником. Старик из церкви Иоанна Богослова отказался отпевать самоубийцу. Дали совет: отпеть на самом кладбище. Наутро побывал и на Дорогомилове, где долго рядился. За место даже и не брали, а за рытье могилы просили невесть сколько. Пришлось к кредиткам посулить серебряную добавку, так как последняя мука пошла за гроб.

Ни о дрогах, ни о простой подводе нечего было и думать. В те дни бедного человека хоронили домашними средствами: зимой на салазках, летом на ручных тележках; если есть кому – несли на руках.

У Обрубка не было друзей, кроме слепого Каштанова. Его семьей, нянькой и единственным другом был Григорий. Он один и должен был проводить покойного в последнее жилище.

Тележку дал дворник, наказав к шести часам непременно доставить обратно. В тележке возили пайковый хлеб для раздачи жильцам.

Каштанов не мог видеть, как клал Григорий белый офицерский боевой крестик поверх простыни на грудь офицера. Но как стучал молотком по гвоздям, слышал и, встав, крестился, пока последний гвоздь не был забит. Подошел, пощупал ящик, дернул щекой и заковылял к двери. Не провожать ему несчастного друга. Из слепых глаз слеза не шла.

В три часа, обвязав запасной простыней, свернутой в жгут, Григорий без труда снес на двор квадратный ящик, в котором никто бы не признал гроб, хоть и были прибиты ножки, погрузил на тележку и двинулся на Дорогомилово.

Встречные не крестились. На страшном ящике лежала шапка Григория, а сбоку ясными буквами чернела по белому надпись:

«ОСТОРОЖНО».

AXIOS[1]

В списке скорбей прибавилась еще одна смерть – самая нужная и справедливая: смерть-освободительница.

---

[1] Axios – достоин (здесь – достойна). Возглас рукополагателей при посвящении в дьяконы, священники, епископы, повторяемый затем другими участниками обряда *(греч.)*.

Забившись в угол дивана, ставши совсем маленькой, Танюша смотрела на себя. На полках души ее стояли томики в черных переплетах – начатый жизненный архив.

Вот тоненькая книжка в холодном переплете, и на корешке имя: «Эрберг». О нем она знала мало и думала редко. Начата была жизнь умная, вперед надолго рассчитанная, жизнь цифр, геометрических фигур и благоразумных изречений. И вдруг – ошибка в расчете. Первым из близких знакомых ушел Эрберг, такой молодой, но уже в ранней молодости казавшийся взрослым. Такое строгое, логическое предисловие – и первые же главы оборваны.

Старенький, пухлый, много раз с любовью перелистанный, душистый лавандой томик со святым именем бабушки; оно написано на первой странице старинным и очень знакомым почерком. Милая усталая бабушка уснула любимой, исчерпав жизнь любви, заботы и мирного благословения. Догорела венчальная свеча, перевитая пожелтевшей от времени муаровой лентой.

Книги смерти. И вот теперь смерть новая, – черная, никем не прочтенная книга. Кто решится перелистать страницы мучительных мыслей, страстных исканий самообмана, заглушенных вспышек зависти к живому, больной борьбы разума и веры в чудо, животной жажды ухода из жизни... Страшная книга! Ее написал великий страдалец, безжизненным губам которого, в ужасе и жалости, Танюша дала первый свой поцелуй.

И с тем же внезапно ожившим чувством сжалась Танюша в уголке дивана. Как это было страшно! Как страшна жизнь.

Как легка была весна. В семнадцать лет – какое было солнце. Какими правильными рядами вставали и решались вопросы, как всесильна была наука, как гармонична музыка. Куда это исчезло, что случилось?

Почему случилось, что смерть и смерти предшествуют жизни. В начале дороги – кресты, раньше гимна радости – похоронное пенье. И что дальше?

Спросить дедушку? Но дедушка, сам старенький, – что ответит? Нельзя пугать его такими вопросами. Вася? Вася такой преданный и заботливый, хороший друг. Он, может быть, найдет слово, – но не то. Он забеспокоится и постарается развлечь, отвлечь, а ведь это совсем не нужно. Расскажет что-нибудь смешное, а если не удастся – растреплет свои вихры на висках, сядет в угол и будет ломать спичечную коробку. Нет, Вася не может; он и сам не знает. Почему он не зашел сегодня, Вася? Все-таки с ним хорошо и покойно.

Перебирая в памяти немногих знакомых, в эти дни оставшихся близкими, подумала об Астафьеве. Если бы он захотел ответить, – но как спросить? Разве об этом спрашивают? И о чем же, собственно? Но об Астафьеве думала Танюша увереннее. Из всех бывавших теперь в особнячке он был самым незнакомым и особенным. Хорошо бы видеть его чаще. И еще узнать что-нибудь об его жизни, какой он. Нужно спросить Васю, который видает его часто.

Были сумерки весеннего дня, окно было открыто. Танюша встала, выглянула на улицу. Тихо, прохожих почти нет. Села к роялю, подняла крышку, положила пальцы на клавиши. Но голова, русая и уставшая думать, упала на руки.

Так сидела долго, не шевелясь.

Когда встала, на глазах просыхали слезы, – ни от чего, так, случайные, девичьи. Может быть, от них прошла усталость – они были нужны.

Потянулась, поправила наброшенный на плечи платок и вдруг почувствовала совсем новую легкость в теле.

Было в комнате свежо, на дворе вечерело. В чем же дело? Разве смерти заполнили всё? Тогда почему бы это ощущение легкости и это желание что-нибудь делать, и много знать, и встречать людей, и искать среди них того, кто больше знает и лучше ответит?

До изумительности чувствовала Танюша, как легко дышать и как ощущение жизни просто побеждает и мысль о смертях, и самую смерть. Куда-нибудь идти, что-нибудь делать – скорее. Видеть кого-нибудь. И хоть иногда, хоть иногда смеяться, не думая о печальном и не сопоставляя черное и белое – которое победит? Черные томики на полке, – а ведь белые листы бумаги еще непочаты. И вот надо бы скорее начать...

И подумала: «Мне уже двадцать лет!»

И еще: «Есть ли в мире где-нибудь полная радость? И где она? Где ее искать? И что же такое, наконец, счастье? Где к нему ключ? И где двери в мир большой, обширный, не сжатый стенами старого дома?»

Закинула руки за голову, выпрямилась и громко сказала вслух:

– Я хо-чу жить! Я хо-чу жить!

Не видала, как в темном блеске большого зеркала отразилась высокая прямая девичья фигура с закинутыми руками, не слыхала, как отвечали ей смешанным гулом струны рояля, как насторожился вечер, внимая великой важности и простоте ее слов, и замерли в смущении стены особняка,

видевшие Танюшу ребенком, слышавшие ее первый лепет, безмолвные свидетели ее роста, усердные хранители ее душевных тайн.

Стены шепнули струнам, струны донесли весеннему воздуху, – и вечернее небо выслало первую звезду вестником решения совета светил:

– Axios! – Достойна!

УХОД

Походкой ровной, – шаг за шагом, вытягивая сапог из дорожной грязи, с котомкой за плечами, а с котомки свис жестяной чайник, – с цельной думой на душе шел в Киев старый солдат Григорий.

Потому в Киев, что не осталось у него теперь на свете никого и ничего, – ни друга, ни сына, ни дома, ни клочка земли, – осталась только прочная вера в сурового Бога, ушедшего из Москвы в мать городов русских, а может, и дале.

Говорили – не дойти. Но кому хранить и терять нечего, тот – свободный землепроход. Хаживали по Руси во все концы странники, убогие, за истиной и милостыней меньшая нищая братия, калики перехожие, – никто не миновал Киева. Крепок Григорий и телом и верою, не слеп, не убог, не решен ума, – дойдет солдат.

Стало вязко. Снял сапоги, за ушки связал ремешком, перекинул, босыми ногами месит грязь дальше – дойдет. От деревни к деревне.

Деревня притаилась, ждет, смекает. Пожалуй, и зря поторопились свалить столько лесу. Новые срубы стоят напрасно, без надобности, дрова гниют. Кубышки полны никчемных бумажек, – что на них купишь? Из городов приходят за хлебом, волокут веселый ситец, а кто и шелк да кофты с кружевом, всякую рухлядь, нужную и ненужную – в обмен на горстку зерна. Но прячется зерно поглубже, подале, побаивается: не обездолить бы самого мужика, не обречь бы его на голод со всем собранным добром. Бабы обновкам рады, стали носить чулки тонкие, со стрелками и кофты без ворота. Но должен добрый хозяин подумать о будущем.

Деревня ждет, жмется, хитрит, боится. Городской пришлый человек темен, нечист на руку, завистлив. Как бы не навел на след солдатскую силу.

Шел Григорий большими дорогами, не тратя лишних сил. Где знал – шел и попрямее. Не торговал, не покупал, не просил. Но вид его был степенен, отросла борода, глаза Григория были честны и строги. В избы входил крестясь, а такому давали от сиротства или от достатка и приют, и ломоть хлеба; и денег, по старому обычаю, не брали. Несловоохотлив, однако, на вопросы отвечал кратко, без пустых слов, осуждающе и мудро.

Одной с ним дорогой шли, ехали, пробираясь походкой ныpливой, скрючившись, в страхе, блудно, неуверенно еще многие, бежавшие от Москвы к югу, от нового к чаемой старинке, к надеждам, – выходцы России, канувшей в вечность. Дороги совпали, но шел Григорий один. Не страх гнал его, старого солдата, а сиротство и монашество суровой его мысли.

На выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую правду – из земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога прямого и крепкого в вере человека. Не беглец, не родине изменник, не трус, а отрясший прах лжи и осмелевшего бесчестья.

На границах встречал суматоху и пожары, – а границ было без числа: сегодня здесь, а завтра верст за сто; то за спиной, то впереди. Как гроза – приходит и уходит, валит скот и дома. Разобраться невозможно. Рваные герои, сегодня белые, завтра красные, могила на могиле, – за что бьют друг друга? Понять невозможно.

С пулеметным треском катилась волна ненависти, смерти, а то и простого озорства и охальства, и все за свободу, и все за свободу, а в чем свобода? Боятся, стращают – и в ужасе вцепляются друг в друга. Посадить их за один стол, за один горшок щей, – все будут одинаковы, и в мыслях, и в желаниях, и с лица. Почему одни тут, а другие там? Как сами себя отличают? Отличают ли? Почему Иван против Ивана? И на могилах их вырастает одна трава. И солнце светит им одно, и дождик один-единый всех мочит. Непонятно. А непонятное – смута и грех.

Над глазами Григория нависли густые брови с проседью, котомка за плечами прочна, но небогата. Никто Григория в дороге не трогает.

Случалось, что шел Григорий и проселками. Шел мимо пашен и озимых всходов, и пока шел – стала рожь подниматься и завязывать колос. Поля раскинулись от неба и до неба, от ясной дали до дали туманной, – и все это была Русь,

крещенная в труде и в напрасной издевке над трудом человеческим, взласканная бороной и затоптанная сапогом невольного воина, взысканная и отринутая.

Как подсохло, Григорий добыл себе лапти, чтобы и сапог не топтать понапрасну, и не трудить ног. Легкий лапоть взбивал дорожную пыль, а от высокого посоха оставался на пыли кружочек, но не надолго: первым ветром сдувало. Прошел человек – и следа не осталось, как нет следов от раньше его прошедших той же дорогой.

Шел обычно от зари до полдня, а полудничал, сойдя с дороги, под тенистым деревом на траве. Тут же и полуденничал, слушая, как разливается жаворонок, воткнувшись в небесную твердь голосистым гвоздочком. А под ухом Григория, щекоча кулак, ворчала на мурашиков молодая, прохладная трава.

Так, неспешно, упрямо, шаг за шагом подале, уводил Григорий к местам святого упокоения старую Русь. Не с гиком и проклятьями, как уводили ее другие, не в кладях и чемоданах, не под охраной штыков, которым судьба не сулила вернуться, – но старым путем богомолов и странников, носителей простой житейской правды, искателей истины вековечной.

Дошел ли старый солдат Григорий до Киева, нашел ли, что искал, или повернул оттуда к северу, в пермские скиты, или уплыл морем в Бари и Иерусалим, унес ли свою правду или бросил ее в пути вместе с тощей и изветшавшей котомкой, – про то сказать никто не знает.

Часть вторая

ВЕСНА

Пришла весна, долгожданная, медлительная, неповоротливая. По Москве разлилась грязными потоками, зловоньем неубранных дворов, заразными болезнями. Даже профессорский особнячок, с крыши которого снег не был вовремя убран, немного пострадал. В других домах протекли потолки, просочилась в стены вода и грязь лопнувших зимой труб, в затопленных подвалах таяли последние желтые льдинки.

Зато теперь можно было убрать печурки, снять намокшие валенки, даже открыть парадные двери, забитые на зиму от холода и страха.

Весенней уборкой города занялась сама природа. Но и люди пытались помогать ей, – там, где видели ясно, что жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа.

На дворе большого дома на Долгоруковской, где почти все квартиры заселены были рабочими семьями, по приказу домкома производилась уборка и чистка. Лопат было вдоволь, тачек маловато и лишь одна подвода – но без лошади. Вывозили снег и мусор на улицу и норовили сплавить куда-нибудь с бегущей по канаве водой. Распоряжался самолично преддомком Денисов, бывший приказчик забитой теперь бакалейной лавки в том же доме.

Работали вяло, по обязанности и под угрозой взыскания, а то и ареста. Больше работали женщины. Из мужчин посильнее и половчее был жилец Астафьев, единственный оставшийся в доме интеллигент и буржуй. К нему и подошел преддомком Денисов:

– Привыкаете, товарищ Астафьев? Работа тяжелая, неприятная.

– Привыкать не собираюсь, а раз нужно – делаю. Лучше было зимой сколоть со льдом и свезти.

– Зимой не управились. Конечно, вам, ученому человеку, работа не по вкусу. Однако приходится, товарищ Астафьев.

Раньше мы на вас трудились, теперь и до вас дошло. Время такое.

Астафьев усмехнулся:

– Работаю не хуже других. Ничего страшного нет. Вот только не помню, когда это вы, Денисов, на меня работали? Вы ведь больше за прилавком стояли.

– Дело не в прошлом занятии, а кто как революцию принял.

Астафьев поднял большую лопату, вывалил в тачку, сильно прихлопнул и сказал:

– Каждый принял, как ему выгодно. Вы – по-своему, я – по-моему. Тут считаться не приходится.

Денисов отошел, а Астафьев подумал: «Вероятно, попытается все же меня выселить. И выселит, конечно. Куда-нибудь денусь, не беда».

Вывез полную тачку на улицу, свалил у края канавы, – да только и без того канава загружена, не берет вода. Не берет – не надо. И, шлепая сапогами по разлившейся жиже, повез пустую тачку обратно. На пути встретил жилицу с тачкой, по-видимому слабую и болезненную же́нщину. Хотел помочь, да раздумал: «Все равно, пускай тащит!»

Вынул трубку. Курил Астафьев махорку, – иного табаку не было. Впрочем, находил, что махорка – табак здоровый и вкусный, если привыкнуть. А привык с той же легкостью, как за границей привыкал к гаванской сигаре.

По разверстке работы Астафьеву был отведен немалый квадрат двора. Справился быстро, придраться преддомкому не к чему. Окончив, свез тачку под навес, там же поставил лопату и ушел к себе, обтерев ноги валявшейся на лестнице газетой.

Раньше у Астафьева была здесь квартира; сейчас остались за ним две комнаты, а в третьей жил одинокий рабочий, человек робкий и забитый. Приходил к вечеру, ложился спать, и Астафьев его почти не видел.

Зарились и на вторую комнату Астафьева, где у него оставалась библиотека, но пока комнату он сумел отстоять охранительной бумажкой по своему преподавательскому званию. Зимой она была холодна и необитаема, летом он рассчитывал в ней работать и принимать, – если только будет кого принимать и над чем работать.

Придя, переоделся, набил новую трубку и взял книгу.

Вместе с запахом навоза и нечистот проникал в окно и весенний воздух. И чтенье не ладилось. Не лучше ли заняться делом. А дела немало: подшить обшарпанные

брюки, постирать платки глиняным мылом, заправить светильник, сделанный из бутылочки, – на случай, что опять прекратят электричество. День сегодня – суббота. Завтра можно пойти на Сивцев Вражек к орнитологу. Что она за девушка, его внучка? Не как все, не легко понятная. Но славная, кажется.

В дверь постучал жилец. Астафьев без интереса подумал: «Кто бы мог быть?» Вошел человек скромный, хотя крепкий и мускулистый, одетый в совсем изношенный пиджачишко и в рыжие сапоги со стоптанными каблуками. Не виднелось и рубашки под жилетом.

– К вам, Алексей Дмитрич, извините за беспокойство. Не знаю, как уж и просить вас.

– Попросту просите.

– Конечно, попросту, только нынче все самим нужно. Вот, думал, может, найдется какая книжка старая, полегче, я бы почитал.

– Книг у меня много, берите любую. Только не знаю, какая вам подойдет. Вы насчет чего хотите?

– Не знаю, как сказать, насчет устройства жизни что-нибудь. Разбираюсь-то я плохо.

– А вы что ж, Завалишин, не работаете нынче?

– Нынче празднуем. Материалу нет на фабрике, остановка. Жалованье-то платят, ничего.

– Книжку можно, только что же вам даст книжка. Думаете – жить научит? Или объяснит? Вы присядьте, Завалишин, поговорим. Ничего, говорю, вам книжка не поможет. А что, разве уж вам так туго пришлось?

– Туго не туго, а, конечно, что хочется понимать.

– Чего же вы не понимаете?

Завалишин смутился, помялся, слов поискал:

– Смотрю все, и как бы сказать, будто все ненастоящее.

Корявым языком все-таки объяснил. Раньше смотрел так, что все равно – живи и жди, само устроится. А нынче все говорят: вот надо по-новому самим. А что новое? Новое-то плохо. Крику много, а толку не видно. И однако, ведь не зря же!

– Скоро вы захотели, Завалишин. Подождать нужно.

– Подождать можно, ждали и раньше. Знать бы только, чего ждать.

Астафьев подумал: «Вот она, ихняя, рабочая слякоть, – под стать нашей интеллигенции. Приказчик Денисов хоть и мерзавец, а куда же лучше, строитель все-таки...» И сказал:

– Понимаю вас, Завалишин. Это вам потому плохо, что прочности не чувствуете. Раньше жизнь тоже дрянь была, а прочна была. Нынче все полетело к черту, новое за горами, а тянуть прежнюю канитель надоело. Силы в вас нет настоящей, Завалишин.

– Силы, конечно, мало. Верно это, Алексей Дмитрич, что заскучал. Главное – понять надо.

– А черта ли вам скучать. Человек одинокий, здоровенный, деньги вам пока что платят. Наплевайте. Вы пьете?

– Могу и выпить, когда есть. По-настоящему, однако, не пью, чтобы пьянствовать там.

– Пить надо больше, Завалишин. Вот подождите, может, я раздобуду, тогда выпьем вдвоем. С трезвой головой не додумаетесь.

– Смеетесь надо мной, Алексей Дмитрич!

– Ничего не смеюсь. Я вам прямо говорю: вы человек, не подходящий для жизни. Какой вы строитель жизни? Веры у вас настоящей нет, нахальства тоже нет, воровать не умеете, – ну, заклюют вас и выкинут. А тут еще в голове всякие мысли. Лучше уж пьянствовать. Пьяный человек мудр.

– Пьянствовать – последнее дело. Это уж какая же помощь, Алексей Дмитрич. А я к вам за помощью, как к ученому человеку.

– Вам бы в деревню, Завалишин. Деревни нет у вас?

– Нет, я городской. В деревню где же.

– Плохо. Слушайте, Завалишин, не знаю, какой вы человек, обидчивый или нет. А впрочем – ваше дело, мне все равно. Хотите, по совести скажу вам? Вот я – ученый человек. Книг перечитал столько, что вам и одних заглавий не прочесть и не понять. Толку от них никакого, то есть для жизни, для понимания; все равно и без них было бы. Тоже и мне, как и вам, скучно бывает. И тоже я не строитель, не гожусь, хотя, может быть, и посильнее вас. Тут все просто. Хотите себе дорогу пробить? Тогда будьте сволочью и не разводите нюни. Время сейчас подлое, честью ничего не добьешься. А не хотите, – тогда, говорю вам, лучше убивайте мысли вином. Хлещите денатурат, чтобы скорее сдохнуть, отлично действует. Какой вы воин? Никто вас не боится и никто вас, значит, не уважает. Робкий вы человек, а таким сейчас крышка. Вас какой-нибудь Денисов, наш преддомком, жулик и хам, одним ногтем придавит, даром что вы на вид его сильнее. Вот он не пропадет. А впрочем – дело ваше.

Помолчали. Потом Завалишин поднялся:

– Ну что ж, Алексей Дмитрич, и на том покорнейше благодарю. Конечно, вам со мной разговаривать неинтересно, я человек простой.

– Э, Завалишин, бросьте эти штучки. Я сам простой, может быть, вас попроще. Вот заходите сегодня вечером, выпьем, по крайней мере.

Повернулся к нему с доброй улыбкой:

– Правда, вы на меня не обижайтесь. Потому так говорю, что самому не очень сладко.

– Понимаю, Алексей Дмитрич. Я ничего, что ж.

Когда жилец вышел, Астафьев подумал: «Может быть, зря я его так. Главное – может быть, ошибся. Робкий-робкий и слякотный, без сомнения, – а огонек у него в глазах блеснул злой. Обидел я его. Это хорошо, если он еще способен злиться. Тогда может выжить. Любопытно!»

Усмехнулся: «За помощью пришел, за книжками. Чтобы потом я да книжки стали виноватыми в его горестях и было бы кого и за что ненавидеть».

Вечером Астафьев бодро шагал домой по Долгоруковской, неся под пальто бутылку спирта и дрянную закуску. Зайдет ли?

Завалишин зашел. И постучался на этот раз увереннее.

– Занимаетесь, Алексей Дмитрич?

– Сейчас вот вместе займемся.

К ночи Завалишин был пьян, Астафьев – возбужден и полон любопытства. Рассматривал своего клиента, как в микроскоп. И изумлялся: «Эге, а он не так прост! Может выйти толк из него – может большой подлец выйти. Кулаки у него хорошие, а это – главное».

Водя по пустым тарелкам осовелыми глазками, рабочий бормотал заплетающимся языком:

– Скажем так: пьян я. И однако, могу понимать, что к чему. За науку спасибо, а пропадать не желаем. Не желаем пропадать. И могут быть у нас свои... которые... разные планты. За угощенье покорнейше благодарим и что не побрезговали... ученый человек.

Астафьев нахмурился:

– Ну ладно, баста, ступай спать... пьяная рожа.

Завалишин оторопел и скосил глаз:

– Чего-с.

– Ступай спать, говорю. Надоел. Коли проспишься и станешь подлецом – твое счастье. А слякотью останешься – приходи пить дальше.

Взял его за ворот и сильной рукой толкнул к двери.

КНИГИ

Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматриваясь в иллюстрации. Прежде чем вложить ее в портфель, уже туго набитый, он осмотрел корешок книги, подслюнил и пальцем приладил отставший краешек цветной бумаги переплета.

Книга хорошая и в порядке.

Но вдруг вспомнил, заспешил, снова вынул книгу и, присев к столу, осторожно подскоблил ножичком свое имя в авторской надписи: «Глубокоуважаемому учителю . . . . . от автора».

Надел висевшее тут же, в комнате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобнее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком.

В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотнению. Дуняша жила наверху в комнатке рядом с бывшей Танюшиной; в Танюшиной же комнате поселился Андрей Колчагин, – только дома бывал редко, больше ночевал в совдепе, где в кабинете своем имел и диван для спанья.

Дуняша иногда помогала Тане в хозяйстве, так, по дружбе; прислугой она больше не была – была жилицей.

Профессор был еще достаточно бодр. Идя в Леонтьевский переулок, присаживался на лавочку на бульварах не больше трех раз, и то из-за тяжелого портфеля, который оттягивал руки. Отдыхал неподолгу и, отдыхая, обдумывал, в который раз он идет в писательскую лавочку в Леонтьевском и на сколько раз еще хватит ему книжного запаса.

Как-то однажды случилось, что в доме совсем не оказалось денег. Хлеб, пайковый, страшный, выдали, но Дуняша, в то время еще считавшая себя прислугой и жившая при кухне, объявила, что ни картошки, ни крупы, ни иных каких запасов у нее больше нет и готовить ей нечего.

Танюша думала, что есть деньги у дедушки, и очень смутилась, узнав, что у дедушки нет. Тогда совсем немножко заняла у Васи Болтановского.

Вечером Танюша долго обсуждала с Васей какие-то хозяйственные вопросы, с утра она исчезла, а вернувшись к обеду, возбужденно и не без смущения рассказала, что ей предложили выступать на концертах в рабочих районных клубах.

– Это очень интересно, дедушка; и мне будут давать за это продукты.

В тот день забегал Поплавский и рассказывал, какие изумительные старинные книги довелось ему видеть в Книжной лавке писателей в Леонтьевском переулке. Сейчас появились на рынке такие книги, которых раньше невозможно было найти в продаже.

– Я нашел полного Лавуазье в подлиннике; для Москвы – это исключительная редкость. И видел любопытную книжицу, пожалуй первую, изданную в России по математике еще церковными буквами, 1682 года. И название любопытное: «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, удобно изыскать может число всякие вещи». Есть у них еще таблицы логарифмов петровского времени.

– Что ж, купили что-нибудь?

– Я? Нет, профессор, наоборот. Я продавал свои. Там можно продать хорошо, а то на комиссию.

На книжных закрытых полках большого библиотечного шкапа лежали у профессора запасы «авторских экземпляров» его ученых трудов. Идя утром на прогулку, он захватил по экземпляру. В Леонтьевском, в писательской лавочке, его встретили приветливо и почтительно; оказались за прилавком и знакомые молодые университетские преподаватели. Книги взяли, расплатились, сказали, что такой товар им очень нужен: сейчас он требуется для новых публичных библиотек в провинции и для новых университетских. Просили еще принести. И никто не удивился, что вот известный ученый, старик, самолично носит на продажу свои книги.

Сам большой любитель книги, порылся старый орнитолог на полках книжной лавки, больше из любопытства. И очень обрадовался, найдя среди хлама редчайшее издание: «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека» с тремя изображениями. Любовно перелистал брошюрку, радостно, захлебывающимся старческим смехом прочитал описание рисунков:

«Изображение курицы в профиль весьма верно и представляет старушку, так, как она есть. Вторая фигура представляет голову с лица и показывает в ней настоящего Сатира. Третья фигура представляет ее зевающей и вместе показывает ее язык».

Повертел в руках, справился о цене. Никакой цены в то время старые и редкие книги не имели.

– Мы, профессор, продаем сейчас петровские и екатерининские издания дешевле, чем только что вышедшие

стихи имажинистов. И сами не покупаем; эта случайно попала в какой-то купленной нами библиотеке. Давайте сделаем так: мы вам преподнесем эту брошюрку, а вы нам обещайте принести на комиссию ваши книги.

– Но ведь это же редкость величайшая, хоть и не такое старое издание.

– Тем лучше. У вас, профессор, она будет сохраннее.

Домой профессор вернулся в отличном расположении духа. Вечером, за чаем, Вася Болтановский читал книжку вслух, и профессор радовался каждому слову, как малый ребенок. А наутро набрал целый портфель «ненужных» своих книг и понес в знакомую лавочку, где так его обласкали.

– Танюша, немножко денег у меня есть, так что ты не беспокойся.

Но уже давно рубли стали сотнями, и близились миллионы. «Авторских экземпляров» хватило ненадолго. Пересмотрев свои полки, орнитолог открыл на них новые коммерческие ценности, сначала дубликаты, затем издания популярные, для ученой работы лишние, хоть и важные для коллекции, после атласы и таблицы, без которых обойтись все же можно, наконец – книги дареные, с автографами. Полки профессора пустели, – но Танюша была такой бледненькой, так уставала после своих концертов в рабочих районах. Орнитолог думал, что она не знает о частых его визитах в лавочку писателей, и рад был, что он, старик, уже никому больше не нужный, не в тягость милой своей внучке, может чем-то помочь ей. Он не знал, что детские книги Танюши, раньше лежавшие в ее шкапчике, давно уже проданы в той же лавочке, и неплохо, так как цена на них всегда была высокой.

Зато еще ни разу к завтраку дедушки не подавались котлеты из конины и к чаю в его стакан Танюша клала настоящий сахар, тихонько опуская в свою чашку лепешечку сахарина.

– Сахар, Танюша, сейчас, вероятно, очень дорог?

– Не знаю, дедушка, мне ведь выдают бесплатно.

ПОСТОРОННИЙ

Танюши нет дома; она халтурит в рабочем районе, в клубе имени Ленина.

В комнате Танюши, на столе, лежит раскрытый старый альбом фотографий. В окошечках альбома портреты дедуш-

ки и бабушки, когда дедушка и бабушка были еще молоды. На дедушке сюртук в талию, бабушка перетянута корсетом и руки держит на кринолине. Очки дедушки блеснули, и вместо одного глаза получилось белое пятно. Карточка очень выцвела.

А правее – карточка Танюшиной матери в модном костюме девяностых годов.

В комнате нет никого; над альбомом склонилась седая голова Времени. Время внимательно смотрит на карточку и шепчет:

– Совсем была такая же, и глаза, и волосы, и рот, и серьезность. И так же хотелось ей жить, и так же не знала, как это будет.

Время листает альбом.

Два студента, один, постарше, с бородкой, в форме технолога, – дядя Боря. Другой – с маленькими усиками, красивый, большелобый, универсант. Это – отец Танюши.

Через картон альбома, из окошечка в окошечко, переглянулись девушка и студент, полюбились, поженились. И тут же в альбоме большеголовый ребенок с молочными глазами, удивленной бровью, пушистыми волосенками, в неуклюжем платьице, которое поднялось со спины и подперло затылок. Это первая карточка самой Танюши.

У всех отец и мать – старшие, а то и старики. У Танюши старых родителей не было; в том возрасте, как на карточках, они могли бы быть ее друзьями-сверстниками. Оба они умерли совсем молодыми, не успев посоветовать девочке, как нужно жить, чтобы быть счастливой. И родителей ей, еще ребенку, заменили бабушка и дедушка. Мать успела передать ей только серые глаза и золотистые косы, да еще серьезную задумчивость. Глаза спрашивают, – а кто и что им ответит?

А отец – и родной и чужой. Его Танюша совсем не помнила, он умер рано, ей не было еще и двух лет. Танюше было странно, что вот она – дочь молодого студента, который настоящим взрослым человеком даже и не был. Что и мать ее была тоже почти девочкой – это еще как-то понятно. Помнила она ее едва-едва, как бы по рассказам, а больше по ощущению матери, по потребности знать свою мать.

Мать – это сама Танюша, жившая в прошлом. И звали мать тоже Татьяной. Когда Танюша переглядывала старый альбом, она подолгу и с интересом рассматривала черты отца. И порою думала, что вот, может быть, и она когда-нибудь

встретит такого же человека, как мать встретила; такие бывают суженые. А другого суженого трудно себе представить. И по карточке была Танюша в отца своего немножко влюблена: открывая альбом – искала с ним встречи.

Время, свесив пряди волос, листает альбом дальше. Маленькая девочка Таня растет, тянется, и вот она уже в белом гимназическом переднике. С этого момента уже начинается история, даты которой не забыты и сейчас. Пятый класс – уже недавнее прошлое. Старый альбом посвежел, и привели бы его страницы к сегодняшним дням, если бы не оборвались внезапно: все страницы заполнены.

На последней его странице мужской, совсем новый портрет человека, про которого говорят: «Это один знакомый, очень симпатичный, не помню фамилии». Почему-то и кем-то портрет был вставлен в последнее окошечко, да так и остался тут – первым звеном мира постороннего. Если карточку вынуть из рамки (ведь альбом семейный), то окошечко останется незанятым. И посторонний человек нечаянно остался в семье.

Тут Время улыбнулось:

– А разве бабушка – дедушке и мать – отцу не были раньше совсем посторонними и незнакомыми? Или Танюше – тот, кого она рано или поздно встретит?

Время попылило на листы альбома, поджелтило фотографию Танюшиной мамы, пообтерло слегка уголки кожаного переплета и оставило альбом лежать развернутым на той же странице.

Танюши нет дома. Она сегодня играет Баха в районном клубе на плохом и расстроенном пианино.

Перед этим товарищ Брауде говорил с эстрады речь о международном положении, а следующий номер – юмористические рассказы и раешник, прочтет популярный в рабочих клубах товарищ Смехачев – псевдоним приват-доцента философии Алексея Дмитрича Астафьева.

Астафьев стоит около кулисы и слушает игру Танюши. На нем надет прорванный цилиндр, щеки натерты мелом и нос слегка подкрашен. Самое появление его должно вызвать смех. По обыкновению, его заставят бисировать.

Есть псевдоним и у Танюши. По девичьей фамилии матери (милой девушки из альбома) она именуется в клубных афишах – товарищем Татьяной Горяевой, артисткой филармонии.

Смотря на ее белые проворные пальцы, Астафьев думает: «Как она серьезна, точно в заправском концерте. А они

семечки лущат. Я за паек ломаюсь и тешу свою злость; а она за те же селедки приходит сюда и дарит душу свою. Вот какая девушка».

СУМЕРКИ

Вася Болтановский забежал, конечно, и сегодня, но ушел рано, до вечера. Он упрямо и старательно подготовлял свою поездку за продуктами в Тульскую губернию и подбирал «товар» для обмена. На Танюшину шелковую кофточку большая надежда; у профессора оказались старые, но отличные охотничьи сапоги – товар исключительный.

Вася принес букетик полевых цветов, тщедушный, но свеженький:

– Это, Танюша, вам. Угадайте, где нарвал.

– Вы были за городом?

– Нет.

– Ну, не знаю, где-нибудь в саду.

– Не угадаете. Вот лютик, а вот колокольчики. А это – смотрите – ржаной колос. И весь букет я нарвал на улицах Москвы! И у вас около забора сорвал травку. А в иных местах вся мостовая поросла.

Орнитолог внимательно исследовал каждый цветок и перещупал травку.

– Знаешь, Вася, этот букет стоит засушить. Это целая история, ты непременно сохрани. В музей нужно.

– Я, профессор, другой соберу; на окраинах можно хоть венки плести, там в иных местах совсем мостовая скрылась. А это я все в центре города, не выходя за Садовое кольцо. Это – Танюше от верного рыцаря.

Пока Танюша ставила букетик в воду, а Вася смотрел на ее руки, профессор долгим взглядом ласкал Васино лицо. Тот поймал взгляд:

– Что-то вы на меня смотрите, профессор.

– Смотрю. А ну, подойди.

Когда Вася Болтановский подошел, профессор, не вставая, обнял его за талию:

– Ну-ка, наклонись к старику, а я тебя поцелую. Правду ты сказал, Вася, ты – рыцарь верный. И отца твоего любил, и тебя люблю.

Когда ушел Вася, а Танюша с книгой заняла свое обычное место в углу дивана, орнитолог так же долго смотрел на любимую внучку:

– Танюша!
– Что, дедушка?
– Не подходит он тебе, рыцарь наш, Вася?
– Как не подходит, дедушка?
– Ну, в мужья, что ли. Вижу – не подходит. А жаль. И его жаль, и тебя жаль. Очень он тебя любит. Ты знаешь?

Танюша отложила книжку:

– Я знаю, дедушка. Я к нему очень хорошо отношусь. Вася отличный человек, и мы с ним большие друзья. Ну а как вы говорите, то есть замуж за него, я, конечно, не вышла бы, дедушка.

– Я вижу.
– А разве вы, дедушка, хотели бы, чтобы я вышла замуж?

Старик, помолчавши, сказал:

– Выйти-то – все равно выйдешь. Рано не стоит, пожалуй. Вася, конечно, и молод для тебя, ведь вам лет-то почти одинаково.

– Я замуж не хочу, дедушка, мне с вами лучше всего жить.
– Ну, ну, там увидим.

Окна были открыты, воздух свеж, и тишиной окутало Сивцев Вражек. В глубоком покойном кресле, в котором много лет в сумерки отдыхала Аглая Дмитревна, дремал теперь старый орнитолог, украсив грудь седой бородой. Танюша, не перевертывая страниц, не следя за строчками глазами, думала свое и слушала тишину.

Тихо было и в верхнем этаже, где жил с сестрой комендант совдепа Колчагин, и за стеной – у чужих людей, и в подвальном помещении, где семья крыс обдумывала предстоящий ночной поход.

Дремал весь старый профессорский особняк, вспоминая прошедшее, предугадывая будущее. Тикали-такали любимые часы профессора – стенные с кукушкой.

. . . .

На давно не чищенных булыжных мостовых Москвы сначала боязливым зеленым глазком, после смелее – прорастала зеленая травка; в канавках и у длинных заборов она росла увереннее, и рядом с крапивой хитрил желтый глазок цветка. Если бы не было такого же упрямца и дикого мечтателя – человека, который тоже хотел остаться жить во что бы то ни стало, тоже прорастать жалким телом на камнях города, – травка победила бы камень, проточила бы его, украсила, увела бы жилое и быт в историю, зазеленила бы ее страницы забвеньем и добротою сказки.

На часы сумерек в домах замерла беспокойная жизнь, а воробьи и ласточки давно уже спали в гнездах и в чердачных просветах. Зоркий глаз задернули пологом синеватого покойного века.

Особняк профессора за последний, за страшный год посерел, постарел, поблек. Днем еще бодрился, а к ночи тяжко оседал, горбился, постанывал скрепами балок и штукатуркой.

Жалко старого, в нем был уют, спокойная радость, годами наросшее довольство! Но и устало старое, нужен ему покой и уход в вечность. Киркой и машиной уберут булыжник, зальют землю асфальтом, выложат торцом, на месте умерших и снесенных домиков с колоннами, старых гнезд с добрым домовым, старых стен, свидетелей прожитого, – выведут стены новые больших новых домов, с удобствами, с комфортом. На долгие годы трава уйдет в поля – ждать, пока перевернется и эта страничка, пока обветшает лак, сегодня свежий, перезреет и осыплется мысль – и снова в трещинах каменного города появится прах и влага для смешливого и упрямого полевого лютика. Может быть, тогда трава забвенья победит, как победила она Акрополь и римский Форум, как победила, погребла вместе с памятью многое, о чем не знают и не узнают археологи. А может быть, опять – на малые часы в веках – прокричит о своей победе человек.

. . . .

– Дедушка! Вы спите, дедушка?

Сумерки сменились вечером. И посвежело.

Танюша зажгла лампу:

– Вы спали, дедушка?

– Кажется, я задремал, Танюша.

– Будем пить чай?

Профессор, помогая себе обеими руками, поднялся с кресла:

– Ну, что ж, Танюша, я чайку выпил бы охотно.

В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

На три часа вперед было переставлено время – и Москва проснулась очень рано.

Сначала она проснулась на Пресне, на Благуше, в Сокольниках и на всех вокзалах. Затем, позевывая, зашевели-

лись Замоскворечье, Рогожская, Сухаревка, Смоленский рынок.

По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, на Покровке постовой милиционер гикнул на худую, облезлую собаку, вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную площадь, пробежали, возбужденно трепля языками, две женщины, – вероятно, спеша стать в очередь под подсолнечное масло.

И наконец сразу, как по единой команде, из всех домов московских, хлопая дверьми, стуча каблуками, чихая на солнечный луч, выкатились трепаные, заспанные, землистые лицом фигуры советских служащих – переписчиц, завотделов, предкомов, товарищей курьеров, сотрудников отдела транспорта, экспертов, ответственных работников. Большинство шло пешком от дома до службы, не веруя в трамвай, прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот. Трамвай был большой редкостью, попадали в него немногие и, попав, толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу.

Рано проснулась жизнь и в профессорском особняке на Сивцевом Вражке, где под крышей, как и в былые, счастливые и привольные дни Москвы, вылепила гнездо и теперь выхаживала птенцов ласточка.

Окна были раскрыты, и чайная ложечка позвякивала в любимой большой чашке орнитолога.

– Вы будете дома, дедушка?

– Посижу, попишу до обеда. А тебе бы, Танюша, погулять сегодня. День какой.

– Да, я пойду; у меня дело есть, далеко, у Красных ворот. Я, дедушка, вернусь к двум часам, не раньше.

Убрав чашки и вымыв их на кухне, Танюша, с особым ощущением свежести, прохлады и чистоты, надела белое платье с короткими широкими рукавами, вчера проглаженное, резиночкой стянутое в талии. Было бы хорошо иметь к нему и белые туфли, но всякая лишняя обувь была сейчас роскошью недоступной. Шляпа соломенная, переделанная из старой, почищенной лимонным порошком, украшенная цветной лентой – из старых запасов.

В зеркале улыбнулась Танюше знакомая белая девушка; обеими руками поправила под шляпой волосы. Стала серьезной, взглянула еще раз поближе, глаза в глаза, повернулась боком, одернула платье, простилась с Танюшей, ушла в рамку зеркала.

Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была все-таки безалаберно красивым, любимым городом, славным русским городом. И улицы ее, кривые и булыжные, милые именами: Плющихи, Остоженки, Поварские, Спиридоновки, Ордынки, и переулки: Скатертные, Зачатьевские, Николопесковские, Чернышёвские, Кисельные, и площади ее: Трубные, Красные, Лубянские, Воскресенские, – все-таки – в горе и забитости, в нужде и страхе – залиты были солнцем щедрым, зарумянившим стены, игравшим на крышах и куполах, золотой каемкой обогнувшим лиловые тени. Как и прежде, суетились струи Москва-реки у Каменного моста, как и прежде, прикрывала Яуза свою нечисть семицветной радугой.

На Арбате все окна магазинов были забиты досками и запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они ничего не значили. По углам, на перекрестках, жались мальчики-папиросники, всегда готовые пуститься наутек.

Догадалась женщина на Арбатской площади поставить ведерко с букетиками полевых цветов, и белых, и желтых, и незабудок, и анютиных глазок. Танюша постояла, посмотрела, прицениласъ и прошла мимо. А было бы хорошо нести букетик в руке, нюхать его или наколоть на грудь или к поясу – в такое чудное утро.

Бульвары кудрявились зеленью деревьев. Прямая аллея была – как жизнь, маня дрожащими бликами солнца, дивуя тенями, уходя вдаль узкой дорогой. Идти бульварами было легко и приятно, хотя путь выходил круговой. Вот, пожалуй, на бульварах совсем ничего не случилось. Дома посерели, погрязнели, опустились, а тут хорошо, совсем попрежнему, даже как будто лучше, – оттого ли, что деревья не стрижены, зелень гуще.

На лавочке сидели два парня в гимнастерках, в защитных обмотках на ногах, но в штатских кепках. Проходившей Танюше послали вдогонку бесстыдное слово и весело загоготали. Танюша не слыхала, думая о своем. На веках ее, не закрытых полями шляпы, солнце бегало слепящими, но ласковыми зайчиками, и легка была ее походка.

Она шла бульварами до Страстного, свернула на Тверскую, наискось прошла Советскую площадь, где на месте памятника Скобелеву только что начали строить временный обелиск, и вышла, миновав Петровку и Неглинную, на Кузнецкий мост. Не устала, но все же тут начинается подъем.

Улица, когда-то парадная, красивая, торговая, теперь потеряла прежний весело-горделивый вид. В окнах «Пассажа» валялся забытый хлам, много было белых временных вывесок разных новых учреждений с длинными неуклюжими названиями, и люди встречались не подходящие к стилю богатой московской улицы. Чем ближе к Лубянке, тем больше людей военно-казенных, в новых френчах с неудобным, плохо сшитым воротником, в преувеличенных галифе, иногда в кожаных куртках, – несмотря на летнее время. У многих портфели. И редкий прохожий не бросал взгляда на девушку в белом платье; иные явно прихорашивались, выпячивали грудь, печатая ногами по-юнкерски, заглядывая под шляпку. Сегодня, в день светлый, что не было противно Танюше: пусть смотрят.

Чего бы не простила она сегодня, в день светлый, на что бы не ответила улыбкой! И почему она сегодня одна? Среди всех этих встречных людей, одетых по-своему изысканно или щеголявших бедностью и грязью, среди бравых, забитых, довольных, озабоченных, гуляющих, спешащих, красивых и безобразных, нет среди них ни одного близкого, кто бы думал сейчас не о себе, а о ней, о Танюше, немного усталой и опьяневшей от солнца. Хоть бы один человек!

Почему и за что приходится жить в такие дни? Долго ли будет так? Ведь было же иначе?

Переходя через улицу, оглянулась: вот он, Кузнецкий мост, куда часто ходила она раньше пешком – покупать ноты. Вот он – и иной, и все-таки прежний: те же профили, тот же прихотливый и уверенный загиб улицы, та же церковь Введения на углу. Нет, Москвы не изменишь!

На Мясницкой встретила дядю Борю – у самых дверей его службы, его Научно-технического отдела. Он обрадовался, потряс ее руку, спросил о здоровье дедушки – своего отца, к которому так редко мог теперь забежать, занятый службой и добыванием продуктов. И сказал:

– Какая ты хорошенькая. В белом платье – совсем буржуйка.

Прошелся с ней до угла, а потом заспешил:

– Ну, я пойду, а то боюсь пропустить выдачу. У нас сегодня мясо выдают: не шутка! Ну, прощай, племянница.

И опять она шла одна.

У почтамта подумала: почему бы не свернуть направо, к Чистым прудам? Оттуда можно будет пройти переулками – крюк небольшой.

И как вошла в аллею – опять никакой усталости. И ти-

хо здесь – слышны отчетливые птичьи голоса.

Дошла до пруда. Берега его примяты, изгородь растащена на растопку, в воде у берега плавают газетные листы, яичная скорлупа, гнилая рогожа. Но так же, как и прежде, смотрятся в воду кустики и деревья, и прохлада та же, и легкая рябь воды. Лодок нет – припрятаны или сожжены зимой. Да и кому сейчас кататься?

Вспомнила Танюша, как, бывало, зимой она приезжала к гимназической подруге, жившей тут же поблизости, и вместе ходили они на Чистые пруды кататься на коньках. Катались от после обеда до вечера, а к семи часам ехала Танюша с розовыми от мороза щеками, с легким дыханием, с приятной усталостью домой, на Сивцев Вражек, под крылышко бабушки, под ласку дедушки, на сладкие сухарики к чаю. Вот это, пожалуй, уж никак не вернется.

Обернулась на шаги, увидела человека в солдатской форме, с боязливыми узкими глазками.

– Сала, гражданка, не купите? Настоящее сало, киевское. Уступил бы недорого, купите, гражданка.

И уже вынимал из-за пазухи грязный сверток, когда Танюша сказала:

– Нет, я не покупаю.

На минутку солнце зашло за облако, пруд потемнел, и Танюша отошла.

Неужели и лодка, и коньки, и былая беззаботность, – неужели это уже никогда не вернется?

Боковым проходом вышла с бульвара, перешла улицу и по теневой стороне Харитоньевского переулка заспешила, озабоченная, в белом платье в талию, одна – в такой чудесный летний день.

А когда вышла на Садовую и увидала дом с зелеными палисадниками, Красные ворота, а вдали, в перспективе улицы, Сухареву башню, – опять невольно остановилась и опять, как на Кузнецком, подумала: «А все-таки – как хороша, ну как хороша Москва, милая Москва! И какая она прежняя, неизменная. Это люди меняются, а она все та же. Погрустнела немножко, а все та же – нелепая, неряха, – а все же милая, красивая и родная-родная...»

ПРИЗНАНЬЕ

Грузовик не мог развозить по домам всех участников спектакля. Танюшу и Астафьева спустили на Страстной площади.

В руках у них были узелки с заработанными продуктами:

немного сахару, пять фунтов муки, фунт крупы, немного повидла и по две селедки. В том районе клуб был щедрым и богатым. Вместе с продуктами в узелке Астафьева лежал его рваный цилиндр, большой бумажный воротничок, яркий галстук – принадлежности гаерского туалета. Мел и краску с лица Астафьев смыл как мог еще за кулисами клубной сцены.

– Ну, вам по Малой Дмитровке, а мне сюда, переулками.

Астафьев сказал:

– Нет, вместе, я провожу.

– Не нужно, Алексей Дмитрич, я не боюсь.

– А я боюсь за вас. Да еще с таким узлом. Сейчас больше двенадцати.

Танюша знала, что это – немалая жертва со стороны усталого человека, выступавшего сегодня, как и она сама, в двух клубах. Но идти одной ночью было страшно, и Астафьев все равно этого не допустит. Бедный, ему далеко будет возвращаться на Долгоруковскую.

Она была благодарна ему – настоящий товарищ. Но кулька своего донести не позволила: сама донесет заработанное богатство. Это не тягость, а радость. Главное – сахар для дедушки.

На грузовике так трясло, что разговаривать не пришлось. И пешком шли сначала молча; потом Танюша сказала:

– Трудно вам, Алексей Дмитрич, выступать в таких ролях?

– Гаерничать? Нет, не трудно. Все другое было бы труднее. Вот речи о «международном положении» никак не сказал бы. Тут нужно быть либо идиотом, как этот оратор, либо негодяем.

– Странно все-таки, что вы взялись за актерство. Почему это, Алексей Дмитрич? Как вы додумались?

Астафьев тихо засмеялся:

– А что же я мог бы еще делать? Читать лекции по философии? Я и читал, пока было можно, пока меня не выкинули из профессуры. А додумался просто. Мне приходилось раньше выступать чтецом коротких рассказов, разумеется любителем, на разных благотворительных вечеринках. А раешничал я экспромтом в студенческих кружках; и ничего себе получалось. Когда мне довелось теперь менять профессию, я и вспомнил об этом. Актером быть доходно, – все-таки получаешь мучки и селедочки. Вот и стал я товарищем Смехачевым с набеленной рожей. Как видите – имею успех.

– Но тяжело вам?

– И вам тяжело, и мне тяжело, и всем тяжело. Но вы, Татьяна Михайловна, страдаете за свою музыку серьезно, а я хоть тем себя облегчаю, что смеюсь над ними, над теми, кого смешу, над каждым гогочущим ослом.

– За что же смеяться над ними, над рабочими, Алексей Дмитрич? Мне это не нравится в вас!

– Вы добрая, а я не очень добрый. Людей вообще, массу людскую, я не люблю; я могу любить только человека определенного, которого знаю, ценю, уважаю, который мне чем-нибудь особо мил. А толпу – нет. И вот я, профессор, философ, пудрю лицо мукой, крашу нос свеклой и ломаюсь перед толпой-победительницей, которая платит мне за это селедками и прокислым повидлом. И чем бездарнее и площе рассказы, которые я им читаю, чем безвкуснее остроты, которые я им преподношу, – тем они довольнее, тем громче смеются. Меня это часто очень утешает.

Помолчав, продолжал, уже без раздражения:

– Вы меня все-таки немного знаете, Татьяна Михайловна. И вы поймете, что мне нелегко выдумывать и выговаривать всю эту пошлятину. А я выдумываю и громко выкрикиваю. И чем глупее у меня выходит, тем я больше радуюсь. Тут, может быть, примешивается и некоторая радость мести – и им, господам нашего сегодня, и моей ненужной науке, моим лишним знаниям, моему напрасному уму.

– Почему напрасному?

– Он мне мешает, моей новой карьере. Не мне, а товарищу Смехачеву. Философ Астафьев все пытается вложить в уста товарища Смехачева настоящую сатиру, подлинное остроумие, какой-то смысл художественный. Он, Астафьев, стыдится Смехачева, – а это совершенно излишне, это доказывает, что сам Астафьев, философ и профессор, еще не поднялся на подлинную философскую высоту, еще не отрешился от ученого кокетства, еще не стоек и еще не стоик, – простите за дешевый каламбур присяжному раешнику. Это, очевидно, очень трудно. Жить, как Диоген, в бочке – легко, а вот избавиться от нищего кокетства – трудно. Фраза: «Отойди и не засти мне солнца», – фраза, которую повторяют века, – в сущности, только дешевое кокетство. Настоящий циник должен бы сказать просто: «Убирайся к черту» – или, еще лучше, промолчать совсем, зевнуть, заснуть, почесать спину, – вот еще, принесла нелегкая Александра Македонского, когда и без него скучно, и без него толпа идиотов глазеет на бочку и ее обитателя. А вместо этого

Диоген ляпает историческую фразу – и сам доволен, и все довольны. Именно такая философическая дешевка и нравится обывателю.

– Перестаньте, Алексей Дмитрич.

– Да почему, разве не правда?

– Может быть, и правда, но очень уж недобрая ваша правда. Не радует. И вам от нее не легче. И мне очень неприятно.

Астафьев замолчал. Под фонарем на углу Арбата Танюша повернула к нему лицо и заглянула в глаза. Лицо Астафьева было серым, усталым, и в глазах стояла тоска.

– Не обиделись на меня?

Он искал ответа. Он не обиделся – слово не то. Но ему было жалко себя. Просто «нет» – не было бы настоящим ответом.

– Вы немножко правы, Татьяна Михайловна, и я немножко путаю и умничаю. Тоже – невольное кокетство.

Неподалеку от дома она ему сказала:

– Знаете, я вас раньше боялась. Вы очень умный и оригинальный человек, не как все. Сейчас боюсь меньше; пожалуй, даже совсем не боюсь.

Он прислушался.

– Потому не боюсь, что я сейчас очень многое поняла, с тех пор как стала жить работой, как стала видеть много людей, совсем для меня новых. Как-то я подумала, что все мы – испуганные дети, и я, и вы, и дедушка, и рабочие, и товарищ Брауде – все. Все говорим и думаем о странных мелочах – о селедке, о революции, о международном положении, – а важно совсем не это. Не знаю что, а только не это. Что вам важно, Алексей Дмитрич?

– Сейчас скажу. Мне важно... Мне нужно и важно иногда видеть вас, Татьяна Михайловна, и говорить с вами вот так, как сейчас. И чтобы вы меня в разговоре нашем побеждали. А что вам важно?

– Мне? Я все-таки думаю, что всего важнее для меня было бы иногда видеть рядом простого и здорового духом человека, по возможности не философа, но и не раешника.

– А это не слишком зло, Татьяна Михайловна?

– Нет. Я вообще незлая, вы это сами признали. Но я хочу воздуха, а не какой-то беспросветной тюрьмы, куда вас всех тянет и куда вы меня тоже хотите упрятать.

– Кто же вас...

Но Танюша перебила:

– Мне, Алексей Дмитрич, двадцать лет, вы думаете, мне

приятно вечно слышать панихидное нытье, злые слова? И главное, все время о себе, всё – вокруг себя и для себя, и все такие, даже самые лучшие. Дедушка, правда, думает обо мне, – но это все равно что о себе. А вы, Алексей Дмитрич, о ком-нибудь, кроме себя, думаете?

Уснувшее лицо Астафьева вдруг осветилось его умной улыбкой.

– Удивительно, – сказал он, – до чего излишек слов портит первоначальную мысль. Вы мой поток слов прервали отличным замечанием и сразу сбили меня с позиции. А затем – вы сами увлеклись кокетством мыслей и слов, и я опять спасен, по крайней мере, не чувствую больше смущения. Ужасная нелепость этот наш интеллигентский язык. Что вы, собственно, хотите сказать? О чем меня спрашиваете? Существует ли для меня кто-нибудь, кроме меня самого? Я могу вам ответить просто: да, еще существуете вы. Иначе я вас не провожал бы и не боялся бы за вас так. Вот вы уже и не совсем правы.

– Я вам благодарна, Алексей Дмитрич.

– Не за что.

Затем, особо отчетливо выговаривая слова, как выговаривал всегда, когда сказать было трудно или когда в словах своих не был уверен, Астафьев сказал:

– Все это относительно пустяк, все эти разговоры. Не пустяк же то, что я... что вы, кажется, начинаете слишком существовать для меня. Да, это именно то, о чем вы сейчас подумали: начало некоторого признания. Дальнейшего признания сегодня не может быть, во-первых, потому, что мы дошли, а во-вторых, потому, что во мне все-таки не угасла какая-то досада на вас. Вероятно, задето мужское самолюбие. Ну, будьте здоровы, кланяйтесь профессору.

Он пожал Танюше руку, подождал, пока на ее звонок у ворот хлопнула дверь в дворницкой, и, резко повернувшись, зашагал по Сивцеву Вражку.

Танюша, прислонившись лбом к холодному косяку калитки, думала: «Разве признанья бывают такими холодными? И почему я не взволнована?»

В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ

В семь часов утра верный рыцарь уже звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке.

Танюша выглянула в окно и оживленно крикнула:

– Я готова, Вася. Вы хотите войти? Чай пили?

– Чай я пил, и времени у нас очень мало. Лучше выходите, Танюша. Не забудьте захватить корзиночки. У меня большой мешок и достаточно хлеба.

– Зачем мешок?

– Как зачем? А для шишек. Привезем домой шишек для растопки. И вообще – на случай.

Какой чудесный летний день. Солнце косым утренним лучом скользнуло по Танюше, и на фоне окна она такая беленькая, ясная, приветливая. Как вообще хорошо жить... иногда.

– Вы сегодня элегантны, Вася.

Элегантность Васи Болтановского заключалась главным образом в довольно новых сандальях на босу ногу и в русской рубашке навыпуск с кожаным поясом. Шляпы Вася не носил как из соображений гигиенических (надо, чтобы волосы дышали свободно!), так и потому, что шляпа его совершенно просалилась и протерлась, а новой добыть сейчас и негде и не на что.

Быть элегантным значило в те дни – быть в чистом белье и хорошо заштопанной одежде, – как бы ни был фантастичен костюм. За отсутствием материи, пуговиц, отделок прежние франты ухитрялись сооружать костюмы из портьер, белье из скатертей, а дамы носили шляпы из зеленого и красного сукна, содранного с ломберных столов дома и с письменных столов в советских учреждениях. Пробовали за это преследовать, но бросили: трудно доказать. Брюки с заглаженной складкой были уже не только буржуазным предрассудком, но и некоторым вызовом новой идеологии.

На самый взыскательный вкус, он – в вышитой косоворотке и сандальях, она – в чистом и проглаженном стареньком белом платье в талию, оба без шляп и без чулок – были вполне элегантной молодой парочкой. Корзинки в руках и пустой холщевый мешок на плече у Васи впечатления не портили: без мешка кто же выходил из дому!

Утреннее солнце было ласково. Они были молоды и веселы. Им предстояло провести целый день в лесу. Что, если не это, называется счастьем?

Дома и домики Сивцева Вражка провожали их улыбками. Даже профессорский особнячок, потемневший от старости, сегодня сиял и бодрился на солнце. Танюша, обычно серьезная и деловитая, сегодня охотно отвечала веселым смехом на все глупости, которыми сыпал Вася,

чувствовавший себя мальчишкой и гимназистом. Ноги бежали сами – приходилось сдерживать их торопливость. Что же, если не это, называется счастьем?

Поезд состоял исключительно из теплушек, пассажирами были главным образом молочницы, возвращавшиеся с пустыми бидонами. Было только два утренних и два вечерних поезда на дачной линии. Зато не требовалось никаких особых разрешений на посадку, как это было на поездах дальних.

Десять верст поезд плелся почти час: подолгу и без видимой надобности стоял на трех остановках. Танюша и Вася сошли на станции Немчинов пост.

– Ну, вот и кончен путь. Куда мы двинемся теперь, Танюша?

– Поскорее в лес куда-нибудь.

– Здесь рядом лес небольшой. А если пройти с полчаса полями, то там начнется чудесный лес, и тянется он вплоть до Москва-реки. Хотите?

Ноги шли сами, без понуканья. Миновали дачный поселок, теперь полуразрушенный и заброшенный. Дачи были на учете местного совдепа, получать можно было только после ряда хлопот, ходатайств, хитростей и лишь на имя организаций, при знакомстве – можно и фантастических. Последней зимой много домиков было растаскано на топливо, хотя рядом был лес.

Вышли в поля, где колос был редок и у дороги потоптан. Но все же золотая волна бежала по ржаному полю, среди хлебов мелькали синие глаза васильков, в небе пел невидимый жаворонок. Упряма была природа: жила сама и звала жить.

Танюша сняла туфли и шла босиком между двух колей дороги. Иногда под ноги попадалась зеленая трава, приятно холодила пятку, заскакивала между пальцами и с лаской ускользала. Вася расстегнул ворот рубашки и всю дорогу пел нескладным голосом и фальшивя без меры; он отличался полным отсутствием слуха, и нужно было ясное сегодняшнее утро, чтобы музыкальная Танюша не страдала от такого пения. Только при самых отчаянных руладах Васи Танюша, зажимая уши, кричала ему со смехом:

– Ну, Вася, пощадите! Вы вспугнете всех птиц.

– Зато, когда пойдем обратно вечером, будут довольны лягушки. Мое пенье в их вкусе.

Они забавлялись, как дети, бегали наперегонки, украсили себя венками из васильков, жевали недозревшие зерна

ржи и сладкие кончики травы. К десяти часам, миновав поля и перейдя глубокий овраг, вышли наконец на лесную дорогу.

Лес сначала обступил их невысоким молодняком – дубками, березками, орехом, затем обнял свежестью старых берез, осин, елок, сосен. Шла через лес кривая малоезженая дорога, с колеями в объезд кустиков и поверх размочаленных корней, а меж двух колей и по сторонам росли сыроежки с розовыми и зелеными шляпками.

Встречных было мало, и только пешеходы. До деревни, что на крутом берегу Москва-реки, лес тянулся версты на четыре. Ягод здесь попадалось мало, то ли были обобраны, то ли просто неягодные места. Но орехи уже начинали наливать и крепить молочные зернышки в резном зеленом капоре.

К полудню прошли мимо разбросанных домов и дачек деревни и вышли к реке. Вася по пути раздобыл молока, и на высоком берегу сделали привал.

Еще никогда не казался таким вкусным сероватый и вязкий ржаной пайковый хлеб с крупной солью. Танюша подивилась хозяйственности лаборанта: в его корзине оказалась не только бутылка для молока, но и два крепких стакана.

– Вы, Танюша, возьмите этот стакан; он у меня всегда служит для питья.

– А другой?

– Другой, собственно, для бритья. Но я хорошо вымыл. А отличаю я его по пузырьку на стекле, вот смотрите.

– Вася, какой вы смешной и милый. Давайте чокнемся.

Зато Вася покраснел и ахнул, когда в свертке Танюши оказались две большие котлеты.

– Ну, это уже черт знает... Это уже мотовство – совершенно царский стол!

– И не подумайте, Вася, что из конины. Самое подлинное мясо, и жарила я сама на настоящем коровьем масле.

Котлету съели пополам, оставив другую на обед. Ели молча, священнодействуя, думая в эту минуту о серьезном.

Когда покончили с печеным картофелем, корзина с провизией сразу стала легче.

– На десерт ягоды.

– Если найдем много. Нужно собрать и для дедушки.

– Черники и брусники в том лесу гибель.

Они сидели над обрывом, любуясь изумительным видом на отлогие берега реки. Внизу, на той стороне, была деревушка, вдали едва виднелось Архангельское.

– Красота!
– Красота!
– Вы довольны, Танюша?
– Я счастлива. А вы, Вася?
– Значит, я вдвое.
– Почему вдвое и почему значит?
– Своим счастьем и еще вашим.

Танюша посмотрела на Васю глазами ласковыми и задумчивыми:

– Милый Вася, спасибо вам.

– За что?

– За все. За заботливую и верную дружбу вашу.

– Да, за дружбу – это верно. А вам, Танюша, спасибо за то, что вы существуете. За мою к вам любовь. Вам она не мешает, а мне можно жить на свете. Ух, я так вас люблю Танюша, что... – Вася повалился на траву и бил ее сжатым кулаком: – Пусть глупо, а мне так нужно. Вы меня не слушайте, Танюша, это я от солнышка с ума схожу. Ух, какой я сегодня совершенный идиот, ой-ой-ой, даже приятно.

Посидели так, он – лицом в траву, она – задумчиво глядя на зеленые дали. А когда Вася поднял голову, Танюша просто сказала:

– Теперь пойдем в лес?

– Да. Теперь пойдем в лес. В лес, так в лес.

Вскочил на ноги:

– Идемте. Здесь рядышком начинается самый старый лес, заповедный. Там еще стоят сосны времен царя Алексея Михайловича. Вы увидите. Ноги мы себе обдерем обязательно, это верно, но зато чудесно там, Танюша. Я здесь много раз бывал и все места знаю.

Высокая трава била по ногам. Тропинок становилось меньше. В заповедный лес вошли, как в грот, раздвинув ветви высокого кустарника. И, несмотря на полдень жаркого летнего дня, – вдруг оказались в прохладе и влажности.

Верхушки деревьев сплелись в сотни темных куполов, а вся земля, хоть и в густой тени деревьев, заросла травой жирной, ласково-холодной. Перегной был мягок и топок, и долго пробуравливал его белый стебель трав, пока, выйдя на волю, делался зеленым.

Глубже в лес не было и помина о дорожках, везде была зеленая стена кустарника и чернели столбы столетних стволов. В одном месте лежала сосна с выгнившей древесиной, много лет назад павшая, – только кора пролагала дорогу среди кустов и молодых деревьев, и верхушка теря-

лась в темной дали. Павшая сосна доходила в толщине до человеческого роста, и ее пришлось обходить, как внезапно выросшую стену.

– Где вы, Вася?

– Тут рядом. Я забрался в такую чащу, что не знаю, как и выбраться.

– Хорошо здесь, Вася. Какой лес, какой лес! Вы меня видите?

– Платье мелькает, а лица не вижу.

– Я хотела бы здесь жить, Вася.

– Соскучитесь. В мир потянет.

– В мире, Вася, несладко сейчас.

– Обойдется. Лучше будет.

– Вы верите?

– Да как же не верить. Вон у нас какие богатства. Один этот лес чего стоит. А на севере... ой, напоролся на сучок...

– Что, вы говорите, на севере?

– Я говорю, на севере, где я жил в детстве, там леса еще много лучше, хвойные, и тянутся на тысячи верст. Как вспомнишь о них: люди, и всякая политика, и квартирные вопросы, и декреты, и что там еще – все смешным делается.

– Вы любите жизнь, Вася? Вы не боитесь жить?

Среди зарослей показалась Васина косоворотка.

– Ну, Танюша, я окончательно застрял; главное – корзинка мешает идти. А насчет жизни – как же не любить ее? Люблю! Больше жизни я только вас люблю, Танюша.

– Опять вы начинаете.

– Я правду говорю. Я даже вот как скажу вам. Подождите, Танюша, не шевелитесь. Я потом вам помогу выбраться. Вы меня раз послушайте. Вот этим лесом клянусь вам, Танюша, ни о чем вас не прошу, а жизнь за вас отдам. Вы подождите минутку, дайте мне сказать. Этим лесом клянусь: если вам понадобится когда-нибудь моя помощь, ну, в чем бы ни случилось, – вы, Танюша, помните, что я ваш верный друг и пойду для вас на все, и на самую смерть пойду, и даже, Танюша, с удовольствием. Вот. Это я совершенно серьезно, и больше я говорить не буду.

Ветки перестали трещать, и птиц не было слышно.

– Вася!

– Что?

– Вася... где вы там?..

– Да застрял.

– Подойдите.

– Не могу, тут ветки перепутаны. И что-то колется.

– Ну, протяните руку.

Опять затрещали ветки, и сквозь них показалась большая Васина рука.

– Ой, Вася, у вас кожа содрана на руке.

– Не беда.

– Бедный... Ну, держите мою руку.

Танюша налегла на кустарник и дотянулась рукой до Васиных пальцев.

– Поймали?

– Поймал.

– Только не тяните, а то упаду. Вася, милый Вася, я все знаю и все ценю. Только себя я еще не знаю. Мне здесь с вами хорошо, а дома, в городе, у меня на душе тревожно. Есть много такого, чего я не могу понять, ну – в себе самой. Вы, Вася, не осуждайте меня.

– Да разве ж я могу...

– Мне так трудно, Вася, так трудно.

– Ну, ну, я-то ведь понимаю.

– Вася, милый, вы мой единственный, настоящий друг, вот. Ну, теперь пустите руку. Надо как-нибудь выбраться из этой чащи.

Ветки раздвинулись шире, и Васина голова со спутанными волосами дотянулась губами до кончика пальца Танюши:

– Выберемся, Танюша, выберемся. Я сказал – помогу. Тут скоро должна быть лесная тропа. Я, Танюша, вас выведу, не бойтесь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Разогрев воды на печурке, Астафьев смывал с лица последние остатки муки и краски. В зеркале отразилась щель двери, а в щели – опухшее лицо его соседа, рабочего Завалишина.

– Нечего подсматривать, Завалишин, входите.

– Туалетом занимаетесь?

– Смываю с рожи муку.

– Выпачкались?

– Вероятно. Как вы живете?

Завалишин вошел, погрел руки у печурки, потом сказал отчетливо и самоуверенно:

– Поживаю хорошо. Зашибаю деньгу.

– Все на фабрике?

– Никакой фабрики. Теперь совсем по другой части. По вашему, товарищ Астафьев, совету и прямому указанию.

– Что-то не помню, чтобы советовал. Это где же?

– Приказывали бороться, и даже по части подлости. Иначе, дескать, пропадешь, Завалишин, съедят тебя. Вот и боремся теперь.

Астафьев с любопытством посмотрел на соседа:

– Ну и что же, выходит?

– Не могу жаловаться, делишки поправляются. Даже пришел к вам, товарищ Астафьев, угостить вас, как бы отблагодарить за угощенье ваше. Если, конечно, не гнушаетесь. И не самогон, а настоящий коньяк, довоенной фабрики, две бутылки.

– Подлостью, говорите, добыли?

– Так точно. Самой настоящей человеческой подлостью. Уж не погнушайтесь.

– Любопытно.

– Да уж чего же любопытнее. У вас два стаканчика найдутся? И закуски сейчас принесу, копченая грудинка и еще там разное.

Астафьев опять с интересом оглядел соседа. Перемена явная. Лучше, даже совсем хорошо одет, нет прежней робости и забитости, однако как будто и уверенности в себе настоящей нет. Храбрится и бравирует.

Завалишин принес коньяк, марки неважной, но настоящий, довоенный. Вынул из пакета грудинку, икру и какие-то сомнительные полубелые сухарики. Для дней сих – несомненная роскошь. Столик подвинули ближе к печке.

Завалишин налил два стакана до половины:

– За ваше здоровье, товарищ ученый. Покорнейше вам за все благодарен, за науку вашу, за советы – научили дурака уму-разуму.

– А все-таки что вы делаете, Завалишин? Воруете? В налетчики записались?

– Что вы, помилуйте. Получаю за аккуратную службу.

– Где?

– Вот это ж дело секретное, товарищ Астафьев. Одним словом – служба, настоящее дело. Работа самонужнейшая, в антиресах республики. Но болтать зря нельзя.

– Ну, черт с вами, пейте.

Пили молча, закусывая икрой и толстыми ломтями грудинки. Астафьев был голоден, – сильному человеку нужно было много пищи. Коньяк согрел и поднял силы. Завалишин, напротив, быстро осовел, но продолжал пить жадно. Лицо его налилось кровью, глазки сузились и тупо смотрели в стакан.

Потрескивали сырые дрова в печурке.

Сидя в кресле, Астафьев забыл про гостя. Мысль раздвоилась. Он думал о Танюше и о последнем разговоре, но в разговор вмешались эстрадные остроты, какие-то пошлые стишки, которыми он забавлял сегодня толпу. И еще слышались звуки пьянино: Танюша играла Баха.

Астафьев вздрогнул, когда сосед ударил кулаком по столу:

– Стой, не движь, так твою...

– Вы чего, напились, что ли?

Завалишин поднял пьяные глаза:

– Н...не желаю, чтобы он двигался.

– Кто?

– В...вообще, н...не желаю.

Засмеялся тоненьким смехом:

– Это я так. Вы, т...товарищ, не беспокойтесь. Я, товарищ, все могу.

– Нет, Завалишин, не все. И вообще вы – слабый человек, хоть по виду и силач.

– Я слабый? Это я слабый? Очень свободно убить могу, вот я какой слабый.

– Подумаешь. Убить человека и ребенок может, особенно если из револьвера. Силы для этого не требуется. А вот больше вы ничего не можете.

– А что больше?

– Создать что-нибудь. Сделать. Ну, вот зажигалку, что ли.

– Я не слесарь.

– Ну, поле вспахать.

– Ни к чему это. Мужики пашут.

– А вы пролетарий, барин! Мужики пашут, а вы хлеб едите. Ни на что вы, Завалишин, не способны; даже коньяк пить не умеете со вкусом: хлещете, как денатурат, и с первого стакана пьяны.

– Хлещем, как умеем, господин Астафьев. Нас этому в университетах не обучали. Чтобы пригубливать – у нас времени не было. Мы завсегда залпом. Вот так!

Он долил свой стакан и опрокинул разом, но поперхнулся и стал резать дрожащими руками ломоть закуски.

Астафьев допил свой стакан, налил другой, – не отставая от соседа, – и погрузился в свои думы. Голова его приятно кружилась.

Отвлекло его от мыслей бормотанье Завалишина.

Опершись руками о стол и положив на руки пьяную голову, Завалишин красными, моргающими глазками смотрел на собутыльника:

– За такие слова можно тебя упечь безобратно. И за машинку, и за мужика. Упечь и даже в расход вывести.

Астафьев брезгливо поморщился:

– Чекист! Если вы пьяны, Завалишин, то ступайте спать. Допьем завтра.

– Завтра? Завтра у меня день свободный, в...вроде отпуска. Завтра материалу нет срочного.

И опять захихикал пьяненько и трусливо:

– Материалу завтра нет, а какой был – прикончили сегодня весь. Я, Завалишин, и приканчивал. Чик – и готово.

И вдруг, опять стукнув кулаком по столу, закричал:

– Говорю – не выспрашивай, не твое дело!

Дрожащей рукой налил стакан и выпил залпом. Коньяк ожег горло. Завалишин вылупил глаза, ахнул, потянулся за закуской и сразу, опустившись, ткнулся лбом в стол.

Астафьев встал, взял гостя за ворот, потряс, поднял его голову и увидел бледное лицо, на котором был написан пьяный ужас. Зубы Завалишина стучали, и язык пытался бормотать. Астафьев приподнял его за ворот, поддержал и волоком потащил к двери:

– Тяжелая туша! Ну, иди ты, богатырь!

Доволок его до комнаты, швырнул на постель, подобрал и устроил ноги. Пьяный лопотал какие-то слова. Астафьев нагнулся, послушал с минуту:

– Ай, матушки, ах, матушки, куды меня, куды меня...

Астафьев вернулся к себе, собрал остатки закусок, пустую и полуполную бутылку, отнес все в комнату Завалишина. Придя к себе, открыл окно, проветрил комнату и лег в постель, взяв со стола первую попавшуюся книгу.

МЕШОЧНИК

Вагоны грузно ударились один о другой, и поезд остановился. Путь, который раньше отнимал не более суток, теперь потребовал почти неделю.

Стояли на каких-то маленьких станциях и полустанках часами и днями, пассажиров гоняли в лес собирать топливо для паровоза, раза два отцепляли вагоны и заставляли пересаживаться; и тогда вся серая масса мешочников, топча сапогами по крыше вагона, спираясь на площадках, с оханьем и руганью бросалась занимать новые места. Среди этих пассажиров, помогая себе локтями и с трудом перетаскивая чемоданчик и мешок с рухлядью, отвоевывая себе место,

торопливо пробивался и Вася Болтановский, лаборант университета, верный рыцарь домика на Сивцевом Вражке.

Уже давно забыл, когда в последний раз мылся. Как и все, пятерней лез за пазуху и до крови расчесывал грудь, плечи, спину – докуда доставала рука. Только одну ночь ехал на крыше вагона, обычно же ухитрялся занять багажную полку внутри – и сверху победно смотрел на груду тел человеческих, спаянную бессонными ночами, грязью, потом, бранью и остротами над собственной участью. Счастливцы спали на полу, в проходах, под лавками; неудачникам приходилось дремать стоя, мотая головой при толчках.

К концу пути стало в вагонах свободнее и крыши очистились. Большинство мешочников слезло и разбрелось по деревням. Вася проехал дальше многих, рассчитывая выгоднее обменять свой товар в отдаленных селах. В дороге сдружился с несколькими опытными мешочниками, уже по второму и третьему разу совершавшими сумбурный поход за крупой и хлебом.

Оставив поезд, разбились на кучки, подтянулись, подправились, удобнее приладили мешки и двинулись в разных направлениях.

Спутниками Васи были две бывалые женщины, из московских мещанок, и «бывший инженер», – как сам он себя именовал, – в хороших сапогах и полувоенной защитной форме; только вместо фуражки – рыжая кепка. Его принимали за солдата и называли «товарищем». С ним Вася особенно сдружился в пути и охотно признавал его авторитет и опытность. Звали инженера Петром Павловичем. Как и все – грязный, небритый, полусонный, он изумительно умел сохранять бодрость духа, шутил, рассказывал о прежних своих «походах», умел раздобыть кипятку, мирил ссорившихся, менял соль на табачок, уступал свое место на лавке во временное пользование усталым и женщинам, а на одной из долгих стоянок помог неопытному кочегару справиться с поломкой паровозной машины. В вагоне он был как бы за старосту, с особой же нежностью и заботой относился к Васе, которого называл профессором.

Инженеру Протасову было лет тридцать пять. Был широкоплеч, крепок, здоров, приветлив и обходителен. С каждым умел говорить на понятном ему языке и о понятных ему вещах. Пассажиры, слезавшие в пути, обязательно с ним прощались; новички попадали под его покровительство.

Выйдя со станции, маленькой своей группочкой двинулись в путь.

– Ну, сюда добрались; а вот как обратно поедем, с полными мешками!

– Там увидится. Ездят люди.

– Ездят, да не все возвращаются.

– Через заградилки трудно.

– Проберемся как-нибудь. Сейчас об этом рано думать. Сейчас – поменять бы выгоднее.

– Ноги-то не идут.

– Ничего, разойдутся. В лесу отдохнем.

– Это, выходит, – прямо на дожде!

– Найдем сухое местечко. А то в избу где-нибудь пустят.

– Ну и жизнь!

– Все же лучше здесь, чем в вагоне.

И правда – на воздухе отдыхали после вагонной духоты.

По осенним вязким дорогам меж намокших полей добрались до небольшой деревушки, где и собаки и люди встретили пришельцев с подозрительностью. Было ясно, что тут никакой торговли не сделаешь, – только бы высушиться и обогреться да расспросить.

В избу все же пустили. Хозяева, узнав, что у нежданных гостей есть чай, отнеслись к ним более приветливо и выставили со своей стороны крынку молока и хорошую краюху хлеба. Хлеб был настоящий, вкусный, сытный, не пайковый московский. За несколько щепоток чаю истопили баню и посулили ночлег. Это была удача, – баня самое нужное дело.

В первый раз за неделю Вася Болтановский разделся и долго возился с бельем и одеждой, вытравляя и выпаривая насекомых под руководством опытного спутника. Оделись в чистое, а ночью выспались, не обращая внимания на укусы клопов – насекомых невинных и приемлемых.

И утром, чуть свет, двинулись по дорогам и бездорожью искать крестьян побогаче и позапасливее.

В первом же селе женщины-спутницы отстали, – то ли расторговались, то ли решили, что ходить вчетвером невыгодно. Васе повезло, и почин он сделал на старом платье и летней кофточке Танюши, в обмен на которые получил целое богатство – полпуда гречневой крупы! Протасов сделку вполне одобрил. Завязывая свой мешок, Вася смотрел с ужасом, как молодая бабенка просовывала в рукава Танюшиной кофточки свои красные рабочие руки, примеривая ее поверх своей старой и засаленной и кулаками поправляя груди. Но почин сделан, и почин счастливый – для Танюши!

Мужики смотрели на торговцев мрачно, однако пытались прицениться к непродажным сапогам инженера. За косу и бруски предлагали пустяк, – о сенокосе думать рано. Васю заинтересовало, откуда у инженера новая неотбитая коса. Оказалось, что косу он получил в учреждении, где служащим выдавали в паек разные неожиданные и странные вещи; брали всё охотно, на случай обмена.

Решили слишком далеко не забредать и держаться ближе к железной дороге. Хуже всего было с ночевками, – пускали неохотно, не доверяя пришлым городским людям. Но, пустив, охотно расспрашивали про Москву, про немцев, про цены, про то, чего ждать впереди. Что война прикончена, – про то в деревнях знали; о том же, кто теперь правит Россией, правда ли, что царя увезли, и чего хотят большевики, понятие имели самое смутное и фантастическое. Больше, чем политикой, интересовались слухами о налогах и тем, будут ли у крестьян отбирать хлеб и не вернутся ли помещики. Ответы выслушивали, затаив дыханье, но, видимо, мало верили пришельцам и слова их толковали по-своему.

На пятый день заезжие купцы наполнили свои мешки, расставшись с кофтами, чулками, ситцем, морковным чаем и листовым табаком. В последнем селе Вася продал за пуд белой муки и пуд проса охотничьи сапоги профессора орнитологии, – сделка, которой инженер не одобрил, сочтя ее маловыгодной. К этому времени нагрузился продуктами и инженер. Решили ехать на ближайшую станцию с попутной подводой, заплатив деньгами. Устроилось и это, поход оказался счастливым.

Хозяин подводы, отъехав от села, повернул голову к седокам, осмотрел их внимательно, оценил и сказал Васе:

– Смотрю я на тебя, для барина ты плох, а на товарища не похож; так уж я буду тебя господином звать.

Протасов спросил его:

– Ну а я на кого похож?

Крестьянин ответил неохотно:

– Кто ж тебя знает! Человек пришлый, не наш. Надо полагать, из военного сословия.

Тем более пригодилась подвода, что Вася Болтановский, не привычный к такого рода приключениям, чувствовал себя сильно ослабевшим, а в последнюю ночь его даже немного лихорадило.

Самым трудным было погрузить себя с мешками в поезд, по обыкновению переполненный. Первые сутки заночева-

ли на станции; на второй день опять повезло, и с трудом устроились, сначала на тормозе, потом и на площадке. На следующих станциях новой толпой мешочников, занявших сходни и даже крышу, втиснуты были в вагон, где уже трудно было дышать и приходилось ехать стоя. Но раз попали – благодарили судьбу и за это.

Поезд шел на этот раз быстрее, без долгих задержек, и на третьи сутки уже подъезжали к Москве, удачно миновав первую заградилку, от которой откупились пустяками. Москвы Вася ждал с нетерпением, так как чувствовал, что силы его кончаются. В вагоне, чтобы легче было дышать, открыли все окна, и Васю сильно знобило. К ночи озноб сменился жаром, и инженер, смотря на молодого спутника, скептически покачал головой:

– Что это вас так развозит? Смотрите, не поймали ли ядовитую семашку!

– Нет, ничего. Скорее бы только доехать.

Под самой Москвой опять наткнулись на заградительный отряд. С крыши всех согнали, стреляя холостыми. Из передних вагонов выгнали пассажиров и у многих отобрали мешки. Но, видно утомившись с ближайшими, решили махнуть рукой на остальных. Мешочники защищали свое добро правдами и неправдами, цеплялись за мешки, ругались, льстили, подкупали, старались держаться сомкнутой массой, не пропуская заградиловцев в вагоны, рассовывая свои запасы под лавки, под юбку, за пазуху. Васе и его спутнику опять повезло: их вагон был последним, и на усердный осмотр его у заградиловцев не хватило ни сил, ни времени. Простояв свыше двух часов, поезд наконец двинулся. До Москвы оставалось часов пять. Главная опасность – лишиться добытого с таким трудом – миновала.

Протасов советовал:

– Как дома будете, прежде всего вымойтесь, выберите семашек, налейтесь до краев горячим чаем – и в постель. А лучше всего – доктора позовите, если есть знакомый.

И правда, Васе было плохо. После нервного напряжения, перенесенного в заградительном пункте, он испытывал теперь страшную слабость. Сидел на мешке, сам – как мешок. По временам так стучало в висках, что заглушало стук поезда. И тело, зудевшее от насекомых, покрыто было холодным потом.

– У меня все перед глазами сливается и точно плавает.

– Ну еще бы, – говорил инженер, с сожалением оглядывая спутника. – Это, батюшка, дело серьезное. Хорошо, что

скоро в Москве будем. Мешки уж как-нибудь дотащим; может быть, попадет дешевый извозчик.

Громыхая на стрелках, ахая на поворотах, медленно, точно нарочно растягивая время, грузно, тяжко, злобно поезд подползал к московскому вокзалу.

Разминаясь и стараясь бодрее держать пылающую голову, Вася думал: «Кажется, плохо мое дело. А все-таки привез разного добра. Теперь Танюше и профессору будет немного легче».

И еще думал с больной улыбкой: «Скоро увижу ее... Танюшу».

«ЖМУРИКИ»

Преддомком Денисов с вечера предупредил жильцов, что всем, кто не имеет документа о советской службе, приказано явиться в милицию к трем часам под утро со своими лопатами:

– Пойдете на общественные работы.

Документы оказались почти у всех, а рабочие службой не обязывались. Двоих, не имевших, преддомком уволил от явки своей властью, одного по болезни (помирал от тифа), другого по преклонной старости. Не оказалось удостоверения только у семерых – у трех женщин и четверых мужчин, в том числе у приват-доцента философии Астафьева.

– Я служу актером в рабочих районных клубах, вы знаете.

Но Денисов явно был доволен, что Астафьев не оказался запасливым:

– Раз без документа, то вам, товарищ Астафьев, обязательно идти.

– Я только к ночи вернусь с работы.

– Ничего не знаю. Если не пойдете – я обязан сообщить, и уведут силой, да и назад не приведут; вам же будет хуже. Сейчас, товарищ Астафьев, с буржуазией не шутят. Пожалуйте к трем часам, вот вам и билет от домкома; там распишутся, и назад мне принесете. Лопату вам выдадим. Очень сожалею, товарищ Астафьев, но и без того всякий старается отлынивать.

Астафьев знал, что мог бы – при желании – отвертеться: Денисов не отличался неподкупностью. Но, подумавши, махнул рукой: «Надо и это испробовать; да, пожалуй, в принципе справедливо».

К трем часам ворота в милиции были еще заперты; к половине четвертого собралась порядочная толпа и мужчин и женщин, безропотная, разношерстная, большинство без лопат. Кто были пришедшие – разобрать было нелегко; одеты плохо, сборно, но, по-видимому, большинство из «буржуев» и интеллигентов. На двоих мужчинах, уже пожилых, пальто было офицерского покроя, правда потерявшее облик, грязное, затасканное, со штатскими пуговицами. Вообще в толпе преобладали люди пожилые.

Отперли ворота в четыре, впустили, отобрали билеты домкомов, переписали. Поворчали, что мало принесли лопат, выдали десяток казенных, под расписку. Отрядили четверых конвойных вести толпу в шестьдесят человек.

По ночным улицам, мрачным, неосвещенным, неубранным, толпа шла сначала в порядке, к концу – разбредшимися группами. Уйти нельзя: только на месте выдадут билеты с отметкой. На вопрос, какая будет работа, сонные и злые конвоиры отвечали, что и сами не знают. Приказано доставить за заставой на вторую версту, близ дороги; там конвой сменят.

– В прошедшую ночь водили на Николаевскую линию рельсы и шпалы чистить, а нынче приказано в другое место.

Одна бабенка, суетливая и бойкая, по говору – из мещанок, словоохотливо рассказывала каждому, что ходит на работы не в первый раз, и ходит добровольно, замещает знакомую почти задаром. И ведут нынче, скорее всего, не дорогу чистить и чинить, а закапывать «жмуриков». Работа не тяжелая, хоть и грязная, а хлеба за это выдают по-божески, иной раз по целому фунту, и хорошего, солдатского.

Что такое «жмурики», Астафьев не знал.

Шли больше часу, пока дошли до места, где ждали другие конвоиры. Оказалось, работа тут и есть, рядом. Сказали, что отдыхать некогда, скоро грузовики приедут; отдых потом, когда хлеб выдадут.

Поставили всех рядом копать на пустыре большую яму. У кого лопат не было, те ждали, а потом становились на смену.

Что такое «жмурики», Астафьев узнал, вернее, догадался сам. Этим ласковым именем называли покойников. Конвойные на расспросы отвечали, что закапывать придется тифозных и других из разных больниц да с вокзалов.

Земля была влажной, весенней, и работа шла быстро, хоть и непривычны были к ней люди. Яму рыли неглубоко, а, главное, пошире. Из своих нашлись руководители, кото-

рые учили, покрикивали, даже немножко красовались своей опытностью и начальственностью.

Часам к шести прибыл первый грузовик, долго пыхтел, пробираясь к яме по бездорожью, наконец подъехал почти вплотную. Одну яму к тому времени закончили, рыли другую поблизости. На бледном дождливом рассвете четверо приехавших рабочих в фартуках стали вынимать и сбрасывать в готовую яму страшную кладь – полуодетых в тряпье, а то и совсем голых «жмуриков». Астафьев стоял близко и чувствовал, как дышать становится труднее и капли мелкого дождя не кажутся больше свежими и чистыми.

Позже подъехали еще два грузовика. Астафьев насчитал в общем до сорока трупов. После каждой партии приказывали позабросать землей, а остаток места экономить. Но первая яма была уже полна, и пришлось насыпать над ней землю курганом.

Опытные обменивались мнениями: «Большим дождем, пожалуй, размоет».

Землекопы смотрели мрачно, хмурились, отвертывались; женщины выдерживали лучше мужчин и больше шептались. Но только суетливая бабенка, как привычная, не проявляла ни страха, ни отвращения и даже с особым живым интересом встречала каждый новый грузовик, заглядывала в него, мешала работавшим, ахала, объясняла:

– Опять больничные либо вокзальные, из вагонов. И все-то раздеты, все раздеты! И сапоги обязательно сняты начисто, даром что тифозные.

Новый грузовик не добрался до самой ямы, завязли колеса в сырой размятой земле. При нем было двое конвойных, в военных шлемах с красной звездой, обшитой черным шнуром. Вызвали добровольцев разгружать. Сказали, что выдадут по добавочному фунту хлеба.

– А то и сами назначим!

Астафьев оглядел толпу, увидел смущенные и мрачные лица и вышел первым. У грузовика уже суетилась бабенка. Еще двоих, в перешитых военных шинелях, вызвали конвойные:

– Да вы не смущайтесь, тут заразных нет, все свежие!

Новые «жмурики» были страшнее прежних. Они почти все были одеты, только без обуви, и одежда их вся была в еще запекшейся крови. Велели стягивать за ноги, да не мешкать:

– Нечего смотреть! Покойник – покойник и есть.

Сжав зубы, стараясь не видеть лиц, Астафьев коснулся первого трупа. Сквозь грязное белье руки его невольно

ощутили скользкий холод смерти. Он напряг всю свою мужскую волю, но губы его не складывались в обычную скептическую улыбку. Он не мог отогнать мысли, что этот страшный «жмурик» был человеком, и здоровым человеком, быть может, всего час тому назад. Ему казалось, что он этого человека знает, не может не знать, что эта предутренняя жертва террора – из его круга, может быть, его товарищ по университету или знакомый офицер.

Как бы в ответ один из конвойных сказал другому:

– Больше всё бандиты.

Вдруг Астафьев заметил, что его сотрудница, суетливая бабенка, поддерживая труп за плечи, быстро шарит рукой за разорванным воротом. Притворившись, что не может сдержать, опустила на минуту на землю, – и в зажатой руке ее блеснула золотая цепочка с крестиком. Так же суетливо подхватила вновь за плечи, что-то зашептала, боязливо отыскивая глаза Астафьева, и заулыбалась ему, как сообщнику.

Конвойный окрикнул:

– Не копайся там. Сама вызвалась, так и неси.

И добавил тише:

– Ну и баба! Ей все одно, что хлеб в печь совать. Любимая занятия!

Астафьев работал, как автомат, без мысли, без сознанья о времени, не ощущая больше ни ужаса, ни отвращения. Стягивая с грузовика очередного «жмурика», механически считал: «Три, пятый, шестой...» Трупов было до двадцати, нижние всех страшнее, смятые, пропитанные своей и чужой кровью.

От ямы до грузовика Астафьев шагал твердым, крепким шагом, подняв голову и смотря прямо перед собой. Конвойные глядели с любопытством на высокого человека, лучше других одетого, опоясанного ремнем, с бледным, каменным, чисто выбритым лицом. На счастье и удачу суетливой своей помощницы, он отвлекал внимание конвоиров от ее проворных и шарящих рук.

Приказали закапывать. Астафьев пошел за своей лопатой, но, едва ее коснувшись, почувствовал, что кисти его рук и края рукавов липки и буро-красны. Бросив лопату, он отошел в сторону, стал на корточки и с тем же тупым равнодушием принялся оттирать руки о землю и побеги молодой травки.

Мир был. Но был мир пуст, мертв и бессмысленен.

Астафьев вытер руки насухо платком, бросил платок и пошел, минуя грузовик и конвойных, – прямо к дороге. Когда

он проходил мимо, солдаты замолчали и отступили. Крайний пробурчал было: «Куда?», но вопроса не повторил. Другой солдат сказал:

– Оставь, все одно сейчас всем отпуск.

Астафьев вышел на дорогу и пошел не оглядываясь в сторону города. Отойдя с полверсты, почувствовал усталость и сел поблизости дороги у стены заброшенного домика.

Мимо пропыхтел пустой грузовик с двумя солдатами, а скоро прошли усталым, но спешным шагом, теперь уже без конвоя, группами и одиночками, работавшие «буржуи». Многие на ходу жевали выданный хлеб.

Бойкой мещанки среди них не было. Астафьев увидел ее вдали сильно отставшей. Шла она одна, таща на плече лопату.

«А моя лопата осталась там», – подумал Астафьев.

Он встал и пошел навстречу бабенке. Когда поравнялись, та, видимо, оробела и хотела пройти стороной.

Тогда Астафьев подошел к ней вплотную, взял ее у груди за ворот ее полумужского пальто сильной рукой и сказал:

– Отдай все. Все кресты отдай.

Бабенка присела, попробовала вырваться, но в глазах ее, старавшихся улыбаться, был смертельный страх. Визгливым шепотом прохрипела:

– Что отдавать-то, батюшка, ничего и нет.

– Отдай, – повторил Астафьев. – Убью!

Бабенка дрожащими, суетливыми руками зашарила по карманам, вытащила четыре крестика. из них два на золотых порванных цепочках, и кольцо.

Не произнося ни слова, Астафьев сам обыскал ее карманы, вытряхнул платок, нашел еще два нательных крестика, швырнул ей обратно кольцо и, не слушая ее шипящих причитаний, зашагал под мелким дождем к месту работ.

Там уже не было никого; только над истоптанной землей возвышались длинные глинистые насыпи да блестели колеи автомобильных шин.

– А лопаты моей нет, утащили, – пробурчал Астафьев.

Затем подошел вплотную ко второй засыпанной яме и бросил на нее отобранные крестики. Подумавши, влез на насыпь, каблуком сапога глубоко вдавил крестики в землю и руками набросал сверху комьев новой земли.

Неверующий – не перекрестился, не перекрестил могил, не простился с ними. Круто повернувшись, смотря под ноги, зашагал прежней дорогой обратно в Москву.

«Я ЗНАЮ»

Орнитолог решительно скучал без Васи Болтановского, который уехал за продуктами и не возвращался вот уже вторую неделю.

– Пора бы ему вернуться, Танюша.

– Вы, дедушка, любите Васю больше, чем меня.

– Больше не больше, а люблю его. У него душа хорошая, у Васи. Добрый он.

Зашел Поплавский, в теплой вязаной кофте под старым черным сюртуком, в промокших калошах, которые он оставил за дверью.

– Наслежу я у вас, у меня калоши протекают; надо будет резинового клею достать. А что, профессор, мои калошки никто за дверью не стибрит? Ведь у вас жильцы живут.

Поплавский, раньше говоривший только о физике и химии, сейчас не оживлялся даже при имени Эйнштейна, о книге которого только что дошли до Москвы слухи. В Книжной лавке писателей, временном московском культурном центре, куда заходил по своим торговым делам и орнитолог, говорили за прилавком о теории относительности; даже кнопочкой приколота была к конторке, курьеза ради, математическая формула конца мира. Знал, конечно, и Поплавский о крушении светоносного эфира, – но сейчас далеки были от всего этого мысли еще молодого профессора. Думы его – как и многих – были заняты сахарином, патокой и недостатком жиров. И еще одним: ужасом начавшегося террора.

– Слышали? Вчера опять расстреляли сорок человек!

Орнитолог болезненно качал головой и старался отвести разговор от темы о смертях. Особнячок на Сивцевом Вражке защищался от мира, хотел жить прежней, тихой жизнью.

В восемь часов, аккуратный, как всегда, сильно исхудалый и постаревший, зашел и Эдуард Львович. Его кривое пенсне, часто сползавшее с носа, было украшено простой тонкой бечевкой – вместо истрепавшегося черного шнурка.

Когда опять постучали в дверь (звонок – как и везде – не действовал), Танюша вскочила поспешнее обычного и побежала отворить. Вернулась оживленная, и за нею вошел Астафьев.

В последние дни он заходил часто и сидел подолгу, иногда пересиживая орнитолога, который рано уходил к себе спать и читал в постели.

С помощью Астафьева Танюша поставила самовар, и ложечка профессора уже стучала в большой его чашке. Старик любил, когда его огонек собирал умных людей, с которыми было хорошо и уютно посидеть и поговорить.

– Науку надо беречь. Поколения уйдут, а свет науки останется. Наука – гордость наша.

Поплавский молча пил чай и жевал черные сухарики; он изголодался. Разговор поддерживал Астафьев.

– Чем гордиться, профессор? Логикой нашей? А мне иной раз думается, что нас науки, в особенности естественные, сбили с пути верного мышления – мышления образами. Первобытный человек мыслил дологически, для него предметы соучаствовали друг в друге, и потому мир для него был полон тайны и красоты. Мы же придумали «La loi de participation»[1], и мир поблек, утратил красочность и сказочность. И мы, конечно, проиграли.

Астафьев, по привычке, помешал ложечкой пустой чай, а когда Таня пододвинула ему блюдечко с сахаром, сказал:

– Нет, спасибо, у меня свой.

И, вынув из жилетного кармана коробочку, положил в чай лепешку сахарина.

– Почему вы не хотите? У нас есть.

Но Астафьев упрямо отодвинул блюдечко:

– Не будем, Татьяна Михайловна, нарушать хороших установившихся правил экономии.

Профессор сказал:

– Нужно уметь согласовать мышление логическое с мышлением образами.

– Нет, профессор, это невозможно. Тут синтеза нет. Да вот я сошлюсь на Эдуарда Львовича. Вот он живет в мире музыкальных образов, в мире красоты, – может ли он принять логику современности? Это значило бы отказаться от искусства.

Эдуард Львович немножко покраснел, поерзал на стуле и пробормотал:

– Я доржен сказать, что не впорне вас поняр. Музыка имеет свои законы и как будто свою рогику, но это не совсем та рогика, о которой вы говорите. Но мне очень трудно объясниться.

Орнитолог одобрительно кивнул Эдуарду Львовичу и прибавил:

– Я вот тоже как-то не пойму вас, Алексей Дмитрич. Мысль вашу понимаю, а вас самого никак не усвою себе.

[1] «Закон соучастия» *(фр.)*.

Как будто вам легче, чем кому другому, принять и оправдать современность. Вы вон и науку отрицаете, и мыслить хотели бы по-дикарски, дологически. Правда, у вас все это от головы, а не от сердца. Ну а современность, нынешнее наше, оно как раз и отрицает культуру и логику; в самом-то в нем никакой логики нет.

– Напротив, профессор, как раз современность наша и есть чисто головное построение, самая настоящая математика, ученая головоломка. Логика и техника – новые наши боги, взамен отринутых. А если они ничем помочь нам не в силах – это уж не их вина; святости их это не препятствует.

Танюша слушала Астафьева и невольно вспоминала другие слова, им же и здесь же когда-то сказанные. Астафьев – сплошное противоречие. Зачем он все это говорит? Ради парадокса? А завтра будет говорить совсем другое? Зачем? И все-таки он искренен. Или притворяется? Зачем он так... От тоски?

Теперь она слушала только слова Астафьева, не вдумываясь в их смысл. Скандируя слова, явно говоря лишь для разговора, безо всякого желания, Астафьев продолжал:

– Самые ненавистные для меня люди это – летчики, шоферы, счетчики газа и электричества. Они совершенно не считаются с тем, что мне неприятен шум пропеллера и этот дикий, ничем не оправдываемый треск мотора. Они непрошеными врываются в нашу жизнь и считают себя не только правыми, а как бы высшими существами.

– Люди будущего.

– Да, на них есть это ужасное клеймо. И вообще я предпочитаю им – из прочих отрицательных типов – футболистов. Те, по крайней мере, определенные идиоты и сознают это. В летчиках же и в некоторых инженерах чувствуется интеллект, хотя и искалеченный.

Танюша перевела глаза на дедушку. Старик слушал Астафьева с неудовольствием, не веря ему и стараясь подавить чувство неприязни. Болтовня и болтовня; и болтовня неостроумная. Неуместно дешевое гаерство в серьезных вопросах.

«Зачем он так?» – досадливо думала Танюша.

Сегодня Эдуард Львович не играл и ушел рано. Поплавского орнитолог увел в свою комнату – посоветоваться насчет книг, отобранных для продажи. Астафьев остался с Танюшей.

– Зачем вы так говорите, Алексей Дмитрич? Вы говорите, а сами себе не верите.

– Это оттого, что я не верю ни себе, ни другим. Пожалуй, и правда, – говорить не стоит. Хотя вы все же преувеличиваете: кое в чем я прав.

Помолчав, он прибавил:

– Да, глупо. Кажется, профессор обиделся на мои гимназические выходки. Мне вообще прискучило и думать и говорить. И чего я хочу – сам не знаю.

– Я вас считала сильнее.

– Я и был сильнее. Сейчас – нет.

– Отчего?

– Вероятно, спутался в подсчетах. Я думаю, что есть в этом немного и вашей вины.

– Моей? Почему моей?

Астафьев, сидевший в кресле, протянул руку и положил ее на диван, рядом с сидевшей Танюшей. Танюша скользнула взглядом по его большой руке и невольно, едва заметно, отодвинулась.

– Вы понимаете почему, Татьяна Михайловна. Должны бы понять. Я свои чувства не очень скрываю, да и не стремлюсь скрывать, хотя, возможно, они ко мне не идут. Главное, у меня вот нет этих слов, не знаю, как они произносятся... Вам, например, не кажется, что я вас полюбил?

Это не было первым признанием. Первое было тогда, у ворот. И было таким же холодным.

Танюша медленно ответила:

– Не кажется. Вероятно, я вам нравлюсь и вам хочется так думать. Но на любовь это не похоже.

Астафьев некрасиво улыбнулся:

– Что вы знаете о любви, Таня?

Никто никогда не называл Танюшу – Таней, и она не любила этого уменьшительного. Зачем он...

Танюша подняла глаза, прямо посмотрела на Астафьева и сказала:

– Я-то? Я-то знаю!

Сказала это просто, как вышло. И Астафьев почувствовал, что это правда: она знает. Гораздо больше знает, чем он, так много в жизни видевший, любивший, знавший.

– Я знаю, – повторила Танюша. – И потому могу вас успокоить: вы меня по-настоящему не любите. Вы, вероятно, никого не любите. И не можете любить. Вы такой.

– А вы, Таня?

– Я другая. Я и могу и хочу. Но только некого. Вас? Может быть, могла бы вас. Раньше могла бы. Но с вами холодно...

до ужаса. Минутами – раньше – мне казалось... и было хорошо. Только минутами. Ведь и вы не всегда такой.

– Так приблизительно я и думал, – сказал Астафьев.

Он медленно убрал с дивана руку. Мир сжался, помрачнел, и сейчас Астафьев был подлинно несчастен. Он молчал.

Танюша, как бы про себя, добавила просто и серьезно:

– Я одно время думала, что люблю вас. Я тогда вам удивлялась. Теперь думаю, что не люблю. Уж раз об этом думаешь – значит, нет. Вот если бы не думая...

Астафьев молчал. Кажется, сейчас опять войдут сюда дедушка и Поплавский. И Танюша громко сказала:

– Алексей Дмитрич, когда у нас концерт в Басманном районе? В среду или в четверг?

Астафьев твердо ответил:

– В четверг. Там всегда по четвергам.

Когда вошел орнитолог, Астафьев встал и попрощался.

Ложась спать, Танюша думала о многом: о том, что у дедушки сахар на исходе, что в среду она свободна, что у Эдуарда Львовича больной вид. Еще думала о Васе, которому пора бы вернуться. Думала также о том, что Астафьев прав: логика убивает красоту, тайну, сказочность. Затем, взглянув в зеркало и увидав себя в белом, с голыми руками, с распущенной белокурой косой, с глазами усталыми и не любящими никого, кроме дедушки, Танюша упала на постель и уткнулась лицом в подушку, чтобы этот милый дедушка не мог услыхать, если она вдруг почему-нибудь заплачет.

ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТЫХ ГЕТРАХ

Поравнявшись с Астафьевым, человек в желтых гетрах бегло глянул ему в лицо, на минутку задержался, затем зашагал быстрее и свернул в первый переулок.

В походке ли или в глазах его показалось Астафьеву знакомое; впрочем, и таких лиц, и таких сборных костюмов, полувоенных-полуштатских, попадалось много.

Придя домой, Астафьев занялся делом: нужно было вычистить экономическую печурку, плоскую, с гофрированным подом, дававшую хороший жар и потреблявшую мало дров; нужно было осмотреть железную трубу, которая через верхнее стекло окна выводила дым на улицу, подвесив на месте скрепов баночки из-под сгущенного молока, и вообще

приготовиться к зиме: скоро захолодает основательно. Дров еще нет, но откуда-нибудь появиться должны; в случае крайнем придется прибегнуть к помощи соседа, Завалишина. Подлец и, конечно, чекист, – но черт с ним.

Во входную дверь постучали. Перемазанными в саже пальцами Астафьев снял дверную цепочку, откинул крючок и повернул ключ. Сложные запоры были также поставлены Завалишиным, который в последнее время сделался явным трусом; может быть, боялся за свои припасы и за свои бутылки.

– Товарищ Астафьев?

– Да, я, – ответил Астафьев.

В дверях перед ним стоял человек в желтых гетрах:

– Можно на минутку... переговорить с вами?

Астафьев невольно отступил:

– Можно, конечно, но... позвольте... да ведь вы же... вы кто?

– Пройдемте к вам, Алексей Дмитрич, – сказал вошедший вполголоса. – Ну, как вы живете? Куда к вам? В эту дверь?

– Сюда, сюда.

Введя гостя, еще не поздоровавшись, Астафьев вышел в коридор, подошел к двери Завалишина и прислушался. Затем легонько постучал и, не получив отклика, приотворил дверь соседа. Завалишина не было дома. Астафьев покачал головой:

– Ну, это еще удачно! Все-таки... черт его знает.

Гость ждал терпеливо, не раздеваясь и не садясь.

– Окончательно узнали?

– Узнал, конечно, хотя... вы удивительный актер. Можете говорить свободно, мы дома одни и дверь на цепочке. Что это на вас за любопытные гетры? Ведь это же бросается в глаза.

– Потому и надел, чтобы смотрели больше на гетры, а не на лицо. Чем заметнее, тем незаметнее.

– Так и бродите по Москве? Почти без грима? Попадете вы... милый человек.

Хотя и наедине, он невольно не называл гостя по имени.

– Рано или поздно попадусь. Лучше поздно. Слушайте, Алексей Дмитрич, вы человек неробкий, говорите прямо: можете меня приютить до завтрашнего утра?

– Очень нужно?

– Очень. Совсем некуда деваться.

– Значит, могу. Я потому спрашиваю, крайняя ли у вас

нужда, что моя квартира не из удачных. Я здесь во всем доме единственный буржуй, а живет у меня что-то вроде чекиста, хотя главным образом пьяница. Впрочем, он дома бывает редко, даже не всякую ночь. Вам это подходит?

– Совсем не подходит, но, если вы согласны, я все-таки останусь, так как у меня выбора нет. Хорошо бы так устроить, чтобы ваш чекист меня не видел.

– Я его не пущу. Да он как будто не из любознательных и, говорю, убежденный пьяница. В делах зла – мой воспитанник; уверяет даже, что я толкнул его на такую дорогу.

– А обыск у вас возможен? Сейчас всюду повальные обыски, целыми домами.

– Вряд ли. У нас в доме живут рабочие семьи. Конечно, все может быть.

– Конечно. Значит – можно?

– Значит – раздевайтесь. Кормежка у меня плохая, но все же закусим.

– Да, это тоже важно.

Стряпали они молча, сообща. У человека в желтых гетрах оказался кусок сала, у Астафьева была крупа. Ужин удался отличный.

– Когда он вернется, ваш чекист, мы лучше не будем разговаривать совсем. Я лягу: спать хочу мертвецки.

– Ну, это излишне. Ко мне люди заходят. Кстати, вы на дворе кого-нибудь встретили?

– Одного. Усики колечком, приказчичья рожа.

– Усики колечком? Значит – Денисов, преддомком. Это хуже. Но не беда – откуда ему знать, кто вы такой.

– Одним словом, будем надеяться. Слушайте, Астафьев, я вам очень благодарен. Вы – молодец, я потому к вам и пошел. На улице вы не узнали меня?

– Не обратил внимания. Видел, конечно, вы опередили меня.

– Не хотел заходить вместе с вами. Три раза прошел улицу – ждал, что встречу.

– Почему?

– Так, на счастье.

– А вам вообще везет?

– Пока плохо, Астафьев. Плоховато. Но на днях, думается, будет удача.

Астафьев ухмыльнулся:

– Если вы говорите «удача», значит, гром на всю Москву или на всю Россию. Ну, дело ваше, я нелюбопытен.

Закусив, они болтали с полчаса, вспоминая свои встречи в России и за границей и общих друзей, еще по первой революции. В живых и не в бегах осталось мало.

– Вы, Астафьев, ушли в науку, от прежнего совсем отошли?

– Да, нельзя оставаться боевым человеком, ни во что не веруя.

Глаза человека в желтых гетрах ушли вглубь, под брови, и он медленно сказал:

– Ну, по-настоящему веруют у нас немногие, главным образом дураки и простачки. Не в том дело, Астафьев. Надо, чтобы было чем жить и за что умирать; нельзя жить кислыми щами, тянуть эту канитель, утешаться словоблудием. Пропадать, так уж... Слушайте, я хочу спать. Где вы меня положите? Я раздеваться все равно не буду.

На первом рассвете Астафьев, спавший в кресле с прибавкой двух стульев, – гостя он положил на постель, – проснулся от гулких шагов по асфальту двора. Встал, подошел к окну и увидел, что квартира напротив вся ярко освещена и что на дворе топчутся фигуры солдат с винтовками. Возможно, что обыск. На фоне одного из окон мелькнула тень в фуражке, затем другая, подвязанная в поясе кушаком. Да, несомненно – обыск.

«Ему, кажется, окончательно не повезло», – подумал Астафьев.

Подумал это с обычной усмешкой, но и с невольной нервной дрожью. И еще подумал: «Отвечать придется нам обоим. Но, может быть, это – случайный обыск в той квартире».

На светлом пятне окна фигуры продолжали появляться и исчезать. Астафьев долго наблюдал, пробовал заставить себя, закуривши, сесть в кресло, но окно притягивало. Спустя полчаса осветились окна этажом выше, и тогда Астафьев почувствовал, как ноги его похолодели.

– Выходит – облава. И значит – конец.

Подъезд его квартиры выходил на этот дворик. Впрочем, насколько можно было видеть, не отворяя окна, часовые стояли во всех проходах и у всех подъездов дворика.

– Разбудить его? Или – пусть пока спит?

Будить как будто смысла не было. Нервничать вдвоем мало толку. Выйти из квартиры все равно нельзя. Может быть, обыск до нас не дойдет.

Тихо подвинув кресло к окну, Астафьев, не отрывая глаз, следил, как осветился четвертый, самый верхний этаж. Он

вспомнил: «В нижнем жильцов нет, потому там и темно; вероятно, зашли и ушли, нечего искать. Теперь пойдут в другой подъезд. В который?»

Обыск в верхнем этаже затянулся. Уже рассвело, и тени на дворе облеклись плотью и защитными шинелями. Солдаты сидели на ступеньках подъезда и прямо на асфальте, очевидно до крайности утомленные.

«Ищут подолгу, значит, ищут не людей, а припасы. Обычный повальный обыск. Но заберут, конечно, и непрописанного человека... вместе с хозяином. Есть ли у него какой-нибудь документ? Но, конечно, его, раз зацапав, немедленно опознают. Лакомый кусочек для Чека!»

На дворе затопали, и из подъезда вышла небольшая толпа кожаных курток. Была одна минута страшная, и сердце Астафьева громко стучало.

Потоптавшись, группа людей перешла к другому подъезду, напротив окна Астафьева.

Новая отсрочка. Теперь – последняя.

Во втором подъезде окна осветились сразу в двух этажах, затем в третьем и почти немедленно в четвертом. Очевидно, обыскивающие разделились на две группы, и работа пошла скорее. Солдаты на дворе дремали сидя, положив винтовки на колени.

Астафьев не считал больше минут и получасов. Нервное напряжение сменилось сильной усталостью: «Все равно... Остается ждать».

Он курил, закрыв глаза и подымая веки только при звуке шагов на дворе и при долетавших громких словах солдатского разговора. Свет утра уже сливался с пятнами освещенных окон. Розовело небо. Папироса докурилась, и Астафьев начал дремать. С первой тревоги прошло уже часа три, если не больше. Впрочем, не все ли равно.

Опять топот ног на дворе заставил его вскочить и подойти к окну вплотную. Из-за занавески он увидел ту же группу людей на середине дворика. К ней присоединились и дремавшие раньше солдаты. Нельзя было разобрать, о чем шел разговор, но было видно, что происходит совещание. Наконец группа двинулась к подъезду Астафьева, а часть солдат отошла, недовольно разводя руками.

И тотчас же гулко застучали шаги по лестнице.

– Кажется, пора его разбудить!

Астафьев прошел во вторую свою комнату, заваленную по углам книгами, где спал его гость:

– Слушайте, вставайте!

Попробовал растолкать за плечо. Гость спал крепко, измученный бессонными ночами. В ответ только мычал. Астафьев подумал: «В сущности – зачем. Бежать все равно некуда. Разбужу, когда станут стучать. Пока они в нижнем этаже, а мы в третьем».

Сейчас он был совершенно спокоен – особым трагическим спокойствием. Из обывателя стал снова философом. С кривой своей усмешкой взглянул на бледное, одутловатое лицо спящего человека в желтых гетрах, повернулся, увидел в тусклом свете отражение своего лица в зеркале, поправил волосы, закурил новую папиросу и вышел в переднюю.

Он ждал недолго. Вновь застучали каблуки на лестнице, и люди с громким говором стали подниматься.

Астафьев не вздрогнул, когда в дверь его квартиры постучали кулаком. Он сильно затянулся папиросой и остался на месте у двери.

За дверью был гул голосов. Астафьев ясно расслышал:

– Этак невозможно, товарищ! Люди с ног валятся, да и день на дворе.

– Ладно, эту последнюю, и айда.

Снова стук, и другой голос:

– Разоспались там, не добудишься.

«Сейчас будут ломать, – подумал Астафьев. – Надо будить его».

За дверью сразу заговорило несколько голосов громче прежнего:

– Будя, товарищ, надобно отложить. Этак две ночи подряд... разве же возможно... тоже и мы люди.

Астафьев, бросив папиросу, приложил ухо к двери. Ропот там усиливался. Наконец чей-то резкий и визгливый голос раздраженно крикнул:

– Ну, ладно, заворачивай оглобли. Одного подъезда докончить не можете, размякли, чистые бабы. Завтра здесь делать нечего будет, все приведут в порядок.

В ответ раздалось:

– Не двужильные дались, надо с наше поработать...

Но уже тяжелые каблуки с грохотом катились обратно по лестнице. И в тот момент, когда Астафьев хотел отнять ухо от двери, – его почти оглушил новый удар кулаком по дереву. И тот же визгливый голос досадливо крикнул:

– Эй, там, получай на прощанье! Разоспались, буржуи окаянные!

Дрожащими от волнения руками вынимая из коробки новую папиросу, Астафьев слушал, как замерли на лестнице

последние шаги. Медленно повернувшись, он встретился глазами с человеком в желтых гетрах.

– Кажется, неприятность, Алексей Дмитрич?

Астафьев выпустил дым колечком:

– Наоборот, полное благополучие. Хорошо ли выспались?

– Отлично. А вы тоже, кажется, актер неплохой.

– Такова моя теперешняя профессия. Думаю, что теперь они ушли окончательно.

Человек в желтых гетрах ответил в тон:

– Будем надеяться. Кстати, я забыл предупредить вас вчера, Астафьев, что даром и живым я не сдамся. Нет никакого смысла.

– Понимаю, – сказал Астафьев. – И вижу. Но пока вы можете спрятать свою игрушку обратно в карман.

И прибавил, расхохотавшись искренне и весело:

– А все-таки ловко вышло! Вам явно везет. Что вы скажете о чашке морковного кофе? Выходить вам пока не стоит. Вы умеете зажигать примус?

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ

Отворив на стук, Танюша увидела незнакомого человека с двумя большими мешками, скрепленными ремнем, надетым через плечо. Пришедший был в полувоенной форме и в пенсне – тип опростившегося интеллигента.

– Ну, – сказал он, – кажется, сомнений быть не может. Это вы – Татьяна Михайловна?

– Да, я.

– Вот получайте посылку: мука, крупа и прочее. Это – первая порция, остальное после принесу, сразу тяжело. Велено вам доставить.

– Это от кого?

– Приказано сказать: «От верного рыцаря».

Танюша обрадовалась, потом озаботилась:

– От Васи? А где Вася? Он приехал?

– Приехать-то приехал, мы вместе приехали, а только плохо доехал. Болен он. И по-моему, сильно болен. Что-нибудь подхватил в дороге.

Болен милый Вася, лучший друг и верный рыцарь!

Танюша пригласила Васиного спутника войти.

Свалив с плеч мешки, пришедший отрекомендовался Протасовым Петром Павловичем, прибавив:

– Раньше был инженером, а теперь больше мешочничаю.

Рассказал, как Вася до последней минуты крепился, но уже на вокзале в Москве сдал окончательно, не только не мог дотащить мешки до извозчика, а и сам едва добрел. Протасов доставил его домой, заставил раздеться, кое-как помыться, забрал с собой его одежду, чтобы выпарить и вычистить.

– У меня в квартире есть хорошая печка, с котлом. И дровишки имеются. Все приспособлено. По-буржуйски живу.

– Где же сейчас Вася?

– У себя дома. Мешки велел снести вам. Я, конечно, и мешки осмотрел, чтобы не осталось на них какой нечисти.

– Вы думаете, что у него тиф?

– Да боюсь, говоря по совести. Нужно к нему доктора. Я, Татьяна Михайловна, на вас рассчитываю, если вы не боитесь заразы. Сыпняк по воздуху не передается, конечно, а все же.

Инженер смотрел на Танюшу с уверенной улыбкой: такая не побоится, вон она какая!

– Ну конечно же, Господи, я иду сейчас. Я знаю и доктора, близко, здесь, на Арбате. Я его приведу к Васе. Этот доктор всегда лечил дедушку.

– Вот отлично. Вы и идите скорее. А я пока домой.

Условились, что Васин спутник непременно зайдет на днях, завтра же вечером. И громадное спасибо за мешки.

– Завтра вам и остатки занесу.

– Вы, верно, очень устали с дороги?

– Немного. Я двужильный и привычный, никогда не устаю.

Разговаривали, как старые знакомые. Протасову было лет тридцать пять; был давно не брит, немного обшарпан, хотя, очевидно, успел переодеться. И было в лице много бодрости и доброты. С Танюшей говорил, как с младшей, но с мужской почтительностью:

– Сразу вас узнал, как увидел.

– Почему?

– А он мне сказал: «Придете, постучите, и вам откроет, вероятно, она сама, Танюша, Татьяна Михайловна».

– Ну, тогда действительно узнать было нетрудно.

– Нет, он еще прибавил: она удивительная девушка, совсем особенная. Я сразу и узнал.

Танюша смутилась:

– Ну уж Вася... он такой чудак!

И все-таки приятно было Танюше слышать от незнакомого человека такие слова, сказанные просто, свободно, с хорошей улыбкой.

– Вы с ним подружились в дороге!

– Да. Он очень славный малый, очень славный. Большой идеалист, и это хорошо.

– Вася – чудный товарищ. Вы тоже, вероятно, замечательный товарищ. Вы там ему помогли.

Инженер просто сказал:

– Мне нетрудно. Я человек здоровый и привычный ко всему.

На Арбате, около дома, где жил врач, расстались. Танюша наказала Протасову обязательно прийти завтра вечером, сейчас же после обеда:

– Дедушка будет очень вам рад. Он очень любит Васю, скучал без него. Вы ему расскажете про ваше путешествие.

Когда расстались, Танюша подумала: «Вот милый человек! Удивительно славный. Такая мягкая улыбка, такой деликатный и такой бодрый, точно... ничего не случилось. И так позаботился о Васе».

Инженер шагал домой, разминая плечи, уставшие от тяжелых мешков. Думал о своем, мужском, деловом. А на губах была улыбка – от приятной встречи.

. . . .

Вася Болтановский лежал в постели.

Комната его, такая знакомая очертаниями, сейчас потеряла прежнюю четкость линий: углы затупились и наполнились дрожащим туманом, окно вздрагивало и жгло глаза излишней яркостью, гравюра, висевшая на стене против кровати, плавала в пространстве.

Была особенно неудобна и непокойна подушка: голова Васи никак не могла улечься на ней хорошенько. Подушка камнем давила на затылок, ложилась криво, сползала, внезапно становилась стоймя и щекотала углом, всползала на голову, мешая дыханью, забиралась под плечо и высоко вверх подымала все тело. Одеяло было слишком теплым и все же не грело ног, и Вася, задыхаясь от жары и духоты, в то же время искал озябшими, дрожащими ногами край одеяла, чтобы укутаться крепче. В комнате стоял гул, напоминавший стук вагонных колес, и каждый удар отражался в висках и в левом боку. Хотелось пить, но графин с водой, поставленный у постели на столике Протасовым, откатился недосягаемо далеко и дразнил издали, отскакивая от протянутой руки.

Когда Вася закрывал глаза, грудь его начинала вздыматься до потолка комнаты и опускаться, плавно качаясь, как на

волнах, и мутя голову. Это мешало заснуть. Мешали этому и незнакомые лица, толпой окружившие лавку, на которой он пытался устроиться с мешками, хотя лавка была слишком узка и коротка для него. Было странно, что поезд ежеминутно переходил с рельс на рельсы, хотя Вася отлично помнил, что уже приехал на московский вокзал и успел раздеться. Теперь он тщетно пробирался сквозь толпу мешочников, стараясь разыскать мешок с крупой, особенно ценный, так как выменен он на охотничьи сапоги профессора. Орнитолог сердился и топал ногами, – таким Вася никогда его не видел. Оказалось, что сапоги эти надеты на Васе и страшно холодят ноги; снять невозможно, да и некогда: в вагоне может не оказаться ни одного места, и тогда Протасов уедет один. «Хорошо еще, – думал Вася, – что я попросил его доставить Танюше мешки; иначе пришлось бы ждать, пока кто-нибудь зайдет и протелефонирует. Если у меня сыпняк, то нужно, кажется, остричь волосы».

Эти слова внезапно доносятся до уха Васи, и он догадывается: «А я брежу! Это ведь я сам говорил сейчас. Значит – здорово болен!»

Открыв глаза, Вася замечает, что окно потемнело. Впрочем, гудит комната по-прежнему, но возможно, что это проехал автомобиль по улице. С усилием приподнявшись, Вася дотягивается до графина с водой и жадно пьет воду из горлышка, стуча зубами о стекло. От воды резкий холод, точно грудь и живот обложили льдом, зато ногам стало как будто теплее и посвежела голова. Графин сильно ударяется донышком о доску столика, и голова Васи падает на подушку.

– Да, я совсем болен. Совсем, совсем болен. Надо, чтобы кто-нибудь помог мне.

«Кто-нибудь» – это только Танюша. Остальным дела до Васи нет – соседям по коквартире, хозяйке, знакомым. И они все побоятся.

От озноба Вася лихорадочно кутается в одеяло. Опять стучит в висках и мучительно болит голова. И опять начинает свой беспокойный танец жесткая и неугомонная подушка.

Васе очень приятно, когда лба его касается холодная рука, и незнакомый мужской голос говорит:

– Конечно, сильный жар. Тут сомнения быть не может. Нужно в больницу, – только куда же сейчас отправишь. Некуда, везде полно.

Слова не доходят до сознания Васи, но зато другой, уже очень знакомый голос, несомненно голос Танюши, сразу делает его спокойным и наполняет радостью:

– Как же быть, доктор? А нельзя оставить здесь, дома?

– Да и придется, конечно. Но кто же за ним ходить будет?

– Я могла бы.

Конечно, это ее голос. Вася лежит тихо, точно заласканный. Сразу прошли эти ощущения жесткой подушки, сразу согрелось тело и прошла боль головы. Но открыть глаза не хочется, – пусть сон длится.

– Ну, – говорит доктор, – где же вам. Тут нужна настоящая сиделка. Тиф – не шутка.

– Я буду днем, а сиделку найдем какую-нибудь.

– Сиделку я, пожалуй, найду вам, только вот платить ей... Продуктами заплатите, мучки там... Одна у меня есть на примете, опытная, в больнице служила, и муж у нее врачом был. Только нужно осмотреть его и всю комнату почистить. Он, вы говорите, с дороги?

– Только утром приехал.

– То-то и есть. Осторожность нужна. Вы как, здесь пока побудете?

– Да. Скажите, доктор, что делать нужно?

– Да что же делать... Придется мне самому достать, что нужно. В аптеках сейчас ничего нет, да и не выдадут частному лицу. Я добуду сам, принесу. Часа два придется вам при нем посидеть одной.

– Я посижу, сколько нужно.

Вася слышит звуки голосов и знает, что это говорят о нем и что это говорит Танюша. Знает, что он болен и что он счастлив. Больше Васе не нужно ничего слышать и понимать.

– Вася, вам больно?

Он на секунду открывает глаза, видит милую и знакомую тень, улыбается и вновь погружается в давно желанное небытие и спокойствие. Верный рыцарь счастлив, Вася спит. Если бы не пылающее жаром лицо, он мог бы показаться мирно спящим, здоровым и счастливым человеком.

Так проходит минута, или час, или вечность, – пока сна Васи вновь не нарушает его жесткая и неугомонная подушка. Но теперь кто-то сильной рукой сдерживает и усмиряет ее буйство. И голос шепчет:

– Вася! Мой бедный рыцарь, мой бедный, бедный Вася!

РАЗГОВОРЫ

Усиленно разыскивали старого боевого эсера. Что он в Москве – сомнений не было. Известно было, что он не только посещал знакомых, но даже осмелился сделать обстоятельный доклад о делах на юге в собрании интеллигентской группы. На этом собрании старый террорист был в желтых гетрах.

Субъект армянского типа, в круглой барашковой шапочке, в ярком жилете под распахнутым пальто, мирно беседовал с черноватой девушкой в платочке у парапета набережной Москва-реки.

– Все это мне, конечно, известно, потому я в армяшку и обратился. Болтуны эти ребята. А знаете, где мои гетры? Я продал их на Смоленском самолично. Мне очень нужны были деньги, а гетры – хороший товар.

Когда они расставались, армянин крепко пожал маленькую руку девушки:

– Ну, милая, прощайте. А может быть – до свидания. Чудеса бывают. Давайте поцелуемся. Теперь идите и не оглядывайтесь.

Она хотела отойти, но он вернул ее:

– Подождите, дружок. Значит, на случай неудачи или какой неожиданности – вы помните адрес? Там оставьте записку.

– Да, все помню.

– Вы в Бога не верите? Я тоже; но все же, по-своему, буду за вас молиться. За нашу удачу!

Когда она скрылась за поворотом, армянин нахлобучил шапочку, застегнул пальто и пошел в сторону Замоскворечья.

. . . .

Молнией пронесся по Москве слух о покушении: молнией блеснули и страх и надежды. Никто не сомневался, что в деле этом участвовал человек в желтых гетрах. Никто не сомневался и в том, что отвечать за покушение доведется многим, не имевшим к заговору никакого отношения, хотя бы отдаленнейшего.

Рассказывали о том, как солдаты, целя в сарае в грудь худенькой девушки-еврейки, дали неверный залп, как один из них забился в истерике, как раненую добил выстрелом из кольта в голову бывший рабочий, служивший на Лубянке, завзятый пьяница и бестрепетный исполнитель. Было много слухов, фантастических, тревожных, правдивых, вздорных, – и Москва, сжавшись и притаившись, со страхом ждала грядущего.

Ждать пришлось недолго.

. . . .

Зеленщик, приятель бывшего дворника Николая (дворники были отменены), немножко поправил свои дела. Не было, конечно, и речи о том, чтобы привозить, как прежде бывало, с подмосковных огородов полную телегу овощей прямо на базар, на Арбатскую площадь. Сейчас торговать приходилось больше втихомолку, с оглядкой. Однако морковь, капуста и репа не такая тебе вещь, чтобы можно ее реквизировать, свалить в подвал и продавать да раздавать в паек помаленьку, от имени всей нации. Тут требуется знание и никакого промедления. Поэтому огородное дело на окраинах расцвело, а иные догадывались вспахать лопатой и сады, – только уследить трудно, так как народ пошел аховый.

Об этом зеленщик подробно докладывал Николаю, сидя в дворницкой особнячка на Сивцевом Вражке.

Николай соглашался:

– Народ пошел – чистый вор! К примеру, собака и та знает, чего нельзя, а что можно. А человек норовит стибрить всякое добро – только отвернись. А то и на глазах схватит.

– С войны это пошло.

Потом говорили о делах политических и ругали махорку:

– Словно опилки стала.

– Опилки и есть.

– Духу в ней нет настоящего.

В дворницкой воздух от трубок был тяжел, густ, сытен и уютен.

Зеленщик, Федор Игнатьевич, человек бывалый и осведомленный, излагал события дня:

– Сказывают, опять расстреляли невесть сколько народу. Кого, может быть, и за дело: вора, разбойника, налетчиков там. А многих понапрасну, только для страху, чтобы страх нагнать.

Николай сказал строго:

– Убивать никого не надобно. Ты суди, коли есть за что. И кого отпусти, а кого на каторгу, для исправленья. Убивать человека нельзя.

– Вот я и говорю, если, например, за дело. А тут забрали людей, держали-держали, а потом всех для острастки и прикончили. Иной, например, старик, что с него взять, а другой – мальчик, без всякого смысла. И всех под одну гребенку. А из малыша человек может выйти получше всякого другого.

– Ребенка убивать – последнее дело. За это не простится.

– Я и говорю. У барыни одной, раньше капусту я ей доставлял, сынишку забрали и прикончили; паренек по семнадцатому году. Списки они составляли на что-то, по спискам и забрали их. А вины будто никакой и не было.

– Словно звери, – сурово сказал Николай.

– И звери, да и без пользы.

– От убийства какая польза. Кто меч взял, от меча и погибнет.

– А устроить ничего не могут. Скажем, купить нужно, что-где теперь купишь? А уж в Москве ли не было добра!

– Разграбили всё.

– Вот я и говорю. Растащить нетрудно, а вот поди-ка собери. Это нужно с умом. А сейчас кто за командира? Вот ваш солдат, Дуняшин брат, Андрюшка-дезентир.

– Нету больше Андрюшки.

– Али прогнали?

– Сам убег. Приходили его спрашивать. В каком-то деле попался, наворовал, что ли. Жил хорошо, с достатком, куда лучше господ. У барина, у старика, ничего нет, внучка ихняя селедки ест, а у Андрюшки с Дуняшей завсегда к чаю ландрин. И меня угощали: этого, говорит, у нас сколько хочешь. Тоже и мясное каждые день.

– Убег, значит?

– Ушел и Дуняше не сказал. Верно, в деревню ушел, к своим. А может, забрали его, нам неизвестно. Только что пропал комендант; а начальством был.

– Так. Какие и у них попадают. Чем-нибудь, значит, не угодил.

Потом Николай рассказывал о своих планах. Многого ему не нужно, а все же на четвертке хлеба, на одной, не проживешь. Барышня, Татьяна Михайловна, селедку отдает; говорит: много у нас. А откуда у ней будет много? Тоже Дуняша помогала. Однако теперь, как Андрей убег, стало и ей нечего жевать. К барышне назад в прислуги просится, а той кормить ее нечем, да и прислуга не надобна, в двух комнатах живут. Теперь тоже в деревню хочет. Денег ей Андрюшка давал все же, немного скопила, да стали деньги дешевы... На дорогу, может, и хватит. Конечно, она ближняя, тульская, а мне далеко. А даром не повезут.

– Трудное дело.

На том и порешили, что дело трудное, а иного ничего не придумаешь. Зеленщик поднялся идти домой, а Николай тоже вышел с ним из дворницкой – подышать воздухом.

– Гляди, скоро мороз стукнет.

– И стукнет. Он не ждет. На него декрета не напишешь.

У ворот распрощались. Привычно помахав истертой метлой по тротуару, Николай поглядел на небо, подправил метлу, стукнув дважды о плиты, и пошел обратно, размышляя: «И так плохо, и сяк плохо. Раньше тоже, бывало, и вешали и били, а толку не вышло. Все одинаковы».

И хоть любил тепло и табашный дух, а все же отворил ненадолго дверь своей дворницкой: «С этой, с нынешней, махорки ежели сейчас спать лечь – обязательно угоришь. Из чего ее только делают? Один обман!»

СЕСТРА АЛЕНУШКА

У постели Васи доктор и сестра милосердия. Фамилия доктора – Купоросов; он из семинаристов, уже очень пожилой человек, грубоватый и хороший. Единственный врач, которого признает орнитолог:

– Этому можно довериться. Он понимает, что медицина не Бог знает какая наука. Доброе слово больному больше помогает. Хороший человек Купоросов! И откуда он добыл такую фамилию? Стойкий человек, основательный.

Купоросов лечил всегда Аглаю Дмитревну, лечил и профессора и Танюшу – еще когда была у нее скарлатина. Без приглашения же на Сивцев Вражек не являлся; впрочем, он был очень занят своей практикой – больше среди людей небогатых.

Доктор сам привел к Васе сестру милосердия, Елену Ивановну, совсем молоденькую, но уже вдову. Муж ее, врач, умер от тифа. Доктор Купоросов очень любил своего молодого коллегу и после его смерти покровительствовал его вдове, находил ей работу, учил ее нелегкому ремеслу сестры милосердия, относился к ней, как к дочери. Ласково называл ее Аленушкой, но был, по обыкновению, очень требователен и строг, когда дело шло об уходе за тяжелобольным:

– Тут, Аленушка, дело идет о жизни человека. Чтобы никакого упущения! Главное – чистота и воздух, а лекарствами не поможешь. Парнишка молодой, нужно его выходить. Понимаете, Аленушка?

Аленушка, Елена Ивановна, была низенькой, кругленькой женщиной цветущего здоровья, со вздернутым носиком и большущими голубыми глазами, совсем некрасивой и очень хорошенькой. В гимназии ее звали пышкой и щипали во

время уроков, а она взвизгивала, так как больше всего на свете боялась щекотки.

Но всего забавнее Аленушка смеялась. Смех ее был неудержен, начинался светлым колокольчиком, а в конце срывался в какой-то странный басовый всхлип – вроде того, как хрюкает поросенок. Подруг ее это приводило в полный восторг, а Аленушка, хрюкнув, пугалась и делалась сразу серьезной. Ей этот маленький недостаток причинял большое горе, и она не знала, как от него избавиться.

Позже, впрочем, решила, что особого горя в этом нет, – когда жених ее, молодой доктор, заявил ей, что она победила его именно своим смехом. Женившись, он называл ее в порыве нежности милой своей хрюшкой.

С ним Аленушка могла бы быть счастлива, но жили они вместе недолго, не больше полугода. Его отправили на фронт, на тиф, и очень скоро Аленушка получила от него письмо, что ему что-то занездоровилось. Это письмо и было последним.

Долго после этого Аленушка не смеялась своим заразительным смехом и, так и не став дамой, стала дочкой и воспитанницей доктора Купоросова. Он и приспособил ее к уходу за больными.

– Я, Аленушка, теперь пойду по другим больным, а к семи часам буду дома. Если больному станет плохо, вы сейчас ко мне, либо самолично, либо лучше пришлите кого-нибудь. Давайте ему пить, сколько захочет, и тряпочку с уксусом меняйте, как согреется. И прочее, Аленушка, как обычно, вы же ведь уже знаете все.

– Я знаю, доктор.

– Ну, вот. Я на вас надеюсь. Никого к нему не пускайте, кроме этой барышни, которую тут видели, и его приятеля, который тоже тут был. Они – славные люди и вам помогут, в случае чего – сменят вас.

– Хорошо, доктор. А она кто?

– Барышня? Она внучка одного профессора, старого моего пациента. Зовут ее Танюшей, а отчества не помню. Отличная девушка, кажется, играет хорошо или еще что-то делает.

– Какая она красивая!

– А? Красивая? Должно быть, уж не знаю.

В женской красоте доктор Купоросов не очень разбирался. Может быть, и Аленушка красавица, а может, и уродец. Пусть в этом другие разбираются.

Когда ушел Купоросов, Аленушка осмотрелась, поставила поближе к постели твердое кресло, пожалела, что нет на нем подушечки, вынула из небольшой принесенной корзинки желтенькую книжку Кнута Гамсуна «Виктория». Она этот роман читала раньше, и так он ей понравился, что решила прочесть еще раз; впрочем, ничего другого под рукой и не было. Когда устроилась в кресле хорошо и удобно, чтобы долго можно было так сидеть, с любопытством стала смотреть на лицо спящего больного.

Спал Вася Болтановский неспокойно, все время перекатывая голову по подушке. Приходилось поправлять ему подушку и перекладывать на лбу уксусную тряпочку. Подбородок его был давно не брит, и на лице, пылавшем от сильного жара, лежали тени. Но ямочка на подбородке была ясно видна, и это как-то сразу расположило к нему Аленушку: «Бедненький, какое славное лицо!»

В комнате Васи было чистенько прибрано, – постарались Танюша и инженер. На ночном столике постлан был чистый Васин платок с меткой «Б.», вышитой крестиком на уголке.

Прядь волос, которая всегда причиняла Васе заботу и беспокойство, лежала поверх компресса, мокрая и путаная. Аленушка отвела ее к подушке: «Нужно будет его остричь».

Затем Кнут Гамсун начал свой нежный рассказ про любовь. Аленушка понимала любовь именно так, как Кнут Гамсун. Любовь – вещь беспокойная, и роману нисколько не вредило, что время от времени Аленушке приходилось отрываться от книжки: то поправить компресс, то поднести кисленькое питье к пылающим и сухим губам Васи, то улыбнуться больному хорошей улыбкой, которой он не мог ни понять, ни оценить: Вася Болтановский редко приходил в сознание.

На столике стоял будильник – и потянулись часы. Ночь будет бессонная, разве немножко удастся Аленушке подремать в кресле. А утром ее сменит либо эта красивая девушка, внучка профессора, либо господин, который был и ушел с нею. Может быть, они – жених и невеста? А может быть, этот больной – ее жених?

И опять Кнут Гамсун рассказывает про любовь. И как замечательно он про нее пишет!

Когда стемнело, Аленушка зажгла настольную лампочку, затенила ее от глаз больного, вынула из своей корзинки кусок пайкового хлеба, баночку с чем-то съедобным, соль в бумажке и яблоко. У Васиного письменного стола закуси-

ла, прислонив Кнута Гамсуна к чернильнице и продолжая читать. Закусивши, руки вытерла бумажкой, крошки собрала, баночку с остатком съестного положила обратно в корзинку, яблоко, большое и румяное, решила съесть после, походя, за чтеньем, и прежде, чем опять устроиться в кресле, подошла к зеркалу поправить косынку на голове.

Когда Аленушка смотрелась в зеркало, она слегка нагибала голову, чтобы носик не казался слишком вздернутым.

Вася тихо сказал в полусне:

– А как же быть? А как же быть? Сейчас отходит?

И громко крикнул:

– Подождите, по крайней мере. Я не могу же так...

Аленушка подошла, переменила на лбу больного тряпку, отжав ее пухлой рукой, – и в это время Вася открыл глаза и спросил удивленно:

– Вы-то кто?

– Лежите спокойно.

– Нет, а вы-то кто?

– Я сестра милосердия. Ну, как вам, полегче?

Вася на минуту опять закрыл глаза, потом сказал внятно:

– Очень хочется пить.

Аленушка взяла стакан, помогла напиться, и Вася опять посмотрел на нее воспаленными и внимательными глазами:

– А вас как зовут?

– Зовут меня Елена Ивановна. Вам не нужно разговаривать, лучше постарайтесь заснуть тихонько.

Вася болезненно улыбнулся, сказал: «Постараюсь» – и действительно заснул, а Аленушка подумала: «Какая у него улыбка хорошая! Бедненький, вот страдает».

Постучалась хозяйка квартиры, напуганная болезнью жильца. Аленушка вышла к ней и сразу заключила с ней дружеский союз, успокоив ее насчет незаразительности сыпного тифа, – если все держать в чистоте. Поговорили о нужном, условились. Хозяйка предложила вскипятить воды, если потребуется. Вася был ее давнишним и любимым жильцом. Уходя, очень похвалила Аленушку, сказавши:

– Какая вы молоденькая да румяная, с вами всякий выздоровеет. Прямо как девочка. Неужто замужем?

– Я вдова.

Это уж совсем растрогало хозяйку, и она заявила Аленушке:

– Если вам нужно будет уйти ненадолго, вы мне скажите, я у него посижу. А как же вы спать будете?

– Ничего, я привыкла в кресле.

Тогда хозяйка принесла подушечку для сиденья и еще большую мягкую подушку – чтобы удобнее спать в кресле:

– У нас, слава Богу, хоть тепло, не замерзнете. Дровами обзавелись, и я печку свою топлю через день, тут за стеной прямо. Все даже завидуют. Оттого и в этой комнате тепло.

Вечером поздно доктор Купоросов забежал ненадолго, пощупал пульс, велел отмечать температуру на бумажке, все одобрил, поцеловал Аленушку в лоб:

– Ну, я пойду, а вы, миленькая, все же хоть в кресле подремлите. Значит – до завтра. Утром зайду в начале девятого.

Кнут Гамсун продолжал свой рассказ, – и это удивительно, до чего ясно представляла себе Аленушка и любовь и муки его героя!

ПЯТАЯ ПРАВДА

От боярина Кучки и до наших дней считано на Москве пять правд.

Правда первая – подлинная. Жила эта правда на Житном дворе, у Калужских ворот, в Сыскном приказе. На правёже заплечный мастер выпытывал ее под линьками и под длинниками, подтянув нагого человека на дыбу. У стола приказный дьяк гусиным пером низал строку на строку.

Вторая правда – подноготная: кисть руки закрепляли в хомут, пальцы в клещи, а под ногти заклепывали деревянные колышки. «Не сказал правды подлинной – скажешь подноготную».

Третья правда жила у Петра и Павла, в Преображенской приказной избе, где ведал ею князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, «человек характера партикулярного, собой видом, как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому». От его расправы «чесали черти затылки».

Завелась было четвертая правда «у Воскресенья в Кадашах», за Москва-рекой, где жил в пятидесятых годах девятнадцатого столетия именитый купец, городской голова Шестов, защитник интересов бедного московского люда. Но такая правда, ненастоящая, долго удержаться не могла.

Дальше счет московским правдам был потерян, – уже не говорят о них, о каждой особо, народные пословицы: ни о Бутырской, ни о Таганской, ни о Гнездниковской. Помудревший народ свел все правды в одну, и эта одна «была,

да в лес ушла». – «И твоя правда, и моя правда, и везде правда, и нигде ее нет».

Правда пятая родилась в наши дни на Лубянке.

. . . .

Выпытав правду, ненужного больше человека «укорачивали на полторы четверти». Для этого нашлось в Москве много мест, оставшихся в народной памяти. На одной Красной площади, от Никольской до Спасских ворот, вырос позже ряд церковок «на костях и крови», и еще одна «на рву». Грозный укорачивал людей «у Пречистой на площади», перед Иваном Святым, позже названным Великим. «А головы метали под двор Мстиславского», – чтобы было чем чертям в сучку играть.

Еще были такие места в разное время и у Серпуховских ворот, и в Замоскворечье близ Болота, и у великомученицы Варвары, и на углу Мясницкой и Фуркасовского, и где придется, а зимой и на льду Москва-реки.

Много, очень много было в Москве мест, где козам рога правили, где пришивали язык ниже пяток, вывешивали на костяной безмен, мыли голову, чистили пряжку, лудили бока, прогуливали по зеленой улице, парили сухим веником, крутили кляпом и пытали на три перемены.

Богат, красив и полнозвучен русский язык. Богат, а будет еще богаче.

При правде пятой – лубянской – стали пускать по городу с вещами, ликвидировать, ставить к стенке и иными способами выводить в расход. И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Варсонофьевском – и где доведется...

. . . .

Раньше тут жили люди коммерческие и преобладали восьмипроцентные и десятипроцентные интересы. Восемь и десять – огромная разница: восемь – обычное благополучие, десять – относительное богатство. Но все это ушло. Новые люди, далеко не заглядывая, знали твердо, что жизнь – только сегодня, что даже и сто процентов – пустяк, что либо весь мир, либо завтра же позорный конец.

Новые люди чуждались веры – или им так казалось. Несомненно, им так казалось. Вера была, и вера наивная: вера в сокрушающую власть браунинга, нагана и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было им знать, что трава

растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробивает ни веры, ни неверия.

Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия. Улица, смиренные обыватели приходят сюда с трепетом, просят – заикаясь, уходят – плача, хитрят – прозрачно. Сила же застегнута на все крючки военной шинели и кожаной куртки.

От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас – яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгами, свежей прелестью товарных образцов, сейчас – знаменитый Корабль смерти. Пол выложен изразцовыми плитками.

При входе – балкон, где стоит стража, молодые красноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиной и страхом наказания. Балкон окружает яму, куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, – ждут своей участи.

Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях – для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.

На стенах каморок карандашные надписи смертников:

Мая жизнь была Каротенькая
Загубила мая молодость
И безвинно в расход
Пращай мая весна!

И могила нарисована – высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий на лицо, под черепом кости, под крестом костей – имя и фамилия. Хочется юному бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память, – как написано в тех тоненьких книжках, что продавались у Ильинских ворот:

«Знаменитый бандит и разбойник, пресловутый налетчик Иван Казаринов по прозвищу Ванька Огонек».

А рядом, в общей камере Корабля – мелочь: каэры, эсеры, меньшевики со скудной бородкой, в очках, гнилогубый, трус, без огня и продерзости – человеческая тля.

На балкон выходит рыболов, затянутый кожаным поясом, «комиссар смерти» Иванов, а с ним исполнитель,

приземистый, прочный, с неспокойным бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек – Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.

На нарах, обсыпанный нафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом – из меньшевиков, спорщик, пишет заявленья, ядовит, каждому следователю норовит задать вопрос с загвоздкой. Еще рядом – спекулянт, продал партию сапожной кожи – да попался. И еще рядом сидит на нарах, свесив ноги, бедный Степа, из бандитов, еще не опознанный. Но из той же славной компании и комиссар Иванов: сразу признал своего:

– Здравствуй, Степа. Куда едешь?

– Должно – в Могилевскую губернию.

А сам бледный, давят на плечи осьмнадцать лет и жизнь кокаинная.

И скоро уводят Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутный сынок!

Пьяными глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака на поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишина. Перед ночью пьет Завалишин и готов всех угостить, – да не все охотно делят с ним компанию. Страшен им Завалишин: все-таки – беспардонный палач, мать родную и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка клочьями, и смутен взгляд опухших глаз, затуманенных денатуратом.

А через дорогу, через Фуркасовский переулок – самое главное где вся борьба, – Особый Отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и вся ходят по струнке, нет ни поэзии, ни беспредметной тревоги. Здесь надо всем навис, и царит, и неслышно командует умный и тяжкий гений борьбы и возмездия, хмурый и высокий товарищ старого призыва, по горло вкусивший царской каторги, идеалист, бессребреник, недоступный для всякого, народный мститель, всю кровь на себя приявший, – имя которого да забудут потомки.

Прямо с площади, высадив из автомобиля, вводят в двери новую жертву – врага народа и революции. В малой канцелярии анкета, затем на короткое время – в малую камеру с нарами, перечет – в большую – с клопами, во всем известную контору Аванесова, а после, по особой записке – прямо через двор, в старый дом, отделанный под тюрьму, по типу царскому, в страшное молчаливое здание Особого Отдела,

откуда длинные коридоры, холодные, пустые, зигзагами ведут в кабинеты следователей.

Здесь вершится пятая правда московская – Лубянская Правда.

ТОВАРИЩ БРИКМАН

Маленький, жидковолосый, расплюснутый в груди человек, широко расставив локти и близко смотря на бумагу левым глазом, писал мелким бисером.

Звякнул на столе телефон.

– Да. Да, я. Хорошо. А когда он арестован? Ладно, товарищ. Только вы поскорее пришлите мне дело, я же ведь не знаю. Ну хорошо. Вызову, сам вызову, хорошо.

Голос человечка был тонок, как женский, с легкими визгливыми нотками.

Окончив свое «заключенье», внимательно перелистал худыми, тонкопалыми, детскими ручками принесенное «дело», вскрыл пакет бумаг, отобранных при обыске, и буркнул про себя, поморщившись:

– Опять набрали глупостей, ни черта не понимают.

Позвонил, подписал приказ и отдал вошедшему солдату отряда особого назначения:

– Снесите, товарищ, в комендатуру, и чтобы сейчас привели ко мне.

Встал, прошелся по комнате, покашлял в угол, выглянул в коридор и попросил, нельзя ли подать горячего чаю. Чай, жидкий и тепловатый, принесла низенькая женщина, в кудряшках под платком, бойкая и уверенная:

– Не знаете, товарищ Брикман, выдача сегодня будет?

– Не знаю.

– Говорили, что клюкву и, может быть, вязаные свитеры будут выдавать.

– Не знаю.

– Ох, уж кто же знает!

Конвойный доложил, что арестованного привели.

– Так и ведите сюда. Сами подождите за дверью, пока позову.

Следователь заспешил, сел за стол, положил перед собой оконченное «заключение», взял в руки перо и принял вид пишущего.

Стукнула ручка двери, и солдат из-за двери сказал:

– Налево к столу идите.

Вошел Астафьев. Высокий, в слегка помятом костюме, небритый, с виду спокойный.

Следователь поднял голову и, едва взглянув на вошедшего, показал на стул рядом со своим столом:

– Садитесь. Вы гражданин Астафьев?

– Да.

– Садитесь.

Минуты две проглядывал свое «заключение», читая только глазами, и в то же время придумывал вопрос. Затем вложил в папку, отложил, пододвинул дело Астафьева и спросил:

– Вы – профессор?

– Приват-доцент.

– Ну да, все равно. Философ?

– Да.

– Вы почему арестованы?

Астафьев улыбнулся:

– Это вам знать лучше.

– Я и знаю. А вы как думаете?

– Думаю, что арестован я так, зря, нипочему.

– Значит, вы думаете, что мы зря арестовываем?

Астафьев искренне рассмеялся:

– Думаю, что случается, из двадцати человек – девятнадцать наверное.

– Напрасно так думаете. Ошибки, конечно, возможны, но ошибки исправляются. Нам приходится быть осторожными, так как советская власть окружена врагами. Пусть лучше десяток людей посидит напрасно, чем упустить одного врага. Вы этого не думаете?

– Нет, не думаю. Я думаю как раз наоборот: лучше упустить виновного, чем лишать свободы десятерых.

– Ну, мы думаем иначе. Пролетариат не для того завоевал власть, чтобы рисковать ею из-за интеллигентских сентиментальностей. Пока советская власть окружена врагами...

Голосом тоненьким, скрипучим, без запятых, следователь долго и тягуче произносил слова, много раз читанные Астафьевым в передовых статьях «Известий» и «Правды», слова, набившие оскомину своей правдой, своей ложью, своей практичностью и своей фантастичностью. Рассеянно слушая его, Астафьев болезненно ощущал нахлынувшую скуку и ждал, когда следователь кончит. Одновременно вспоминал: «Где-то я его уже слышал и где-то видел. Где?»

Внезапно оборвав популярную лекцию, тем же тоном следователь спросил:

– К вам на прошлой неделе заходил человек в желтых гетрах. Как его фамилия?

Астафьев равнодушно ответил:

– Может быть, кто-нибудь и заходил в гетрах, не помню.

– Он долго у вас оставался?

Астафьев поморщился:

– Раз я говорю – не помню такого, то что же это за вопрос?

– А кто у вас был на прошлой неделе, назовите всех.

– В чем вы меня, собственно, обвиняете?

– Здесь не суд, я вам отвечать не обязан. Когда все выясним – узнаете. А вы ответьте на вопрос.

Крупный, здоровый, красивый человек посмотрел сверху на маленькую, тщедушную фигурку следователя:

– Оставьте эти вопросы. Как я вам отвечу, когда не знаю даже, в чем обвиняюсь. Я назову вам кого-нибудь, а вы его арестуете. За кого же вы меня считаете?

– Придется считать за врага советской власти.

– Ну и считайте, если вам хочется.

– А вы знаете, гражданин Астафьев, чем вам это грозит?

– Могу догадываться, но это для меня неубедительно. А вот скажите, следователь, где я вас мог видеть? Мне ваше лицо знакомо.

Следователь нервно дернулся, и в голосе его появилась визгливая нотка:

– Это не относится к делу. Вы на мои вопросы ответите?

– Не встречал ли я вас за границей? В Берлине, например? Вы не из эмигрантов? Мне вспоминается – на каком-то эмигрантском митинге... Постойте, ваша фамилия не Брикман? Но, помнится, вы тогда были меньшевиком. Правда?

Товарищ Брикман заерзал на стуле, нажал кнопку звонка и крикнул:

– Угодно вам отвечать на вопросы?

Астафьев с широкой улыбкой немного насмешливо добавил:

– И вы, помнится, там, в Берлине, выступали против Ленина. Ай-ай-ай!

Брикман взвизгнул вошедшему конвоиру:

– Отправьте арестованного обратно!

– Бумажку позвольте.

Пока Брикман подписывал бумажку, Астафьев добродушно говорил:

– А вы не волнуйтесь, товарищ Брикман, вам это вредно, вон вы какой худой. Берите пример с меня. Все это – пустяки и не стоит волнений.

– В советах я не нуждаюсь, гражданин Астафьев; а вам придется долго посидеть, если чего похуже не будет. Можете идти.

Когда конвойный увел Астафьева, следователь долго, расставивши широко локти и навалившись на стол расплюснутой грудью, мелким бисером писал на анкетной бумажке, приложенной к делу. Окончив, встал, прошелся по комнате, опять покашлял в уголок, пощупал свой пульс, оглянулся на дверь и подошел к тусклому зеркалу в рамке, висевшему близ окна. В зеркале туманно отразилось его лицо, худое, с тщедушной белокурой бородкой, с большими глазами над припухшими мешочками, со слишком оттопыренными ушами.

Грудь его, разбитая прикладами в пересыльной тюрьме, когда он был еще студентом, никогда с тех пор не дышала свободно. В жизни его не было радостей, и тянуть эту жизнь – ненужного никому чахоточного человека – он мог, только поддерживая себя верой в революцию, в будущее счастье человечества, в золотое время, которое неизбежно придет за периодом упорной и беспощадной борьбы с врагами рабочего класса. Правда, сам он рабочим не был, да и не мог быть – с разбитой грудью; но все же ему, Брикману, суждено было стать одним из героев и защитников нового строя, впервые родившегося в России и долженствующего охватить весь мир. Слабый здоровьем, он должен быть стойким, стальным, несокрушимым волею, – в этом все оправданье жизни.

Товарищ Брикман опять подошел к зеркалу, немного закинул голову и попытался выпрямиться. И опять зеркало тускло отразило тщедушную фигурку, украшенную красноватыми, лихорадочными глазами. Карманы френча оттопырились, но грудь не натянула защитной материи.

Товарищ Брикман не курил; от дыму он начинал кашлять долго и нудно. Он любил чистый воздух, но боялся открывать окно, так как от холоду также кашлял. В кармане он носил скляночку с герметически закрывающейся крышкой, в которую и плевал.

Сегодня он не сдержался, позволил себе потерять равновесие. Это плохо, это не должно повторяться! Против Астафьева нет достаточных улик, но по тону, по разговору, по поведению он настоящий и опасный враг. Его делом нужно заняться, нужно вывести его на чистую воду, нужно!

В памяти Брикмана мелькнула фигура Астафьева, широкогрудая, здоровая, насмешливая.

Следователь взял телефонную трубку и тонким голоском, нетерпеливо нажимая рычаг, начал:

– Алло̀, алло...

У ЕГО ПОСТЕЛИ

По выражению, узаконенному развивавшейся в Москве канцелярщиной, Аленушка «вошла в контакт» с хозяйкой квартиры, где лежал больной Вася Болтановский. Контакт привел к тому, что совместными усилиями добыта была манная крупа и немного сахару, – в обмен на привезенное Васей пшено.

– Вы о нем заботитесь, Елена Ивановна, словно о своем женихе.

– Ну вот уж, вы скажете. Просто – нужно же ему что-нибудь легкое. Вы посмотрите, до чего он исхудал!

Аленушка, меняя больному рубашку (чистую предварительно грела у хозяйской печки), с жалостью смотрела на впадины у ключиц и на отчетливые ребра Васи. Беспомощность его трогала Аленушку и вызывала в ней нежные чувства к больному. Без Аленушки Вася ни в чем не мог обходиться и в минуты сознания и крайней слабости, преодолевая стыд, пользовался ее милосердной сестринской помощью.

Теперь кризис болезни миновал. Вася был в полном сознании, но слаб бесконечно. Доктор Купоросов при каждом визите говорил, уводя Аленушку в переднюю:

– Следите внимательно за температурой, Аленушка. Его нужно обязательно подкармливать, понемножку, но чаще. Утром тридцать пять и два было? Вот видите: это так же опасно, как большой жар. Он так у нас совсем замерзнет. Кашку давайте горячую, побольше масла. Молоко тоже хорошо. Как окрепнет немножко – и мяса можно, рубленую котлетку; телятины и курятины сейчас не достанешь. Не позволяйте утомляться, сидеть в постели, разговаривать, – пусть лежит. И сами, Аленушка, много не болтайте, не забалтывайте его. Ну-ну. Славный паренек, жалко.

Голову Васе вторично обрили, заодно побрили и отросшую бородку. Вася лежал теперь чистенький, беленький, худой, кареглазый, с ямочкой на подбородке. Говорил мало, тихим голосом, и все больше слова благодарности:

– Спасибо, Елена Ивановна, зачем вы все сами, могла бы Марья Савишна помочь вам хоть в грязных делах. Уж очень мне неловко.

– Пустяки вы говорите. И нужно же прибрать хорошенько. К вам скоро придут.

Придут – значит, Танюша и Петр Павлович.

С того момента, когда миновал кризис болезни и Вася пришел в полное сознание, он, лежа покойно и внутренне радуясь возврату жизни, – усиленно и насколько позволяла еще слабая голова, – вспоминал, какие видения прошли перед ним за время болезни, что было бредом и сном, в чем была доля действительных впечатлений. Вполне реальна была только постоянно бывшая при нем сестра милосердия, Елена Ивановна, которую доктор так хорошо называет Аленушкой.

Аленушка мелькала и в бреду и в сознании. Аленушка являлась всегда, когда ссыхались губы и душил жар, когда останавливалось или уж слишком сильно билось сердце, когда пылала голова и глаза смотрели сквозь лиловые туманные круги. С приближением Аленушки становилось сразу лучше и легче. Голос Аленушки звучал утехой.

Но иногда Аленушку отстраняли другие тени и видения, и голос ее сменялся другими голосами. Это были, конечно, Танюша и Протасов. Всегда двое, всегда оба вместе. И два голоса, говорившие шепотом, иногда с ним, с Васей, иногда друг с другом.

Голос Танюши, всегда нужный и жданный, но звучащий одновременно с другим, не успокаивал, а волновал Васю. Иногда хотелось его поймать и заставить говорить для себя слова необходимейшие, страшно важные или хотя бы слова утешения и жалости. Но этому мешал другой голос, мужской, ровный, спокойный, уверенный, почти веселый. Голос Аленушки был всегда для Васи; другие два голоса как будто звучали друг для друга, хотя, возможно, говорили тоже о нем и для него. Объяснить это трудно, – но так чувствовалось. И, слыша эти голоса, Вася беспокойно метался, бредил и вскрикивал.

Затем всплыло еще одно воспоминание, – если оно не было сном. Приходя порою в сознание, Вася отвечал на обращенные к нему вопросы (хочет ли пить, поправить ли ему подушки) и видел ясно тех, кто с ним говорил. Но, увидав, забывал о них сейчас же, они как-то уходили за круг его внимания, за пределы мира, в котором он вел борьбу со смертью. Были все же и более длительные просветы. Так, однажды он долго рассматривал лицо Аленушки, спавшей в кресле, и удивлялся здоровому ее румянцу и простодушному складу губ. В другой раз, утром,

рассмотрел до последней черточки лицо доктора, склонившегося над ним, и улыбнулся, когда доктор сказал: «Ну, глазки у нас просветлели, гражданин, пора выздоравливать». Видел ясно и Танюшу, смотревшую на него испуганно и с такой жалостливостью, что Васе захотелось плакать; но в лице Танюши, таком любимом, было что-то чужое. И наконец, видел однажды – но это могло и показаться, – обоих друзей своих, Танюшу и инженера, сидевших рядом, близко к его постели и близко друг к другу, не говоривших ни о чем, но смотревших друг на друга с непонятным для Васи выражением.

Было это так. Вася, очевидно, крепко и покойно спал. Затем проснулся с приятной ясностью головы, с ощущением свободы от болезненного припадка, – когда не хочется пошевелиться, чтобы не спугнуть этого покоя и этой ясности. Открыв глаза, он увидел свою комнату в отчетливых очертаниях и освещенные лампой два лица, смотрящие друг на друга молча, словно застывшие в созерцании. Еще показалось Васе, что руки Танюши и инженера были соединены. Он мог бы и не заметить этого, если бы при попытке его повернуть резче головку к сидевшим Танюша не сделала порывистого движения, как бы отдернув свои руки. Тогда Вася закрыл глаза и почувствовал, как исчезли покой и ясность и снова вернулось к нему мучительное полусознание, тяжесть в темени и боль в висках. Все это теперь вспомнилось, – но как-то туманно; могло и не быть в действительности.

Вчера был первый день полного сознания Васи. Но, сильно ослабев, он почти все время спал и Танюши не видал.

– Сестрица, вчера Татьяна Михайловна приходила?

– Была. Она всегда приходит к трем часам, когда я ухожу домой. За всю вашу болезнь только дня два-три пропустила, не могла зайти. Тогда Марья Савишна сидела около вас.

– Сколько я хлопот вам всем доставил. Я был очень болен?

– Что было, то прошло. Нехорошо с вами было.

– А уж много дней?

– А вы не помните? Завтра пойдет четвертая неделя.

– Неужели так много! И вы все время около меня, Елена Ивановна?

– Все время.

– И все ночи? Когда же вы спали?

Аленушка рассмеялась колокольчиком:

– Ночью и спала, а то иногда и днем дремала.

– В кресле спали?

– Когда вам очень плохо было – в кресле, а если вы не очень метались, приставляла к креслу стулья и спала, как в постели. Марья Савишна надавала мне одеял и подушек, настоящую кровать устроила; но я боялась слишком разоспаться.

– Как вы так можете? Вот устали, должно быть. А вид у вас цветущий, даже смотреть завидно.

– Так я же очень здоровая, мне ничего не делается. И очень привыкла. А вот вы слишком много болтаете, доктор это запретил.

– С вами не вредно.

И правда, Вася очень утомился.

Когда, минут через пять, в дверь легонько постучали и Танюшин голос шепотом спросил: «Ну, как сегодня?» – Вася не открыл глаз, хотя слышал и ответ Аленушки:

– Сегодня совсем хорошо.

– Спит?

– Кажется.

Вася не открыл глаз, когда за новым стуком послышались легкие мужские шаги, а затем, одновременно поздоровавшись и попрощавшись, вышла из комнаты Аленушка. Так лежать было лучше, взглянув же – нужно говорить; но прежде, чем говорить, нужно думать, и это страшно трудно и тяжело.

В своем усталом покое он слышал шепот и слышал, как инженер сказал:

– Я сейчас должен уйти; ничего, что вы одна останетесь?

– Ну конечно, раз вам нужно. Но вечером вы зайдете к нам?

– Да уж как всегда. Ну, пока до свиданья, Танюша.

«Как всегда»? И он зовет ее Танюшей?

Вася открыл глаза и увидел Танюшу, провожавшую его дорожного спутника таким ласковым взором, каким никогда она не провожала самого Васю.

И Вася вспомнил:

«Сколько, сказала Аленушка? Да, завтра начнется четвертая неделя...»

ИЗМЕННИКИ

Те, кто с ночи стояли в очередях, ожидая, когда откроют под белой с красным уже полинялой вывеской зашитую досками дверь и когда начнут выдавать по дет-

скому купону прогорклое пшено, – те менее всего думали, что вот где-то все еще идет война и что в ней Россия не участвует. Довольно своих забот и горя своего: давно о войне забыли. От нее остались могилы, вдовы, семейное разорение и проклятая память, заглушенная сегодняшними страданиями.

Юрист Мертваго, которого некогда дядя Боря устроил в земсоюзе (форма земгусара очень шла Мертваго), – юрист Мертваго, у жены которого уцелели драгоценности, особой нужды не испытывал. Но все же большой ошибкой было не уехать вовремя в Киев и далее, как сделали другие, более предусмотрительные. Подготовляя теперь отъезд, что было уже много труднее, Мертваго полагал, что мы, русские, оказались изменниками делу союзников и что позорный (дома он говорил «похабный») Брестский мир кладет неизгладимое черное пятно на честь русского народа.

Изменники стояли в очередях, под мокрым снегом, жевали хлеб пополам с мусором и навозом, отбивали уксусом тухлый дух кобылятины, из которой жарили котлеты на касторовом и минеральном масле.

И в городе, и в нехлебных деревнях они ходили рваными, заплатанными, без улыбок на лицах, без желания тянуть жизнь, за которую цапались и цеплялись только по привычке и чувству звериному. Закоренелые в преступности своей, они не только делом, но и помыслом не были там, где солдат, шедших умирать, умели хотя бы хорошо одеть и накормить.

Дядя Боря, раньше работавший на оборону, затем временно ушедший в саботажники, теперь устроился, как опытный спец, в Научно-техническом отделе. Он говорил про себя так:

– Вот, служу в ВСНХ, но, конечно, не с ними, а в научном отделе, безо всякой политики. Надо спасать жизнь и науку. Отдел наш автономен.

В кабинет старшего начальства, молодого и несколько растерянного коммуниста, уважавшего ученых и боявшегося перед ними сконфузиться, дядя Боря входил застегнутым на все пуговицы, и даже на ту, которая болталась на ниточке и могла легко отпасть. Войдя, кланялся, держа голову бочком и не зная, куда деть руки. Смущенный начальник просил дядю Борю садиться, и дядя Боря садился не на весь стул.

С точки зрения юриста Мертваго, специальность которого временно оказалась никому не нужной, дядя Боря был тоже изменником, как поступивший на советскую службу. Правда, судил он его не очень строго: «Могий вместити –

да вместит», не всякому дано сохранить принципиальную чистоту.

Дядя Боря приходил на Мясницкую с портфелем, где лежали проекты штандартизации тракторов и приспособления этих тракторов к земледельческим работам, и с прочным швейцарским мешком – на случай выдачи в паек съестных припасов. Но так как тракторов еще не выделывали, а вопрос о штандартизации особой спешки не требовал, то, заглянув в свой отдел и отдав в переписку бумаги, дядя Боря шел в Малый Златоустинский, где также могли быть выдачи – по другому отделу. И поздно возвращался домой корыстный изменник дядя Боря, принося в мешке банку черной патоки, наперсток дрожжей, пяток тронувшихся селедок, а иногда квадрат толстой резины – на две подошвы. В глазах прочих, неспецов, дядя Боря был счастливцем. По вечерам, засыпая под одеялами и шубами, с меховой шапкой на голове (печурка ночью совсем остывала), он говорил жене:

– Есть надежда получить академический паек.

– Правда? – оживлялась некрасивая и сухая жена дяди Бори, высовывая нос из-под вороха старых одеял.

– Не наверное, но есть надежда. Поднят даже вопрос о кремлевском, но для очень немногих.

– Ты не попадешь в число? Вот бы хорошо.

– Не знаю. Трудно. Но может быть.

В кремлевском пайке выдавали иногда белую муку. И постоянно – настоящее мясо.

Таков был даже дядя Боря. Что же сказать о солдате, ушедшем с фронта и унесшем с собой казенный штык да кое-что из вещей, добытых при разгроме земского склада? Что унес он казенное добро – это солдат знал твердо и не был уверен, что поступил ладно. В деревне, ковыряя ржавым штыком худой хомут, он помнил о краже, но не подозревал об измене, о гнусной своей измене союзникам. И скажи ему кто-нибудь это навек позорящее слово – он с полным непониманием вылупил бы голубые славянские очи.

Зипуны, чуйки, блузы, пиджаки с продранными локтями, охолодавшая, оголодавшая, ограбленная в войне и мире, изможденная и очумевшая в революции и блокаде великая и многоязычная нация, народ русский, зверь и подвижник, мучитель и мученик, – стал изменником. Он изменил Европе, которой не знал, которой не присягал, от которой ничего не получал и которой так, зря, черт ее знает за что отдал миллионы жизней, – за прекрасные ее очи.

По всем этим причинам – одиннадцатого ноября осьмнадцатого года решительно ничего особенного не случилось в Москве и в России.

Все проснулись рано, так как много было неотложных забот. Все заснули рано, так как с электричеством было плохо, а керосин дорог и недоступен. Центральная электрическая станция за недостатком топлива сжигала нотариальные акты, купчие крепости, процентные бумаги, старые кредитки и архивы царских присутственных мест.

Ни одиннадцатое ноября, ни следующие дни ничем не были отмечены в ряде холодных и снежных дней. В газетах, которых не читали, были напечатаны коротенькие заметки о перемирии, заключенном на европейских фронтах; но это не имело никакого интереса и значения в глазах людей, стоявших в очередях и мечтавших о жире и сахаре. В тех же газетах с прекрасной откровенностью были напечатаны списки расстрелянных за последнюю неделю; это было интересно для родственников и близких; остальные понаслышке повторяли цифру, которой не верили, и несколько имен, казавшихся знакомыми. Как голод, как холод, как тиф – расстрелы стали явлением быта, и тревожила мысль только ночью, когда страхи сгущались над головами тревожно спавших граждан самой свободной в мире страны.

На улицах европейских городов люди читали экстренные выпуски газет, пели, обнимались, танцевали. К счастью, ликующие шумы эти не доносились до русских городов и деревень, до ушей тех, кого Европа заклеймила кличкой изменников.

Добродетель торжествовала – порок был наказан.

Если на небесах, за снежными облаками, собрался в это время ареопаг судей вышних, – вряд ли приговор их отличался от приговора людского. Русский народ, изменник и мученик, не имел адвоката ни там, ни здесь, и, погруженный в личные заботы, не явился ни на суд божеский, ни на суд человеческий:

приговор вынесен был ему заочно.

ТОТ, КТО ПРИХОДИТ

Как рождается любовь?

Ах, Танюша, этого никто не знает. Ее прихода ждут, – а она является неожиданной. Ее живописуют себе всеми известными и любимыми красками, – а она прокрадывает-

ся, закутавшись в дешевый серенький незаметный плащ. Но от этого она не менее хороша и желанна.

Она любит поражать внезапностью и нелогичностью. Астафьев правду говорил: логика убивает красоту и сказочность. И правду ему сказала Танюша: «Уж если думаешь – значит не любишь; а вот когда не думая...»

Танюша не думала, а просто знала. Пришел и постучался человек, совсем не особенный, совсем простой и обыкновенный, вчера бывший посторонним, а сегодня... ну скоро ли наступит вечер и он опять придет!

У него шершавая рука – от работы и частого мытья серым мылом. Но другие руки – руки других, – гладкие, тепловатые, тоже дружеские и ласковые, не нужны, неприятны, безразличны. Ему же, сразу знакомому, отдаешь руку счастливо и навсегда. А объяснить этого невозможно, – нет объяснения. Само понимается.

Восемь часов. Глаза Танюши бегают по строчкам книги, но книга обиженно молчит: она не привыкла к рассеянности. Дедушка глубоко ушел в кресло, и, конечно, дедушка не может прислушиваться так чутко. Среди шагов на улице он не отличит нужного шага, который непременно остановится у подъезда, переждет мгновенье (почему это?) и все же скажется стуком. Тогда Танюша, сдерживая торопливость, отложит книжку и пойдет отворить.

– Кто это, Танюша?

– Это Петр Павлович, дедушка.

– А, вот хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, какие новости принесли?

– Новостей никаких. Как здоровье ваше, профессор?

– Скриплю, скриплю. Вот спасибо, что пришли, Танюша вас заждалась.

– Ну что это, дедушка!

– А что же, чего же тут плохого. Без вас, Петр Павлович, нам скучно.

Инженер садится на диване рядом с Танюшей и говорит:

– А я вот действительно заждался. Из-за пустой справки – пришлось обегать пол-Москвы. Вы знаете, профессор, сейчас в Донецком бассейне почти не работают. А между тем нам без угля – чистый зарез.

Протасов рассказывает о планах, Танюше не интересных и не ведомых. И Танюша слушает его со вниманием и гордостью: вот он какой! Если он чего-нибудь захочет, то непременно добьется.

– Планы-то планами, – говорит профессор, – а дадут ли вам эти планы осуществить? Не вылетела бы вся энергия в трубу дымом.

– Трудно, очень трудно. Такая повсюду неразбериха, и средств мало. На что другое деньги есть, а на настоящее и нужное дело приходится по копейкам вымаливать. Но что же делать, профессор, не погибать же России; приходится приспособляться ко многому, лишь бы как-нибудь жизнь направить в русло.

Пьют чай. За чаем Протасов рассказывает, как он во время войны ездил в специальную командировку на Шпицберген, как их затерло льдами, – и рассказывает как о простой увеселительной поездке, занимательно, красочно. Профессор интересуется, не довелось ли инженеру видеть там редкую породу птиц, описанных, правда, достаточно обстоятельно, но в чучелах до сей поры не имевшихся. Этих птиц инженер не видел, но и по птичьей части кое в чем осведомлен. И у него завязывается с птичьим профессором интересный для обоих разговор. Старик ожил и сыплет названиями. Протасов многого не знает – переспрашивает. Но и знает многое, – Танюша смотрит на него с гордостью, часто переводя глаза на дедушку. Она видит, что дедушке нравится новый гость особнячка на Сивцевом Вражке. Это Танюше приятно.

Когда дедушка уходит к себе, всегда аккуратный, как его часы с кукушкой, Танюша и Протасов остаются вдвоем.

– Я вам очень благодарна за дедушку. Вы его так развлекли, а то он все скучает.

– Какой ум у него светлый, – говорит Протасов. – И какие знания. А ведь и еще есть у нас в России немало таких людей. Вот только настоящих работников мало. Наука – великая вещь; в ней ничто не пустяк. Вот политика – дело наносное, случайное; сегодня так, завтра инак, важности в этом нет.

Они говорят о дедушке, о Шпицбергене, о разном в прошлой жизни инженера, о чем Танюша еще от него не слыхала. Они совсем не говорят о любви – даже отдаленными словами. Но Танюша так полна интереса ко всему, что говорит этот посторонний человек, вдруг ставший своим, а Протасов так загорается в своих рассказах, что минуты и часы бегут гораздо скорее, чем им обоим хочется.

Прощаясь, Протасов говорит Танюше:

– Завтра будете к трем у Васи?

– Да, непременно.

– И я зайду. Он, кажется, пошел на окончательную поправку. Только отчего он такой грустный? Надо бы его развеселить.

Оба, и он и Танюша, догадываются, отчего выздоравливающий Вася грустен. Но ведь скоро Вася уже встанет и навещать его не придется.

Вышло как-то однажды, что говорить стало не о чем. Сидели молча. Оба думали о том, что было бы, если бы сблизить руки и, может быть, ласково прикоснуться друг к другу. Бывают минуты, через которые надо перейти. Такая и была. И вот тут Протасов, вдруг уверенно повернувшись, взял Танюшины руки, поднес к губам и поцеловал.

И Танюша рук не отняла, а с доверием и робкой нежностью наклонила к нему голову. И так сидели долго, друг к другу прислонившись. Минуты шли, кукушка куковала, а они не говорили ни слова.

Назавтра ждали, не вернется ли опять такая минута. Она пришла, и теперь было еще проще, но уже было этого мало, хотя было хорошо.

Ах, Танюша, никто не знает, как рождается любовь, – хотя испокон веков и до наших дней она рождается одинаково.

Домой Протасов уходил бодрым шагом и с хорошей улыбкой. Танюша, оставшись одна и ложась спать, двигалась медленно, чтобы не расплескать полной чаши нового чувства. И долго не засыпала, вспоминая и не все понимая еще никогда так не любившим сердцем. Но теперь жизнь казалась ей осмысленной, нужной и полной ожиданий.

Тот, кто приходит, – пришел просто, неожиданно и в нужный момент.

МОСКВА – ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО

Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно зарисовывал и резал на дереве исчезавшую красу деревянных домиков. Сегодня рисовал, а в ночь назавтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие, и, зорко осмотревшись по сторонам и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Увозили на санках, – только бы не наскочить на милицию.

За тенью тень, в шапках с наушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продранными пальцами, работали

что есть силы, кто посмелее – захватив и топор. Въедались глубже, разобрав лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка по щепочке, планка по планке, царапая примятый снег и себя торчащими коваными гвоздями.

Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам.

На двух плечах, молча, плыла балка.

Согнувшись, тащили: бабушка – щепной мусор, здоровый человек – половицу.

И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок, – греются люди, варят что-нибудь.

Когда вставал день, изо всех домов выползали упрямые люди с мешками и корзинками, искали глазами белую с красными линялыми буквами коленкоровую вывеску, трепавшуюся по ветру, и становились в очередь, сами не зная точно, подо что. Поздно открывалась дверь, и, дрожа, входили в нее замерзшие люди, в строгой очереди, с номером, написанным мелом на рукаве или химическим карандашом на ладони. Получали, что удавалось получить, – не то, что нужно больше, а то, что оказывалось в наличности: кусок серого мыла, банку повидла, пузырек чайной эссенции. Кто получил – уходил под завистливыми взглядами еще не получивших. Но уже захлопывалась дверь – все вышло, приходите завтра или черт его знает когда.

В Гранатном переулке, красуясь колоннами и снегом, дремал особнячок за садовой решеткой. Крыши нет, давно снята; и стены наполовину разобраны; только и целы колонны. Умирающее, уютное, дворянское, отжившее. На воротах осталось: «Звонок к дворнику». Снег в саду лежал глубокий, белый, чистый.

Снегом покрыты и пестрые куполы Василия Блаженного. Внутри, под низкими расписными сводами, пробежал попик в камилавке. В приделе, где служба, жуют губами старухи в черном, закутаны шалями; а у дьякона под парчовой рясой надет полушубок, и валенки на старых зябких ногах. В холоде чадит дешевым ладаном кадило:

– О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных...

Мимо первопечатника Федорова, на плече которого сидит голодный воробушек, от Лубянской площади вниз к Театральной летит по сугробам нечищеной улицы ломовой на еще живой лошади. Парень крепкий, а ломовики сейчас

все наперечет – работай! Эти не боятся: и дров сами привезти могут, и для лошади добудут сена. Только с овсом плохо. Ломовик сейчас может заработать лучше всякого, все его уважают.

От Владимирских ворот до Ильинских вдоль стены Китай-города только и есть, что зажигалки да камушки к ним. Зажигалки делают на заводах рабочие, которым не платят, так как платить нечего и не за что. А откуда берутся камушки – неизвестно. Рассказывают, что один торговец сохранил случайно целый ящик камушков; теперь он – самый в Москве богатый человек. Однако, перемигнувшись, можно получить из-под полы и кусок сала; но не здесь, а где-нибудь в воротах, без постороннего глаза. Зато листы папиросной бумаги – сколько угодно, открыто, и разложены они, как красный товар: аккуратненько выдраны из торговых копировальных книг. Товарищи покупают по листам и курят письма: «Милостивый Государь... в ответ на любезное В... С совершенным почтением». Говорят, что на один том такой бумаги, продавая по листкам, можно сейчас прожить безбедно и сладко целую неделю.

По Тверской идут закутанные люди с портфелями и мешочными ранцами за плечами. Служба – паек, чернила замерзли, машинки без лент, но – слышно – привезли с Украйны мед, выдавать будут. Хочется губами сладкого, – челюсти свел проклятый сахарин.

Сбоку Иверской на стене написано непонятное про опиум – и еще много надписей на стенах и каменных заборах. Футуристы расписали стену Страстного монастыря, а на заборе Александровского училища – ряды имен великих людей всего мира; среди великих и пигмеи, и много великих отменено и забыто. Люди читают, удивляются, – но думать некогда.

Что сегодня написано – назавтра линяет.

Стоит Кремль, окруженный зубчатыми стенами, а за стенами – непривычные к Кремлю люди. У ворот штыки, на штыках наколоты пропуска. Не во все ворота проедешь, даже и с бумажкой и с печатями: только в Никольские да в Троицкие. Холодно высится Иван Великий, мертвый, как все сейчас мертвое: и пушка, и колокол, и дворцы. Всегда было холодно в Московском Кремле; только под Пасху к заутрене теплело. Но нет ни Пасхи, ни заутрени.

А вот Арбат жив; идут по нему за Смоленский и со Смоленского. Несет бывшая барыня часы с маятником (слышно – звякает пружина) и еще белые туфельки. Это

значит – несет последнее: кому надобны зимой белые туфли! А обратно со Смоленского несет бывшая барыня ковровый мешок, а что в нем – неизвестно; может быть, и мерзлая картошка. Картошку кладут сначала в холодную воду, чтобы тихо оттаяла, а потом, обрезав черное, варят обычным порядком. Не каждый же день можно добыть палой конины. Но если варить картошку неумеючи, получится чернильная каша. Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе. Все нужно знать – ко всему нужно привыкнуть.

Упрямые люди хотят жить. Жуют овес, в пол-аппетита набиваются горклым пшеном, прячут друг от друга лепешечки сахарина. В ходу и почести игранный сахар, на который солдаты играли в карты; он продается дешевле, а между тем если умело выпарить и слить грязь, а потом, отсушив, нарезать на куски – ничего себе, получается хорошо, и все-таки сахар.

К вечеру люди утомятся, намаются, заснут. Спят, не раздеваясь, на голове шапка, на ногах валенки. Спят больше по кухням, где осталось тепло от обеда. Тряпочкой затыкают дверные щели в другие комнаты, где стоит студеная зима. Если есть печурка, спят звездой, ногами к печурке. Где есть электричество, там его жгут без экономии, потому что теперь все бесплатно. Догадался один провести в каждый валенок по электрической лампочке; так и спит, – все-таки теплее, греет. Мудрыми стали люди. Но только не везде и не всегда действует свет, – много линий перегорело и закрыто. Тогда приходится делать из бутылки коптящий ночничок, при нем и работать; масло дорого, и горит в ночнике вонючий керосин. Всех фитилей лучше – старый башмачный шнурок. Все нужно знать!

А когда засыпали люди, тогда через множество новых ходов выползали из подполья крысы, смелые, дерзкие, хвостатые, с глазами черного бисера. Бегали по комнатам, по кухням, гремели банками и бутылками, роняли на пол сковородки, визжали, грызлись, забирались под самый потолок, где подвешено хозяйками на веревочках прогорклое масло и остаток мяса. Крысы теперь ходили не одиночками, а стайками и шайками, нагло, уверенно, и, не найдя поживы, кусали спящих людей за открытые места.

Лета тысяча девятьсот девятнадцатого город Москва был завоеван крысами. Сильного серого кота отдавали внаймы соседям иной раз за целый фунт муки в ночь. Иные, в расчете на будущее, лишали себя куска, воспитывая котеночка, –

кормили его последним. Очень было важно иметь в доме кошку. Только бы вырастить, – а там сам пропитает себя, а то и своих хозяев.

Первый враг – люди, второй – крысы, третий – бледная, злая вошь. По притонам, по вокзалам, по базарам – вот где от нее не избавишься. А умирать сейчас, пожалуй, не дешевле, чем жить; и очень уж хлопотно для близких.

Не одно горе было – были и радости. Радостью был каждый нерассчитанно доставшийся кусок хлеба, каждая негаданная подачка судьбы. Радостью была помощь близкого, который и сам ничего не имел, а все же пришел, посочувствовал, пособил распилить сырую балку на мелкие дровишки. Радостью было утро, – что вот ночь прошла благополучно, без страхов и без убытка. Радостью было днем солнце – может быть, и потеплеет. Радостью была вода, пошедшая из крана на третьем этаже. Радостью было, когда не было горшего горя или когда случилось оно не с нами, а с нашим соседом.

Была тяжела в тот год жизнь, и не любил человек человека. Женщины перестали рожать, дети-пятилетки считались и были взрослыми.

В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека.

НА КОЙКАХ

Астафьев лежал на койке и смотрел в тень, дрожавшую на потолке. Тень была расплывчата и вздрагивала потому, что вздрагивал свет фонаря на дворе, за окном, стекла которого были замазаны белой краской.

В камере Особого Отдела, рассчитанной на одного, помещалось шестеро, и койка соприкасалась с койкой. Рядом с Астафьевым мирным сном спал бывший генерал Иван Иванович Кларк, арестованный за совпадение фамилии, а может быть, и в качестве заложника, хотя человек он был старый, тихий и ничем не замечательный. А по другую сторону с открытыми, как и у Астафьева, глазами лежал пожилой рабочий с Пресни, взятый только два дня тому назад либо по навету, либо за неосторожное слово. Его только что вернули в камеру с ночного допроса, где следователь, грубиян из латышей, угрожал ему расстрелом, а за что – Тимошин так и не понял.

Теперь Тимошин не мог спать и чувствовал на сердце сосущую тоску. Раньше это чувство, как и бессонница,

были ему совершенно незнакомы; и справиться со всем этим одному было невозможно. Поэтому он шепотом спросил:

– А что, Алексей Дмитрич, вы ведь не спите?

– Не сплю, Не спится.

– Я вот тоже.

– Замучились на допросе?

– Точно, что замучился. Главное – понять не могу, зачем меня водят. И – говорят – в расход тебя пустим. А за что? Как, Алексей Дмитрич, могут?

Астафьев сел на койке, спиной к стене, обняв руками согнутые ноги:

– Могут все. А вы очень боитесь?

– Как же не бояться. Решат жизни ни за что, а у меня семья. Думаете – могут?

– Откуда же знать мне. Могут и расстрелять, а могут завтра выпустить.

– Опять же я – рабочий человек, хотя, конечно, есть у меня и домик в деревне.

– Вина за вами есть какая? В чем вас обвиняют?

– Никакой нет за мной вины, Алексей Дмитрич, вот как перед Богом говорю. Он мне толковал, зачем, говорит, с хозяином в сношении, укрывал его будто бы. А хозяин-то, фабрикант наш, давно в бегах, куда убежал – и не знаю даже. И будто я ему помогал. И уж совсем это неправда, ничего я и не знаю. Так за что же стрелять, Алексей Дмитрич?

– Вас как звать, Тимошин?

– Меня? Алексеем тоже.

– А по батюшке?

– Платонычем. Отец был Платон, а я Алексей Платоныч.

– Так вы, Алексей Платоныч, не бойтесь. Это ваш следователь только грозится, добиться чего-то хочет от вас. Стрелять вас не будут.

– Не будут, Алексей Дмитрич? А как назначат? Управы никакой на него не найдешь. Вон и вы говорите – могут.

Астафьев закрыл глаза. Неужели так до утра и не заснуть?

– А хоть бы я и укрывал хозяина – ужли же за это решать человека жизни?

– Сколько вам лет, Тимошин?

– Лет сколько? Лет мне пятьдесят два, третий пошел.

– Долго жить хотите?

– Сколько проживется, не от нас зависит.

– Сколько вы ни проживете, Алексей Платоныч, ничего нового не увидите. Жалеть не о чем.

– Семья у меня в деревне. И сам я еще не стар, Алексей Дмитрич; могу работать отлично.

– А что за радость в вашей работе?

– Радости, конечно, никакой, а все же заработок. Сейчас-то, конечно, и прибыли нет, одно голоданье. Кое-как бьешься.

– Вот видите. Чего же бояться? Убьют – ну и черт с ними. Есть о чем жалеть.

– Как же можно, Алексей Дмитрич; вдруг так, ни за что, здорово живешь, – и убьют. Какая же в этом справедливость?

Астафьев зевнул. Хорошо, если бы это ко сну, а не просто со скуки. Живет человек зря, безо всякой радости, да еще подай ему справедливость.

– А вы, Тимошин, успокойтесь и спите. Вас зря пугают и скоро выпустят на волю. И живите, сколько вам понадобится.

Пятый месяц сидел Астафьев в этой камере. Трижды был на допросе у чахоточного следователя Брикмана. Очевидно, все дело в человеке в желтых гетрах. Чудак! Зачем он надел эти гетры? Но и смельчак: три месяца ловили его в Москве и не поймали. А он еще доклады читал в разных «Союзах освобождения». И покушение, конечно, его дело.

«Если докажут, что он у меня ночевал, тогда мне, конечно, крышка. Кто выследил? Кто мог донести? Сосед Завалишин? Завалишин, несомненно, чекист. Но все-таки не он; он не мог. Да и не было его дома в ту ночь. Нет, не Завалишин. Скорее – Денисов, преддомком. А ну их всех...»

Астафьев поднялся с койки и тихо стал прокрадываться к окну. На белом стекле внутренней рамы появилась маленькая тень. Тень, ползя по раме, приближалась к открытой в камеру форточке. Астафьев, подойдя вплотную, поднял руку и приготовился. В тот момент, когда мышь высунула мордочку изнутри, готовясь пробраться в камеру, Астафьев легонько щелкнул ее пальцем между дрожащими усиками, и мышь с писком шлепнулась на подоконник.

Удача!

Астафьев, довольный и улыбающийся, снова улегся на койку. А то ведь эта шельма опять съела бы хлеб. В прошлую ночь, не найдя хлеба, мышь съела в коробочке несколько шахматных фигур, сделанных из мякиша генералом, большим искусником этого дела. Пришлось ферзя, туру и две пешки лепить заново.

Мышь жила в подоконнике, проделав между рамами ход. По ночам пробиралась в камеру, хозяйничала на столе и в

кулечках с передачами, а не найдя съестного – забиралась на койки. Однажды укусила генерала Ивана Ивановича за палец ноги: у него одеяло слишком коротко, все сползает.

И вдруг Астафьеву страстно захотелось на волю.

«Как глупо! Ведь вот тут, за окном, за стеной – улица, люди, извозчики. Два стекла и несколько кирпичей. И еще несколько грубых человеческих воль, которые можно отшвырнуть словом, жестом, убеждением. Какая-то комедия! Не бояться смерти и все-таки не биться, не ломать дверей, не вступать врукопашную, не подставляться под пулю».

Стиснул зубы, сжал кулаки, думал: «Разбросать их всех, как щепки».

И сладостно чувствовал в руках и спине игру сжавшихся мускулов, лишь немного ослабевших в тюрьме. Бил, мял, грыз, отбивался, разносил толпу обезьян осколком стола, бежал по лестнице, уклоняясь от выстрелов, на дворе, у входа свалил с ног часового, выбежал на улицу, скрылся за угол, обманув погоню, и, переменив направление, спокойно шел домой, наблюдая издали смятенье чекистов, метанье автомобилей, напрасную суету обманутых палачей.

Нет, не домой, где сразу найдут, а обходом, улочками, лабиринтом – на Сивцев Вражек, чтобы, не входя, постучать в окно, дождаться, пока откроется форточка, и негромко крикнуть:

– Таня, не пугайтесь, это я, Астафьев, актер Смехачев. Меня ловят – приютите меня, Таня.

И она скажет:

– Господи, вы? Ну, конечно, скорее.

И, войдя, он без слов и без лишних объяснений обнимет ее впервые, крепко и надолго.

С соседней койки раздался шепот:

– Вы не спите, Алексей Дмитрич? Тоже и вам несладко!

И после молчанья:

– Видел, как вы мышку-то ловко в нос щелкнули. Вот тоже какой зверь чудной – своей охотой в тюрьме живет!

ХЛОПОТЫ

Дядя Боря отказался наотрез:

– Нет, Танюша, я тут ничем не могу помочь. Встречаться я с ним встречаюсь, бывают у нас такие заседания, чисто технического характера, по части обороны, но личных отношений у нас никаких. Только здравствуйте-прощайте.

Ты знаешь, отдел наш совершенно автономен и исключительно научный, никакой политики. И мне, Танюша, невозможно совершенно.

– Я понимаю, дядя, что вам самому неудобно. Но мне только нужна рекомендация, чтобы меня к нему пропустили.

– Это все равно, Танюша, ведь дело-то политическое, да еще такое серьезное.

– Дядя, но ведь Астафьев арестован случайно и напрасно, никакого отношения он иметь не мог.

– Ничего я не знаю, и ты знать не можешь.

– Я уверена в этом, дядя. Если похлопотать, его могут сейчас же и выпустить. Нужно только найти ход.

– В такое время, как сейчас, Танюша, лучше не хлопотать, а подождать. Только себя запачкаешь, а ему не поможешь. И фамилия у нас слишком заметная. Раз он не виноват, ты говоришь, так его и так освободят.

– Дядя Боря, но он же наш друг, и у него никого нет, кто мог бы о нем подумать.

– Я понимаю, Танюша, и... я в его интересах и говорю. Может быть, если начать о нем хлопотать, обратят внимание и будет хуже; а так... Если бы еще его родственники...

– У него нет никого.

– Вот видишь!

– Что вижу, дядя?

– Вот я и говорю, что... я-то уж совсем ни при чем. И главное, я боюсь, что моя рекомендация... что я не на хорошем у них счету. То есть ничего нет особенного, но все-таки они к нам, спецам, относятся подозрительно.

– Значит, вы не хотите, дядя Боря?

– Хочу, Танюша, очень бы хотел, но ничего не могу, совершенно ни-че-го. Мне очень обидно. Помочь хочется, а ничем не могу. Уж такое сейчас время проклятое. Эх, Танюша, дождемся ли мы лучших дней, уж и не знаю. Какой-то кошмар.

Танюша замолчала, подумала, потом быстро подняла голову и внимательно посмотрела на дядю Борю. Под ее взглядом он немножко сгорбился и опять пробормотал:

– Да, чистый кошмар. Прямо ничего не придумаешь.

Тогда Танюша встала, взяла свою сумочку и сказала:

– Дядя Боря...

– Что, Танюша, что, моя милая?

– Ничего. До свиданья, дядя Боря.

Он проводил ее до самого выхода, идя немножко позади. В швейцарской, где было несколько служащих, пожал ей руку и как-то смущенно, стараясь быть ласковым, шепнул:

– Понимаю, Танюша, понимаю тебя. Ты у нас молодец и добрая. И все же советую тебе: обожди.

Танюша молчала. Он, скользнув глазами по сторонам и еще понизив голос, прибавил:

– И во всяком случае, знаешь... я бы тебе решительно не советовал... если даже найдешь ход, упоминать обо мне. Мне лично, конечно, все равно, я не боюсь, но как бы этим не испортить. Все-таки – спец, опасный элемент, в их глазах подозрительный. Все дело можно испортить...

Танюша, без улыбки, не повернув головы к дяде Боре, громко сказала:

– Не беспокойтесь, дядя. Я вам ничего не испорчу.

И вышла.

Вечером, когда, по обыкновению, пришел новый друг домика на Сивцевом Вражке, Васин спутник Протасов, Танюша имела с ним длинный деловой разговор. Перебирали разные фамилии и решали, к кому и через кого можно скорее найти ход. Круг нужных знакомств у Протасова был невелик. Однако несколько деловых визитов на завтра он себе наметил.

– Выйдет – не выйдет, а попробовать нужно. Возлагаю надежды на одного приятеля; он, кажется, к ним вхож. И сам человек не дрянь, довольно прочный. Справку-то, во всяком случае, можно через него получить. А вот рекомендацию вам – уж не знаю.

Наутро Протасов был у приятеля, с которым давно уже не видался. Встретились хорошо.

– А ты что же делаешь теперь?

– Я? Мешочничаю.

– Вот чудак. Разве выгодно?

– Ничего, живу.

– А почему не работаешь по специальности? Сейчас люди нужны.

Протасов изложил свою просьбу: навести, где полагается, справку, за что взят Астафьев и что ему грозит. Приятель, хоть и не очень охотно, согласился:

– Ладно, я позвоню одному типу; только с ним нужно осторожно, так что ты не удивляйся.

И позвонил:

– Алло! Это вы? Да, да. Узнали по голосу? Слушайте, милый, ну как вчера окончилось? А долго сидели? Так. Так-так. Вы думаете, выйдет что-нибудь? Ну что ж, хорошо. Да. Значит – не раньше послезавтра? Хорошо, я позвоню. Ну, пока... Постойте, что-то я хотел вас спросить... Да, вы не

можете ли дать мне одну справочку, тут ко мне все пристают родные одного арестованного, сейчас разыщу фамилию. А? Да нет, кажется, ерундовское дело, просто – зря взяли, но уж очень надоедают мне. Фамилия его...

Ответа на справку пришлось ждать с полчаса. По характеру ответ был неутешителен:

– Определенного ничего, но очень сильные подозрения. Дело у товарища Брикмана, а он любит подержать.

– А если похлопотать за него? – спросил Протасов.

– Помогает иногда. Ты его лично знаешь?

– Лично не знаю, а есть общие знакомые. Одна девушка о нем хлопочет.

– Кто такая?

Протасов подумал и назвал Танюшу. Приятелю своему он доверял.

– Она не родственница профессора?

– Внучка.

– Ну что ж, это хорошо. Профессор – человек известный, уважаемый. А сам он не мог бы?

– Сам он слишком стар.

– Так тебе что же, Протасов, рекомендацию для нее дать?

– Да, если можно.

– Ладно. Ты за нее ручаешься?

– Ну, конечно.

– Нет, я так только. Всяко бывает. Ты что, влюблен в нее? Хорошенькая? А к кому же рекомендацию? Я могу вот только к этому типу, которому звонил. С ним я хорош, с другими хуже.

– А он кто?

Приятель назвал фамилию достаточно крупного «типа», чтобы слышал о нем и Протасов. Это было не то лицо, разговора с которым добивалась Танюша, но приятель Протасова, услыхав, к кому она добивается пропуска, только рассмеялся:

– Э, нет, батенька, к нему бесполезно совершенно. И бесполезно, и попасть мудрено, он к себе не подпускает. Да он и слушать не станет. Мой тип ближе к маленьким делам. Только вот что... между нами говоря... человек он не первосортный, попросту говоря – дрянь порядочная. Но он сейчас в силе. С ним все-таки нужно осторожнее, зря не болтать. Ты предупреди ее, девицу свою.

– Ты с ним дружен?

– С ним? Я его знаю давно, еще по ссылке. Дружбы нет, а так – ничего, часто видимся. Я ведь сам не коммунист и

политикой не занимаюсь, а только заседаю в разных коллегиях. А ты, Протасов, право же, напрасно не служишь. Ведь люди сейчас действительно нужны, а то порядочных людей совсем не остается. А ты работник отличный.

– За то меня, вероятно, и выгнали с фабрики.

– Разве выгнали? Ну, это случайность, это ведь так, зря, всех без разбору инженеров выгоняли. Хочешь, я тебя устрою? Ты сейчас нигде не служишь?

Протасов назвал учреждение, не имевшее отношения ни к технике, ни к горному делу. Там он больше числился, чем действительно работал.

– Черт знает, какая ерунда. Там ведь делать нечего.

– Я там ничего и не делаю. Только иногда захожу получить пакетик дрожжей да баночку патоки.

– Ерунда, я тебя устрою по инженерной части.

Протасов подумал:

– Что ж, я бы работать хотел. Только мало верю в теперешнюю работу. А зря не хочется.

– Сейчас, конечно, работают плохо. Но понемножку наладится.

– Кто наладит-то?

– Кто? А ты и наладишь. Ты, я, другие, одним словом – настоящие люди. Пока верховодят дураки и мальчишки, потому дело и не идет. Но подожди, придет время, все поуспокоится и встанет на рельсы. Не сразу, Протасов.

– Я знаю. Но к тому времени ни одной машины целой не останется.

– Новые машины заведем.

– Средств на это не будет.

– И средства добудем. Экий ты пессимист, Протасов. Что ж, по-твоему, Россия погибнет, что ли?

– Может и погибнуть.

– Нет, милый, это – нет. Это только сейчас так кажется, от усталости. Я сам человек без иллюзий и отлично знаю нынешних правителей, и одно скажу тебе: нет, Россия не погибнет, не такова страна. И ты, Протасов, в это не веришь, только так говоришь.

Они расстались дружески, и Протасов унес рекомендательное письмо для Танюши.

«В сущности он хороший парень, – думал Протасов. – Россия, конечно, не погибнет, и работать для этого, конечно, нужно. Но шутливо врать по телефону и амикошонствовать со всякой дрянью – это не всякому подходит. Но и судить его строго нельзя: веди он себя иначе – не мог бы

пособить в трудном деле так просто и легко. А работать, конечно, нужно. Только бы немножко стало дышать полегче; и дураков стало бы поменьше».

ВОЛЧЬИ КРУГИ

Это удивительно, до чего волки перестали бояться!

Была зима многоснежная, и на пути от леса до деревни волк много раз глубоко завязил задние ноги. Луна освещала за ним черную дорожку следов, не прямую к деревне, а легкой дугой, с загибом к перелеску, точно волка невольно тянуло туда, к тени.

Через мост была дорога наезженная, хотя и моста сейчас, зимой, не было видно; снег засыпал речку с верхом, сровняв берега с полями. Только прутья ивняка отчерняли русло.

У края проезжей дороги волк присел и глухо повыл баском. Собаки ответили – далеко и нехотя. И волк побежал вперед боком, подтянув хвост.

Вторая от края изба колчагинская, отца Андрея и Дуняши. Изба большая. В левой половине, где палисадник, жила с мужем старшая Дуняшина сестра. У них ребенок.

Волки перестали бояться потому, что убыло в деревне мужчин – каких на войне убили, а какие позастряли в городах. И пороху не было стрелять по волкам; больше теперь по людям стреляли. И собак стало кормить труднее.

Мать Дуняши была еще молода, сорок пять лет. Ее звали Анной, и сестру тоже звали Анютой. Жили бедно. И когда приехала из города Дуняша, хоть и привезла разного добра и немного денег, все же прибавилась семье лишняя тягость. Об Андрее же ни слуху ни духу.

Колчагинскую собаку звали Прыска; дал ей кто-то такое непонятное название. Прыска была старовата, грязнотела, ростом невелика. Волков чуяла плохо, – а впрочем, что ей стеречь? Овцы заперты, корова в стойле, сейчас за стеной у стариков. Стеречь нечего – разве из солидарности с другими собаками. Прыска жалась к теплой стене и старалась спать. Хотя главный сон, конечно, днем в избе.

Что всё на запоре – знал отлично и волк. Но что же делать? Его тянуло на деревню, потому что в деревне пахло хлевом и овчарней. Он был тощ и голоден, ужасно голоден. Могли быть в помойках мерзлые кишки или кости. Или просто хоть подышать сытым воздухом. К избам он

подошел с огорода, а не по дороге. И ни одна собака не тявкнула – все спят.

Выправил ноздри, потянул воздух. Морда у волка заиндевела. Поплелся туда, где помойка. Там было много собачьих следов, – тоже и собакам голодно.

Где собаки рыли поверху, там волк врывался зубом глубже, помогая и когтями. Но только начал – залаяла Прыска, за ней залилась вся собачья деревня.

Прыска, как заправила, и визжала и подвывала, бегая по двору и с налета прыгая на крыльцо. Металась, боялась, пугала, дрожа и негодуя, что пришел волк. Но выбежать прямо на волка... ну куда же ей, Прыске, на волка! Шарахалась о дверь и выла до хрипоты.

Никто в деревне не пошевелился; на минуту проснулись, знали: волки близко. Да ведь это каждую ночь. Чего на них смотреть? Все заперто.

Волк бежал от помойки к помойке, царапал, грыз. В одном месте донюхался до овчарни, прямо под собачьим лаем. Из овчарни так и тянуло теплой овцой, и бежала у волка слюна, замерзая в сосульку.

Ухо болело от собачьего лая. А деревня спит.

Спит деревня.

Обежал вокруг нее, от помойки к помойке, от избы к избе, волчий голод. Два полных круга описал волк окрест деревни. Ядовитой голодной слюной закапал свой след.

Когда выбежал за околицу, сел, облизался, завыл на деревню:

проклял ее за свой голод!

Ежилась и жалась от его проклятий Прыска у колчагинской избы. Люди не поняли. Прыска поняла волчье проклятье.

Что-то будет!

Был среди деревни шест. На шесте под скворечной крышей колокол. Вот бы в этот колокол ударить, чтобы все знали:

проклял деревню волк,

на голод ее проклял, – на то, чтобы и людям рыться в своих помойках, загрызать своих собак.

Чтобы и их тянул овечий навоз теплом и сытостью.

Чтобы выли на луну по-волчьи и желали друг другу напастей.

И пугались бы тени своей, поджимая хвосты, и сами стали бы тенями.

Чтобы нечего им было держать под замками, прятать от волчьего голода, –

и да будет пуще волчьего
голод человечий!

Пусть бы вызванивал колокол на грядущую тоску, а люди в страхе метались и щелкали зубами, источающими голодную слюну.

Улыбалась луна, слушая волчье проклятье деревне. Не верила. Или и верила, да не страдала ни за волка, ни за людей.

И когда увидал волк зайчонка, скоро-скоро прыгавшего от огородов, где были кочерыжки, – сразу помолодел волк и пустился вдогонку. Заяц прыгал легко, прямо по насту, волк грузно, проваливаясь, закусывая мокрый язык. Догадался, обежал дугой к лесу, чтобы зайцу перебить дорогу.

Жрал его заранее глазами, подвизгивал от страсти, пугал свою жертву огнем глаз.

Огибая дуги, доскакали до опушки. И был момент, когда желтыми зубами едва не тяпнул волк куцый заячий хвост. Но спрятался заяц в кусты: и видно, а не достать. А когда волк, высоко задрав голову, чтобы смотреть поверх сучьев, засыпанных снегом, стал наступать на заячье прикрытье, – прыснул беляк совсем незаметно и, поддавая задом, юркнул в лес дальше. Теперь уж, конечно, не догнать.

И побрел волк вглубь, безо всякой больше надежды, до логова – заспать голод голодной дремой и снами об овечьем тепле и человечьей жадности.

Было утро. В деревне вставали. Прыска повиляла хвостом и протискалась в избу – прикорнуть в тепле.

Кончена служба – собачья служба.

Прошла ночь. Пришел день.

ДРУЗЬЯ ЮНОСТИ

Сердце Васи сильно билось, когда, свернув на Сивцев Вражек, он подошел к очень знакомой двери особнячка и постучал.

Вася был в полушубке, в валенках с красным рисунком, – вероятно, казанской работы, – в шарфе и теплой шапке с наушниками. После тифа он пролежал в постели еще почти месяц, так как доктор боялся осложнений. Танюша, когда острый период его болезни кончился, стала навещать гораздо реже. Ей приходилось трудно: несла на

себе хозяйство, стряпала, мыла, иной раз продавала разные мелочи на Смоленском, а по вечерам и в праздники днем выступала часто в концертах. При общем обеднении рабочие клубы стали платить артистам меньше, а достать урок в такое время было невозможно, особенно зимой, когда и учебных занятий почти нигде не было: школьные помещения не отапливались, а дети и юноши заняты были, как и взрослые, добыванием хлеба.

И было еще одно: как-то не о чем стало Васе говорить с Танюшей. Она, приходя, пробовала рассказывать ему слухи о событиях, – но и события и слухи были так печальны и так путаны, что никак не могли служить развлечением для больного. Иногда заходила она одна, иногда приходил с нею, а чаще случайно встречался у Васи Протасов. И ежедневно, как и прежде, приходила Аленушка, хотя Васе сиделка, собственно говоря, уже не требовалась. Но Аленушка могла поддержать только разговор о дороговизне. Какая-то неловкость была между Васей и Танюшей, что-то недосказанное, – и оба хорошо знали, что именно было недоговорено. И визиты Танюши стали редкими.

С постели Вася встал, когда улицы московские давно уже покрыты были снегом, которого счищать было некому. Лежали изрытые копытами и приглаженные полозьями сугробы, под которыми скрылись и тротуары. В иных местах снег подгребали и складывали в вал, чтобы очистить тропочку у ворот и подъездов. У особнячка на Сивцевом Вражке чистить было некому, так как дворник Николай поздней осенью ушел в деревню:

– Что же я здесь, только в тягость! Ужо, может, полегчает жизнь к весне, а то к будущему году вернусь. Не вечно же так будет.

Сторожку его разобрали на дрова. Давно, еще при нем же, пришлось пустить на топливо и баню. Зато были дрова на зиму.

В первый раз пришел сегодня Вася на Сивцев Вражек, – хотя выходить начал еще за неделю. Все откладывал. Сначала думал зайти так, чтобы застать только старого орнитолога. Потом решил, что все равно, – когда-нибудь надо же решиться увидать и Танюшу у нее дома, в знакомой обстановке. Ведь, собственно, ничего не случилось! Все вышло так, как и должно было.

Он застал Танюшу одну. Профессор пошел прогуляться, захватив и портфель с книгами.

Танюша обрадовалась приходу Васи, но и смутилась. Видела, что Васе как будто не по себе, что держится он,

словно бы вошел в чужой дом, а не в знакомый с юности. И знала Танюша, что причина в ней. Но разве она виновата? Разве что-нибудь обещала Васе?

Он думал, что заговорить с Танюшей, хоть немного с ней объясниться будет трудно, и боялся разговора. А чувствовал, что нужно. Нужно ей сказать, что он, Вася, все понимает и что он, Вася, желает ей всякого счастья. Тогда легче будет встречаться и попросту, по-прежнему, – ну, хоть и не по-прежнему, а все же по-дружески беседовать. Чтобы неловкость эту изжить. Оказалось все легче, и вышел разговор случайно.

– А кто у вас теперь наверху живет, в вашей комнате?

– Наверху пока никого. Дуняша уехала, – а ведь ее брат, комиссар, еще раньше исчез, – и про комнаты как-то забыли и на учет их не взяли. Так и пустуют. Но, может быть, скоро туда переедут.

– Знакомые или так?

– Знакомые. Может быть – хотя не наверное – переедет Петр Павлович. У него, правда, есть квартира, и даже с ванной, но сейчас все равно вода везде замерзла, так что ванная ни к чему... Ему предложил дедушка...

Танюша долго объясняла, почему Протасову было бы удобнее переменить квартиру: и к службе гораздо ближе, и их комнаты спаслись бы от реквизиции, так как он имеет право на дополнительную комнату для занятий, – но почувствовала Танюша, что объяснять этого не нужно, да Вася и не слушает.

И немного сидели молча. Потом Вася вдруг спросил:

– Вы за него замуж выйдете?

Она как будто не удивилась вопросу, как будто ждала. И, не повернув головы, сказала:

– Я не знаю. Мне Петр Павлович нравится, мы очень подружились...

И прибавила тем же тоном:

– Вы не одобряете, Вася?

Потом взглянула на Васю. Он сидел неподвижно, смотрел на свет окна, а глаза его были полны слез.

– Вася, ну неужели же вы... неужели вы плачете, Вася?

Вася, не сводя глаз с окна, шарил руками и искал платок, – а платок-то, как нарочно, забыл взять.

– Ну можно ли так, Вася!

Он, отвернувшись, дрожащим, каким-то детским голосом сказал:

– Ничего, это я, знаете, Танюша, от болезни стал такой ужасно слабовый... то есть слабенький...

И, сказав нечаянно смешное слово, Вася сразу разрыдался.

Танюша утешала его, как мать ребенка. Вытерла своим платком его слезы, гладила по коротко остриженной круглой голове, придерживала лоб, когда он прижался к ее руке, – в первый раз в жизни так прижался! Может быть, сколько раньше мечтал об этом, – а вот когда стало оно доступным!

Теперь Вася просто не знал, как поднять голову. Было очень стыдно за слабость свою, и еще непременно нужно было вытереть нос, а нечем. Но дело в том, что действительно он очень ослабел после болезни, оттого так и вышло.

– Вам, Вася, нужно поправляться, окрепнуть хорошенько. Вы очень исхудали.

– Да, простите меня, Танюша, за эту глупость.

– Ну что вы, Вася.

– Я, Танюша, все равно и раньше все знал, догадался, конечно... А только... Но я вам всякого счастья желаю. Я потому и пришел, чтобы сказать.

– Спасибо, Вася, я знаю. Ведь вы мой милый друг, всегда, с самого детства. Только давайте теперь о чем-нибудь другом.

– Давайте, все равно. Я у вас этот платок возьму, можно? Потом выстираю и отдам, – поспешно прибавил он. – Профессор скоро вернется? Жаль, что я его не застал.

– Вы посидите у нас?

– Долго не могу, нужно домой.

– Кто-нибудь придет к вам?

Спросила: «Кто-нибудь», а сама знала, что прийти к Васе может только Аленушка, которая всегда приходит. И искала – не будет ли на Васином лице нового смущения. Но он совсем просто ответил:

– Придет Елена Ивановна, она ведь каждый день приходит.

– Какая она милая и заботливая. Это она вас выходила, Вася, без нее вам было бы плохо.

– Да, конечно. Она замечательная. И главное, все это так бескорыстно, а ведь ей самой жить нелегко. Сколько она на меня времени потратила.

Танюша про себя улыбнулась:

– Вы, Вася, вероятно, очень привыкли к Аленушке за время болезни?

Вася ответил:

– Да, еще бы!

И подумал: «Вот это она, Танюша, напрасно говорит!» Понял, что Танюше очень удобно, чтобы он, Вася, привык

к Аленушке и чтобы была ему Аленушка нужна и впредь. Ей, Танюше, будет тогда как-то свободнее, – хотя ведь он ничем ее стеснить не может и не хочет. Пусть она любит Протасова и пусть замуж за него выходит. Что разревелся Вася, как гимназист, это, конечно, глупо и смешно. А говорить сейчас же про Аленушку совсем было не нужно, – точно в утешенье.

И еще Вася почувствовал, что ему за Аленушку обидно. Ведь она действительно его выходила и до сих пор не перестает о нем заботиться. Конечно, она не такая, как Танюша, гораздо проще – и не очень образованная, и когда смеется, то забавно всхлипывает носом. Но зато она сердечная и очень добрая, с ней легко. Зачем же намекать, что вот, мол, есть у Васи утешенье в том, что Танюша его не любит и выйдет замуж за Протасова.

И Вася сказал:

– Елена Ивановна человек простой и отлично ко мне относится. Я ее глубоко уважаю. И она много в жизни испытала тяжелого. Я перед ней неоплатный должник.

Танюша поняла, что Вася должен так сказать. И в то же время Танюша по-своему, по-женски, подумала: «Ну, ничего, Вася как-нибудь расплатится с Аленушкой».

И ей стало весело.

. . . .

Профессор вернулся усталым, но очень довольным.

Во-первых, день хоть и холодный, но солнечный и приятный. Во-вторых, в Лавке писателей, куда он отнес книги, показали ему дошедший случайно номер английского орнитологического журнала за прошлый год. И там оказалась перепечатка из его книги о перелете птиц, и несколько строчек, почтительных и по-иностранному любезных, было посвящено автору книги, «известному русскому ученому и неустанному изучателю жизни пернатых».

В прежнее время такие строки о себе профессор читал часто, не без удовольствия, но спокойно. Сейчас, в такое тяжелое время, в полной заброшенности и оторванности от европейской ученой среды, – сейчас он по-настоящему растрогался. И пока шел домой по Тверскому бульвару, прижимая портфель с номером журнала, преподнесенным ему на память, чувствовал, как сначала глаза теплеют, а потом на реснице холодит льдинка: Было и совестно, и очень хорошо на душе: «Все же там старика не забывают!»

Думал:

«Вот, быть бы помоложе, дождаться легких дней, – и прокатиться с Танюшей за границу, в Париж, в Лондон. Можно бы даже сделать доклад в орнитологическом обществе по-английски».

Вспомнил с беспокойством:

«А вот сюртука-то и нет! Пришлось сюртук выменять на картофель. Фрак остался, фрака не меняют, потому что у него фалды: никак его не переделаешь на простую нужную одежду. Но в Англии как раз во фраке и нужно, если вечером».

И еще подумал:

«Вот бы издать книгу; вчерне она совсем готова, только переписать. Работал над ней больше десяти лет. Но сейчас издать и думать нельзя. Сейчас вот только мальчики издают стихи, как-то умудряются. И названья книжкам придумывают удивительные: «Лошадь как лошадь». Бог знает, что это значит, разве что просто озорство».

Но все-таки было сегодня на душе профессора хорошо.

Васе он очень обрадовался.

– Да какой же ты бритый, голова, как шарик. Ну, молодец, что выздоровел. Теперь заходи к нам почаще.

Потоптался, поулыбался, но не выдержал, вынул из портфеля английский журнал, показал Васе смущенно:

– Вон, смотри, какая редкость мне попалась: новый номер, хоть и прошлогодний, а все-таки. Сейчас ведь и университет не получает ничего из-за границы. Тут и меня, старика, не забыли. Приятно все-таки.

Вася перелистал журнал, посмотрел картинки, сказал:

– Да, это приятно. А какое издание замечательное.

– Ну еще бы, они умеют; и денег у них много.

Танюша приготовила завтрак, но Вася заспешил:

– Я все-таки пойду.

– А не позавтракаете с нами, Вася?

– Нет, нельзя мне, я к двум обещал быть.

– Заходите, Вася.

– Да, да. Будьте здоровы, профессор.

– Отчего спешишь?

– Нужно.

– Ну, как знаешь. А я тебе очень рад, очень рад.

Когда Вася ушел, дедушка подозвал Танюшу и погладил по головке:

– Ну, как Васю нашла? Какой-то он тихий стал.

– Я же, дедушка, часто его видала.

– Ну-ну. А как он, скучает?

– Почему скучает, дедушка?

– Ну, там насчет сердечных дел. Ты его все же жалей, Танюша. Он такой преданный, нелегко ему.

Танюша приласкалась к дедушке:

– Я думаю, дедушка, что Вася скоро утешится. Ему даже лучше будет.

ДВОЕ

Хотя центром вселенной был, конечно, особнячок на Сивцевом Вражке, но и за пределами его была жизнь, вдаль уходившая по радиусам. Каждый человек цеплялся за жизнь, и каждый считал себя и был центром.

Центром своего мира был и Андрей Колчагин, дезертир великой войны, как говорили раньше, или войны империалистической, как те же люди говорили теперь, бывший комендант Хамовнического совдепа, а теперь командир сборного отряда на войне гражданской. Опять полуголодная жизнь, опять холод, опять вши. Но и разница: в ту войну – раб бессловесный, пушечное мясо, в эту – боец за счастье человечества.

В чем должно выразиться счастье человечества, Колчагин, правда, не знал; но все же теперь и голод, и холод, и вши имели свое внятное оправдание: нужно было победить внутреннего врага во что бы то ни стало, иначе всех Колчагиных ждала жестокая расправа и месть. Теперь враг был реален. Уже не немецкий Ганс, с которым нечего было делить, а тот самый ротный командир, который бил Колчагиных по левой скуле кулаком наотмашь. Впрочем, вперед вела не столько злоба, давно притупившаяся, сколько боязнь за свое будущее. Но сознаться в этой боязни было нельзя – даже перед самим собою. Страх – не знамя. И как прежде для Колчагиных придумывали девизы «За веру, царя и отечество», – так и сейчас писали белым по красному: «За социализм и советскую власть». Слова, как и прежде непонятные и ненужные; но смысл в них, как и прежде, каждым вкладывался свой. Колчагины понимали это так: спасайся сам и спасай своих. И бились Колчагины за страх и за совесть.

Со времени дезертирства своего Андрей Колчагин вкусил многого: вкусил свободы от обязательств, ему навязанных силой, вкусил власти, вкусил жизни легкой, почти барской. И думать научился, – раньше этого от солдата не

требовалось. Полюбил красоту звонкого слова, сам научился говорить его, проникся духом воина-профессионала, понял смысл подвига, малоценность чужой жизни, высокую цену своей. И был теперь Андрей Колчагин на виду, – все пути ему открыты; не серый солдат, один из тысяч и миллионов, а избранная единица, с которой говорят человеческим языком, которую величают товарищем. Одно сознанье того, что не добытые в училище или по барскому положению погоны, а лишь личная доблесть, то есть сметка и смелость, выдвигают человека на большой пост, – одно это сознание решало для Андрея Колчагина и многих других Андреев, на чьей стороне их место, их любовь и надежда. Может быть – на поверку – было это и не совсем так, но там, в стане золотопогонников, не нужна была и проверка. Там был у Колчагиных опыт верный, необманный и тяжкий, – здесь же все было ново и все возможно.

Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой была своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину и революцию поруганными новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием, – и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд.

Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности.

Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада.

Были герои и там и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние.

Было бы слишком просто и для живых людей, и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой: но были и бились между собой две правды и две чести, – и поле битв усеяли трупами лучших и честнейших.

. . . .

В эти дни пал молоденький юнкер, которого все звали Алешей, – мальчик сероглазый, недавний гимназист. Убивал

с другими – и был убит сам. Лежал на спине, и взор его невидящий глядел в небо, – за что так рано? Пожить бы еще хоть малый ряд денечков! И уже была украшена грудь его Георгиевской ленточкой – за подвиг в братской бойне. Погиб Алеша!

В эти дни был убит и солдат – командир, герой красного знамени Андрей Колчагин. Тяжело раненный в голову, он споткнулся о труп Алеши и упал рядом.

Не спросив их имен, не взвесив их святости и греховности, – одним пологом заботливо прикрыла их вечная ночь.

ВЛАДЕНИЯ ЗАВАЛИШИНА

Когда не было операций, Завалишин ходил по коридорам и комнатам места службы сонный, опустившийся, с опухшими глазами. Знали его все, но настоящих приятелей у него не было. Были и такие, которые сторонились от него, никогда не здоровались за руку, а то и старались не замечать: отпугивало их страшное ремесло Завалишина.

Заходил иногда в комендантскую и в канцелярию, молча садился на лавку, спрашивал, когда будет выдача продуктов и когда получать по требовательным ведомостям. Ведомости он составлял аккуратно, кривым, но ясным почерком после каждого случая: отмечал число месяца, число штук и номера ордеров, прилагая и документ. В этом отношении был Завалишин строг и даже в пьяном виде не выполнял работы, не получив оправдательного документа с подписью и печатью.

У Завалишина была одна, Анна Климовна, к которой раньше хаживал он по субботам, теперь он ее поселил у себя на квартире, но видел ее больше днем, в обеденный час. Женщина еще молодая, но хозяйственная, степенная. О профессии Завалишина знала точно, но особого интереса к этому не проявляла. Узнала, подивилась и сейчас же привыкла; хороший же заработок сожителя ее радовал. Хоть и не любил он говорить о своей работе, – все же старалась расспросить, много ли предвидится на очереди, не прибавят ли с головы на дороговизну и по случаю того, что деньги опять подешевели. С интересом смотрела, когда сожитель возвращался с работы в новом костюме или новых сапогах; знала, что по обычаю получал он освободившуюся одежду. Прилаживала, выпускала рукава, если коротки, мыла принесенное нечистое белье. Всё – спокойно, степенно, хозяй-

ственно. Когда Завалишин возвращался домой пьяным – укладывала спать, не очень ругая, понимала, что такая уж работа, непростая, не выпивши – трудно. С преддомкомом Денисовым установила Анна Климовна добрые отношения; может быть, даже принимала его, когда выдавались у Завалишина особо рабочие дни и он почти не заходил домой.

Особо рабочие дни выдались в августе и сентябре, когда ликвидировали бандитов. В эти дни Завалишин трезвым работать отказывался. Водку для него всегда припасали, – даже не приходилось самому заботиться. Случалось и днем работать. Однажды пошел Завалишин на Сретенку в вещевой склад получать по ордеру фуражку и не успел выбрать по голове, как за ним прислали. Нехотя пошел, кончил дело, написал и сдал ведомость, – а когда вернулся на склад, все лучшие кожаные фуражки уже разобрали. Долго ворчал, не мог успокоиться.

Пропуск имея повсюду, как человек нужный и важный, с особой охотой заходил Завалишин в надворный флигель дома номер четырнадцать, где помещалась общая подвальная камера, прозванная Кораблем смерти. Сюда его тянуло больше потому, что в яме чаще всего сидели бандиты, народ понятный, аховый, о котором сомнения быть не может. В политиках Завалишин не разбирался, не понимал ясно, почему одни сидят, другие на воле, третьих выводят в расход. Здесь же доступнее, вроде как бы свои; либо ты его, либо он тебя. Хорошо ругаются, друг друга знают и на смерть идут параднее, только обязательно просят выкурить папироску. Многих из них знавал на воле «комиссар смерти» Иванов и о многих рассказывал Завалишину истории. И очень удобно рассматривать их сверху, с балкона, окружающего их яму. Иных знал в лицо – давно сидели.

Знали в лицо и Завалишина. Когда он подходил, праздный, скучающий, тупой и равнодушный, – внизу, в трюме Корабля, воцарялось полное молчание, еще более мертвое, чем когда приходил комиссар Иванов, вызывавший по спискам, сам из бандитов и, быть может, потому для многих сидевших – как бы человек близкий.

По всем этим помещениям Завалишин гулял лишь в свободное время, когда не был очень пьян и когда было скучно от безделья. Местом же главной его работы был низкий и темный подвал в том же доме, но только с особым входом со двора; со стороны Малой Лубянки – от ворот налево первая дверь.

Приходилось, впрочем, работать и в гараже Варсонофь-

евского переулка, близ церкви Воскресения. Помещение куда светлее и просторнее, но было оно Завалишину как-то не по душе, менее привычным, чужим. Первое же время, когда для операций увозили за город, приходилось Завалишину вместе со всеми приговоренными иной раз в куче на одном грузовике кататься в Петровский парк. Это уж совсем было хлопотно и неудобно, – но по новому делу надо было привыкать; да и работал он тогда не один. Позже ввели обычай увозить за город не людей, а уже «жмуриков», и не прямо с места операции, а через лефортовский морг.

У себя, в главном своем помещении, в подвале, работал Завалишин один, безо всяких помощников: какая может быть помощь в таком деле, только суета и лишний разговор. Как полагается, провожали к нему до коридорчика, подталкивали к открытой двери, сами выходили обратно и наружную притворяли, пока не кончит; а остальное было его единоличной заботой, – и ничего, никаких недоразумений не случалось особенных, шел каждый сам на свет из темного коридорчика. Ордера Завалишин получал раньше на руки: по ним и принимал клиентов, с фамилией не справляясь, но по точному счету, ни больше ни меньше.

В свободное время Завалишин редко заходил в подвальчик – не любил его. Только – случалось – забирался сюда совсем пьяным, замыкался на ключ, садился на лавку против пулями изрытой стены и выл невеселые песни, а то и стрелял, просто так, чтобы пахло порохом, а не одной подвальной кислятиной. Но не спал здесь – боялся привидений. Ключ от подвала всегда носил при себе, выдавая только для уборки бабам; мужчины уборки гнушались.

Почти никого из высокого своего начальства Завалишин не знал, да и не стремился узнать. На собрания, выборы и митинги не ходил, ничем посторонним, помимо прямого своего дела, требовательных ведомостей и выдач, не интересовался, даже в списках служащих значился простым надзирателем. Но как ни мал он был, он твердо знал, что он среди всех других – человек особенный, самый нужный и самый независимый, которого потому и кормят, и задаривают, и боятся. Безо всякого другого обойтись можно, и всякого другого можно заменить. Но нельзя обойтись без Завалишина, и заменить его некем, во всяком случае – не скоро найдешь. Поэтому Завалишин, в припадках скуки и в дни бездействия, позволял себе капризы и не раз грозился бросить работу. Тогда ему увеличивали расценку или просто задабривали его бутылкой хорошего спирта.

Дни особой, исключительной работы выпали и в октябре, после взрыва в Леонтьевском переулке. Это были настоящие страдные дни.

У САНОВНИКА

Было очень холодно. Но, по счастью, у Танюши сохранились старые ботики. Когда приходилось выезжать в рабочие районы на концерты, Танюша надевала валенки поверх башмаков и снимала их только перед тем, как выходить на эстраду. Исполнив свой номер и на бис, она с наслаждением снова прятала ноги в теплые валенки и так ждала, пока подадут грузовик, чтобы развозить по домам участников вечера.

Но идти в Кремль в валенках Танюша не решилась: все-таки – в Кремль. И старые ботики пригодились.

У Троицких ворот солдат взял пропуск, отнес в каморку и вынес обратно с печатью. Затем Танюша по тропке, протоптанной у стены дворца, опасливо шла мимо вала чистого, скатанного с дороги снега. Затем через площадь – все по тропке. У ворот прежнего здания Судебных установлений пришлось опять предъявить пропуск. В дверях снова – но уже в последний раз. Внутри здания ей указали дорогу – подняться наверх и идти правым коридором.

Ждать пришлось не очень долго. Секретарь, бегло взглянув на пропуск, взял рекомендательное письмо и сказал:

– Сейчас. Вот присядьте. Вероятно, вас сейчас примут.

Через приемную проходили люди, тепло одетые, но, очевидно, здешние. В комнатах было холодно, и оттого комнаты казались особенно большими и странно пустыми. Себе же Танюша казалась маленькой и затерянной в огромном кремлевском здании. Проходившие оглядывали ее с удивлением и любопытством.

Секретарь вышел и сказал:

– Пожалуйте, товарищ. Вот сюда.

Сказал так вежливо и даже в дверях пропустил Танюшу вперед. Еще никогда Танюше не приходилось посещать важных и властных людей, а в тех советских канцеляриях, куда она иногда заходила по маленьким обывательским делам, было всегда грязно, суетно, бестолково и служащие были озлоблены и невежливы. Здесь совсем по-иному. Раньше же Танюша думала, что все тут, как в крепости, и что всюду она встретит штыки и подозрительность.

Танюша вошла в большую комнату с высоким потолком и почти без мебели: только диван и три кресла у круглого стильного стола без скатерти. На столе телефонная книга и две газеты. Телефонный аппарат на окне. На обоях следы от убранной мебели. В дальнем углу шкап с разбитым стеклом. Здесь было тепло и чисто. Танюше показалось неудобным, что вошла она в ботиках.

Приземистый, скуластый, нерусского типа, начинающий лысеть человек, во френче и в брюках навыпуск, вошел быстро и прямо подошел к Танюше:

– Здравствуйте. Это вы с письмом? Ну вот, сядьте тут. В чем же у вас дело?

– Я хотела просить об одном заключенном.

– Ну, я знаю, тут написано. Вы ему кто, Астафьеву? Какие у вас отношения?

– Он наш друг.

– Кого – ваш?

– Он хороший знакомый мой и дедушки.

– Это – профессора? Ваш дедушка птицами, кажется, занимается?

– Да, он орнитолог.

– Ну, так что же вы насчет этого Астафьева?

– Он напрасно арестован.

– Как это напрасно? Мы напрасно никого не арестовываем. Он взят по очень серьезному делу.

– Астафьев политикой не интересовался. Он философ, а работал в последнее время актером в районах. Я с ним вместе выступала в концертах.

– Вы что, поете?

– Нет, играю на рояле.

– Консерваторию окончили?

– Да.

– Вот у нас бы поиграли на концертах. Мы хорошо платим, продукты даем артистам. Поиграйте у нас как-нибудь.

– Это где? – спросила Танюша.

Человек во френче удивленно поднял белесоватые глаза:

– У нас – в Чрезвычайной комиссии... У нас бывают концерты. Вы не эсерка?

– Я? Нет, я непартийная.

– А зачем же с эсерами дружбу водите, с этим вашим Астафьевым?

– Вовсе он не эсер. Он вообще не политик, я же хорошо его знаю.

– Ну, мы-то знаем его лучше. Так чего же вы хотите?

– Я думала, что, может быть, его можно освободить: он ведь ни в чем не виноват.

– Если не виноват, его и так выпустят, без вашей просьбы.

– Но он сидит уже больше месяца.

– Не беда. И год посидит. Не устраивай заговоров. А вам нечего о нем заботиться. Лучше от таких друзей подальше держаться. Мы его считаем очень опасным врагом советской власти, этого вашего Астафьева. Лучше вам не вмешиваться. Он не жених ваш?

– Нет.

– Так чего же вы о нем волнуетесь?

Потерев лоб, человек во френче сказал:

– Ладно. Я запрошу о нем. Вы где живете?

Танюша сказала адрес.

– Ладно. Зря у нас люди не сидят. Не виноват – выпустят, а если виноват – получит по заслугам, будьте покойны. Вы с Савинковым не знакомы?

– С Савинковым? Нет, не знакома.

Он встал:

– Вам там дадут обратный пропуск.

Человек во френче вынул из карману руку. Танюша быстро отступила и сказала:

– Благодарю вас.

Он снова сунул руку в карман:

– До свиданья. А у нас как-нибудь поиграйте, мы хорошо платим.

В большой приемной секретарь записал еще раз адрес Танюши и выдал ей пропуск:

– Пройдете через Троицкие ворота.

. . . .

Кремль был под белым снегом. Иван Великий высился застывшей громадой. Ярки были золотые головки Успенского собора. Идя по тропинке меж сугробов снега, Танюша опять казалась себе совсем маленькой и такой лишней здесь, в чужом мире. В проходе Троицких ворот солдат взял пропуск и наколол себе на штык.

. . . .

Когда Танюша вышла, человек во френче подошел к телефону и назвал номер:

– Вот что, товарищ Брикман, как у вас там с делом

Астафьева? А что? А вы бы его припугнули хорошенько. Ну ладно, дело ваше. Я все же думаю – лучше выделить. Да. В общую кучу не валите, а там увидим. Да, слушаю. Ну, это конечно, я же вообще ничего не говорю; посидеть – пусть посидит. Ладно. Да нет, тут о нем невеста, что ли, хлопочет; хорошенькая, между прочим, девочка. Ну, пока! Вечером, конечно, буду.

СВИНУШКА

Анна Климовна, сожительница Завалишина, жадной женщиной не была, – этого про нее никто бы не сказал, – но была расчетливой и хозяйственной. Жилось ей отлично, даже не на нынешнюю мерку, а на довоенную. Завалишин приносил домой всякие припасы – в кулях, кулечках, банках, пакетиках, и не дрянь какую, вроде брусничного листа или глиняного мыла, а предметы настоящие, полагавшиеся в паек только самым нужным людям: и белую муку, и липовый мед, и сахар кусками, и из спиртного. И материи приносил, и калоши, и обувь даже по мерке. Давал Анне Климовне и денег, даже помногу, – но деньги в счет не шли, так как назавтра дешевели.

И конечно, никто в доме на Долгоруковской не имел того, что имел Завалишин, даже преддомком Денисов не мог идти с ним в сравнение, хотя и брал подарки справа и слева, и за лишнюю прописанную душу (значит – лишнюю продовольственную карточку), и за поторговыванье в квартире разными припасенными товарами, и так, на всякий случай, уж за одно то, что он, Денисов, – преддомком и, значит, всякому понадобится.

В таких счастливых условиях Анна Климовна могла бы вести немалое хозяйство, и наверно вела бы, если бы, например, был у Завалишина домик на краю Москвы или хоть бы настоящая квартира, хоть в две комнаты с кухней и чуланом. А то ютились они в одной, а две другие комнаты, где раньше жил Астафьев, так и оставались запечатанными. Из маленькой передней никакой комнаты не выкроишь, кухню же, тоже маленькую, Анна Климовна действительно заняла и заставила кулечками и банками.

Думала Анна Климовна завести на кухне кур, как другие делали, но побоялась, что куры будут мешать спать, да и грязь от них, пахнет тоже нехорошо. И зачем? Яиц и так можно раздобыть за свои деньги. Но однажды, узнав, что

одна старая ее приятельница, огородница, откормила большую свинью и нажила на этом целое богатство, – решила сделать то же. Не в богатстве дело, а в том, чтобы иметь настоящее хозяйство, а к праздникам заготовить и закоптить жирные окорока. Все это Анна Климовна, родом с юга, отлично умела делать. На откорм свинушки все соседи с удовольствием будут отдавать бросовую ботву, помои, все, чего даже голодный люд не ест; и в настоящем, для сала нужном корме тоже недостатка не встретится. Когда же малый поросеночек вырастет в большую жирную свинушку, – он сам окупит свое воспитание. О помещении хлопотать не придется. Для начала – кухня; придется поросеночка купать и держать в тепле; на после же Денисов, одобривший хозяйственный план Анны Климовны, обещал отвести одну из малых светлых надворных кладовок в полное распоряжение: все равно пустуют.

Анна Климовна съездила в недальнюю деревню и в обмен на соль, сахар, а главное – на спирт приобрела доброго поросенка.

Вначале было много страхов: не отощал бы, не заболел бы, не погрызли бы его крысы. Когда подрос, все заботы Анны Климовны обратились на то, чтобы свинушку не украли и чтобы она меньше шевелилась, ела бы без передышки и обкладывалась салом. Во всем этом Анна Климовна имела полный успех. Те из соседей, которым она показала свинушку, только ахали и поздравляли Анну Климовну; если бы преддомком Денисов не был лично заинтересован в процветании и безопасности свинушки (ему обещана была доля) и в личном расположении Анны Климовны, кто-нибудь из завистников нашел бы способ испытать крепость завалишинских замков.

Сам Завалишин, всегда дома мрачный и полухмельной, свинушкой интересовался мало. Перед Пасхой за месяц Анна Климовна сводила его в сарайчик посмотреть на крупную, совсем заплывшую жиром свинушку, чистую, мытую, розовую, едва державшуюся на ногах. А за две недели до Пасхи Анна Климовна сказала ему:

– Пора свинушку резать. Пока сало засолим да закоптим окорока – время нужно для этого.

– Надо, так и режь.

– Не сама же я; тебе сподручнее.

– А какое мне до нее дело?

– Как – какое дело. Есть-то будешь.

– Сама съешь. Мне тяжелого нельзя, доктор не велел.

– Али опять плохо, что к доктору ходил?
– Значит, нехорошо.
– Что же он сказал, доктор?
Завалишин мрачно пробурчал:
– Что сказал... Говорит – коли так пойдет, не залечится, то операцию нужно, брюхо вскрывать придется. Пущай бы самому ему вспороли.
– А ты ему верь больше. Мало чего доктора наговорят. Может, и так пройдет.
Завалишин замолчал. Слово «операция» пугало его и потому, что тем же словом на месте службы называлась и его работа. Хотя чаще говорили «в расход» или «с вещами по городу». Как его ни мучили боли в животе, на операцию он все же никак не мог решиться. В последний раз доктор сказал ему:
– У вас с почками совсем плохо; с этим шутить нельзя. Лучше раньше решиться, а то потом поздно будет.
Анна Климовна выждала, когда у сожителя выдался свободный день, и опять заявила:
– Надо нынче обязательно свинушку заколоть. Уж ты пособи мне, тебе привычнее, и силы у тебя больше моего.
Завалишин встал и повязал кобуру с кольтом.
– Нашто берешь? Не стрелять же ее! Нужно ножиком. У меня и ножи отточены, чтобы потом пластать сало. И топор есть.
Когда пришли в сарайчик, Завалишин увидел, что Анна Климовна успела приготовить стол, сооруженный из дверной половины на ящиках, поставила чистое ведерко, запасла ножи, чистые тряпки – все, что требуется для такой «операции». Сама переоделась в дешевое трепаное платье, чтобы зря не пачкать хорошего, и принесла два кухонных передника:
– Надень, а то забрызгаешься.
Сарайчик был с окном, и дверь притворили от взора любопытных: дело все-таки деликатное.
Зажиревшая, едва подвижная свинушка хрюкала, пока Анна Климовна любовно мыла ей бока и вязала ноги.
– Помоги на стол поднять.
Подняли с трудом, и опять Анна Климовна мокрой тряпкой обтерла жирные розовые бока.
Омыв, вытерла насухо руки и голоском просительным и ласковым сказала:
– Ты уж сам, без меня, не бабье это дело. Вон они, ножики...

И попятилась, увидав, как затряслась у Завалишина борода и побелели глаза.

– Ты чего? Чего испугался-то?

Завалишин дрожал крупной дрожью. Пятясь к двери, правой рукой тянул из кобуры револьвер.

– Оставь, говорю, это, разве скотину этим можно, голову испортишь.

Завалишин отнял руку, вдруг ослабел и сел на ящик:

– Сама делай. Не могу я свинью резать. Слышь, как она визжит?

– Какой жалостливый. Животную испугался. А еще мужчина.

– Молчи, Анна, говорю, не могу.

– Чего мне молчать. И без тебя управлюсь.

Анна Климовна взяла большой нож, остро отточенный, левой рукой прихватила в тряпку розовое рыло свинушки, повернула шеей кверху, и сверху вниз, неумело и некрепко, полоснула. Хлынула кровь, свинушка сильно дернулась и завизжала. Анна Климовна заторопилась, опять наставила нож, – но сильная рука схватила ее за плечо и отшвырнула от ее жертвы.

Завалишин, с налитыми кровью глазами, с лицом исказившимся, размахивая кольтом, хрипло кричал:

– Уйди, не трожь, убью!

Она взвизгнула, как взвизгнула перед тем свинушка, увернулась, толкнула дверь и выскочила из сарайчика. Услыхала, как дверь за ней захлопнулась на скрипучем блоке, и, не оглядываясь, побежала к подъезду, где квартировал преддомком.

Минутами тремя позже Денисов с Анной Климовной опасливо подходили к сарайчику. Там было тихо, только слабенько доносился замиравший визг свинушки. У двери оба остановились. Денисов окликнул:

– Эй, Завалишин, выйди-ка на минутку.

Ответа не было.

– Может, зайдете, Анна Климовна, да посмотрите, что он там делает?

– Сами зайдите. Еще застрелит. Совсем рехнулся. Людей может, а животную не может.

Денисов на цыпочках обошел сарайчик и заглянул в окно, заделанное решеткой. Прямо под окном лежала розовая туша, а подале, наполовину спрятавшись за ящик, сидел на полу Завалишин, уставившись глазами на окно. Большой кольт лежал перед ним на ящике.

Денисов живо отскочил и вернулся к Анне Климовне:

– Уж не знаю, как и быть. Может, он и впрямь рехнулся, сожитель ваш. Не лучше ли его на замок запереть да сбегать за милицией?

– Замок-то внутри остался.

– Другой поискать.

В эту минуту ахнул выстрел, и оба они, отскочив от двери, бросились бежать.

За первым выстрелом второй, третий, еще, еще, – Завалишин расстреливал всю обойму. Денисов и Анна Климовна спрятались на крыльце, несколько жильцов пугливо хлопнули дверями.

Затем по асфальту двора застучали тяжелые шаги Завалишина. Он шел сгорбившись, понурив голову, держа руку на кобуре, не оглядываясь по сторонам, – шел прямо к своему подъезду. Вошел, притворил за собой дверь.

Тогда Анна Климовна решилась войти в сарайчик. Вошла и ахнула: сооруженный ею стол был залит кровью, а голова свинушки, чудесная голова, обещанная преддомкому за его заботы и за его охрану, была вся разворочена крупнокалиберными пулями завалишинского кольта.

– Что же это он наделал? Разве можно в скотину стрелять пулями? Безо всякой жалости – всю голову испортил!

И даже прослезилась от искреннего огорчения.

ИЗМЕНА ВАСИ

За стеной у хозяйки пробило семь часов. На часах Васи Болтановского было уже десять минут восьмого; правда, часы его всегда немного убегали вперед, и это было даже удобно: не опоздаешь. Но все же обычно Аленушка заходила в половине седьмого. Могла, конечно, где-нибудь задержаться на пути из больницы.

Вася заложил книжку вышитой закладкой с надписью «На память», вынес в кухню окурки, подобрал с полу бумажки, поправил чехол на кресле. Прошло еще минут пять. Можно было, конечно, зажечь примус и самому заварить чай. Раньше, до болезни, он все делал сам; теперь его немножко набаловала Аленушка, редкий день не забегавшая вечером, после службы, так как жила она поблизости, а дома у нее было неуютно. Так уж вошло в обычай, что вечерний чай пили они вместе и уходила Аленушка только в начале одиннадцатого. После чаю разговаривали или Вася что-нибудь

читал вслух, а Аленушка вязала или шила. Она подрабатывала шитьем, делала простые шляпки, вышивала. Это она и закладку Васе вышила. Она же чинила и Васино белье, – тоже вошло это в обычай, хотя сначала Вася протестовал:

– Я сам все умею.

Но Аленушка показала ему носок с заплатой его собственной работы:

– Разве же так можно! Вы просто стянули все петли в узел к одному месту, и у вас вместо штопки получилась какая-то куколка.

– А как же нужно?

Аленушка распорола Васину работу, вынула из сумочки моток шерсти, а через четверть часа на месте куколки получилась новая заплата – прямо на удивленье.

– Шерсть немножко по цвету не подходит, но это ведь не так важно. У меня другой с собой нет.

Вася посмотрел и ахнул:

– Ну, это действительно замечательно!

Окончательно же победила Аленушка Васю тем, что обшарпанную манжетку она отпорола, подшила, перевернула и снова пришила к рукаву, – и получилась манжетка совсем новая. Вася так был изумлен, что даже молча разинул рот, а Аленушка раскатилась от смеха звонким колокольчиком, хрюкнула и смущенно замолкла.

Но все-таки – зажечь примус или подождать?

Ждать не пришлось, потому что звонок прозвонил трижды; это означало, что пришли к Васе. У каждого жильца было определенное число звонков, чтобы не приходилось отпирать двери чужим посетителям; даже снаружи двери висела бумажка с обозначением, кому сколько раз звонить. К Васе – три.

Аленушка пришла сегодня усталая и немножко расстроенная. Задержалась потому, что в больницу к ним привезли много тифозных:

– И без того класть некуда, а все к нам доставляют.

И еще дома у Аленушки неприятности. Комната у нее большая, превышающая указанную жилплощадь, и теперь домком хочет к ней кого-нибудь вселить, чтобы жили двое. А то предлагает перевести ее в каморку, почти чулан. И она не знает, что делать. Уж лучше и правда в чулан – все-таки хоть одной жить.

– А вот меня не трогают, – сказал Вася. – А такая комната тоже считается для двоих. Впрочем, я могу выправить себе разрешительную бумажку от университета.

– Вам-то хорошо!

Долго быть мрачной Аленушка не умела. Выпив чаю, скоро повеселела:

– Знаете, у вас на носу чернильное пятно, лиловое. Ну, когда я вас научу быть аккуратным!

– Где? – испуганно спросил Вася.

– Где? Я же говорю, на носу. На самом кончике. Вы посмотрите в зеркало.

Вася взглянул в маленькое стенное зеркало:

– Да ничего нет, это только немножко. Я писал сегодня. Послюнил палец и размазал.

– Фу, – сказала Аленушка, – ну как вам не стыдно, а еще лаборант. Идите сюда.

Вынула из своей корзиночки (все-то у нее есть) кусочек материи, смочила в теплой воде и начисто стерла пятнышко:

– Ну вот, больше нет; а теперь утритесь полотенцем.

Но Вася сказал решительно:

– Ничего, и так высохнет.

Дело в том, что глаза Аленушки показались Васе очень красивыми и особенно ласковыми, – раньше он как-то не замечал, а может быть, и не были они такими. И очень не хотелось от Аленушки отходить. Пока она терла ему тряпочкой нос, он придерживал ее за руку, боясь, что тряпочка слишком горячая. Когда же она вытерла, – Васе не захотелось отпускать ее руки.

Аленушка тряпочку взяла другой рукой, а этой не отняла. Рука у нее была теплая, мягкая и маленькая. Сегодня это было тоже по-особенному приятно Васе.

Так они стояли, пока Аленушка не сказала:

– Ну, чего вы. Смотрите на меня, точно в первый раз увидал. Что руку рассматриваете. Рука как рука; а вот еще другая такая же.

Вася взял и другую.

– А если я вас за ухо? Вот так, за оба!

И вся к нему приблизилась. Кофточка на ней была с открытым воротом, а шея была чистенькая и белая.

И тут Вася решил защищаться, – нельзя же, правда, трепать за уши лаборанта университета.

С чтением вслух ничего сегодня не вышло, а больше сидели рядышком, заслонив настольную лампу большой раскрытой книгой в переплете.

Оказалось, что у обоих накопилось много интересных воспоминаний, которыми они раньше не делились. Аленуш-

ка считала удивительно странным, что когда Вася заболел тифом, то именно ей, Аленушке, пришлось за ним ухаживать. А ведь легко могло случиться, что доктор нашел бы для него совсем другую сестру милосердия, например какую-нибудь старуху.

Вася на это сказал:

– Ну уж, очень нужно! Это было бы совсем неинтересно.

– Значит, вы довольны, что это я?

Вася осмелел и показал, что он доволен.

Со своей стороны Вася припомнил, как однажды, после кризиса его болезни, в первые дни ясного сознания, он, проснувшись ночью, смотрел на Аленушку, которая дремала в кресле, и думал, какого цвета могут быть у нее глаза. И почему-то решил, что обязательно зеленые.

– Это у меня-то зеленые? Ну, уж вот какая чепуха вам приснилась.

– Да нет, я не спал тогда.

– Все равно. У меня же ведь глаза голубые, самые настоящие голубые.

– Да теперь-то я вижу.

– Ничего вы не видите. И вообще вы ужасно невнимательны, ужасно. Вы прямо ну ничего не понимаете. И потом – какое право вы имели смотреть на меня, когда я спала?

– Вы сидя спали, в кресле.

– Ну еще бы. Вообще вы невозможные вещи говорите.

Вася даже смутился. Но все же обмен воспоминаниями был настолько интересен, что Аленушка засиделась позже обыкновенного. Только когда за стеной пробило двенадцать, она вскочила испуганно:

– Господи, мне завтра вставать в седьмом.

Простились они не просто за руку, как раньше прощались. Очень это было странно Васе, но и очень приятно.

Ложась спать, Вася слишком потянул рубашку, и она порвалась у ворота. Он подумал: «Экая неприятность! Аленушка будет браниться».

Хотел перед сном подумать о чем-нибудь грустном, как думывал раньше: о том, как он несчастен и как счастливы другие. Но на этот раз у него ничего не вышло. Напротив, набегала на лицо улыбка, и мысли были немножко грешные.

Грешными же они были потому, что сегодня Вася изменил, и измена оказалась сладкой и приятной, а главное – ни для кого не обидной и никому не мучительной.

ВЗРЫВ

Двадцать пятого сентября орнитолог после долгого перерыва снова заглянул в писательскую лавочку в Леонтьевском. Портфель, туго набитый книгами, очень утомил старого профессора:

– Уж позвольте сначала отдышаться. Ничего, я вот на ящике присяду, не беспокойтесь.

– Давно не видно вас, профессор.

– Давненько, давненько не был. Всякие дела препятствовали.

Дела, препятствовавшие старику, заключались в том, что книжные полки и шкапы его опустели. Оставались только ценнейшие для его ученой работы справочники да по экземпляру его печатных трудов. Как ни тяжко было жить, Танюша взяла с дедушки слово, что этих книг он не продаст.

– Да нужно ли жалеть их, Танюша? Может быть, Алексей Дмитрич и правду говорил: не нужна больше никакая наука.

– Нет, дедушка, он и сам этому не верит, так только говорит.

– А уж от меня, старика, и ждать-то больше нечего.

– Перестаньте, дедушка, нельзя так говорить! Не огорчайте меня.

Очень был счастлив дедушка, что внучка верит и в науку, и в него, хоть и старика, а настоящего ученого, не чета всем этим юнцам, чуть не гимназистам, облекшим себя учеными званиями и делающим карьеру в смутное время, на ученом безрыбье:

– Ну-ну, обойдемся как-нибудь.

И однако двадцать пятого сентября, в день роковой и страшный, орнитолог опять принес в лавочку полный портфель.

– А вы и нумизматикой интересовались, профессор?

– Ничего в ней не понимаю.

– У вас тут много любопытного. А по вашей специальности ничего?

– По совести говоря, книги принес не свои. Вроде как бы на комиссию взял. Привык я к вам ходить торговать, – вот и попробовал набрать у знакомых. А уж оценку сами делайте, как всегда. Доверяю вам вполне.

– Из процента работаете, профессор?

– Из процента, скрывать не буду.

И опять никто не удивился в лавочке, что вот старый ученый, с европейским именем, торгует чужими книгами

из процента. И оттого что никто не удивился, стало легче и проще. Значит, нет в этом ничего дурного и можно. Вероятно, и другие сейчас так же делают.

Выйдя из лавочки с пустым портфелем под мышкой, орнитолог оглянулся с довольным видом, – все-таки кое-что для Танюшиного хозяйства очистится. Немного, конечно, так как книги не свои; но зато не свои – не так уж и жалко. Заработан пустяк – а все же заработан, своим трудом, стариковской своей заботой.

У ворот соседнего дома, стоявшего в глубине за решетчатой оградой, дежурил молодой красноармеец с винтовкой. Люди сюда входили, предъявляя бумажку – пропуск.

И профессор, стараясь держаться прямее и ступать увереннее, зашагал к Большой Никитской.

Был и другой фасад у дома, охраняемого солдатом, и фасад этот выходил в садик в Чернышёвском переулке. В саду, отделенном от улицы решеткой, высились деревья с еще уцелевшими желтыми листьями. Ко второму этажу, к его балкону, вела из сада каменная лестница. Калитки с этой стороны не было – никто отсюда не входил.

Когда стемнело, переулок опустел, а в заднем фасаде дома засветились окна. В восемь часов вечера здесь назначено было важное собрание, и к главному фасаду, что в Леонтьевском, подходило и подъезжало много людей. Стояли у ворот и автомобили.

В Чернышёвском же, к заднему фасаду, подошел лишь в десятом часу один человек, поглядел по сторонам и, придерживая карман, ловко перелез через решетку, пригнулся к земле и замер.

С переулка за деревьями не было видно, как темная фигура поднялась по лесенке к балкону и осторожно заглянула в окно. На опущенной занавеске силуэтом очертилась широкая спина, а в щелку виден был край стола, за которым тесно сидели люди.

Тогда темная фигура, откинувшись от стены, взмахнула рукой.

Взрыв слышали даже на окраинах Москвы. В прилегавших улицах были выбиты оконные стекла, а подальше только звякнули.

И граждане, давно привыкшие к ночной стрельбе на улицах, все же сразу сообразили, что это и не ружье, и не пулемет, и, кажется, не пушка.

В доме с двумя фасадами не было теперь крыши и одной из стен.

. . . .

В этот день Завалишин был с утра трезв и мрачен. С Лубянки домой ушел под вечер, так как день был нерабочий. Дома сидел на постели, сняв новый пиджак, недавно доставшийся ему после «операции». Анна Климовна в кухне ставила самовар и готовила закусить перед сном.

Не то чтобы Анна Климовна жадничала, а как-то не могла она примириться с тем, что дверь в комнаты Астафьева все еще стояла опечатанной:

– Сколько времени нет его, может, и совсем не вернется, а комнаты зря пропадают. Может, похлопотал бы, их бы и отпечатали. А и так бы снял печати, ничего тебе не будет за это.

– На что тебе его комнаты?

– А что же нам, в одной жить да в кухне? Набросано добра, а девать его некуда.

– Нельзя.

– А почему нельзя-то?

– Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а комнаты нет. Там его вещи.

– Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем заботливый.

– Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в глаза не видала, а я его знаю.

– Приятель какой.

– А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь покалечил, а я его уважаю вроде как за лучшего приятеля.

Помолчав, прибавил:

– Пивали вместе, ну и что же? Голова умнющая, до всего дошел. А что забрали его – ничего не доказывает. И не тебе, дуре-бабе, о нем рассуждать. Ученый человек – не нам, мужикам, ровня.

– Ученый... Чему тебя научил ученый твой?

– Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, может, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнате одних ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется. И все книги он прочел, про все знает. И между прочим, со мной, с малограмотным, с простым человеком, спирт пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не твоими бабьими мозгами.

Только успел скипеть самовар, как постучал преддомком Денисов и, не войдя, сквозь дверь крикнул:

– Эй, товарищ Завалишин, там за тобой приехали.

– Кто за мной?

– Машина приехала, тебя спрашивают, и чтобы сейчас же выходил.

Завалишин забеспокоился, надел пиджак, снял с гвоздя кобуру с кольтом.

– Чего тебя в неурочный день?

– Бес их знает. У нас всякий день может урочным быть.

– Чаю-то выпил бы.

– Коли требуют. Плесни мне спирту полстакана, там на полке стоит.

И вдруг, разозлившись на беспокойство, крикнул с порога сожительнице:

– А дверь эту и печать ты не трожь! Слышишь? Не в свое дело носа не суй. Комнаты ей, видишь, мало стало, барыня какая.

И, уходя, хлопнул дверью.

ПУСТОТА

После нового допроса, уже четвертого по счету, Астафьева перевели в отдельную камеру.

Допрос был краток. Товарищ Брикман, которого всегда перед весной сильно лихорадило, сидел укутанный в рыжеватый свитер под обычным своим френчем с непомерно широким для его шеи воротником.

Входя, Астафьев участливо подумал: «А и подвело же его, беднягу! И все скрипит и на что-то надеется».

– Гражданин Астафьев, о вас, кажется, хлопочут родственники. Я решил вас вызвать опять; может быть, теперь мы сговоримся.

– В чем сговоримся?

– Вы отрицаете свое участие в заговоре и в том, что у вас скрывался величайший враг советской власти. Ну а скажите, как сами вы к этой власти относитесь? Вы ее признаете?

– А разве она нуждается в моем признании? Я ведь не иностранная держава.

– Вы напрасно отшучиваетесь. Советую вам ответить прямо.

– В нежных чувствах к власти, которая в вашем лице держит меня зря в тюрьме больше полугода, вы меня, товарищ Брикман, вряд ли заподозрите.

– Значит, вы относитесь к ней враждебно?

Астафьев заложил ногу за ногу и откинулся на стуле:

– Враждебно – нет; на это у меня не хватает темперамента. Скорее – презрительно.

– Презрительно к власти рабочих и крестьян?

– Ну, Брикман, бросьте! Какие уж там рабочие и крестьяне, как вам не стыдно глупости говорить.

Следователь дернулся:

– Гражданин Астафьев, я скажу вам прямо: улик против вас мало, только анонимное сообщение о том, что у вас ночевал похожий человек. Но вы, гражданин Астафьев, человек умный, дерзкий и опасный для нас. Вы опаснее маленьких открытых врагов. За вас хлопочут, но я вас не выпущу.

Астафьев почувствовал, как в нем закипает злоба к этому человечку, в руках которого его судьба. Схватить его за тонкое горло, стиснуть – и душа вон.

Он сказал, по привычке скандируя слова:

– Личное чувство в вас говорит, Брикман. Просто – ненависть к здоровому и независимому человеку. Вы – приказчик власти, а я свободный человек, вы дышите на ладан, а я, слава Богу, здоров. Ясно, что вы должны меня уничтожить, хоть и знаете, что обвинить меня не в чем.

Следователь опять дернулся на стуле, покраснел и визгливым шепотом, срываясь в голосе, сказал:

– Да, я дышу на ладан, как вы выразились. У меня грудь разбита в тюрьме прикладами, у меня чахотка. Все это вы гадко сказали, гражданин Астафьев, и, по-моему, непорядочно. Но вас и вам подобных я ненавижу не потому, а потому что... а потому что...

Товарищ Брикман закашлялся, вынул из кармана скляночку, плюнул, спрятал скляночку обратно в карман, вытерся платком и исподлобья, больными глазками взглянул на Астафьева.

– Вот то-то и есть, – сказал Астафьев, – какой уж вы воин! На юг бы вам ехать.

Тяжело дыша, следователь прохрипел:

– В ваших медицинских советах не нуждаюсь.

Пока товарищ Брикман вытирал выступивший пот, Астафьев с тоской оглядывал комнату. Стекла окон были давно не протерты. В углу лежала пыльная груда газет и бумаг, на стене – тусклое зеркало.

– Обстановочка у вас! Хоть бы окна протерли, все свету было бы больше.

Отдышавшись, следователь сказал:

– Можете думать обо мне, как хотите. Одно вам скажу, гражданин Астафьев, неизвестно еще, кто из нас ближе...

Он замялся.

– Вы хотите сказать: к тому свету?

Вместо ответа следователь резко, деловым тоном, подчеркнуто официально сказал:

– Впрочем, я могу вас выпустить, если вы, гражданин Астафьев, согласитесь с нами работать.

Астафьев улыбнулся:

– Пробуете оскорбить? Экий вы неугомонный. Я на вас не оскорбляюсь, Брикман. Куда вам!

– Прекрасно. Можете идти.

Он позвонил. Астафьев встал, одернул мятый костюм, поправил отросшие длинные волосы и, смотря сверху вниз, сказал с доброй улыбкой:

– Правда, Брикман, поезжайте на юг, бросьте эту обстановку и всю эту гадость. Я это не со зла говорю. У вас ужасный вид.

Вошел конвоир.

. . . .

В одиночной камере Астафьев сидел на койке в обычной своей позе: прислонившись спиной к стене и обняв руками согнутые ноги.

Книг не было – читать заключенным не разрешалось. Ни бумаги, ни карандаша, ни даже самодельных шахмат. В общей камере Астафьев ежедневно занимался гимнастикой и приучил к этому других. Здесь не хотелось. Голода не чувствовал, хотя питанье было отвратительным: суп из воблы, разваренное пшено без масла и четвертка хлеба, впрочем, на воле такому столу многие бы позавидовали. Чай морковный, и назывался он кофеем. Давали махорку – это хорошо; за это можно было много простить всероссийской чеке.

В первые месяцы сиденья Астафьев часто думал о том, что его могут «вывести в расход». Но в конце концов мысль эта притупилась и утратила остроту. Хуже всего была общая усталость – и тела и духа. Были в первое время живы образы внетюремной жизни: комнаты с любимыми книгами, московские улицы, вечера на Сивцевом Вражке, странное объяснение с Танюшей, выступления на концертных эстрадах, в прошлом – университетская работа, в дальнейшем прошлом – заграничные поездки. Но и эти образы ушли и стушевались. Не было прежней жажды свободы и даже прежней ненависти к тюремным стенам.

О сегодняшнем разговоре со следователем Астафьев думал: «Замучил я его. Лучше было ударить, чем так. Нехорошо вышло».

Вспоминал эту отвратительную карманную скляночку и морщился от невольного отвращения здорового человека: «И зачем такой живет!»

А зачем живет он, Астафьев? Какой смысл в его жизни? Не все ли, в сущности, равно, ликвидирует ли его на днях товарищ Брикман или выпустит жить дальше?

«Довольно ты мучился, довольно ворчал и довольно изображал из себя обезьяну. Что тебя волнует? Видеть все это три года или сто лет – совершенно все равно».

И еще говорит Марк Аврелий:

«Если бы было тебе суждено прожить три тысячи лет и еще столько-то десятков тысяч, – все-таки помни, что человек теряет только ту жизнь, какую он живет, и живет только ту жизнь, которую теряет. И никак он не может потерять ни прошлого, ни будущего: как потерять то, чего не имел?»

А царь Соломон:

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем».

«Как странно, – думал Астафьев. – Сколько есть веселых и бодрых книг, сколько блестящих и остроумных философских истин, – но нет ничего утешительнее Экклезиаста».

В коридоре гулко раздался стук; вслед за тем шаги и голос сторожа:

– А ну, стучи! А ну, стучи эщэ!

Латыш не мог сразу разобрать, в дверь какой камеры стучат.

– А ну, стучи!

Знакомый Астафьеву окрик. Кто-нибудь из заключенных добивался особой льготы: лишний раз, вне отведенного времени, выйти в уборную. Но, кажется, не пустили. Вот, вероятно, страдает бедняга арестант.

«Если страданье невыносимо – оно убивает. Если оно длится – значит, переносимо. Собери свои душевные силы – и будь спокоен».

Так должен утешать себя философ. Да, обывателю есть за что ненавидеть философа.

«В сущности, – думал Астафьев, – мне глубоко чужды всякие контрреволюционные мечтания. Я презирал бы народ, если бы он не сделал того, что сделал, – остановился бы на полпути и позволил ученым болтунам остричь

Россию под английскую гребенку: парламент, вежливая полиция, причесанная ложь. И все-таки Брикман прав: я враг его и их. Ведь все равно, кто будет душить свободную мысль: невежественная или просвещенная рука, и будет, конечно, душить «во имя свободы» и от имени народа. А впрочем, – все это скучно».

Если бы в этот момент пришли и сказали: «По городу с вещами», – пульс Астафьева не ускорился бы.

Думал дальше:

«Все эти наши события – революция, казни, борьба, надежды, и весь наш быт, и все наше бытие – ведь это только... чиркнула крылышком по воздуху ласточка, и на минуту остался зрительный след. Но не более, не более, не более. Ну а что же есть, что реально? Только – пустота. Отжатая мысль, сама себя поглотившая. Круглый нуль и пусто-та».

– Пу-сто-та.

Астафьев вытянул ноги, закрыл глаза и стал дремать.

ВСТРЕЧА

К ночи привезли многих из Бутырок, лагерей и других мест заключения. Спешно перевели из Корабля смерти арестованных по пустяшным делам и в качестве свидетелей. Их место заняли те, кто должны были как заложники и как опасные нести быструю расплату за взрыв в Леонтьевском переулке. Списки составлены были наспех, по пометкам следователей и усмотрению коллегии. Требовалась репрессия быстрая, немедленная, устрашающая. Об ошибках и случайностях думать не приходилось. Личность и имя человека не были важны, – важно было заполнить именами намеченное число.

Ради быстроты отправили несколько грузовиков в Петровский парк; большую партию прямо из Бутырок отвезли в Варсонофьевский гараж. И все же многих пришлось оставить для подвала, где работал Завалишин.

Привезенные знали, зачем их привезли: слух о взрыве донесся до тюрьмы. Впрочем, сегодня, в общей суматохе и спешке, конвоиры не скрытничали. Сами бледные и взволнованные, они подгоняли арестованных и то и дело нервно хватались за кобуры.

В яме Корабля, тесно набитой, было тихо. Только один, болезненный, плюгавенький, переходил от нар к нарам и

быстрым шепотом доказывал, что он попал случайно и что его, конечно, никуда не пошлют. Его выслушали молча, не пытаясь утешать, думая только о себе, прислушиваясь к шагам наверху.

В третьем часу утра к перилам балкона подбежал комиссар с тремя конвойными. Он тоже захлопотался и деловым тоном крикнул:

– Эй, вас тут сколько?

Часовой ответил:

– Шестьдесят семь здесь.

– Как шестьдесят семь? А яму копать послали на девяносто!

Посмотрел недоверчиво, затем хлопнул себя по лбу:

– Верно. Еще двадцать три пришлют из Особого отдела. Все девяносто и есть.

И, успокоившись, ушел деловым шагом.

На ближней полке сидел старый генерал, седой и обдерганный, и прилежно шлифовал обшлагом ногти. Одному не хватило места сидеть; прислонившись к стене, он часто вынимал гребешок и расчесывал пробор. Приземистый мужчина разложил на большом полированном столе прямо под лампочкой бумагу с ломтиками сала и молча ел, как бы боясь, что не успеет кончить остаток присланного ему в тюрьму женой запаса. Еще один, сидя, подперев голову и закрыв лицо руками, мерно качался. Черный человек, сжавшись, быстро оглядывал всех, щурил глаза и время от времени блестел зубами, словно бы пытаясь улыбнуться. Несколько человек лежало на нарах, руки заложив за голову. Никто не раздевался.

В начале четвертого опять прибежал, громко стуча каблуками, «комиссар смерти», на этот раз без списка, и крикнул конвойным:

– Давай двоих!

На нарах вскочили. Черный человек блеснул зубами. Кто-то быстро замахал руками перед лицом. Старый генерал наклонил голову и опять стал медленно шлифовать ногти обшлагом. Взяли его и плюгавенького, который подбежал объяснить, что попал сюда случайно. Обоих увели быстро, подталкивая на винтовой лестнице.

. . . .

Завалишин был пьян и страшен. В перерывах работы валился мешком на лавочку, стоявшую налево от входа, в углу, хватал бутылку и отпивал глоток. Когда снаружи окли-

кали: «Принимай!» – тяжело поднимался; осматривал кольт и подходил к двери, внутри прислонясь к косяку. По коридорчику подвала слышался топот ног: двое вели, один шел сзади, держа дуло у затылка. Шагов за пять останавливались, и задний кричал:

– Айда, иди прямо, да живей.

И тогда Завалишин поднимал руку...

. . . .

Под утро стали приводить из Особого отдела. Два раза в подвал, где работал Завалишин, заглядывал комиссар Иванов. Внутрь не заходил, окликал перед дверью, косясь на асфальтовый желоб у самой стены:

– Ты здесь, Завалишин?

– Здеся. Все, что ли?

– Погоди малость. Скоро будут все. Бутылку принести тебе?

– Не надо. Посылай скорей, кончать надо.

И скоро опять раздавался оклик:

– Эй, принимай!

– Айда, – отвечал пьяный голос из подвала.

После каждых трех – приходили выносить.

. . . .

– Эй, принимай!

Завалишин, стараясь твердо стоять на ногах, подошел к двери и поднял кольт.

Топот ног прекратился, и один, мягко и ровно ступая, подходил к двери в подвал. Когда в дверях показалась рубашка, Завалишин осипшим голосом скомандовал:

– Вертай направо!

Вошедший повернул голову на окрик, и рука Завалишина опустилась.

Шаги в коридорчике замерли, и хлопнула входная дверь. Смертник и палач смотрели друг на друга. Завалишин затрясся всем телом и едва не выронил кольта.

Смертник, всмотревшись, улыбнулся страшной улыбкой:

– А, старый знакомый! Ну, как живем, Завалишин?

Белыми пьяными губами тот пробормотал:

– Алексей Дмитрич...

– Он самый, сосед ваш.

Оба на минуту замерли в молчании.

Астафьев обвел глазами подвал, брезгливо взглянул себе под ноги – на скользкий пол – и сурово сказал:

– Ну, что ж, все равно, кончай, что ли.

Закрыл глаза и ждал, сжав зубы. Слышал рядом глухое бормотанье.

Тогда Астафьев сжал кулаки, резко повернулся к пьяному палачу и крикнул:

– Слышишь, негодяй! Кончай скорей! Иначе вырву револьвер и пристрелю тебя, как собаку. Кончай, трус проклятый!

Завалишин поднял руку и опустил снова. Пьяные глаза его были полны ужаса.

Обычным своим голосом, полным насмешки и презрения, Астафьев громко и раздельно произнес:

– Эх, Завалишин! Говорил я вам, что ни к чему вы не годны. А еще хвастал. Человека пристрелить не может. Ну, что же теперь, идти мне спать?

Пройдя мимо палача, он сел на его лавку и опустил голову. В тот момент, когда Завалишин снова поднял кольт, Астафьев быстро взглянул ему прямо в лицо и рассмеялся:

– Ну, то-то! Наконец-то. Ну – раз, два... Ну же, мерзавец, ну же... пли!

OPUS[1] 37

В кухне неистово, наперебой шумели два примуса. Две хозяйки только что поссорились из-за того, что у одной из них оказалась обломанной иголка для прочистки примуса; теперь они не смотрели одна на другую и не повернули головы, когда в кухню вошел Эдуард Львович.

Тряпочка Эдуарда Львовича, рваная и грязная, висела между дверью и плитой. Он взял ее брезгливыми пальцами, хотел встряхнуть, но постеснялся и унес к себе.

Эдуард Львович пытался поддерживать в своей комнате порядок и чистоту. Но у него не было половой щетки; ее кто-то либо сжег в печурке, либо просто похитил. У Эдуарда Львовича не хватило энергии произвести расследование среди жильцов уплотненной квартиры. Он примирился с пропажей и управлялся теперь одной тряпочкой, мыть которой не умел.

Тряпочкой Эдуард Львович стер пыль сначала с крышки рояля, потом с нотной этажерки и со стола. Затем, наклонившись с натугой, тряпочкой же помахал по полу в сто-

[1] Opus – труд, произведение, сочинение композитора при порядковой нумерации *(лат.)*.

рону печки. У самой печки собралась кучка пыли и каких-то ниток. Эдуард Львович собрал сор на листик твердой нотной бумаги и ссыпал в печурку.

Уборка была закончена.

К клавишам рояля Эдуард Львович пыльной тряпкой никогда не прикасался: только носовым платком, который потом он встряхивал и клал обратно в карман. Клавиши были священны.

Открыв их, он пристроил на пюпитре нотную рукопись с заголовком «Opus 37» и рядом положил карандашик.

«Opus 37» – последнее, что написал Эдуард Львович. «Opus 37» был закончен, и вряд ли теперь карандашик мог понадобиться. «Opus 37» – странная, лишенная мелодии, написанная всего в три дня вещь, совсем новая и неожиданная даже для самого Эдуарда Львовича.

Раньше он с негодованием отверг бы такую больную и тревожащую нервы музыкальную пьесу, – теперь он сам оказывался ее автором.

Вступление понятно и законно; так начинается многое. Во вступлении есть логика и внутреннее оправдание. Но вдруг тема, едва намеченная и лишь начавшая развиваться, прорезывается... как бы это объяснить... какой-то музыкальной царапиной, раскалывающей ее затем сверху донизу. Тема упрямо хочет нормально и последовательно развиваться, но царапина углубляется, рвет натянутые нити музыкальной пряжи, треплет концы, путает все в клубок трагической неразберихи. Момент отчаянной борьбы, исход которой неведом.

Теперь – самое основное и самое страшное по последствиям. Нити выправляются, концы вытягиваются из клубка, уже слышен авторитетный волевой приказ (басы!), и вдруг – полный паралич логики: именно в волевых басах рождается измена! Это был только ловкий обман, обход с тыла.

Когда Эдуард Львович играет эту страшную страницу, он чувствует, как его старое и усталое сердце замирает, почти останавливается, как шевелятся на затылке остатки волос и подергиваются надбровные дуги. Страница преступная, непозволительная, – но это же сама правда, сама жизнь! Тут нельзя изменить ни одной шестнадцатой! Композитор – преступник, но композитор – творец. Слушатель и служитель истины. Пусть мир рушится, пусть гибнет все, – уступить нельзя. Рвутся все нити, сразу, скачком; далеким отзвуком тушуются и быстро умолкают концы музыкальной

пряжи, тема мертвеет и умирает, – и рождается то новое, что ужасает автора больше всего: рождается *смысл* хаоса. Смысл хаоса! Разве в хаосе может быть смысл?!

От Эдуарда Львовича зависит вырвать из тетради, смять, растоптать, изодрать в клочья эти последние страницы, этот продукт дикой измены всему его прошлому, традициям старого классического музыканта, преемника и ученика великих. Но сил для этого нет: преступник любит свое преступление. Если бы сейчас, тут же рояль Эдуарда Львовича окружили возмущенные тени Баха, Гайдна, Бетховена, Моцарта и если бы они стали вырывать у Эдуарда Львовича его рукопись, осыпая его проклятьями и добивая презрением, – он стал бы отбиваться руками, карандашиком, пыльной тряпкой, подмял бы под себя свою тетрадку, – но, пока жив, не отдал бы ее никому, ни живым людям, ни теням умерших, ни даже тени своей матери. Если бы она, плача, умоляла его, – он сам бы истек слезами, умер, но уступить не мог бы – даже ее мольбам. Вот она – трагедия творчества!

Доиграв до конца, Эдуард Львович вскочил с места, потер руку об руку, растерянно оглянулся и в волнении пробежал комнату из угла в угол. Повертываясь, зацепился пиджаком за угол нотной этажерки, испугался, поднял упавшую тетрадь и далее не знал, что делать. Нет сомнения, что «Opus 37» – изумительное произведение.

Изумительное, да. Но кем нашептано? Дьяволом? Смертью? Не пуля ли, однажды влетевшая ночью в его комнату, пробившая окно и застрявшая в штукатурке под обоями, – не она ли просвистала ему, что в хаосе *может быть*, что в хаосе *есть* смысл! В смерти *есть* смысл! В безумии, в бессмыслице – смысл. Нелепость седлает контрапункт, бьет его арапником и заставляет служить себе, – разве это возможно!

Белая ниточка у печурки осталась неподобранной. Эдуард Львович наклонился, подскреб ее ногтем музыкального тонкого пальца и бросил в открытую дверцу. Разогнулся не без труда – болела поясница. И вдруг, бросив взгляд на ноты, раскрытые на пюпитре рояля, он понял: гениальное постижение!

От неожиданности он открыл рот, хлопнул глазами и произнес вслух и внятно:

– Я – гений. «Opus 37» создан гением.

Эдуард Львович сел на стул у стены, положив руки на колени. Из кухни доносилось шипенье примусов и ругливая

воркотня жиличек. Но Эдуард Львович ничего не слыхал. Он сидел, подкошенный странным, внезапным сознанием того, что «Opus 37» – гениальное постижение музыканта. Этот момент совпал с приходом старости, – возможно ли? И еще беспокойная уверенность: они не поймут, никто не поймет его последнего постижения.

Был уже вечер, когда Эдуард Львович, забывши пообедать, двигаясь тихо, как бы боясь расплескать чашу полноты и откровения, натянул на худые плечи пальто на клетчатой подкладке, боком надел на голову широкополую свою шляпу и, оглядев комнату невидящим взглядом, отворил дверь и вышел.

Эдуарду Львовичу нужен был свежий воздух. «Opus 37» остался лежать на пюпитре рояля.

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Вставало солнце, бесстрастно подымалось до зенита и опускалось к западу. Лето сменялось осенью, прекрасной в деревне, хмурой в городе. Зима сковывала воды, заносила дороги, погребала опавшие листья. Теплело – и опять возвращалась весна, обманывая людей надеждами, богато одаряя природу зеленой мишурой, – часы с кукушкой считали минуты, следили за спокойным движением двух стрелок, не оставлявших никакого следа на круге, размеченном двенадцатью знаками.

Уходили на вечный отдых те, кому пришло время, зарождались новые жизни; открывались новые раны, ныли, рубцевались; затихали вздохи и сменялись первой радостью; новые страхи вставали в сумеречный час; в потоке жизни барахтались люди, смытые с наскоро сколоченных плотов. Текла с привычным шумом река Времени, – часы с кукушкой, старые часы профессора, тикали секунды, равнодушно и степенно разматывали пружину, повинуясь тяжести подвешенной гири. Каждый час и каждые полчаса из крохотного домика выскакивала деревянная кукушка, кивала головой и куковала, сколько полагалось. И профессор говорил:

– Как думаешь, Танюша, не пора ли дедушке твоему в постель? Я еще почитаю немного у себя перед сном.

– Конечно, дедушка, идите.

– Петр-то Павлович поздно вернется?

– У него, дедушка, сегодня заседание, и раньше полуночи не кончится.

– Ты ничего, не скучаешь?

– Нет. Я посижу немного и тоже буду ложиться.

– Ну-ну.

Ослабел старый орнитолог. Да и годы его немалые.

Из дому выходить стал реже. Однако сегодня выходил. И случилась ему маленькая радость.

На Арбате, на углу, увидал профессор женщину с лотком, прикрытым чистой тряпочкой. А из-под тряпки высунулась румяная булочка – настоящая, из белой муки, как раньше делали. Женщина оглядывалась по сторонам с боязнью: не завидится ли поблизости милиционер. Неизвестно, какой попадется, как неизвестно, можно ли торговать булочками на углу улицы.

И вот профессор, нащупав в кармане пачку бумажек с большими цифрами – сотни тысяч, миллионы, – подошел и робко приценился. Женщина тоже боязливо ответила ему. И профессор одну булочку купил, заплатив, сколько она выговорила.

Дальше и гулять не пошел, а скоренько старыми ногами засеменил домой. Это – для Танюши, для милой и заботливой внучки, – первая белая булочка. Как подснежник! Не для вкуса, а для радости: ведь вот все-таки настоящая белая булочка, какие прежде были!

– Уж ты, пожалуйста, скушай при мне.

– Пополам, дедушка.

– Никаких там пополам, все тебе. Ты скушай и запей молоком.

– Дедушка, это уж баловство, я одна не стану. Знаете, я сейчас подогрею немножко кофе, и мы вместе. Ну, дедушка, пожалуйста.

– Ну, разве уж маленький кусочек. Вот жаль, что Петра-то Павловича нет. И он бы с нами...

Съели булочку, как просвирку: крошки собрали на ладонь – и в рот.

– Все-таки, Танюша, вот и булочки появились.

– Сейчас, дедушка, вообще легче стало; все можно достать, только нужны деньги.

– В прошлом-то году у нас была, кажется, белая мука, это которую тогда Вася привез.

– Да, была. Я даже пирожки испекла один раз.

– Помню, помню, пирожки. Как он теперь, Вася? Давно к нам не заглядывал.

– Я думаю, что ему хорошо. О нем Елена Ивановна заботится, она хозяйственная.

– Что ж, он того стоит, Вася. Он хороший человек. И Елена Ивановна тоже хороший человек, простой и хороший. Вдвоем им легче.

Вот и Вася не одинок. И о Танюше есть кому позаботиться, если покличет с того света Аглая Дмитревна:

– А что, старик мой милый, не пора ли и тебе на покой?

Хлопнула на часах маленькая дверца, и кукушка назвала, сколько еще ушло в вечность минут.

Дедушка спит, удобно положив седую бороду поверх простыни. Танюша не ложится, – ждет, когда вернется с заседания Петр Павлович.

Вспомнить бы: к чему себя готовила, к какой жизни? Не к случайной же только встрече с тем, кто всегда приходит и жданно и неожиданно. Ну что же, все это еще вернется, придет снова: наука, музыка. Это только пока приходится думать о том, как и чем будет завтра сыт дедушка, чем порадовать милого и близкого человека, когда он вернется усталый с работы на заводе или с вечернего заседания. А разве это не плод долгого ученья – ее концерты в рабочих клубах? И разве это не настоящее дело? Эдуард Львович, правда, хмурится и брюзжит:

– Вы погубите свой тарант! Нерьзя так относиться к музыке.

О, он большой авторитет в музыке, старый Танюшин учитель. Но что он понимает в жизни? Была ли ему когда-нибудь знакома гармония нежданных, нелогичных, случайно родившихся созвучий? Любил ли он когда-нибудь не «вообще», не свое музыкальное создание, а реального, живого, вот этого человека?

Кукушка вылетает из дверцы и считает прожитые сегодня часы. Но только сегодня. О днях и годах, прожитых уже совсем лысым, уже начавшим горбиться Эдуардом Львовичем, кукушка ничего не знает. Может быть, тайны никогда не было, а может быть, когда-нибудь и была она у старого музыканта.

Как много было тайн и в детстве Танюши, – и как просто стало теперь! Все понятно и все обыкновенно. И сама она, Танюша, – совсем обыкновенная, как все; просто – женщина. Это не обидно, а хорошо. И любит она человека тоже обыкновенного, самого простого, каких, вероятно, очень много. Хорошего, честного, дельного, умного, – но таких же, как он, могло пройти мимо Танюши много. Почему именно он ей стал так близок и так люб? Простой случай? Нет, значит, так было нужно. И так – на всю жизнь?

Ничего про это не может сказать кукушка. Она знает только счет прошлого. Она уже отметила наступившую полночь и начавшийся новый день. Теперь стрелка часов подходит к первому получасу.

Но прежде чем кукушка откинула дверцу домика, в передней негромко щелкнул английский затвор.

«Пришел. Ну вот, и все хорошо...»

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В хирургическую лечебницу на Остоженке поступил новый больной. Привезла его на извозчике женщина, степенная и заботливая, вероятно жена. Когда в конторе записывали, сказала:

– Уж, пожалуйста, чтобы поаккуратнее, а мы платить можем. Если угодно – хоть даже какими продуктами, мучкой или чем другим. Хотя мы из простых людей, но место он хорошее занимает, ответственное.

Больного, грузного, немного опухшего, но сильного телом бородача вымыли в ванне и уложили в отдельной комнате, в номере девятом. Он стонал и очень мучился, – был припадок почечных колик, нужна была немедленная операция. Едва отвечал на вопросы, на доктора глядел из-под бровей, недоверчиво и боязливо.

Когда его осмотрели, охая, спросил:

– Помру али как?

– Зачем вам помирать? Вот сделаем операцию, и поправитесь. У вас в почке камни и гной, запустили болезнь.

– Резать, значит?

– Ничего, не бойтесь. Под наркозом будет, ничего и не почувствуете.

Операция была очень трудной и сложной. Когда грузное тело больного положили на стол, он обвел глазами врачей и сестер, покосился на приготовленную маску, глухим голосом сказал:

– А может, и так прошло бы? Помирать-то не больно хочется.

Когда наложили маску, замычал, затряс головой, но скоро успокоился. Засыпая, бормотал невнятное.

Спустя полтора часа больного перенесли на носилках в его комнату.

Проснувшись, он лежал не шевелясь, поводя глазами туманными, как бы пьяными.

Зашедшей под вечер жене сказали, что операция прошла благополучно, но что больной слаб, беспокоить его нельзя. Вот посмотрим, как будет завтра.

– А как, опасно? Помереть не может? Вы уж позаботьтесь, а мы можем хорошо заплатить.

– Опасность, конечно, всегда есть. Операция тяжелая и крови много потерял. А он как, пил сильно?

– Пил, конечно. У них по службе обязательно пить приходилось.

– Какая же такая служба?

– А уж такая служба, ответственная. По ночам больше работал.

– Что пил – это плохо.

– Понимаю. Я ему тоже говорила. Может, с этого и вышло.

Адрес женщины записали: указала дом на Долгоруковской, а спросить Анну Климовну, все знают, и преддомком знает, приятели.

В чистой комнате неподвижно лежал больной Завалишин и смотрел в потолок. Боли особенной не было, но была в голове тупость и отдавалась по всему телу. Тугим мозгом шевелил нехотя, и настоящих мыслей не было. Когда входила сестра, а особенно когда в белом халате появлялся доктор и откидывал одеяло, Завалишин смотрел по-прежнему недоверчиво и подергивал бородатой скулой.

На вторые сутки в обеденное время больной, лежавший в полузабытьи, вдруг громко застонал; лежал бледный, совсем белый: видно на лице каждый волосок. Сестра вызвала дежурного врача. При осмотре увидели, что бинты намокли от крови. Врач распорядился осторожно перенести больного в перевязочную. Оказалось, что лигатуры, наложенные на большие почечные сосуды, соскочили и не прекращается паренхиматозное кровотечение.

С большим трудом удалось снова наложить лигатуры на более крупные сосуды, а на остальные и на кровоточащую клетчатку наложить временные клеммы.

Врач сказал сестре:

– Вы от него не отходите, следите внимательно. Положение опасное, он много крови потерял. Через сутки, когда образуются прочные тромбы, можно будет попытаться осторожно снять зажимы и оставить рану под тампоном.

Завалишин слышал голоса и непонятные ему слова, но был сам как в тумане. Боль была тупая, но шумело в ушах и в висках стучала непрерывная колотушка. И была тоска, тягучая, сосущая, гнавшая сон и покой.

Опять заходила Анна Климовна справиться, – но ничего определенного и утешительного сказать ей не могли.

Надежды врачей не оправдались. Когда через сутки хотели снять клеммы, оказалось, что тромбы не образовались даже в перевязанных сосудах. Там же, где были наложены клеммы, перерожденные ткани и сосуды явно омертвевали. Снова перевязки найдены были промокшими от дурной завалишинской крови.

– Невероятный случай, – сказал врач. – Конечно – алкоголик, но все-таки – какая упрямая кровь, совсем не желает свертываться. Придется ограничиться одной тампонадой.

От Анны Климовны не скрыли, что дело больного плохо. Даже допустили ее к нему в комнату, только просили не разговаривать с больным, а лишь посидеть минуту у постели. Анна Климовна присела на кончик стула, опасливо заглянула в лицо сожителя, увидала белые каемки глаз под полузакрытыми веками, вздохнула и по знаку сестры вышла.

– Ужли помрет?

Доктор сказал:

– Очень плохо его состояние. Кровь плохая, ничем ее не остановишь.

– Кровью изойти может, значит?

– Может случиться. Ну, будем надеяться.

Анна Климовна тяжело вздохнула:

– Такая, может, судьба ему. А какой был мужчина крепкий.

Дома, рассказывая преддомкому Денисову, Анна Климовна прибавила:

– Резали, да, видно, не так. Я ему говорила: не ходи. Может, и так прошло бы.

– Доктора лучше знают.

– Все же пожил бы еще. Надо было хоть этот месяц дотянуть, у них первого числа и жалованье, и паек получают.

– Да ведь как было ждать, очень он от боли мучился. Все равно было.

– Это верно, конечно. Такая уж его судьба.

Была ночь. Завалишин лежал в полусознании под затененной лампочкой. Болей не чувствовал, да и вообще не чувствовал своего тела. Только иногда покалывало холодком в плече и в ногах, да еще мешал во рту огромный язык, как сухой и соленый ком. Когда открывал глаза – по потолку комнаты разбегались тени и прятались по углам.

Один раз, закрыв глаза, подумал, что лежит дома и что в дверь стучат ровно, упорно, словно мягким кулаком. Хотел покликать Анну Климовну, замычал. Но подошла сестра, что-

то тихо спросила, и Завалишин вспомнил, что он в больнице. А Анна, значит, дома, одна. Теперь ей там свободно, во всех трех комнатах. Квартира стала у них большая, никого не поселили; книги все в кладовку снесли.

И тут вдруг точно бы чужой голос крикнул:

– Эй, принимай!

И другой голос, очень памятный, насмешливо произнес:

– А, старый знакомый, ну как живем, Завалишин?

Завалишин дернулся, хотел крикнуть и почувствовал резкую, непереносную боль в животе.

Когда прибежал врач, вызванный сестрой, грузное тело Завалишина опять плавало в крови, которая пропитала все повязки и обильно просочилась на простыню. Ее было много, страшно много – крови палача, которая не хотела свертываться.

Врачебной науке месть крови не знакома. В скорбном листе больного значилось просто:

«Dissolutio sanguinis»[1]

. . . .

Анна Климовна зашла рано утром и узнала, что сожитель ее ночью умер.

Она не плакала, даже не вынула платочка. Только спросила, как же теперь быть ей, ей ли хоронить или от больницы позаботятся. Внизу же женщине, которая была за швейцара, сказала голосом жалобным, качая головой:

– Главное дело – должность занимал большую, особенную, хоть сам и простой был человек, из рабочих. И жалованье, и паек, и еще особо платили за каждую работу, как бы поштучно. Иной раз – сразу большие деньги. И разную одежу получал. А в пайке всегда и мука белая, и мед, и часто материя, и калоши, и все. Конечно, не всякий на его работу пойдет, а уж платили действительно добросовестно, ценили его. Квартира у нас в три комнаты с кухней, много разного добра, а к Пасхе я свинушку воспитала.

И вот тут, свинушку вспомнив, Анна Климовна впервые всхлипнула, вынула чистый, аккуратно сложенный платок и вытерла сухие глаза.

ВЕЧЕР НА СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ

Ступени деревянной лестницы приветливо поскрипывали под знакомыми шагами, дверь открывалась с ласковым

[1] «Несворачиваемость крови» *(лат.)*.



**Александр Степанович Савин,
дед М. А. Осоргина
со стороны матери.**
Из семейного архива Н. Д. Разевиг



**Юлия Васильевна Савина,
бабушка М. А. Осоргина.**
Из семейного архива Н. Д. Разевиг



**Александр Степанович Савин с детьми Петром,
Верой и Еленой, будущей матерью М. А. Осоргина.**
Из семейного архива Наталии Даниловны Разевиг (Москва)


МИХ. ОСОРГИНЪ

ВЕЩИ ЧЕЛОВѢКА

ПОРТРЕТЪ МАТЕРИ

ДНЕВНИКЪ ОТЦА

1929

Титульный лист книги Мих. Осоргина "Вещи человека" с портретом его матери - Елены Александровны Сави́ной



Детская фотография М. А. Осоргина (Ильина).
Пермь. Из собрания Татьяны Алексеевны Бакуниной-Осоргиной (Париж)



Михаил Осоргин (Ильин) в детстве.
Пермь, 1880-е гг. Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной



Сестра М. А. Осоргина
Ольга Ильина с женихом
Владимиром Разевигом.
Из семейного архива Н. Д. Разевиг



Нина Ильина
(в замужестве Франке),
сестра М. А. Осоргина.
Из семейного архива Н. Д. Разевиг



Вера Ильина,
сестра М. А. Осоргина.
Из семейного архива Н. Д. Разевиг



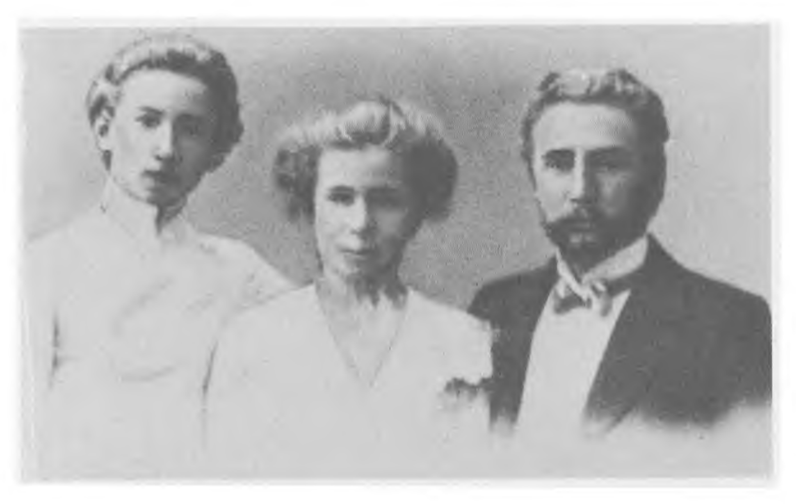
Ольга Ильина,
героиня "Повести о сестре".
Из собрания
Т. А. Бакуниной-Осоргиной



Всеволод Владимирович Разевиг - выпускник Московского университета, друг Сергея Николаевича Дурылина.
Из семейного архива Н. Д. Разевиг



Ольга Андреевна Ильина (в замужестве Разевиг).
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной



Владимир Александрович Разевиг с сыном Всеволодом и дочерью Надеждой.
Москва, 1909 г. Из семейного архива Н. Д. Разевиг



М. А. Осоргин.
Москва, 1903-1904 гг.
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной



Москва. Студенческое общежитие на Малой Бронной.
Из собрания Владимира Артуровича Дрибинского (Москва)



Е. Д. Кускова.
Из собрания Ирины Николаевны Угримовой (Москва)



Брат М. А. Осоргина Сергей Андреевич Ильин с семьей.
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной

Италия. Сори, где М. А. Осоргин поселился в 1907 г.
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной



После землетрясения в 1915 г. в Италии, о котором Мих. Осоргин дал серию репортажей в газету "Русские ведомости".
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной

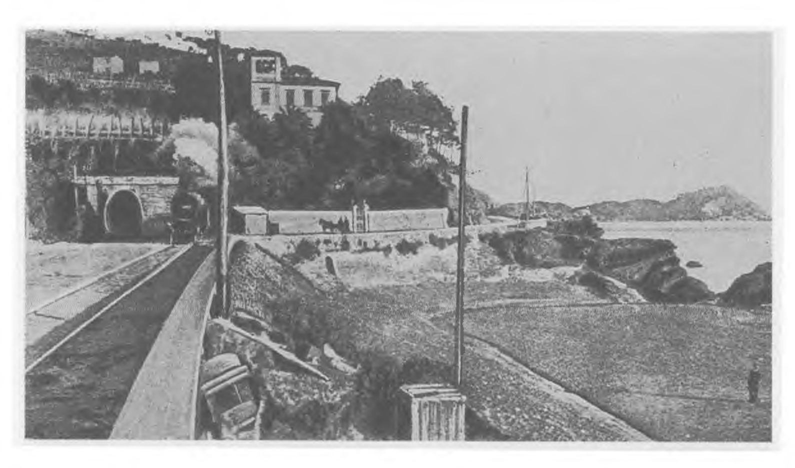


М. А. Осоргин среди русских корреспондентов в Италии.
Витербо, март 1911 г. Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной



Герои судебного процесса над мафией, описанные Мих. Осоргиным в серии статей для газеты "Русские ведомости".
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной

Италия. На прогулке в Кави.
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной



Италия. Кави.
Из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной

Москва. Сивцев Вражек, дом Ф. И. Толстого (Американца).
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Спасские казармы.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Памятник М. Д. Скобелеву
по проекту П. А. Самонова на Тверской площади.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Большая Лубянка, вид в сторону Лубянской площади,
слева - угол Фуркасовского переулка.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Обелиск Свободы, воздвигнутый на месте памятника М. Д. Скобелеву в 1918 г.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Тверской бульвар у Никитских ворот, дом Коробковой, сильно поврежденный во время боев 1917 г.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Лубянке (одна из первых церквей, снесенных после революции).
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Леонтьевский переулок, дом № 18.
Из собрания В. А. Дрибинского



Москва. Страстная площадь.
Из собрания И. Н. Угримовой



Москва. Тверской бульвар, вдали - колокольня Страстного монастыря.
Из собрания И. Н. Угримовой


МИХ. ОСОРГИНЪ

СИВЦЕВЪ
ВРАЖЕКЪ

П А Р И Ж Ъ

Титульный лист первого издания романа
Мих. Осоргина "Сивцев Вражек".
Париж, 1928 г.

A QUIET STREET

(SIVTZEV VRAZHEK)

BY

MICHAEL OSSORGIN

LONDON

MARTIN SECKER

NUMBER FIVE JOHN STREET

ADELPHI

MICHEL OSSORGUINE

UNE RUE
à
MOSCOU

(SIVTZEV VRAJEK)

R O M A N

TRADUCTION

LEO LACK



1947

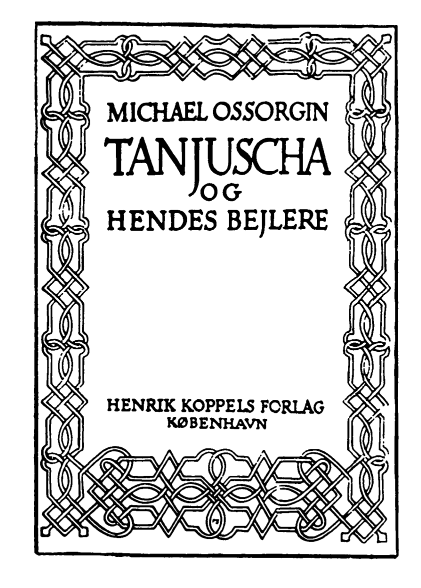
JEAN VIGNEAU ÉDITEUR

Michaìl A. Osorgìn

Un vicolo di Mosca

Introduzione di Ettore Lo Gatto

Bompiani



MICHAEL OSSORGIN

TANJUSCHA
OG
HENDES BEJLERE

HENRIK KOPPELS FORLAG

KØBENHAVN

Титульные листы романа Мих. Осоргина в переводах на английский, французский, итальянский и датский языки

гостеприимством, вешалка с вежливой выдержкой принимала пальто и шляпы, стены старого дома ловили звук знакомых голосов.

В день рождения профессора особнячок на Сивцевом Вражке собрал тех, кто всегда помнил о былом его широком гостеприимстве. Даже Леночка, прежняя девушка с удивленными бровями, а теперь уже мать двоих детей, даже она, гостья редкая, пришла навестить старика и свою гимназическую подругу.

Первым пришел физик Поплавский, в совсем потрепанном черном сюртуке, но в новых калошах, полученных недавно ценой долгого стояния в очереди. По мнению Поплавского, очарованного калошами, жить стало много легче, и плохо только то, что получить из заграницы новую книжку почти невозможно, даже и при знакомствах:

– Этак мы до того отстанем, что потом и в десять лет не догоним Европы. А ведь там, подумайте, об одном Эйнштейне целая литература создалась.

Протасов утешал:

– Не беда. Пока достаточно и того, что знаем. Хоть бы эти знания к делу хорошенько приложить.

Дядя Боря поддержал коллегу:

– Уж какие теперь новые книжки. Хоть бы копировальной бумаги достать да лент для машинок. У нас в Научно-техническом отделе...

Пришли и Вася с Аленушкой. Вася стал сразу взрослым и солидным, хотя и брил бороду, так как Аленушке нравилась ямочка на его подбородке. Все пуговицы у Васи были на своих местах, воротничок чистый, носовой платок подрублен и с его меткой. Прошло и прежнее смущение; с Танюшей Вася говорил почтительно-дружески, с Протасовым вспоминал о совместной их поездке мешочниками. Аленушка держалась просто, но боялась смеяться. Все-таки в конце вечера орнитолог рассмешил ее, и Аленушка раскатилась колокольчиком, хрюкнула и смутилась, увидав, как удивленно поднялись брови незнакомой ей Леночки. Сидела Аленушка рядом с профессором, который все время с ней заговаривал, любовно смотря в сторону Васи Болтановского.

Не было только тех, кто уже не мог прийти, чьи имена произносились тихо и с серьезными лицами. Не было того, с кем не раз в этой самой комнате спорил Поплавский, не любивший и не понимавший ленивых парадоксов, чей трагический уход из мира живых был еще слишком свеж

и недавен, был еще не изжитым домашним горем. И как ни старалась московская жизнь приучить людей к постоянным потерям и испытаниям, – в мирных комнатах особнячка старались не произносить имени Астафьева. Придет время – имя его сольется в синодике ушедших с именами молодого Эрберга, несчастного Стольникова и многих других друзей, близких и далеких.

Ровно в девять часов вечера вешалка в передней приняла и повесила на крайний крюк пальто на клетчатой подкладке.

Эдуард Львович, щурясь от света и потирая руку об руку, вошел, поздоровался со всеми и занял за чайным столом обычное свое место близ самовара, направо когда-то от Аглаи Дмитревны, а теперь от Танюши.

Для торжественного дня пили чай настоящий, а на самой середине стола на большом блюде лежал парадный сладкий крендель из белой муки. В одной маленькой вазочке был сахар, в другой – ландрин. Было сливочное масло и полная тарелка нарезанной тонкими ломтиками копченой колбасы. Чайный стол исключительный, праздничный, в честь дедушки.

И было еще одно, поданное Танюшей специально для Эдуарда Львовича и вызвавшее всеобщее удивление: сладкие белые сухарики, любимое его лакомство. В былые времена ни Аглая Дмитревна, ни Танюша никогда не забывали заготовить для композитора сладкие сухарики. Но вот уже два года, как Эдуард Львович забыл их вкус; могли для него сушить только ломтики черного хлеба. Сегодня Танюша ради дедушки и любимого учителя добыла целую тарелочку сладких сухариков:

– Это только Эдуарду Львовичу! И вы должны съесть все сухарики, чтобы ни одного не осталось.

Эдуард Львович был смущен, но Танюше не удалось даже таким исключительным вниманием рассеять грусть композитора. Уже давно Эдуард Львович перестал оживляться даже в разговоре о музыке, даже за клавишами знакомого рояля.

Орнитолог сидел в кресле, рядом с Аленушкой, которую он шутливо дразнил, уверяя, что Вася без ее помощи не умеет помешать чай ложечкой:

– А ведь раньше был такой самостоятельный, что занимался вместе с Петром Павловичем обменной торговлей с дикими племенами России. И мои болотные сапоги выменял на золотой песок и слоновую кость. Вот был какой!

Дядя Боря пробовал говорить о грандиозных планах и заданиях Научно-технического отдела, особенно по части электрофикации. Протасов посмеивался:

– Планы планами. Вот только настоящему делу нашему не мешайте, простой заводской работе. А планы – хорошо, особого вреда от них нет. Даже могут пригодиться впоследствии ученые ваши проекты.

Танюша хозяйничала, оглядывая маленький тесный круг друзей особнячка и думая: «Дедушка доволен. Приятно ему, что его не забыли. Непременно нужно, чтобы Эдуард Львович согласился играть сегодня».

И когда тарелка с колбасой опустела, а от кренделя остались одни сладкие крошки, Танюша зажгла свечи у рояля:

– Вы нам сыграете, Эдуард Львович?

К ее удивлению, он согласился сразу:

– Да, я очень хотер бы сыграть. Я бы хотер одну вещь, которой еще никогда...

– Ваше новое?

– Уже борьше года. Но я еще нигде не испорняр. Это называется... то есть названья нет никакого, но оно... это мой посредний опус. Это мой опус тридцать семь.

Он подошел к роялю, потушил свечи и выждал, пока все рассядутся.

Кресло дедушки подвинули ближе к дивану, где сели Аленушка, Леночка и Вася. Поплавский, как всегда, в затененном уголке на стуле, дядя Боря и Петр Павлович остались у чайного стола.

Танюша – на ковре, у ног дедушки, голову положив к нему на колени.

. . . .

Только Танюша могла заметить и понять, какую жертву принес Эдуард Львович, согласившись сыграть свою последнюю вещь. Она слушала, не проронив ни звука, – и страдала вместе со своим учителем, а может быть, страдала за него.

Она увидела, что в творчестве старого композитора случился излом, произошла катастрофа, что он, бессильный отказаться от музыкальной идеи, которой всю жизнь служил, – вдруг потряс колонны и обрушил на себя им самим созданный храм и бьется теперь под его обломками. Родилось – рядом с его жизнью – что-то новое, что он хочет понять, осилить и, кажется, оправдать, – но у него нет для этого слов и музыкальных сочетаний, а есть только крик

боли, заглушенный чужими голосами, ему враждебными и незнакомыми.

Танюша видела, как вцеплялись в клавиши длинные пальцы Эдуарда Львовича, как он хочет убедить самого себя, как дергается его худое и бледное лицо, как Эдуард Львович страдает.

«Зачем я просила его играть!»

Он кончил оборванным аккордом, тотчас же вскочил со стула, дрожащими пальцами потянул крышку, уронил ее, болезненно вздрогнул и растерянно застыл на месте, спиной ко всем.

Танюша знала, что нужно чем-то помочь. Она подошла и, не говоря ни слова, – и все молчали, – ласково погладила рукав его пиджака.

Эдуард Львович оглянулся и пробормотал:

– Да, да, вот это посредний опус тридцать семь...

Затем он потер руками и, не прощаясь, быстро вышел в переднюю.

Вышла за ним и Танюша. Но она не знала слов, какие нужно было ему сказать. И есть ли такие слова?

Сорвав с вешалки пальто, Эдуард Львович быстро надел один рукав и долго искал другой. Танюша помогла. Тогда он повернулся к ней лицом, вынул из кармана ноты, свернутые в трубочку и обмотанные в несколько раз тонкой ниткой, сунул Танюше:

– Вот это дря вас. Я посвятир вам опус тридцать семь, мой посредний опус. Он торько для вас. Да, это так надо, до свиданья.

– Спасибо, Эдуард Львович. Но почему вы так уходите?

– Так надо. Я доржен уйти.

Он подошел к выходной двери, взялся за задвижку замка, вернулся и, опять смотря в лицо Танюше, сказал скороговоркой:

– Опус тридцать семь есть произведение гения. До свиданья.

Танюша слышала, как Эдуард Львович оступился на лесенке, но затем шаги его стали быстро удаляться.

КОГДА ПРИЛЕТЯТ ЛАСТОЧКИ

Гости разошлись рано.

– Дедушка, вы, вероятно, очень устали. Может быть, сегодня пораньше ляжете?

– Немножко, правда, утомился, а спать не хочу. Вот посижу с вами, отдохнем, а потом пойду к себе.

Танюша убрала со стола, переставила на место мебель, накрыла чехлом рояль. Помогал ей Петр Павлович. Профессор сидел в своем глубоком кресле, полузакрыв глаза. Опять присела Танюша на коврике у его ног.

Погладив внучку по голове, сказал орнитолог:

– Вот когда у нас тихо и так сидим, все мне кажется, будто стены шепчутся. Дом-то старый, есть ему что вспомнить. Этот дом, Петр Павлович, еще моя мать строила, Танюшина, значит, прабабка. По тому времени считался дом барский, большой, для хорошей семьи. Красивый был. На дворе разные службы, конюшни, птичник, баня, конечно. Баню-то эту мы совсем недавно разобрали на дрова. Тут я всю жизнь свою и прожил. И конца дождался. Теперь дом стал ничей, и люди за стеной живут чужие.

– Они тихие, дедушка, нам не мешают.

– Ничего, что ж, всем жить надо. Я ведь не жалуюсь, вспоминаю только. Времена теперь изменились.

И опять заговорил:

– Вот скажите мне, Петр Павлович, как будет вам, молодежи, жить дальше? Лучше, чем мы жили, или так же, или труднее?

– Думаю, профессор, что нам будет сложнее жить. Уж, конечно, в одном доме целой жизни не прожить, теперь это невозможно.

– А вообще-то людям лучше станет? Сейчас, конечно, плохо совсем. Ну, сейчас время исключительное, переходное. Перемучиться надо. И долго.

– На наше поколение хватит.

– То же и я думаю. Долгие годы нужны, чтобы опять жизнь направилась. Вон Поплавский жалуется, что оторвались мы от Европы, что не догоним теперь. Ученому этого нельзя не чувствовать. Обидно ученому человеку.

– В чем другом, профессор, а в этом-то догоним скорее, чем Поплавский думает. Вот в хозяйстве тяжело, все у нас разрушено и бедность страшная. И людей настоящих еще мало.

– Люди придут; людей в России много.

– Люди придут, – сказал Протасов. – Совсем новые люди придут, и, пожалуй, посильнее прежних.

Старик помолчал, потом погладил Танюшину голову:

– Вот, Танюша, это очень хорошо, что Петр Павлович надеется. Ты тоже постарайся так верить.

– Я и верю, дедушка.

– Люди придут, новые люди, начнут всё стараться по-новому делать, по-своему. Потом, поглядев, побившись, догадаются, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что прежней культуры не обойдешь, не отбросишь ее. И опять возьмутся за старую книжку, изучать, что до них изучено, старый опыт искать. Это уже обязательно. И вот тогда, Танюша, вспомнят и нас, стариков, и твоего дедушку, может быть, вспомнят, книжки его на полку опять поставят. И его наука кому-нибудь пригодится.

– Ну, конечно, дедушка.

– Птички пригодятся. Обязательно должны пригодиться мои птички! И им место в жизни найдем. Верно ли, Танюша?

– Дедушка, вот скоро весна, и ласточки наши прилетят.

– Ласточки непременно прилетят. Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет, кто кого одолел. Сегодня он меня – завтра я его, а потом снова... а у ласточки свои законы, вечные. И законы эти много важнее наших. Мы еще мало их знаем, много изучать нужно.

Долго молчали. И правда, стены старого дома шептались. Наклонив голову к Танюше, так, что седая борода защекотала ее лоб, орнитолог тихо и ласково сказал:

– Ты отметь, Танюша, запиши.

– Что записать, дедушка?

– А когда нынче весной ласточки прилетят – отметь день. Я-то, может быть, уж и не успею. А ты отметь обязательно.

– Дедушка...

– Да, да, отметь либо в календаре, либо в моей книжечке, где я всегда отмечаю. Будет одной отметкой больше. Это, Танюша, очень важно, может быть, всего важнее. Отметишь, девочка? Мне приятно будет.

Ласковая дедушкина рука гладит голову Танюши.

– Дедушка, милый дедушка... Ну да, конечно... я отмечу, дедушка...

ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ

В этой книжке записан рассказ пожилого чиновника, сейчас – беженца, об его умершей сестре.
Тот, чье имя на обложке, только постарался, сохранив простоту рассказа, придать ему обычную литературную форму.

ПРЕВРАЩЕНИЕ АННЫ ИВАННЫ

– Катя, ты что там делаешь?

– Ах, мамочка, мне некогда, я рождаю сына.

Мать сквозь смех старается быть серьезной и строгой:

– Иди сюда, раз я тебя зову. Успеешь наиграться.

Катя вбегает с куклой и большими ножницами. У куклы настоящие волосы, но неровно обрезаны и торчат клочьями. Одна рука куклы беспомощно болтается на нитке.

– Что ты делала?

– Мамочка, я ее стригла, потому что я, мамочка, больше не хочу дочери. У меня дочерей много, и с ними большая возня, а это будет сын, и его уже зовут Сережей.

– Ты ей обрезала волосы, такие хорошие косы?

– Мамочка, нельзя же у сына косы! И мне еще нужно пришить руку на случай сраженья. Он у меня очень смелый и всех колотит.

– Ну, Катюк, как хочешь, а, по-моему, жалко такие волосы.

– Мне тоже, мамочка, было жалко, но знаешь, ради детей...

– Ну хорошо, иди играй.

Мать идет в соседнюю комнату, вынимает из кроватки худого младенца, братишку Кати, смотрит, не мокрый ли, осторожно целует и кормит. Он сегодня здоров и покоен, совсем не пищит. В кресле дремлется от теплоты ребенка и щекота его губ и ручек. Потом она его укладывает снова, а возвращаясь мимо детской, видит Катюшу, которая бродит по комнате с куклой у груди, притворяясь сонной и усталой. Пошатываясь, Катюша бормочет про себя:

– Когда ты уснешь, ну когда ты уснешь, Сережа, это прямо невозможно! Ты все ешь, все ешь, всю меня съел, и все-таки не спишь. Я совершенно потеряла ноги.

Мать смеется: «До чего Катюша все перенимает! С нею нужно быть осторожной».

Сережа укладывается в большую коробку, где уже спят, держа руки прямо и вытаращив глаза, остальные куклы. Чтобы не разбудить их, Катя говорит сама с собой шепотом и грозит кому-то пальцем. Затем, отойдя от коробки на цыпочках, она задумчиво останавливается посреди комнаты.

Интересно слушать тишину. С улицы ничего не доносится, потому что зима, снег, да и улица тихая. Совсем тихо и в доме. На кончиках носков, так, чтобы башмачок не скрипнул, Катя крадется через комнату к двери, потом в соседнюю комнату, где спит братишка.

Вход сюда без мамы, собственно, воспрещен, но на цыпочках можно ходить повсюду. Для равновесия раскинув руки, она добирается до детской кроватки и смотрит, затаив дыхание, на затененную щечку и примятый нос брата. Смотрит с удивлением и нежностью. Ей хотелось бы потрогать брата, чтобы убедиться, что он настоящий, а не кукла; но этого нельзя, – он может проснуться и заплакать.

Отсюда Катя пробирается в гостиную, садится в кресло и думает. Теперь уж невозможно нарушить тишину и ту торжественность, которою Катя переполнена. Должно что-нибудь случиться – и тогда можно будет снова играть, болтать и суетиться. И Катя ждет терпеливо: что случится?

Сегодня Катюша одна; няня и сестра отправлены гулять, а ее мама не отпустила, так как вчера у нее был маленький жар. Правда, теперь она совсем здорова и отлично могла бы гулять с ними. Зато время ее не пропало даром: у нее родился сын Сережа, переделанный из так надоевшей куклы по имени Анна Иванна. Вот будет поражена Лиза, когда вернется с прогулки!

– Угадай, кто это?

– Это Анна Иванна.

– Нет, это Сережа.

– Какой Сережа?

– Мой новый сын!

Лиза так изумится! Она никогда бы не додумалась. Ее куклы живут в другой коробке, никогда не стригутся, не меняются и даже не шалят. Все они – девочки, и у всех голубые банты на платье. Это скучно.

Услыхав шаги, Катюша подбирает ноги и совсем врастает в кресло. Будет чудесно, если ни няня, ни Лиза ее не заметят и пройдут мимо! Но выдержать трудно, и Катюша выпрыгивает и бежит встречать сестру, закутанную в шубку, с остатками снега на валенках. Няня шикает – дитё спит,

шуметь нельзя. Но Катюша с сестренкой уже склонилась над коробкой:

– Угадай, кто это?

– Анна Иванна.

– Нет, это Сережа.

– Какой Сережа?

– Мой новый сын!

Поразительный момент всеобщего удивления!

Катюша весело хохочет и прыгает на одной ноге.

СТАРЫЙ ДИРЕКТОР

Вот лежит и таращит глаза Старый Директор. Такое прозванье дано маленькому Косте с первых дней его рождения – за сморщенную красную рожицу. Назвала его так, конечно, Катюша.

Старый Директор смотрит на недосягаемую высоту потолка, который есть не что иное, как крыша мира. Границы мира теряются в непостижимых далях стен. Мир заполнен тенями и звуками, смысл которых непонятен и тем более мучителен, что тени и звуки еще не разделены и постоянно переходят друг в друга. К числу мировых загадок относится и чередование голода и сытости, причем сытость является в образе необыкновенно теплой тени, заслоняющей сразу весь видимый мир. Затем происходит провал в вечность: ни теней, ни звуков, ни мельканья светлых розовых предметов, движение которых отчасти уже подчинено воле. Старому Директору предстоит узнать, что эти странные предметы называются руками, пальцами, кулачками.

По прошествии длинного ряда вечностей – провалов и новых рождений – тени расцвечиваются постоянными красками и уже способны вызывать к себе каждая особое отношение. Самая изумительная тень, исключительно полезная и приятная, есть мать. Другая, терпимая, хотя несколько грубоватая и ненужно-темная тень – нянька. И есть еще одна, заключающаяся в глазах и ярком красном банте, совсем бесполезная, но чрезвычайно любопытная; это – Катюша.

Все эти имена и клички еще неизвестны Старому Директору, но самые явления уже интересуют его по-разному. Появление матери вызывает страстную требовательность, жажду немедленного использования ее полезных качеств.

Явление няньки, сопряженное с бульканьем ванны и всякими неудобствами, отвлекает внимание от важных мировых задач к мелочам быта. Рождение в пространстве пристальных глаз и банта Катюши относится к области эстетики; Старый Директор, раздвинув веки, вбирает всю силу света, болтает ногами и выражает свое удовольствие особой гримасой, при виде которой Катюша говорит:

– Мамочка, ну право же он смеется, смотри, мамочка! Он всегда со мной смеется.

– Не гляди на него сбоку, Катюк, он так косит глаза.

– Я только немножко.

Мать, няня и девочка относятся к Старому Директору снисходительно и покровительственно, а между тем они – лишь предметы изучения, лишь материал для строящегося сознания. Их существование столь же призрачно, как и весь остальной мир, – от прутьев кроватки до безбрежности потолка. Стоит закрыть глаза – и их больше нет. Их бытие и небытие чередуются по воле Старого Директора, который рождает и устраняет их одним движеньем глаз.

Иногда он предпочитает всякому зрелищу звук собственного голоса и слушает раскаты плача, заполнившего мир. Мать напрасно думает, что ему больно или он страдает: он слушает музыку и впервые догадывается, что эта симфония – произведение его собственного творчества, что он сам – и оркестр, и дирижер, и композитор. С неохотой возвращается он к соблазнам быта, подкупленный ласковым голосом или обещанием тепла и сытости. Иногда музыка обрывается неожиданно, и это очень мучительно. Но жить вообще нелегко – Старый Директор чувствует это с первого дня.

С каждым днем глаза его делаются сознательнее, а мир небытия, откуда он пришел и куда с такой охотой снова уходил в часы сна, этот мир, покойный и ясный, все больше забывается. Кроме кулачков в его распоряжении оказались еще ноги, и в ванне он норовит поймать себя за палец. Мелочи заслоняют общее, решение основной загадки существования откладывается, стены комнаты и все предметы приближаются, огонек свечи способен увлечь его надолго, а звонкий голос Катюши начинает волновать и радовать по-настоящему. Кончится это тем, что интересы нового мира победят, и Старый Директор, бросив философию, с головой уйдет в низкую повседневность. Такова судьба человека вместе с ростом тела – снижение духа.

Быстро мелькают дни. Старый Директор прибавляется в весе. Он и вправду узнает мать, няню, Катю. И в знак

грядущей долгой дружбы он первое слово свое посвящает ей:

– Тя!

Катюша в восторге. «Тя» – это она, Катя! С этого момента Старый Директор переименовывается в Котика.

БОРЬБА ГИГАНТОВ

На дворе соорудили снеговую горку. Кататься приходят кроме Кати и Лизочки портнихина дочка Настя и мальчик из флигеля Пашка.

Настя одних лет с Лизочкой и очень с ней дружит. Настя – существо кроткое, боязливое, совсем без бровей, в огромных валенках и сером платке, повязанном поверх шубки так, что концы торчат за спиной, как пропеллер. Что бы ни делала Лизочка – Настя делает то же самое. Лицом Настя всегда повернута к Лизочке и больше никого не видит. Зато, если Насти на дворе нет, Лизочка идет к черному ходу и стучит в левое окно, где живет портниха; тогда Настя немедленно появляется. С горки они катаются вдвоем на больших салазках: Лизочка верхом впереди, Настя тоже верхом позади. В момент спуска у обеих на лицах радостный ужас. Падают они тоже рядышком и молча, после чего Лизочка отряхивает снег с шубки, а Настя неотрывно на нее смотрит. Они никогда ни о чем не говорят, да и не о чем, потому что Лизочка действует, а Настя повторяет ее движения.

А вот Пашка из флигеля – истинный разбойник и невежа. Он старше Катюши и, значит, старше всех. На нем длинное, на рост шитое пальто со светлыми пуговицами, огромная фуражка с гербом и буквами, и всякий знает, что Пашка в немалых чинах: он – гимназист-приготовишка. На улицу к мальчикам Пашка выходит неохотно, потому что там его дразнят, называют «синей говядиной» и «сальной пуговкой» и хором поют ему в лицо:

Приготовительная вошь,
Куда ползешь?

На дворе же Пашка чувствует себя гигантом и грозой девчонок. На него жаловались, но это не помогает. Едва Пашка заметит в окно девочек, как немедленно является с санками (у него санки высокие, обитые железом) и начи-

нает всех притеснять. Девочки не успеют хорошенько усесться на санки, – а он их сталкивает, так что санки летят боком и девочки падают. Затем он садится на свои, издает боевой клич, скатывается и норовит по дороге задеть. Пашка гордился тем, что умеет скатываться с горки без санок, стоя на ногах; но эту спесь Катя с него сбила, потому что тоже скатилась и удержалась на ногах. С тех пор они враги.

Сегодня Пашка неистовствует: кричит, толкается, совсем не дает кататься. Девочки попробовали выждать, пока ему надоест таскать на горку санки, – но Пашка неутомим. Он придумал новую штуку: ложится на санки ничком и едет вниз головой, да еще что-то поет.

Наконец Катя сказала девочкам: «Пойдемте». Пашка увидал, забрался вперед на горку, будто бы хочет скатиться, а сам выждал, пока поднялась Катюша, ухватил ее за полу шубки, толкнул свои санки – и Катюша полетела за ним кубарем.

И вот тут Лиза и Настя увидали сверху горки изумительное происшествие.

Скатившись с горки, Катюша живо вскочила на ноги и бросилась на Пашку, – а ему только этого и надо. Пашка отпрыгнул, стал в боевую позу и заорал:

– А ну, тронь! Вот я тебя расколочу! Я вас всех, девчонок, вдребезги!

И вдруг девочки увидали, что Катюша не только не струсила, а по-настоящему вцепилась в Пашку. Он хотел дать ей подножку, но Катюша догадалась, сама толкнула его в бок, и Пашка, запутавшись в длинном пальто, упал носом в снег. Моментально Катюша оказалась у него на спине, подхватила его фуражку и стала бить его козырьком по затылку. Пашка пытался освободиться, – но куда там! Катюша одной рукой вцепилась ему в волосы, а другой напихала ему за шиворот столько снегу, что девочки смотрели, раскрыв рот, в ужасе и восхищенье.

И это было еще не все. Пашка заорал, потом захныкал, а Катюша успела подтащить его санки, навалила их на него и села сверху. Такого униженья еще никогда ни один приготовишка не испытывал от женщины. Теперь Пашка был побежден окончательно и навсегда.

Посидев, Катюша медленно слезла и отошла от Пашки, не сказав ни слова. Меховая шапочка выползла у нее из-под башлыка, одна перчатка осталась в снегу, – но вся фигура Катюши дышала величием победы. Если бы не валенки, она пошла бы обратно на цыпочках, как во все важные моменты

жизни. Вся в снегу, с красными щеками и прерывистым дыханием, Катюша чувствовала себя Давидом, победившим Голиафа. Двор, горка, флигель – все стало маленьким и ничтожным. Самым ничтожным был поверженный в прах ее, Катюши, руками всеобщий деспот Пашка-приготовишка.

Полежав в снегу и поревев для приличия, Пашка забрал свои санки и заковылял домой. Очевидно, о новом нападении и о мести он не мог и думать; снег за шиворотом, в волосах, в ушах, во рту охладил его воинственность; и еще было больно от санок, на которых сидела Катюша.

Когда борьба гигантов закончилась такой несомненной победой справедливой стороны, Лизочка и Настя решили не терять времени. Теперь они усаживались на санки спокойно, с удобствами, скатывались солидно, по прямой линии, не падали и вставали разом.

Катюша, отдышавшись, решила тоже использовать победу. В полной уверенности, что Пашка смотрит в окно, она аккуратно поставила санки на верху снежной горки, легла ничком, оттолкнулась и съехала вниз головой с не меньшим искусством, чем делал это Пашка, и притом без всякого фанфаронства, почти равнодушно. С тем же равнодушием она встала внизу и, не оглядываясь на флигель, пошла поставить свои санки в сарайчик.

Конечно, это было немножко жестоко: добивать побежденного. Но и стоил этого противник Кати, самоуверенный деспот в высоком чине приготовишки!

Во всяком случае, сегодня кататься с горки Катюше больше не хотелось.

ЛАРИСА СИГИЗМУНДОВНА

У мамы была с визитом нарядная дама Лариса Сигизмундовна. Лариса – легко, а Си-гиз-мун-довна – очень трудно выговорить. Когда она ушла, то и мама, и няня, и все говорили:

– Какая она красавица и как замечательно одевается!

Катя тоже очарована красотой Ларисы Си-гиз-мун-довны, особенно ее высокой прической, на которую колпачком надета маленькая дамская шляпа, а на шляпе четыре вишни на стебельках и радужная птичка. Нос у Ларисы Сигизмундовны белый, острый и с горбиком, щеки тоже совершенно белые, а на подбородке ямка. На руках у нее длинные

перчатки (так в них и в комнате сидела), а юбка длиннущая и шумит, потому что шелковая. И сзади турнюр, на котором могли бы усидеть рядком две большие куклы.

Огромное впечатление! Когда Катюша взволнована, она ходит на цыпочках. Вот сейчас она очень взволнована, пробралась тихонько в мамину спальню и устроилась на стуле перед зеркалом.

Волосы Катюша взбила и подвязала наверху ленточкой: дело простое. На плечах не без усилия подтянула платье, чтобы получились буфы, хоть и не совсем такие. А дальше?

Дальше идет нос – можно ли жить с таким носом! Кончик его туп и блестит, точно его нарочно натерли воском. Там, где у дамы горбик, у Катюши вроде ложбинки. Но хуже всего щеки: пухлые, розовые, какой-то ужас. Ямочек на них сколько угодно, а вот на подбородке, где нужно, как раз нет ни одной.

Катя берет с туалета палочку и пытается продолбить ямку у себя на подбородке. Нажмет палочку – есть ямка, а уберет палочку – остается только красное пятно. А ножницами проковырять страшно и больно.

С прижатой палочкой, Катюша немного опускает ресницы (чтобы все-таки видеть себя в зеркале), отводит голову вбок и говорит чуточку в нос:

– Ах, столица так утомляет...

Столицей называется, если не жить все время дома, а куда-то ездить.

Катюша при этом подергивает плечом – и буф исчезает. И вообще плохо выходит. Поправив платье, она пробует еще раз, кстати покривив и губы:

– Ах, столица так утомляет...

Ничего не выходит; мешает палочка, а уж нос, этот маленький, толстый, безобразный нос! И эти красные яблоки на щеках! Ну, еще раз:

– Ах, столица так утомляет...

Ясно, что Катюша – уродец. И останется уродцем, хотя бы надели на нее шляпу и длинную юбку.

Подпершись кулачком, Катюша с ненавистью глядит на свое отраженье. Даже кукла Анна Иванна, ставшая теперь сыном, была красивее Катюши. И обезьяна красивее. Вот горе-то!

Тут уж слез удержать нельзя. Они катятся крупными каплями и затекают прямо в нос, который становится еще безобразнее. Отражение в зеркале дрожит и туманится, и теперь все лицо покрылось ямами, а рот до ушей. Вот когда пришло оно, настоящее горе!

Чувствуя гибель, Катюша пытается спасти себя крайними мерами, хотя руки ей уже не служат и особенно мешают слезы. У Ларисы Си-гиз-мун-довны черные брови дугой, а у Катюши – узенькие ниточки. На мамином туалете, который давно и хорошо изучен, лежит в коробке обожженная пробка; мама немножко-немножко подводит этой пробкой брови. Катюша быстро нашаривает рукой пробку и, всхлипывая, мажет над глазами. Но рожица мокрая, и черное сползает с бровей на нос. Теперь Катюша такой урод, что и няня испугается. Теперь она похожа на черта, и никакого возврата нет.

– Что ты тут возишься, Катюк?

Мамин голос. Все кончено! К горю прибавляется страшный позор. Но возврата все равно нет, жизнь Катюши навсегда разбита. В таком положении естественнее не бежать от мамы, а наоборот – уцепиться за нее и погибнуть под ее ласковым крылом.

– Да что с тобой, девочка, о чем ты плачешь?

Мокролицая, перемазанная, с подвязанным на затылке хохолком, Катюша не помнит и не знает других слов. Рыдая, она выкрикивает непонятное:

– Ах... ах... столица так... мамочка, столица так утомля-я-ет...

Мама не смеется. Мама – сама женщина и понимает, что тут смеяться нельзя.

Мама вытирает Катюшино лицо мокрым полотенцем и уводит ее в детскую. Там она ее причесывает, целует, утешает. Потом она будет с ней долго разговаривать, по-взрослому. И тогда горе, может быть, смягчится, а может быть, и совсем пройдет.

ВСТУПАЕМ В ЖИЗНЬ

Окно в детской прямо против двери. В светлый день комната кажется фонариком, но посередке не свечка горит, а стоит девочка, и волосы ее – как венчик у святого. По росту это словно бы Катюша, – но это не она, а Лиза.

Если, например, вы не были в своем саду две недели, а потом спустились туда с резного крылечка – и смотрите: газон поднялся, выровнялся и зацвел маком, на клумбах не узнать прежних настурций, а душистый горошек тянется и шевелит тройными цепкими усиками. Совсем иная картина, все выросло и зацвело.

За пять прошедших лет Лиза стала такой, какой была Катюша; а Котик, бывший Старый Директор, тоже почувствовал себя большим человеком. Он уже не топочет ножками, а ходит, как ходят все, лишь немного подпрыгивая от резвости. Кстати, он знает все буквы и может что угодно прочитать. Он теперь такой, как была Лиза.

А Катюша – это уже не травка и не кустарник. Она – маленькое деревцо, березка с лесной опушки. Катюше двенадцать лет, она давно покончила с географией Янчевского и арифметикой Евтушевского. Просто и привычно звучат в ее устах такие слова, как «уравнение с двумя неизвестными»; ей совсем близко знакомы Александр Македонский, Фридрих Великий и даже Меровинги. Не моргнув глазом, она говорит:

– Лютер ввел в Германии лютеранство.

Пальцы Катюши всегда перемазаны чернилами. Это восхищает Костю. Чтобы хоть немного походить на Катюшу, Костя балуется с ее чернильницей, мочит в ней пальцы, любуется на свои руки и не замечает, что вымазал и нос. Костин нос нянька долго отмывает мылом и оттирает полотенцем, и нос становится красным, как у дворника.

Собственно говоря – мужчине на шестом году это довольно стыдно.

Костя белокур, шелковолос, а костюмчик на нем из фланели, с двумя складками спереди и четырьмя на спине. На груди карманчик, и был бы в нем собственный Костин носовой платок с меткой, если бы постоянно не терялся. Вид у Кости не очень мужественный, – но ведь он еще и не совсем мужчина.

Когда Косте было три года (счастливая, но уже прошедшая пора!), он впервые испытал чувство любви. Из флигеля выходила во двор девочка, Пашкина сестра, Костина ровесница. Встретившись, они стояли друг против друга и смотрели; Костя смотрел на ее необычайно маленький нос, будто пуговка от ботинок, а она смотрела на платок в Костином боковом кармане. Затем они брались за руки и гуляли молча и очень степенно, стараясь ступать в ногу.

Это был настоящий роман. Если Костя не собирался жениться на соседской девочке, то только потому, что семейная жизнь представлялась ему нелепой без няньки, которой он уже и сделал предложение. Было даже решено, что в день свадьбы Костя съест целый арбуз с косточками.

Нянька в общем соглашалась, но предупреждала о возможных последствиях:

– Брюхо-то и заболит!

На пятом году жизни Костя испытал первую катастрофу – из-за проклятой игорной страсти. Он играл на дворе с мальчишками в бабки и однажды проиграл сразу двенадцать гнезд и налитой свинцом биток – все, что у него было. Проигравшись в пух и прах, Костя почувствовал, как небо снизилось и придавило его. В груди Кости образовалась пустота. Отыграться было не на что – двенадцать гнезд стоили три копейки. Полная безнадежность и острый стыд поражения. Костя весь день бродил с похудевшим лицом, плохо ел, а ночью видел во сне двенадцать гнезд и свинчатку.

. . . .

Что это – рассказ взрослых про то, как Костя был маленьким, или начало воспоминаний самого Кости? Двойной роман мог быть рассказом, – но нельзя взять да рассказать скверное ощущение игрока, промотавшего все состояние!

Костя подходит к каминному зеркалу и смотрит на свое отражение: лицо в морщинах, седые виски, бритый подбородок, теплый синий халат. Что осталось от мальчика Кости, каким нарисовало его солнце на карточке в семейном альбоме?

«Помнишь, Костя, как ты маленьким непременно хотел быть извозчиком или почтальоном? А помнишь, как ты упал на лестнице и расшиб лоб? У тебя и сейчас виден рубчик».

Как знать, что сохранила своя память и что взято из устного семейного архива? Что подлинно было – и что присказано легендой старших?

От каминного зеркала я возвращаюсь к столу, где листы большого блокнота открываются один за другим и понемногу образуют рукопись воспоминаний о женщине былых времен, о Кате, моей любимой сестре, лучшем и единственном друге моих детских и студенческих лет. О той, какою она была или какой мне казалась; о моей настоящей сестре – или о созданной воображением.

И если окажется, что у автора этих любовных строк никогда не было ни сестер, ни семьи, ни благоуханного детства, что всю жизнь свою он жил образами, созданными наперекор судьбе, его обидевшей, – неужели же осудит его за это равнодушный слушатель?

В ЧУЛАНЕ

Мое первое собственное отчетливое воспоминание о любимой сестре связано с преступлением и наказанием.

Я совершил преступление, и, должно быть, тяжкое, хотя я его и не помню. Только в совершенно крайних случаях неповиновения и каприза моя мать прибегала к высшей мере социальной защиты – к чулану. Даже странно, чем мог я заслужить такую кару.

Насколько помню себя, я не был в детстве ни большим шалуном, ни озорником, ни революционером. Был мальчиком нежным, чувствительным, бесхарактерным, способным и женственным; любил красную смородину, ласку и книжки. Впрочем, всматриваясь в свои детские портреты, мы все склонны видеть себя в прошлом ангелочками, утратившими святость к годам зрелости. А как быть с проигрышем двенадцати гнезд бабок и с потерей битка, налитого свинцом? Не за эту ли раннюю игорную страсть посадила меня мама в чулан? Если да, то вот лишнее подтверждение бесполезности исправительных наказаний: я на всю жизнь остался азартным игроком; мало того – считаю азарт благороднейшей страстью, возвышающей человеческую душу.

Одним словом – меня посадили в чулан. Чулан был отличный, теплый, просторный. В нем стоял большой сундук, на котором можно с удобством расположиться, а на сундуке положено одеяло, чтобы сидеть было мягче. А чтобы не было мне, маленькому, страшно, со мной посадили Катюшу, мою старшую сестру, – ей было тогда уже лет двенадцать. Мы с ней сидели на сундуке и плакали.

Я плакал не от страха, а от горькой обиды. Взрослые всегда несправедливы и жестоки, даже отцы и матери, даже лучшие из отцов и матерей. Если я виноват – накажите, но не оскорбляйте, не унижайте человеческого достоинства. А чулан считался величайшим позором и оскорблением. Поэтому я ревел во весь голос, чтобы этот единственно доступный мне способ протеста был известен всему дому и вызвал раскаяние матери.

Сестра плакала, кажется, потому, что ей в чулане было страшно (она боялась темноты), а главное – ей было непонятно, почему она должна делить со мной наказание. А может быть, ей было жалко меня, утешить же не было никакой возможности: я рвался и бил по сундуку башмаками.

Сквозь рев я слышал, как гулко захлопнулась дверь в комнату, где был чулан. Это означало, что мама раскаянья

не выражает и не хочет слышать моих неистовых рыданий. Теперь освободить меня могло только время. Не действует открытый протест – подействует жалость. И я присмирел, приготовившись быть несчастным страдальцем.

В темноте тишина родит жуть. В чулане могли быть мыши. Всего безопаснее было прижаться поближе к сестре и держаться за ее рукав. Так мы и сидели, тихо всхлипывая и прислушиваясь, не раздадутся ли шаги матери.

Думаю, что именно тогда и родились между нами близость и взаимное понимание, позже спаявшие нас крепкими узами нерушимой дружбы.

Когда протекла вечность, – не менее четверти часа, – задвижка чулана щелкнула и спокойный голос матери сказал:

– Катюша, выведи *этого мальчика.*

У меня было свое имя – Костя. В минуты ласки меня звали Котиком. Но сейчас я был только *этим мальчиком,* безымянным, преступным, нераскаянным. Это могло бы стать поводом для новых горьких слез, если бы Катюша, обняв меня и подтолкнув к двери, не прошептала на ухо:

– Пойдем, Котик. Ты не плачь, мама больше не сердится.

Мы вышли, щурясь на свет опухшими глазами. Мамы в комнате не было: вероятно, ей было стыдно. Все еще держась за Катюшу, я пошел за ней в детскую, где она уложила меня на постель, погладила по голове и поцеловала. В этот момент моей настоящей мамой, доброй и понимающей, была Катюша. Когда она уходила, я с новой родившейся во мне нежностью посмотрел на ее косичку, свисавшую до полспины и украшенную лентой.

Потом из соседней комнаты до меня донесся громкий и убедительный шепот Катюши, по нескольку раз повторявшей:

– Замыслив расширить пределы своих владений за счет второстепенных... за счет второстепенных удельных князей, великий князь московский... великий князь московский предпринял поход...

КУМИР

Год моего рождения был в семье траурным: осенью умер отец. Так я и рос – единственным мужчиной в доме: мать, две сестры, нянька, всех нас выходившая, и кухарка Савватьевна, женщина характера деспотического, но умевшая делать даже слоеное тесто.

Наш маленький мирок не делился на взрослых и детей. Няньку, например, никак нельзя было причислить ко взрослым; она была очень стара, но все же принадлежала к миру детскому, – жила нашими интересами, знала по именам сестриных кукол, говорила детским нашим языком, была участницей наших игр и наших тайн. Саватьевна жила и царила в кухне, на всех ворчала, особенно в субботний базарный день, но, в сущности, настоящим авторитетом не пользовалась; ее только побаивались. Взрослой была только мать, и как-то совсем нечаянно взрослой стала Катя.

Случилось это, кажется, тогда, когда Кате на Рождество сшили длинное платье, не такое длинное, как у мамы, но все-таки. Все это платье на Кате рассматривали, и она стояла посреди комнаты в большом смущении. Я ждал, что вот Катя сделает шаг и запутается ногами в юбке. Няня же сказала:

– Таперича совсем невеста наша Катенька.

Платье носилось по праздникам, а в будни Катя ходила в прежнем, коричневом, с черным фартуком. Но теперь и в нем она оставалась взрослой. После длинного казалось, что не это, старое, стало короче, а Катины ноги стали длиннее.

И еще случилось однажды, что почтенный и пожилой господин, пришедший навестить маму, поднялся с кресла, когда вошла Катя, и, здороваясь с нею, стукнул каблуком о каблук. Меня это очень поразило, и мое уважение к Кате еще повысилось. Уйдя в детскую, я долго расшаркивался там перед умывальником, стуча ногами и кивая головой, и, по-моему, выходило хорошо. А когда то же я проделал перед нянькой, она сказала:

– Нечего тебе, Костенька, передо мной, старухой, танцы танцевать. Сидел бы лучше да клеил картинки.

Когда у нас бывали гости, я старался держаться ближе к старшей сестре, подчеркивая нашу с ней дружбу. Когда она что-нибудь говорила, я смотрел ей в рот, потом переводил глаза на слушавших, чтобы видеть, какое она на них произвела впечатление. Все, что она говорила и делала, я считал как бы сказанным и сделанным мною самим. Когда ее хвалили, я краснел от удовольствия, точно это относилось и ко мне. Ластиться к ней было моей потребностью, и Катя, которой я, вероятно, очень надоедал, переносила мои приставанья с изумительной кротостью.

К Лизе, второй сестре, хотя она была почти на пять лет меня старше, я относился несколько свысока; дружба с Катей

возвышала меня над Лизой. Лизу гладили по голове и говорили с ней покровительственно, а перед Катей почтенный господин щелкал каблуками. Выбора для меня не могло быть.

И еще об одном я догадывался, отчасти подслушав разговоры, отчасти полагаясь и на собственный вкус: о том, что наша Катюша лучше всех, что она очень красивая. Была у нее черная коса и на белом лице черные глаза и тонкие брови. Среди других Катя казалась особенно чистолицей, яркой и сияющей. Нельзя было этого не заметить. И голос ее казался мне самым звонким, и походка – самой смелой. Когда же Катя, задумавшись о важных своих делах, проходила по комнате на цыпочках, – эта привычка осталась у нее на всю жизнь, – я замирал от благоговения.

Когда я очень ей надоедал, она говорила мне:

– Подожди, Котик, мне нужно заниматься.

Она садилась за книжки, читала губами, а левой рукой крутила быстро-быстро прядку волос на виске. Это она готовила уроки. Вынимала тетрадку и писала в ней, согнув уголком указательный палец, а иногда водила по губам кончиком языка. Это тоже казалось мне очень почтенным и замечательным, и я невольно подражал всем ее жестам: трепал волосы и водил по губам языком. Но идеал – одно, а подражанье – другое. До Кати было мне как до неба.

Когда Кати не было дома, жизнь становилась обыкновенной и будничной. Я гулял во дворе, рисовал, резал перочинным ножиком стол, разбирал колесики и винтики старого будильника, отданного в мое распоряжение, читал книжку «Робинзон в русском лесу» и занимался с мамой арифметикой. Через полтора года предстояло и мне поступить в гимназию; я уже был к ней подготовлен, мешали только малые мои годы. Было мне немножко досадно, что, когда я стану гимназистом, Катя уже окончит гимназию; а то бы мы по утрам уходили с ней вместе. Теперь придется ходить только с Лизой.

Когда сестра возвращалась из гимназии, я выбегал в переднюю и смотрел, как она снимает шубку и торопится к себе в комнату умыться перед обедом. С нею возвращалось в дом оживление, мама улыбалась, нянька шлепала туфлями. Саватьевна гремела посудой. От Катиной шубки пахло свежестью и снегом.

А за обедом Катя рассказывала маме про подруг, про учителей, и все так интересно. Их имена и прозвища я знал

отлично, и жизнь сестры мне казалась полной и праздничной, какой ни у кого больше быть не могло.

А может быть, и правда – это был лучший период жизни моей милой сестры, с которой я вскоре должен был расстаться до новой встречи совсем в иной обстановке, сложной, трудной и порой бессмысленной. Если бы можно было говорить жизни: «Остановись!» – и она бы останавливалась, или бы можно было возвращаться к возрасту, в прошлом лучшему, как возвращаются к родному берегу из напрасного дальнего странствия, – я бы из многих пережитых счастий выбрал счастье быть ребенком и смотреть на мир еще безбровыми глазами, молиться в домашней кумирне домашним богам, иметь впереди все, ничего не достигая, и строить испанский замок мечтаний из обгорелых спичек и пустых аптекарских коробочек. Если бы это было можно, я отказался бы даже от лучшего, что сейчас имею, – от моих воспоминаний.

СУДЬБА

Вечер. Мамы дома нет.

По вечерам уютнее всего в столовой. Там большая висячая керосиновая лампа над столом, покрытым темной ковровой скатертью.

Сидим все: Катя с книжкой – только она не очень внимательно читает. Лиза рисует букет цветов, в котором каждый цветок очень правильно расположен, каждый лепесток похож на все остальные, и если справа две маргаритки, то и слева две маргаритки, а ленточка точно сейчас проглажена; у Лизы все всегда выходит аккуратным, приличным и скучным. Мне дали циркуль и бумагу; вся бумага перемазана кружками, и теперь я протыкаю ее ножкой циркуля и смотрю, что получается на свет. Нянька с необыкновенным искусством штопает пятку чулка, ею же когда-то связанного. В комнате тихо, и время проходит мимо нас, тикая маятником.

Сколько лет нашей няне? Пожалуй, много ей лет, совсем сгорбилась няня!

Она приподымается и тянется рукой к лампе – свету прибавить. Катюша отрывается от книги:

– Сиди, сиди, няня, я прибавлю.

– Спасибо, Катенька. Темно мне, глаза мои старые.

Катя смотрит на пламя лампы и, думая о своем, спрашивает:

– Няня, а тебе сколько лет?

– Лет-то сколько? А кто их знает, Катенька. В прошедшем году барыня считали, и будто выходило семьдесят восемь – семьдесят девятый. Это в прошедшем году летом. Стало быть, нынче в январе будет семьдесят ли девять либо все восемь десятков. Вот мне годов сколько, много годов.

Катя смотрит теперь на няню внимательно, точно в первый раз видит ее морщины и прядь седых волос, выбившуюся из-под платка. Платок няня никогда не снимает, и никто ее простоволосой не видал.

– Ты долго жила, няня! Много видела!

Няня соглашается:

– До-о-олго живу! У нас в роду все подолгу жили. Пора бы и помирать мне, Катенька. Вот только хочу повидать, как ты замуж выйдешь.

– А может быть, няня, я совсем не выйду замуж.

– Как же можно! Ты девушка красивая, здоровая, в девках не засидишься. Вот только дай гимназью кончишь.

Катя смотрит на нянин платок и старается представить себе две картины. Вот она, Катя, сидит в девках и на всех сердится; мимо ходят люди, веселые, разговаривают, а она сидит неподвижно в девках и молчит. Или – вот она замужем, пьет чай в такой же столовой, а рядом муж мешает в стакане ложечкой и ест печенье. Но представить себе мужа Катя никак не может.

– Няня, а ты погадай мне, выйду ли я замуж.

– Да ведь што мое гаданье. Может, правда выйдешь, а может, и так, понапрасному.

– Погадай, няня.

У няни в ее чуланчике лежат на полке карты в железной коробке. Этими картами она гадает уже лет двадцать и менять их не хочет, так к ним привыкла. Карты согнуты и почернели. У дамы бубен усы, у короля червей угол обрезан до уха. Катюша знает, что она – дама треф.

Дама треф ложится посередине, и на сердце у нее закрытая карта – без угла. Няня слюнит пальцы – без этого карту от карты не разлепить. Налево – дорога, направо – деньги.

– Ну, няня, что выходит?

– А чему тут выходить? Дурного ничего нету, все благополучно. То ли куда уедешь, то ли тут будешь жить с достатком. А надо быть, дорога, все три шестерки. Вон седьмерка виней – это тяжелые хлопоты, да, может, она потом уйдет.

Карточные масти няня зовет по-старинному: «буби, вини, крести».

На сердце оказался король червей. Но няня не уверена.

– Это кто, няня, суженый?

– Надо быть, суженый, только человек пожилой.

– Старик?

– Зачем старик? Может, и не старый человек, а с положением, в годах, не лоботряс какой. И из себя белокур.

– Ну и что же, няня?

– А разве я знаю! Может, и замуж за него пойдешь. За почтенного человека и лучше, не будет с его стороны никаких шалостев.

– Это какие шалости, няня?

– Всякие бывают, если человек неверный. Жена дома сидит, а он мотается.

– Как, няня, мотается?

– А так и мотается, что все бегает.

– По гостям?

– По гостям да по трактирам, кто их знает.

– Я такого не хочу, няня.

– Кому ж такого надобно, какая с им жизнь!

Опять выходит дорога и письмо. Катя на минуту задумывается. Едет она на пароходе или по железной дороге, пишет письма маме, няне, подругам. И сидит рядом с ней кто-то, неизвестно кто, дергает за руку, заглядывает, не дает писать.

Няня гаданьем недовольна: много черных карт, виней и крестей, окружили даму. Одна надежда – уйдут. Но как раз ушла вся сердечная масть, остались хлопоты, да туз и десятка бубей. Деньги будут, а любви особой не видно, даром что лег король прямо даме на сердце. Мало хорошего.

– Ну, няня?

– А что ж няня? Какая твоя няня гадальщица? Карта, она ляжет, как ее положат, верить ей тоже нечего. Другой раз другое выйдет.

– А сейчас нехорошо вышло?

– Особо плохого ничего нет. Зачем плохое? Ну и хорошего особенно нет. Богатство – это хорошо. Хоть и не в деньгах счастье, а и без денег не проживешь.

– А замуж выйду?

– А как же не выйдешь? И без карты выйдешь, и по карте так.

– А счастлива буду, няня?

Тут нянька сердится:

– Счастье, милая, сам себе человек делает. Люби мужа – вот тебе и счастье. С неба оно не свалится, счастье. И все это гаданье выходит – одна глупость.

– Ты картам не веришь, няня?

– Чего им верить, я и так знаю, без карт.

И правда: восемьдесят лет на свете проживши – как же не знать няне, в чем счастье и как его добывают! И сама была замужем – в свое время досыта наплакалась. В деревне, где жила няня молодой, про счастье так говаривали: «Счастье да трястье на кого нападет». А то еще сами на себя плакались: «Таков наш рок, что вилами в бок».

– Главное дело, Катенька, чтобы за большим не гнаться, малого не пропустить. Кому какая доля выпадет. Кто другого жалеет, тому и жить легче. А бояться нечего – от судьбы не убежишь.

Няня охает, несет коробку с картами обратно в свой чуланчик. Лиза раскрашивает зеленым, красным и желтым третий букет цветов – все три одинаковые, по две маргаритки справа, по две слева; и только ленточки разного цвета. Я доломал до конца графитик в циркуле. Катя снова склонилась над книгой; смотрит она не на страницу, а на рисунок скатерти – но и его не видит. Задумалась Катя.

Звонок в передней: мама вернулась.

КАТЯ ЧТО-ТО ПРИДУМАЛА

С утра у нас в доме волненье и суета. Мама звенит ключами, няня стучит ящиками шкапов и комодов, часто вбегает Саватьевна что-нибудь показать, а то вызывает маму на кухню.

Мне все это любопытно, но меня совсем затолкали:

– Костенька, да не вертись ты под ногами!

Примечательно, что перед обеденным часом мне дали хлеба с ветчиной и стакан молока: значит, обед будет поздно. Известно также, что к обеду будут гости: из буфета вылезло все столовое серебро, а из магазина принесли несколько бутылок вина. Вино у нас бывает только на Пасху, – значит, сегодня день совсем особенный.

Он и вправду особенный. И вообще в последние дни происходит что-то не очень понятное. Катя, например, все время ходит на цыпочках, и к ней нет приступу. О чем ее ни спросишь – она отвечает рассеянно, а то и совсем не ответит. И мама постоянно останавливает:

– Костя, не надоедай Катюше. Иди и играй или почитай что-нибудь.

Мама все шепчется то с няней, то с Катей, а то ходит с заплаканными глазами. Что-то случилось, и, по-видимому, с Катюшей: все на нее смотрят, вздыхают, качают головой.

Кое о чем я, впрочем, догадываюсь, так как слышал странный разговор между мамой и няней:

– Чего же убиваться, барыня, чай, по своей воле идет.

– Няня, да ведь она совсем девочка, ничего не понимает.

– Чего ж тут и понимать-то, тут и понимать не надобно.

– Может быть, она его и не любит.

– А не любит – полюбит, барыня, наука нехитрая.

– Ведь на всю жизнь, нянюшка!

– Это конечно.

– Подождать бы год-другой.

– А чего ждать, барыня? Она-то подождет, ему ждать невозможно, он человек в годах и с состоянием. Этакий сразу другую себе найдет.

– Бог с ним, с состоянием.

– Как же можно, барыня! С деньгами все легче жить, чем без достатка, особенно коли человек почтенный.

– Не знаю, нянюшка, как-то все внезапно вышло. Уж очень скоро.

– Так-то и лучше. Никто девушку не неволит, самой приятно, и подружкам завидно.

Говорили, конечно, про Катюшу, которая что-то придумала, а мама не знает, хорошо ли Катюша сделала.

Сестра только что окончила гимназию. Ей шел семнадцатый год, и я считал, что она уже довольно старая, конечно не такая, как мама и няня. Любовь моя к сестре от этого не уменьшилась. Катюша была, по-моему, замечательная, и я не удивился, что она придумала что-то такое, чего даже мама не ожидала.

Человек, про которого говорили, что он очень почтенный и с состоянием, был, конечно, белокурый инженер Евгений Карлович. С некоторых пор он стал часто у нас бывать. Но он был человек посторонний, недавний знакомый, и мне не сразу пришло в голову, что Катя задумала на нем жениться; женятся-то, кажется, только на самых лучших знакомых. Катюша разговаривала с ним очень мало, а только смотрела. И он больше разговаривал с мамой, а иногда шутил со мной.

И однако, в этот день за обедом Катю посадили рядом с инженером, и все на них смотрели. Потом стали пить вино, налили и мне совсем на донышко стакана, а после индюшки встал мой крестный отец, Аркадий Петрович,

поцеловался с мамой, потом поцеловал Катюшу – и тогда все стали поздравлять Катюшу и инженера. И я заметил, что Катюша очень испугалась, чуть не заплакала, а инженер доволен. Только тут я окончательно понял, что Катюша все-таки решила жениться. Собственно, я думал, что она тут же за обедом и женилась, но после няня мне объяснила, что это была только помолвка.

– Свадьба, Костенька, после Петрова дня.

– А как, няня?

– А так, что обведет поп трижды вокруг налоя – вот тебе и прощай наша Катюша.

Моя детская память – чувствительная и непреложная пластинка – сохранила лицо Катюши в эти дни: немножко вытянутое, удивленное и торжественное. Сестра, раньше такая веселая, жизнерадостная, теперь молчаливо бродила по комнатам, точно прислушиваясь. Когда с ней заговаривали, она удивленно улыбалась, осторожно смеялась и не знала, как ей держаться.

Теперь я знаю: она и впрямь была удивлена. Внезапно в ее жизни произошло огромное событие: пришел человек и уверенно положил ей руку на неопытную детскую головку; человек большой, взрослый, самостоятельный, который всем нравился, и ей нравился, и перед которым все как будто заискивали. Когда он появлялся – все обращались к нему и никто ему не возражал. Он был очень мил, привлекателен, любезен, но главное – он был выше и лучше всех, кого знала Катя. И этот человек выделил ее, Катюшу, из всех людей и предложил ей делить с ним всю остальную жизнь.

Она была слишком юна, моя милая сестренка, чтобы полюбить сознательно. Она была поражена. Она невольно внушала себе чувство, назвав его – на детском своем языке – любовью. Но я знаю теперь, что она отдавала себя этому незнакомому инженеру из чувства удивления, почтительного восторга перед его силой и взрослостью, может быть, из чувства присущей ей вежливости и уважения к взрослым.

Ее чувство мне тем более понятно, что оно передалось и мне. Со дня помолвки я благоговел перед женихом сестры. Он казался мне великим и единственным, образцом и примером для подражания.

У него были волнистые белокурые волосы, – и я считал, что каждый уважающий себя мужчина должен иметь такие. Я даже спросил его, почему волосы вьются. Он ответил, что нужно их мазать керосином и долго трепать по утрам. Няня

отняла у меня керосин, но зато я трепал свои плоские волосы с таким усердием, что потом их трудно было расчесывать. Надо мной смеялись, – но я не перестал верить каждому слову инженера и подражать ему во всем. Так, он иногда вместо «да» говорил «дэ-с!» – и я немедленно перенял это и на всякий вопрос отвечал важно: «дэ-с!»

Я обожал его бескорыстно, – хотя он осыпал нас, и меня, и Лизу, и няню, и маму, и, конечно, Катюшу, подарками. Я получил от него настоящее «монтекристо» и набор столярных инструментов. Он приносил и присылал столько шоколадных конфет, что я даже стал к ним равнодушен. Мама укоряла его за то, что он нас балует.

Со стыдом вспоминаю, что он стал для меня тогда чем-то даже большим, чем Катюша; и правда, она казалась перед ним маленькой девочкой, которую с этих пор он будет защищать и воспитывать.

Мама говорила Евгению Карловичу:

– Знаете, Костя в вас влюблен.

Он смеялся, а я краснел от смущения и удовольствия. Я действительно был влюблен. Как я мог не быть влюбленным в того, в кого влюблена Катя? И я не ревновал его к сестре, – я просто делил ее чувство и считал себя их общим верноподданным.

В это примечательное время инженер бывал у нас почти каждый день; только на три недели он уезжал в Москву. Говорили, что он там открывает свое дело и что свою службу на уральских заводах он оставил. Вероятно, и Катя, когда выйдет замуж, переселится в Москву.

В моем детском поклонении известную роль играло и то, что Евгений Карлович был родом датчанин. Это тоже казалось мне замечательным: до сих пор мне не приходилось видеть датчанина, и только из учебника Янчевского я знал, что есть такая страна – Дания, маленькая и с трех сторон окруженная морем. А тут – настоящий живой датчанин, да еще инженер, да еще жених Катюши, – мудрено ли потерять голову!

ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖЕНИЛАСЬ

По вечерам засиживались поздно, а меня отсылали спать в десять часов.

Моя комната была рядом со спальней матери – маленькая, но отдельная; раньше она служила кабинетом отцу.

Из столовой раздаются голоса: тихий – матери, звонкий и молодой – Кати, мужской и уверенный – Евгения Карловича. Иногда он долго говорит, может быть опять рассказывает про охоту на Урале, и тогда мне хочется скинуть одеяло и крадучись подбежать к дверям столовой.

Помню, как в час моего первого, еще чуткого сна вошли в мою комнату Катя и ее жених. При слабом свете лампадки я все же видел их лица. Они сели на стулья против моей кровати – будто бы пришли взглянуть, как мирно спит Костя. Но если бы и вправду смотрели, то заметили бы, что Костя в дремоте их видит.

Они не разговаривали. Инженер смотрел на Катю, и я в первый раз заметил, что под белокурыми усами у него большой рот; от теней лампадки рот казался даже огромным и неприятным. Катя, совсем при нем маленькая, – хотя она была не ниже его ростом, – сидела, повернувшись к нему, но наклонив голову; она показалась мне смущенной. Еще видел я сквозь сон, как Евгений Карлович сначала гладил ее руку, а потом хотел ее обнять, но Катя отстранилась и тихонько сказала: «Нет, не надо!» И тогда рот инженера стал меньше и углы его опустились. Как я ни был мал, но все же догадался, что инженеру хочется поцеловать Катю, а ей этого не хочется. Потому, вероятно, он и завел ее в мою комнату, будто бы посмотреть на меня. Мне стало немножко стыдно, я закрыл глаза и сейчас же заснул.

Жизнь наша продолжала быть интересной. У меня прибыло много книжек, большинство с описанием зверей и рассказами про охоту. У Лизы стоял на столе настоящий письменный прибор, который она ежедневно протирала суконной тряпочкой. Саватьевна выбегала из кухни в переднюю подать инженеру шубу и потом что-то прятала в кулаке. Каждый день приходила к нам белошвейка и шила до темноты, и еще приходила портниха примерять платья: дорожное, визитное, а ко дню свадьбы и белое подвенечное, при примерке которого присутствовали все: и мама, и няня, и Саватьевна, и Лиза, и, конечно, я.

Катя спала теперь вместе с мамой в ее спальне рядом с моей комнатой, и часто, проснувшись ночью, я слышал их полушепот: это мама учила Катю жить замужем. Я засыпал, – а они еще шептались.

День свадьбы сестры как-то слился в моей памяти с другими суетливыми и праздничными днями. Знаю, что мне было поручено положить в белую атласную Катюшину туфельку золотую монету и что я ехал в церковь впереди всех

с иконой. Помню, как рассказывали, что Катя не захотела первой вступить на розовый шелк, а подождала, пока вступит инженер, – няне это не понравилось. И еще помню, как по приезде из церкви мы пили шампанское; действительно «мы», потому что дали полный бокал и мне, отчего я совершенно опьянел. Может быть, поэтому меня не взяли на пароход провожать молодых.

Они уехали ненадолго, только прокатиться по Каме и по Волге. Их квартира была готова – у нас же во флигеле, из которого за месяц перед этим выехала Пашкина семья. Во флигель привезли большой рояль, много новой мебели. Было решено, что Катя с мужем еще около года проживут в нашем городе – и лишь потом уедут в Москву.

На новую жизнь сестры я смотрел как на очень интересную и вполне замечательную ее выдумку. В голове моей не зарождалось мысли, что это – не Катюшино интересное приключение, а что это так уже и будет всегда, что Катюша из нашей семейной жизни ушла, что уже нет у нас Катюши, что только временно она еще бывает у нас, а потом уйдет в какую-то, совсем не нашу, неизвестность. Теперь у нее была своя квартира и своя прислуга, – это тоже было занимательно и любопытно. В Катюшиной новой квартире жил Евгений Карлович, что было очень приятно, так как у него было много ружей, медвежьи шкуры, рога и, совсем как живая, голова волка над дверью кабинета. Но я бы не очень удивился, если бы Евгений Карлович уехал, а Катюша вернулась в свою прежнюю комнату и мы бы вспоминали, как было интересно при Евгении Карловиче и как жаль, что он уехал. Она была все-таки нашей, а он был чужим человеком, хоть и очень приятным. Вот только жаль, что Катюша все равно не будет больше ходить в гимназию.

По-нянькиному выходило, что Катюша теперь – «отрезанный ломоть», но я этого как-то не усваивал. Хоть и отрезанный, а приставь его – он и прирастет. И тогда Катюша снова будет носить короткое платье, петь, читать по вечерам в столовой книжку и разливать чай, когда мамы нет дома. И все будет по-прежнему, как и быть должно. Потому что Катя и была и осталась нашей.

Я – ДЯДЯ

Были две Кати: Катя – барыня и Катя – прежняя. Первая жила во флигеле, занималась хозяйством, принимала гостей, играла на рояле и ходила под ручку с мужем

в дамской шляпе, в платье с турнюром и в перчатках. Она была очень красива и приветлива и была совсем взрослой.

Другая Катя, прежняя, прибегала к нам, когда ее муж уезжал по делам. Это случалось постоянно: то он ездил на уральские заводы, где не все его дела были закончены, то на охоту, то на целый месяц в Москву. При его долгих отлучках Катя совсем переселялась к нам и спала, как прежде, с мамой. В доме у нас становилось веселее. Катя надевала короткое платье, старое гимназическое, заплетала косу, тормошила няню, целовала маму, училась со мной в саду стрелять в цель из «монтекристо» и целый день напевала. Когда матери было некогда, Катя занималась со мной – готовила к поступлению в гимназию.

Было очевидным, что Катя опять что-то придумала: теперь она, под маминым руководством, шила и подрубала какие-то тряпочки, рубашечки, одеяльца, как бы для очень большой куклы. Ее это очень забавляло, мама же относилась к этому с большой серьезностью. По ночам они опять шептались в спальне, а однажды Катюша спросила меня:

– Котик, ты хочешь быть важным?

– Каким важным?

– Ну, например, ты станешь дядей.

– Каким дядей?

– Если у меня будет сын, ты будешь его дядей.

Меня это очень поразило: я не совсем был готов к роли дяди. Но Катя говорила так серьезно, что я постарался представить себе такой случай. Вот я – дядя. Катин сын, ужасно маленький, подходит ко мне и говорит пискляво:

– Здляствуй, дядя!

Я отвечаю снисходительно, но ласково:

– Здравствуй, мой милый.

– Мозьно мне поиглать?

– Да, только не очень шали.

Он идет играть, а я задумчиво беру книгу и вздыхаю.

Выходило почтенно. И впервые я почувствовал, что становлюсь пожилым и солидным человеком.

Однажды, когда Лиза была в гимназии, я услыхал в ее комнате тихий и оживленный разговор. Говорил голос Кати, и никто ей не отвечал. Я подкрался к двери и заглянул.

Катя, с длинной косой, в светлом платье, сидела на Лизиной кровати, окруженная куклами. Самую большую – ту, которая открывала и закрывала глаза, – Катя держала на

руках, прилаживая ей какой-то бантик. И я услыхал, как она сердитым шепотом говорила:

– Ах, тебе не нравится, тебе не нравится красный? Очень жаль, очень жаль, но другого нет. Пока походи с таким, а потом мама купит тебе голубенький. Да ну же, не вертись!

Одновременно за моей спиной раздался голос матери:

– Ты что тут, Котик, подсматриваешь? Что тебе интересно?

– Я смотрю, как Катя играет в куклы.

Мама вошла в комнату, а Катюша быстро собрала кукол и швырнула их в коробку. Покраснев, она сердито залепетала:

– Какие глупости, Костя, я просто смотрела, какой у Лизы беспорядок, все помято. Как странно, мама, ведь Лиза вообще такая аккуратная!

Мама пробормотала что-то, вроде: «Да, с ней бывает», повернулась и вышла. Но я заметил, как у нее запрыгали губы от смеха, который она старалась сдержать.

Катюша продолжала сидеть на кровати, и я не понял, почему она смущена и на меня злится. Я не видел ничего дурного в том, что она играет в куклы, – она и раньше часто играла, и с Лизой и одна.

Потом Катюша надула губы, ушла в гостиную, села в кресло и стала читать книжку. Мне очень хотелось с ней помириться, но я не знал, как это сделать. Когда вошла мама, Катя подперла голову кулаками и стала читать еще внимательнее. Мама погладила ее по голове:

– Ах ты, моя бедная девочка!

Катя отбросила книжку и прижалась к маме, и тогда мама, все еще смеясь, сказала:

– Ну чего же ты смущаешься? Вот погоди – будешь играть в живую куколку.

– Мамочка, я вовсе не играла, а только примеряла бантик, он откололся. Костя вечно все выдумывает.

Мне этот разговор показался довольно обидным; но мне стало жаль Кати, и я не возражал. Женщинам приходится прощать, даже когда они не правы. В особенности – любимым женщинам. А я очень любил сестру, – в доме нашем она была солнышком, которое всех грело и ласкало.

. . . .

Катя давно уже носила широкий и длинный капот, перестала прыгать, а по лестнице спускалась, держась за перила. Она стала торжественнее и старше.

В последние дни мама иногда ночевала у Кати во флигеле. Телеграфировали инженеру, который опять был в Москве, и ждали, что он со дня на день приедет. Но, кажется, он опоздал ко дню новой суеты.

Этот день суеты я хорошо помню. Не каждому удается стать дядей в девять лет, и, конечно, это не менее почтенно, чем в тридцать пять лет стать отцом.

Не только мама и няня, но и Саватьевна почти все время проводили у Кати во флигеле. Приехал наш старый доктор Винокуров, лечивший и меня от кори, – и его проводили во флигель. Саватьевна носилась по двору, из дома в дом, широко размахивая руками. Нам с Лизой вместо обеда дали холодной телятины, молока и вчерашнего киселя. Лиза с полным спокойствием и сознанием долга учила свои уроки, хотя ведь и ей предстояло стать теткой. Я же сильно волновался и старался войти в новую роль.

Прежде всего я прибрал свою комнату. «Монтекристо», лобзик для выпиливанья и столярные инструменты я развесил над кроватью; книги в полном порядке, по росту, от большой к маленькой, расставил на полке, несерьезные игрушки запер в шкап, – вряд ли они могли понадобиться человеку в звании дяди. В перерывах я ходил по комнате большими шагами, заложив руки за спину: иногда останавливался и говорил: «Дэ-с!» Затем я подписывал свою фамилию на листе бумаги, стараясь, чтобы росчерк был простым, солидным и красивым, а главное – всегда одинаковым.

Эти деловые хлопоты заняли весь день. Вечером мама забежала только на минутку, велела мне ложиться спать, поцеловала и опять ушла к Кате. К ночи вернулась няня и, укладываясь, долго охала. Но и ночью было слышно, как хлопает кухонная дверь, ведущая во двор.

Утром разбудила няня:

– Вставать пора, Костенька. В доме радость, а ты спишь.

– Какая радость, няня?

– А такая радость, что у Катеньки сынок родился.

– Няня, а как его зовут?

– А еще никак не зовут. Потом назовут, успеется. Весь в мамашу, здоровый. Вот ты и дяденькой стал, а Лизанька тетей.

Да, такого дня не забудешь. Мама пришла нас поцеловать; она была веселой, но глаза заплаканы. Она тоже поздравила меня с новым моим званием.

В этот день я часто подходил к большому зеркалу и смотрел на себя. Несомненно, во мне произошла какая-то

важная перемена: лицо увереннее и как бы равнодушнее. Лицо человека, который знает свои обязанности и готов их выполнить. Лицо почтенное, взглянув на которое каждый скажет:

– Несомненно, этот господин – дядя! В нем есть что-то особенное.

. . . .

Теперь, когда я давно уже дедушка и пережил много семейных радостей и все семейные утраты, – мне приятно вспоминать, с какой серьезностью отнесся мальчик Костя в великому событию в жизни его любимой сестры, правда, думая не столько о ней, сколько об удивительной перемене в своем собственном семейном положении.

Мои детские воспоминания о сестре прерываются на этом событии. Ставши матерью, она уже недолго жила с нами. Московские дела ее мужа устроились, и флигель в нашем доме опустел. В моей личной жизни также произошло важное событие – я поступил в гимназию. Всего один раз приехала к нам Катя погостить летом; больше я не видел ее до университета.

Было много и других событий, но в памяти моей они не очерчены так резко. Умерла наша нянька; умерла не у нас, а в деревне. Лиза окончила гимназию и поехала погостить к Кате в Москву. Были какие-то письма – каждый день по письму, и каждый день мама на них отвечала. Потом были телеграммы. Потом мама хотела поехать в Москву, но не собралась. Оказалось, что Лиза в Москве выходит замуж.

Но жизнь юноши полна своим – о чужом и далеком некогда думать. Интересы дома и семьи уже не были на первом месте. Я изучал – не слушком прилежно – три-го-но-метрию и до боли щипал пушок над верхней губой. Сделал кое-какие жизненные открытия. Познал кое-какие философские истины. Был влюблен, и не раз. Был разочарован. Прочитал всех русских классиков. Написал сочинение на тему «Отрицательные черты обломщины в русской жизни». В последнем классе гимназии попробовал курить – и вышло удачно.

И вот наступило последнее лето моей жизни в провинции, при матери. На мне уже была студенческая фуражка. Был куплен новенький чемодан и ремни для подушек. Мама сшила мне мешочек для чаю и сахару, и на нем была вышита моя метка. Наконец было заказано место на пароходе – через Казань до Нижнего.

Впереди была Москва, и приятно было знать, что там я увижу сестру, когда-то делившую со мной в темном чулане строгое наказание.

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

Я перевожу рассказ на годы моей ранней молодости, на те года, о которых редко кто не вспоминает с улыбкой и со вздохом сожаления: «Их не вернуть!»

Я буду сдерживать перо, чтобы оно не увлеклось воспоминаниями о моей студенческой жизни. В этой повести о жизни женщины брат ее Костя – только любящий свидетель. И только там, где наши жизни тесно переплетались родственными и дружескими нитями, я чувствую себя вправе говорить о себе. Но обойтись совсем без отступлений слишком трудно. Между бытием тогдашним и нынешним – глубокая пропасть смутных, радостных, тяжких, еще не взвешенных разумом лихолетий. В быте, в семье, во взглядах общества все так изменилось, что невозможно понять душевного облика прежних людей, не припомнив среды, в которой сложились их характеры. Женщина тогда – и женщина теперь... Посадите их рядом и наблюдайте, с каким жадным любопытством они будут разглядывать друг друга и втайне друг другу завидовать: одна – очарованью неизведанной свободы, другая – красоте утраченной женственности.

О женщине-товарище говорили и мечтали и мы, тогдашние. Но, крепко и дружески пожимая ее руку и с тайным сожалением глядя на ее стриженые волосы (первый шаг к свободе!), мы, подчеркивая ее с нами равенство, – оставались поклонниками и рыцарями. Свободные в словах и чистые в отношениях с этими пионерками женского раскрепощения, мы втайне ценили лишь крепость девственности и уважали будущих матерей. И пуще вольных жестов и откровенных прикосновений нам была мила целомудренная коса и робкое дрожанье губ весной под черемухой. Расплесть эту косу – уже дерзкая и циничная мысль; поцеловать эти губы – сладкое грехопадение. Затем мы женились и делались домашними деспотами или мужьями подъяремными – в зависимости от характеров, но независимо от юношеских идей о равенстве полов.

Сейчас, когда все это (все ли?) исчезло либо стало (стало ли?) смешным, – сейчас я все-таки не уверен, что мы,

насильники и рабовлаледьцы, меньше отдавали должного человеческому достоинству женщины, чем отдают теперь апостолы любви «без черемухи». И я не уверен, что женщине раскрепощенной и свободной стало в России легче нести свою женскую долю.

. . . .

В купленной еще весной студенческой фуражке, голубой околыш которой успел выцвести раньше, чем я впервые увидел на Моховой два корпуса университетских зданий, я ехал по Каме и Волге в город, совсем мне новый, но не совсем чужой: в нем жили обе мои сестры и ждал меня родственный прием.

Если бы не это обещание воздерживаться от отступлений в моем простом рассказе – о, сколько я нашел бы слов, чтобы поведать о *наших* местах, о приволье двух великих русских рек, о сладости впервые быть взрослым и самостоятельным, едущим вкусить от науки и от жизни, о том, как приятно давила лоб фуражка студента, бывшая в то время в большем почете, чем любая изящнейшая шляпа, чем лощеный цилиндр и военное кепи. И с какой улыбкой я вспомнил бы – за давностью лет без прежнего смущения – о сокровенных помыслах вступающего в жизнь юноши, о сумбурных его надеждах на яркую, необычную, счастливую судьбу, на завоевание мира и миров, на достижение мудрости, успеха, радости, славы. Сейчас, на склоне дней, когда свершилось все, что должно было свершиться, а над мечтами о несбыточном и недоступном поставлен намогильный крест, – сейчас, не скрою, страстно хочется вернуть ту пору хотя бы легким путем воспоминания!

В Москве я остановился у младшей сестры с твердым намерением не загоститься у нее долго и снять собственную комнату, непременно в студенческом квартале.

Муж Лизы оказался очень милым и добродушным человеком с брюшком и лысиной, не очень молодым, не очень умным, но веселым и приятнейшим. Сама Лиза, методичная, аккуратная, хозяйственная и заботливая, сразу создала себе ту жизнь, которая была ей нужна: очаг, семью, любящего мужа, удобную квартиру, полную уюта, салфеточек, недорогих картин и покойного быта. Она была вполне счастлива и вполне удовлетворена. При всей молодости – она была настоящей дамой, с дамской улыбкой, дамскими разговорами и дамским рукодельем. С особенным удовольствием она говорила: «Мой муж», «Мы с мужем», при всех

ласкалась к нему и целовала его в лысину. Читала она только приложения к «Ниве» да иногда перечитывала своего любимого Тургенева, «Вешние воды» и «Первую любовь», над которыми неизменно плакала. Не только сама приготовляла кофе, но целый час перед обедом не выходила из кухни, помогая кухарке и оживленно с ней беседуя. Белье прачке она сдавала, отмечая его цифрами на готовом печатном блокноте, а себе оставляя копию. Неизвестно, как и когда она успела усвоить все познания хорошей хозяйки, начиная с десяти различных подливок к двадцати различным блюдам и кончая средством излечивать насморк, когда он еще не успел перейти из периода чиханья в период потопа.

Такую жизнь называют – и тогда называли – мещанской. У таких людей любят бывать, в особенности обедать, но их не принято уважать. Они очень удобны и очень милы, они лучше всех умеют сочувствовать и помогать в горе, они помнят свои и чужие именины и рождения, знают имена и отчества своих знакомых, дают прекрасные практические советы. Они никому не приносят вреда, а сами счастливы и всех хотят видеть счастливыми. Поэтому над ними смеются и их любовно презирают. Если в их личной жизни случается несчастье, разрушающее благость и безмятежность их бытия, им помогать не принято, потому что всем на свете не поможешь, а эти, такие типичные мещане, общественной помощи как-то даже и не заслуживают: есть много достойнейших, о которых стоит позаботиться раньше. Большее, что можно сделать, это – купить у них недорого их пухлые, удобные и вместительные комоды, их запасы добротнейшего столового белья, отличные ковры на всю комнату, огромный диван-самосон, каминные часы под стеклянным колпаком, пожалуй, даже полное собрание сочинений Тургенева, опрятное, в прекрасном переплете, лишь со следом двух слезок на страницах «Вешних вод».

Так как я был очень беден, то время от времени, достаточно наголодавшись, переселялся на месяц – на два к одной из сестер, чередуя свои налеты. У обеих были для меня комнаты, и обе были мне рады. В начале своей московской студенческой жизни чаще живал у Лизы, так как мне было ближе: Катя жила на окраине. Когда я привозил на извозчике свое имущество – чемодан, связку книг и керосиновую лампу, – Лиза встречала меня словами:

– А, Костя! Ну вот и хорошо. По крайней мере, отъешься: ты такой худой.

Затем она немедленно готовила мне яичницу с ветчиной («Пока, до обеда, подкрепись!») и сама устраивала мне постель. На наволочках были вышиты гладью ее буквы – по девической фамилии, – хотя я знал, что приданого мама ей не заготовила: Лиза вышла замуж внезапно и не из дому. Очевидно, все это было сделано самой Лизой после, но по правилам хорошего быта.

Затем начиналась «жизнь». По утрам я аккуратно просыпал час лекций, но успевал встать ко «второму кофею», с булочками, яйцами всмятку, сыром и вареньем. Потом был завтрак, за которым мы с Лизиным мужем выпивали по две рюмки водки, а вечером нас ждал сытный и обильный обед (по-московски – ужин), после которого очень хотелось спать.

Подкладывая мне куски побольше и пожирнее, Лиза говорила:

– Ты опять, Костя, ешь без хлеба! Так ты никогда не поправишься.

Но я не только поправлялся, но и полнел. Кроме того, я чувствовал, что долго такой жизни мне не выдержать, что у меня, как у Лизиного мужа, вылезут волосы и отрастет брюшко. Подобно Счастливцеву из «Леса», я порою, переваривая пищу или дремля раньше времени, ловил себя на неотступной мысли: «А не повеситься ли?»

Слишком уж хороша и покойна была жизнь в доме Лизы, слишком далека от событий, волнений и тревог, которых молодость не боится и не избегает.

К концу месяца на меня нападали такой страх и такая тоска, что за первую скудную получку денег из дому я опять снимал себе комнату в Гиршах или Палашах, даже не осмотрев внимательно щели в стенах и углы в тюфяке моего предшественника: все равно комнаты без клопов за десять рублей не найти. Затем я связывал ремнем и веревками свои книги, забирал подушку и лампу, прощался с сестрой и переезжал. Все мое белье оказывалось, конечно, перештопанным золотыми и неутомимыми руками Лизы; иногда оказывалось и что-нибудь лишнее, не предусмотренное моим студенческим хозяйством: полотенце, полдюжины новых платков, и все, конечно, с моей меткой, чтобы и сомненья не было, и у прачки не терялось.

Провожая меня, Лиза говорила:

– Приходи к нам по воскресеньям, Костя. А как захочется – приезжай опять пожить. Очень я боюсь твоих студенческих столовых! А тебе перед экзаменами так важно будет поправиться.

Сама Лиза располнела, и довольно неумеренно. Когда ей об этом говорили, она солидно замечала:

– Ну что же; моему мужу это нравится.

Жизнь ее была омрачена лишь одним – у нее не было ребенка. А именно ей, рожденной матери и хозяйке, это было нужнее всего. Пока ребенком был для нее лысенький и добродушный муж.

Ближе к весенним месяцам я предпочитал переселяться ненадолго к старшей сестре, Кате, которая жила в Сокольниках в двухэтажном особняке мужа, рядом с его фабрикой.

Ее жизнь сложилась совсем иначе.

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

Лиза жила в довольстве – Катя жила в богатстве. Довольство Лизы проникало всю ее жизнь и щедро изливалось на всякого, даже случайно зашедшего. Богатство Кати было каким-то холодным, ненужным, не устроившим ни ее, ни ее семью. В доме ее мужа было много ненужных комнат и стояла лишняя мебель, не делавшая уюта. Чувствовалась творческая мысль декоратора, к которой был равнодушен хозяин. Был большой зал для приемов – но приемов не было; в столовой был длинный стол, за которым обедало двое. Прекрасный рояль был покрыт чехлом, а папки с нотами заперты в стеклянном шкапу. Совсем не было комнатных растений – а у Лизы был заполнен ими каждый освещенный уголок. Не было в доме ни кошки, ни собаки, но по ночам скреблись мыши.

Дом стоял на окраине, рядом с большим фабричным зданием, где стучал мотор. Двор был общий с фабрикой, и хорош был только сад, большой, тенистый, совсем запущенный, заросший смородиной и малиной,

В верхнем этаже дома были комнаты Кати, одна из которых отводилась мне, кабинет ее мужа, огромный, включавший его охотничью и техническую библиотеку и его спальню, рядом маленькая комнатка, служившая ему лабораторией. Там же были две детские; в одной хозяйничал Володя, мой племянник, серьезный и очень вежливый девятилетний мальчик, в другой – няня с пятилетней Лелей, очаровательной девочкой.

Няня была непростая и очень любила, чтобы ее называли не няней, а бонной. Она была грамотна и перешла к сестре из богатого титулованного дома. Обедала она вместе

с детьми наверху и имела собственное серебряное кольцо для салфетки. Она немного презирала Катю и преклонялась перед инженером. Меня, бедного родственника, няня старалась не замечать. Носила она темно-синее старомодное платье с брошью и черную кружевную наколку.

За эти годы Катя выросла и из девочки стала очень видной и очень красивой женщиной. Ее считали франтихой, хотя она уверяла меня, что на свои костюмы тратит гроши. Одевалась она действительно прекрасно, хотя ярко и несколько вызывающе. У нее была простенькая портниха, которая шила и переделывала ее костюмы под ее руководством. У Кати было много вкуса, и она ухитрялась одним небрежно брошенным куском материи, бантом или цветным шарфом делать из простого и дешевого платья богатый наряд. Она была из тех немногих женщин, которые, следя за модой, никогда рабски ей не следуют и предпочитают законодательствовать сами. Катя сама умела кроить, шить, переделывать, чинить, штопать. На свои наряды она тратила только остатки денег, которые инженер давал ей на хозяйство. Я знал, что иногда она нуждается и очень экономит.

Когда я приехал в Москву и в первый раз навестил Катю, она встретила меня ласково и радостно:

– Костя, ты стал большой! И так хорошо, что ты – студент. Я тебя очень ждала. Расскажи, что у нас дома. Как мама?

– Мама старенькая, но ничего. Нянька умерла, ты знаешь. Все еще стряпает Саватьевна, но теперь мама хочет ее отпустить и переехать в маленькую квартиру, в две комнаты. Она теперь одна.

– Мне хотелось выписать маму сюда, но потом я подумала: там ей лучше, привычнее, там у нее знакомые, а здесь ей будет тяжело. А как ты находишь Лизу с ее мужем?

– У них хорошо, только как-то смешно.

– Да. Но Лиза счастлива и довольна. Только бы ей ребенка! Она влюблена в мужа, а он в нее. И у них множество салфеточек.

– А ты, Катя, как живешь?

Она ответила уклончиво:

– А вот видишь как... У нас большой дом. Ты еще не видал своей племянницы; да, в сущности, ты и Володи почти не видал, только грудным.

– А Евгений Карлович?

– Он на фабрике. Мы завтракаем в четверть второго.

– Что ты делаешь, Катя?

– Я? Да ничего. Вот – хозяйство; хотя оно отнимает у меня лишь полчаса времени. С детьми немного занимаюсь; у них есть няня, но совсем не такая, как была у нас. Иногда бываю на концертах.

– А сама играешь?

– Нет, как-то забросила. Рояль есть, очень хороший.

Катя отвечала неохотно – зато расспрашивала меня обо всем очень подробно: и о маме, и о нашей старой квартире, и о моей гимназии, и о предстоящем студенчестве, о том, что я думаю, что читаю, как хочу устроить свою жизнь.

– А правда, Костя, что ты пишешь рассказы и один уже напечатал? Какой? Где? Ты серьезно хочешь стать писателем? Вот бы хорошо!

Я действительно послал чудовищный по наивности рассказ в маленький журнал, и там его напечатали. Об этом мама не без гордости сообщила Кате.

– Знаешь, Костя, если ты станешь настоящим писателем, я тогда тоже что-нибудь придумаю. Может быть, опять примусь за музыку. Вдвоем это легче. Ты хочешь?

– Да, Катя, я очень хотел бы.

– А то, знаешь, я живу так ненужно и так... Вот только дети. А мне хотелось бы...

Катя встала и, как бывало, прошла на цыпочках, заложив по-мужски руки за спину.

– Ты, Катя, сейчас совсем как прежняя, как гимназистка.

– Что? Ну, нет, где же... Но я так рада, так рада, что ты приехал. Ты, Костя, даже понять не можешь, как я рада.

– Помнишь, Катя, как тебя сажали со мной в чулан?

– Я-то помню хорошо. Костя, ты непременно приезжай ко мне часто, а то поживи у меня. Наверху у меня свои комнаты, я тебя устрою. Вот только далеко тебе ездить на лекции. Знаешь, вот если бы я тоже могла переехать в город и где-нибудь поселиться в комнатке, по-студенчески. Я часто мечтаю, конечно, это – пустяки. Я тебе буду очень завидовать.

– Ну, у тебя тут лучше.

– Тут? Да... Тут ведь дети.

И опять она стала говорить обо мне и моих планах.

И прежняя Катя – и совсем новая. Я был слишком молод, чтобы понять сразу, почему Катя прежняя прячется за новую и почему Катя новая так неохотно говорит о себе.

Мы решили все-таки, что я буду приезжать каждую неделю на субботу и воскресенье. Мы можем вместе гулять в

Сокольниках. И вообще нам нужно ближе познакомиться – так давно не видались.

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ

Спустя ровно десять минут после фабричного гудка в одну дверь столовой входил инженер, а в другую вносили очень невкусный суп. Ах, какие супы подавались у Лизы!

Инженер входил спешным и бодрым шагом, целовал Катю в затылок, подавал мне руку и спрашивал:

– Ну как, Костя, идет ученье? Не собираетесь бунтовать?

Затем он наливал себе и мне по маленькой рюмке, съедал две ложки супа и вскрывал столовым ножом принесенные письма. За вторым блюдом он очень бегло просматривал газеты, за третьим пристально читал охотничий журнал, в котором сотрудничал. Я никогда не мог понять, как может охотник не иметь в доме собаки.

Разговоров за столом не было. Катя вяло ела, я как-то не решался налить себе еще рюмку, и было слышно тиканье стенных часов.

Дети всегда обедали наверху с няней. Вообще мы их редко видели. При отце они были смирны, молчаливы и выслушивали его краткие замечания с лицом подданных. Все, что говорил детям инженер, было отчетливо, умно и полезно. Вероятно, тем же тоном он разговаривал на фабрике со служащими и старшими рабочими.

После сладкого инженер быстро вставал и, как бы что-то вспомнив, деловито собирал письма и газеты и уходил к себе. Собственно, обеденным часом и ограничивались наши встречи, так как вечером он никогда дома не ужинал.

Когда замирал звук его шагов, мы с Катей вставали из-за стола и, обнявшись, бродили по комнатам, которые сразу делались теплее и приветливее. Мы никогда не говорили об инженере и вообще о семейной жизни Кати: она не начинала разговора, а я чувствовал, что он был бы неловким и неуместным. Катя предоставляла мне присмотреться и с течением времени понять. Что мог я понять? Что Катя несчастлива? Да, я это чувствовал.

Если бы я был старше Кати, я, думается, внес бы в ее жизнь что-нибудь положительное, помог бы ей разобраться в том, что от меня, мальчика, она скрывала. Но, много моложе ее, я не мог быть для нее авторитетом или хотя бы советчиком. Я мог только помочь ей забыться, обратить-

ся в такого же легкомысленного и немного беспутного младенца, каким был сам.

После первой встречи, когда было все, что можно, вспомнено и переговорено, мы отдались взаимной дружбе, не извлекая из нее никакой взаимной пользы. Мы, что называется, коротали время, которого у обоих был избыток.

Обычно по вечерам инженер уезжал в город: щелкал ключ в двери кабинета, стучали шаги по лестнице, и спокойный, слегка деланный голос произносил в передней:

– Скажите барыне, что я буду ужинать в городе.

Прислуга не докладывала, а просто накрывала стол на два прибора. Дети ужинали раньше, и сестра, проверив уроки сына и уложив девочку, надевала свой капотик и спускалась в столовую; после девяти часов не приходилось ждать на городской окраине случайных гостей, да и вообще они были большой редкостью в доме.

Ели мы весело, возбужденно и торопливо болтая вздор. Закусив, сейчас же уходили в гостиную и усаживались за маленький столик. И тогда начиналось то, что нельзя не назвать бессмыслицей, но что для нас было «ниспровержением существующего строя». Здравому смыслу, размеренному укладу жизни мы наносили удар, от которого страдали только мы же. В этом прежде всего и выражался бунт сестры и мое в нем соучастие.

Оба мы были азартны до самозабвения, типичные и беспардонные игроки. Мы играли в скучнейшую из игр – шестьдесят шесть, но играли так, как нормальные люди не играют. Сдавая карты, беря взятки, мы произносили бессмысленные слова на каком-то собственном сумбурном жаргоне, угрожали друг другу, давали клятвы, лихорадочно ждали полосы счастья. Играли всегда на деньги, которых у меня не было и которые сестре не были нужны; и все же волновались при проигрышах и радовались, выиграв рубль. Играли мы настолько ровно и так часто, что почти не приходилось расплачиваться, да и не это нас занимало. Мы записывали результаты, чтобы продолжать игру на другой день.

Часу в первом ночи возвращался инженер и, не заглянув к нам, уходил к себе. На момент его возвращения мы остывали и сидели смущенно; когда же наверху хлопала дверь кабинета, игра разгоралась.

Мы играли ночи напролет. Отлично понимали, что это – безумие, но в том и был соблазн. Если бы не были

братом и сестрой, мы были бы, вероятно, страстными любовниками. Теперь мы только отрицали мир и уходили в свой собственный, искусственно заполненный нелепостью и азартом. Мы вполне заслуживали в эти часы глубокое презрение инженера и няньки. Растрепанные и бледные от волнения, мы быстрым механическим движением сдавали и разбирали карты, неустанно произнося условную чепуху. Часы мелькали, но нам не было до них дела.

Иногда ночью просыпался голод, знакомый всем картежникам, и тогда сестра тихо проникала в кухню, отыскивала остатки ужина, и мы спешно ели, не переставая играть и жалея о затраченных на малый перерыв минутах. Я пил пиво, и помню, как пролитые на пол капли привлекали маленькое стадо черных тараканов, которых никак не могли вывести в старом особняке. Тараканы шевелили усами и с изумлением смотрели на нас, – но нам некогда было ими заниматься. Мы сдавали, ходили, отмечали, бормотали слова и не замечали времени.

Случалось, что в доме начинали просыпаться, а мы все еще не могли бросить игры. Первой вставала няня и шлепала туфлями мимо нашей притворенной двери; тогда наша бессвязная речь переходила в шепот. Но прислуга уже привыкла к нашему ночному беспутству; мы боялись только, чтобы нас не застали дети, особенно Володя, рано уезжавший в гимназию. Заслышав шаги наверху, мы быстро собирали карты и – если было лето – через балконную дверь убегали в сад, в запущенную его часть, где был круглый зеленый столик и скамейка. Там еще недолго продолжалась игра, – недолго, потому что мог зайти сюда кто-нибудь из рабочих фабрики. И притом свежий воздух нас трезвил, и тогда сказывалось крайнее ночное утомление. Нужно было только дождаться часа, когда через двор на фабрику проходил инженер; тогда, смущенно улыбаясь, с опухшими глазами, мы прокрадывались обратно в дом и расходились по своим комнатам.

Во сне нам мерещились карты в самых небывалых комбинациях. Вставали к обеду усталыми, вялыми, давая себе слово не проводить больше таких бессмысленных ночей, удерживать друг друга и быть серьезными.

После обеда я садился за курс лекций, сестра занималась шитьем, и мы мало разговаривали. К вечеру оживлялись, ужинали с аппетитом и садились сыграть «только час», самое большое «до двенадцати».

Но что стоит слово азартных игроков!

БЛАГОРАЗУМИЕ

– Давай обсудим!

Этой фразой начиналось иногда наше похмелье. Действительно, я был некрепок здоровьем, а сестра, которая была на семь лет меня старше, лучше меня понимала, что нужно создать себе в жизни настоящий интерес, что без этого можно пропасть незаметно и нечаянно.

Мы обсуждали. Я признавался, что юридические науки меня не увлекают, что настоящая моя дорога – литература. Сестра говорила, что время, свободное от домашних забот, она могла бы употребить с пользой и интересом, что ее влечет к жизни самостоятельной, хотя бы материально, что она чувствует в себе большие способности и силы. Возможно, что мы друг другу мешаем. Лучше будет, если я вернусь на Бронную в студенческую среду, а она – ну, хоть поступит на архитектурные курсы, недавно открытые для женщин, или займется серьезно музыкой и пеньем, или, наконец, изучит какое-нибудь ремесло, потому что в жизни все может случиться...

И скоро разговор деловой и серьезный переходил в фантастику. Я совершал маленькое турне по Европе, запасался впечатлениями, знакомился с движением европейской мысли, слушал тех профессоров, которых хотел, и дышал временно воздухом свободы. Сестра делалась художницей, устраивала выставку своих картин под мужским, непременно мужским, псевдонимом, имела собственную студию, где и у меня была комната для занятий, выступала в концертах, строила дома. Мой первый роман, начатый в Европе и законченный в Москве, имел немалый успех. Сестра прославила себя постройкой здания нового Большого театра, Биржи, Обсерватории, не считая нескольких образцовых домов с семейными квартирами, каждая из двух самостоятельных половин – мужа и жены – с отдельными входами. Я мог бы, конечно, и жениться, но не слишком рано. Мир мы завоевали бы вдвоем, идя рука об руку, помогая друг другу.

Иногда наши разговоры имели и последствия: в мудрое утро я собирал свои пожитки – все тот же чемодан, связку лекций и керосиновую лампу – и переселялся в один из переулков Бронной. Сестра провожала меня нежно и заботливо, поощряя к серьезной жизни и давая обещание, что и сама она с сегодняшнего дня начнет новую жизнь:

– Приезжай в субботу, останешься до понедельника, играть не будем, и ты меня не узнаешь.

Но она говорила это не без затаенной грусти и как будто без особой уверенности. Я, мальчик, сам себе принадлежавший, мог взять чемодан и пожитки и пуститься в плаванье по жизненным волнам; мне было нетрудно «начать новую жизнь», потому что у меня не было прошлой. За ее же молодыми плечами были уже годы брака и семьи, а рядом, через комнату, готовил уроки маленький и очень серьезный первоклассник Володя, братишка хорошенькой девочки Лели.

В субботу, в обед, я заставал сестру тщательно одетой, деловитой, за разборкой нот или за трудными упражнениями. Немного краснея от удовольствия, она рассказывала мне свою неделю:

– Угадай, где я была?

– Все равно не угадаю, уж лучше говори.

– В консерватории.

– На концерте?

– Нет; я держала экзамен. То есть вернее – я советовалась с профессором по классу пения, он пробовал мой голос.

– Ну?

– Ну, и очень успешно. Он даже сказал, что для меня достаточно двух-трех лет и что я могу попасть в оперу. Но что работать над голосом нужно без перерыва, по-настоящему.

– Катя, ведь это очень хорошо!

– Да. Я, кажется, решусь. Не для того, чтобы стать артисткой, а так, для жизни. Мне еще нужно одновременно пройти класс рояля.

– Это чудесно, Катя! Тогда и я буду работать изо всех сил: и университет, и мои писания.

– А ты пишешь?

– Пробую, но все это не то. Да и лекции мешают.

– А мне мешает дом. Не знаю, как быть с детьми. Хозяйство – пустяки, а с детьми нужно бывать больше. Они и без того точно сироты.

Вечером, если не было гостей, мы садились за столик поиграть немножко. В воскресенье вставали очень поздно, потому что ночь прошла в нашем нелепом азарте.

– Ну, не беда! Ведь это только раз в неделю. Сегодня выспимся – и с понедельника опять будем благоразумны.

Неделей позже я застал сестру за шитьем каких-то рубашек, рубашечек, чепчиков. Вся ее комната заваливалась свертками дешевой материи, выкройками, обрезками.

– Что это ты шьешь?

– Представь себе, Костя, я отлично научилась быстро шить детские платья и рубашечки. Портниха говорила, что она не могла бы работать так быстро.

– А для чего это?

– Так себе, неорганизованная благотворительность. Я случайно попала в один дом, где такая беднота, что и представить себе не можешь. Дети совсем голые, а родители я даже не знаю чем занимаются. Я пробовала давать им денег, но потом зашла – у них все по-прежнему, дети и голые и голодные. И я решила шить сама.

– Купила бы просто и отдала им.

– Это выходит очень дорого, а я не могу просить у мужа. А если шить самой – гораздо дешевле. И материя у меня была. И вот я всю эту неделю шью, даже никуда не выходила.

– А музыка?

– Какая музыка?

– Твои планы.

– Ах... ну, пока я их оставила. Все равно я не буду артисткой, а так я и сейчас могу тебе что-нибудь спеть. Я, кстати, устала шить, да и нашила сегодня много.

Сестра пела, а я думал: «Что бы сделала другая на ее месте с таким чудесным голосом и такой музыкальностью!»

Иногда я говорил это сестре, а она, смеясь, отвечала:

– Но ведь я – не другая, а эта самая, значит, и думать не стоит.

Я возмущался:

– Странное оправдание! Из-за каких-то рубашечек бросать то, что могло бы быть целью жизни. Я не ожидал, что ты станешь благотворительной дамой.

А она отвечала, называя меня тем нежным именем, каким звала в детстве:

– Ах, Котик милый, ты ужасно многого не понимаешь. Сегодня я – артистка, завтра – швея или благотворительная дама, потом еще что-нибудь... А в общем я – ничто. И ничем я, Костя, не буду. Мне только нужно спасаться хоть ненадолго, ну – помечтать, обмануть себя, иначе мне жить, Костя, очень, очень трудно.

– Катя, ну почему? Ты вот так говоришь, а может быть, только преувеличиваешь или выдумываешь себе всякие трудности. Ты сама рассказывала про людей голодных, и дети у них голые. Вот им трудно! А у тебя все есть, можешь делать что хочешь. Нехорошо так говорить.

Помолчав, она отвечала:

– У меня есть все, что мне не нужно, а того, что мне нужно, у меня нет, Костя. Но только этого не объяснишь. А впрочем, может быть, ты отчасти и прав. Хочешь, я еще спою тебе что-нибудь? Или, знаешь, лучше пойдем в сад, я давно не была; у меня сегодня тяжелая голова, это от моего глупого шитья.

Я не любил таких разговоров с Катей, потому что после них мы долго не возвращались к нашим мечтам о «новой жизни». Я понимал, что упрекать сестру я не имею права, как не имею права не верить ее словам и как не имею права требовать от нее подробной исповеди. Катя говорит, что ей трудно жить: если Катя говорит это, значит, так и есть. Если не объясняет, значит, нельзя или не нужно.

Это была моя сестра, мой товарищ и спутник маленьких безумств и большого фантазерства. Но я как-то не догадывался тогда о том, что моя сестра – совсем еще молодая женщина с неудачно сложившейся жизнью, что у нее могут быть свои, женские, желания, мне неведомые, что сказать о них она не может никому и менее всего – такому мальчику, брату, хоть и другу.

У нее не было семьи – лишь тень семьи; но у нее не было и любви – лишь в прошлом тень любви, рано обманутой и быстро прошедшей. Этого я долго не знал и не понимал.

ЕЕ ДЕНЬ

Поздно утром она просыпается – и вот перед нею длинный день, заполнить который нечем.

Она долго лежит, уткнув локоть в мягкие подушки и положив на ладонь красивую голову.

За окном солнечно, с фабрики доносится ровный стук мотора. На ночном столике часы в виде домика с раскрытыми створками, ее девические часы, подарок матери, те самые, на которых слишком быстро бежали стрелки, когда нужно было собираться в гимназию. Теперь их стрелки идут неслышно и неспешно.

Она встает и час проводит в ванной. Это – единственное настоящее удовольствие. Она играет водой, смотрит, как голубеет рука, погружаясь в воду, и как тело кажется коротеньким и смешным. Один кран немного испорчен, и из него в спокойную воду ванны плюхают капельки. Она мало думает о том, что она красива, потому что ведь красота ее никому не нужна. Если бы можно быть невзрачной и не-

уклюжей стриженой девушкой, бегать по Кисловкам и Никитской на лекции, есть на ходу бутерброд и протирать дешевое пальто у пояса корешками вечных книжек. Вот только с ванной расстаться было бы жалко.

Она вытирается мохнатой простыней и стыдится смотреть на себя в зеркало. Затем она надевает старый капотик, которому давно бы пора отойти на покой; но с ним она в тесной дружбе. На звонок ей приносят кофе с булочками и два яйца всмятку. Яйца сварены с утра и остыли; кофе ей, хозяйке, приносят всегда жидкий, теплый и как бы спитой. Она могла бы сделать выговор прислуге, отказать ей от места, вообще вдруг рассердиться и доказать всем, что она действительно хозяйка в доме. Раза два так и было: она кричала и швыряла на поднос чайную ложечку. Пугалась не только прислуга, но и важная и почтенная няня в наколке и с брошью. После этого долго подавали кофе свежим и горячим, а ей было стыдно и противно.

Она спускается вниз и открывает рояль. В белых и черных клавишах столько важности и холодности, а зал так велик, что было бы невозможным играть пустяк, подбирать мотивчики или прислушиваться к аккордам. Она берет ноты и, играя, чувствует, что ее техника слаба и что нужно играть ежедневно часа по два упражнения. Ей хотелось бы и петь – но так странно петь в пустом доме, утром, когда прислуга еще занята уборкой, в кухне готовят завтрак и когда петь не для кого.

«Может быть, сегодня приедет Костя; спою ему «Ночь» Чайковского».

Вероятно, к вечеру приедет также Виктор Германович, единственный из родственников мужа, часто бывающий в их доме. Виктор Германович тоже инженер, но с малой практикой, хотя с большим самомнением. Он почти ровесник ее мужа, лет сорока пяти, маленького роста, пухлый, бритый, с бесцветными, круглыми, ласкающими и нечистыми глазами. Он удобен тем, что может играть в винт бесконечное число роберов. За обедом, за картами, наедине, при всех – он смотрит на Катю пристально, немного выставив нижнюю губу и как бы говоря:

– Дитя, я все знаю, все понимаю. Ты несчастна, тебя не ценят. Есть человек, который мог бы сделать тебя счастливой, и этот человек готов ждать.

Она чувствует к нему физическое отвращение – к его ползающим по ее лицу и шее глазам, к его нижней губе, к его жирку, изысканной вежливости, ровному голосу и даже

родству с ее мужем. Он очень образован, силен в парадоксах и презирает молодежь. Костя постоянно вступает с ним в спор, волнуется, говорит дерзости, на что Виктор Германович отвечает основательно, спокойно, с уничтожающим бесстрастием. Обычно он бывает прав, – но Катя всегда на стороне Кости, говорящего глупости в самой резкой форме.

После ужина, за картами, наступает примирение; играют с «прикупкой», «пересыпкой» и «гвоздем» и, если находится четвертый беспутный партнер, – не боятся ночных часов. Беспутным четвертым бывает обычно кто-нибудь из Костиных студентов, которого оставляют ночевать.

Рояль закрыт. Она бродит по комнатам, заглядывает на минуту в кухню по делам несложного хозяйства, не присаживаясь пробегает газету. Инженер выписывает для себя «Новое время», а для нее, вернее – для гостиной, уличные «Новости дня»; Костя, живя у них, покупает себе, конечно, «Русские ведомости». Все три газеты ей одинаково неинтересны, и читает она только хронику театра и концертов.

Вдруг она слышит лай за окном, выходящим во двор. Это дворовая собака лает на котенка.

Она подбегает к окну, распахивает его и радостно смотрит на собаку и серого котенка с выгнутой спиной. Собаку зовут Полканом. Полкан заливается, положив передние ноги на землю, в позе нападения. Котенок грозно шипит, но совсем не боится; в сущности, они – приятели, и это – их обычная игра. Полкан не укусит, но может случиться, что котенок оцарапает Полкану нос.

И вот она вспоминает, что у нее есть маленькая дочь, Лялька, здоровая, вся беленькая и очень добрая. Она взбегает по лестнице наверх, шумно открывает дверь в детскую и натыкается на лицемерно-приветливую улыбку старой няни в черной наколке и с большой брошью. Лялька сидит на полу и играет в кубики. Она улыбается матери, но не тянется к ней. Ляльке пять лет, но она недостаточно хорошо говорит, любит выдумывать свои слова и неохотно заучивает буквы. Мать берет ее на руки и уносит вниз:

– Лялечка, мы идем смотреть на котенка и на Полкана. Полкан хочет обидеть котенка!

Они выходят через кухню на двор, но котенка уже нет, а Полкан сидит у крыльца и выкусывает блох в своем лохматом наряде. Лялька, видимо, разочарована и упрямо смотрит на дверь: ей хочется обратно к няне играть в кубики. Ей нравится мама, но она к ней мало привыкла. Из верхне-

го окна, вытянув шею, смотрит на них, освещенных солнцем, строгая женщина в наколке, не одобряющая легкомыслия и слишком порывистых движений.

Хотелось бы пройти с девочкой в сад, но раздается фабричный гудок, – нужно переодеться к завтраку. С девочкой на руках она подымается обратно в комнату и чувствует, что Лялька становится все тяжелее. Няня с тою же улыбкой спрашивает девочку:

– Хорошо ли Лелечка с мамашей погуляла?

За завтраком Евгений Карлович, по обыкновению, проглядывает почту, и они почти не разговаривают. Вражды нет, но есть давнее равнодушие. Он передает ей поклон от знакомых, которых она не помнит. Она просит его прислать рабочего починить кран в ванной. Еще говорят о том, что Володя очень устает ездить в гимназию; жаль, что нет гимназии ближе. Но, конечно, хорошо, что мальчик в девять лет приучается к самостоятельности; это говорит муж, а она не возражает; впрочем, она согласна.

Уходя, он целует ее в затылок, – а она катает на столе хлебный катышек. Ей двадцать семь лет, но ее жизнь как будто уже прошла. Впереди полдня, сумерки, вечер, Костя, Виктор Германович и винт с «прикупкой», «пересыпкой» и «гвоздем».

ЛЕЛЕЧКА НЕ ХОЧЕТ КАШКИ

Лелечка решительно не хочет манной каши. Она смотрит на няню испуганными глазами и готова заплакать.

– Ешь!

– Я не хочу кашки.

– А я говорю: будешь есть.

– Я не хочу кашки.

Няня зачерпывает с тарелки ложку и, придерживая девочку за плечи, старается впихнуть в рот. Щеки Лелечки перемазаны, и она плачет.

Лелечка никогда не плачет громко, потому что «папа услышит». Если папа услышит, он придет в детскую и спросит:

– В чем дело, няня?

– Да вот, Лелечка не слушается.

– Лелечка, почему ты не слушаешься няни? Сейчас же перестань плакать и вперед слушайся!

И тут уж ничего поделать нельзя; можно только молча глотать слезы.

Сейчас папы дома нет, и Лелечка плачет несколько громче обычного. Шаги доносятся из маминых комнат:

– Лялька, что с тобой?

Отец и нянька называют ее Лелечкой; мама называет Лялей или Лялькой. Из-за одной буквы происходит упорная и молчаливая борьба. Девочка не знает, да вряд ли и думает, какая буква правильнее; но ей уже известно, что Лялей и Лялькой быть выгоднее, что эта кличка открывает больше простора ее личным правам.

– О чем ты расплакалась, Лялька?

Няня докладывает с горделивым смирением, как бы временно уступая власть этой даме, ничего не понимающей в воспитании детей:

– Да вот, не хочет есть кашку.

– Ты не хочешь, Лялечка?

Всхлипывая, девочка мотает головой.

– Она не хочет, няня; зачем же заставлять ее есть насильно?

– Я не заставляю, а кушать нужно.

– Как же не заставляете, она вся перемазана и плачет. Вытрись салфеткой, Лялечка, и не плачь.

– Сейчас не ест, а потом запросит; что же это за порядок!

– Когда захочет, тогда ей и дадите, няня.

– Евгений Карлович сказали, чтобы давать кушать в половине одиннадцатого.

Няня никогда не говорит «барин» и «барыня»; инженера она называет по имени-отчеству, жену его старается не называть никак.

– В половине одиннадцатого и кормите. Но если она не хочет – не заставляйте, поест потом.

Губы няньки презрительно поджимаются. Она настолько хорошо вышколена, что может выслушивать любой вздор. Она готова предоставить матери портить родную дочь, но не желает нести ответственности за материнское безумие:

– Евгений Карлович наказывали мне...

У Кати вздрагивает подбородок:

– Да, няня, я уже слышала. Будьте добры покормить Лялечку, если ей захочется. И никогда не заставляйте ребенка есть насильно.

Ей хотелось бы приласкать плачущую девочку, но она этого не делает, чтобы не подрывать окончательно авторитет няньки.

Лялечка смотрит исподлобья, но с большим любопытством. Она понимает, что между мамой и няней нет согласия; она знает также, что теперь можно не есть каши.

Но она не уверена, что мама победила няню и что у мамы над ней, Лялькой, больше власти. Вот сейчас мама уйдет, а няня останется, и хотя уже не будет совать ей в рот противную ложку, но что-нибудь такое ей докажет. Как временная защита мама великолепна, но прочного и постоянного доверия, пожалуй, и не заслуживает. Во всяком случае, высшая власть – не она.

Мать уходит к себе. Она читала, теперь читать больше не может. В ее голове беспокойные и недобрые мысли.

Кушать нужно в половине одиннадцатого – хотя бы было противно, хотя бы даже было вредно. Нужно ложиться спать, нужно вставать, нужно жить вместе, нужно притворяться, нужно поддерживать видимость семейной жизни, нужно лгать, нужно улыбаться, нужно убивать свою молодость, все нужно, нужно, нужно. И это нужно, чтобы не огорчить старой матери, которая считает ее счастливой и устроенной в жизни, чтобы не потерять детей, уже полуотнятых, чтобы не сделать их нищими, чтобы не опозорить себя скандалом, не оказаться в ложном и невыносимом положении – как будто теперь ее положение выносимо и не ложно. Что бы ни случилось, виноватой может быть только она, а он – никогда.

На стороне у него своя жизнь, но в семье он безупречен. При посторонних он даже любезен, почти нежен, во всяком случае почтительно вежлив, отличный и заботливый отец, не ей чета, прекрасный супруг, снисходительный к недостаткам жены.

Пять лет тому назад, вскоре после рождения Ляльки, между ними был заключен договор о взаимной свободе. Тогда он был жалок и противен, стоял перед ней на коленях, он, такой важный и непогрешимый и такой взрослый в сравнении с нею, совсем еще девочкой, хотя и матерью двоих его детей. Тогда она хотела уйти от него, и не из ревности, – любовь ушла раньше, – а из отвращения. Она не удержалась от фразы, которую где-то вычитала:

– Муж, опустившийся до горничной, приглашает жену отдаться лакею.

И кажется, эта фраза подействовала на него сильнее, чем ее искренний ужас. Он не знал, что она так умна.

И все-таки он оказался, – могло ли быть иначе? – и умнее и опытнее. Он прекрасно знал, что «взаимная свобода»

ничем ему не угрожает и что никогда она, живя в его доме, не позволит себе воспользоваться своим призрачным правом свободы, не потому, что побоится, а просто потому, что она не такова.

Выждав время, он хотел вернуть себе если не любовь жены, то хотя бы ее покорность тому, что он называл долгом. Но эта попытка окончилась полным его поражением и едва не вызвала окончательного разрыва. Она унизила его настолько, что сама вызвала с фабрики слесаря и велела сделать к своей двери внутренний замок.

С тех пор инженер ужинал дома только тогда, когда у них были его или общие гости. Своей долей оговоренной «свободы» он пользовался, не особенно скрываясь. Семья осталась целой и дом их – почтенным и уважаемым; холодным домом он был и прежде, так как редко им нравились одни и те же люди, книги, мысли, обстановка, развлечения и поступки. Она не брала у него денег – только на хозяйство и на нужды детей, свои собственные нужды удовлетворяя экономией.

В сущности, всю эту историю Катя вспоминала теперь как некую житейскую мелочь. Дело было не в каком-то его поступке, пусть очень противном и исключительно некрасивом, а в том, что внезапно человек раскрылся. И столь же внезапно оказалось, что он всегда был грязным и маленьким, только чисто мылся и ходил на высоких каблуках. И стали понятными иные слова его и жесты, которые раньше казались шуткой и напрасной остротой. И стала противной и невозможной близость с ним, потому что без огромной любви и совместного смущения такая близость ужасна и нестерпима. И еще большее оказалось: что и вообще такой нужной любви не было, а было только невольное, не допускавшее критики уважение девочки к очень взрослому и сильному человеку, первому и единственному в ее жизни завоевателю, отцу ее ребенка. И теперь она с брезгливостью не только отгоняла от себя память об его прикосновениях, но и к детям, его детям, не могла найти в себе прежней теплой и страстной материнской тяги. Она поняла слишком многое и, поняв, осиротела.

. . . .

Нужно есть, нужно гулять и нужно что-то придумать, чтобы забыться и чтобы жизнь стала выносимой. А придумать нечего. Неужели такая же жизнь предстоит и Ляльке,

ее маленькой дочери, и неужели и она дождется дня, когда придет хозяин и купит ее тело и ее волю?

Лелечка не хочет кашки! Лелечка плачет.

МИНЬОН

Иногда мы с сестрой «выезжали в свет»; это значит, что из сокольничьей дали мы отправлялись на выставку, на концерт, в театр, реже на один из студенческих балов, в то время отличавшихся пышностью, многолюдием и молодым весельем.

Я очень любил бывать с сестрой на людях, – я ею гордился. Белобрысый, худой, некрасивый и неказистый студентик, я привык, что меня в обществе не замечали; но рядом с сестрой, как ее кавалер, я сразу вырастал и делался предметом зависти. При всей молодости и моложавости в Кате женщина преобладала над девочкой. Где бы мы ни появлялись – она привлекала общее внимание. Мне кажется, что я помогал ей в этом, оттеняя невзрачностью своей фигуры ее редкую красоту и исключительную миловидность. Признать нас за брата и сестру было трудно. Мы всюду появлялись под руку, причем я надевал на лицо маску усталости и равнодушия и иронически кривил губы навстречу любопытным взглядам.

Вероятно, это выходило у меня достаточно глупо и вряд ли кого-нибудь поражало. Напротив, Катя, с ее страстной жаждой жизни и непривычкой быть в большом обществе, осматривалась кругом с нескрываемым интересом и не замечала, что она сама – всех лучше и интереснее. Только иногда ее смущали пристальные и пытливые взоры, особенно мужские, и она, как бы догадываясь, краснела и спешила поскорее смешаться с толпой.

Застенчивой Катя не была. Там, где она чувствовала себя сильной и уверенной, она выступала смело, как на сцене. Одним из любимых номеров наших «выступлений» были танцы, и я думаю, редко можно было видеть такую странную пару.

В то время не танцевали потной трясущейся толпой, как сейчас танцуют фокстроты и танго. Модными танцами были падекатр, падепатинер, миньон – танцы трудные и степенные, в которых выступало немного пар. Мы с Катей специализировались на миньон, танцуя его с такой преувеличенной фигурностью, часто собственного изобретения, что

постепенно все внимание сосредоточивалось на нас. Я и тут был для Кати рамкой – как для бриллианта изумительной воды, вставленного в грубоватую и топорную оправу. Взоры публики на минуту задерживались на мне, чтобы восхищенно замереть на Кате. Она танцевала с такой уверенностью и с такой пластической скромностью движений, что подчеркнутая фигурность танца делалась убедительной. Нам нередко случалось оставаться единственной танцующей парой в большом зале. Я дрожал от волнения и ужаса, путая фигуры, но Катя ничего не замечала и улыбалась мне ободряюще. Иногда нам, вернее – ей, аплодировал весь зал, – и только тогда она, вспыхнув, увлекала меня к выходу.

Никогда и ни с кем, кроме меня, Катя миньон не танцевала, и вообще мы редко оставались дольше полуночи на балах, затягивавшихся до самого рассвета.

Иногда наш отъезд был настоящим бегством. Помню, как на одном из обычных благотворительных балов в Благородном собрании Катю преследовал какой-то военный, очевидно совершенно потерявший голову. Пользуясь простотой обычаев на студенческом балу, он представился мне и просил меня представить его моей «даме». Если бы это был студент, я бы, вероятно, не сумел ему отказать; но к офицерам в те довоенные времена в наших интеллигентских кругах относились полупрезрительно даже женщины. Я ответил, что спрошу разрешения «дамы»; и мы, отойдя, поспешили скрыться. Но он разыскал нас у выхода на улицу и остановился у самой двери в выжидающей позе.

Мы были в тот вечер очень весело настроены, и Кате хотелось мальчишествовать. Когда мы поравнялись с офицером и он сделал шаг по направлению к нам, Катя скривила лицо и показала ему язык. Офицер побледнел и остолбенел. Мы успели выбежать и взять у самого подъезда извозчика. Когда наш возница тронулся, из дверей вылетела рассвирепевшая фигура без пальто и фуражки. К счастью, извозчик нам попался бойкий, из тех, что умели тихо подкатывать к панели и предлагать московским говорком:

– Резвую, барин! Саночки-самокатки!

Однажды мы поехали слушать концерт московских цыган. Выступала вошедшая в то время в моду Варя Панина. Наши места были у прохода в третьем ряду. Едва мы их заняли, как мимо нас прошла во второй ряд пара: безукоризненно одетый господин и довольно вульгарная, очень полная дама. Я не вгляделся в них, а Катя, наклонившись ко мне, шепотом сказала:

– Костя, уедем отсюда. Я хочу уехать.

– Почему?

– Я скажу тебе после.

– Но почему, Катя? Что за секрет?

– Мне нездоровится. Встанем тихо и пойдем. Только ты не оглядывайся.

Мы встали и вышли. Мне очень хотелось послушать знаменитую цыганскую звезду, но Катя меня встревожила. Когда мы прошли в гардеробную и отдали наши номерки, я спросил Катю:

– Хочешь, я добуду стакан воды?

Она рассмеялась:

– Да нет, Костя, я совсем здорова. Я только не хотела здесь оставаться. Жалко, что пропадают билеты.

И, обратившись к старой гардеробщице, она сказала:

– Вот возьмите наши билеты; может быть, вы их кому-нибудь дадите; это – хорошие места, крайние в третьем ряду.

Видя мое недоумение, Катя сжала мой локоть и на ходу, со спокойной усмешкой и некоторой брезгливостью, сказала:

– Я не ожидала от него такого постоянства. Это тянется, кажется, уже второй год. Но я думала, что у него больше вкуса.

– У кого, Катя?

– Да у Евгения Карловича, конечно. Разве ты его не узнал?

– С этой полной дамой, впереди нас?

– Ну да.

– Я не рассмотрел. А кто она, ваша знакомая?

– Костя, ты ужасный мальчик! Я не знаю ее биографии и не интересуюсь. Но я уже видела ее однажды, так же нечаянно, как и сегодня. Она... ну, как это говорится, ну, словом... заместительница твоей сестры. И бросим о ней разговаривать.

НЕ МАЛ ЛИ ПРОСТЕНОК?

На летние каникулы я обычно уезжал в свой родной прикамский город, к моей матери. Жить там было дешево, притом я давал уроки и еще подрабатывал, посылая в московские газеты статейки о провинциальной жизни.

Прекрасен был трехдневный путь по текучему простору наших рек! И там ждали меня хвойные леса, которых я никогда не мог забыть даже среди звенигородской листвен-

ной ласки и красоты и которым никогда не найду даже близкого подобия здесь, в Европе. Удастся ли мне когда-нибудь... не говорю – увидать их вновь, нет, – но лишь воскресить их в памяти своей и рассказать о них другим то и так, что и как хотелось бы? Сказать о них не так, как сейчас, не мимоходом, не сдерживая слова и чувства, – а словоохотливо, с радостью, захлебываясь, дополняя междометиями там, где слов красочных не хватит, широко разводя руками, чтобы объяснить профанам средней и южной России и наши пространства, и наши просторы, и речную гладь, и аромат заливных лугов, и сладость смоляного дыханья!

В Москву я возвращался неторопливо, когда лекции уже давно читались и студенты успевали похудеть и побледнеть от беготни и скудной пищи в столовках. Приезжать так поздно было невыгодным лишь в смысле поисков удобной и дешевой комнаты, – все лучшие оказывались уже занятыми, а на иных подъездах и воротах висела записка:

«Сдаеца светлая комната студентам не являца».

Записка обидная, вывешенная оскорбленной в лучших чувствах и надеждах хозяйкой.

Впрочем, на первое время я всегда имел пристанище у одной из сестер.

В один из таких приездов – уже на третьем курсе – я застал сестру Катю за неожиданным занятием. Одна из ее комнат оказалась превращенной в студию чертежника. На мольберте стоял огромный проект фасада, широкий и длинный стол белого дерева был завален бумагами, бумажками, картонами, свертками и калькой. По стенам висели на кнопках какие-то чертежные наброски, таблицы и фотографии зданий.

Когда я постучал в дверь и приоткрыл ее, услыхал недовольной голос Кати, которая стояла у большого стола спиной ко мне:

– В чем дело? Я просила до четырех часов меня не беспокоить.

– Катя, это я.

– Костя? Ты приехал?

Она повернулась ко мне и обняла меня, не выпуская из рук циркуля.

– Наконец-то ты вернулся! Ну ради тебя я, кажется, устрою себе праздник. Или вот что, Костя, присядь и помолчи только пять минут. Я сейчас кончу, и потом мы будем разговаривать.

– Что ты делаешь, Катя?

– Молчи, молчи.

Я с любопытством смотрел, как Катя, шепча про себя и вымеряя циркулем, наносила на чертеж аккуратненькие точки. Минут через пять, бегло взглянув на меня, она сказала: «Сейчас!» – и опять зашептала свои вычисления. Я уже думал обидеться и уйти, когда Катя, откинувшись и подбоченившись по-мужски, сжала губы, в последний раз внимательно оглядела свой чертеж и сказала:

– Ну хорошо. А не мал ли простенок? Как ты думаешь?

С возможной серьезностью я ответил:

– Нет. Достаточен. В самый раз.

Она недоверчиво покачала головой и вдруг весело рассмеялась:

– Не сердись, Костя! Я вымою руки, и мы пойдем вниз.

– Но что все это означает, Катя?

– Как что? Ты не знаешь? Я – архитектор; то есть я буду архитектором. И это, Костя, совсем серьезно! Я все тебе расскажу.

Я узнал, что она поступила на архитектурные курсы и так увлеклась, что ни о чем больше не может думать. Завалила себя работой и все время, остающееся от лекций, проводит в своей мастерской. За два месяца она сделала больше, чем иным удается сделать за год. Не довольствуясь курсами, она работала чертежником у одного из своих профессоров, сразу занялась собственными сложными проектами и не хотела признавать трудностей. Не без гордости она рассказывала, что ее считают некоторым чудом и сулят ей в будущем необыкновенный успех. Зато работать приходится весь день и часть ночи.

– А сегодня – пусть будет праздник. Это, Костя, только для тебя.

Я мог бы гордиться, если бы Катя сдержала слово. Но среди разговора она что-то вспомнила, обеспокоилась, побежала наверх и снова вышла только через два часа с виноватым видом:

– Прости, что я оставила тебя одного: я чуть было не сделала такой ошибки, что могла все испортить. Теперь, до завтра, я совсем свободна, и вечер мы проведем вместе. Я, признаться, очень устала. Это – какое-то сумасшествие. Но если бы ты знал, Костя, как это интересно!

Она расспрашивала меня о матери, о наших провинциальных новостях и слушала, думая о своем. После ужина я даже не заикнулся о картах. Мы разошлись рано, и, засы-

пая, я слышал в Катиной студии шаги и бормотанье. Она работала часов до трех ночи, а утром, вставши, я уже нашел ее одетой в белый рабочий халат. Я не хотел ей мешать и уехал в город.

В этот год я редко бывал в Сокольниках у старшей сестры, а воскресенья проводил у Лизы, объедаясь ее превосходными пирожками и увозя десятка два домой в сверточке: этим я избавлял себя в понедельник от расхода на обед.

Был этот год бурным для студенчества: мы защищали «честь студенческого мундира», почти не учились, и на родину мне пришлось выехать перед Пасхой, вынужденно, в веселой компании высылаемых студентов-забастовщиков. Мы заняли два вагона, выходили и подолгу задерживались в буфетах, и начальники станций, не решаясь отправить без нас поезд, а, может быть, втайне нам сочувствуя, ласково называли нас «проклятыми сицилистами».

В Москву я вернулся только к следующей осени, когда снова был принят в университет с потерей года.

КАК ВСЕ

Говоря о себе, нужно быть особенно правдивым; и правдивым и откровенным.

Свои университетские годы я мог бы использовать гораздо плодотворнее: они не принесли мне ни большой радости для памяти, ни большой пользы для последующей жизни. Они не были для меня и лучшим временем в жизни, как для большинства. Пусть я найду оправданье. Но если бы вернуть эти годы, если бы начать жить снова, зная, что все будущее строится в молодости, я не бросал бы минут, часов и дней, а вернее сказать – большей части времени на то, что имело слишком мало отношения к науке. И тогда – наверное – не окончил бы годы учения полунеучем с дипломом. И тогда – может быть – иначе сложилась бы моя жизнь, была бы она нужнее, богаче впечатлениями, осуществленнее в мечтах. Сейчас за моими плечами лишь жизнь рядового чиновника и обывателя, рано понявшего тщету замыслов и легко от них отказавшегося.

В этих словах нет запоздалого раскаяния; они только правдивы.

Учиться, то есть слушать лекции и сдавать зачеты и экзамены, было нетрудно. Но интерес к науке понижался тем, что нас, студентов, постепенно лишали наших лучших

профессоров, подозрительных по неблагонадежности, и наука наша делалась казенной. Поэтому мы больше увлекались своей ролью «общественного барометра». За это нас загоняли в манеж, умеренно били нагайками, исключали и ссылали. Тогда от довольно невинных мечтаний об университетской автономии мы перешли к слишком ранней политической деятельности.

Посредствующей порой был для меня год разочарования. Мне не улыбалось стать непременно марксистом или народником и не хотелось быть только «учащимся», готовить себя в адвокаты или прокуроры. Поэтому, не избегая никаких влияний, без большого жара, лишь следуя моде, я работал урывками в студенческих кружках, читал в «Русском богатстве» Михайловского, записался в Румянцевке в очередь на Бельтова и Николая-она, ходил смотреть, как трясет длинной шевелюрой, тогда еще не белой, Петр Струве, оппонируя диссертации Туган-Барановского; и, будучи юристом, я слушал лекции по естествознанию Тимирязева и бродил с группой медиков по клиникам Девичьего поля. То, что не входило прямо в учебные обязанности, было всегда наиболее занимательным.

На стене моей комнаты висела фотография прекрасной, испуганной и негодующей девушки, из рук которой двуглавый орел вырывает книгу законов, – олицетворение Финляндии, на другой стене картинка, изображающая сожжение на костре похожего на Христа человека, над головой которого значились буквы «С. Р.». Я пытался читать по-польски Мицкевича и имел в подлиннике «Кобзаря», хотя оба эти языка казались мне ужасно смешными. Относительно самодержавия у меня не было сомнений, но было мало сомнений и в том, что за свержением его должно последовать царство безоблачной свободы. Был таким, каким нас тогда кроила и шила жизнь: не лучше других, но и не слишком хуже.

Все это не мешало мне слоняться с приятелями по Тверскому бульвару и студенческим пивнушкам, мечтать о высокой и идеальной любви и робко знакомиться с бытом сговорчивых девушек.

Внешне жизнь была заполнена, внутренне ощущалась ее пустота, не было настоящего увлечения ни наукой, ни случайными радостями жизни. Пробовал писать «что-то большое», но очень скоро убедился, что таланта у меня нет, как нет и знания жизни, и что моя литературная карьера исчерпается несколькими случайными газетными заметка-

ми да статейкой в юридическом журнале, и что придет время, когда я, держа впереди себя университетский диплом, поплетусь по протоптанной дорожке среднего юриста к небыстрым чинам.

Так оно и случилось, и только память о сестре побудила меня на склоне лет взяться за перо, но уже не ради художественных вымыслов, а ради простого рассказа о женщине моего времени.

От многих юных мечтаний мы отказываемся, иногда легко, иногда с сердечной болью. Но разве прожитая жизнь, как бы ни была она проста и мизерна, – не лучшее наше произведение? Не облеченная в словесную форму повествования, она все же для каждого из нас дороже самого прекрасного романа. И да будет она благословенна на всех этапах наших странствий, в увлечениях молодости, долгой скромной работе провинциального деятеля, в маленьких личных приключениях и в вихревых воронках революции, случайно втянувшей и мое существование и выбросившей меня на чужие берега.

Как у всякого рядового юноши, бреющего бороду, носителя студенческой фуражки, был и у меня о ту пору небольшой и очень обыкновенный роман с женщиной, которая была старше и опытнее меня. Описывать его не стоит: он не осложнен ни страстью, ни событиями, ни любопытной развязкой. Но так как «она» была замужней, а связь наша не ограничилась разговорами о Достоевском и русской общине, то в глазах товарищей я был некоторым образом героем. Полугодом спустя от этого романа остались у меня и, конечно, у «нее» лишь более комические, чем глубокие воспоминания.

Вероятно, нескромности товарищей я и обязан тем, что о моем любовном приключении узнала Катя, впрочем, уже тогда, когда все было кончено.

Однажды Катя сказала мне:

– Как странно, Костя, я так привыкла считать тебя мальчиком... И вдруг оказывается, что ты уже совсем взрослый. И главное, что ты – как все.

Я предпочел промолчать.

– Обидно, что про тебя болтают. Хотя я знаю, что среди мужчин это не считается зазорным, даже, кажется, наоборот...

– Болтать?

– Нет. Быть таким.

– Да чем же я уж такой особенный?

– Я не говорю, что ты особенный. Напротив, я не ожидала, что ты такой же, как все. Ты, Костя, на меня не обижайся.

– Я не обижаюсь, Катя.

Она продолжала:

– Женщина, даже самая маленькая и простая, самая ничем не замечательная, вот хоть бы как я, непременно ждет героя. Впрочем, я-то, конечно, не жду, я уже дождалась. И вот приходит этот герой, и оказывается, что он в лучшем случае – просто Иван Иваныч. Неужели это всегда так?

– Я думаю, Катя, что и не все женщины ищут героев, и не все мужчины Иван Иванычи. Просто – нужно как-нибудь жить.

– Ты думаешь, что нужно? Ну, а я не уверена. Разве уж непременно нужно в половине одиннадцатого есть кашку?

– Какую кашку?

– А вот Лялька иногда решительно не хочет кашки. И я не хочу. Впрочем, все это – пустяки. А главное – все это не то.

Я заметил, что Катя ко мне переменилась. Не то чтобы она меня строго осудила или перестала любить во мне брата и друга. Напротив, мне казалось даже, что теперь она относится ко мне как бы с большим уважением, как ко взрослому человеку, а не как к наивному мальчику. Но прежде она всегда ласково обнимала и целовала меня, иногда называла детским именем – Котик, не стеснялась выходить ко мне прямо из ванной, запахнувшись в купальный халат, и вообще не считала меня за мужчину. Теперь я стал мужчиной, хотя и оставался братом. Мужчиной – значит, существом не совсем чистым, носящим на себе следы не оправданных любовью прикосновений, случайных «романов», вызванных просто тем, что «как-нибудь нужно жить».

Мы больше не возвращались к нашему разговору. Только раз как-то Катя мимоходом сказала мне:

– В последнее время я многое поняла лучше. Я думала о тебе, Костя, я ведь тебя очень люблю. И вот теперь я, пожалуй, могла бы не так строго отнестись и к другим, то есть к тому, что мне в них неприятно, даже противно. Но, конечно, я тебя не сравниваю, потому что ты – не лицемер и не прикидываешься святым, а просто – такой. Хуже всего, когда обманывают, читают мораль, а сами делают все, что захочется, и даже не понимают, как это гадко. Может быть, впрочем, я слишком требовательна, нельзя быть такой. И все-таки – как все это печально и несносно!

– А ты не думай, Катя.

Она удивленно подняла брови:

– Как же не думать? Разве я не живой человек...

И вдруг она вспыхнула густым румянцем:

– ...И разве я не женщина? Или ты считаешь меня уже старухой?

Я не мог считать сестру, молодую, красивую, полную жизни, – старухой. Но о том, что такое женщина, мой сомнительный любовный опыт не мог дать мне глубокого познания.

Как всякий преданный и любящий брат, я был близорук. Если бы кто-нибудь сказал мне, что источник Катиных страданий и ее неумения найти «цель жизни» – в том, что она живет без любви, что ей некому отдать неистощенный запас женского чувства, – я бы не только удивился, но и обиделся за Катю.

Это я могу быть, как все. Но Катя, сестра моя, – она особенная, и к ней общая мерка неприложима.

Я не знал, что этим отрицанием в ней простой и настоящей женщины я принижал ее образ, столь мне дорогой.

ДОКЛАД

Она уже не проводила, как прежде, ночных часов за работой, не лишала себя прогулок и маленьких наших развлечений, но она – вопреки моему ожиданию – не бросила лекций и своих чертежных занятий. К концу второго года она должна была окончить курс и попытаться стать заправским, самостоятельным работником. Бурное увлечение сменилось спокойной уверенностью, как у человека делового. О своих архитектурных работах Катя говорила охотно, но всего на свете ради них не забывала.

В этот год мы опять сблизились, и как-то серьезнее прежнего, не в карточном азарте и не в совместных полетах молодой фантазии. Мы оба стали заметно старше: мне шел двадцать третий год, ей было под тридцать. Я как бы окончательно вступал во взрослую жизнь, она входила в возраст, для женщины решительный.

Наши встречи стали менее одинокими. Я привозил к Кате своих университетских товарищей, у нее завелись приятельницы и приятели с ее курсов, и в доме ее создалось некоторое общество, молодое и приятное. Старшим

в нашей компании был архитектор Власьев, один из учителей Кати, человек на возрасте, очень воспитанный, старавшийся сойтись с нами и не слишком выделяться. С Катей он всегда говорил почтительно, но я с самого начала заподозрил, что не одним почтением к способной ученице вызваны его частые визиты.

Мы устраивали прогулки в глубь Сокольников и Погонно-Лосиного острова, весной – подышать соснами, зимой – побродить на лыжах. Этот год был приятным, Катя ожила и стала еще красивее; но девочка в ней исчезла, была только женщина, иногда – мать. Она теперь гораздо чаще говорила о детях, больше ими занималась и, по-видимому, искала их дружбы.

Этот период мне памятен и тем, что, подчиняясь духу времени, мы отдавали дань политическим вопросам, бывали на докладах, и не только легальных, читали литературу подпольных и заграничных организаций, затевали бесконечные споры, даже пытались устроить свой кружок самообразования. Во всем этом Катя участвовала довольно деятельно, хотя решительно отстаивала свое право не иметь обязательных политических взглядов. Она говорила:

– Если бы я могла твердо верить, что нужно вот то-то и то-то, я бы немедленно пошла это делать, уж не знаю куда и как, но пошла бы. Иначе – какая же цена моей вере? И кому нужны мои слова? Что такое я – жена фабриканта?!

То, что она была «женой фабриканта», видимо, ее беспокоило, но она никак не могла убедиться в своей преступности. Гораздо больше ее угнетало, что она – жена своего мужа, что живет на его средства, все равно, каков их источник. Иногда после наших кружковых бесед она говорила:

– Ну, теперь идем в столовую закусить «прибавочной стоимостью».

Наш «кружок самообразования» очень быстро распался. Но Катя все же успела нас поразить. Мы по очереди читали маленькие доклады, главным образом политико-экономические. Катю мы считали лишь «присутствующей», то – гостьей, то – хозяйкой, в зависимости от того, где мы собирались; все-таки она была старшей среди нас и все-таки выделялась. Поэтому мы, лишь ради формы и во имя равенства, однажды предложили ей, если она хочет, что-нибудь подготовить для доклада. Катя отшучивалась, сказала, что подумает, и совсем неожиданно сделала нам превосходный доклад, совершенно нас поразивший; было видно, что она отлично,

основательно и как-то не по-нашему, не по-ученически к нему приготовилась. Но, закончив его, – доклад был устный, – она покраснела на наши похвалы и даже не приняла участия в дальнейшей нашей беседе.

Все-таки было видно, что наше общее и как бы обязательное увлечение политикой и экономическими вопросами было ей чуждо. Она была с нами, потому что искала людей, жаждала жизни новой, не похожей на ее прежнюю, замкнутую, домашнюю. Но и тут она искала жизни, деятельности, а не разговоров в табачном дыму. Возможно даже, что она искала не людей вообще, а хотя бы одного живого человека, но только большого, настоящего, в которого она могла бы уверовать, зная, что не разочаруется. Она недаром говорила:

– Женщина, даже самая маленькая, простая и ничем не замечательная, непременно ищет героя.

Но героя среди нас не было; не было даже завершенных Иван Иванычей. В большинстве своем мы были юношами, себя еще не нашедшими, одинаково способными стать ничем. Мы ее любили, ею гордились, многие были тайно в нее влюблены, – но мы были обществом, слишком для нее случайным и малоподходящим.

И, думается мне, ей было гораздо лучше и проще среди нас, особенно среди личных моих приятелей-студентов, когда не подымалось речи о высоких материях, а просто Катя появлялась в нашем кругу в качестве женщины и королевы. О таких приемах, которые мы устраивали Кате в мизерности и неуютности моей студенческой каморки, я сохраняю лучшие и приятнейшие воспоминания.

КОРОЛЕВА НА ПРИЕМЕ

Бронная улица с переулками – «Латинский квартал» Москвы – была перенаселена студентами; еще осенью – да, а в середине учебного года было трудно найти дешевую комнату. Поэтому с одним из приятелей, студентом Мартыновым, математиком, мы решили поселиться на Грачевке, улице очень печальной репутации, но зато дешевой. Позже она была переименована в Трубную.

Там, в глубине одного из больших дворов, мы облюбовали крошечный флигелек в три комнаты, из которых две сдавались помесячно, а в третьей жила семья мизерного чиновника Флора Аполлоновича: он сам, его жена Марья Ивановна и двое детей, последний – грудной.

На нашу долю пришлись комнаты большие, довольно светлые, а главное – каждому отдельная, и дешево. Марья Ивановна обязалась дважды в день давать нам самовар и покупать нам молоко и хлеб. Ходить отсюда в университет было не близко, но мы оба не отличались ни прилежанием, ни боязнью расстояний.

Мартынов был удобным сожителем, хотя имел крупный недостаток: он время от времени запивал горькую. Он был из семинаристов, года на три старше меня, а на вид и совсем пожившим; носил бороду, очки и интересовался только свойствами простых чисел. В трезвые дни он не отрывался от клочка бумаги, на котором писал столбики чисел, складывал, вычитал – и загадочно улыбался. Иногда он и мне давал какую-нибудь курьезную задачу, которая должна была поразить меня чудодейственными свойствами цифры девять. Со своей стороны я пробовал увлечь его задачами из римского права:

– Ты представь себе, что во время кораблекрушения утонули двое родственников, А и В. Если раньше утонул А, то В, прежде чем утонуть, был хоть несколько минут его наследником, и дальше, значит, наследуют дети. А если В утонул раньше, то его дети не наследуют после А.

– Почему не наследуют?

– Да уж, одним словом, не наследуют, к другим переходит. Как узнать, кто утонул первым?

– Ну, расспросить, кто видел.

– Никто не видел, все утонули.

– Чепуха!

– Вовсе не чепуха. Как-нибудь решить нужно.

– Оба сразу.

– Сразу не бывает; кто-нибудь хоть на секунду да дольше держался. А ты сообрази: одному было пятьдесят лет, а другому сорок девять. Кто раньше?

– А черт его знает.

– Нет, не черт его знает, а это предусмотрено римским правом. Раньше должен утонуть А, потому что он старше.

– Вот ерунда!

– Не ерунда. В моложе и может дольше продержаться на воде. Кто старше, тот раньше потонет.

– Чушь! А если В только один год и он не только плавать, а и под столом ходить не умеет? Что же, ты думаешь, он будет ждать, пока А утонет? Чепуха твое римское право.

– Нет, ты подожди, относительно детей...

Тут мне приходится справиться в курсе лекций. Пока я перелистываю литографированные страницы, Мартынов презрительно говорит:

– Чепуха! Право – не наука. Только математика наука. А вот скажи лучше, что мы сегодня есть будем? У тебя сколько?

– У меня четыре пятака. А у тебя?

– У меня... вчера были.

– Это плохо, Мартынов.

– Плохо. Купим воблы и хлеба.

– Есть хочется.

– Сказал новость! Мне выпить хочется, да я молчу. Тут тебе не римское право, а безошибочная математика: две воблы, если икряные, восемь копеек, булка – пять, итого – тринадцать. Значит, на пятак – рассыпных папирос да две копейки – нищему. Итого в остатке – ноль. И все ясно.

Но иногда мы внезапно богатели: приходили деньги из дому. Мне аккуратно маленькую сумму посылала мать, ему – старший брат, священник. Тогда мы не только шли обедать в столовую Троицкой у Никитских ворот, по сорок копеек с человека, включая хлеб и квас по желанию, но еще и дома устраивали приемы для друзей. Случалось, что на эти приемы приезжала, по моему зову, и моя сестра Катя.

Странно было видеть Катю на этой подозрительной улице, в трущобе грязных дворов и бедных флигельков, на нищенской студенческой пирушке. Но она умела превращать наши пирушки в праздник. Женщин, кроме Кати, никогда у нас не было. Собиралось человек пять безусых студентов, среди которых бородатый и мрачный Мартынов был уже стариком. Ради Кати мы ограничивались полудюжиной пива и бутылкой удельного вина, совсем не допуская водки; особенно на этом настаивал Мартынов, боявшийся своей слабости. Вокруг самовара расставляли на хозяйкиных тарелках блестящее угощенье: чайную колбасу, воблу (для пива), кильки (для впечатления), много орехов и дешевые леденцы. Катя неизменно привозила от Елисеева фрукты и сладкий торт.

В нашу лачугу Катя вносила свет и особое, сдержанное и напряженное, веселье. У нас она была королевой. Для нее ставилось особое кресло, из приданого чиновницы, покрытое чистым чехлом, под которым исчезала грязная рваная обивка. Хозяйка Марья Ивановна давала нам лучшую свою скатерть и начищала до блеска слегка помятую медь самовара. Обе наши комнаты мы старались разукрасить чем

только возможно. За полным отсутствием декоративных предметов мы особенно напирали на оригинальность.

– Знаешь, Мартынов, давай навешаем цветных фонариков. На полтину можно купить четыре-пять штук маленьких.

– Лучше два больших, по обе стороны кресла повесим.

– Ладно. А вот где бы достать цветной материи?

– У Марьи Ивановны попросить.

– Я спрашивал. Она предлагает две юбки, только чтобы не резать и не протыкать. Я смотрел: юбки грязные.

– Нет; юбки нехорошо. Это – чепуха.

И одновременно нам обоим приходит в голову поистине гениальная мысль: обить косяки двери цветными носками! Небывало и очень оригинально.

Из ящика моего комода извлекается куча вязаных носков всех цветов и оттенков – работа моей матери. Иные заштопанные, другие рваные, но так еще лучше. Главное – чистота и яркость. У Мартынова запас немногим хуже. Кнопками и гвоздиками мы прикалываем носки к косякам двери, и получается как бы триумфальная арка. Над дверью водружается вензель Кати: большая коробка из-под гильз Катыка (на пятьсот штук), в прорезах букв красная бумага, внутри свечка. Мартынов делает это с замечательным искусством. Просто и эффектно.

Во всем, что относится к чествованию нашей королевы, Мартынов принимает живейшее участие и проявляет редкую изобретательность. На время работы исчезает его обычная мрачность. Им сорганизован и прорепетирован туш на гребешках с папиросной бумагой, им же написан ритуал приема, который присутствующие должны разучить. Долго приспосабливал он добытые на дворе плоские ящики, чтобы кресло королевы стояло на легком возвышении, – но из этого ничего не получилось, очень уж выходило неудобно королеве пить чай. Кате полагался особый прибор: вилка, ножик и салфетка; для всех остальных вместе – такой же один общий прибор, только без салфетки. Ради Кати Мартынов затратил два часа, чтобы вымыть водкой, карта за картой, засаленную колоду: после чаю мы, наверное, сядем играть в винт, кстати – королева обычно проигрывает, так что часть наших расходов по приему окупится.

В день приема королевы мы все в сборе: Мартынов, я, медик Ушаков, второкурсник-юрист Стигматов, мой земляк Павлик – студент Лесного института, большой весельчак,

иногда еще кто-нибудь из тех, кого я возил к Кате знакомить. Ушаков уходил раньше других, Павлик, страшный картежник, оставался обычно ночевать, и пять партнеров для винта были обеспечены. После полуночи все мы проводим королеву до извозчика.

В нашу студенческую трущобу Катя вливалась как луч солнца. Если бы она, в своем самом простом платье и со своей самой лучшей, всегда несколько смущенной улыбкой, – если бы она только сияла, мы бы исчезали, как рассеянные тени и погашенные свечки. Но она не только сияла – она освещала. Комната становилась шире, потолок чище и выше, самоварная медь делалась таким же чистым золотом, как орленые пуговицы франтоватого Стигматова. Марья Ивановна, квартирная наша хозяйка, женщина беднейшая, кротчайшая и затрапезная, казалась теперь благородной фрейлиной, а все мы – советом мудрых вельмож и верноподданных.

Когда в дверях показывалась Катя, я подходил к ней первым и целовал ее, зная, что все эти юноши, мои гости, всматриваются и вслушиваются в поцелуй. Затем Катя, сняв длинную перчатку, очень приветливо здоровалась с Марьей Ивановной за руку, которую та спешно вытирала фартуком. С нею она задерживалась в нашей крошечной передней, спрашивала ее о здоровье детей, кивала, слушая ее подробный доклад, давала советы: непременно промывать Ванюшке глаза борной кислотой и не позволять ему их тереть, а Анюту поить рыбьим жиром. Потом Катя повертывалась к моим немногочисленным гостям, толпившимся у двери, по-мужски пожимала им руки и не знала, что нужно говорить, заменяя слова своей чудесной улыбкой. Они подходили к ней в строгой очереди, Мартынов всегда последним, не глядя в глаза и мешковато шаркая ногой.

В эту минуту они не казались бедными студентами в поношенных тужурках, а были рыцарями в латах: грудь колесом, ноги стройны, головы с изящным нагибом. Впрочем, к Мартынову это не относится: он был скорее нашим дядькой.

Рыцари отнимали у Кати зонтик, перчатки, шляпу. Если шляпа доставалась Мартынову, он уносил ее обеими руками, как стеклянную, расставив локти, чтобы не задеть за стул, за косяк двери, украшенной носками, за кого-нибудь из нас. С момента прихода Кати Мартынов делался невменяемым и старался смотреть на самовар или на коробку килек, чтобы невзначай не встретиться с Катей глазами; если это все-таки

случалось, – он мрачно краснел и еще пристальнее впивался взором в неодушевленные предметы.

Мой бедный Мартынов! Я думаю, что в этом мире только одна любовь могла соперничать с моей любовью к сестре: его бескорыстная и безнадежная любовь.

. . . .

Пока Катя еще беседовала с хозяйкой, Мартынов успевал зажечь над дверью в моей комнате щит с инициалами и цветные фонарики по обе стороны престола королевы. Бородатый и неуклюжий, он делал это с озабоченным и взволнованным лицом.

Затем мы усаживали Катю за стол, становились на некотором расстоянии, и Павлик, торжественным и мощным голосом, начинал выработанный на этот день «ритуал приема королевы»:

– Все ли вельможи, здесь предстоящие, признают себя подданными Екатерины?

Мы отвечали хором:

– Все!

– Каковы обязанности первого вельможи?

Я был «первым вельможей» и отвечал нараспев по мартыновской шпаргалке:

– Не брат, а раб!

– Каковы обязанности вельможи-хлебодара?

Тем же тоном отвечал медик Ушаков:

– Чаю ли возжаждет – чаю налей; кильку ли возалчет – препарируй.

– Каковы обязанности вельможи-кавалера?

Второкурсник Стигматов, очень красивый юноша, слегка рисуясь, произносил:

– Сознавать свое физическое безобразие и лежать ковриком на царственных путях.

– Каковы обязанности вельможи-звездочета?

В свою очередь, Мартынов, застенчиво и с тоской, бормотал библейский стих, им самим извлеченный из Книги Судей Израилевых:

– «К ногам ее он склонился, пал, лежал, к ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал, пораженный».

– Клянутся ли вельможи исполнить свои обязанности?

Мы протягивали руки и опять хором восклицали:

– Не нам, не нам, а имени твоему!

Катя весело смеялась; ей было приятно наше поклонение. Изобразив на гребешках туш или марш из «Аиды», мы

вручали королеве знаки ее власти: чисто вымытый на этот случай мячик хозяйкиной девочки и огромный синий карандаш Мартынова – державу и скипетр.

Под влиянием ритуала мы долго болтали стилем напыщенным, священнодействуя над кильками и отдавая должное чайной колбасе. Хотя мы всегда усердно приглашали Марью Ивановну посидеть с нами, но она отговаривалась хлопотами с самоваром и только иногда присаживалась на стуле у самой двери и пристально смотрела на Катю, которая казалась ей, как была и для нас, подлинной королевой, посетившей лачугу бедноты.

И, конечно, ей никогда не могло бы прийти в голову, что эта королева в иную минуту жизни может завидовать ее бедности, миру и простоте ее семейной жизни.

РЮМКА ВОДЫ

Что мне делать с Мартыновым? Он пьет вторую неделю: как на грех получил от брата деньги сразу на два месяца вперед.

Пьет Мартынов водку, и пьет дома; никакой закуски ему не требуется. Нагрузившись, он поет «Благообразного Иосифа» или сам с собой разговаривает. Ночью трезвеет и в одной рубашке выходит во двор, гуляет, хотя по ночам холодно и сыро.

Уговаривать его бесполезно. Когда Мартынов пьян, он преисполнен презрения ко всем и ко всему. Презрение ко мне он выражает тем, что, отворив дверь в мою комнату, показывает мне распухший язык, затем захлопывает дверь с нехорошим ругательством. Марья Ивановна боится показываться ему на глаза, хотя Мартынов очень редко скандалит «по-настоящему». Марья Ивановна его не осуждает и даже не протестует против такого поведения жильца: на нашей улице, полной притонов, смотрят на пьянство не как на порок, а как на несчастье, людям судьбою ниспосланное.

Как-то раз я задумал принять меры, отняв у Мартынова водку и деньги. Заглянув в его комнату, я увидал, что он спит лицом к стене. Я на цыпочках подобрался к его тужурке, но в ее карманах нашел только медную мелочь. Тогда я протянул руку к стоявшей на столе еще полной бутылке водки.

И вдруг он вскочил, будто этого только и ждал. Вскочил встрепанный и такой страшный, что я едва не уронил бутылку.

– Поставь обратно!

– Брось, Мартынов, не пей. На кого ты стал похож!

– Поставь бутылку!

Я, конечно, поставил.

Он взял бутылку и, смотря на меня пристально воспаленными глазами, стал пить из горлышка. Нужно было для этого запрокинуть голову, но он хотел смотреть на меня, на производимое впечатление, поэтому, булькая водкой, он постепенно приседал на корточки. Отпив несколько полных глотков, он обтерся рукавом рубашки и, сделав хитрое-хитрое лицо, очень трезвым, только хриплым голосом сказал:

– Красавец, ужели я вам не нравлюсь?

– Не нравишься, Мартынов.

– Тогда, красавец, пойдите вон.

Я двинулся к двери, но на ходу спросил:

– Зачем ты пьешь, Мартынов?

Лицо его стало внезапно искренне удивленным, и попрежнему трезвым голосом он ответил:

– Как же иначе быть? Ведь положение безвыходное!

– Какое положение?

И опять, встав и внезапно изменив лицо, он ответил хриплым голосом:

– Как сказано выше – ступайте вон. Можете ехать в Сокольники к к-королеве.

Сразу опьянел, забормотал непонятное и повалился на постель.

Дождавшись первой светлой минуты, я решил проветрить Мартынова, а кстати и устыдить его, свозить к Кате. Он был очень жалок, видимо сам себя боялся, и довольно легко согласился:

– Только ты королеве-то не рассказывай.

В то время, за отсутствием трамваев, поездка в Сокольники занимала добрый час времени. Мы взобрались на империал конки, где за станцию брали три копейки, и наслаждались воздухом и рассматриванием вереницы пешеходов, шедших толпой с Сухаревки и на Сухаревку. На подъеме к Красным воротам к конке пристегнули пару рыженьких лошадок, на одной из которых сидел мальчишка, неистово махал руками и подстегивал припряжку. Кондуктор для бодрости ударял левым локтем по цепи, на которой висел звонок, лошади рвались, и мы ехали с гиканьем и веселым звоном. Мартынова я привез действительно проветренным, хотя лицо его еще оставалось опухшим.

Мы приехали за час до обеда, и было приятно узнать, что Евгений Карлович уехал в город, значит, мы обедаем втроем.

Мартынов держался бодро, шутил и предупреждал, что у него сегодня волчий аппетит.

Перед тем как сесть за стол, Катя вызвала меня и спросила, подавать ли к столу водку. Я знал, что Мартынов, когда его запой кончается, сразу делается выдержанным, но что рюмки две ему за обедом необходимы для равновесия, иначе он затоскует и впадет в мрачность.

Не знаю, почему мне пришла в голову необычайно глупая мысль – подшутить над Мартыновым. Когда Катя вышла из столовой, я убрал со стола графинчик водки и заменил его другим, в который налил воды.

Мы сели, и я налил нам обоим по рюмке, выпил свою, нарочно крякнул и закусил. Затем стал внимательно наблюдать, как выпьет свою Мартынов.

У него после запоя сильно дрожали руки. Он это знал и делал все движения медленно и сосредоточенно: положил себе на тарелочку закуски, надломил кусок хлеба, наконец протянул руку к рюмке.

Когда я увидал его дрожащую руку, его глаза, устремленные на рюмку, его заранее выпятившиеся губы, как это бывает у привычных пьяниц, – я понял, что поступил плохо; но было уже поздно.

Медленно, – слегка стуча стеклом о зубы, Мартынов вытянул воду – и проглотил. Затем он внезапно побледнел, уронил руку с рюмкой и откинулся. Я думал, что он в обмороке – и действительно глаза его на минуту закатились. Вдруг он взглянул на Катю почти бешеным взглядом, пошатнулся на стуле и хотел встать.

Я перепугался:

– Мартынов, прости, голубчик, это я хотел подшутить над тобой. Прости меня!

Катя ничего не понимала. Я объяснил ей:

– Я налил ему воды. Ужасно глупо!

Мартынова трясло; зубы стучали, лицо краснело, бледнело, и он сидел, не меняя позы. Наконец он овладел собой и пробурчал:

– Ничего... Это не оттого...

И заковырял вилкой закуску на тарелке.

Я достал графинчик водки и налил Мартынову. Не подымая глаз, он выпил. Ему очень хотелось пошутить и показать, что это «ничего», но, хорошо зная его, я видел,

что ему плохо и что моя шутка может иметь печальные последствия.

Катя старалась поддерживать разговор, журила меня, говорила, что она бы страшно рассердилась, если бы ей подсунули, например, соли вместо сахару. Мартынов молча ел и так же молча наливал себе за рюмкой рюмку. Катя смотрела на меня умоляющими глазами, но я не смел остановить его, хотя видел, что уже с первых трех рюмок он был пьян. Опять на лице его появилось знакомое мне выражение пьяной иронии и настороженности; попробуй я убрать водку – выйдет, пожалуй, хуже.

Обед кончался в молчании. Когда подали сладкое, Мартынов, опершись на локоть, на минуту задремал. Мы переглянулись, – но он внезапно открыл глаза и поймал наши взгляды. И вдруг он засмеялся своим тяжелым смешком, прищурился на Катю, одобрительно кивнул и сказал заплетающимся языком:

– Ага, к-кор-ролева!

Вслед за тем графин, тарелки, солонки, хлеб – все посыпалось на Мартынова. Одной рукой он ухватил и стянул на себя скатерть, затем другой рукой с силой оттолкнул длинный и тяжелый стол.

Катя вскрикнула, Мартынов хмуро и грузно встал, поднял руки над головой и грохнулся на осколки посуды. У него был припадок, и не моими слабыми руками было с ним справиться. Он отбивался, расшвыривал ногами и руками стулья, столики, упавшие вазы с цветами. Он не кричал, только напряженно стонал. Руки его были порезаны осколками посуды, серая тужурка перепачкана кремом.

Мы уже хотели послать за кем-нибудь из рабочих, когда так же внезапно Мартынов затих. Катя выслала прислугу из столовой, и мы с ней осторожно приподняли Мартынова и повели его в гостиную, где уложили на диван. Он старался передвигать ногами и смотрел виновато и испуганно, как больной. Когда мы его уложили, он сразу уснул мертвым сном.

Чтобы не будить Мартынова, мы притворили двери и ушли наверх к Кате. Иногда я спускался и слушал: Мартынов спал.

– Как это ужасно, Костя!

– Да; и это я виноват. У него запой кончился, я знаю. Если бы я не выдумал этой глупости...

– Может быть, теперь он выспится, и все пройдет. Но он такой самолюбивый, будет мучиться.

– Он в тебя влюблен, Катя, и это хуже всего. Я боюсь, что он опять запьет, просто уж – от обиды. Как его удержать – право, не пойму.

Катя сказала задумчиво:

– Странная любовь... Разве от любви пьют?

– Пьют не от любви, а от... как это сказать... от безнадежности. Впрочем, Мартынов и раньше пил.

– Вот то-то. А все-таки что же с ним делать?

– Попробуй, когда он проснется, с ним поговорить, утешь его, скажи, что это все пустяки, что он болен.

– Я попробую...

Мартынов спал уже часа три-четыре. Мы не знали, нужно ли его будить, уложить в постель или оставить так. Пожалуй, будет лучше, если я увезу его домой, – воздух может оказаться ему полезным.

Я еще раз спустился вниз и заглянул в комнату.

Диван был пуст. Мартынов исчез. В передней я нашел его фуражку, но пальто не было.

Я оставался у сестры до позднего вечера, думая, что Мартынов может вернуться. К ночи, захватив его фуражку, я уехал домой. Отворила мне заспанная Марья Ивановна. От нее я узнал, что Мартынов домой не возвращался.

ВЕЧЕРОМ, ДОМА

Я сижу дома, зубрю курс гражданского права и думаю о том, какой я все-таки хороший: не пьяница, давно не играл на биллиарде, во второй половине месяца еще имею в кармане семь рублей и прочитал сегодня двадцать страниц гражданского права. Пересчитываю: ну, не двадцать, а все-таки шестнадцать.

Мартынов лежит в своей комнате на постели совершенно трезвый. После печального путешествия в Сокольники он пропадал два дня, и где он был – я так и не знаю. Он явился домой поутру, усталый, бледный, пришибленный, в чужой потасканной штатской шляпе с большими полями; теперь вторые сутки он отлеживается и со мной не разговаривает, только говорит: «Спасибо, Костя», – когда я ставлю перед ним стакан чая и тарелочку с хлебом и колбасой. Да еще, когда я попробовал спросить: «Ну что, Мартынов, плохо?» – он посмотрел удивленно и ответил:

– Нет, почему же? Ничего.

Но пора бы и заговорить Мартынову!

Вообще пора бы остепениться. Учебный год кончается, скоро экзамены, на улицах уже появились лотки с мочеными яблоками. Лично я побаиваюсь гражданского права – у нас Кассо!

Начинает смеркаться. Слышу, как Мартынов встал и умывается.

– Погулять не пойдем, Мартынов?

Он входит, садится на мою постель и смотрит на меня молчаливо и задумчиво, как нездешний. Положительно – пора Мартынову заговорить!

Пока я думаю, как ему помочь в этом, он заговаривает сам, отведя глаза в сторону:

– Скажи, Костя, очень гадко это вышло?

– Что?

– Ну, ты знаешь что. Там, у королевы...

– Да, нехорошо, конечно.

Он, помолчав, продолжает:

– Больше уж не увижу ее.

– Вот чепуха. Как не увидишь? Поедем к ней в воскресенье – и все.

– Нет, больше не увижу.

– Это я был виноват, Мартынов, ты меня прости.

– Чем ты виноват? Нет, брат, тут дело сложное... то есть не сложное, а совсем простое.

Хорошо все-таки, что Мартынов заговорил! Теперь понемногу неприятное забудется.

Мы вышли вместе, друзьями, чтобы прогуляться по улицам, посмотреть, как опускается вечер и зажигаются фонари. На нашей улице, на знаменитой Грачевке, пусто; ее жизнь оживляется к ночи: начинают работать притоны, появляются бойкие девицы и молодые люди с шарфами на шее. Прошли Сретенку и Лубянку, миновали Китай-город, вошли в кремлевские ворота – нечаянно как-то, не условившись. Было сумеречно, вечер предвесенний, воздух в Кремле чист, холодок приятен. Остановились взглянуть, как зажигаются огни в Замоскворечье. И тут Мартынов сказал мне:

– Вот ведь как тут хорошо и красиво. И на душе мир, и умирать не хочется.

Никогда не говорил Мартынов таких слов и таким особенным тоном! Я покосился на него с удивлением. А он продолжал:

– Одно слово – Москва! Как я, бывало, мечтал о Москве да о Кремле, когда жил в нашей глуши. Вот, думаю, только

бы попасть в Москву – а там уж все само станется. И буду я не таков, каким был. Ты, верно, тоже о Москве мечтал?

– Ну, еще бы!

– Вот и попали в Москву. Вот и в Москве.

Помолчали. И опять он заговорил:

– Мой батька, когда жив был... он был священником в селе, и был у него дьякон, оба тоже выпивали... бывало, сидят вечером перед бутылкой, закусывают только огурцами и все считают: пристань такая-то, пересадка, опять пристань... это они будто едут в Москву и на каждой остановке пьют. И как доезжали до Пьяного Бора – сразу по три рюмки, и дальше уж, бывало, и не едут. Оба от вина сгорели. А вот мой брат, он совсем не пьет, удержался; и все отцовское наследье мне досталось.

– Ты тоже удержись, Мартынов.

– Что? Да... А видишь, Костя, вон там, правее моста, загорелся зеленый огонек... Аптека там, что ли? И в воде отражается. Хороша наша Москва, Бог с ней! Ты любишь ее?

– Люблю, как же ее не любить?

– Да, как ее не любить, ежели она – Москва! Ну, Костя, пойдем.

Когда шли мы обратно, Мартынов смотрел по сторонам: и на маковки храмов, и на все здания, в сумерках серые, и на Царь-пушку, и на темнеющее небо – точно видел все впервые по-настоящему, то ли здоровался, то ли прощался. Расстались мы с ним на Лубянской площади: мне нужно было пройти на Покровку к знакомым. Когда расставались, он сказал как-то смущенно и будто равнодушно:

– Сестру-то, королеву нашу, скоро увидишь?

– Думаю, на днях; а что?

– Да так. Увидишь – кланяйся.

– Поклонюсь.

– Ну, прощай, Костя.

– Прощай, Мартынов. Ты домой?

– Домой.

– Я вернусь поздно, только к ночи.

– Ладно.

Странный сегодня Мартынов! Совсем не как всегда. Такой тихий.

Я вернулся домой после двенадцати. Дверь мне открыла Марья Ивановна, в ночной кофте, возбужденная, – и зашептала:

– Что было-то! Страху-то было у нас!

– А что такое?

– Да ведь вот счастье, что я зашла! И Фрол Аполлонович дома был. Только спать легли. Он и срезал веревку.

– Да что случилось, Марья Ивановна?

– Как что случилось? Повесился товарищ ваш! Повесился на крюке.

И рассказала мне взволнованным шепотом и точно бы с радостью, как она прислушалась, будто стонет и будто все возится, и как у нее екнуло сердце, что не все ладно, как попробовала окликнуть, сперва тихонько, потом громче, потом постучала в комнату, а уж потом вместе с Фролом Аполлоновичем налегли на дверь – и задвижку сбили.

– А он уже висит, только еще качается. Я закричала голосом, а Фрол Аполлонович побежал за ножиком, а ножик тупой, я поддерживаю, а он режет, едва перепилил. Я и удержать не могла – так он и на пол рухнул.

– И что же теперь?

– Лежит. Да ничего, жив, совсем очнулся и на постель лег. Не велел нам приходить. А мы не спим, вас ждем, слушаем – опять бы чего не вышло. Шею-то он стер себе. Не знали, бежать ли за полицией, или как...

Я на цыпочках прошел в комнату Мартынова. Он лежал с закрытыми глазами, и на столе горела свеча, оставленная Марьей Ивановной.

Я не знал, что спросить. Спросил:

– Ну, ты как, Мартынов, ничего?

Он открыл глаза, улыбнулся мне грустно и сказал:

– Ничего. Ты уйди, Костя. Ты не бойся, я это так. Больше не буду. Это чепуха, глупости.

– А зачем ты, Мартынов?

– Иди, иди, говорю: чепуха. Раз говорю: не буду, значит, не буду.

– Даешь слово?

– Даю слово. Ты иди, спи.

Часа два я лежал, прислушиваясь. Из комнаты Мартынова, дверь в которую я оставил открытой, доносилось ровное дыхание. Раз он тихо застонал, очевидно во сне.

Заснул и я.

Я НЕ ВСЕ ПОНИМАЮ

Катя окончила свои двухгодичные архитектурные курсы. То, о чем она некогда мечтала с сияющими глазами и чему мы не очень верили, – случилось просто и естественно. Она –

одна из первых женщин-архитекторов в России. И она – на виду, ей обещают карьеру, к ней очень почтительно относятся ее профессора.

Я не замечаю в Кате никакой особенной радости. Она довольна – и только:

– Планы будущего. Ну, там увидится...

Она устроила обед своим профессорам и однокурсницам. Все они не показались мне людьми интересными. Приятнее других архитектор Власьев, и раньше бывавший у Кати. На обеде я заметил, что к нему с особым, подчеркнутым вниманием относится Евгений Карлович и что Катю это не то чтобы беспокоит, а немного удивляет. Зато Виктор Германович, родственник Катиного мужа и наш партнер по винту, смотрит на Власьева враждебно и был бы не прочь с ним сцепиться, конечно – в корректнейшем споре. Сама Катя выделяет Власьева простотой к нему отношения, как к своему в доме человеку, хотя частым гостем Власьев никогда не был.

Я, как тоже «свой», но только в значительной мере чуждый этой новой компании, невольно приглядываюсь. И довольно скоро я прихожу к убеждению, что Власьев влюблен в Катю и не умеет этого скрыть, что это замечаю не один я и что знает это и Катя. Ей неприятно? Нет, я этого не вижу. Но ее это стесняет.

К вечеру большинство гостей уехало в город, а мы, оставшиеся, пошли на Сокольничий круг, где уже начались концерты. К моему удивлению, пошел с нами и Евгений Карлович. Он – в на редкость хорошем настроении духа и особенно любезен со мной: расспрашивает об университете и даже высказывает либеральные мысли, совсем ему не свойственные. Мне начинает казаться, что вот-вот он расскажет мне легкомысленный анекдот или предложит мне вечную дружбу: еще никогда таким я его не видал.

Как полагается, мы гуляем по кругу. Катя с Власьевым впереди. Иногда она повертывает к нему голову и смотрит на него с внимательным изумлением. Власьев часто оглядывается, будто случайно, и говорит безостановочно. Я чувствую, что муж Кати, не отставая от меня и продолжая меня занимать, сам наблюдает за Катей и Власьевым. И я не могу понять, почему на лице Евгения Карловича плохо скрытая радость, даже какое-то довольно противное торжество.

Приятно, что Виктор Германович не пошел с нами. Он остался подремать и обещал, если составится винт, быть вечером партнером.

Все это не нравится. Братское чувство мне подсказывает, что сестру подстерегает какая-то опасность, о которой она не догадывается. Но ведь возможно, что мне это только кажется.

Обратно я иду с Катей и ее сокурсницей, а Евгений Карлович и Власьев с двумя другими дамами. Но дам занимает только Евгений Карлович, который сегодня исключительно мил и галантен. Власьев идет вместе с ними, но молчит или рассеянно улыбается, когда это ему кажется необходимым.

Сейчас неудобно, но после я с Катей поговорю. Только о чем же?

Гости, кроме одной из дам, прощаются и уезжают в город; в их числе и Власьев. Евгений Карлович долго и сердечно трясет руку Власьева и просит бывать почаще, а по уходе его немедленно делается солидным и скучающим; очевидно – теперь он предоставит нас самим себе и запрется в кабинете или уедет в город.

Когда Катя прощается с Власьевым, она громко отвечает на его тихий вопрос:

– Я подумаю и скажу вам.

Затем, когда Власьев отходит, она говорит, обращаясь ко мне:

– Знаешь, Костя, он предложил мне работать вместе. У него сейчас три постройки на ходу, в том числе одна очень для меня интересная: здание Народного дома.

– Ты согласишься?

– Я хочу подумать. Это не совсем просто, тем более что не все в Москве, придется иногда уезжать.

Евгений Карлович, конечно, слышит, но смотрит в сторону, где его заинтересовала собака. Впрочем, ведь Катя говорит не с ним, а со мною. И я отвечаю Кате:

– По-моему, это очень интересно. Я бы на твоем месте согласился. Тем более что Власьев – очень видный архитектор; и человек приятный.

– Даже слишком видный, чтобы работать с ним, как он мне предложил, на равных началах. Я что-то даже не совсем поняла его. Но мы еще поговорим с ним.

Евгений Карлович не нашел собаку достаточно породистой и теперь идет домой впереди нас, хотя это неделикатно, так как с нами дама. Но он уже не хочет быть обаятельным.

Дама, наша спутница, поздравляет Катю:

– Вы сделаете блестящую карьеру! Сколько мужчин вам позавидуют.

По глазам дамы, впрочем, довольно добродушной, я вижу, что позавидуют Кате не одни мужчины.

Что-то такое произошло, чего я еще не усвоил и не разобрал. Я вижу одно: Катя тоже не все понимает и явно обеспокоена. Казалось, она должна бы радоваться и окончанию курсов, и своему успеху, а этой радости я в ней не вижу. Что-то ее тревожит. Что?

Мы проводим довольно скучный вечер. Дама плохо играет в винт, Виктор Германович едва сдерживается, и после трех роберов мы с удовольствием покидаем столик.

Я охотно остался бы переночевать у сестры, но на носу экзамены – нужно с утра засесть за лекции. Даже Мартынов, который в последнее время очень остепенился, – даже он зубрит по целым дням и никуда не выходит. Два экзамена он уже сдал; а у меня первый на этой неделе.

И это весной! Разве для того весна, чтобы гнуть спину над книгами? Какая нелепость!

К МАМЕ

Когда весна только-только начинается, первыми вянут меховые шапки и шапочки, за ними стареют, линяют и делаются смешными и неуместными шубы, пальто и теплые перчатки, пальцы которых к этому времени уже не переносят дальнейшей починки. Затем внезапно все девушки хорошеют, и не потому, что их красит весенний наряд, а просто потому, что они в это верят. Что касается до нас, студентов, то мы раньше всех выходим гулять без пальто.

И небо уже не просвечивает сквозь ветки деревьев Тверского бульвара. Акварель кончилась – начинается масло летних красок. Городская весна приходит быстро, сразу распускается, но держится подолгу, потому что она и в городе, как в деревне, все-таки медлительна, все-таки она русская весна, а не какая-нибудь.

И когда экзаменам подходит конец, уже все цветет давно, а иной лист-скороспелка успел пожелтеть и лежит на дорожке, плохо усыпанной песком. Может быть, впрочем, это был больной листик. Почтальон принес деньги, – и это деньги на дорогу, их не истратишь, их убережешь. Еще неделя, только одна неделя. Уже заранее делается жаль Москвы – скоро расстанемся.

Впереди идет стройная и высокая дама, одетая с особым изяществом, под руку с господином в сером пальто. Серое

пальто знакомо мне по походке. И усы. И профиль. Это – архитектор Власьев. А с ним – да ведь это Катя в новом весеннем костюме, которого я еще не видал!

Я догоняю их не сразу. Мне приятно неожиданно встретить в городе сестру. Но я чувствую, что Власьев будет не очень доволен нашей встречей. Вероятно, он провожает Катю после работы и хотел бы подольше остаться с ней вдвоем. Как хорош сейчас воздух, как приятно пройтись под руку с красивой женщиной. Завидую Власьеву! Завидую, что Катя ему не сестра.

Я подхожу сзади со стороны Кати и слышу ее голос:

– Я-то понимаю... Я отлично все понимаю, ведь я не малый ребенок. И сердиться мне не за что, я вам верю. Но неужели вы не можете...

И Катя внезапно обертывается: она услыхала и узнала мои шаги:

– Костя?

Она высвобождает руку, прижатую Власьевым, и бросается ко мне с настоящей радостью:

– Как хорошо, что я тебя встретила! Ты из университета? Я хотела сейчас к тебе заехать, но боялась не застать дома. У меня к тебе дело, и такое... ты никогда не догадаешься.

Власьев здоровается и старается быть приветливым; но вид у него немного убитый. Во всяком случае, я ему больше не завидую.

– Ты можешь, Костя, поехать сейчас ко мне?

– У меня экзамен, Катя.

– Завтра?

– Нет, через три дня. Последний. Впрочем – пустяковый, готовиться почти не нужно. Все важные я сдал.

– Ну вот что, Костя, мы дойдем вместе до Страстного, а там возьмем извозчика и поедем к тебе, только на полчаса. Нужно решить одно дело.

– Я с вами распрощаюсь здесь, – говорит Власьев.

И вид у него совсем не счастливый. Почему-то мне это приятно.

Катя протягивает ему руку:

– Завтра мы увидимся в студии.

– Слушаю.

– Я боюсь, что работу сегодня не подготовлю. Ничего?

– Пожалуйста.

– А дня через два – непременно сдам вам все, и тогда...

Власьев приподымает голову в ожидании, а Катя продолжает:

– ...и тогда вы дадите мне отпуск на месяц, а то и немножко больше.

– Отпуск? Дело ваше – но почему?

– Я вам после скажу. Я, кажется, уеду.

Он молча кланяется, слишком рыцарски и почтительно, и мы уходим.

– Куда ты хочешь уехать, Катя?

Она смеется возбужденно и весело:

– Никуда не собиралась, а вот сейчас, как тебя увидела, нечаянно решила. И я, Костя, ужасно рада! Я поеду с тобой к маме.

– Нет – правда, Катя?

– Ну да. Мне хочется видеть Волгу и Каму, и я соскучилась по маме.

– Мама будет так счастлива!

– И я буду счастлива.

– И я!

– Мы все, Костя. И это мне необходимо: уехать. Как это удивительно вышло, что я тебя встретила на бульваре. Точно судьба! Ты был мне в эту минуту всех нужнее.

– Какое же у тебя ко мне дело?

– Дело? Да никакого. Вот только это. Хочешь – поедем на Воробьевы горы или куда вздумается? Я не хочу домой. Сегодня чудесный день.

– Ты хотела ко мне?

– Нет, я просто хотела пробыть с тобой подольше, если ты только можешь, если твои лекции подождут. Я, кстати, голодна. Ты не обедал еще? Хочешь – поедем в «Прагу»?

– Лучше пройдем пешком, это ведь почти рядом.

– Ну вот и чудесно. Дай мне руку. Я тебя сегодня угощаю обедом. А скоро, Костя, мы будем есть пьяноборских раков и стерлядь кольчиком – на пароходе. Какая прелесть!

Мы обедали в «Праге» и даже пили вино. Катя была так весела и казалась такой счастливой, что я не мог приписать это только весеннему воздуху. Что-то с ней произошло.

Когда мы в третий раз чокнулись стаканами, она мне сказала:

– Я верю в судьбу. Мне сегодня очень нужно было немножко семьи, а здесь, в Москве, моя семья – только ты. Не к Лизе же идти мне с моими горестями! А детям не расскажешь. Мама далеко...

– Какие у тебя горести?

– Горестей, пожалуй, никаких нет, то есть новых. А могло бы случиться многое. Ну, теперь мы поедем к маме. Вот чудесно!

– Ты думаешь надолго поехать?
– Ну, на месяц, на два, пока поживется. Мне не хочется быть сейчас в Москве.
– Тут при чем-то Власьев?
– Он тебе не нравится?
– Почему же, он приятный человек.
– Да, он хороший человек. Он мне нравится очень. Но, конечно, он такой же, как все.
– Он объяснился тебе в любви?
Она ответила задумчиво:
– Это-то ничего. Может быть, он и действительно меня любит. Это-то ничего...
– А что же?
Катя отчетливо сказала фразу, которая, должно быть, давно в ней сложилась и которую она часто мысленно повторяла:
– Видишь, Костя, нигде и никогда ничего нельзя найти, никакой нельзя придумать себе жизни, чтобы сейчас же перед тобой не оказался человек, который смотрит поверх твоих желаний и интересов и который ждет от тебя одного и того же... Будь он самый хороший... Сначала ему нужна ты, а твоя жизнь – дело второе. И сразу все рушится. И так всегда.
Мне было приятно, что сестра так откровенна со мной. Я казался себе как бы старшим братом, призванным обсудить ее «дело» и дать ей мудрый совет.
– Ты странная, Катя. Но ведь так уж мир устроен, и ничего в этом дурного нет. По-моему, если тебе, например, нравится Власьев, ты могла бы развестись с Евгением Карловичем и выйти за Власьева замуж.
Она посмотрела на меня удивленно, но спокойно ответила:
– Да, конечно.
– Или... значит, ты его не так любишь.
– Не знаю, вероятно.
– Так в чем же дело, Катя?
Она отвечала рассеянно:
– Дело в том, что... я ведь говорю: так всегда и будет. Это очень трудно объяснить, Костя, и понять трудно. Нужно быть женщиной... Вот поэтому мне так хочется к маме. Мы поедем, правда?
– Конечно, поедем.
– Ну – вот и все. Вот и хорошо...

В ПРЕДУТРИИ

В юности, когда я еще всерьез мечтал сделаться заправским писателем и еще не угадывал, что жизнь моя незаметно протечет в работе, может быть и полезной, но далекой от области литературы, я нередко, любуясь картинами природы, мысленно пытался воссоздать их в слове. Никто тогда не сказал мне, что перо, даже в руках человека, всю жизнь посвятившего искусству слова, бессильно изобразить неизмеримую и поистине земную, близкую нам, почти домашнюю красоту тех мест, по которым лежал наш с сестрой путь из Москвы на нашу приуральскую родину.

Теперь, лучше зная бессилие искусства и полную беспомощность собственного пера, – я отсылаю к их воспоминаниям тех моих читателей, которым есть что вспомнить и из памяти которых картины чахлой европейской природы не вытеснили очарованья Камы, Волги, Урала, нашего Севера и нашей Сибири. Милостью судьбы, не скрывшей от меня ни одного уголка Европы – ни лазурных берегов ее Юга, ни ее скандинавских красот, – я мог проверить свои давние впечатления, мог сравнить и могу теперь сказать со спокойной уверенностью:

– Все, что есть прекрасного здесь, – есть и у нас; но и среднего нашего не найти нигде в Европе.

И я не буду лицемерить: это сознание вновь до краев наполняет русской гордостью мою душу, опустошенную рядом иных, слишком невыгодных для нас сравнений. Затерянный, затолканный в толпе чужих, самоуверенных, презрительных людей, – я снова чувствую себя сыном и гражданином великой, богатейшей и прекраснейшей из стран. И, страдая ее сегодняшними бедами, я радостно улыбаюсь ее будущему.

Я в него крепко верю. Это делает меня счастливым.

. . . .

В те дни цвела липа, и наш пароход разом рассекал и воды Камы, и воздух, густо напитанный цветеньем этого милого и ласкового дерева. По ночам не спалось в каюте, хотелось дышать сладкой свежестью реки и любоваться отражением в спокойной воде высокого берега, освещенного луной.

Гудел шедший сверху встречный пароход, коротким басом отвечал наш, матрос выходил из будки и размахивал фонарем – и там мелькал такой же фонарь на левом борту.

А иногда на нас надвигался едва видный ночью длинный плот с горящим на нем костром, нам кричали в рупор: «Легше-е!», мы задерживали ход, – и все-таки голоса на плоту провожали нас очень сложной бранью. Это была особая водная жизнь, и плыли мы в объятьях трех стихий, очарованные музыкой ночи.

Когда луна скрылась, мы разошлись по каютам; как ни прекрасна ночь, но ведь и утро прекрасно, и его было бы стыдно проспать. Мы встанем завтра пораньше и будем пить чай на палубе.

Эти трехдневные прогулки на пароходе в конце и в начале учебного года были для меня не только наслаждением, но и днями итогов прожитого и планов будущего. Сейчас я в последний раз ехал на родину студентом; будущим летом я вступлю в жизнь уже как взрослый человек, – и в этой жизни должен буду ясно определить свое место. И как ни был я молод и самоуверен, я все же понимал, что будущий путь моей жизни, весь путь, определится последним годом студенчества. Обдумать и наметить его – осталось не так много времени. А что я знаю? Куда я хочу пойти? Не выйду ли я на бездорожье в чистое поле?

В каюте, где всегда немного пахнет краской и машинным паром, было душно, и я долго не мог заснуть. Занавеска на окне посветлела – близилось утро. Я оделся, не забыв и теплого пальто, и вышел на палубу.

Река и ночью и днем постоянно меняет цвет и оттенки – в том ее главное очарованье. Был первый свет утра, которое рождалось в легчайшем тумане и неясных очертаниях. Я прошел на нос парохода, дивясь безветрию и любуясь борьбой ночи и утра.

И там я увидел сестру, которая тоже не спала и вышла в теплом капоте и оренбургской шали. Она сидела на палубной скамейке, подобрав ноги и сгорбившись. Когда я подошел, она не удивилась, что я не сплю, не двинулась и только взглянула на меня мутно глазами, полными слез, которых она не вытирала.

Я не спросил, почему сестра плачет, – почувствовал, что спрашивать нельзя. В полусумраке раннего утра лицо Кати показалось мне некрасивым, осунувшимся, постаревшим. Может быть, мне не следовало подсаживаться к ней, но теперь уйти было уже нельзя.

Мы сидели рядом не менее получаса – и слезы Кати все лились, ровно и безудержно. Если бы она рыдала, билась в истерике, ломала руки, – было бы понятнее и легче. Но

я видел, что у нее нет сил даже пошевелиться. Слезы не смачивали шерсти ее шали и скатывались на колени.

Стало светлее, сидеть было холодно. Я не знал, что делать, и смотрел на бегущий берег, чтобы не смотреть на Катю.

Наконец она пошевелилась, и я решился сказать:

– Холодно. Ты не пойдешь в каюту?

Она не ответила, но сделала попытку встать. Я помог ей, и она оперлась на мою руку. Я довел ее до двери каюты, как больную или старую женщину, и слышал, как она опустилась на диван. Я подождал у двери, – больше ничего не слышно.

Помню: я не задал себе вопроса, почему сестра плачет, что могло вдруг так сломить ее, всегда такую бодрую и выдержанную. Я увидал ее горе – и принял его как естественное. Оно меня огорчило, но как-то не поразило неожиданностью; может быть, потому, что я увидал его нечаянно, в час, когда все, кто не спят, живут своим – не ожидая свидетелей. Может быть, это была не первая Катина ночь в слезах, – только раньше я не видал ее. Ведь и я не всегда был наедине таким, как на людях. Я очень озяб и утомился. Закутавшись потеплее, я не успел задуматься над Катиной жизнью, еще одна страничка которой мне только что открылась. Ровный стук пароходной машины хорошо убаюкивает.

О ЧЕМ ПЛАКАЛА КОРОЛЕВА?

В последний день нашей чудесной прогулки мы много говорили, и сестра впервые была со мной до конца откровенна. Она сказала мне:

– Ты не подумай, что я тогда плакала из-за разлуки, что ли... Тут, Костя, совсем другое. Мне очень нравится Власьев, очень, я тебе говорила. Ведь он отличный человек, и талантливый. И он меня любит, я знаю. Но он любит меня по-своему, а не так, как мне нужно. Я не осуждаю, но я так не могу. Ты понимаешь?

– Нет, Катя. Как же ты хочешь, чтобы тебя любили?

– Это так трудно объяснить... Ну вот мы работаем вместе – планы там, чертежи, вычисления. Меня это увлекает. И в каждую минуту я чувствую на себе его взгляд, если даже он в действительности и не смотрит на меня. И взгляд особенный, как смотрят мужчины на красивую женщину.

– Это так естественно.

– Может быть – но я не хочу. Он здоровается со мной за руку – и в его пожатье нет простоты; иногда он передает мне какую-нибудь бумажку, серьезно, без улыбки, – а я вижу и чувствую, что он не просто на меня смотрит, а точно дотрагивается до меня глазами, воровски и очень нехорошо. Он очень выдержан, я ни в чем его не могу упрекнуть, – но я перед ним стою... ты меня, Костя, прости... точно неодетая, и мне хочется закрыться и отстраниться. И это так неприятно, так мучительно.

– Я думаю, это оттого, что ты его не любишь. Если бы любила – тебе бы это было даже приятно.

– Приятно? Нет, никогда! Я, Костя, женщина, я очень женщина, и чувствую, как женщина, и все я знаю. Но, понимаешь, есть моменты... нельзя так подходить к женщине, это обидно! Можно потом, когда уже близость... в какой-то особой обстановке. Но с этого начинать... очень трудно тебе объяснить. Стыдное я тоже могу любить – но тайно, не говоря об этом во всякую минуту, не убивая этим другое. Нужно приблизиться понемногу, может быть даже что-то скрыть, я не знаю...

– Оценить в женщине человека?

– Да, хотя это, конечно, звучит слишком сухо и торжественно или казенно, как формула. Оцени или недооценивай, только подойди просто, без этой... чувствительной дрожи. Я бы простила даже невежливость и грубость, а вот с этим помириться не могу. Вот твой Мартынов – он взял да и опрокинул стол.

– Ну, он был пьян.

– Пьян, а не позволил себе того, что позволяет иной трезвый и разумный человек. Никогда Мартынов не смотрел на меня дурно или обидно! И я его очень уважаю.

Я улыбнулся: стоит ли говорить о Мартынове!

Потом она говорила:

– Вот и у твоей сестры был роман; правда – довольно смешной. Ты знаешь, тогда на бульваре, когда я тебя встретила, он мне «объяснился». То есть объясняться-то было, конечно, нечего, и так ясно было, но он считал нужным изложить все это на словах, в соответствующих выражениях. Это было немножко смешно и настолько трогательно, что я в него почти влюбилась. Он понял и сразу стал говорить о каких-то своих надеждах, хотя, повторяю, он хороший и порядочный человек.

– И что же ты ответила?

– Я хотела ответить, что слова его излишни, что я и без них все знаю и понимаю. Но я не успела сказать, как подошел

ты, и я внезапно решила, что уеду с тобой и тем кончатся все возможные объяснения.

– Ты назначила ему встречу на другой день?

– Да, но я не была. Я написала ему письмо, очень коротенькое, и отослала свою работу.

– И вы больше не видались?

– Нет. Я бы могла, конечно, но мне не хотелось.

– Вы еще встретитесь.

– Нет, Костя. То есть встретиться мы, конечно, можем, но тот разговор не вернется. И я не позволю, и он не захочет.

– Какой же это тогда роман! И какие вы неживые люди!

Катя рассмеялась. Она уже успокоилась совершенно:

– Да, это не роман. Это – попытка твоей сестры иметь свой роман. Неудачная попытка.

– Тебе не жаль, Катя?

– Да, мне жаль. Но иначе не могло быть. И мне кажется, что мама меня одобрит.

– Ты все ей расскажешь?

– Да, все. И про дом, и про это. Я затем и еду к маме. Костя, ты не думай, что я трусливая или холодная. О, я на все могла бы пойти! Но я так трудно жила – и столько лет! – что ни на какой дешевый выход уже не способна.

– Ты – наша королева!

– Вот. Я – королева, которая плачет о том, что она не пастушка. Плачет под утро на палубе парохода...

ВОЛОС

Мне очень памятно лето, которое мы с сестрой провели у матери в провинции. Никаких событий не было, и памятно мне оно только тем, что вот опять я видел Катю прежнюю, какою жила она когда-то с нами. Хоть и не та девочка, что, ожидая ребенка, играла в куклы и обижалась, когда над ней подсмеивались, – а все-таки прежняя, домашняя, как будто бы она и не покидала нашего дома, всегда жила с мамой и не была отрезанным ломтем. Так было нам хорошо с нею, что и мне начинало казаться, будто и я не студент на выпуске, не почти готовый мужчина, а недавний Старый Директор, Котик во фланелевом костюмчике, азартный игрок в бабки, которого за эту страсть запирают вместе со старшей сестрой в темный чулан.

У мамы в маленькой ее квартире было нам тесновато, но хотелось оставаться вместе. Я днем пропадал, болтался

со старыми приятелями, особенно усердно катался на лодке, удил, иногда уезжал с ружьем на охоту в лес, который начинался сейчас же за городом. Река притягивала и Катю, и несколько раз мы катались вместе: плыли обычно до острова, там высаживались, лежали на песке на отмели или забредали в густой кустарник, просто так, чтобы крепче обняться с природой и отдохнуть душой. Но чаще Катя оставалась с матерью. И никак я не думал, что так много у них тем для разговоров. Дня не хватало – и они, как и прежде бывало, шептались по ночам. Шепчутся-шепчутся, а наутро Катя ходит по комнате на цыпочках, – значит, свершается в ней что-то важное. Мама к ней добрая, ласкает ее, думает о ней, помогает. Все это я видел, и я понимал, что материнские советы Кате важнее и нужнее, чем моя дружеская и братская болтовня.

Сестра прожила с нами два месяца, все время с мамой, не заводя знакомств и не возобновляя старых. Помню, только одна гимназическая подруга навестила ее – и они проговорили до вечера. А когда она ушла, Катя сказала:

– Странно, вот я живу в Москве, а она в провинции. Обе мы замужем, у обеих дети. Но выходит, что я – ужасная провинциалка и отсталая женщина. То, что она мне рассказала про свою жизнь, просто невозможно. Как она может, ну как она может! И главное, она себя чувствует довольной и счастливой. Я бы... не знаю... да просто я так не могла бы. А когда-то мы, гимназистками, были очень близки и дружны, вместе мечтали. Ни у меня, ни у нее из этих мечтаний ничего не вышло. Но она нашла совсем другое – и утешилась, а я...

– Ты все еще мечтаешь?

– Нет... Но только я ничего не нашла.

Ночью сестра и мать опять долго-долго шептались. Мамин шепот был, как всегда, ровен и спокоен, а Катя шептала взволнованно, так что иногда доносились до меня отдельные слова. Она говорила что-то о доме и о детях. Были ее жалобы водопадом, а мамины слова – тихим ручейком. И побеждал, конечно, ручеек.

Когда Катя уезжала в Москву, я поехал проводить ее до ближайшей пристани – часах в трех водного пути. Был дождливый день, и мы сидели в рубке парохода. Катя подошла к зеркалу поправить волосы и потом подозвала меня:

– Хочешь взглянуть?

– Что такое?

– Вот – седой волос; первый снег.

– Просто больной. Рано тебе седеть.

– Нет, он седой, и не один.

– Ты очень огорчена?

– Чем? Что я поседею? Нет, Костя. Вот мама совсем седая, и ты когда-нибудь поседеешь. Все это неважно.

– А что, Катя, важно?

– Что важно? Важно – вовремя это заметить. И очень важно помнить, что это неизбежно. Тогда не будешь так огорчаться и легче определишь свое место.

– Тебе мама внушила такие мысли?

– Мама сказала мне много хорошего. Только бы найти в себе достаточно силы...

Мы обнялись. С парохода сестра долго махала мне белым шарфом. Было грустно с ней расставаться. Пароход прощался с берегом свистками. Дождь продолжал моросить.

Около часу я ждал на пристани встречный пароход. На берегу была непролазная грязь; ею зашлепаны были мостки и пол в комнате, где несколько человек ждали парохода. На окнах – большие сонные мухи. Я вспомнил, как мальчиком на таких мух ловил с пристаней рыбу: только опустишь лесу с приманкой – бросается на нее целая толпа рыбешек. Среди ожидавших парохода была семья богатого татарина. Сам он был уже довольно стар, а жена его молода и, должно быть, хороша собой; но она прятала лицо – только черные глаза поблескивали. Подсел к ним сельский батюшка. Разговаривали мирно, солидно.

«Вот – живут люди! Будем жить и мы».

Лето быстро пройдет. Прощусь с матерью – и опять в Москву, заканчивать свою науку. Дальше – видно будет. Мать стала совсем старенькая. Может быть, вернусь к ней, найду себе службу в провинции. Женюсь. А может быть, потоком жизни унесет меня далеко, совсем в новые края. Этот год должен решить многое.

О чем сейчас думает Катя? О своем седом волосе? О «неудачном романе»? Или она плачет? Или смотрит сквозь сетку мелкого дождя на высокий берег реки?

Татарин вышел наружу, потом вернулся и сказал:

– Идет снизу наш!

Батюшка радостно закивал, татарка покосилась на меня черным глазом, и мне стало веселее. Все стали готовить вещи. Мухи на окнах не проявили никакого волнения: они привыкли к тому, что жизнь проходит мимо них.

БЕСЕДА

В один из первых дней по приезде в Москву я встретился на Тверской с Власьевым.

– Здравствуйте.

– Ах, здравствуйте!

Мы пожали друг другу руки и не знали, о чем говорить.

– Гуляете?

– Да так, делать нечего.

– Я приблизительно тоже. Не зайдем ли к Филиппову выпить кофе?

Власьев показался мне сереньким, – а обычно он был бодрым и элегантным. Может быть, действительно скучает или хочет таким казаться.

– Вы ведь в этом году кончаете?

– Да.

– И что же дальше? Останетесь в Москве?

Все эти вопросы – лишь для разговора. А оба мы в эту минуту думаем о Кате. Я знаю, что она с Власьевым не встречалась. Ему, конечно, хочется расспросить меня о ней. Мне как-то жалко Власьева – приятный человек, дельный. Раз уж он нравился Кате, значит, он этого заслуживал. Ощущаю в душе снисходительную к нему ласковость.

– Бываете часто в Сокольниках?

– Нет, у нас начались лекции.

Он решается сказать:

– Очень обидно, что ваша сестрица бросила архитектуру. Она так талантлива, могла сделать большую карьеру.

– Да. Она точно так же бросила и музыку. А ей сулили успех.

Туго подвигается наша беседа. Я вижу, что Власьеву не хочется со мной расстаться. Из кофейной Филиппова мы проходим на бульвар. Он интересуется, пью ли я пиво. В его время студенты любили собираться в пивнушке вон там на углу.

– Хотите?

Пивнушка довольно грязна. Бильярд накрыт рваным зеленым коленкором, маркер дремлет. За бутылкой дурного и крепкого пива, к которому нам подали мятных пряничков и кусочки воблы, разговориться легче. Оказывается, что мы с Власьевым давно чувствуем друг к другу большую симпатию. Мы чокаемся и ласково смотрим друг другу в глаза. У него глаза большие, серые и действительно немного грустные.

– Ваша сестра как-то говорила, что вы – ее единственный друг, что она к вам очень привязана.

– Да. Это с детства. Я мальчиком любил ее, пожалуй, больше, чем мать. Нас в чулан вместе запирали.

– За что же это?

– Меня так, за шалости, а ее со мной, чтобы мне не было страшно. Мы и подружились.

Мне приятно хвастаться дружбой с Катей. Власьев пьет горькое пиво и, кажется, немного хмелеет. Смотря в сторону, он говорит:

– Для вас, вероятно, не новость, что я отношусь к вашей сестре с исключительной... с исключительным...

Он не может придумать слова. Я молчу.

– Или, скажем проще, я очень был... и есть... увлечен ею. Она об этом знает. Я мог бы сказать, что я ее любил.

Я все-таки молчу. Пусть исповедуется, вероятно, это ему нужно. Он продолжает:

– Удивительная она женщина! Другой такой не может быть. И не думаю, чтобы она была счастлива в жизни.

И все-таки я молчу. Я сам знаю, что такой женщины, как Катя, больше на свете нет. А Власьев говорит:

– Я тоже несчастлив. Вот я работаю по-прежнему, и на курсах, и частным образом. И все-таки – черт знает, чем все это кончится! Может быть, удеру за границу года на два.

За третьей бутылкой он гладит меня по рукаву и нетвердо говорит:

– Когда испытаете с мое – поймете. Меня поймете. А ее – ее никто не поймет. И я не понимаю; люблю – а не понимаю. За что меня так отталкивать? Разве я – дерзкий человек? Или разве я что позволил себе? Вот клянусь – никогда! Если бы она хотела, только бы одно слово сказала, – вы понимаете, ведь я – человек свободный, и я молодой, у меня хорошее положение. Если бы я ей был противен, что ли, а ведь нет, я знаю. Она мне сама говорила: вы мне нравитесь, а только... А что только? Семья! Эх, какая там семья! Муж ее – ведь все про него знают, да он уж и стар. Вот вы – юноша и правдивый человек, и сестру любите – скажите: разве ее жизнь сладка? Разве ей такая жизнь нужна? Ну?

– Ей жить нелегко.

– Вот! Какое пиво дрянное, в голову бросается. Вы простите меня, что я так откровенен. Мне очень скучно, рад, что вас встретил. Я на вас, понимаете, переношу это чувство.

– Спасибо.

– Тут не спасибо, а... Вы вот скажите, что же мне делать?

– Не знаю.

– Не знаете... И я не знаю. Надо нам еще спросить бутылку, хотя ужасная дрянь. Отвык я от пива, что ли... Мне, дорогой мой, так плохо, так плохо, что и сказать трудно.

Оказывается, я крепче Власьева или больше привык к дрянному пиву. И так как я трезвее его, то я его немного презираю: тряпка! И эта тряпка, этот нытик несчастный смел думать о Кате! А Кате нужен герой – если ей нужен кто-нибудь.

– Эх, – говорит Власьев, – закатиться, что ли... хотите, закатимся куда-нибудь?

– Нет, я не хочу закатываться.

– Отчего? А впрочем – я ведь тоже не хочу, я только так, от тоски...

Мы выходим, и он говорит:

– Вы ей скажите, что я, Власьев, как был, так и теперь...

– Ничего я ей не скажу.

– Что? Вы не хотите?

Я зло и грубо отвечаю:

– Я не почтальон. Хотите – скажите сами.

Он трезвеет:

– Ну, зачем же так. Вы меня простите, я не хотел. Только ведь как же я могу сказать? Ехать к ней я не смею, и писать нельзя – она мне запретила. Случайно?

– Ну и не смейте. А меня это не касается.

– Вон вы какой...

– Да уж такой.

Мы идем молча. На перекрестке я подаю руку и говорю:

– Мне здесь направо, до свиданья.

Власьев молча прощается. Он, по-видимому, смущен или раскаивается, что был так откровенен. Я же не очень понимаю, почему я ему нагрубил. Но он стал мне противен. Как он смел думать о Кате? Катя – королева, а он кто? Пусть закатывается куда хочет или пусть едет за границу. Да не поедет – и так пройдет! А я считал его раньше сильным человеком... «Не смею!» Еще бы осмелился!

В душе у меня растет гордость Катей. Люблю ее до слез – и чту ее, как святую. Никто не достоин Кати, нет такого человека! Все – Иван Иванычи. Разве мы можем понять ее?

А может быть, я потому рассердился на Власьева, что я сам виноват: позволил произносить имя Кати в грязной студенческой пивнушке!

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Если вдуматься хорошенько, то ведь все эти впечатления, которые я стараюсь сейчас выдвинуть на первый план, в действительности были для меня, по тому времени, второстепенными. В центре жизни стоял я сам, и для меня сменялась ночь днем, и для меня листки календаря мелькали черными и красными цифрами. Есть ли такой маленький человек, для которого ось мира не проходит через его бытие? А уж в молодости – и говорить нечего!

Удивительно, как быстро и незаметно пришла и ушла моя сознательная, взрослая жизнь. Каждому есть что вспомнить и чем похвастаться, – а мне, пожалуй, нечем. Необычны и сложны были в ней только последние годы – пора революции и беженства. Но они для всех были сложными и необычными. Таких биографий – десятки тысяч, это даже не тема для рассказа. И, кажется, я поступаю правильно, не осложняя моей повести о сестре собственными своими переживаниями: они ни в ком не пробудят любопытства.

Наступил последний день моего студенчества. Я не жил больше с Мартыновым и даже почти с ним не встречался. Не удалось бедному Мартынову изжить отцовское наследие: он опустился окончательно, пил без просыпа и кончил, как кончало немало способных русских людей: сгорел от вина. Он, кажется, и университета не кончил, хотя точно не помню, настолько резко разошлись наши пути. И в последний год я жил один, много занимался и у сестер бывал редко, больше у Лизы, жизнь которой ни в чем не изменилась: пирожки, салфеточки, «мой муж», маленький круг знакомых, солидных, удовлетворенных своим бытом. К двадцати пяти-шести годам Лиза была уже совсем почтенной женщиной, ни в чем не усомнившейся, нашедшей свою линию раз навсегда.

В Сокольниках, у Кати, внешних перемен тоже не было; только случилось, что как-то сразу выросли ее дети. Володя заговорил скрипучим баском, Леночка неуклюже вытянулась. Раньше детей не было видно – теперь они появились за обедом и даже сидели с нами по вечерам. И еще обнаружилось, что между ними и матерью существуют какие-то сложные, словно бы таинственные отношения, что Лелечка, у которой теперь уже не было больше ее важной няни, старается во всем подражать матери, а Володя относится ко мне покровительственно, а к матери с оттенком рыцарства: пододвигает ей за обедом солонку, следит за ее жела-

ниями, приносит оренбургский платок – если мать делает нервное движение плечами. Евгений Карлович по-прежнему исчезал по вечерам и редко удостаивал нас беседы. Но и с ним произошла перемена: он постарел и полинял. Может быть, все это произошло постепенно, но для меня было внезапным открытием. Ведь я и сам в этот год сразу вырос и стал совсем взрослым человеком.

Исчезла – как не бывала – Катина мастерская: чертежи, фотографии, калька, свертки планов и проектов. Даже огромный стол переехал в комнату Володи и был теперь завален его книжками. Целый кусок Катиной жизни – лучшего ее увлечения – исчез без следа. Об архитектуре она больше не упоминала. Зато ожил рояль, но не для музыкальных ее фантазий: Лелечка, под руководством матери, играла гаммы и разучивала легонькие сонатины Бетховена.

Однажды в воскресный день я застал Катю в необычной компании: за серьезной беседой с подростками, гимназическими товарищами Володи. Мой приход всех их смутил; очевидно, со мной они не могли говорить так просто, как с Катей. Сестра, тоже смущенная, сказала:

– Мы тут рассуждаем о высоких материях; может быть, ты к нам присоединишься?

– А о чем именно?

– Да вот говорили об Ибсене – о «Норе» и о «Строителе Сольнесе».

Мне было стыдно признаться, что я читал только «Нору» и не мог бы поразить мальчиков своей студенческой мудростью. Поэтому я уклонился, сказав, что это «не по моей части» и что я пройду пока наверх. По-видимому, я все-таки помешал беседе, так как скоро сестра пришла ко мне.

– Очень славно с ними! Они так увлекаются и говорят столько милых и наивных слов.

– Они тебя не стесняются?

– По-моему, нет. Мы так подружились с Володей, а он среди них – авторитет. Я ничего им не проповедую, больше слушаю.

– У тебя педагогические способности.

– Нет, Костя, ты это не так понимаешь. Мы действительно дружны. Разумеется, я среди них – старуха; но меня эти разговоры увлекают. Ты подумай: ведь мальчики, а как они серьезны и как все понимают! Разумеется, они прямолинейны, даже немножко беспощадны. Сегодня один из них, ты заметил – белокурый, он постарше других, сказал, что Нора – порядочная мещанка и что тут настоящей драмы нет.

По-моему, неглупо. Но особенно их увлекает «Строитель Сольнес». Стоит послушать их разговоры.

– Ты, Катя, очень подружилась со своими ребятами.

– Да. Особенно с Володей. Лялька еще мала. Но знаешь, что я замечаю? Лялька к десяти годам будет гораздо мудрее, чем я была в семнадцать, когда кончала гимназию. Откуда это у нее – не понимаю. Она как-то и к куклам равнодушна.

– А ты играла, уже выйдя замуж.

– Да, помню, для меня куклы были особым чудесным миром. Лучшего мира у меня и не было.

– А мир музыки?

– Да, пожалуй, и это. Но я в звуках жила, а вот Лялька как ни мала, а смотрит на музыку как на работу. Может быть, это и нехорошо. Но у нее прекрасный слух, и она очень прилежна. Не бывало случая, чтобы она плохо приготовила урок.

– Ну что ж, Катя, может быть, твои дети будут больше приспособлены к жизни, чем мы с тобой.

– Чем я – конечно. Твоя жизнь, Костя, только начинается.

– Начнется она скучно. Вот закупорюсь в провинции, службу возьму – и все.

– Ты когда-то мечтал о писательской карьере.

– Когда-то мечтал. Мечтать, Катя, не возбраняется. Разве ты не мечтала о самостоятельной работе, об архитектуре, а то раньше – об опере?

Катя ответила испуганно:

– Да, но это было... с этим, Костя, покончено.

– Навсегда?

– Навсегда.

Она подумала – и еще раз уверенно повторила:

– Навсегда!

Дети... О них сестра говорила теперь постоянно. Не знаю, был ли это завет нашей матери или сестра сама открыла для себя новую страницу жизни и новый интерес, – но в последний год моей московской жизни я заставал ее всегда с Лелечкой или Володей. С Лелечкой они что-то шили, кроили, серьезно обсуждали или играли на рояле, с Володей они казались заговорщиками. К Володе я даже несколько ревновал сестру, – она нашла в нем друга, на смену мне.

В конце зимы серьезно заболел Евгений Карлович. Он лежал недели три, и вдруг оказалось, что этот холодный и как бы чужой в семье человек – такой же беспомощный ребенок, каким была Лелечка, не хотевшая есть кашки.

Он стонал, жаловался, его комнаты перестали быть святилищем, к нему приносили поднос с куриным бульоном и пузырь с горячей водой. Сестра проводила ночи у его постели – и было странно думать, что вот все-таки она, не какая другая женщина, например не та, которую мы встретили на цыганском концерте, поправляет ему подушки, ставит ему компрессы и отмечает его температуру. Я видел, что сестре тяжело и что больной капризен и порою груб с нею. Совсем случайно, ночуя у них, я подслушал однажды его больной и резкий окрик. Не знаю, каков был повод, – вероятно, и не было никакого, – но до меня ясно донеслась его фраза, визгливая и истерическая:

– Ну и оставь меня в покое, и ступай к своему Власьеву!

Я замер от ужаса и отвращенья. Если бы Евгений Карлович не был болен, я, вероятно, бросился бы на него с кулаками. Голос его умолк, затем я слышал, как сестра ушла к себе в комнату, соседнюю с моей, и как все в доме умерло.

Пусть больной – но как он смеет! Я дрожал от волнения и рисовал себе картину какой-то страшной мести, придумывал резкие, обличающие слова, которые я крикну этому противному старику, изломавшему жизнь моей сестры.

Не постучав, вошла Катя:

– Костя...

– Я не сплю, Катя. Что ты?

– Ты не спишь... Костя, я сейчас уеду, мне нужно немедленно уехать. Ты поедешь со мной?

– Куда?

– Я не знаю. Я не могу больше здесь жить. Я тебе потом скажу...

Катя старалась говорить спокойным голосом, но я видел, что она дрожит от волнения. Я сказал:

– Я еду с тобой, куда хочешь. Можно пока поехать ко мне, а потом... я не знаю... верно, ты поедешь к маме? Я сейчас встану, Катя.

Она вышла, а я стал поспешно одеваться. Куда нам ехать ночью? Даже и извозчика в Сокольниках ночью не найти. И вообще – что же это такое будет! И в то же время непременно нужно решительно ответить на грубость, на эту дикую выходку Евгения Карловича. А как же он останется один, больной? Ну, это уж его дело! Катя знает лучше.

Я слышал, как в Катиной комнате выдвигались ящики комода и шуршали по полу ремни чемодана. Потом сразу все стихло. Одетый, я ждал. Прошло с полчаса. Тогда я решил войти к Кате. Она сидела на постели и смотрела на вещи,

лежавшие на полу. Когда я вошел, она улыбнулась и сказала ласково и виновато:

– Прости меня, Костя. Конечно, я никуда не поеду. И некуда. Прости меня! Я не сдержалась, и это очень худо.

– Я ведь все слышал, Катя. То есть я слышал одну фразу.

– Ну и все... Ложись, милый, и прости меня.

– Но, может быть, Катя, и правда, лучше тебе уйти совсем?

– Нет, Костя. Какие пустяки! И он – больной. У меня уже прошло...

В глубине души и я думал, что так лучше. «Главное, – думал я, – извозчика нет, как же без извозчика?» Сейчас мне это казалось самым важным. Если бы днем – тогда гораздо проще...

Катя вышла, потом на минуту вернулась что-то взять, потом я услыхал в комнате мужа ее обычный, спокойный и ровный голос. Вот она сошла вниз – за горячей водой для пузыря. Мне остается пойти к себе и лечь спать. Какая сильная Катя! А может быть, наоборот – она слишком слаба для такого решительного шага? Как ей трудно...

. . . .

Он встал худым и постаревшим. В их отношениях ничто не изменилось. Поправившись, он опять проводил свои вечера в городе.

Наступила весна – пора моих государственных экзаменов. Они не были мне страшны, – но все же о визитах к сестре нельзя было и думать. Я приближался к преддверию самостоятельной жизни.

Я думаю, что наши души с сестрой были связаны невидимыми нитями. В те дни, когда она рвалась куда-то и требовала от жизни многого, – и я был мечтателем, и мне хотелось перегнуть судьбу и овладеть ее путями. Но вот Катя успокоилась – нашла что-то или надумала; и странный, нежданный покой вошел в мою жизнь. Из многих юношей, бывших моими сверстниками, я мог бы назваться тогда самым уравновешенным и самым уверенным в том, что звезды на небе светят для всех, но не всем суждены полеты. Я сознательно готовил себе маленькую жизнь – и уже занес ногу на первую ее ступеньку.

КОНЕЦ

Как будто бы мы долго гуляли вдвоем в горах и вот, на склоне дня, простились на высоком холме, откуда на две стороны видны две долины: там – кучка домиков, здесь – городок твоего бытия. Прощай!

Разойдясь, мы аукаемся, пока эхо гор доносит звук. Затем наши голоса замирают, и мы молча спускаемся каждый по своему склону – к своей судьбе. День гаснет, в домиках зажглись огни. Дружба не забыта, но ум каждого из нас уже занят заботами своей долины.

Прощаясь, мы не могли думать, что больше не увидимся никогда. Это просто как-то не приходило в голову. Мы были молоды, и мы привыкли к встречам и расставаньям. Сестра приехала на вокзал проводить меня, мы обнялись и пожелали друг другу лучшего. Она уверяла:

– Ну, ты долго не засидишься у мамы: затоскуешь по Москве!

И я думал, махая ей из окна вагона шляпой:

«Без Москвы трудно! Здесь много осталось милого».

Я застал мать больною; за последний год она очень ослабела и почти ослепла, уже не могла писать писем и поручала это мне. Она мечтала об одном: чтобы я пожил с нею до ее смерти. А что дни ее не будут долгими – мать хорошо сознавала. И еще она хотела, чтобы я женился:

– Ты – мой последний. Повидать бы и от тебя внука – да и на покой!

Я не буду рассказывать о своей жизни. Только скажу, что я оказался послушным сыном и что мечта моей матери исполнилась: она умерла вскоре после того, как я стал отцом.

Из многих смертей, которые мне довелось оплакивать, смерть матери была самой легкой и самой понятной. Когда, много позже, я потерял жену, с которой прожил долгие годы мирно и любовно, и почти тогда же потерял сына, убитого в гражданской войне, – я и их смерти принял как тяжкое, но возможное, оправданное жизнью. Вспоминая о них, я не задаю себе вопроса: «Зачем они жили и за что погибли?» Моя жена умерла в тягчайший год России, – и, быть может, для нее лучше, что ей не пришлось скитаться по чужим землям, как приходится мне. Сын мой знал, на что идет; я его не удерживал – да и не мог бы. Их судьба мне понятна.

Но непонятной и ничем не оправданной кажется мне судьба моей сестры.

Расставшись, мы редко переписывались, особенно с тех пор, как выяснилось, что я останусь в провинции, где уже нашел службу, и что я женюсь. В этих редких письмах сестра писала мне только о своих детях – ничего о себе. Когда у меня начались свои заботы, переписка наша невольно оборвалась. Так прошло года три.

И вот однажды я получил письмо от своего племянника Володи, который уже кончал гимназию, – письмо коротенькое, хорошее, умное и почтительное. Он писал между прочим, что мама его очень больна, что она часто вспоминает обо мне и просила его мне написать. Скоро ей будут делать серьезную операцию, исход которой трудно предвидеть.

Письмо Володи очень меня опечалило, и я просил его написать мне о том, как сойдет операция и что это за болезнь. Он вскоре ответил, что все пока сошло благополучно, если не будет рецидива, и что предполагают рак.

Я с удивлением вспоминаю, как мало места в моих мыслях заняла болезнь сестры. Моя личная жизнь текла ровно и однообразно, в маленьких заботах, в таких же маленьких радостях; дни тянулись долго, – месяцы же мелькали незаметно. Да как-то и ум не мирился с мыслью, что болезнь Кати может иметь роковой исход, что смерть не всегда ждет старости, а косит и молодых, – да не так уж и молода моя сестра, уже ушли ее лучшие годы. И мне казалось, что вот все это разъяснится, а может быть, уже и прошло. В тихой жизни всегда охотно гонишь тревожащие думы. День прошел – и прекрасно; пусть и завтрашний пройдет так же тихо и безболезненно, а там еще день. Довлеет дневи злоба его!

И я долго не мог понять весь смысл нового письма Володи, которое принес почтальон вместе с газетами и обычными повестками:

«Дорогой дядя! Мама умерла вчера после повторной операции. Последние месяцы она очень страдала, и смерть была для нее избавлением. Мы в большом горе. Подробнее написать тебе пока не могу».

Это было весной. А весна в наших краях так хороша. Весна у нас долгая, ласковая, душистая. Река вскрывается, потом теплые дожди, потом цветы, белые, лиловые, всякие, и много их. Цветет сначала черемуха, после сирень и еще

позже липа. Потихоньку наступает лето, тоже прекрасное, осторожное – не сразу жара. У нас и осень хороша, и даже зима – сухая, чистая, морозная. В наших краях и смерть не кажется злом и обидой, а кажется сном, неизбежным, когда тело устало жить. Хоть и непонятно: зачем нужно судьбе, чтобы иные люди проходили мимо счастья – прямо к вечному покою...

. . . .

Так умерла моя любимая сестра.

Если бы я был заправским писателем и хотел создать художественный образ, – я бы, вероятно, постеснялся так подробно повествовать о женщине, ничего в своей жизни не сотворившей, не угадавшей своего пути, даже не сумевшей выковать свою долю счастья. Я хорошо знаю, что моя сестра – не героиня романа, не только современного, но и по тогдашним временам. Но эти записки – не выдумка, а только дань памяти, братский долг – без попытки забавить читателя занимательным чтением.

И я знаю: то, что раньше порождало сомнения и создавало неразрешимые душевные драмы, – то сейчас едва вызывает улыбку. Жизнь так изменилась: внешне стала гораздо сложнее, а внутренне – много проще. Сейчас женщине все открыто и доступно; ей не к чему ломать свою жизнь только из-за того, что ей не верен нелюбимый муж или что человек, который ей нравится, не похож на созданного мечтою героя.

И только одного я не знаю: точно ли нынешняя, духовно упрощенная и независимая женщина счастливее прежней, сжимавшей свою волю обручем семейных обычаев и обязанностей, боявшейся продешевить себя и свою жизнь? Наблюдаю, приглядываюсь, – а не знаю, не уверен, не могу решить... Мне все кажется, что в образе жены и матери, более способной на жертву, чем на сопротивление, есть какая-то своя особая ценность, как в картине старого мастера. Правда, эта чистота и эта цельность сейчас на житейской бирже не в спросе.

Но ведь и все мы, люди старые, люди прошлого, теперь не в спросе и никому не нужны. Нам пора в историю, если в ней найдется для нас место. И только один упрек я мог бы сделать современности: она не уготовала для нас спокойного ухода, она заставляет нас – в последние

наши дни – переживать непосильное. Вместо мирного ухода – она сделала нас участниками трагедии, которая не по плечу и многим молодым. Это жестоко – но что же делать!

ЛИСТВЕННИЦА

Моя повесть о сестре кончена.

Я рассказал о ней то, что знал и что видел. Видел я и знал, конечно, не все, только очень малое. Как ни были мы с нею дружны и близки, – а в душу к ней я заглянуть не мог. Я и слезы ее видел только раз – на реке, в предрассвете, когда она не ждала свидетелей. Сколько их пролито – не знаю. И я, плохой друг и нечуткий брат, не знаю, бушевали ли бури в душе бедной моей сестры или она умела сдерживать их, как не всегда удается и сильному мужчине. Она для меня во многом осталась загадкой, моя бедная Катя.

Часто, особенно теперь, когда я совсем один и стар, – думая о сестре, я вижу ее ясно, и девочкой, и взрослой, и такой, какою сам ее наблюдал, и даже такой, о какой знал только по семейным рассказам, особенно материнским.

Бойкий ребенок, все перенимающий у взрослых, девочка с рано проснувшимся чувством материнства, подросток, зачарованный поклонением настоящего большого человека и отдавший ему жизнь, оскорбленная женщина, себя же и покаравшая за это оскорбление, даровитый человек, бросивший ветру свои дарования, подвижница, принявшая посвящение и ушедшая в заботы о детях и о нелюбимом муже. Так я о ней думаю, – но разве я знал ее по-настоящему? Трудно понять целиком русскую женщину!

Вот она плачет на сундуке, сидя со мной в чулане. Вот она крутит локон на виске, упрямо повторяя фразу из учебника Иловайского. А вот – таинственно ходит на цыпочках, решает что-то очень важное. Вот она, уже замужняя дама, грозит пальцем кукле:

– Ага, ты не хочешь слушаться мамы? Тебе не нравится красный бантик?

А вот она в моей студенческой комнатушке, среди юных своих поклонников, общий кумир, королева в бумажной короне. И вот – певица Божьей милостью,

будущий архитектор, слабая женщина, испугавшаяся любовной тени. И опять – безудержные слезы в утреннем тумане, первый седой волос, разговор о «Норе» с товарищами сына. И какая ранняя, такая жестокая смерть после стольких страданий – за что?

В год смерти сестры, поздней весной, мы с женой уехали в деревню. Жена была так ласкова ко мне, так помогала мне изжить горе, – а было на ней немало забот о первом ребенке. Мы прожили три месяца в крестьянской избе, отдыхая душой, никого не видя из людей городских. Мне нелегко было выговорить себе такой длительный отпуск, и мы решили использовать его хорошенько. Жили, как лесные люди, питаясь ягодами, огородными овощами да немного моей охотой. И мы действительно нашли в природе и утеху, и новый запас здоровья для будущего. Лето удалось прекрасное.

Однажды, помню, я ушел поутру с ружьем в лес, обещав жене принести если не какую дичину, то хоть корзину смородины и малины; она, как обычно, осталась дома с ребенком и по хозяйственным хлопотам: прополоть гряды, починить белье, приготовить завтрак. Я забрел далеко и вышел на небольшую незнакомую поляну. Посреди поляны росла лиственница, раскидистая, ясная, светлая; и трава была здесь не тронута ни человеком, ни зверем. Я остановился в восхищении – и прислушался: к такой картине нужна особая музыка. И вот из леса донеслась до меня эта музыка – голос тоскующей горлинки. Иные птицы щебечут, другие насвистывают, третьи просто поют, – и только про горлинку народ говорит ласково и трогательно: она *тоскует.*

И то ли в светлой красоте одинокой лиственницы, то ли в жалобе горлинки я почувствовал близкое веянье души моей сестры Кати. И хоть я не суеверный человек, попросту – неверующий, а в ту минуту готов был поверить, что ее душа здесь, совсем рядом, порхает над травой или яснится в зеленом наряде светлого дерева. И я стоял долго, не смея пошевелиться, и горюя по ней, и радуясь нашей солнечной встрече.

После, возвращаясь домой по лесной тропе, и без дичи, и с пустой корзинкой, я искал слов, чтобы объяснить, почему жизнь моей сестры не удалась и почему на ее долю не досталось того, что к другим само приходит, без зова и без мучительных ожиданий.

Но таких слов – чтобы ими на все думы ответить – я найти не мог. Только до одного я тогда додумался уже у самой опушки леса, за минуту до того, как завидел наш деревенский домик; додумался – и сказал себе вслух, как любил говорить в лесу:

– Не всякий рожденный для любви любовь свою находит, потому что время не ждет, а усталость подкрадывается к нам незаметно.

РАССКАЗЫ



ЗЕМЛЯ

I

Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку карельской березы, наполненную землей.

Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. Было и давно прошло время, когда эти усмешки меня смущали. В молодости это простительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими – резко отвечать на обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас, таков, как я есмь, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землей и сказать вслух, не боясь чужих ушей:

– Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней.

И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не заставят меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не подчинена разуму и расчету.

Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю ее заботливо и осторожно, чтобы не распылить зря по столу, и думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была самой любимой и близкой:

«Ибо прах ты – и в прах обратишься».

* * *

Ранней весной снежная пелена мокреет, покрывается хрупкой стеклянной корочкой, а из водосточных труб свисают сосульки. Потом в очень солнечный день из-под снега показывается земля: в городе – раньше, в деревне – позже. Дороги слякотны и навозны, и полозья саней сквозь гряз-

ное мороженое чиркают по камням мостовой. Дворник по лестнице забирается на крышу, мимо окна падают полные лопаты снега, а прохожий обходит дом, чтобы не попало ему за шиворот. Затем случается одна странная ночь с теплым ливнем – и наутро люди, шлепая по лужам, объявляют друг другу замечательную новость:

– Весна?

– Весна!

– Как сразу все стаяло!

– В одну ночь!

Это не очень верно, потому что весна пришла раньше и давно уже топила снег, только она была в шубе – не так заметно.

Широкой полосой от морей надвигалось на нас солнце. Зарождалось оно, тусклым и маленьким, где-то в Европах (одним словом, не у нас), а к нам, к Уральским нашим горам, приплывало огромным, теплым и ароматным. Где оно шло, светлым хвостом сметая последний снег, там просыпалась и нежилась черная и жирная земля, а проснувшись – сразу за работу.

И тогда отец говорил:

– Ну, Мышка, хочешь со мной цветы пересаживать?

Мышку об этом излишне спрашивать, разве что так, шутя.

День воскресный, свободный. С утра принесли несколько ящиков черной земли, хоть и влажной, а сыпучей.

Сада у нас при доме нет, – да еще и рано высаживать цветы на вольный воздух: весна, она – коварная, может невзначай хватить морозом. Но есть у нас при квартире большая и светлая комната, в три света, где много растений, и наших, здешних, и чужих, иноземных. Наш маленький зимний сад. Есть в нем даже пальмы, есть лимон, есть несколько кактусов, есть фикус эластикус, длинный и тощий, на блестящих листьях которого очень хочется что-нибудь написать иголкой. Напишешь – так и останется, зарубцуется на всю зиму.

И отец говорит:

– Расстилай газеты.

Самая удобная газета была «Новое время», большая, много листов, одних объявлений о кухарках и горничных – две страницы. Над этой газетой отец держит на весу цветочную банку, слегка наклонивши и похлопывая по бокам ладонью. И вот сыплется на газету лежалая и затхлая земля с бледными букашками, за ней освобождаются сплетшиеся нити тонких белых корешков. Все это нужно делать осторожно.

А потом берем банку побольше, на дно кладем черепок, чтобы не засаривалась дырочка, насыпаем на четверть прекрасной свежей землей – и пересаживаем с любовью и великим старанием. Отец держит растение, а я пересыпаю землей корешки. Доверху наполнив и слегка умяв пальцами, – отставляем в сторонку и любуемся.

– Готово. Считай, Мышка: раз!

– Раз!

Теперь давай второе.

– Два!

– Нет, подожди считать, еще не готово. Осторожнее! Подсыпай тихонько. Еще, да посмелее. Насыпай доверху. Вот так. Ну, Мышка, теперь считай: два!

– Два!

Так понемножку, от герани и флёксов, добираемся до фикуса и даже до пальм. Когда пересадим пальму в новый деревянный бочонок, – зовем маму:

– Смотри, мама, хорошо?

– Да, хорошо.

– Надо ее поставить пониже, а то она совсем в потолок упиралась.

– Да, – говорит мама, – и поближе к окнам, чтобы было ей светлее. Сейчас солнца много.

Отец переносит пальму и поет на мотив марша из «Фауста»:

К о-окнам, да к окнам побли-и-же-е,
Ро-остом, да ростом пони-и-же-е!

Ну, Мышка, теперь бей в барабан.

И я весело колочу цветочными палочками по табурету.

Такая радость с отцом пересаживать цветы в новую землю!

Руки по локоть в земле и даже на зубах хрустит. И пахнет земля весной, а на улице весна землей пахнет. Вот пройдет месяц – в деревню поедем, в Загарье на речке Егошихе.

* * *

Осторожно и любовно пересыпаю землю в коробочке карельской березы. Мы – люди от земли, крепко с нею спаяны.

Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю – из стран варяжских. В мое время считалось непри-

личным заниматься предками: сословные предрассудки. Но, придя из стран варяжских, воевали они, конечно, недолго: осели на земле; одни жили близ Мурома в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам. Для меня же их история начинается только с прабабки, портрет которой висел у нас в столовой, да с деда и бабки, имена которых я соединил в своем.

Портрет прабабушки блистал не красотой, а строгостью. Старая, в чепце, губы поджаты, вся в темном глубоком фоне, а круглая рамка портрета обтянута собранным в складки черным крепом. Откуда ни взглянешь на старуху, прямо ли, сбоку ли, – она смотрит в глаза пристально-сурово и осуждающе.

И такая вышла странная история. Висел этот портрет еще в доме моей бабушки, в ее уфимском именье. И висел так, что его было видно через две комнаты – посередке стены. И вот однажды бабка моя сидит как раз за две комнаты от портрета и чувствует – беспокойно ей. Словно бы кто-то стоит за спиной, – а быть там некому. Наконец не выдержала, обернулась и увидала ясно, что портрет покойницы подманивает ее глазами, чтобы шла поскорее. Бабушка встала, положила моток цветной шерсти на пяльцы и пошла через комнаты прямо к портрету. И только вышла из своей комнаты – как в ней обвалился потолок, и пяльцы в щепы. Так портрет выманил ее и спас.

Вот как бывало в старые годы. Нынче так уже не бывает. Сколько раз – помню – разверзалась под моими ногами земля и сколько раз на голову рушилось небо, – и никто не пришел спасать. Когда мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым, – гибнут вместе с ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки да вчера прочитанный приключенческий роман.

Прабабушкин портрет и у нас висел посередке стены, так, что смотрел он прямо на двери соседней комнаты. И частенько бывало – глядишь на него издали, и жуть берет: а вдруг он поманит глазами, и если сейчас же не подойдешь к нему, то обрушится потолок. Особенно жутко было под вечер, в сумерки; днем же ничего – днем прабабушка была поласковее, старенькая, усталая. Иной раз прямо на нос ей садилась муха и чистила лапками крылья.

А вот бабку свою я знал живой, незадолго до ее смерти. Когда мы с отцом приехали в Уфу, где он много лет не был, мне шел тринадцатый год. Бабушка жила в своем старом городском доме, деревянном, уютном, заставленном ветхой

мебелью. Когда шли обедать, я вел ее под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестер и братьев.

Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым. В комнатах бабушки каждая вещь и каждая вещичка имели почтенный возраст и свою несложную бытовую историю. Были, например, стулья и кресла крепкие и были послабее, а одно кресло стояло в углу, и на него садиться не следовало, потому что оно было хромым. И про каждый стул бабушка знала, почему он ослабел, в чем его болезнь и что с ним когда приключилось. На то кресло, что стояло в углу, сел однажды толстенный человек, бабушкин знакомый, и ножка подломилась, да так и осталась без починки, только была подвязана веревочкой; прошли месяцы, потом года, и кресло-инвалид вошло в бабушкину жизнь со своим хроническим недугом, так что теперь его чинить было уже нельзя, нехорошо, как нехорошо старому человеку молодиться и притворяться подростком. Каждая царапинка на мебели и каждое еле заметное пятнышко на старой ковровой скатерти были бабушке известны, и с появлением их связано было в памяти ее какое-нибудь событие, для нас пустое, а для бабушки значительное. Таким образом, все, что бабушку окружало, было как бы живым календарем ее жизни, записью прожитых лет. И сама она была живой хронологией; никогда не говорила: «Это было в таком-то году», а неизменно поясняла: «Это еще когда у Нагаткиных случился пожар», или: «...когда Андрюша женился». Тягость дней и великую силу времени бабушка знала хорошо и ясно выражала. У нее был альбомчик стихов, который она любила показывать, особенно одну страничку с изображением голубка и дерзким стихотворением:

Ах, право, хуже оплеухи.
Как, не видавшись тридцать лет,
Найдешь в развалинах старухи
Любви восторженный предмет.
Ах, Маша, в прежние годочки
С тобой встречались мы не так;

Тогда ты нюхала цветочки –
Теперь ты нюхаешь табак.

И бабушка прибавляла:

– Вот уж верно-то!

Еще показывала она портрет своего дорогого покойника, не тот, что висел на стене, написанный местным художником и вставленный в золотую рамку, а другой, маленький, нарисованный карандашом и заклеенный сверху прозрачной бумагой, чтобы не стерся. Это был портрет моего деда. Большелобый, с фамильным нашим носом, он изображен сидящим в кресле, а во рту чубук огромнейшей трубки. На голове деда шапочка вроде ермолки, а на лице довольство и покой. Я так его и представлял: хорошее летнее утро, дед сидит на террасе или у окна усадьбы и смотрит, как под окном девка Малашка тащит молоко утреннего удоя. После, читая Тургенева, а особенно Аксакова, нашего родственника, я мысленно иллюстрировал их писания карандашным портретом деда. А рядом с ним я видел бабушку, только не такой старенькой и согбенной годами, а много моложе, вроде моей матери, и непременно в белом платье и с высокой прической. Мне, жившему всегда в провинциальном городе, помещичья жизнь была знакома только по литературе. И, конечно, мне было совсем чуждо то чувство гордости, которое слышалось в словах бабушки:

– Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу.

Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутых ногах. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, – литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне неведомым предкам.

В первый же день приезда нашего она мне говорила:

– Проси отца свозить тебя в именье посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, все разделено да распродано, а все же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошел. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернешься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко.

Земли этой я так и не повидал, потому что отец мой вскоре по приезде в родной город внезапно заболел и умер.

Рано умер мой отец, рано и напрасно. Хорошо уйти, когда стала земля в тягость и манит отдыхом. Но он был еще молод и любил землю по-иному: не за покой, а за жизненную ее силу. Я его спрашивал:

– Папа, откуда берется дерево?

– Из семени.

– Так ведь семя маленькое, а дерево вон какое; остальное-то откуда?

– Остальное из земли, из ее соков.

– И листья, и ствол, и все?

– Все, Мышка, из земли. И дерево, и ты, и я. Все живое и все мертвое, если только есть что-нибудь мертвое. А вот пойдем-ка лучше копать родник под горой.

В деревне мы жили на холмике, а по ту сторону за речушкой был лес, взбегавший в гору и уходивший в такую даль, что поместились бы на его пространстве в дружном и свободном сожитии, ни из-за чего не споря и не воюя, Франция и Германия. По опушке этого леса мы часто бродили, и любимое занятие отца было открывать новые родники светлой и холодной воды. Одно место он облюбовал на склоне горы между лесом и деревней: там была густая трава, и кустарник, свежий и пышный, окружил крохотную покатую полянку: тут непременно быть скрытому роднику!

И вот отец берет заступ, а я малую лопату, и потихоньку ускользаем из дому, а то мама скажет: «Опять перепачкаетесь и Мышка ноги промочит. Что за страсть копать в лесу землю, точно клад ищете!»

Отец на пути говорит:

– А ведь это клад и есть. Не было воды, и вдруг – вода! И какая вода – чистая и холодная как лед. Правда, Мышка?

Уж, значит, правда, если это папа говорит. У него была улыбка добрая и немного насмешливая.

Пробирались в кольцо кустарника, и отец внимательно осматривал почву:

– Быть тут ключу живой воды!

Земля мягкая, как сыр; только корни трав прорезать. Городским башмаком налегает отец на заступ, а я смотрю. Как это он все знает: только вырыл яму в аршин глубины, ровненькую и аккуратную, как сразу же начала ямка наполняться водой, правда грязной. Но эта сбежит – дальше будет чистая. От ямки отец прокапывает канавку по скату холма, и тут начинается работа для меня: убрать землю подальше, перемазаться и промочить ноги. Все удивительно удачно.

– Папа, а как ты угадал?

– Видишь: внизу есть болотце. Откуда ему быть? Значит, в горке скрытый ключ. Вот мы до него и докопались.

– Нужно будет укрепить землю, – говорю деловито.

Дело это мне известно. Чтобы новый родник не затянуло землей, мы укрепляем землю в ямке кольями, переплетаем ветками, а потом принесем и поставим желобок для стока.

Теперь к этому ключу будут ходить крестьяне с ведрами, потому что вода в речке невкусная и белье в ней стирают. А наш ключ светел, вода процежена через землю, холодна и сладка. Уже на другой день не останется в ней никакой мути.

Так открывали клады. А то бродили по лесу и любовались всем, что породила земля: и деревом, и травой, и ягодой, и грибом, и всякой букашкой. Я был малым мальчишкой, а отец мой был судьей, но были мы равны в наслажденье родной природой.

* * *

Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом на середине пути было, а может быть, и сейчас цело, большое кладбище; земля на нем немного глинистая. Первый комочек земли велели бросить мне, и помню, как он стукнул о крышку отцовского гроба. Потом бросали все родные и еще какие-то старые и молодые люди, которых я раньше не видал. Один из них, совсем седой, но крепкий, высокий и строгий, подошел ко мне, мальчику, подал мне руку, пристально посмотрел на меня и сказал:

– Похож ты на батюшку своего, на покойника; это хорошо. Будь и ты таким, как он. Хоть и постарше его, а был я ему в старое время большим приятелем и даже, могу сказать, другом. Не чаял пережить, а вот довелось увидеть, как приняла его земля, наша общая кормилица. Тут где-нибудь рядом и мне лежать.

Кто он был – не знаю, а слова его помню; особенно про сходство мое с отцом и про землю, общую кормилицу.

Любовь к земле, страстная к ней тяга, я бы даже сказал, мистическое ей поклонение, – не к земле-собственности, а к земле-матери – к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с ней соприкосновения, –

это действительно осталось во мне на всю жизнь. Если это атавизм, нечаянное наследие сидевших на земле предков, – то да здравствует атавизм, потому что более священного и возвышающего чувства я не знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, по-моему, производное от преклонения перед притягающей и плодотворной силой земли. Но не портретами и не Бархатной книгой внушается такая любовь. Она входит в человека незаметно, чаруя его видом первой весенней проталины, заражая радостью проснувшегося к новой жизни поля, изумляя пышностью и многоцветностью земных покровов, беспрерывно твердя ему, что все человеческие достижения – не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень жалкое подражание ее творчеству, потому что комар бесконечно совершеннее самолета, рыба – подводной лодки, а строительный гений пчелы, муравья, любой семейственной букашки – в человеческой среде равного себе не имеет. И все это только потому, что никто из этих существ не считает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно властвовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради мелкого тщеславия.

Но, быть может, больше всего я люблю землю за то, что я вижу в ней олицетворенным понятие вечности; в ней прошлое слито воедино с будущим, мое прошлое с моим будущим. Чудесным и никому не ведомым образом она вызвала к жизни мое маленькое существование, позволила мне проползти по ней от вечности к вечности, от небытия к небытию, – и так же чудесно и необъяснимо призовет меня обратно:

«Ибо прах ты – и в прах обратишься».

II

Признак чего– если мысль, свершив назначенный ей круг исканий, уверенностей и сомнений, приводит человека к чувствительным воспоминаниям о детских годах и к образам, окутанным дымкой давно прошедшего? Может быть – признак вплотную подошедшей старости? Жажда подвести итоги? Желание предстать с готовым отчетом?

Не думаю. Жизнь не в цифрах, и ничья рука за отчетом не протянется. Тут иное: неизбежная переоценка и того, что казалось незначительным, и того, чему придавалась непомерная важность. Пустяком представлялась детская

книжка, маленькое открытие, голос матери, отцовская шутка; и мучительно сложной казалась житейская борьба за достоинство и независимость человеческой мысли, за разумность общественных отношений и справедливость дележа духовных и житейских благ. Но идут года – и на кованой бронзе убеждений отлагается зелень мудрости, та самая, которую не умеют подделывать фабриканты предметов старины. И вот опять – как в детстве – личное выступает вперед, заслоняя вопросы, над которыми мы так долго и так напрасно работали.

Склонившись над коробочкой из карельской березы, над этой урной земли московской, я перебираю в памяти, как долго, упрямо и досадливо я старался заменить для себя эту горсточку серой пыли – всем земным шаром и какая неудача постигла наивную попытку.

Песчинки земли, которые я пересыпаю спокойной рукой, нечаянно обращаются в многоцветный бисер и загораются светом. Это уже не тонкая струйка, а искрометный водопад. Потом мне начинает казаться, что перед моими глазами дрожит, и колеблется, и мелькает цветными просветами золотая сетка. Она дразнит глаз причудой рисунков, странным переплетом картин и событий, когда-то поразивших меня и теперь перемешавшихся в памяти мозаичной неразберихой. Мне хочется остановить это беспрерывное мельканье, выхватить из волшебного букета несколько самых простеньких цветков и удержать их невредимыми, когда краски опять поблекнут и слиняют. Я напрягаю зрение, протягиваю руку – и всей горстью хватаю пустоту; только вглядевшись спокойнее, я вижу, что между пальцами моей руки застряла одна-единственная серенькая песчинка.

Я долго берегу ее, перекатываю на ладони и ищу то маленькое слово, которое могло бы развязать клубок моей мысли и стать началом простого рассказа.

* * *

В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многажды названо имя Рима. Но Рим был для нас лишь красивым звуком, а красивых звуков было вообще немало. Звуками, исполненными смысла и действительного значения, были такие имена, как Казань, Екатеринбург, в более далеких мечтах – Петербург и Москва.

Совсем же близким именем кроме имени родного города было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы.

Мы жили там на чистой половине крестьянской избы, сложенной из еловых бревен, проконопаченных паклей. За стеной мычала и жевала корова, а в пакле жило много тысяч клопов. Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен.

Этот одноэтажный бревенчатый замок, качаясь в воздухе, всплывает в моей памяти над мрамором и сединой настоящего Рима, в котором я позже жил в высоком доме окнами на Ватикан. А речонка Егошиха, через которую я мальчиком перепрыгивал, а отец мой спокойно перешагивал, смеется над Рейном, Дунаем и морями, омывающими берега Европы.

Нам, меняющим страну на страну, земной шар уже не кажется огромным. Без труда мы соединяем земли с землями мысленной чертой через океан. Мы привыкли к смене языков, неточно совпадающей с границами, и к повторяемости людских обычаев в разных климатах и под разными широтами. Тем из нас, кто, как я, вынужден был блуждать по чужим землям два срока, и до и после войны, за количество убитых названной великой, – хорошо знакома и разница отношений к нам, гражданам шестой части земной поверхности: от корыстного обожания – до небрежной заносчивости. Но бывалого не удивишь: он умеет ждать.

И вот я вспоминаю, как я пытался – и не без успеха – подменить свое потерянное, простое и невзрачное, роскошью найденного чужого. Я учился улавливать в старых плитах травертина блеск скрытого в нем золота, чувствовать дыханье вечности в жизни современного Рима, ценить европейскую культуру, к которой была приобщена и Россия, любоваться красотами чужих озер и гор, уважать энергию немцев, оригинальность англичан, легкость общения французов, порывистость южан, нравственную стойкость северных народов.

Было совершенно необходимо перенести неистраченное чувство жизнеприязни и молодого восторга со своего на несвое, усыновив себя остальным пяти шестым земли.

Перед статуей Аполлона Печального я говорил:

– Вот рождение искусства!

И, указывая на скаты Юнг-Фрау:

– Вот женственнейшая белизна снегов!

И, переплыв Кале:

– Вот колыбель и оплот политической свободы!

И, спускаясь с горы Ловчен или проезжая по фьордам Норвегии:

– Вот красивейшее в природе!

Верил сам и уверял других.

Они вздыхали, лепетали о «чудной сказке» и возвращались в свои губернии и уезды, куда мне доступа не было.

Они уезжали, – а я оставался наслаждаться чужими красотами.

В дни, о которых я сейчас вспоминаю, русские еще не считались париями и носителями заразы, и иностранцы, позже ставшие нашими военными союзниками, еще не выработали в себе деятельного презрения к народу, заплатившему миллионами жизней за их прекрасные глаза. В те дни никто не препятствовал мне бродить в городах Италии, купаться в швейцарских озерах и лежать на траве в английском парке.

В парке была совсем особенная, не зеленая, а голубая трава. Ее можно было топтать ногами, – и она невредимо подымалась и оживала. Надписи «Воспрещается» не было, так как она была бы излишня. Я спросил сторожа парка:

– Как удается вырастить такую удивительную траву? Вероятно, это требует длительного ухода?

Сторож оглядел меня с ног до головы. На мне был костюм из английской материи, так что складка на брюках не портилась от лежанья на траве. Воротник был свеж, волосы коротко острижены, подбородок брит. Поэтому сторож счел возможным солидно ответить:

– Лет пятьдесят хорошего ухода вполне достаточны, если стричь траву аккуратно.

Это было, по меньшей мере, горделиво. И я вспомнил свою прогулку по Восточной Ривьере Италии, где как-то зашел в кабачок отдохнуть и выпить вина. Против кабачка, через дорогу, был скалистый участок, подымавшийся террасами. По лестнице, выбитой в скалах, пожилой итальянец таскал землю, очевидно накопанную внизу, близ ручья. Принеся мешок земли, он вытряхивал его на почти голый камень, обтирал пот тем же мешком и шел обратно за следующей порцией земли. Это он делал огород. Я подумал:

– Нужно очень любить землю, чтобы обречь себя на такой каторжный труд!

Год спустя я опять проходил по тем же местам. Огород был готов. На нем росла та чахлая и дрянная зелень, которую итальянцы и французы называют и считают капустой, которая не окучивается и почти не дает кочна. У нас такую капусту считают неуродившейся и скармливают скоту или оставляют для пользования зайцам. Хозяин огорода сидел на корточках площадкой повыше и перетирал руками комья земли, выбрасывая камешки.

И вдруг мне представилась такая картина.

Я стою среди поля где-нибудь в Тульской губернии, опершись на трость. Что-то отвлекает меня, и я ухожу, забыв тросточку воткнутой в землю. Идут благодатные дожди, земля дышит жизнью, и моя забытая трость с набалдашником покрывается листьями, бутонами и цветами. Теперь уже нельзя вырвать ее из земли, потому что она пустила глубокие корни.

Таким нелепым видением я отвечаю горделивости англичанина и трудолюбию итальянца.

И вообще я замечаю, что во мне растет непонятный протест против чужих благополучий и красот. Нотр Дам де Пари не кажется мне домом молитвы, таким, как сельская церковь на пригорке моей родины. В Швейцарии отвратительны кричащие вывески гостиниц и торговых домов на каждом живописном камне. Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале – и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень. Во мне подымается какая-то невольная, я знаю – совсем несправедливая брезгливость к узкой дороге над пропастями, ведущей в Черногории от Скутарийского озера к Цетинье. В свое время я восторгался грозовыми тучами, выше которых я ехал на лошади в столицу этого исчезнувшего теперь государства. Теперь мне смешно сравнивать тамошние виды с картинами Кавказа. И я завистливо стараюсь припомнить, чем можем мы ответить Норвегии, фьорды которой приводили меня в восторг, ее удивительным озерам цвета жидкой стали, ее могучей природе? Шестисотверстным Байкалом? Разливом сибирских рек, устье которых шире маленького государства? Хребтом Чарского в Якутии, о котором еще не слыхали европейцы? О, слишком многим!

Но вправе ли я вступать в неравный бой со сторожем английского парка и итальянским огородником, которые попросту скажут мне:

– Вам нравится больше свое? Тогда почему же вы не дома, не в тайге, не в степях, не на Урале, не на Байкале, не у дверей своей сельской церковки?

И мне нечего им ответить.

Я бы мог, конечно, длинно и нудно рассказать им, как в свое время мы увлекались английской избирательной системой и биографией Гарибальди и что из этого вышло. Мог рассказать про моего друга детства, с которым мы играли в бабки и городки, зубрили латинские стихи, затем слушали курс политической экономии, прятали в карман запрещенные книжонки и обедали в студенческой столовке за соседними столами. Как затем этот приятель мой стал властью и сказал мне:

– Мы разно смотрим на способы создания безоблачного счастья для будущих поколений. Поэтому я останусь здесь воспитывать и управлять, а ты должен покинуть пределы нашего общего отечества.

Он мог сказать это гораздо грубее, но я не хочу спорить из-за слов. Злобы во мне нет, я только полон удивления. Мне кажется невозможным, что человек, такой же, как я, или, пускай, много меня лучший, мог лишить меня радости жить там, где я жить должен, где все мне дорого: на земле моего рожденья. Мне это кажется даже не жестокостью, а бьющей в глаза бессмыслицей. А между тем это случилось дважды за четверть века. И одинаковые слова были сказаны совершенно различными, враждебными друг другу людьми. В мыслях и поступках их объединяла ослепляющая рассудок сила, которую называют авторитетом власти.

И оба раза, за чертой для меня предельной, мне открылись для свободной и независимой жизни пять шестых земного шара: достаточная замена отныне запрещенной для жительства жалкой деревушки на речке Егошихе.

Но согласитесь, что таких объяснений иностранец не примет и не поймет.

На острове Мурано близ Венеции сторож храма показывал мне во внутреннем куполе мозаичную Мадонну византийского стиля:

– Эта Мадонна, синьор, лучшая во всей Италии и, следовательно, во всем мире.

Мадонна действительно прекрасна. Я спросил:

– А вы видали других?

– Если бы не видал – не смел бы говорить.

И он мне рассказал, как однажды кучка англичан осматривала храмы и толковала, что эта Мадонна хороша, а в

иных местах найдутся и получше. Сторож, влюбленный в свою Мадонну, возревновал. Он стал подкапливать деньги, а когда пристроил всех своих детей, решил отправиться в путешествие. Разузнав заранее, где его Мадонна имеет соперниц, он объехал все эти места и своими глазами убедился, что лучше его муранской Мадонны, красивее ее и божественнее нет Мадонны – и быть не должно. Тогда он вернулся в Мурано доживать свои дни сторожем при ее храме. Может быть, он жив и по сей час. Слушая его рассказ, я думал: «Между нами только та разница, что он вернулся, а я вернуться не могу, хотя моя Мадонна прекраснее всех существующих и мыслимых».

Это было накануне мировой войны, сделавшей невозможное возможным. Через десяток границ, кругом Европы, я вернулся.

Муранская Мадонна, полная прелести и печального покоя, сияет под куполом храма. Моя Мадонна переживала в то время канун тяжких испытаний.

Я рассматривал ее с жадностью проснувшегося для огромной любви. Северные леса, от Финляндии до Печоры, были ее зелеными кудрями; падавшими складками ее одежд были Кама и Волга; ее сердцем была Москва. Только теперь, наглядевшись на чужие красоты, я мог вполне оценить ее несравненность. Но это была не ласковая материнская красота Мадонны острова Мурано, а Мадонна страстная и страждущая, Мадонна Доленте, святая грешница, ждавшая сына. Я присутствовал и при ее хождении по мукам, – и боль, исказившая ее лик, была моей болью. И все-таки образ ее оставался для меня прекрасным и неповторимым. Как тот сторож муранского храма, я решил не расставаться с нею до конца дней, – но силой был отброшен далеко и, вероятно, навсегда.

Таков рассказ о большой любви. Тем, кто ее не испытал, он должен казаться наивным и слишком чувствительным. Впрочем, таков он и есть.

* * *

Вот я округляю фразы и подыскиваю образы покрасивее, потому что в такой условной форме легче выразить мысль не только для других, но и для себя самого; такова сила привычки.

Но все эти образы – лишь напрасный налет на невыразимом словами чувстве тяги к земле. Я пишу в тени моло-

дых увядающих вязов, пострадавших от жары; земля здесь глинистая, засоренная камнем, искусственно осушенная, и корни деревьев не находят достаточно питательной влаги, листья сохнут и желтеют раньше поры. Бумага, на которой пишу, рождена от земли, золотое перо-стило найдено в ее недрах, чернила – ее продукт. Передо мною домик, сложенный из камня и дерева, и каждый предмет внутри и снаружи, и сам я, и моя мысль, и все... отец был прав, говоря:

– Все из земли, Мышка, и живое и мертвое, если есть что-нибудь мертвое.

Когда я пытаюсь встать, на мои плечи ложатся уверенные руки, пригибают меня обратно к земле. Нужно усилие, чтобы приподняться. И при каждом шаге нога как бы срастается с землею, неохотно от нее отделяется. С годами это ощущение все сильнее. Это называется утомлением, но в действительности – растущая тяга к земле и в землю.

Порыв ветра уносит с вязов пожелтевшие листья за изгородь маленького участка земли, который я снимаю для летнего отдыха; но большинство палых листьев остается лежать под деревом. Судьба оставшихся и судьба унесенных, в сущности, одинакова; к будущей весне не останется их следа, потому что мы не умеем разглядеть в цветке настурции частички перегнившего за зиму совсем неродственного ей растения. Лист, унесенный ветром в чужой участок, также призван стать основой какой-нибудь сейчас ему чуждой жизни.

Судьба человека – как старинный курган. В наших краях их было много по течению больших рек. В них вместе с телом клали любимые и нужнейшие вещи человека: одежду, сосуды из глины и металлов, монеты, зерна злаков, оружие. Старый московский профессор показывал нам в музее витрину, где лежали эти вещи, добытые из курганов, и говорил:

– Вот в той коробочке обгоревшие и потому сохранившиеся зерна ржи; лучшее доказательство того, что наши предки, скифы, занимались земледелием еще в доисторические для нас времена.

Мы, студенты, по очереди склонялись над стеклом и смотрели на обуглившиеся крупинки. Но в то время из урока истории мы мало почерпали для философии жизни; мы были очень молоды. В той же витрине лежали кости, вынутые из кургана, каменное оружие, посуда, все то, что еще не успело обратиться в землю и было так напрасно потревожено во имя науки. Мы в науку очень верили.

В жизни мы окружали себя вещами, лишь им придавая значение. Ведь все, что мы делаем, ради чего вступаем в отчаянную борьбу сами с собой и друг с другом, все-таки – вещи: металл, дерево, живая ткань, все то, что станет достоянием нашего кургана и с веками обратится в землю.

Мы об этом редко думаем – да и стоит ли понапрасну себя тревожить?

Но ощущение будущей судьбы всего живого забегает вперед мысли. Не потому ли с такой любовью и в предчувствии вечного покоя я пересыпаю рукой песчинки московской земли в коробочке карельской березы, вспоминая детские годы, и предков ближних и дальних, и поиски лесного родника, и домик бабушки, и скифский курган, и Рим, напрасно названный вечным, – чтобы снова вернуться мыслью к единой вечной вещи – к земле:

«Ибо прах ты – и в прах обратишься».

Св. Женевьева Лесов

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Из старой женщины с грустными глазами, какой взяла ее смерть, она превращается для меня в девочку лет четырнадцати, изображенную художником на миниатюрном портрете: худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синевой пальчики, так любовно зарисованные художником, что каждый ноготок виден особо.

Такою она была в институте в Варшаве. Она была там единственной русской, училась прекрасно, но окончила без шифра, «потому что во время мессы тянула кошку за хвост».

Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего детства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замяукала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский институт не хотел дать шифра русской. Вероятно, это было для девочки большим огорчением – мать вспоминала об этом всю жизнь. Когда я был маленьким, пятым в семье ребенком, я представлял себе странную картину: идет обедня, и кто-то за стеной нарочно дергает за хвост кошку, чтобы не дали маме большого банта на платье (так представлялся мне шифр).

Институткой она осталась до конца жизни. Одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже по утрам, не

видал ее непричесанной. Молилась она по книжечке, хотя была православной. Ложась спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и что хорошего, и что, белое или черное, перевесило сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжке: французским, немецким и английским.

Эта книжка, толстая, переплетенная в кожу и за полвека ежедневного употребления оставшаяся чистой и непотрепанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на трех языках. Полоской картона мать закрывала два столбца, оставляя третий. По тексту французскому – вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась – и по английскому припоминались идиотизмы двух других языков; затем открывался текст немецкий.

Толстую книгу мать знала наизусть. Когда (очень редко в глухой провинции) ей приходилось говорить с французом, англичанином или немцем, она их поражала своим языком: они объяснялись попросту, разговорно, она же подавала реплики на языке изысканном, изощренном, старинном, на каком не только говорить, а и писать уже перестали. С содержателем же колбасной, приходя за покупками, она говорила по-польски; этот язык, знакомый с детства, она никогда не забывала: говорила на нем, как полька, и напевала на нем старинную песенку о месяце, заглянувшем в окошко.

– Легкий язык, – говорил мой отец, никогда в Польше не бывавший. – Отец – ойтец, мать –майтец, мыло – мыдло, было – быдло... А еще: «Не пепшь Петше пепшем вепша...»

Было у институтки пятеро детей (да еще один умер маленьким): пять биографий произвела на свет. Это не легко дается. Все пять биографий начинались одинаково: кормление, скарлатина, гимназия... Когда дошло дело до младшего, до меня, мать отлично знала не только геометрию, но и латинский язык. И в первый класс я поступил, обучившись у нее большему, чем должны были научить меня к концу первого года. Даже Цезаря немножко разбирал. И когда начали мы читать в классе: «Gallia est divisa in partes tres»[1], – заботами матери моей я уже давно знал, что это значит.

Но кроме латыни есть и арифметика. Уже одиннадцать часов, спать пора, – а третья задача из Евтушевского еще

[1] «Галлия разделена на три части» *(лат.)*.

не решена. Мать только что кончила заниматься с сестрой, которая никак не могла запомнить названия полуостровов.

– Ну, Пиренейский же, Пиренейский, ты запомни: перина, на которой спят. Повтори все полуострова.

Сестра повторяет – и опять забыла Пиренейский.

– Я же научила тебя, как запомнить. Ну на чем спят?

И кончиками губ шепчет моя сестренка:

– По-ду-шечный?

Сестра идет спать, а я все еще пишу напрасные палочки в тетради. Рядом со мной мать тоже решает задачку, шепча про себя:

– 354 фунта, 8 лотов и 3 золотника картофеля помножить на 17 и 6 в периоде...

Ну за что мучат и ребенка и мать! Все-таки она решила, я переписал в свою тетрадку. Крестит меня, целует – иду спать и я.

А на другой день двойка за устный ответ. Спрашивали пустяк, а я не ответил, потому что голова устала от глупых этих цифр, от вечного сидения над задачником. Мне горе, маме тоже грустно: смотрит глазами печальными. Ушел в свою комнату, опустился перед постелью на колени, голову уткнул в подушку, заплакал и заснул. Сколько буду жить – никогда не прощу своих слез сухому учителю арифметики: зачем мальчика мучил!

Проснулся оттого, что мать обняла за шею. Она тоже на коленях перед кроватью и тоже заплаканная. Слезы из детских и взрослых глаз, потому что так трудно помножить картофель на 17 и 6 в периоде, когда и другой зубрежки много, когда нужно еще запомнить, что Максимилиан Первый любил ходить на охоту, чтобы переплетать книги в кожаный переплет, и что город Брюссель славится своими кружевами. Так до самой смерти не перестану не любить педагогов: ведь это они выдумали и кошку за обедней в мамином институте!

Когда я родился, матери не было еще тридцати лет. Она вышла замуж в семнадцать, значит, почти такой, как на портрете: голубые глазки и тонкие миниатюрные пальчики. Когда я надел фуражку гимназиста (с большой тульей и гербом), мать все еще казалась молоденькой, только начала полнеть. Она смущалась и краснела от нескромных слов и кокетливо оправляла перед зеркалом волосы, без единого седого. Но жизнь в провинциальном городе была однообразна и скучна, а большая семья требовала вечных мелких забот. Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не

только помогала нам готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами: липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши – при головной боли (это после пирамидон выдумали), паутиной – при порезах, теплым деревенским маслом – если стреляло в ухе. Когда детей пятеро – один из них непременно болен, а для хорошей жены муж ее тоже идет за ребенка. Мало оставалось у матери свободного от забот времени. И вокруг ласковых голубых глаз появились тонкие морщинки.

Была у родителей мечта: из глухой провинции перебраться в столицу, или хоть поближе к центру, или, наконец, хотя бы на родину отца, где было бездоходное именье на реке Бугуруслане; хоть немного пожить бы, отдохнуть, – а там пусть опять служба и семейные заботы. Так мечтали двадцать два года. А сбылась бы мечта – взволновались бы безмерно, не знали бы, как расстаться с насиженным местом, с привычками, с кругом знакомых, как приспособиться к новым местам.

Но мечта не сбылась.

Однажды весной отец получил отпуск, взял с собой меня, младшего, и поехал в родной город Уфу, навестить свою мать, повидать именье. По дороге, в Пьяном Бору, где пересадка с Камы на Белую и где тогда приходилось целую ночь ждать на пристани парохода, отец простудился, а по приезде в Уфу, едва увидав родной город и старый дом моей бабушки, – слег и умер. Мать приехала, когда на уфимском кладбище уже стоял новый намогильный крест.

Семья стала маленькой (две сестры вышли замуж и уехали в Москву). Была приличная бедность: ели хорошо, а носили штопаное. Осталась кухарка Савельевна. По субботам мать ходила с ней на рынок. Заяц в шкурке стоил пять копеек, без шкурки – десять (снять шкурку – тоже работа). Близ города были леса – тянулись через Урал на тысячи верст. И стерлядка стоила пятачок (из кормилицы Камы!). А вот ученье стоило дорого. Впрочем, доучивался теперь один я.

Был у матери рабочий столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками – целый городок рукоделья. Окончив утренние хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала пасьянсы. Чтобы сберечь глаза – разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышиванье, пасьянс. В перерывах брала из коробочки кедровый орешек, разбивала камушком и ела. Зубы стали плохи. Но утром, прежде всяких занятий, открывала

институтскую книжку и шепотком повторяла старинные фразы – по-французски, по-немецки, по-английски.

– Зачем, мама?

– Ну, я привыкла. Может, и пригодится еще.

А когда, уже студентом, я стал работать в газетах и летом секретарствовал в нашей провинциальной, – она переводила для меня статейки из иностранной почты и небольшие рассказы. И нечаянно я узнал, что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной. Откуда это – у институтки, всю жизнь прожившей в губернском городке Приуралья?

Теперь я видал мать только летом, когда приезжал из Москвы на каникулы (пароходом по Волге и Каме! Незабвенное время! Счастливые дни! Любимый кусок родины!). А как-то приехал и зимой, нежданно: выслан был на родину за «защиту чести студенческого мундира».

Всплакнула мать, обнимая сына-героя:

– Ну, из-за чего это вы? Лучше бы учились хорошенько. Вот теперь год и потеряешь.

– Нам не дают учиться, мама. Мы не можем допустить...

– Я знаю, милый, я читала, а все-таки лучше бы сначала выучились, а уж потом... Твое дело, но ведь лишний год так трудно.

И посмотрела на мою папиросу:

– Вот ты все куришь...

Утром, вставши, вижу: беднее стало у мамы в квартире. Все старенькое. Сама, в черном старомодном платье, сидит за книжкой, передвигает закладку, шепчет английские фразы.

Был на третьем курсе. Написал матери:

«Пришли мне, пожалуйста, поскорее нотариальное разрешение жениться; оно нужно для представления в университет ректору, так как без этого не венчают. Я, мама, решил жениться. Моя невеста...»

Она ответила:

«Посылаю тебе разрешение. Что ж поделать, если ты решил жениться, хотя, по-моему, тебе рано. Лучше бы сначала окончил и устроился. Но дело твое, мой мальчик, я не противоречу; значит, уж такая твоя судьба...»

На каникулы приехал и говорю:

– Свадьба моя отложена, мама. Может быть, еще и не женюсь...

У нее радостно и хитро заиграли глазки:

– Как знаешь, милый. По-моему, тебе рано, ты еще совсем мальчик. Но как знаешь, делай как хочешь. Если женишься – я полюблю твою жену.

Прожил дома лето. Нотариальное разрешение отдал матери обратно:

– Не нужно, мама.

– Я знаю; ты все получал письма. А ты бы, если уж суждено тебе жениться, женился бы на Катеньке.

Катенька была моим другом детства, любимицей матери; жила в нашем городе.

– Нет, мама, я вообще не собираюсь.

Перекрестила и отпустила опять в Москву.

Потом был девятьсот пятый год, коротенькая «эпоха свобод». И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией, чем практикой:

«Может быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что наступило время, о котором ты мечтал».

Она каждый день читала «Новое время», ходила ко всенощной и к обедне и горько плакала (я это хорошо помню, хотя был тогда совсем маленьким), когда убит был Александр Второй. Он, царь-освободитель, был ее кумиром, может быть, потому, что мой отец был скромным участником крестьянской и судебной реформы Александра.

Теперь отца уже не было; был сын, и радость сына могла стать радостью матери. Она всю жизнь жила радостями и горестями мужа и детей.

Но «эпоха свобод» окончилась быстро. Мать знала, что мне грозит. Все равно ей не пережить бы этого несчастья; даже мысли об этом она, старенькая, пережить не могла.

И когда следователь в Таганской тюрьме, предъявив мне статью закона, которую я и ждал, начал официальный допрос: «Ваш отец? Ваша мать?..» – я ответил ему:

– Тоже умерла.

– Когда?

– Сегодня утром получил письмо.

Он посмотрел на меня исподлобья и смущенно выразил соболезнование.

* * *

Ни одного письма, ни одной строчки, писанной ее четким бисером, нет в моем архиве: все похоронено в архивах Охранки и Чека. Нет даже картонного квадратика, которым она закрывала текст институтской книжки и на котором записан был для памяти порядок пасьянсов:

«Восемь королей.
Rouge et noir.
Горница.
Тринадцать.
Concordance.
Веер.
Взаимность.
Кадриль.
Марьи Павловнин.
Для тасовки.
Мой».

Пока мог – я свято хранил этот кусочек картона, присланный мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями погиб в скитаньях и при обысках.

Остался – чудом и дружеской услугой – только портрет работы польского художника, с пометкой: «54 г.». Такой она была три четверти века тому назад: худенькой институточкой с тонкими прозрачными пальчиками.

И вот уходят из памяти черты лица молодой женщины и старухи. Но каждый день, когда смотрю на портрет в круглой черной рамке, – освежается и укрепляется в памяти (уже навсегда) лицо девочки с голубыми глазами.

Когда смотрю – думаю: «Я – сын этой девочки!»

И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным, может быть, счастливым, а может быть, и не очень счастливым.

Есть и мой детский портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать: «Я – сын, или: я – дочь этого мальчика в теплой курточке».

Никто никогда, потому что некому...

ДНЕВНИК ОТЦА

Отец! Прости мне это кощунство! Я перелистываю тетрадь пожелтевших от времени страничек, дневник твоей любви, твоих страданий и твоего счастья. Я делаю выписки – и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным самобичеванием. Передо мной и твоя карточка – последняя, покойная: сложены руки и голова ровно примяла подушку, окруженную гирляндой цветов. Я прикрываю бумагой твою седую бородку и узнаю

в мирно спящем, в спящем навеки – себя самого: лоб, нос, надбровные дуги. Только спокойствие и серьезность – не мои, еще не мои...

Эта тетрадь да миниатюрный портрет матери – все мое наследство; и я большего не желал, лучшего я и не мог бы желать. Две реликвии пятидесятых–шестидесятых годов, две тени прозрачных душ. Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а лицеист, послюнив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь памяти, прежде чем все *исчезнет*.

Разве это – кощунство? Со всей силой любви и благодарности – благодарности за жизнь, которую оба вы мне даровали, – я напрягаю все свое малое дарование, чтобы сказать о вас лучшими словами, какие найду и сумею вплести в венок вашей памяти. Простите же меня! Уже и до меня доносится холодок грядущего небытия, уже и на моих часах стрелка неумолимо близится к неведомой мне минуте покоя в Востоке вечном.

То, что я пишу сейчас, – пишется лишь один раз в жизни и в груде исписанных за многие годы листов бумаги не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, – близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый, – сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня – о вас, когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги.

* * *

«Я придумал писать к тебе, милая моя Леночка. Знаю, что ты никогда не прочтешь того, что будет мною написано. Знаю также, что тебе и в голову не может прийти, чтобы я мог что-нибудь писать тебе, будучи так немножко знаком тебе. Знаю даже, что ты отозвалась бы насмешливо и даже презрительно, если бы узнала, что какой-то человек, совершенно тебе чуждый, вовсе не привлекательный и более чем посторонний, осмеливается что-то пи-

сать к тебе, без всякого права, без малейшего основания и повода, и притом так дерзко, так вольно. Но Боже мой! Ведь говоря с тобой, разве тебе я говорю? Я говорю с воображаемой Леночкой, или лучше – говорю с самим собой. Положим, это странно, дико, смешно и даже глупо. Разве ты-то узнаешь когда об этом?»

* * *

Отец мой был бедным уфимским помещиком и в своем бездоходном имении почти не жил. Окончив университет, стал работать и работал до последнего дня жизни, тяготясь этим, но и не умея жить без постоянного и упорного труда.

Его дневник по времени должен совпадать с первыми годами реформ Александра Второго, с крестьянской и судебной; но в дневнике – только его любовь, эпоха в нем не отразилась. Работал он по проведению крестьянской реформы, позже – судебным следователем первого призыва, еще позже – членом окружного суда в приуральской провинции, откуда, уже человек многосемейный, никак не мог выбраться.

Умер он в родной Уфе, куда приехал повидаться с родными и показать им младшего сына – меня. Тому времени прошло больше тридцати пяти лет. Ему хотелось еще показать мне остатки неразделенного нашего родового поместья; но не удалось. Помню, что оттуда, из деревни, приехал повидать отца и меня наш бывший крепостной повар, глубокий старик, очень преданный. Он смутил меня, гимназистика, поцеловав меня в плечо, а потом собственноручно свертел нам мороженое. Когда отец умер, именье, которого я так и не видал никогда, продано было крестьянам.

Мне не верится, чтобы отец мой был таким «непривлекательным» и замкнутым в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. «Близких и милых друзей у меня нет, и сам я такой скверный человек, что не способен к большой откровенности. В жизни моей такая скудость и пустота. Мне страшно, что время уходит без следа и напрасно; мне грустно, что такая пустота и пошлость представляется моим глазам и так мало истинно прекрасного я вижу». Влюбленный – может ли писать иначе? Но я помню и знаю по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе. В молодости не было

друзей? Возможно. Но не выше ли дружбы, не богаче ли ее – любовь, которой посвящены его записки?

* * *

«Я в первый раз увидел тебя в театре. Ты только что приехала в Уфу и впервые явилась уфимскому обществу. Я пришел в театр усталый от работы, пришел измученный и грустно настроенный. В театре ты обратила на себя внимание наших кавалеров. Хорошенькое личико в губернаторской ложе, новая фамилия – обратили на тебя толки и лорнеты. Многие уже готовили тебе фразы и улыбки; другие разузнавали. Издали ты мне показалась очень милой, а когда я тебя увидел поближе, я должен был сознаться, что не обманулся. Такая ты была молоденькая и свеженькая; так славно смотрели твои чудные глазки; столько юности и чистоты в тебе было. Твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел. Я не влюблен в тебя только потому, что я не мальчишка. Я не влюблен в тебя, но я затаил, скрытно от других и тебя, твой образ в душе своей и придал ему все остальное своим воображением. Я долго мог после этого вызывать на память твой образ. Я тешился этим в минуты тоски и грусти. В этой форме стало у меня слагаться все лучшее, о чем я думал. Мне хотелось верить, что ты действительно чудная девушка; и если бы для тебя потребовали у меня жертв, я на все готов бы был решиться. Я глупый мечтатель, милая Леночка; но право, никогда и никто другой не ставил тебя так высоко и свято в эти минуты».

* * *

Ей, этой хорошенькой девушке, привлекшей к себе «толки и лорнеты», было семнадцать лет; она только что окончила институт и приехала с отцом и старшей сестрой погостить в Уфу к знакомым. Изящная, миниатюрная, получившая светское воспитание, она имела большой успех в замкнутом дворянском обществе Уфы. Несомненно, моему отцу нетрудно было с нею познакомиться и часто ее видать; губернатор Аксаков, в семье которого она была принята и в ложе которого впервые появилась, был связан с отцом тройным родством. Хотя отец и «выключил

себя давно из разряда уфимских кавалеров», но он был очень молод, хорошей фамилии, умен, образован, талантлив, всюду принят.

Но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия, после которого кончается молодая жизнь, смолкают пылкие стремления, останавливается движение вперед»? Мешали еще неуверенность в себе, малая обеспеченность и ответственная служба, отнимавшая много времени. Но главное – самолюбие, нежелание оказаться в очереди улыбающихся и говорящих фразы поклонников юной уфимской звезды. Смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты – разве это не лучшая рамка для родившегося чувства?

* * *

«Помню я и всегда буду помнить одну заутреню на Пасху. Я только что оправился от болезни и с радостным сердцем попал в церковь. Признаться, ты не была у меня в мыслях; но Бог знает отчего я был весел. Ты была у заутрени и стояла от меня близко. Ты была хороша, но в этом не было для меня перемены. Молилась ты усердно рядом со своею сестрой. Но вот кончилась заутреня, свечи погасли и началась обедня. Я нечаянно очутился возле тебя, потому что не искал этого случая. Стало темно; ты устала, видимо. Не знаю почему, но я вдруг стал на тебя смотреть иначе. Светская девушка исчезла у меня из глаз, и передо мной действительно стояла моя милая Леночка, которая так часто чудилась моему воображению. Я не мог оторвать своих глаз от тебя. Такая ты мне сделалась милая, так мне хотелось обнять и расцеловать твои ручки и глазки, крепко прижать тебя к сердцу. Ты мне показалась ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне указали тут же какого-нибудь идеального человека и назвали его твоим будущим мужем, тобою любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее счастье и только строго-строго взвесил его качества. Для себя я сберег бы – но нет, что я говорю? Я никому тебя не доверил бы; я окружил бы тебя любовью, окружил бы тебя такими попечениями о твоем счастии, – только бы дали мне возможность самому сделать это счастье».

* * *

Провинциальный мирок, где каждый знает каждого, где новый человек, особенно женщина, особенно молоденькая, красивая, светская, долго служит предметом внимания, толков и пересуд. Зимний сезон, театр, клуб, балы, маскарады, любительские спектакли под покровительством помпадурши. Толпа золотой молодежи, шаркунов, бойко болтающих по-французски, и, конечно, свой Чайльд Гарольд, отрицающий это пошлое общество, но неизменно являющийся на балы и спектакли, чтобы со скептической улыбкой и со скрещенными на груди руками простоять весь вечер у колонны.

«Не влюблен, потому что не мальчишка». А сам не сводит, не может оторвать глаз от сцены, где девушка-подросток со смущением произносит слова своей роли, так ей не подходящей. Дома он вынимает из стола свою тетрадку и пишет при свете масляной лампы:

«Чужие и скверные люди пустили тебя на эту сцену; такой молоденькой, неопытной девушке, не имеющей даже определенного положения на свете, и дали такую роль! А между тем как хорошо, с каким верным пониманием исполняла ты свою роль. Ты была так мила, что спокойно сидеть я был не в силах. Каждый шепот во время твоей речи, каждый смех между зрителями – бесил меня. Я едва удержался в толках с некоторыми о пьесе и исполнителях; я вовремя опомнился и убежал, не кончив речи. Мне хотелось защитить тебя и от похвал, и от общего смысла твоей роли, хотелось увлечь тебя с этой сцены, заставить молчать каждое неосторожное слово. Но что тебе в этой защите? Я тебе также посторонний человек и даже более, чем последний из окружающих тебя знакомых. Боже мой, как грустно!»

Наедине с собой – зачем прикрываться плащом равнодушной усталости и «отеческого чувства» к беззащитному ребенку? И пишет рука Чайльд Гарольда:

«Я не досказал еще тебе, Леночка, что я уже люблю тебя и полюбил почти с первого твоего взгляда, как никогда не любил никого на свете. Теперь это слово сказалось, и так ясно и живо стоит для меня, и напрасно силюсь я ему отыскать другое название. Что же теперь делать, моя милая?»

* * *

Та ли она, какою кажется? Имеет ли право он, такой дурной, испорченный, усталый, негодный человек, думать

о ней, говорить с ней в своем дневнике, мечтать о более близком знакомстве, о счастии быть замеченным, выделенным из толпы поклонников?

«Если бы я мог взвесить холодным рассудком все будущее, я собрал бы всю волю, весь эгоизм свой; я заперся бы внутри себя и задушил бы в себе это тяжелое чувство».

И разумеется, – «разбил бы свою жизнь и умчался Бог знает куда». О забвении и новом счастье уже не мечтать, уже не создать себе новой жизни. «Лета разве только возьмут свое, и под гнетом их я стану бесстрастен и спокоен. Все кончено к лучшему. Дальше все пойдет так незаметно и постепенно. Сегодня одно разобьется на сердце, завтра другое, там третье, а потом и ничего не будет: холодно, ровно и мертво».

* * *

Страницы и страницы, отданные грустным и трагическим размышлениям о своей ненужности, неинтересности, о муке любви неразделенной и безнадежной.

Уж такой ли безнадежной? Правда, она сказала как-то в случайном разговоре, что «не понимает романтической любви» и что «любить не может никого». Но ведь сказала это девушка семнадцати лет, и сказала с таким ласковым сиянием голубых глаз, что у бедного страдальца сразу согрелась душа и забилось сердце нечаянной радостью.

Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная – с ним она была серьезной. Он ее немножко пугал своими рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто – с ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже, что она просила его не приходить, – и он, оставшись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему неоцененному чувству. Но иногда, наоборот, она, уставши от пустых светских разговоров, сама искала его, странного, не похожего на других, немного волнующего, слишком для нее умного, вызывающего какие-то новые, непривычные вопросы, грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее, а главное – несчастного. Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить. И так же часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочна и довольно легко излечивается ласковым словом; только не

нужно противоречить и смеяться. Голубые глазки знают свою власть; но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит слишком серьезными и слишком унылыми разговорами? Он умнее и интереснее других, – но было бы лучше, если бы он был весел, как другие, потому что ведь жизнь так хороша и рано в семнадцать лет мучить себя загадками и вопросами.

* * *

«Как я счастлив сегодня, как мне весело и отрадно! Такая ты добрая была, Леночка, такая милая, такая хорошенькая. Ты не оттолкнула меня, ты не засмеялась надо мной после всего, что я сказал тебе, не приняла за фразу мое слово. Ты говорила со мной так хорошо, так искренне. И ты могла помышлять, чтобы я дурно о тебе думал? Ты могла думать, что я нахожу удовольствие тебя мучить? Да разве ты не знаешь еще, что вся моя жизнь, все мое дорогое и прекрасное – в тебе одной? О, я был бы хорошим человеком, если бы ты, Леночка, не отнимала у меня радости и надежды – не быть тебе чужим».

* * *

Чередуются в дневнике эти «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив». И всегда: «Что же мне делать, что делать?» Сказать о своей любви? Но «по какому праву»?

Это в наше время можно говорить о своей любви хоть накануне ее появления и девушке, и замужней, и той, которая желанна, и той, без которой можно обойтись. На рубиконе же пятидесятых – шестидесятых годов было нужно иметь на это право! Сказать о любви – а дальше? Быть отвергнутым – значит, жизнь разбита и исчерпана! Быть выслушанным благосклонно и услыхать ответное «да»? Но ведь для этого...

Кто такой ее отец? Чего хочет он для своей дочери? Человека, по-настоящему ее любящего, или жениха с деньгами и положением в обществе? Зачем-нибудь да позаботился он, не богатый и не знатный, дать дочери тонкое образование и ввести ее в лучшее общество, ей доступное. И кто претендент? Бедный дворянчик, служака, работник,

ничем не выдающийся человек? И что за тип этот их знакомый по Варшаве, поляк Г., богач, к которому с таким расположением относится ее отец? Жених? Может быть, она уже любит его или полюбит? Ну что ж!

«Если ты будешь истинно любить Г. – для твоего счастья довольно. О, я тогда, если бы и погиб вовсе для счастливой жизни, – я помирился бы с тобой, и ты навсегда осталась бы для меня чистым и светлым существом, явившимся мне, чтобы осветить хоть на время мое существование. Издали и идеально, мечтательно и грустно я всегда любил бы тебя. Мысль, что тебе хорошо на свете с другим, была бы мне мучительна на время и, может быть, долго; но это не было бы разочарованием и не прибавило бы никакого темного пятна к моей житейской опытности...»

Разбогатеть? Но как? От работы не разбогатеешь, – она и так отнимает весь день. Выиграть в карты?

«Я только что воротился домой. Я сегодня играл и много проигрался; но не мог заглушить тоску свою. Тебя я не видал, а если бы и увидал – разве было бы лучше? Ты была дома, потому что я видел свет у вас в доме. «Верно, у вас Г.», – подумал я; и как ни разуверяла ты меня, и как ни верю я тебе, а все мне стало нехорошо от этой мысли. Кто близок к тебе, того ты скорее полюбишь; кто так далек, как я, того ты любить не можешь. Господи, как грустно мне. Теперь, после этой убитой так пошло ночи, еще хуже, еще пустее кажется на свете, и ничего, решительно ничего, ни малейшей надежды. Нет, я решительно погибаю и оставаться так долго уже не в силах. Пусть гибну».

Последняя буква прижата пером, и черта под отрывком дневника, обильная чернилами, шершавая, разорвала бумагу...

Кажется – все кончено!

* * *

Но нет, еще две краткие записи:

«Хорошо мне теперь. Целый вечер я не спускал с тебя глаз и говорил с тобою. Неужели в самом деле я могу быть счастлив?»

«Два нехороших дня. Я решился не писать в эти минуты ужасного состояния и тоски. Я начинаю бояться мысли, что к счастью я не способен. Буду писать теперь только тогда, когда мне хорошо будет. Когда же это?»

* * *

Когда же это?

Такова – последняя строчка грусти и безнадежности любовных записей моего бедного отца.

«Судьба этих глупых писем – быть сожженными», – писал он раньше. Но прошло почти семьдесят лет – и аккуратная тетрадочка, исписанная мелким его почерком, озаглавленная на первой странице «Мои бредни», лежит передо мною.

Отец ошибся: тетрадка пережила и его, и эту неприступную и недостижимую Леночку и, может быть, переживет меня, которому она досталась в наследство и во свидетельство того, что любовь не придумана сегодня, что она вечна с вечными своими спутниками: щемящей грустью, сменой очарованья унынием, отчаяния надеждами, с неизменным самобичеванием, мечтою об идеальном и прозой действительности.

Отец ошибался и в другом: любовные дневники пишутся только в минуты грусти и неуверенности, а не «когда будет хорошо». Когда хорошо, когда человек счастлив и любовь его разделена – зачем тогда писать дневник? Зачем писать тайные письма той, которой уже можно все сказать и от нее все услышать?

Чем кончился его роман? Прочла ли Леночка эти не сожженные вовремя записки? Поняла ли их автора, оценила ли? Смогла ли, наконец, полюбить она, «не понимавшая романтической любви» и «не способная полюбить никого»?

Я вижу эту Леночку, с ласковым взглядом голубых глазок, нежную, кроткую, не способную на мучительство. Она смотрит на меня с миниатюрного портрета.

Эта Леночка – моя покойная мать.

* * *

Я пишу эти строки глубокой осенью, в деревне, у большого открытого окна. Умирающая зелень за окном, и весь мой домик, и моя комната, и мой стол, и рукопись – все залито щедрым золотом солнца. Я в нем купаюсь, как в расплавленном счастье, как в потоке и сиянии разделенной любви.

Я помню о двух могилах в двух далеких городах России: могилах отца и матери. Одна в Прикамье, на старом, вероятно уже заброшенном кладбище; другая близ города, у подножья которого течет река Белая. Мне никогда не увидать больше этих разлученных могил.

Сыновним чувством, проснувшимся в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов, осыпанной цветами сыновней признательности, – единственный памятник, какой могу поставить своими руками и своими скудными средствами. Чтобы и мне было где молиться и что чтить. И было бы это везде и всегда со мною.

Эти строки, пройдя через машину наборщика и свинцовую пыль типографии, прочтутся чужими людьми с любезным вниманием или с привычной рассеянностью. Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.

Что останется?

Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. Она останется, каковыми бы ни стали люди в массе, каких трезвых слов ни придумали бы, какой обидной улыбкой ни награждали бы мечтателя. Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении, готовые «разбить жизнь свою» за минутное невнимание и «отдать всего себя без остатка» за ласковый взгляд. После – дневники их обрываются, и тогда начинается реальное, хорошее, или дурное, или среднее, незаметное, простое.

Живя этим реальным, они хранят среди старых бумаг и любимых вещичек страницы, писанные ими в ином, нереальном мире – в мире грез об идеальной любви и недостижимом счастье. Прекрасное и неповторимое остается святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается.

Как хрупкий, засохший цветок, я берегу этот дневник моего отца. На нем почиет святость прошлого, давшего и мне радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной.

ЧАСЫ

О. Х. Лопатиной

Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в

чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя – фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.

На свете, на всем белом свете – а уж на что он велик! – не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим, – блестело; все, что было старо и поизносилось от времени, – сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну-единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.

Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.

Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях – от внука, которого бабушка не видала двадцать два года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.

И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье). Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по-разному. Звук колоколь-

чика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено – знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверти.

Двадцать лет назад с часами случилось вот что: стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти – два, вместо двух – одиннадцать, вместо одиннадцати – восемь и так далее. Однако половины и четверти по-прежнему правильно. Так, бьют они три с четвертью – значит, четверть седьмого, нужно только прибавить три.

И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку – единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем: бьют полдень – значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только раза два. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала.

И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их – неизвестно. А потом – прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять – значит, восемь, а восемь – значит, одиннадцать. Никакого труда нет накинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно.

Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался кстати чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу, – в старости слезы льются и от радости и от горя совсем одинаково.

Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик, сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера.

Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про

многое, о чем бабушка и читала и слышала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам; и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя – и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьет большую поповскую чашку в два глотка.

– И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай, – не ровен час что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастия.

Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу: видно, так сама судьба сулила. И фотографию его разыскала: сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, царство ему небесное.

Уже не раз звонили бабушкины часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчетливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением:

– Это почему же, бабушка, они так мало бьют?

Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет.

– Надо их починить, бабушка. Ведь это очень просто.

– Что же их чинить, я к ним привыкла, и так знаю.

И опять заговорили о разном, пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам:

– Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены.

Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старинные часы.

Когда инженер заторопился уходить, – опаздывал на важное свидание, – бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывши, чайную ложку и сунула ему в руку.

– Это что, бабушка?

– А это – положи в карман. Это, милый, память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги, места займет немного, а иногда посмотришь.

– Бабушка, да зачем же! Ну, спасибо!

И опять пригодился бабушке платочек. На прощанье поцеловала внука и покрестила:

– Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху.

И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил:

– Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?

– Есть бумага, Ванечка.

– Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, эта подойдет.

Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу:

– Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будут бить, сколько нужно, совсем правильно.

– Ванечка, да мне не нужно!

Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые.

* * *

Бабушка Татьяна Егоровна две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и все же было както беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьей ночи далекие звонкие колокольчики, – а вот их нет. Были разные думы. Во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом и – дзынь! – часы рассыпались. Старалась утешить себя:

– Ну, что ж, пускай! Ванечке это приятно.

А на третий день Ванечка забежал на минуту (очень торопился) и занес часы:

– Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше.

Прошумел и исчез.

Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет.

И вдруг зазвенел колокольчик и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше, все

одиннадцать, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понуро.

Так пошла жизнь дальше, и часы били теперь правильно. Бьют пять – значит, пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, удобно.

«Главное – Ванечке приятно, – думала бабушка. – Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну».

Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять, – ой, проспала! – а оказывается, и действительно всего-навсего пять часов.

Старый человек иногда загрустит, а отчего – и сам не знает. О чем-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили, и не хуже жили.

За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна, в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далекими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает – все же слушает. Слов нет – бьют часы верно и ни в чем не стали хуже. Однако радости в их бое нет – да и чему старухе радоваться.

Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены.

В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнуло. Проснулась – и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожиданье: вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили – все продолжала лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась – сон совсем ушел. Зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет – на стрелках начало шестого. А в памяти что-то осталось – и волненье.

Тогда бабушка Татьяна Егоровна, в кофте и ночном чепце, села на стул против часов и стала ждать.

Было самой немного стыдно: «И чего я, старуха, жду, чего хочу? Спать бы да спать!»

И решила: «Подожду до четверти да и лягу».

Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать:

– Раз, два...

А вместо третьего, четвертого и пятого – изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть.

Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы – подумала: да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибешься? Ведь если сказать по чистой совести – ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час. Сама себе не сказала – а ждала: пять ли пробьют или только два раза, как били они двадцать лет подряд. Как же можно ошибиться!

И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой.

Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась, – а сна нет, хочется еще услыхать, как будут часы бить половину.

Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: «Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому!» А как подошло время к половине шестого – звоном колокольчиков, ясным и уверенным, пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину.

И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты.

ВЕЩИ ЧЕЛОВЕКА

Умер обыкновенный человек.

Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение: его чернильница, некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая печатка), его кожаный портсигар, пряно протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый набор воротников и галстуков, в том числе много неносимых и ненужных.

Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним.

Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса и значения.

Но он умер – и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама.

И его письма – запертые на ключ ящики пожелтевших страниц.

Теперь стало уже излишним сохранять кургузый остаток карандаша, который несколько лет ютился в цветном стакане на письменном столе, пережив невредимо ряд периодических уборок. Он жалел этот огрызок карандаша, как добрый хозяин жалеет старого, больного, износившего силы работника. Карандаш доживал дни свои в покое, в почете, хоть и в пыли – на дне стакана. Теперь этот бесполезный огрызок потерял своего защитника и осужден исчезнуть.

Женская рука с обручальным кольцом, особенно белая от каемки траурных кружев, перебирает вещицы, открывает коробки, касается конвертов и страниц. Его ключом она отпирает ящики его стола, выдвигает их, неторопливо берет верхнюю коробочку. В коробке орлиный коготь в золотой оправе, несколько камушков с морского пляжа (не очень красивых, обыкновенных), старая оправа золотого пенсне, бисером вышитая закладка. И тут же прокуренная трубка со сломанным мундштуком. Разве он курил трубку? И почему все это он сохранял? Откуда эта закладка? Что это за коготь? Чем эти вещички были дороги ему, что он сохранял их в коробке, в ящике, под ключом?

С ними, с этими вещичками, не соединялось никаких интимных и запретных воспоминаний о «ней» или даже о «нем», вообще о людях. Камушки были когда-то найдены на пляже, у моря. Вероятно, было в те дни солнечно и хорошо, – и отблеск солнца, соль моря и ощущение простора остались на камушках. Ну, как же бросить их! *Он их жалел.* Дальше пошла жизнь непростая, несолнечная, непросторная. В этой коробочке похоронен бодрящий морской воздух и кусочек былой свободы.

Коготь, вероятно, подарок, но и памяти о подарившем уже не было, а была только знакомая взору вещица, по-своему красивая, – ну как ее бросить? А трубка... Он курил трубку очень давно, еще когда носил широкополую шляпу, а галстук завязывал свободным бантом (в конце жизни он носил котелок).

Столько лет прожить вместе – и не знать, что когда-то он курил трубку! Конечно, это – мелочь; но все же не знала об этом белая рука в трауре. Правда, он уже много лет курил только папиросы и редко-редко сигару.

Белая рука берет другую коробочку. В ней давно остановившиеся маленькие карманные часы; на стрелках – четверть седьмого, момент, когда часы остановились. В той же коробке модель топорика венецианской гондолы и половина брелка с колечком и надписью: «Séparés, mais»[1], – и на обороте: «toujours unis»[2]. Где-нибудь есть другая половина, с другим колечком и такою же надписью. Должно быть – след старой мимолетной встречи: надломили распиленный брелок, взяли каждый по половинке. Но ведь только «séparés» осталось, а «toujours unis» – наивность, воображение! И опять же хранилось уже не воспоминание, а только вещица, которую нельзя же бросить. Куда? В сорную корзину? Просто за окно? Вещица занимает так мало места, она никому и ничему не мешает, ее нельзя не жалеть.

Он *жалел* ее, как карандаш, как сломанную трубку.

Когда воздух и чужой глаз дотронулись до вещей человека – вещи поблекли, осунулись. Знакомому глазу они улыбались приветливо, даже когда он смотрел на них рассеянно, на все сразу, мельком. Просыпались – для него, и опять засыпали мирно, до следующей встречи. И им казалось – так будет всегда. Сейчас их трогала рука незнакомая, от которой можно ожидать всего. Хозяин умер – и вещи его стали тусклыми, испуганными, старенькими, блеклыми. Грядущее неизвестно. Перенести свою любовь на другого человека? Нет, вещи не изменяют.

А затем белая рука с каемкой траура спокойно, не дрогнув, как бы в сознании права, пошла на преступление. Ножницами (его же старыми ножницами) она перерезала тонкую бечевку – и пачка писем рассыпалась.

Рассыпалась пачка, но складки мелко исписанной бумаги слежались давно и тесно. Ни фразы, ни слова уже не имели никакого значения, и вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели, сохранили, не бросили, потому что нельзя же (то есть можно, но трудно) бросить то, что было когда-то свято и полно трепетного интереса. А спустя час – письма, набухшие, разбитые, потерявшие тесную друг с другом связь (складка со складкой, листик с листом),

---

[1] «Разделены, но» *(фр.)*.
[2] «всегда вместе» *(фр.)*.

лежали оскорбленной и ненужной грудой, и сложить их попрежнему было уже нельзя.

И белая рука не знала, что с ними делать дальше. Нервнее, чем прежде, она перебирала их, снова отыскивая слова и фразы, не ею писанные – и писанные не ей. В эту минуту к вещам ненужным и бесхозяйным, с которыми никто не считается и которых не уважают, присоединилась еще одна: умерший человек.

Он стал первой вещью, ушедшей из привычного уюта. Он ушел совсем и навсегда, оставив на стене большой свой портрет, плоский, с остановившимся взглядом и надетой на лицо улыбкой – для других. Глаз, которыми он смотрел в себя, не было; души его не стало. Пока маленький храм его духа был не тронут, – человек жил в пачке писем, в трубке, в полужетоне с французской надписью, в огрызке карандаша. Теперь, когда вскрыты его спешные коробочки и перелистаны самые хранимые его письма, – он ушел в шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками.

И было велико смятение его любимых вещей, согнанных с отведенных им мест, сваленных в кучу, обреченных на уход – сегодня ли, завтра ли. Осколки храма стали мусором.

Много раньше, чем белая рука решила их дальнейшую участь, – еще живя в материи, – умерли в духе *вещи человека.*

МУМКА

Мумку назвали Мумкой в честь тургеневского «Муму», хотя наш Мумка не был похож на своего тезку ни характером, ни наружностью, ни судьбой. Но имя дается слепорожденному щенку, – а как узнаешь, что получится из собаки, родители которой неизвестны? Так же случается с тщедушными Олегами и лысыми Самсонами.

Детства и юности Мумки я не помню, хотя мы с ним были одних лет; это значит, что он был уже старцем, когда я поступал в гимназию. Оба мы были любимцами моей матери, и оба взаимно друг друга ненавидели. Впрочем, за исключением матери, Мумку ненавидели все, и домашние и посторонние; он это знал и отвечал тем же чувством всему миру – и живым существам, включая кошку, и неодушевленным предметам, исключая съедобные.

Мумка был маленький, когда-то черный, в старости седой, отвратительно жирный, до того, что ноги его не были

параллельны, а расползались, брюхо задевало пол, а сидеть он мог только на боку. Относительно его породы споров не было: с первого взгляда определяли его «надворным советником». Он был наделен всеми пороками, какие свойственны невоспитанным собакам: был неопрятен, жаден, глуп, подл, злопамятен, корыстен, ехиден и беспримерно злобен. Более злобного существа я никогда не встречал даже среди литературных критиков и классных дам. Избыток злости, как это бывает и с людьми, заменял ему ум.

Мумка жил под креслом моей матери, выходя оттуда только по важнейшим личным делам. При этом он никогда не проходил по открытому пространству комнаты, а только под креслами и стульями, от этапа к этапу, дрожа, озираясь и грозно ворча, как бы ожидая нападения. Несколько спокойнее он чувствовал себя на собственной подушке под кроватью в маминой спальне и здесь даже решался оставаться один, то ли обдумывая какой-нибудь новый подвох, то ли оберегая спрятанную кость.

Подушку чистили, мыли, меняли, но все-таки она была отвратительна. И на ней, и под ней Мумка устраивал склады недоеденного. Так как кости ему давали не голые, а с мясом и с жиром, то подушка была всегда засалена да еще покрыта седыми его волосами. Добывать ее из-под кровати приходилось половой щеткой, – и за это Мумка ненавидел щетку тою же лютой ненавистью, как и мои башмаки. Она вся была искусана и подвергалась нападению даже тогда, когда, не думая о подушке, мирно подметала пол: Мумка бросался на нее из-под ближайшего стула, вцеплялся зубами и катался вслед за нею кубарем со злобным рычанием, а Савельевна говорила:

– Не собака, а прямо нечистый, прости Господи! И как его земля терпит. Хоть бы с жиру лопнул, – а не лопает.

Живя под креслом у матери, Мумка не проводил времени в праздности. Прежде всего он хватал за ноги всякого, кто подходил к матери или близко проходил мимо кресла. Он не довольствовался нанесением материального ущерба, кусая панталоны или юбку (тогда носили юбки длинные). Он стремился причинить боль и увечье и потому хватал всегда за носок башмаков мертвой хваткой, быстро вонзал клык и так держал, пока его не стряхивали другой ногой или не били по голове. Мои сапожки были всегда в дырочках от Мумкиных зубов, а на пальцах не заживали раны.

Если не было жертвы, Мумка чесал спину о деревянную перекладину кресла. Чесал он ее во всякое свободное вре-

мя, безостановочно, с яростью, повизгиванием, сладострастно. Давно уже не было на его спине волос и были только болячки, – но он все-таки чесался. Лишь в эти моменты очевидного высокого наслаждения лицо его одухотворялось подобием улыбки, в глазах появлялась живая искорка, слегка затуманенная страстью, а в мерном повизгивании – намек на ритм и хроматическую гамму. Несомненно, чесанье спины уводило Мумку в иной мир, возвышало его над обыденностью, – как поэта возвышает процесс стихотворчества, по существу столь же бессмысленный, но дающий нервам нужное раздражение.

Мумку пробовали лечить от этой страсти: мазали ему спину мятной мазью, всего его мыли зеленым мылом. Но, как те же стихотворцы, он был неизлечим, да и не стремился вылечиться, не понимая собственной пользы. Может быть, и не следовало лишать его единственной доступной ему тихой радости; но уж очень было противно его чесанье всем, даже матери, относившейся к нему с крайним снисхождением и высшей человеческой добротою.

Решено было принять крайние меры – и выполнение поручено мне. Кто-то посоветовал набить гвоздей, остриями наружу, во все перекладины, годные Мумке по росту. Конечно, я с радостью приступил к делу: прежде всего изукрасил гвоздями испод маминого кресла, а головки гвоздей срезал кусачками и еще заострил подпилком. Работа сложная, – но рукой моей водила давняя вражда и жажда мести.

Смотря на мою работу, мать сказала, качая головой:

– Бедный Мумка; но правда – нужно его отучать. Только не делай гвоздей слишком острыми.

Посмотреть, как Мумка будет разочарован, пришли все его враги, даже Савельевна, жарившая в это время рыбу. Но не таков он был, чтобы доставить нам немедленное удовольствие; прочно забившись под кресло, он смотрел на нас одним злым глазом и ворчал. Савельевне пришлось уйти, так как запахло рыбой, и только у меня, главного врага Мумки, хватило терпенья дождаться результатов моей работы. Я принес книжку, сел поодаль, притворился читающим, а сам время от времени поглядывал на кресло. Наконец Мумка встал, высунул из-под кресла морду, блаженно оскалил зубы и хотел приступить, – но взвизгнул и забился глубже под кресло.

Нетрудно представить мой восторг. Но мама была очень расстроена:

– Бедный Мумка, он, кажется, сильно укололся.

Все-таки у этого злого тупицы хватило смысла перенести свое упражнение под кресло соседнее; это не было так безопасно, как под креслом материнским, и слишком на виду; но страсть придает решимости. Пришлось мне снова браться за молоток и кусачки. В короткое время все кресла под бахромой были усажены острыми гвоздями, и Мумка был побежден.

Он еще ухитрялся как-то находить пространство между гвоздиками и осторожно двигать спиной, но почти всегда кончал тем, что накалывался, взвизгивал и отступал. Попытки тереться боком о ножку кресла не давали ему нужных переживаний: все дело было в спине. Мумка суетился, волновался, жалобно вздыхал, – но в данном случае даже со стороны моей матери он не встретил сочувствия и помощи. Ему пришлось смириться и отказаться от величайшего из наслаждений его мрачной жизни.

Он и смирился, даже как будто привык. Спина его залечилась и начала обрастать седой щетиной. Но за него мстили обстоятельства.

Эти обстоятельства заключались в том, что время от времени кто-нибудь из нас, а чаще всего гости, накалывали себе о гвозди ногу и рвали платье. Однажды очень почтенный господин, пришедший навестить мою мать, вставая с кресла, так неосторожно зацепился ногой за острый гвоздь, что поранил себя и опрокинул кресло. Пришлось долго объяснять ему, что особое устройство нашей мебели вызвано состраданием к собаке, совершенно расчесавшей свою спину. Господин старался улыбаться и говорил, что это ничего и совсем не больно, – но я уверен, что он сильно себя поцарапал, и новые брюки его были порваны. Во всяком случае, Мумка мог считать себя отмщенным, хотя и приобрел нового недоброжелателя.

Однако, когда неприятная история повторилась с одной дамой, вырвавшей из юбки целую полосу материи, – и эта дама даже расплакалась, – мать велела мне немедленно выдернуть гвозди из всех кресел, кроме ее собственного.

– К тому же, – уверяла она, – Мумка уже отвык чесаться. Ты увидишь.

Я увидал в тот же день. Этот подлый и вконец испорченный любимчик матери даже не пожелал выждать приличный срок. Глядя прямо на меня, ехидно обнажив желтый клык, он с таким остервенением чесался о первое кресло, к которому ему удалось приспособиться, что обе передние

ножки кресла подпрыгивали и стучали об пол. Мою попытку подойти и помешать ему он встретил яро-стным рычанием и, не ожидая пинка, мгновенно тем же клыком вцепился мне в ногу. Он выбрал при этом не новое место, а уже раньше прокушенную дырочку, где укус оказался больнее, и я долго с криком мотал ногой, пока удалось отшвырнуть Мумку в другой конец комнаты.

Мне было настолько больно, что мама решила Мумку наказать, хотя виноват был, конечно, я. Она схватила Мумку за шиворот и три раза ударила по расчесанному месту. У нее были такие маленькие и нежные ручки, что не только Мумка испытал лишь удовольствие, а и я бы не прочь подвергнуться такому наказанию: в нем ласки было гораздо больше, чем обиды.

Так мы жили, в вечной взаимной ненависти и в ожидании подвоха и мести. Не знаю, что думал обо мне Мумка; я же часами рисовал себе картину страшной мести. Я беру половую щетку или, еще лучше, ухват, прижимаю Мумку к стене, сам забираюсь на стул, чтобы он не мог схватить меня за ноги, и затем каким-то путем его уничтожаю, во всяком случае чем-то долго бью. Очень дурные чувства рождала во мне ненависть к Мумке.

Уничтожить его совсем, конечно, невозможно: за ним стоит мама, которая его очень любит, хотя совсем непонятно – за что. Но было бы хорошо, если бы Мумка сам уничтожился. Если бы, например, у него вдруг выпали все зубы, – тогда пускай жует башмак, сколько ему хочется; я бы даже и отнимать не стал.

Если это правда, что бытие определяет сознание, то развитие моего сознания в значительной степени определялось бытием Мумки. Так, например, во второй стадии моего младенчества, в бытность мою эсером, я представлял себе буржуазию в образе, подобном Мумкиному; впрочем, и сейчас от этого определяющего образа не отрешился. Он же рано пробудил во мне ненависть к деспотизму и насилию. Меня до глубины души возмущало, что личность Мумки, несомненного всеобщего тирана, как бы священна и охранена неписаным законом – любовью и жалостью моей матери. Причиняя боль ему, – я как бы причиняю боль ей. В этом я чувствовал неразрешимую нелогичность, – по тем временам еще не подозревая, что любовь не имеет с логикой ничего общего. В Мумке – в его спине, в его подушке, в его обжорстве, в его инстинктах собственника и трусливой злобе – олицетворялась для

меня, вся человеческая, обывательская, мещанская пошлость, вся прочность жирного эгоистического быта, доводы которого – зубы, поэзия которого – почесыванье. И я понял, что держится он, этот уклад, не своей силой, даже и не своими зубами (его можно далеко отшвырнуть пинком ноги), а каким-то веками освященным предрассудком, ни на чем не основанным признанием или же боязнью, что, сокрушив его, – сокрушишь вместе с ним и подлинные радости бытия, подрубишь сук, на котором сидишь и будто бы благоденствуешь.

Я думаю, что сознание Мумки определялось, в свою очередь, бытием моим, половой щетки и гвоздиков в креслах. Мы вечно угрожали его самодержавному господствованию над подушкой и под креслами.

И тайные и злые мечты его были, конечно, подобны моим. Он мечтал быть высокого роста, чтобы кусать за нос меня и всех, подходящих к креслу, мечтал иметь огромный желтый клык невероятной остроты, чтобы перегрызать одним махом не только кожу ботинок, но и каблук, а щетку обращать в щепки и труху. Ему еще хотелось иметь бронзовую спину, чтобы гвозди не только не причиняли ей поранений, а сами тупились и гнулись при сладостном его почесыванье. Еще он хотел бы иметь подушку в полмира величиной, чтобы под нее можно было засунуть все кости от всех обедов, съедаемых презренным человечеством, насквозь пропитать ее салом и жиром и понаделать в ней тысячу ямочек и углублений для удобного спанья.

Теперь, на отдалении времен и в бесстрастии воспоминания, я не сужу Мумку так строго. Я знаю, что только близость к людям и их влияние развивают в животных дурные наклонности: злость, подхалимство, неопрятность. Живи Мумка не в комнатах, он был бы, вероятно, отличным псом, без огромного живота, кривых ног и расчесанной спины. Он ценил бы вольный воздух и знал бы в молодости и иные утехи, кроме жирных костей и мягкой постели. Злым и нетерпимым сделала его тусклая жизнь вынужденного холостяка и ограниченность духовных интересов. Пол вместо земли и потолок вместо неба делают противными и сонными буржуями не одних собак. Но у людей есть книги и газеты, дающие им иллюзию более яркого существования; люди ухитряются жить чужими мыслями и вычитанными геройскими подвигами, и это их хоть чуточку возвышает над бытом спальни и столовой, ванна заменяет им море, женитьба – любовь, счет белья –

созерцанье бесчисленных звезд. Но чем мог Мумка заменить себе общенье с ему подобными, аромат влажной земли и ласку чистого воздуха? Он родился честным псом, – а стал домашней утварью. Будь он человеком и попади в такие же условия, он стал бы присяжным поверенным или писателем и убедил бы себя, что хорошо выполнил свою миссию на земле. Но он родился тупорылым щенком надворной породы, – и стал Мумкой. Будем к нему справедливы и снисходительны.

Век собаки недолог. К десяти годам Мумка был уже отвратительно стар; теперь даже злоба его была бессильна, да и ноги плохо его держали. К тому же у него развился маленький порок, описать который без слов иносказательных очень трудно: внезапная своеобразная музыкальность, сопровождавшаяся открытием в комнате форточки. Нельзя было его так закармливать, – но ведь еда была единственной и последней нормальной радостью его клонившихся к закату дней. Мы, домашние, особенно мать, кое-как привыкли и к этому недостатку Мумки. Но тут начался ряд неприятнейших недоразумений.

Как сказано, он весь день проводил под креслом матери и вслед за нею переходил из комнаты в комнату, из-под кресла – под стул или под диван. И вот когда приходили гости, случалось не раз, что Мумка, ютясь у ног матери где-нибудь под диваном, внезапным проявлением музыкальности нарушал чинный стиль светской беседы. При этом, привыкнув, что в таких случаях его стыдят и гонят, он немедленно же, тайком и у стенки, незаметно ускользал в другую комнату – переждать время и избавиться от шлепка.

И тогда случалось, что гости, чтобы доказать свою воспитанность и избавить хозяйку от всяких неуместных подозрений, с вежливой шутливостью и покачивая головой, слегка наклонялись под диван, ища глазами бедную старую собачку. Но бедной старой собачки там не было, и напрасно мама, больше всех смущенная, хлопала рукой по дивану и говорила:

– Пошел отсюда, ах, какой противный! Вы уж простите, пожалуйста.

Мумки там уже не было, он выскользал незаметно. Гости улыбались, подчеркивая этой улыбкой, что они не сомневаются, что Мумка был под диваном, – но все-таки выходила неловкость, и мама очень краснела. Однако было невозможно и выдать за скрип кресла Мумкину невоспитанность, так как никакой скрип кресла не мог вынудить отворять фор-

точку. Все это выходило ужасно досадно и с Мумкиной стороны довольно подло.

Вообще нужно было быть святым человеком, чтобы терпеть около себя такое сокровище, да еще защищать его от нападок и осуждений. Мать моя терпела, и это потому, что она была святым человеком. И Мумка, старый, дряхлый, больной, развалившийся, до последнего дня своей жизни от нее не отходил: он умер под ее креслом. Перед тем как околеть, он выполз на минуту, сел, как обычно: обе задние ноги на одну сторону, посмотрел на мать слезящимися от слабости глазами, сейчас же полез обратно – и уже больше не вышел.

Хоронила его Савельевна, а где и как – я этого не знаю, мне не сказали. Куда-то Савельевна ушла, унесла его труп, а вернувшись, сейчас же пошла в спальню, щеткой достала из-под кровати Мумкину подушку и сожгла ее в печке. Под кроватью она не только вымела, но и вымыла, и все время приговаривала:

– Хоть и жалко собачки, барыня убивается, а скажу: слава те, Господи! За такой собакой не наубираешься, и вони этой не будет.

Я пробовал спросить:

– Савельевна, а ты куда его унесла? Где он теперь?

– Мумка-то где? А где ему быть – в собачьем раю. Барыня вам сказывать не велела.

– Почему?

– Разве же я знаю почему? Уж, верно, ей неприятно, что ее любимца в помойку бросили. Барыня наша всех любит, что человека, что собаку.

И стали мы жить без Мумки.

Сказать, что многое от этого переменилось, было бы преувеличением. Но все-таки странно было подходить к матери и не бояться, что Мумка схватит за ногу; не было под постелью подушки и вытащили клещами последние гвоздики из кресла; не слышно было постоянных окриков, меньше ворчала Савельевна, и словно бы воздух стал получше. Но к таким переменам привыкаешь легко.

Со смертью Мумки исчезла и моя к нему ненависть; даже как будто теперь я вспоминал о нем с жалостью: все-таки всю жизнь вместе прожили.

Как-то, помню, сидел я за маминой спиной у окна, читал, а ногой, по мальчишеской привычке, болтал и шуршал по креслу. И вдруг мама сказала, слегка ударив по креслу ладонью:

– Будет тебе, Мумка, лежи!

Это она задумалась и, слыша шуршанье, по привычке окрикнула собаку, чтобы та перестала чесаться.

– Мама, да ведь это я, Мумки нет.

Мама оглянулась, потом положила свое вязанье и тихонечко заплакала. Меня это так поразило, что я не знал, что сказать. Она скоро смахнула слезу и опять принялась за работу. Тогда я спросил:

– Почему, мама? Ты про Мумку вспомнила?

– Ну да.

– Тебе его жалко?

– Видишь, милый, не то что жалко, он ведь был очень старый, да и совсем больной, а привыкла я к нему. Он десять лет был около меня, да так и умер. Вы все уйдете, вон Оля уже замуж вышла и уехала, и ты уедешь. А Мумка бросить меня никогда не мог.

– Так ведь он, мама, был собака.

Она помолчала, а потом сказала:

– Ну, конечно. Только собака так и может. Собаки очень верные, очень верные; человек так не может.

– Я, мама, от тебя тоже никогда не уйду.

Она рассмеялась, растрогалась, похлопала меня по щеке и сказала:

– Ты-то уйдешь, но это ничего, так нужно. Ну, пойди к себе, почитай или позанимайся. А отчего ты не погуляешь? Сегодня воскресенье.

Я и правда – взял коньки и пошел покататься.

В ЮНОСТИ

Заглянешь в будущее – и ничего в этом будущем не усматривается положительного, только слабая надежда, что вот хорошо бы напоследок пожить и склонить голову там, где хочется. Голова совсем не буйная, а с обыкновенным пробором в волосах, которые у почтенного человека начинают светлеть с висков.

Настоящее без перемен. Не то чтобы... но и не так чтобы. О настоящем вообще не рассказывают, а им живут. Похвастаешь счастьем – станет другому завидно; а начнешь печаловаться – лица сделаются сочувственно-далекими и тревожно-усталыми, потому что каждому человеку довольно своей заботы.

И остается рассказывать о прошлом.

Я ни разу не был министром, ни в Петербурге, ни в Уфе, ни за Уралом, ни в других местах, где этим занималось множество людей вполне приличных и на вид серьезных. Не пришлось быть также ни офицером, ни солдатом; вообще – управлять, командовать и совершать подвиги не доводилось. Всю свою жизнь я прожил простым человеком, безо всякой особенной биографии: родился от папы с мамой, учился и добывал хлеб насущный, то белый, то черный, иногда с паюсной икрой, а чаще с крупной солью. Попутно суетился, как все суетятся. Были, конечно, разные жизненные события, приятные и неприятные, но в меру: иностранцу хватило бы на десять жизней, а русскому как раз на одну. И, как коренной русский человек, гражданин и властитель шестой части земного шара, я жил больше по чужим странам, так как дома было udtесновато и неудобно. На здоровье не жалуюсь – здоров. Вот пописываю, – но чтобы писать, как пишут другие, что с детских лет ощущал трагизм бытия и веянье смерти, целый роман на такую тему, – этого я, по совести, не могу, хотя знаю, что многим читателям это нравится. Не могу потому, что в детстве я был ребенком, в юности юношей, а в данное время соответствую собственным годам.

Итак, министром я не бывал, гимназистом действительно был, и хотя достаточно давно, в прошедшем веке, а рассказать что-нибудь из тех лет могу.

Бог его знает, было это время счастливое или несчастливое. Обычно детство называют незабвенным и золотым, но мне кое-какие из взрослых годов нравятся гораздо больше. Как и большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен и позднейших, наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным. Спасибо, что хоть научили читать, писать и считать. Вместо истории нам преподавали хронологию рождений и смертей бесчисленных Карлов, Александров, Максимилианов и Елизавет, и чужих и наших, и еще мы изучали, кто с кем когда воевал. Вместо географии зубрили названия озер и полуостровов. Физику учили без опытов, геометрию без смысла, а естествознание в программу не входило, и никто нам не сказал, что кроме гимназистов, учителей, попечителя округа и таинственных Меровингов и Габсбургов есть еще и другие животные, есть огромный и великий мир живых существ, жизнь которых полнее, сложнее и разумнее нашей. И еще нам преподавали закон Божий, то есть очаровательные сказки, но только в самом глупом и безнравственном их

толковании. Если бы не здоровая и естественная ненависть к учителям и всей преподносимой ими чепухе и если бы не толковали для себя многого наоборот, – мы все выросли бы идиотами или большими негодяями.

Истории нас обучал сам директор гимназии, очень невежественный, но не злой господин, имевший романы со всеми соседними кухарками. Явившись на урок, он засовывал глубоко в нос большой палец, колупал и, помогая пальцем средним, вынимал шарики, которые сыпал вокруг себя. Что мы отвечали – он никогда не слушал, думая о кухарках. Нужно было только отвечать ровно и без перерыва. Когда нам надоедало читать заданный урок прямо по книжке, – мы вставляли в рассказ о войне Алой и Белой розы басню Крылова «Стрекоза и Муравей». На пятом шарике он останавливал отвечавшего и ставил отметку, оценивая не знание урока, а качество последней своей кухарки, – всегда снисходительно.

Законоучителей у нас было двое: один – старый, верующий, малограмотный, с огромным сизым носом, а между тем – единственный непьющий в учительской среде. Другой был молодой, академик, атеист, красивый и чистоплотный – горчайший пьяница. Но оба они говорили одно и то же, как полагалось по программе. Первый, впрочем, позволял себе отвлекаться от основного предмета и даже однажды познакомил нас с теорией социализма:

– Социалисты говорят: все твое – мое, а что мое – так это еще посмотрим.

Социалистом он считал Вольтера, но иногда по ошибке называл его Вальтер Скоттом. Сам он искренне верил в рай, в ад, в кита, проглотившего Иону, в Ноев ковчег, ангелов, демонов и прочее, что полагается. Но верил как-то боязливо, никого своей верой не заражая. Он нюхал табак с малинкой, громко чихал и вытирал бороду и усы бурым клетчатым платком.

Второй, академик, избегал посторонних тем, и мы его побаивались, пока однажды, на лесной прогулке, не увидали, как он, в пьяной компании других учителей, пляшет на полянке трепака, подобрав рясу и обнаружив белые кальсоны в синюю полоску. Нам это понравилось.

Были среди наших учителей и хорошие люди, но их губила глухая провинция и водка, – все пили дико и свирепо и забывали подтяжки в публичных домах. Самым лучшим и самым умным был наш инспектор по прозванию Савоська, человек благородный, строгий, справедливый, образо-

ванный, огромного роста и большой физической силы. Компаний он не любил, а пил один дома протяжно, мрачно, а напившись, – разносил вдребезги свою казенную квартиру и обстановку нашей «актовой залы». Запой тянулся у него неделями.

Меньше всех пили француз и немец, оба – подлинные иностранцы. У француза была крашеная борода и поэтому вечнозеленый крахмальный воротничок. Он нас не учил, а рассказывал нам на ломаном русском языке о революции сорок восьмого года, которой будто бы был участником, хотя по возрасту это никак не получалось. Невозможно было понять, с чьей стороны он бился на баррикадах, тем более что эта страница истории в наших программах не значилась; но слушать было забавно, и притом можно было не учить уроки. А немец наш был молод, голубоглаз, сентиментален и влюблен в классную даму женской гимназии, которую мы прозвали Ирония Судеб. Он хотел даже застрелиться от любви, – но она так быстро и охотно согласилась выйти за него замуж, что стреляться не пришлось. После она его ужасно сильно била по голове «Разбойниками» Шиллера в златообрезном переплете, и он за один год полысел.

Действительно, это была какая-то коллекция уродов и несчастных людей! Я думаю, что наша гимназия была местом ссылки педагогов, тем более что и город наш был раньше городом ссылки, как тогда говорилось, «не столь отдаленной». Но ведь это – как понимать! Наша губерния сама по себе была размерами больше Италии, а когда я, став студентом, ездил из Москвы на родину, то для этого пересекал в поезде одиннадцать губерний – пять суток езды. Это только французы думают, что от Парижа до Марселя – путешествие; у нас масштабы иные.

Говоря об учителях, я не упомянул совсем о латинисте и греке, о самых – по тем временам – главных. Это потому, что о личных врагах вспоминать очень неприятно. Вергилия и Гомера я научился понимать и ценить много позже, уже взрослым человеком, самостоятельно подучившись; а раньше ненавидел их всем пламенем молодого сердца.

Но кроме гимназии была у нас широкая и многоводная река и почти девственный лес под самым городом – открытая книга природы, всякому доступная, чьи глаза хотят видеть, уши слышать, а душа радоваться. Все, что нам не договаривали и не умели объяснить, мы читали на страницах этой книги.

В ней мы находили настоящий закон Божий, она подготовляла нас к восприятию подлинной истории, она очищала наши

детские головы от мусора, которым их засаривала гимназия.

И на ее пышных и роскошных зелено-голубых страницах мы учились постигать и любить огромный мир своих собратьев по бытию – зверей, птиц, рыб, гадов, насекомых, от золотистого жучка и вертлявой уклейки до сестры-моей-змеи и брата-моего-волка, которых немало водилось на лугах и в лесной чаще того берега матери-моей-Камы.

* * *

Год в наших краях состоял не из двух, как здесь (осень и лето), а из четырех времен: из очень длительной весны, коротких лета и осени и опять долгой зимы.

У меня был закадычный приятель Вася. Зимой, отбыв положенное в классах, остальное время мы катались на коньках или сидели за книжками, но не за учебниками, а за страшными, запрещенными и развратными: читали вслух Достоевского, Толстого, Шекспира, Байрона, Белинского, Писарева, Аполлона Григорьева, Шелгунова и Бокля. А кроме того, писали свои собственные произведения: он – критико-философские, а я по части беллетристической. Написал я роман, с очень сложной интригой. Он любил ее, а его отец как бабахнет ее отца по черепу пресс-папье, так тот и умер! И счастье, разумеется, расстроилось при помощи двух самоубийств молодых людей, а отец его сошел с ума. Васе понравился роман, только он говорил, что я слегка сгустил краски. Думается – влияние Достоевского.

А поздней весной и летом мы мало читали книги печатные, а больше увлекались книгой природы. У меня была лодочка на два места, совсем маленькая, плоскодонка. На ней мы уезжали либо на тот берег реки, либо на остров невдалеке от города. На острове раздевались, лежали на песке и разговаривали обо всем на свете, начиная с тайн мироздания и кончая Марусей Коровиной, в которую я был влюблен, а он будто бы нет, хотя это невозможно. Больше, однако, о тайнах мироздания и о возможности объяснить их при помощи науки, только не гимназической. Говорили о борьбе в мире добра со злом; по его выходило, что победит добро, а по моему все шансы были на стороне зла. Потом высказывали пожелание изучить язык зверей и наладить некоторую с ними жизнь. Также о государственном устройстве, а именно о низвержении гимназического начальства и завоевании права свободно

пользоваться книгами городской библиотеки. Еще о том, что в будущем люди станут питаться пилюлями универсального содержания, которые можно будет носить в кармане. Мечтой нашей было иметь большой атлас звездного неба и телескоп. Вполне допускали мысль поселиться на необитаемом острове, но здесь я не знал, как быть с Марусей Коровиной. Когда мы стали постарше, то предметом обычного разговора сделалось наше будущее. Я определил для себя писательство, он избрал дорогу инженера; нужно сказать, что к этому времени мы поменялись некоторыми взглядами: он стал верить в победу зла, я – в конечную победу добра, он возложил надежды на рост цивилизации, я – на усовершенствование человека. Так оно и случилось: он стал впоследствии инженером, а я вот – пишу.

Но больше всего мы пили солнечный свет и дышали смолистым воздухом. Когда плыли на моей лодочке, смотрели в глубину реки, которая у нас хоть и темна, а не мутна, как на Волге. И там, в глубине, было множество скрытых тайн, жизнь совсем особенная. А над нами было небо, тоже -- перевернутая бездна, тоже полная жутких тайн; в ангелов мы не верили, а в людях на разных планетах не сомневались. Но и помимо этого уж одни звезды – ведь это чудо из чудес! По берегам же цвела липа, сладкий запах которой кружил голову. И впереди была вся жизнь – тоже голова кружилась. В Марусе Коровиной я к тому времени разочаровался, чего нельзя было сказать о Жене Тихоновой, не обращавшей на меня никакого внимания.

В воскресный день Вася зашел ко мне утром; мы условились пойти в лес. По лицу его я видел, что нечто произошло: весь он был «на цыпочках», таинственный и важный. Мы были мужчинами, и обнаруживать любопытство не полагалось. Я стал равнодушно готовить сумку для бутербродов и коробочки для трав и насекомых; мы тогда самостоятельно занимались естественными науками – по случайной книжке.

Перед тем как выйти, Вася не вытерпел и, покраснев от скрытого возбуждения, сказал:

– Хочешь знать, о чем я думал? И даже решил.

– Ну, говори.

Он стал ко мне вполоборота и произнес:

– Знаешь ли ты, в чем цель жизни?

– Не знаю. Ну?

– В самой жизни.

– Как же это?

– А так, в ней самой! Особой цели нет, а вся цель в том, чтобы жить. И отсюда выводы.

Он это не вычитал, а открыл. Он, Вася, был замечательный! И я, подумавши, понял, что открытие это – великое. Если, например, он это напишет и напечатает – может прославиться. Он мне и еще растолковал:

– Это значит, что снаружи цели не ищи, она внутри. Формула такая: «Цель жизни – самый процесс жизни».

– А как же смерть?

– Смерть – не жизнь. Я говорю про жизнь. А смерть просто в конце, ею цель пресекается. Умер – и конец цели.

Однако и я поднял важный вопрос – Вася это почувствовал. Мы пошли в лес, но ни гербария, ни насекомых не собирали, а говорили и говорили. По моему выходило, что если цель пресекается смертью, то что же это за цель, какой же это идеал? Горе наше было в том, что нам не хватало слов для выражения мыслей. И мы, продираясь сквозь кустарник или сидя на лужайке, открывали истины и путались в них больше, чем в лесной чаще. Но как было хорошо! Все было придумано и сто раз сказано другими раньше нас, – но ведь не с их голоса, а сами мы нащупывали какую-то правду, изумительную и странную. То ли правду, то ли детскую чепуху. Но если чепуху – то свойственную всем философам мира, таким же ребятам и таким же восторженным путаникам.

Когда я студентом стал изучать философию, я со смущением вспоминал о наших великих открытиях. А когда стал совсем взрослым, я понял, что на путях познания задач человеческого бытия – малым, а то и ничем не отличается «великий философ» от желторотого провинциального гимназиста. Только говорит складнее, а барахтается в той же самой неразберихе. И так же ничего никогда не решит – слава тебе Господи, иначе высохли бы реки, повял бы лес и стало бы жить совсем скучно. Потому что если трижды пять – пятнадцать, и это уже верно и окончательно, – то лучше всего повеситься или жениться на продавщице из табачной лавочки. Невыносимо это для живого человека, заглянувшего в глубь реки и в звездную пучину: душа делается квадратной и противно чешется мозжечок!

* * *

Если вы представите себе девушку пятнадцати лет с глазами в страусово яйцо и со слегка блестящим маленьким

носом, пальчики которой запачканы чернилами, то это и есть Женя Тихонова. Относительно ее невнимания ко мне вышла ошибка: она просто притворялась равнодушной. Все это выяснилось в один из тех дней, которые в жизни редко повторяются.

Нас объединила литература; она писала лучшие сочинения в женской, я – в мужской гимназии. Мы гуляли по отдаленной улице, где под вечер было трудно кого-нибудь встретить, и говорили о Неточке Незвановой, Соне Мармеладовой и об Алеше из «Братьев Карамазовых». В одном месте немощеной улицы приходилось каждый раз обходить большую лужу; в этот момент разговор прерывался, и я мучительно думал о том, как я люблю Женю и как безнадежно высказать это ей среди умного разговора. И еще в одном месте был забор, из-за которого свешивалась старая липа так, что задевала прохожих по лицу. Я чувствовал, что именно в этом месте и произойдет признание, и готовился к нему неделями, хотя гуляли мы почти каждый день.

И вот однажды, как раз под самой липой, я, внезапно оборвав беседу о значении романа «Обломов» в русской литературе и о влиянии его на развитие общественной жизни, вполне корявым языком и запинаясь сказал Жене, что и моя жизнь разбита, так как я полюбил женщину, которой я не достоин и которая никогда не может полюбить меня. Теперь-то у меня это выходит ясно, а тогда получилось очень сложно и туманно. Женя на ходу спросила, не ошибаюсь ли я, считая себя совсем погибшим. К этому времени мы дошли до лужи. Сделав легкий скачок, при котором я набрал воды в калошу, я осмелел и сказал, что об этом может знать только она. Тогда Женя, мотнув толстой косой и не оборачиваясь, подала мне руку и пробормотала:

– Она ответит вам, что тоже... но оставьте меня, я дойду одна.

При этом в моей руке оказалась записка, которую я крепко зажал. Такая же записка уже две недели лежала в моем кармане, и было очень обидно, да и неудобно, что я не успел ее передать Жене.

В ее записке было сказано все, что могло сделать меня счастливым, и в доказательство приводились цитаты из Тургенева. Хорошо, что я не передал Жене своей, так как моя была написана гораздо хуже, не так литературно. Дома, ошалелый от счастья, я написал новую, огромную, где был

такой оборот: «Помнишь ли ты, как Вронский, за час перед скачками...»

Мы перешли на «ты» сразу, но только в письмах. Встретившись на другой день, мы опять бродили по тихой улице, перескакивали через лужу, замирали под липой, но говорили на «вы» и исключительно о народных былинах как источнике русской словесности. И только прощаясь – быстро обменялись записками, в которых было высказано все, чего мы не решались произнести. Оказалось, что она любит меня с Пасхи прошлого года, когда я пел на клиросе в гимназической церкви и во время «Херувимской» пристально посмотрел на нее. Я же написал ей, что образ неясный, образ еще туманный, только после ставший реальным, носился предо мной с юных лет, особенно во время моих одиноких прогулок в лесу, где сердце замирало от красоты природы, а грудь вздымалась от ласки весеннего воздуха. Сейчас я не вспомню, так ли было, но возможно, что все это было истинной правдой. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы было так.

Теперь жизнь моя была переполнена чувством к Жене. Целые часы уходили на писанье ей писем, в которых, в ряду с самыми цветистыми выражениями моей любви, нужно было показать и глубокое знание литературы, главным образом тех авторов, которых мы в гимназии не изучали. А так как Женя тоже много читала, то превзойти ее я мог только скептической философией, и я действительно писал ей: «Да не есть ли самая наша жизнь лишь миг между вечностями?»

Так мы переписывались до летних каникул, все-таки ни разу не сказав друг другу словами то, что облекали в письмах в красивейшую и страстную форму. К лету лужа подсохла, липа распустилась и расцвела и я почувствовал (скверный и безнравственный мужчина!), что я хочу Женю поцеловать. Помогла опять липа, но когда я, пустив в ход всю решимость мужчины, неуклюже обнял Женю за плечи, а она с полным доверием и без особого смущения протянула губы, – из-за угла показался какой-то человек, и мы, лишь слегка столкнувшись носами, должны были скорее зашагать дальше.

Хотя поцелуя между нами так и не случилось, но в ближайшем письме Жени я прочел фразу: «То, что произошло вчера, заставило меня горько задуматься над «дружбой» и «страстью». Мой милый, мы не должны больше встречаться! Сердце мое холодеет и грусть немолчным потоком заливает душу...»

Это было как раз накануне моего экзамена по латинскому языку, на котором я блестяще провалился, почему и остался на второй год. Женя тоже держала последний экзамен, и удачно, а затем должна была уехать в деревню с матерью. Вообще женщинам это дается как-то легче, мы же обыкновенно страдаем.

Мы, впрочем, переписывались, но должен сказать, что мои письма стали такими мрачными, что слово «любовь» в них появлялось только в кавычках. Я остался шестиклассником, а она перешла в седьмой. Вам понятно, что это значит для мужского самолюбия! Одновременно я терял и Васю, от которого отстал на год. Мне ничего не оставалось, как стать мизантропом, а мрачные люди девушкам не нравятся.

Есть такое имя – Овидий Назон. Если хотите, можете им восторгаться, а мне он не нравится. И, по-моему, невесть какая заслуга – написать «Метаморфозы». Впрочем, с годами я с ним примирился.

* * *

Вот я и говорю: будущее наше темно и непонятно, настоящее никому не любопытно, а в прошедшем горести смягчены, и вспоминать его всегда приятно. Может быть, столкнувшись носом с Женей, я такое пережил, что лучше и сильнее никогда не переживал. И я, пожалуй, рад, что в наш роман вмешался Овидий Назон: нам было слишком рано узнать, как кончаются романы при их «нормальном» развитии, то есть когда никто не выходит из-за угла, не сталкиваются носы и не появляется на сцене злодей в плаще римского поэта.

Сердце, вот то самое, которое и сейчас еще отбивает счет слева под ребрами, только не с прежней отчетливостью, – это сердце любило тогда не курносенькую Женю с глазами в яйцо страуса, а так-таки целиком весь мир, который оно тогда свободно вмещало, – с лесами, реками, горами, цветами, слонами, человеками и букашками. Теперь ему не столько дороги ландыши, сколько ландышевые капли. Не то чтобы я собирался жаловаться и скулить, это ни к чему, да и не в моем характере, – а только говорю откровенно, что в прошлом даже и чепуху вспомнить приятно, а мечтаньям о будущем всегда мешает какой-то сидящий в нас червячок. Впрочем, такое мнение ни для кого не обязательно.

РЫБОЛОВ

На реках всероссийских – там мы сидели и удили... как это было чудесно!

Человек, который обдуманной до тонкости хитростью и обманом привлекает к себе изящное, тонкое, полное жизни существо, суля ему всякие блага, притворяясь благодетелем, – и вдруг, обманув доверие, всаживает ему в горло острый клинок с зазубриной, холодно смотрит на льющуюся кровь, спокойно и равнодушно выдирает из страшной раны свое оружие и швыряет бьющееся в предсмертных судорогах тело на доски, – может ли такой человек быть хорошим?

А между тем я не встречал среди страстных рыболовов дурных людей, разве что в себе самом проглядел печальное исключение.

Рыболовом я называю, разумеется, любителя ловли рыбы на удочку и на дорожку. Все остальные способы (жерлица, перемет, верша, острога, не говоря уже о сети) – не рыболовство, а рыбачество, профессия, и к искусству, к страсти рыболовной никакого отношения иметь не могут. А главное – не родят в душе важнейшего и прекраснейшего: созерцания и мечты.

На реках всероссийских – о, вспомним, как там мы сидели и удили!

Неширокая речка с быстринками, заводями, с камышами и зарослями водяной лилии, с наклоненными над водой деревьями. И рассвет – первый рассвет, когда на поверхности реки курится туман. Лодка бортами раздвинула камыш. Лениво уходящая ночь. Молчанье или то, что называют молчаньем, но что для нас, рыболовов, звучит тихой прелюдией просыпающейся жизни. Розовеющий восток – и первый всплеск на реке.

Река никогда не спит – только замирает, только притворяется спящей. Струйка бежит неустанно и морщится, задев за поплавок. Синяя стрекоза – та действительно спит, намокнув от росы; можно взять ее за крылышки – она не пошевелится. К жизни ее возвращает только солнце; где оно пригрело – там обсыхают и просыпаются синие стрекозы, цветочками торчащие на прибрежной травке. И сразу – стрелкой в воздух: и замрет на месте, ни вверх, ни вниз, ни в сторону; не чета неуклюжему самолету.

Река же не спит. Ночью, задолго до рассвета, вкусно причмокивая, целуют воду лещ и подлещик. «Нем как рыба» – ничего не означает. Кто это сравнение придумал, тот не слы-

хал рыбьего голоса. Не слыхал, как чмокает лещ, как стонет окунь, как пикает плотичка. Рыба не нема, хоть и не болтлива. Была бы нема – зачем бы ей такой прекрасный слух? Иных крупных рыб приманивают хлопушкой по воде; а стукни по днищу лодки – мелюзга стрелками разбежится на обоих берегах.

Я думаю, что можно бы приманивать рыбу хорошей музыкой; конечно, не скрипкой, этим отвратительным инструментом для грубых и тугих ушей, а, например, дудочкой, сделанной из камыша.

* * *

Часу в четвертом, прогнав сон и одевшись быстро, чтобы не пропустить рассвета, сунув в карман ломоть черного хлеба с крупной солью (и в том же кармане коробочка с полудохлыми мухами), захватив готовые с вечера осмотренные, хорошо замотанные (чтобы не задевать леской за кустарник) удочки, – по росе мокрыми до колена ногами беги на речку. На бегу шепчи губами бессвязное, тревожное и страстное, вроде заклинания:

– Солнышко, обожди, не выходи! – Должен быть нынче клев. – Экая роса выпала! – Не забыл ли положить в коробку запасное скользящее грузило?? – Ну, держись, щука!

Рыболовы всегда сами с собой разговаривают, бессвязно, чудно, но интересно и значительно.

В лодку садись тихо, веслами не стучи, воды зря не болтай. Живцов лучше наловить тут же, у мостиков, если с вечера не наловлены.

Муха на крючок, легкий взмах особой, легчайшей удочки – и сейчас же потянуло перышко под воду: первый живчик, испуганная серебристая уклейка. И второй, и третий; и малая плотичка, красноглазая, вкусная, тут же под навесом ветвей попалась на свое горе и на рыбацкую удачу. Довольно, не к чему зря мучить мелюзгу!

Замок снят, цепочка брошена в лодку, – отъезд.

* * *

Куда ни глянешь – всякое место кажется чудесным и добычливым на рассвете. Но нужно выдержать характер и доехать до намеченного вчера – при входе в заводь, в заросли камышей, где на закате так плескалась.

Разогнав лодку и весла сложив раньше, с легким шуршаньем въезжай в камыши, чтобы только корма осталась на вольном течении.

И тут – разматывай не спеша, пока вода успокоится; курить подожди, успеется.

«Тебе, малая плотичка, придется выступить первой. Это больно, очень больно, когда крючок входит в спинку, под плавник! Но разве эта боль и даже предстоящая тебе смерть не искупаются сознанием исключительности твоей судьбы? Твоих сестренок щука или окунь сожрут просто, походя, не поперхнувшись, безнаказанно; а когда тебя схватит зубастый хищник, – тут ему и погибель, не вырвется. Все-таки... приятное сознание жертвы не напрасной, а для блага плотичьего и уклейного народа».

Живчик тихо опущен в воду. Поплавок скользит по крепкому плетеному шнуру и останавливается, где ему полагается. Водой относит и его и живчика. Удилище на борту лодки, тонкий кончик лежит на камышах.

«Гуляй, плотичка. Гуляй веселей, не все ли равно!»

И вот – первые минуты созерцания.

Алеет восток; дымка бежит по воде; воздух чист и чуток: ждет жужжанья первой мухи.

Вода еще стальная, гладкая, без ряби. А под гладью уже началась жизнь дневная, – недаром и живчик загулял бойко: тянется к камышам, ведет за собой поплавок. Тянется – значит, завидел вдали врага. И правда – всплеск под тем берегом, гвоздиками разбежалась, морща воду, стайка рыбешек, круги пошли: это вышел на утреннюю охоту хищник; то ли схватил, то ли мимо ударил. Что бы ему подойти сюда поближе!

И мечтает рыболов:

«Вот идет под водой огромная щука, старая, с обомшалой спиной, острозубая. Ищет легкой поживы, смотрит снизу вверх, сама под листами прячется. Она еще далеко, а уклейки уже разбежались, попрятались. И видит щука: жирная плотичка запуталась, либо заигралась, болтается на месте, не уходит. И точит щука зубы, целится. Сейчас даст хвостом толчок, откроет пасть и – цап!..»

Поплавка нет; вынырнул на минуту, попрыгал, как живой, – и опять ушел под воду. А как будто все спокойно... Вот где нужна выдержка! Дерни раньше времени – и ушла щука. Нужно знать ее повадки, не мешать ей насладиться, пока не натянет сама крепкой лесы.

Она схватила плотичку поперек тела, вонзила острые зубы, держит, мнет, пробует, тихо повертывает головой себе

в пасть. Тут бы и глотать – да накололась щука, проткнула губу двойным острым якорьком. Боль невелика – щуки не чувствительны, – но обман поняла: неужели попалась? И вот тут – резкий бросок к камышам, так что леска загудела струной.

Теперь, рыболов, не зевай! Удочку вверх, чтобы тонкий конец снасти гнулся колесом. К себе не рви, от себя не пускай, держи от камыша подальше, выводи на вольную воду, когда нужно – подматывай, когда нужно – ослабляй, не спеши, не волнуйся, пружинь: побьется щука, устанет, ляжет брюхом вверх отдохнуть, – тогда подводи ее осторожно к лодке, готовь сачок. И вот тут-то не дай ей сорваться сухим и резким ударом, иначе махнет хвостом – и прощай до будущей встречи.

Идут минуты трудной борьбы. Бросается щука то в камыши, то к середине реки, то в глубь, то на поверхность. Вся рыбешка кругом разбежалась и попряталась. Вон она какая страшная и сильная, щука зубастая, – над такой пробьешься с четверть часа, а то и дольше. А если слишком могуч старый хищник и удастся ему вытянуть всю лесу, лучше бросай скорее в воду удилище. Далеко не утянет, все равно выплывет снасть на поверхность: плыви за ней в лодке и поджидай. Крепко зацепила крючок щука, назад не выбросит. Только придется долго выпутывать лесу из речной травы.

И лезет из воды в лодку узкая зубастая щучья голова, белыми глазами с ненавистью смотрит; обессилела щука, и хвост ее запутался в петлях подсачка.

Победа!

* * *

Тем временем поднялось солнце и ожил мир. Золотая муха ткнулась лбом прямо о борт лодки, упала в воду, бьется лапками напрасно. Плыла недолго: цапнула ее рыбешка, вспух на воде пузырек и расплылся кружочком. Окончилась мушья жизнь.

Воздух холоден, солнце горячо. И нежны дали за отлогим берегом. Много видал я рассветов во многих странах. Смотреть на иные из них приезжают туристы нарочно; ложась спать, велят, чтобы их непременно разбудили, когда солнцу полагается вставать по приказанию путеводителя. Ничего себе, рассветы как рассветы. Но нет рассвета лучше, чем на неширокой и рыбной русской реке!

У рыболова несколько пар глаз: только одной он смотрит за поплавком, другими – с нежной любовью глядит на просыпающийся мир. Ради него он здесь – не ради поживы: от жилья подальше, в тесном слиянье с ласковой живой природой. Не смейтесь над страстным рыболовом, он – служитель прекрасного культа. Никто не видит столько рассветов, как рыболов-любитель. А кто видит много рассветов, у того душа беззлобней, тот дольше молод.

Щуки наелись – и солнце поднялось. Либо домой хвастаться успехом, либо, оставив лодку, ловить на быстринке, где речка делает поворот, где дно чистое, песчаное, пестрых темных пескариков, можно сразу на два крючка на одной леске: дело верное, простое, занятное. Иной раз схватит и карапуз-окунишка, любитель червячка.

Программа дня будет такая. Сейчас – досыпать, чаю напившись, недоспанное за ночь. Перед закатом можно с крутого берега попытать на червячка – там, где недавно брошена зашитая в худую марлю приманка из крупы, гороха, хлеба; уходя, наловить бойких живцов для утренней охоты. Если будет ночь хороша – на лещей, рыбу трудную, осторожную, требующую от рыболова выдержки, терпенья и большого искусства. А уж под утро непременно попытаться поймать хитрого и алчного шереспера – на длинную леску, пущенную по течению на маленьких поплавках, чтобы не провисала и рыбы не пугала. Шереспер бьет рыбешку хвостом, прежде чем схватить и заглотать; поймать его на удочку – исключительная удача; можно спиннингом, с берега, но как-то не по сердцу русскому рыболову английские выдумки; и реки наши, с травкой на берегу, с плывущими ветками, с поросшим дном, не подходящи для такой ловли. Мы – попросту.

* * *

Стоят палочками рыболовы-любители по берегам Сены, удят подержанную кильку. Смешной народ, – а все-таки, проходя по берегу, нельзя не остановиться и не посмотреть на унылую эту ловлю. Подымет такой рыболов голову, посмотрит рассеянным взором – и во взоре его мелькнет знакомое и важное: созерцание и мечта. Видно, и в ванне можно ловить рыбу, если уж страстно хочется. А кто не понимает этого, тому никак не объяснишь, потому что люди бывают разные, страсти их – тоже. Зато – «рыбак рыбака видит

издалека». И увидав – подойдет и непременно расскажет, как однажды попала ему такая рыбина, что, знаете, ну прямо... одним словом, смучился. И с каждым разом, с каждым рассказом растет эта рыба в собственных его глазах; особенно если она сорвалась: огромных размеров достигает, фунтов этак на... была ли она таковой, не была ли – не все ли, в сущности, равно? Не была в натуре – в мечтах была. Потому что рыболов всегда – великий мечтатель.

Солнышко заходит, река темнеет, синие стрекозы устроились на стеблях травы и уже намокли от росы. И струйки воды будто бы заснули, – но это только кажется: река никогда не спит!

БАБУШКА И ВНУЧЕК

Два образа, дорогой земляк, закинули вы мне в душу, и никак не могу от них отделаться, – всё они стоят передо мною. Теперь вам придется прочитать напечатанным кое-что из нашего вечернего разговора, главное – из ваших рассказов: про бабушку, которая все в жизни выполнила, и про мальчика, который шел вдоль ручейка.

Про бабушку, собственно, немного. Была такая старушка-бабушка, в мирном городе Чистополе, в хлебной житнице прошедших времен, на высоком камском берегу. И была та бабушка так хороша и чиста душой, что лучше и представить невозможно. Она была из староверов; становясь на молитву, надевала черный сарафан, голову повязывала белым платком, в руках держала лестовку, крестилась двуперстно, старыми губами уставно подпевала.

Для внука – бабушка всегда была такой: старенькой, морщинистой, беззубой, хотя и не сгорбленной годами, а прямой в стане. В поклонах поясных и земных на общей молитве бабушка от мира не отставала и на поясницу, как другие, не жаловалась. Со сторонними бабушка была строга и справедлива, только внучку́ потворщица и баловница. Надо, однако, полагать, что была и у бабушки своя молодая жизнь, только очень давно, и никак вообразить этого невозможно. Если была в ее молодости какая шалость или непокорность – все искуплено послушанием и подвигом зрелой жизни и на весах Страшного суда скинется с чаши малым золотником, а то и вовсе забудется. А за доброту ее и святость старой ее жизни даже и большой грех пошел бы с позднейшим подвижничеством так на так.

Одним словом, сказал про нее внучек, когда уже стал большой и сам свершил половину трудного житейского пути, – так сказал:

«Если есть на свете ад и рай и если случится, что приведут меня по смерти ко врагам райским, – то прежде всего я спрошу:

– А бабушка моя тут ли?

И если окажется, что бабушки там нет, – я им прямо скажу:

– Тогда я вас и знать не хочу!

Потому что, если моя бабушка не в раю, тогда это не рай, а одно безобразие. Такой несправедливости нельзя вытерпеть. Она была по-настоящему святой женщиной и выполнила в жизни все, что положено человеку выполнить для спасения».

Вот пока и все про бабушку, а читающий да разумеет, чем образ ее мил, чем дорог и почему вспомнился.

А теперь про мальчика, который шел по ручейку.

И в этом, и в любом месте, и хоть сто раз можно повторить и нужно повторять, что наша весна, русская и северная, совсем особенная и что здешние люди настоящей весны не знают. Здесь после зимней мокрети проглянет солнце, расцветут цветы, – а назавтра жара и трава желтеет. А у нас первый весенний день нужно уметь угадать, выглядеть его под снежной скатертью, унюхать в воздухе, услышать в воробьином веселом разговоре. Начавшись, долго тянется она, наша северная весна, с проталинками, с ледоходом и многоверстым половодьем, с вербой, подснежником, с грозами и радужным цветеньем, – пока не распустится она в душистое смоляное лето, а в какой день – так и не узнал. Описать это – все равно не опишешь; многие пробовали, – да приставал к перу волосок и зря мазал по бумаге.

Для мальчика, внука святой бабушки, весна приходит в тот день, когда талый снег побежит ручейками.

Мальчик, о котором мы с земляком говорили, подобрал на дворе палку и вышел за ворота. От проталин под стеклянной корочкой льда бежал по скату улицы ручеек, извиваясь по прихоти, потому что улицы там были немощеными. И мальчик, прочищая путь воде, разбивая палкой корочку, отгребая в заторах мокрый снег и весеннюю грязь, пошел по течению ручейка.

Руки работают, а голова думает: куда приведет ручей? Из улицы за город, из канавы в речушку, из нее в речку, из речки в реку, из той в другую, а там в море, а может, и на

край света – и оттуда водопадом уже совсем неизвестно куда.

Пустил мальчик на воду щепку и смотрит, как она крутится да как она торопится, как бьется о берег, гвоздем окунается в стремнину – и опять выплыла. В ином месте щепка пропала под мостом – и теперь беги ищи, где ее вынесет на вольный свет. Намокли у мальчика валенки и пальцы на руках померзли, – а никак нельзя бросить занятие и не хочется вертаться домой, пока солнце не потухнет. Бабушка ждет, беспокоится, старыми пальцами перебирает кожаные барочки лестовки, старыми губами шепчет, что помнит, из уставной молитвы.

Дома, намаявшись за день похода, мальчик спит и видит во сне все то же теченье ручья, блестки водяных морщинок, талый снег и весеннюю муть. Во сне растет и наутро встанет на день старше и умнее, на сутки ближе к мудрости, что узнать полностью нам ничего не дано, что все, как весна, повторяется и нового под солнцем нет и не будет. Для того и кругла земля, чтобы не было ей ни конца, ни начала и чтобы всякий путь возвращался на свои круги.

Потом мой земляк рассказывал, как однажды ушел он по теченью ручейка, да так и не вернулся домой.

Бабушка причитала: «Ты уйдешь, – а как я одна останусь?» Солнце топило снега, время было замечательное, кругом гомон и говор, кто не любит обещаться впустую – должен действовать.

Как тупорылый щенок какой хочешь породы, едва промывши светлым воздухом молочные свои глаза, тыкается теплой мордашкой куда попало, потому что мир нов и нужно в нем участвовать, – так вот и мы, дорогой земляк, ищем, хорохоримся, предполагаем, жертвуем, а в общем – идем по бегу весеннего ручейка, до ужаса любопытствуя, куда он нас приведет и чем все это кончится.

Исстари повелось, что были на Руси странствователи, искатели правды. Их рисуют бородатыми, с посохом в руке и с котомкой за плечами. Этих любителей путничать называли своевольными и божевольными шатунами, незнамыми, странними, захожими людьми, а в песнях пели милосердными богатырями. Иные кончали свое странствие таежными скитами, а другие до конца жизни пребывали неустанными землепроходцами, и путь их ищущий был на Киев, на туретчину, на чужие страны. Полагается думать, что вела их смиренная вера, – а вправду их вело страстное любопытство, сомненье в том, что земля кругла, что все

люди двуглазы и что три кита живут только в сказке. А это уж не смирение, а бунтарство. Говорили, что «одним избяным теплом не проживешь» – надобно потрепать много лаптей. И уходили гуськом, один за другим, по теченью ручьев, палочкой пробивая ледяную корку.

Эти люди не перевелись, и не у всех их длинные бороды и посох – много среди них молодых и бывалых смолоду. Случалось – уходили и большими толпами.

Так однажды ушел и наш мальчик.

Уж и бабушки не видно, и родной дом приземлился и стал совсем маленьким. Не заметил мальчик, как просохли в Закамье заливные луга, как соловьи повили гнезда и перестали петь, как налился колос, а потом поля оголились и покрылись золотой щетиной, потом приспело дождливое время и снова запахло снегом, а там стукнул мороз.

Давно уже нет ручейка, а вместо него бежит ручей жизни, тоже вьется прихотливо, тоже ведет неизвестно куда, из канавы в рытвину, из реки в море – все ближе к краю света.

И сам мальчик уже не мальчик, а один их тех, кому было суждено пройти крестный путь русских надежд и страданий – полностью и по совести.

Может быть, он и не совсем такой, как все, как тысячи, – но путь проделал честно и точно тот самый, как тысячи, как все без отличья: с севера на юг, из Крыма к туркам, от славян на парижский завод точить и прилаживать заднюю ось. И вот мы сидим, смущенные воспоминаниями о наших родных камских берегах, о том, как шумит у нас бор и свистят пароходы, как в ледоход громоздятся на завороте реки, льдина на льдину – и как разом рушатся, да скольких сортов и цветов бывают сыроежки, да как по осени желтеют и золотеют опушки, – сидим в Париже, оба здесь старожилы и оба нездешние, а тамошние, одним словом, северные, прикамские, и здесь мы совсем напрасно, зря завел нас сюда мутный весенний ручей. Я – постарше, попривычнее, а он, молодой и поживший, говорит, потирая лоб там, где будут морщины:

– Не понимаю, куда ушли пятнадцать лет? Не заметил, как они прошли.

Человек, которого не умудрилась удержать дома даже добрая бабушка, катится по свету, как на салазках с ледяной горы: удержаться никак невозможно, только направляй путь железной сваечкой, да и то больше для собственного утешения, а несет и швыряет сила не своя, чужая, ничья. И

как во сне, побежали и пробежали года, страны, путаные думы и те маленькие огрызки счастья и недоли, из которых складывается человеческая жизнь, у одних с выгодным, у других с плохим перевесом. Даже некогда оглянуться, сложить ладонь зонтиком и посмотреть, все ли еще стоит на крыльце бабушка – или она уже на сладком отдыхе, а в ее сундуке больше нет белого савана.

Если теперь начать вертеть колесо в обратную сторону, то получится большая неразбериха.

Идти по теченью, от первой проталины – к океану, очень просто, и сбиться с пути не на чем. Идти обратно: свои следы утеряны, а новых чужих следов нет числа; что ни шаг – то поворот и развилка, что ни взгляд вперед – то новое устье. Из тысячи ручьев, впадающих в одну большую речку, нужно догадаться выбрать свой, который поведет домой, к своим лесам, в родной бабушкин город Чистополь. Это, земляк, очень трудно, да и возможно ли.

И даже самый город переменился – не сразу узнаешь. Помните, как там длинной вереницей стояли хлебные амбары, которым нечасто приходилось пустовать, сколько было одних торговых пристаней, какая цветная толпа встречала первый пароход с Нижнего? И нет той улицы, и нет знакомого крыльца, и кости бабушки давно истлели в земле, так надолго покинутой внуком. Встретят чужие лица, при встрече не улыбнутся, не ответят на робкое приветствие, повернутся спиной к пришлому неведомо откуда человеку. Неведомо откуда – и неведомо зачем.

Вот когда поймется, что крестный путь не был последним испытанием и не был труднейшим. Ручеек бежал вниз и вниз, – а обратно подыматься нужно в гору.

Скажем даже: нашел дорогу и вернулся внучек. Вернулся помятый жизнью, без красных щек, без теплых варежек и молодого любопытного глаза. Думал, возвращаясь, что чужой язык остался за горами, морями и границами, а на поверку – чужой язык здесь, дома. Либо по-русски не понимают – либо изменился сам русский язык. Слова как бы те же – понятия иные. Стало лучше или стало похуже – разобрать нельзя; верно одно, что никто не помнит про старую бабушку, нет тропы к ее могиле и самой могилы нет. Точно прошли не годы, а века, точно засыпана прежняя земля толстым слоем новой, – и это не снег, по весне не растает.

Если внук вернулся умен – тогда и в грусти поймет, что только для него мир перелицован, а для всех других сегодня и есть сегодня, как вчера было вчера. Стареют новые

бабушки, родятся новые внуки; и с первыми весенними ручьями по всей непомерно большой нашей стране пойдут мальчики с палками дробить ледяную корочку и смотреть, куда бежит вода и где конец ее бегу. На ходу мельком оглянутся на пришлого человека: где ему понять их великое любопытство. А у него и впрямь совсем другое теперь на уме: разыскать старый бабушкин сундук или хоть ее ременные плетеные четки с треугольной висюлькой – не для веры, а хоть для памяти.

Осень весны не понимает, дорогой земляк, хотя у каждой поры года своя прелесть и своя красота и делить им, казалось бы, нечего, можно бы и договориться. Но каждая пора знает свой черед и уступает другой время и место без задержки в час, однажды указанный. Всякий год прилетают и улетают ласточки – и те же и не те.

Мы еще о многом говорили с земляком, и о приятном, и о нужном.

Приятное – эти разные воспоминания; тут мы друг друга перебивали, стараясь вперед другого сказать, как хороши на большой реке плавучие беляны и как в наше время строили на них кружевной деревянный домик; и еще – как на самом носу длинного плота горит костер, чтобы часом не наскочил сонный пароход снизу. Но за один вечер всего в памяти не переберешь.

А нужное – это взаимный уговор и ласковое утешенье. Главное – чтобы без злобы, никого не осуждая и ни в чем не каясь. Нездешние по рождению и привязанностям – в здешних мы никогда не обратимся, да и охоты к тому нет. С людьми мириться трудно, с судьбой можно, а будущего не угадаешь.

А всего любопытнее, что наша судьба не исключительна, как не очень уж приметливо в истории и наше время: бывало такое раньше, будет и впредь. Утешенье маленькое и слабое – а все же: начав с маленького, можно додуматься и до большого, а то оно и само придет, даже и непрошеным, и не сегодня – так на днях, годом раньше – годом позже, и придет оно для всех одинаково.

Так мы и решили. Но пока вспоминали и решали, мы, говоря обо всем, много раз возвращались к образам, очень уж прочно запавшим в душу и с нею сжившимся навсегда: к бабушке, которая все выполнила для святости, и к мальчику-внуку, который шел, да так и ушел по теченью раннего, холодного, мутного, но живого и забавного весеннего ручейка.

ЧУДО НА ОЗЕРЕ

Проф. В. М. Ц-ву

Опять и опять, со странной непоследовательностью, в неурочный час и без всякой связи с обстановкой (за окном скука, в комнате полутемно, в руках прочитанная газета) – встает предо мной высочайшая отвесная скала над спокойным озером.

Закрываю глаза – и слышу четкий, но очень далекий звон колокола. Он доносится сверху, оттуда, где у самого края тонкой палочкой белеет колокольня игрушечной церковки. Сам же я на другом берегу, отлогом, у воды, которая едва плещется.

Видеть все это мысленно с такой ясностью, когда прошло уже почти двадцать лет, как не бывал я на озере Гарда, красивейшем из итальянских озер! Срок немалый, профессор, как вы думаете? Годом больше, годом меньше – не в том дело; все равно – какой цифрой изобразишь *вечность*?

Да, мой дорогой профессор и старый друг, прошла вечность. Прочтя эти строки, вы будете удивлены, почему так неожиданно я вспомнил сегодня наши дни на озере Гарда. Приблизьте ухо – я вам шепну:

– Потому что этих дней я никогда и не забывал.

Если вы наклонитесь поближе, я добавлю (только не смущайтесь):

– И вы, профессор, тоже *никогда* их не забывали.

Вы видите – я владею вашим секретом. Но не будем оглядываться на нас теперешних; мы, кстати, давно и не видались. Да и нужно ли видеться? Встречаясь после долгой разлуки, люди смущенно улыбаются, мнутся и ловят выражение глаз друг друга: «Каким он меня нашел? А сам он, бедняга, да... немножко изменился...» И каждый думает про себя: «Кажется, я все же постарел меньше».

Почему вспоминаю именно сегодня? Потому, что сегодня, как вчера, как завтра – под каблуками французский паркетный пол, на стене календарь и сонная осенняя муха. С малого разбега я бросаюсь на эту стену, наваливаюсь, обрушиваю ее, пробиваюсь наружу, весь обсыпанный камушками и пылью штукатурки, с плечом, разбитым осколком упавшего карниза, – и вот мы на свободе, профессор, мы скинули с плеч по двадцать лет, мы на берегу озера Гарда, в местечке Мальчезине, ничем не замечательном, даже, по совести

говоря, плохоньком, но для нашей памяти – священном. Не молчите же (какой вы медлительный!), отвечайте:

– Что вы дали бы за возможность еще раз пережить то, что было пережито, и быть таким же, каким были тогда?

Ну что? Весь мир? Всем-то миром мы не владеем, профессор, не стоит и обещать. Давайте – обещаем за это маленький остаток нашей жизни, эту никому не нужную мелочишку, зачем-то залежавшуюся в кармане. Ох, как мы бедны, профессор, и как богаты были мы когда-то!

* * *

Один раз в жизни мне довелось изображать важную особу.

Я тогда ведал в Италии экскурсиями русских народных учителей и студенческой молодежи. Объезжая города, где были у нас группы экскурсантов, заехал и в местечко отдыха – на озеро Гарда. Тут жило человек пятьдесят, во главе с руководителем, московским профессором-геологом, человеком превосходным и оригинальным. Чтобы не смущать – не назову его: в соседней стране он делит с нами удел зарубежного бытия.

Для маленького итальянского местечка такой наплыв иностранцев, хоть и небогатых, – большое событие и источник благосостояния. Понятно поэтому, что приезд туда «начальника русских караванов» не мог пройти незамеченным, и мне приготовлена была торжественная встреча.

От Дезендзано до Мальчезине – большой путь по озеру на пароходике, который под скалами кажется водяным паучком. В узкой части озера есть одно селеньице, забравшееся к самому небу. Почему поселились там люди – совсем непонятно; впрочем, вообще трудно понять, почему и как попадают люди на вершины гор, на острова, в непролазные дебри. Подняться в селенье было можно только пешком, для чего проникали в дырочку внизу отвесной скалы и дальше ползли червячком по неведомо кем прорытому пути – вверх, винтом, как на высокую башню. Всякие товары, тяжелые вещи, продукты питания поднимались прямо с берега на стальных канатах на такую высь, что много ниже вили гнезда соколики с пискливым криком, а в туманное утро, случалось, и облако застревало посредине скалы, отрезав от земли жителей чудесного селенья.

Ехал я мимо этих чудес, мимо берегов, золотевших от ковра зрелых лимонов; Гарда – лимонное царство, с виноградом тут хуже. К концу пути солнце уже было низко, и

скалы бросали тень на спокойную воду. Вот, казалось, спокойное озеро – чистая благодать; и не верилось, что славится оно внезапными бурями. В вечерней прохладе дышать было легко, и красота была несказанна. Ко всему в довершенье предстояла встреча с приезжими русскими и с милым профессором, с которым мы год назад подружились в Риме и с тех пор не видались.

Подъезжая, я всматривался в берег, где на площади, у самой пристани, стояла толпа. А сойдя с парохода, попал прямо в объятия почтенного геолога, – и вот тогда внезапно грянул оркестр.

Оркестр догадался грянуть... «Боже, царя храни», – и ко мне подошел синдак коммуны, высокий старик, с приветствием от лица сограждан.

Только милым провинциальным итальянцам могла прийти в голову такая блестящая идея: встретить русского политического эмигранта царским гимном. Поразило меня это так, как если бы сейчас кто-нибудь догадался исполнить в мою честь «Интернационал». Но как старательно разучили музыканты этот гимн и как чудесно сыграли! Не рубленым темпом, как играли его в России, а с какими-то тонкими оттенками, с замедленным ритмом во вступлении и ускоренным в фортиссимо. Совсем посвоему – и очень любовно.

Не один я был смущен этим сюрпризом, – смутились и экскурсанты, вышедшие меня встретить. Я скоро спохватился и, как умел, сделал им знак, чтобы не вздумали выражать протест, на который молодежь так падка. Не объяснять же итальянцам маленького местечка, что этот гимн не совсем наш, что в нас он чувств приятных не будит! Не в нем дело – дело в трогательной предупредительности представителей городка, в их славной внимательности. Зачем их разочаровывать и обижать.

Еще раз пожав руку синдаку, я попросил оркестр сыграть гимн Гарибальди; не королевский, не очень популярный, а гарибальдийский, всеми любимый и приемлемый:

Вскрываются могилы – подымаются мертвые.
И вот восстали все наши мученики:
Увенчаны лаврами, с мечами в руке,
С пламенем и именем Италии в сердце.

Вышло удачно, потому что местечко оказалось республиканским.

Теперь мы уже облобызались с синдаком и всей толпой отправились в наш отель. Вдогонку нам оркестр играл веселую песенку. Старого синдака усадили за стол, окружили бойкими нашими барышнями и хорошо напоили шипучим асти. И он нам понравился, и мы ему полюбились, и стал он с того дня нашим ежедневным гостем.

И вот тут-то, профессор, и начинается.

Сначала на озере, прямо против садика нашего отеля, большие рыбацкие барки, украшенные фонариками; а садик от воды отделен только легкой решеткой. Потом, когда лодки уходят на покой, выплывает луна, большущая, ясная. Вся наша молодежь разбрелась, мы же на сегодня за другими не следуем, а делимся своими думами и чувствами друг с другом.

Я знаю, профессор (мне насплетничали), что у вас каждое утро появляются на столе свежие полевые цветы, целый букет, и что приносит и ставит их существо кротчайшее и милое, и что вы в этом неповинны и относитесь к ней, как к дочери, потому что волосы ваши уже седы и их мало – хоть и не стары года. Но, профессор, кто, живя на озере Гарда, не влюблен, того вы же первый назовете сухарем и нестоящим человеком.

В боковом кармане у вас тетрадочка, а в тетрадочке стихи. И сколько вы ни скрываетесь передо всеми – от меня вам не укрыться, потому что мы ведь одной породы и почти одного поколения. Над нами часто смеются, но нам всегда завидуют.

Мы поклонники молодости и соблазнители; робким мы потихоньку советуем: «Не смущайтесь и не бойтесь быть смешными; луна прекрасна, вечер тепл, дорожки над озером уютны и безопасны; гуляйте по ним вдвоем, говорите о прекрасных пустяках и учитесь целоваться».

Сами же мы, как старшие, сегодня вечером говорим о загадочности мироздания, о вечности, о звездных далях, о сладости музыки и поэзии, об уходящих годах. Но кончается все-таки тем, что вы, вглядываясь в мелкий бисер своей записной книжки, читаете стихи, посвященные не ей, а вообще – молодости и тому смешному и странному чувству, от которого никуда не убежишь и вне которого жизнь так безвкусна. Нужды нет, что вы – геолог, а я недавний адвокат.

А когда голос ваш начинает уж очень сильно дрожать, тогда вы ведете меня в комнаты, в освещенный луной зал, к роялю, чтобы досказать музыкой то, чего словами не выскажешь; там тё же стихи вы объясняете мне внезапной

импровизацией – вы изумительный музыкант, профессор геологии!

Вы играете, а зал наполняется тенями: из лунного сада в лунную комнату входят люди парочками, садятся поодаль, теснятся в затемненных простенках – в полном и благоговейном молчании. И тогда я шепчу вам:

– Сыграйте им что-нибудь, что бы захватило их и унесло!

Вы говорите шепотом:

– Но я могу сейчас сыграть только свое, только то, что сейчас чувствую, чего еще и сам не знаю.

– Это и нужно, профессор.

И вы играете. Не знаю, как назвать вашу музыку; может быть, она была больной, может быть, гениальной. Что-то необыкновенное вы сделали тогда со всеми нами. Я увел вас потом в вашу комнату, боясь за ваше сердце; вы были бледны и зачем-то все извинялись. Я ушел обратно в сад и в ту ночь не спал. Я вам сознаюсь, профессор, – я не один гулял, пока луна стала бледнеть и с озера потянуло сыростью. Я выполнял наши советы и наши уроки – и чувствовал себя счастливым юношей и не слишком робким. Виноваты в этом были вы.

Таких ночей было несколько – я засиделся в озерном местечке и на время забыл свои ревизии. И не каюсь.

* * *

По обязанности руководителя разумного отдыха профессор устраивал с экскурсантами прогулки в горы и вел с ними геологические беседы. Домой возвращались усталыми, голодными, опаленными солнцем и насквозь проветренными горной свежестью. И все-таки хватало сил после ужина снова бродить по берегу озера, прятаться в темной зелени, пеньем нарушать покой мирных мальчезинских жителей. Дверной ключ в отеле всегда торчал снаружи, и дверь хлопала до самого утра. Вставали поздно и до купанья сердито щурились. Писали и посылали в Россию кучи открыток с видом скалы, над которой белым гвоздиком торчала маленькая колокольня.

Однажды профессор повез молодежь на остров на хороших лодках, с запасом провизии, с удочками, ради прогулки и, конечно, «научных занятий». Отплыли при легком ветре на склоне дня, чтобы там закусить, погулять и вернуться при луне. Гребцов не взяли: сами гребцы неплохие.

Были уже далеко и от местечка и от берегов. Ближе к острову озеро было широким и открытым, как маленькое море. Ехали с песнями и шалостями, – профессорская лодка впереди.

Но озеро Гарда капризно. Из-за высокой скалы незаметно подкралась тучка, вода потемнела, подул порывистый ветер, потом налетел настоящий шквал, волны забурлили, и озеро разыгралось, как заправское море. Вместо пенья – крики ужаса, а остров еще далеко, к берегу еще дальше.

На передней лодке профессор, бледный и дрожащий, но командир, ответственный за жизнь молодежи, зовет глазами берег острова, считает взмахи весел, молится про себя всеми молитвами, которые знает и которые спасали его в других жизненных бурях.

Так шли минуты и так шли часы, пока лодки относило ветром и крутило среди волн. Было темно, когда из последних сил добрались до острова и ткнулись носами лодок в песчаный берег. Все были целы – десятки молодых жизней. Усталые, промокшие, молчаливо выходили из лодок и скорее отбегали от страшной воды. В этот момент взошла луна.

И вот перед толпой испуганной и присмиревшей молодежи встал профессор, обнажил голову, осветив луной огромный свой лоб, и сказал строго и убедительно:

– Все на колени!

Опустился первым впереди – и за ним опустились все. И он стал за всех громко молиться.

Молился словами благодарности за спасенье – Богу ли, року ли, словами своими, такой же музыкальной импровизацией слов, какая лилась из-под пальцев его у рояля. Молился долго, поднимая руки к небу и к взошедшей луне, улетев мыслью в звездные миры, с глазами, полными счастливых слез, и с сердцем, полным детской веры. А за ним – все эти молодые скептики, студенты, шаловливые девушки. Были минуты странного экстаза, сознания совершившегося чуда, которое вымолил у неба и озерных чудовищ вот этот странный человек, профессор геологии, для них уже старик, но влюбленный в жизнь и знающий что-то такое, чего они еще не знали, но силу чего чувствовали на себе.

Потом они окружили его молчаливой толпой и смотрели на него, как на святого, проведшего их по волнам невредимыми, сохранившими такое дорогое сокровище, как жизнь, еще почти не начатая.

Так же молча расселись на берегу и стали смотреть на озеро. Волн уже не было, вода покрывалась рябью, от луны шла дорога света. Еще полчаса – и озеро стало совсем спокойным, как это бывает только меж высоких, обманчивых и коварных берегов Гарда, лучшего из итальянских озер.

Наутро уже спокойно вспоминали они свое приключение, но многие остались задумчивыми. Профессор был нездоров и к обеду не вышел. Сегодня, сверх обычного утреннего букета, он получил еще много цветов, собранных любящими руками, может быть не только женскими.

* * *

Я взволновал вас этим рассказом, дорогой профессор? Мой рассказ может быть неточным: я пишу его с чужих слов, так как меня тогда уже не было с вами. Те, кто мне рассказали, не улыбались, вспоминая о вас и об общей молитве. Они говорили, что пережили близость чуда, что спастись было нельзя, значит, это было делом вашей святости или вашего колдовства. Одни, верующие, приписали свое спасенье вашей молитве, другие, скептики, отказались искать объясненья, чтобы не изменить себе, но и не нарушить силы воспоминанья.

Я же, веселый безбожник, тщусь понять все без помощи неведомых мне сил. Я знаю, что такое любовь к жизни и жажда жизни. В любви этой вложена сила, которой не нужно иных объяснений. Я слышал ее в вашей музыке, и не о ней ли говорили мы с вами, профессор, в наши лунные встречи на озере Гарда? Этой силы, нас тогда окрылявшей, было довольно на всех. Как могли – мы учили – любить и не бояться, потому что минуты жизни кратки и священны, и все они на счету, и нельзя пропускать их с небрежной медлительностью чувств. Учили музыкой, словами, личным примером. Вам на долю выпало доказать, что жажда жизни усмиряет волны, а с любовью в сердце можно в утлой лодке переплыть океан. Или скажут, что все это лишь вздор и красивые слова? Пусть думают так – мы верили иначе. И с этой верой жили и дожили до тех лет, когда менять веру уже поздно.

Профессор, этими строками, писанными для вас, позвольте перекинуть мост старой нашей дружбы через головы всех скептиков, людей прозы, не верящих в дружбу и не жаждущих чуда. Молча, про себя, мы знаем, где голая

истина и где ее прекрасные одежды. Нам не приходится бояться ошибки.

Прошли годы, и прожито так много. На жизненных полках томы и страшных и ласковых воспоминаний. Среди них сегодня я открыл страницу нашей встречи, которой ни я, ни вы забыть не можем. Яркими и четкими буквами написано в ее заголовке:

«Чудо на озере Гарда».

ИГРОК

Когда крупье забрал и передвинул своим изумительным деревянным мечом кучу разноцветных костяшек, – на плечо мое легла рука, и слегка насмешливый, очень знакомый голос сказал:

– Такого случая, седьмой карты, я жду три года. Но вы, конечно, правы, дав и восьмую.

Я поднял голову и увидал старого московского приятеля, которого давно потерял из виду.

Собрав печальные остатки костяшек, я встал – к удовольствию ожидавших свободного места за столом.

Поздоровавшись, он продолжал:

– Дать восьмую карту, это, конечно, жест красивый. Французы этого не умеют. Чувствуется московское воспитание.

– Плохое утешенье, – кисло улыбнулся я. – Было бы гораздо лучше остановиться даже на пятой.

– Однако прошла и шестая и седьмая. Могла пройти и восьмая. Получался хороший куш.

– По моим достаткам – почти богатство. Я совершенно не понимаю, почему я дал восьмую.

– О, это понятно, понятно. Очень, очень понятно.

Мы решили поболтать не в буфете клуба, а где-нибудь в кафе. На минуту задержались у большого стола баккара, где по зеленому сукну быстро передвигались кучки красных, голубых и перламутровых дощечек; игра шла миллионная. То, что отняла у меня восьмая карта, здесь выражалось одной красивой голубой дощечкой и в общем счете роли не играло. Голубая дощечка равна была только годовому заработку среднего чиновника.

В кафе было пусто; мы заняли угловой столик и в ожидании двух кружек рассматривали друг друга.

– Вы часто играете? – спросил он.

– Только случайно. А вы – клубный житель?
– Да, как всегда. Но играю сейчас мало.
– Неудачи?
– Д-да, мертвая полоса. Бывает.
С его лица не сходила усталая полуулыбка человека, видавшего виды. Я вспомнил, что улыбка эта была мне знакома еще по Москве, где мы также не раз встречались за круглым столом.
– Неисправимы? – засмеялся я.
– Да зачем же исправляться? В сущности, в этом вся жизнь. Во всяком случае, лучшее в жизни.
– В азарте?
– Да. Именно в азарте. Азарт – святое дело. Высокое дело. Выше азарта ничего нет. Побить восьмую карту ничем не хуже прекрасной поэмы или главы романа. Но нужно это уметь делать.
– Послушали бы вас моралисты – получили бы вы от них хорошую отповедь. Карты – гиблое дело. Душу вытравляют.
– Ах нет, это уж нет! Что угодно, а это не так. Азарт вообще возвышает, а не унижает душу. Я это говорю не как игрок, а совершенно беспристрастно. Я об этом много думал, да и наблюдал на своем веку достаточно.
Мы попробовали говорить о другом. Наскоро обменялись деталями биографий последних лет. Вспомнили о старых встречах и об ушедших людях. И скоро разговор вернулся к прежней теме.
Он отпивал пиво маленькими глотками, не глядя на кружку. Впрочем, глаза его всегда смотрели мимо предметов – куда-то. А пальцы руки, нерабочей, бледноватой и слегка дрожащей, ни на минуту не оставались спокойными. С этой сдерживаемой природной нервностью не согласовался спокойный, слегка насмешливый голос, которым он произносил слова странные и глубоко убежденные.
– Азарт... и все в негодовании. Говорят: больная страсть, снижение достоинства человека. Ну конечно! Горящие глаза, забвение человеческого, близость к зверю... Вздор это! Азарт человека возносит к небу, близит с богами. Плоской жизни, расчету каждого шага и каждой копейки он противополагает вдохновение, блеск, гигантский взлет надежд, гибельную пропасть падения, великое, именуемое «случайностью». Он маленькому чертику рассудка вырывает клок серенькой шерсти, и чертик гибнет со свистом. И тогда встает, вырастает огромный и великий бог или дьявол – где разница? – сжимает человеку сердце и горло сладкой целью мечты,

страха и дерзанья, швыряет в прах семью, труд, все проклятые добродетели человека, связавшие его по рукам и ногам и сделавшие жизнь вечным проклятьем, и манит, обманывает, дарит минутой счастья, берет и губит внезапным ударом смешной и нелепой судьбы, ласкает тихой и ровной радостью. Да! Есть и простая сельская радость во всецветном азарте.

– Но слушайте, – вы настоящий поэт! А скажите, у вас здесь есть семья? Дети?

– Что? Да, да, конечно. И дети. У меня двое. Но это не важно.

И, отпив глоток, продолжал:

– Вы вот заметьте, что среди азартных, то есть настоящих, а не трусов и не ловкачей, нет злодеев и очень много (если не все) людей безбрежной щедрости и минутной (всегда минутной) высочайшей душевной красоты. Эти люди умеют и смеют дарить широким жестом, счастливить, любить всем сердцем. И вдруг – страшная низость, полное падение, боязнь потерять полугрошик, последнюю свою соломинку спасения. И вот он за минуту – богач, расточитель, благодетель, красивое сердце – отказывает тонущему не только в помощи, а в простом сочувствии. И глубоко страдает за его гибель и за свою мерзость. Извивается, изощряется, подставляет ногу, выкарабкивается по чужим трупам. А через минуту – снова бог, снова щедрый, великодушный, снова выше всех мелких сегодняшних политиков, тружеников в поте лица, благотворителей, отдающих процент, – а он игрок с жизнью, отдает все зря, по воле своей и кусочка бристольского картона, не думая, не считая, ради красоты жеста... Потому что – хочу и могу. И не дорожу ничем, только бы заглянуть в бездну, только бы поиграть с нею, равный, а не как ее раб.

– И в заключение всегда проиграть?

– Что? Но ведь это не важно: проиграть, выиграть. То есть это тоже важно, но только на момент, до следующей карты. Пока есть что ставить. А затем – возврат к обычной жизни, к быту, к жене, к детям, к улице, газетам, вообще к тому, что называется действительностью. Из садов райских – в болото.

– Неужели же, по-вашему, в этой действительной жизни...

– Подождите, – перебил он. – Вот что я вам хочу сказать: вы играли когда-нибудь один, сами с собой?

– Как?

– Ну, ночью, или когда нет денег на игру. Тот не игрок, то есть ничего в игре не понимает, кто не играл сам с собой. Я играл ночами, до света. Метал на две руки, делал ставки, выигрывал и проигрывал колоссальные суммы, миллионы, без всякого удержа с реальнейшим переживанием счастья и неудач. Говорил вслух, небрежничал, иронизировал, колебался. И очень волновался, особенно при крупных проигрышах. Когда не было дома карт, играл по телефонной книге.

– Как это по телефонной книге?

– А просто, открывал наудачу и слагал цифры парами. Но, конечно, это суррогат азарта, а не настоящий. Но все же жизнь особая, более высокая, лучше сна и лучше ненужного бодрствования. И знаете, однажды я побил двадцать три карты подряд. Вы понимаете – двадцать три подряд! Это было изумительное переживание. Если бы я играл не сам против себя, я бы выиграл миллиард, был бы богачом. Я даже не мог бы уже проиграть этого, мне недостало бы противников. Двадцать три карты! Я не мог заснуть до утра, но дальше было уже не то, игра мелкая, с переменным счастьем.

– Ну, это, знаете, уже...

– Ненормальность? Нет, я человек психически здоровый. Но я не знаю ничего выше игры случая. Подумайте – какое превосходное ниспровержение законов логики, расчетов статистики... почему седьмая карта прошла, а восьмая бита? Маленькая, необъяснимая случайность – и вы бы были сегодня богаты.

– Если бы снова не проиграл всего.

– Это уж другое. Важна минута, а не конечный результат. А впрочем...

Он добродушно рассмеялся:

– Конечно, и поэзии есть пределы. У меня, – я уже говорил вам, – сейчас какая-то гиблая полоса. Дальше второй карты не бывает. Даже воображение не работает. И нет никакой веры. Вот это странно: почему иногда исчезает вера? Даешь карту и наверное знаешь, что проиграешь. Пока не подходит момент, когда уже нет для ставки и когда наверное, ну вот непременно был бы успех. Встаешь из-за стола и видишь, как твоими картами кто-нибудь бьет, и бьет, и бьет – твоим счастьем. Не хватало только одной последней ставки. Это изумительно. И это тянется иногда месяцами. Так вот и сейчас со мной.

Когда нам принесли по новой кружке, он продолжал:

– Вот я вам расскажу два случая из моей жизни. Однажды мне очень хотелось помочь больной женщине, моей знакомой, вдове умершего моего приятеля. А помочь было нечем. Человек она была молодой, вся жизнь была впереди, а от брака своего, такого неудачного, имела на руках сынишку. От всякого горя и печали случилось что-то с легкими, и нужно было отправить ее на юг поправляться. Очень мне было жалко на нее смотреть, а помочь – чем я могу помочь? Только одно средство – выиграть.

– Средство сомнительное.

– Да, уж это – как повезет. Ну, пришел я однажды к ней и говорю: «Дайте мне на счастье руку». – «Нате, – говорит, – а зачем?» – «Пойду играть на ваше счастье. И хочу много выиграть. Если выиграю – возьмете у меня?» – «Возьму». – «А сколько вам нужно, чтобы прожить полгода на юге? Тысячи рублей хватит?» – «О, с избытком». – «Завтра утром ждите». Она посмеялась, а я ушел.

Дело было к ночи, по ночам и играли. Ну, коротко говоря, случилась полоса изумительная. В кармане у меня пустяки, и я в первый же банк заложил половину всего, что имел. Провел карт пять, продал банк, повернул, взял. Следующий мой банк – уже крупнее... Везло мне, как никогда, и игроки были денежные. Тысячу рублей я сделал за первые полчаса, а дальше и считать перестал. Играл как бы шутя, а на душе такая высокая радость, что и не расскажешь. Ведь человека спасу, прекрасную молодую женщину и ее ребенка. И уж не о поездке ее шла теперь речь, не о полугоде отдыха. Даже если останется у меня к утру половина того, что я выиграл, – я обеспечу ей жизнь и ее ребенку воспитание.

Давал карту, бил, забирал деньги, давал дальше и шептал про себя: «А это Васютке на костюмчик, а на это ему ослика купим, а на это лодку с парусом». И если лодку с парусом били – начинал снова, отыгрывал лодку и наигрывал еще на велосипед. Пусть хоть дом покупают – мне-то что за дело: деньги их!

Стал играть дальше сдержанно: не скупо, а благоразумно. И все смотрел на часы: скоро ли утро. Проигрывал, выигрывал, но все же лежала передо мной кучка денег раз в двадцать больше, чем та презренная тысяча, о которой мы говорили. Так дотянул до утра и даже часам к восьми еще наиграл.

– И не проиграли? Унесли?

– А вот слушайте. Собрал я деньги, положил в бумажник, встал. Ну, конечно, недовольные лица, – уходит человек с деньгами. Подождите, говорят, до завтрака, а там все разойдемся. Говорю: «Не могу, должен идти; если хотите – вернусь через час». – «Не вернетесь!» – «Даю слово!»

Вышел и прямо к ней. По дороге отсчитал двадцать тысяч, завернул особо в бумажку. И мне осталось на игру. Не на жизнь, об этом я никогда не думаю.

Жила она совсем рядом. И вот неудача: не застал. Вышла рано по каким-то делам, а вернется, сказала, не раньше обеда. Было обидно! А я уже и фразу приготовил: «Вот выигрыш. Согласны взять, что в этой бумажке, – и чтобы разговору об этом больше не было?» – «Согласна». – «Получайте, и больше ни одного слова!» Эффектно! Эх, как на душе у меня хорошо было!

– Неужели вернулись и все проиграли?

– Да, вернулся и все проиграл, все до копейки. Вы думаете – по слабости? Нет, сознательно. Когда шел, ясно отдавал себе отчет в том, что могу загубить хорошее дело. И как подумал – решил непременно идти играть. Даже дрожал от удовольствия: вот это – настоящая ставка! Ведь и деньги уж, собственно, не мои были, значит – почти преступление. И стал играть сразу крупно, не считая. Представьте – опять повезло. Через час удвоил сумму. Еще через час – заложил в банк последнюю сторублевку и знал, что ее возьмут. Первую карту побили.

Он замолчал, смотря перед собой блестящими, ушедшими вдаль глазами.

– Да... Ну а второй случай?

– Что? Ах, второй... Ну, это не так интересно. Как-то я проигрался совершенно, вернулся ночью домой и лег спать. И вдруг вспомнил, что накануне дал жене немного денег на какие-то необходимые покупки. В то время жилось нам очень плохо. Вспомнил – и не могу заснуть. И вот встал, тихонько пробрался в комнату, где спала жена, долго шарил, боясь зажечь спичку, нащупал ее сумку, унес, вынул деньги, сумку отнес обратно. И чувствовал себя настоящим вором, настоящим. Интересное ощущение. Ушел из дому опять играть. И представьте – начал с пустяками, а к концу выиграл довольно много. И даже удержался – вернулся с выигрышем. Дома застал жену в горе: деньги пропали, последние деньги. Ну, встал перед ней на колени, отдал ей весь выигрыш.

– Это ты взял? Ты взял на игру? Последнее? У меня из сумки!

– Да, – говорю, – я. Я украл их у тебя потихоньку ночью.

Вышло хуже, чем если бы пропали. А я ей много денег принес. Но ведь женщины не понимают. Ужас воровства понимают, а вот красоту победы – нет. Долго плакала. Кажется, я тоже рвал на себе волосы. Рву волосы, – а в душе поет радостно: все-таки победил я. Не решись я на воровство – голодать бы нам ту неделю.

Рассказ мне не понравился:

– Знаете, тут уж черт знает что такое. Какая же тут красота?

– Вы тоже не понимаете. Значит, вы не игрок, не настоящий, хотя закваска у вас хорошая, московская.

Расплатились и вышли.

– Куда вы?

– Не знаю.

– Вернетесь в клуб?

– Да, вероятно. Хотя я сегодня очень плохо вооружен. И в то же время – хотите, так смейтесь – чувствую, что сегодня мог бы взять. Нет, я предрассудкам не подвержен. Я просто – чувствую. Иногда и ошибаюсь, конечно. А иной раз угадываю.

Я пожелал ему удачи.

ТЕРРОРИСТ

История, которую я сейчас расскажу, очень кошмарная: преследование, предумышленное убийство, пожирание трупа, зловещие сны. Но герой истории и виновник этих деяний был милым и мягким по характеру человеком, а совсем не злодеем. Его звали Павлом Тихоновичем, сокращенно – Пашей или Павликом; волосы его были шелковисты и белокуры, хотя и с коком, а голубые глаза слегка навыкате. Злодеев обыкновенно зовут Леонидами, Юриями, в последнее время Игорями; у них гладкие черные волосы с пробором, матовое лицо, дерзкий нос и страстные скептические губы; когда они бросают взгляд на женщину – от женщины остается пепел, порывшись в котором можно найти четыре металлические пряжки, круглое стеклышко, оболочку губного карандаша и несколько штук «пресьон».

Павел Тихонович был студентом и исповедовал эсеровские убеждения. Это значило, что земля, по мнению кресть-

ян, Божья, ничья, что община может развиваться по Качоровскому, личность играет немалую роль в истории, а благо трудящихся (крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции) требует применения террора. Что касается Маркса, то он в третьем томе «Капитала» сам себя опровергает и сверх того признал себя не марксистом.

Как человек искренний и смелый, Павел Тихонович решил стать террористом и отдать себя в жертву за благо народа. Никаких моральных препятствий к этому не было, так как руководило Павлом Тихоновичем не соображение целесообразности, а святая ненависть, а за свои действия он решил отвечать сам и даже готовил исподволь будущую речь на суде, с кратким изложением эсеровской программы и заключительным возгласом: «Долой самодержавие и да здравствует демократическая республика всех трудящихся».

Быть террористом не так просто, как некоторые думают. Кроме мужества и соблюдения конспирации нужна еще техника. Павел Тихонович помимо излишней мягкости характера не обладал достаточной твердостью руки и вздрагивал от выстрелов. Он был человеком болезненным, страдал головными болями и слабостью легких. Террорист же должен обладать стальным взором, железной рукой, равнодушно взирать на потоки крови и криво улыбаться на мольбы о пощаде. Павел Тихонович сознавал свои недостатки и делал все, чтобы от них избавиться. Он завел револьвер, правда не браунинг, а «бульдожку», пуля которого пробивает рубашку, но отскакивает от пиджака; зато, научившись попадать в цель из «бульдожки» (что почти невозможно), будешь из браунинга попадать во что угодно на любом расстоянии.

Учиться стрелять было очень удобно, так как этим летом Павел Тихонович жил у нас в деревне. Он привез с собой целую коробку пуль, густо облитых салом, и носил ее обычно в кармане вместе с «бульдожкой» – так, на всякий случай. Он уходил стрелять в лес, где на поляне выбрал своей жертвой молодую березку. И это было сделано с расчетом: весной пораненная березка плачет, из пробитого отверстия обильно течет слеза, и березке действительно грозит смерть. Павел Тихонович это знал и приучал себя к жестокости и выдержке; к концу лета он рассчитывал стать совершенно невозмутимым и безжалостным, как и подобает террористу.

Кроме него жил у нас в доме старый, уже потерявший способность нравиться петух. Из-за этого петуха все и вышло.

Мы жили маленькой семьей, в том числе двое мужчин, я и Павел Тихонович, который был старше меня двумя курсами. Женщины вели хозяйство, мы носили воду, кололи дрова, запрягали лошадь и обсуждали аграрный вопрос по Чернову. Когда возник вопрос о том, кто из нас заколет петуха, Павел Тихонович предложил выполнить эту миссию, и мы все очень обрадовались, потому что постороннему человеку сделать это легче, чем нам, знавшим петуха еще цыпленком и считавшим его как бы членом семьи. А заколоть петуха было необходимо; того требовало наше рациональное хозяйство, не допускавшее дармоедства со стороны домашних животных. Мы старались жить, как живут крестьяне, безо всяких интеллигентских нежностей, попросту и деловито. Петух стар – значит, нужно его заколоть и съесть.

И вот Павел Тихонович взял топор и пошел закалять в себе решимость, безжалостность и волю к действию. В этот день он был бледен, и глаза его горели лихорадочным огнем; думаю, что последнюю ночь он плохо спал от понятного волнения; но слово было дано, и предстояло его исполнить.

Чтобы не смущать Павла Тихоновича, я не пошел с ним во двор, а наблюдал за его действиями из-за деревьев сада. Павел Тихонович не счел возможным прибегнуть к хитрости и предательству и не приманивал петуха зернами и хлебом. Он двинулся на него, как на социального врага, и, держа топор в руке, долго бегал за петухом по двору, стараясь загнать его в такое место, где его удобнее схватить. Тянулось это очень долго, так как петух, очевидно, ощутил смертельную опасность и очень искусно уклонялся. Наконец Павел Тихонович, измучившись и обливаясь потом, очень удачно споткнулся и упал прямо на петуха. Раздался крик палача и жертвы, палач загреб жертву в объятья и отправился за ригу, где должна была произойти экзекуция. Разумеется, и я последовал за ними, стараясь оставаться под прикрытием.

Должен сказать, что это было очень страшно. Всего страшнее было лицо Павла Тихоновича, словно это он был обречен на смерть. Петуха он нес под мышкой, другой рукой придерживая за горло, но не крепко, чтобы не причинить ему боли. За ригой он долго укладывал петуха на землю, а шею его на полено. Надо было держать за ноги, но Павел Тихонович этого не знал, держал в обнимку, и петух все время выскальзывал у него из рук. Наконец, кое-как его примостив, почти лежа на нем, Павел Тихонович нащупал

топор, поднял его на уровень со своим подбородком и, не имея возможности размахнуться, – неуклюже, как-то бочком, почти нежно, полоснул петуха по плечу, пониже шеи. Петух неистово закричал, рванулся, выскользнул из рук и понесся в ближний лесок. Павел Тихонович сначала упал на землю, потом поднялся встрепанный и с ужасом на лице и погнался за петухом. Я видел, как на бегу он бросил топор, выхватил из кармана револьвер – и скрылся за деревьями.

Затем я слышал выстрел – один, другой, третий. Идти в лесок, где стреляет Павел Тихонович, я не решился, не считая это безопасным.

Прошло около часу, и Павел Тихонович вернулся и заперся в своей комнате. Мы не беспокоили его расспросами: ясно было, что человеку не по себе. Впрочем, скоро он опять вышел и направился к лесу, но выстрелов мы больше не слыхали. До самого вечера ни петух, ни Павел Тихонович домой не возвращались. Петух так и не явился, а Павел Тихонович в этот день не ужинал и лег спать рано.

Я думаю, однако, что он только лежал, а спать не мог. Лишь под утро меня разбудил его бред за тонкой стеной. Он и обычно по ночам разговаривал, но на этот раз вскрикивал поистине мучительно; очевидно, сильно ему расстроила нервы история с петухом.

Рано утром он исчез, и скоро опять в лесу загремели выстрелы. Иногда они слышались быстро-быстро один за другим, как из пулемета, а иногда одиночками. Я рисовал себе картину, несомненно верную, как Павел Тихонович охотится в лесу на старого петуха, как тот спасается от него за деревьями и как оба они, с застывшим в глазах ужасом, мечутся по лесу и ненавидят друг друга.

День прошел кошмарно. Павел Тихонович несколько раз возвращался домой, но с нами не разговаривал и не обедал, – проходил мимо с опущенными глазами и совершенно больным видом. Спросить его о чем-нибудь никто из нас не решался. Вечером, когда все легли, он поел на кухне и, придя в комнату, бросился на кровать и скоро захрапел. Не думаю, чтобы сны его были сладки. Петух и на эту ночь домой не явился.

На третий день этой кошмарной истории я встал рано, и, когда Павел Тихонович сделал попытку проскользнуть через двор и направиться в лесок, я его окликнул:

– Павлик, брось, не ходи.

Он остановился и мутно посмотрел на меня.

– Брось, говорю, петуха, пусть он живет.

Он мрачно ответил:

– Бросить его нельзя, он наполовину уже мертв.

– Как это – наполовину?

– Я всадил в него не меньше восьми пуль. То есть я попал восемь раз, но это не револьвер, а черт знает что. Пули отскакивают.

– Ну и оставь его. Ты совсем замучился и его замучил.

– Оставить нельзя. Во-первых, он ранен топором и весь в крови. А во-вторых, я не могу его оставить живым. Я решил убить и убью, будь что будет. Я ни перед чем не остановлюсь.

Он сказал это так решительно, что мне оставалось только преклониться перед его мужеством. Да, Павлик не такой человек, чтобы остановиться на полпути! Собственно, я боялся единственно того, что он, сраженный своей неудачей, застрелится сам, как это иногда делают террористы.

Весь день мы были скверно настроены и все время прислушивались. Выстрелы время от времени раздавались, но Павел Тихонович не появлялся. Мы уже мечтали о том, что петух умрет в лесу от ужаса и голода. Наконец перед закатом в лесу разрядилась целая обойма сразу. Я не выдержал и побежал к лесу узнать, чем все это кончилось. На самой опушке я встретил Павлика с искаженным лицом и с револьвером в руке. Увидав меня, он глухо сказал:

– Возьми его, я не могу. Я убил его.

– Где он?

– Там, на полянке, под деревом. Ты знаешь, я размозжил ему голову пулей – и он все-таки был жив. Это такой ужас! Он лежит, но я не уверен, что он совсем мертвый.

– Ну, ступай отдохни.

Он пошел, шатаясь как пьяный, и продолжал сжимать в руке револьвер.

– Павлик, дай мне револьвер.

Я боялся, как бы Павлик, совсем потеряв голову, не начал стрелять во что попало. Но он на ходу крикнул:

– Бесполезно. У меня нет пуль. Я убил его последней.

Петуха я нашел без труда. Это было довольно противным зрелищем. Действительно, Павел Тихонович не раз попадал в него пулей, – о том свидетельствовали взбитые перья на припухшей коже. И вообще вид окровавленного петуха был ужасен не менее, чем вид его палача.

К своему удивлению, дома я застал Павла Тихоновича спокойно и даже как будто иронически разговаривавшим с нашими дамами. Они с должной осторожностью над ним

подшучивали, он старался изобразить всю историю комически. И я видел, что женщины смотрят на него все же как на героя. Мне это даже не понравилось, – но ведь женщины всегда таковы: когда человек добился своего и победил, они забывают о том, каков он был на пути достижения. А он был, откровенно говоря, все эти три дня очень несчастным и достаточно смешным.

Одним словом, петуха зажарили, как того и требует рациональное хозяйство. А зажаривши – подали на стол.

Мне было очень любопытно: как станет держать себя Павел Тихонович? Нелегко убить, но еще труднее есть убитого. Правда, в жареном виде петух уже не был страшен, но все же...

Сейчас таких людей, как прежде были, уже нет. Нынешний человек либо от природы жесток и нечувствителен, и тогда он будет есть родного брата, либо же даже не придет посмотреть на свою жертву, чтобы не трепать себе нервы. Павел же Тихонович упрямо работал над собой, закаляя в себе черты, необходимые для террориста. Он не только явился к ужину, отлично зная, что подадут петуха, но и равнодушно протянул свою тарелку:

– А мне дайте крылышко.

Когда ему положили крылышко, вернее сказать – отвратительно жесткое крыло престарелой птицы, мы все с живейшим интересом и с нескрываемым уважением вонзились глазами в Павла Тихоновича: как он будет есть? Мы видели, что на лбу этого мужественного человека холодный пот и что он вновь больно переживает события трех последних дней. Видели мы, что руки его, разрезая кусок, немного дрожат и что напрасно силится он скрыть свое великое волнение под презрительной улыбкой. Кое-как он все же отковырял ножом солидный кусок крылышка и направил в рот. Но едва он сжал его зубами, как вскрикнул, выплюнул, – и на тарелку звонко шлепнула пуля. Павел Тихонович схватился за голову, опрокинул стул и убежал в свою комнату.

Так отомстил ему старый петух.

Побежали за валерьяновыми каплями и мокрым полотенцем. Нужно сознаться, что на этот раз Павел Тихонович не выдержал: у него был настоящий нервный припадок, он катался по кровати и вел себя постыдно, как баба, а совсем не как террорист. Может быть, в другое время он сдержался бы, но сейчас он был действительно измучен своей трехдневной пыткой, да и спал ночами плохо. Если бы петуха подали днем позже, дав Павлу Тихоновичу отдохнуть, все

бы могло произойти иначе, без такой неприятности и без урона для мужского достоинства террориста.

Но вот что я заметил. За минуту перед этим он был в глазах женщин как бы героем. Теперь же, когда он так ясно сдал и оскандалился, – вы думаете, они над ним смеялись или он что-нибудь утратил в их глазах? Нисколько! Он теперь стал страдальцем за идею, мучеником, а это еще интереснее. Припадок давно уже прошел, но они все сидели над ним, клали мокрое полотенце, разговаривали шепотом и смотрели с нежностью и участием, как на раненого. А он – я так думаю – лежал с полузакрытыми глазами и соображал, как ему быть, чем себя оправдать, чтобы не быть слишком смешным. Биться в истерике из-за того, что попала на зуб пуля, – не очень это красиво! Только поэтому он и продолжал лежать, хотя все давно прошло и ему, вероятно, хотелось есть (только не петуха).

Женщины ему в этом помогли: одна сбила ему гоголь-моголь, другая напоила чаем, да так весь вечер около него и просидели. Конечно, о петухе – ни слова. Говорили о поэзии и о Леониде Андрееве, и Павел Тихонович настолько расхрабрился, что даже напал на Андреева за его истеричность.

Кстати, петуха унесли в кладовку, чтобы он не попался опять на глаза Павлу Тихоновичу, и дамы наши есть его отказались. Я от этого ничего не потерял, хотя петух, как уже сказано, был так стар и такой жесткий, что можно было об него и без пули обломать зубы.

Я все-таки думаю, что Павел Тихонович в террористы не годился и что по темпераменту своему он был, скорее всего, меньшевиком. Обидно, что по окончании университета я как-то потерял его из виду и не знаю, кем он стал и даже жив ли еще. После истории с петухом мое преклонение перед ним пропало, – хотя возможно, что в данном случае сыграла роль и некоторая ревность. Очень уж обидела меня эта женская манера увлекаться героями и мучениками. Сам я человек простой, в герои не лезу, но и истерик не закатываю. Правда, нет у меня ни голубых глаз, ни белокурых шелковистых кудрей.

Пожалуй, в них-то, а не в петухе, и было все дело.

КЛИЕНТ

В то время я был молоденьким адвокатом. Ввиду отсутствия практики я предложил услуги бесплатного юрисконсульта большому и богатому обществу купеческих приказчи-

ков. У общества числились и другие юрисконсульты, повиднее и поопытнее меня, но они принимали клиентов у себя на дому и вряд ли охотно, – я же принимал в помещении общества, где мне отвели совсем неплохой кабинет, служивший в другие дни приемной для врача.

Сначала было страшновато, потом привык. Дела у приказчиков однообразные, за советом обращались больше по делишкам мелким, при более же сложных можно было ответ отложить: «Зайдите ко мне в следующий раз, мы обсудим все подробнее; сейчас люди ждут!» А тем временем и к ответу подготовишься.

Но ни одно дело не озадачило и не смутило меня так, как дело старого приказчика Павла Ивановича (как его на самом деле звали, не все ли равно; я и сам забыл).

Походкой солидной, с достоинством и уважительностью, вошел в кабинет лысый седоусый человек в длинном сюртуке, низенький, прочный, основательный, лет за пятьдесят. Представился Павлом Ивановичем, плотно сел в кресло, а на стол положил большой пакет, завернутый в газетную бумагу:

– К вам по делу важному. Сам разобраться не могу и уж как скажете, так и поступлю.

– Слушаю, Павел Иванович. Расскажите свое дело.

– Желал бы узнать совет ваш, выдавать ли мне замуж дочь мою Анну Павловну, девицу двадцати трех лет. Супруги не имею, схоронил, и дочь единственная. Так что судьба ее меня весьма занимает и, скажу откровенно, беспокоит. Как вот посоветуете: выдавать ли?

– Павел Иванович, я дочери вашей не знаю и вас вижу впервые. Сам я человек молодой, едва старше вашей дочери. Могу ли я давать вам, почтенному человеку, совет в таком семейном деле?

Павел Иванович надел очки, посмотрел поверх стекол и серьезно заявил:

– Возраст ваш значения не имеет, а очень важно образование. Сам я учился на медные деньги, во многом не разберусь, особенно в литературе. Вы же изволите состоять при судебной палате Московского округа, а также нашим общественным юрисконсультом. Притом прошли ряд разных высших наук, и вам знать лучше. Как скажете, так и поступлю; либо выдам ее, либо пускай еще посидит в девушках, хотя замуж ей пора, так как девица вполне зрелая и способная к брачной жизни. Я же вам, господин юрисконсульт, представлю все необходимые документы.

При этих словах Павел Иванович встал и – к большому моему смущению – низко, почти в пояс, мне поклонился:

– Покорнейше и убедительнейше прошу в авторитетном вашем указании не отказать.

Я уже хотел было согласиться (хорошо, мол, пусть выходит!), когда Павел Иванович, развернув газету и взяв из большой пачки писем верхнее, начал медленно и с выражением читать:

«Дражайшая Анна Павловна, в прошедший понедельник изволили вы разрешить мне письменно вам о себе напомнить. И действительно, данный день является незабвенным в моей памяти, после чего цельную неделю обдумывал о предстоящей встрече, каковая состояться не могла...»

– Простите, Павел Иванович, что вы это читаете?

– Письмо от жениха к дочери моей Анне Павловне. Самое первое, при начале ихнего знакомства в позапрошлом году, от седьмого сентября.

– А... какое это имеет значение, письмо его?

Павел Иванович снял очки, протер очень чистым платком, опять надел и сказал:

– Значение чрезвычайно важное, как бы документ. Познакомились они тому назад два года и три месяца и сразу произвели впечатление. И тогда же вскоре, с отцовского моего разрешения, начал он писать ей письма. Дочь моя живет при мне и из дому выходит редко, занимаясь хозяйством. Письма же его я все сохраняю по прочтении их мне дочерью вслух. Я своей дочери не стесняю, но всякая переписка идет через меня. Ответных копий действительно я не сохранял, его же письма имею под номерами. Не хочу затруднять вас рассказом, письма же все прочту вам в полном порядке постепенности, чтобы составили заключение прямо по личным документам о возможности брака.

– Их много, писем?

– Сто четыре номера, включая полученное в минувшее воскресенье, на которое ответ еще не послан.

– А вы, Павел Иванович, своими словами не расскажете? Покороче...

– Зачем же рассказывать, зря вас беспокоить, когда все письма налицо в подлинном оригинале. Ни единой строчки от вас не скрою как в чисто семейном деле.

– Да что же в письмах этих? Какие-нибудь обещания с его стороны? Или история какая-нибудь сложная?

– Обещаний никаких и истории тоже нет никакой. Письма не то чтобы любовные, а обыкновенно – как пишет заинтересованный человек к молодой девушке. Иные и со стихами, но не личной выделки, а известных поэтов, Некрасова, Апухтина, Надсонова и других с указанием фамилии. Обещаний же никаких быть не могло, так как дело нерешенное. Именно поэтому я и обращаюсь к вам как человеку ученому вроде как для экспертизы. Позвольте первое дочитать, а засим приступим ко второму: «...каковая состояться не могла, однако успокаиваю себя надеждой, что батюшка ваш Павел Иванович разрешат вам побывать у Олимпиады Симеоновны в предстоящий вторник, где и надеюсь видеть вас лично...»

– Кто это – Олимпиада Симеоновна?

– Олимпиада Симеоновна – это, точно говоря, дочери моей по покойной ее матери двоюродная тетка. Муж ее торгует в рядах бакалеей.

– Ага! Ну что же, Павел Иванович, все эти люди солидные, положиться можно. Я бы вам посоветовал...

– Бесспорно, люди солидные. И как из следующего письма сами изволите усмотреть, в доме своем принимают только людей рекомендованных, по строгой проверке, в том числе и господина Герасимова.

– А это кто?

– А это и есть жених. Если, конечно, в случае благоприятного совета вашего я дам благословение на брак.

– Я, Павел Иванович, ничего против не имею... Помоему...

– Покорнейше благодарю за доверие, но уж позвольте вам все письма зачитать. Истории в них никакой, однако важно знать в рассуждении искренности. Если человек искренний и откровенный – я дочь готов отдать и даже сопровождаю небольшим, по мере сил моих, приданым. В противном же случае подожду. Одним словом – как скажете. «...Надеюсь видеть вас лично. По этому поводу предуготовил для вас нравящееся стихотворение...»

– Он не конторщик, жених ваш?

Павел Иванович снял очки, и вдруг солидное лицо его приятно улыбнулось:

– Именно – конторщик при торговом предприятии вдовы Потапова и сыновья. Вот я и говорю: что значит высшее образование!

– А он с высшим образованием?

– Что вы, помилуйте, он с обыкновенным, трехклассное училище. А это я про вас, – что сразу, не зная человека, по первому письму изволили указать точно должность. Вот оттого я и решил зачитать вам все письма для полного определения человека. И именно пишет он дальше следующее...

Дальше было очень тягостно. Павел Иванович, более не отвлекаясь, читал медленно, с выражением, письмо за письмом. Следить я не мог, потому что очень боялся заснуть. Иногда, таращa глаза и стараясь не прикасаться спиной к спинке кресла, я видел сквозь туман, что пачка писем прочитанных растет, пачка непрочитанных не уменьшается. Наконец, взглянув на часы, увидал, что приемное мое время окончилось как раз на строках стихотворения:

Я умираю с каждым днем,
Хоть не виню тебя ни в чем.
Пусть смерти предо мной эмблемы...

На слове «эмблемы» Павел Иванович запнулся, а я быстро сказал:

– Как мне ни грустно, Павел Иванович, прерывать вас, но мое приемное время окончилось, а я боюсь, что кто-нибудь меня еще ждет для совета...

Павел Иванович спокойно сложил письма в общую папку и сказал:

– Понимаю, затруднять не хочу. Я и не рассчитывал за один раз кончить. Прочитал я вам четырнадцать писем, остальные можно отложить до будущих разов. Дело мое неспешное, ждала девушка два года, подождет и лишний месяц. Так вам даже удобнее будет на досуге обдумать прочитанное. Покорнейше вас благодарю, и уж разрешите зайти в следующий раз, когда объявлен прием.

Тут меня осенила мысль:

– Вот что, Павел Иванович. Дело это сложное, и будет лучше, если ознакомлюсь с документами вашими дома, внимательно, аккуратненько. Надеюсь, что вы мне их доверите.

Павел Иванович подумал и, на радость мою, согласился, предупредив, что почерк у жениха не очень разборчивый.

Когда я провожал его и выглянул в дверь приемной, я увидел, что там ждут двое, мужчина и женщина. Но, к удивлению моему, оба они поднялись и ушли вслед за Павлом Ивановичем.

Пришел он ко мне через три дня, снова солидно и прочно уселся в кресло и вынул из кармана письмо в конверте. Со своей стороны, я извлек из портфеля его «документы», которых, грешным делом, прочесть не смог, однако перелистал. Все письма были похожи одно на другое, одинаково начинались, одинаково кончались и редкий раз не содержали переписанный стишок. Говорилось в них о чувствах, но в выражениях не страстных, а самых деликатных. Выражалась и надежда на соединение брачными узами, буде на то согласится родитель.

Свое заключение я начал издалека:

– Павел Иванович, хотите ли вы счастья дочери?

– Об ином и не думаю. Не хотел бы – и затруднять бы вас не стал.

– Павел Иванович, любит ли ваша дочь господина Герасимова?

– Любить ей его рано, и о любви разговору не было. Однако явно интересуется и за два года переписки нашей к нему привыкла. И стихотворения ей очень нравятся. А уж по-настоящему полюбит, когда выйдет замуж; раньше же это ни к чему.

Тогда я встал и сказал торжественно:

– Павел Иванович, позвольте вам заявить следующее. При тщательном рассмотрении представленных вами документов могу удостоверить, что господин Герасимов представляется человеком искренним и самых серьезных намерений. Полагаю также, что два года испытаний достаточны, чтобы вы могли позволить молодым людям не только переписываться, но и встречаться.

Павел Иванович прервал мою речь:

– Как же, как же, помилуйте. Они давно уже встречаются, и сам он, господин Герасимов, допущен бывать у меня на дому лично, уже больше году ходит каждое воскресенье.

– Тогда зачем же он письма пишет?

– Он человек молчаливый, а в письмах выражает лучше. Так уж у них завелось, так и идет. Иные письма его мы и вслух при нем читаем, особенно если в них стихотворения.

– Тогда, Павел Иванович, сомнения больше нет: выдавайте дочь замуж, да поскорее!

Павел Иванович просиял, однако заметил:

– Покорнейше вас благодарю, однако должен сказать, что имею еще одно письмо, полученное позавчера по почте, которое и попрошу вас либо заслушать, либо уж сами прочтите, чтобы никаких сомнений не было.

– А что в нем?

– Все по-прежнему, и о чувстве своем, и прибавлен красивый стишок. Письмо за номером сто пятым от ноября двадцатого дня.

Письмо мы прочитали вместе. Никаких сомнений в искренности господина Герасимова оно не возбуждало.

– Это все письма, Павел Иванович? Других не имеете?

– Так точно, все до настоящего дня и с первого дня знакомства.

– Тогда, Павел Иванович, позвольте поздравить вас: дело ваше благополучно кончено, можете играть свадьбу.

Павел Иванович был по-настоящему признателен мне за выполненный труд и за совет. Как и в тот раз, он встал и низко поклонился. Боясь новых документов, я взял его за руку и, пожимая, настоятельно вел его к двери.

Но едва я его выпроводил, как дверь снова отворилась, и Павел Иванович вошел, ведя за собой дородную девицу и гладко причесанного средних лет гражданина:

– Вот, Аннушка, и вы, господин Герасимов, поблагодарите господина юрисконсульта за решение. Они потрудились, рассмотрели документы и все признали правильным. Можно будет теперича и к венцу. Я от слова своего не отступлюсь.

Как сами понимаете, было это очень трогательно, особенно же интересна была моя роль творца счастья будущей четы Герасимовых. Невеста была мне почти ровесница, жених лет на десять старше, отец – лет на тридцать. Но зато я был с высшим образованием и состоял при Московской судебной палате, – это не шутка!

Был я и на свадьбе, конечно – почетным гостем. Рассказывать о свадьбе не берусь, так как поили меня там «медведем» (десять рюмок подряд с разным содержимым), «медведь» же, при частом повторении, очень плохо действует на память.

И кажется мне почему-то, что вел я себя на свадьбе не как юрисконсульт, а как обыкновенный человек, и даже без высшего образования. Но это к делу не относится.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Отзывчивый читатель, – а на иного я не рассчитываю, – легко войдет в мое положение – положение человека, напрасно обиженного.

Вот уже более месяца я обиваю пороги дружественных мне редакций с просьбой отметить, что на днях исполнился (или скоро исполняется, я точно не помню) двадцатипятилетний юбилей моей адвокатской деятельности. С этой же просьбой я обращался в парижское объединение русских адвокатов, членом которого состою и от которого получаю повестки с надписью на конверте: «Мэтру такому-то». Я обращался к нему, конечно, не прямо, не в правление, так как это было бы неудобно, а намекал, очень ясно, влиятельным коллегам по профессии.

Я встречаю улыбки, легкое недоумение и вежливый отказ. Газеты гарантируют мне подобающее чествование юбилея литературного, но не хотят считаться со столь, казалось бы, естественным самолюбием и некоторым честолюбием адвоката-профессионала. Зачем мне, спрашивается, юбилей литературный? Чтобы стать маститым и удалиться на покой? Чтобы какая-нибудь французская газета, где пишет мой приятель, переврала мою фамилию и по ошибке поместила вместо моего портрета сломавшего голову авиатора? Чтобы один из тех, кого я похвалил в печати, похвалил, в свою очередь, меня? Нет, на эту удочку меня не поймать! И наконец, многолетнее писательство я считаю чистой случайностью, тогда как адвокатская карьера моя явилась результатом призвания. Если же, по не зависящим от меня обстоятельствам, мне за последние двадцать три года не пришлось заниматься практикой, то, во-первых, я в этом не виноват, во-вторых, я продолжаю с честью носить звание помощника присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, присяжного стряпчего при коммерческом суде и опекуна при суде сиротском, хотя нет давно ни палаты, ни этих судов. В-третьих, наконец, двухгодичная моя действительная практика была хоть и бездоходной, но яркой и блестящей. Достаточно сказать, что у одного моего лысого подзащитного, дело которого я выиграл, начали расти волосы: я бы хотел знать, многим ли русским прославленным адвокатам удалось достигнуть подобного юридического результата?

Прошу прощения за это предисловие. Но когда человеку отказывают в публичном признании его заслуг, ему ничего не остается, как самому себя чествовать. Именно эту цель и имеют нижеследующие воспоминания.

МОЯ ПЕРВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Окончив университет и записавшись в сословие, я сшил себе в кредит фрак и купил портфель, в который положил для веса и важности десятый том, Устав уголовного судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Таким образом, рано пришлось мне узнать, что адвокатский портфель – нелегкая штука.

Как всякого начинающего адвоката, гражданские дела меня интересовали мало. Судьба улыбнулась мне и послала для первого выступления дело чуть-чуть не политическое.

Студент Иван Лихоношин, медик и большой пьяница, был моим близким товарищем и земляком. В малом хмелю он был оживлен и интересен, в большом мрачен и буен. В среднем же хмелю он был предприимчив и любил разговаривать с городовыми. Однажды, когда постовой городовой оказался неразговорчивым, он снял с него фуражку и вытер ему этой фуражкой нос. Для суждения о подобных деяниях существует статья, номера которой сейчас не упомню, карающая штрафом и тюремным заключением.

К участковому мировому судье я явился во фраке; хотя это и не полагалось, но так легче иметь вид крупного адвоката, лишь случайно забежавшего к мировому судье, тогда как большинство дел у него сегодня в окружном. Не скрою, что я сильно волновался: первая защита, да еще приятеля.

Мировой судья явно не оценил важности дела и, выслушав показания городового и мои робкие объяснения (клиент на суд не явился), приговорил приятеля моего к недельному аресту.

Право, это не так уж было плохо. Но клиент мой заявил мне, что он сидеть не желает и не будет, что лучше он наложит на себя руки или убьет городового, а в заключение напился и стянул у меня за обедом со стола скатерть со всей посудой. Удалось его угомонить, дело же я обжаловал в съезд мировых судей.

Тут уж фрак понадобился по полному праву. Предстояла мне первая защита, при которой нужно произносить речь. И я произнес.

Да, я произнес ее, мою первую судебную речь! Зачем вам знать, хорошо ли я спал в ночь, предшествовавшую процессу, и сколько раз вскакивал с постели, чтобы записать пришедшую в голову блестящую фразу, долженствовавшую

убедить судей в правоте моего подзащитного? Всей предстоящей речи я не записал, так как знал, что ни Демосфен, ни Кони этого не делали, что нужно лишь досконально изучить дело, а красноречие придет само.

Председательствовавший назвал мое дело. Я и городовой поднялись со своих мест. Судьи, услыхав номер статьи, достаточно им надоевшей, зевнули и принялись чертить на бумаге профили с кудрявой шевелюрой. Фрак сидел на мне отлично.

Дело казалось простым и приговор ясным; для всех – но не для меня! И вот я начал свою речь.

Я начал ее с простого признания факта. Да, студент Лихоношин сделал то, что он сделал. Но виноват ли он?

Я приготовил начало речи, но забыл заготовить эффектный конец. Если вам приходилось скатываться на коньках с ледяной горы, то вы поймете, что со мной случилось. Я говорил, я чувствовал, что говорю беспросветный вздор, – но остановиться я не мог. Я чувствовал, что судьи проснулись и слушают меня с напряженным вниманием. Я видел их изумленные лица и слышал за спиной шушуканье публики. Я говорил о скудости в России народного просвещения, о высокой миссии студенчества, о тяжелом материальном его положении, вынуждающем его на крайние поступки, о горящем в душе молодежи протесте, о демонстрациях, о манеже, о высылках в Сибирь и еще Бог знает о чем, – говорил, потому что я не мог, не знал, как остановиться и чем мне речь мою закончить. Я погибал – и старался не смотреть на судей. Я давно уже не понимал самого себя и не узнавал своего голоса. И я никогда бы не кончил речи, если бы председатель не остановил меня ласковым, но твердым голосом:

– Господин защитник, о чем вы говорите? Высылки студентов совершенно к делу не относятся? Что вы можете сказать по существу дела?

По существу дела... по существу... По существу я мог только прибавить, что считаю своего подзащитного не только не виновным в оскорблении городового при исполнении служебных обязанностей, но и благороднейшим человеком, заслуживающим общего уважения и благодарного признания современников.

Взглянув искоса на судей, я увидал, что председатель съезда надрывается от смеха. Чувствовалось веселье и в публике.

И когда суд удалился для совещания, я вылетел из зала в коридор и решил, что я – самый несчастный молодой

человек, карьера моя загублена, а бедный Лихоношин через меня погиб окончательно.

Когда суд вернулся, я прошел на свое место, не глядя по сторонам и полный решимости встретить любой приговор. Теперь уже все равно.

Почесав нос и передернув плечами, председатель прочел приговор. Постановление мирового судьи отменялось, и мой клиент приговаривался к одному рублю штрафа. Иначе говоря – оправдание. Следующее дело Петровой о нанесении побоев Евдокимовой. Меня это дело ни в какой мере не касалось. И все-таки я продолжал стоять, пораженный и растроганный.

Когда Петрова и Евдокимова вышли вперед, я медленно повернулся и направился к выходу. Я был, конечно, героем. Но я уже успел понять по лицам судей, что Лихоношин оправдан исключительно из сострадания ко мне. В глазах старых судей я прочел выражение ласкового великодушия и легкой насмешки. Может быть, они вспомнили свою молодость, может быть, и они в свое время утирали фуражкой нос городовым при исполнении обязанностей. Но, главное, им было жаль молодого защитника, произнесшего первую речь.

Мой клиент ждал меня дома. Услыхав о приговоре, он мрачно заявил:

– И рубля платить не желаю. Пускай убираются к черту!

Ну, тут уж у нас с ним произошел разговор особый, читателям неинтересный. Он был шире меня в плечах, но мускулами слабее, так как я ежедневно занимался шведской гимнастикой.

НАЧАЛО СЛАВЫ: ДЕЛО С ПЕНИЕМ

Она была хористкой оперы Зимина; как все хористы, имела рабочую книжку и была связана неустойкой в сто рублей. Когда появился в Москве другой частный оперный театр, плативший хористам больше и обращавшийся с ними лучше, она перешла туда, а за нею и еще несколько хористов. В результате – иск театра Зимина о ста рублях неустойки.

Когда она рассказала мне о своей беде (сто рублей для хористки – целое состояние), я сначала посоветовал ей смириться и заплатить, чтобы избежать судебных издержек. Но она плакала, и мне было очень ее жаль. Плача, она

рассказала мне, что у нее сопрано, а ее заставляют петь медзо-сопрано (кстати, нельзя говорить «меццо-сопрано», как нельзя произносить «піччикато» вместо «пиццикато», как нельзя в слове «гондола» ставить ударения на втором слоге, что простительно только поэтам).

– А вы можете это доказать?

– Конечно, могу; все знают. Я сколько жаловалась.

Я был молод и неопытен, но не настолько, чтобы не понять, что не только блеснул луч надежды в деле, но и само оно обещает стать интересным и необычайным.

В назначенный для слушания день дело было, по моей просьбе, отложено для вызова эксперта. Судья тоже был молод и тоже понял, что обычная скука рядовых дел будет рассеяна музыкой в камере. Притом судья оказался сам певцом и иногда выступал в Москве на любительских концертах.

Певцом был судья, певцами свидетели, музыкантом поверенный оперы Зимина. Экспертом же был вызван артист императорского Большого театра Барцал. В газетной хронике появилась заметочка о предстоящем «деле с пением». Публика состояла, разумеется, из хористов оперы и любителей пения.

Я же, создатель процесса, хоть и не был певцом, зато чувствовал себя героем: начало славы!

Жаль, что не было в камере рояля. Но и без инструмента концерт состоялся. Судья откинулся в кресле и слушал.

Барцал заставил мою клиентку пропеть партию медзо-сопрано; может быть, она немножко схитрила, но слышно было, что низкие ноты ей не по голосу. Когда же он дал ей партию высокую, то она разлилась таким соловьем, что судья с удовольствием разгладил усы, публика за окнами камеры (дело было летом) зааплодировала, мой противник нахмурился, а адвокатское мое сердце подпрыгнуло выше самой высокой ноты.

Когда она окончила, Барцал отмахнулся от вопроса судьи, бросился к моей клиентке, обнял ее с нежностью старого актера и быстро заговорил:

– Голубушка вы моя, да ведь у вас чудесный голос! Диапазонище какой! Да какого же черта вы болтаетесь в частной опере, почему не идете к нам, в императорскую? Да я вас немедленно устрою, плюньте вы на неустойки!

– Позвольте, господин эксперт, будьте добры сказать ваше заключение о голосе ответчицы.

– Какое же тут заключение может быть? Чудеснейшее сопрано, сами слышите. Нужно с ума сойти, чтобы портить такой голос, заставлять ее петь низкие партии. Это безобразие, за это под суд нужно! А вы, голубушка, плюньте вы на их неустойки, мало ли чего ни выдумают...

Смеялась публика, смеялся судья, даже поверенный противной стороны вежливо и иронически улыбался. Не смеялся только я. Я был небрежен, важен, приветлив с простыми смертными и полон сознания своего величия. Вернувшись домой на извозчике (хотя жил я рядом), я бросил портфель на стол и сказал:

– Конечно, выиграл! Но утомляют эти маленькие и хлопотливые дела...

АПОГЕЙ СЛАВЫ: ВЫШЕ ПЛЕВАКИ!

Я жил на Сухаревской Садовой в доме Щекина. Во дворе у нас над пристройкой работала артель каменщиков. На улице у палисадника была прибита моя дощечка: «Помощник Присяжного Поверенного».

Я очень аккуратно платил хозяину дома за квартиру. Хозяин дома не очень аккуратно платил подрядчику, делавшему пристройку. Подрядчик совсем не заплатил рабочим в первый же срок. Рабочие, увидав мою дощечку, пришли ко мне жаловаться на подрядчика.

Взыскать по расчетным рабочим книжкам и получить исполнительные листы – дело простое. Но у каждого хорошего подрядчика имущество переведено на имя жены – и описывать нечего. Пришлось объяснить бедным каменщикам, что если суд присудит – это еще не означает, что деньги в кармане.

На совещании нашем староста артели покачал головой:

– Может, и заплатит он нам, да когда? А есть нужно. Хоть бы часть пока дал. Сто бы рублей на всех дал – мы пока перебьемся.

Я вспомнил, что на другой день должен платить за квартиру хозяину, рублей семьдесят пять. И вот я догадался позвать к себе хозяина дома, хитрого мужичка, а также подрядчика артели. Заранее же заготовил расписку в получении хозяином денег с меня за два месяца вперед, целых 150 рублей, другую – в получении подрядчиком от домовладельца таких же 150 рублей и третью – в получении рабочими той же суммы от подрядчика.

Хозяин поломался, но согласился; подрядчик почесал затылок – и тоже подписал расписку. Рабочим же я вручил наличными деньгами сто пятьдесят рублей, обещав и в будущем месяце, если не заплатит подрядчик, дать еще немножко.

Рабочие, владимирские мужички, очень меня поблагодарили, а я сам с собой размышлял на тему о том, что в России, в противоположность гнилому Западу, адвокатура есть общественное служение. И вообще был горд.

Месяца два спустя является ко мне затрапезный мужичок с котомкой за плечами, рассказывает свое нехитрое дело и просит быть его поверенным:

– Приехал я, барин, к вам из города Володимира.

– Что ж, разве у вас там своих адвокатов мало?

– Что же наши, батюшка, супротив вас могут! А я намучился, решил разом с делом покончить. Хотел сначала к Плеваке идти, слыхал про него. Да встретились мне наши володимирские мужички, каменщики, и отсоветовали. Говорят: «Уж если хочешь к настоящему аблакату, так поезжай в Москву в дом Щекина на Садовой улице. Этот тебе, брат, будет почище всякого Плеваки, всякое дело сразу решит – и деньги на стол выложит. Этот уж не выдаст! Сами знаем, судились у него – потому и говорим».

«Почище всякого Плеваки!» Слышите, Федор Никифорович? Это был апогей моей славы.

КАК У ЛЫСОГО ВЫРОСЛИ ВОЛОСЫ

После таких сравнительно нормальных адвокатских достижений мне оставалось лишь стать чудотворцем, что я и выполнил.

Маленький человек с лысым, как колено балерины, черепом понуро сидел в кресле в моем кабинете.

Прочитав текст повестки, вызывавшей его в мировой суд, я спросил:

– Дело о растрате? Что же и как вы растратили?

– Ничего я не растратил. Был описан за долг; имущество мое описали; мне же сдали на хранение. После расплатился с кредитором вчистую, а лист исполнительный у него остался, забыли мы про него. Потом он умер, а наследники с меня взыскивают по листу. Пришел пристав, спросил, где имущество, описанное за долг. А у меня давно никакого имущества нет. Значит, говорит, растрата вверенного имущества, уголовное дело.

– Так. Дело ваше плохое.

– Знаю сам, что плохое. Я, батюшка мой, за этот месяц так надергался, что все волосы потерял. Вот извольте посмотреть – голая голова. Не очень было много и раньше, а теперь ничего не осталось.

– А когда все это произошло? Когда у вас пристав был?

– Два года назад, а то и больше.

– Как два года? И вас только сейчас потянули в суд?

Каждый юрист поймет, почему с таким независимым и веселым видом я входил в камеру мирового судьи. Мой унылый клиент ждал меня там с видом уже приговоренного. И правда, грозил ему год и четыре месяца тюрьмы. Но радовать его преждевременно я не рисковал.

Судья нас вызвал. Прежде чем он задал вопрос, я заявил голосом изысканно вежливым и смиренным:

– Господин судья, дело это должно быть прекращено по вашей инициативе.

– То есть как это? Почему?

Тогда, уже более язвительно, я сказал:

– Потому что истекла процессуальная давность: больше двух лет, точнее – два года и четырнадцать дней со дня предполагаемой растраты. Оно, собственно, не могло быть возбуждено.

Судья густо покраснел, сказал: «Ваше заявление будет рассмотрено», пошел совещаться с самим собой и наконец вышел и объявил:

– По указу и прочему дело считать прекращенным.

Месяцем позже зашел ко мне мой клиент веселым и помолодевшим.

– Не тюрьмы было страшно, знаете ли, а волос было жалко. И вот, представьте себе, а лучше всего – извольте сами взглянуть: пушок-с...

– Где пушок? Какой пушок?

– На голове пушок. Волосы начали расти. Доктор говорит: прошло нервное потрясение – вот и волосы появились. И по совести скажу: вы мне волосы вырастили, вам обязан по гроб!

Маклаков, Тесленко, Переверзев, Грузенберг, Слиозберг, – было ли в вашей практике что-нибудь подобное?

РЕЗЮМЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ

Я мог бы рассказать еще о нескольких блестящих достижениях в моей адвокатской практике, например о том, как я искренне защищал человека, обвинявшегося в воровстве

пальто, убежденный в его невинности, и как он после оправдания поднес мне в виде гонорара две серебряные ложки с клеймом отеля; как я старался горячим призывом к человеколюбию убить формализм судей суда коммерческого (причем блестяще провалился), как в качестве опекуна мирил семью старообрядцев-наследников, поделивших шесть домов, но не смогших поделить свиньи и кучи старого железа, как справкой из кассационных решений сразил ходатая от Иверской. Но что толку все это рассказывать, когда парижские представители адвокатуры и редакторы газет упорно отказывают мне в юбилейном чествовании!

Последнее дело, провести которое мне уже не удалось, было мне поручено московским Сиротским судом. В это время я сидел в тюрьме по собственному делу, грозившему мне смертной казнью (1905 год). Неожиданно в камеру мне прислали из конторы тюрьмы бумагу, гласившую:

«По указу его императорского величества назначаетесь вы опекуном над малолетними такими-то, имущество которых имеете принять» и прочее.

Его величество не мог знать, что мне крайне хлопотно заниматься опекой над малолетними в таком неудобном помещении, бумага же дошла до меня по инерции. Я с особым удовольствием написал на ней, что, будучи очень занят личными делами, от опеки вынужден отказаться, в чем прошу его величество меня извинить.

Думаю, что перечисленных дел моих, проведенных, правда, не в Палате и Сенате, а лишь в милых бывших наших (очаровательных, изумительно, действительно, прекрасных!) мировых судах, достаточно, чтобы признать мои адвокатские заслуги и хотя бы задним числом произвести меня из помощников в присяжные поверенные... Я уж в таком возрасте, что как-то неудобно числиться помощником. Что касается двадцатипятилетнего моего юбилея, то мне остается только настоящей моей жалобой апеллировать к общественному мнению, в которое я еще не утратил веры.

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА ПУШКИНА

Если живали в Москве, то, может быть, встречали на Тверском бульваре фигуру в черном плаще, высоком и широком воротнике, пышном галстуке, а шляпа почти

всегда в руках. Смуглое лицо, бакены, кудрявая голова, задумчивость – такое сходство с Пушкиным, вернее, со статуей на памятнике Пушкина, что даже как-то неловко. Появлялся со стороны Никитских ворот, держа в одной руке шляпу и книгу, а в другой толстую палку, медленно проходил весь бульвар и садился против памятника.

Этого человека звали Александром, но не Сергеевичем, а Терентьевичем, а фамилия его была Телятин. Служил по акцизному ведомству маленьким чиновником. Жил в Мерзляковском переулке, в двухэтажном доме, в собственной квартире. Был женат и бездетен.

Утром он вставал, пил с женой чай и шел на службу. Служба была в том, что целый день он заполнял пустые места на цветных бланках. У него был преотличный почерк, а машинка в те времена была еще не в большом ходу, так что почерк ценился. Бланки он заполнял без ропота и без гримас, даже отчасти любуясь на свою отчетливую работу; но если кто-нибудь к нему обращался, особенно из захожих по делам посетителей, то он медленно поднимал от бумаги черно-карие глаза, смотрел устало и отвечал снисходительно. Сослуживцы звали его, конечно, Пушкиным или просто поэтом; но в общем любили, не смеялись над ним, так как он был хороший человек.

В четыре часа возвращался домой; тогда перерывов на обед не было, да и вообще всюду обедали в пятом часу; нынче, говорят, пошли заграничные привычки. Жена встречала его супом. Она была добрейшей женщиной, только толста, непомерно толста, ума же среднего. Александра Терентьевича она очень любила и вышла за него именно потому, что он похож на Пушкина, а Пушкина она все-таки читала, особенно стихи.

Вышла-то за Пушкина как будто легкомысленно, а получила в мужья очень сносного человека, хотя и с небольшим жалованьем. Возвратившись домой, он надевал старый пиджак и садился за стол. И всегда, даже за вторым блюдом, сидел молчаливо и задумчиво. Необходимое говорил, и не дулся или гримасничал, а таким был по своему характеру. После же обеда переодевался в знаменитый свой костюм – воротник, галстук, широкие штаны без заглажки, надевал плащ, брал широкополую шляпу и книжку – и уходил. А жена провожала его любящим взглядом, более или менее коровьим.

Она знала, куда он идет. Никогда идти с ним не напрашивалась, и это оттого, что она понимала, как ему важно быть одному. Не задумываясь, а просто по хорошему женскому чувству считала, что таково его призвание, как бы указание судьбы – быть похожим на Пушкина и сидеть на Тверском бульваре против памятника. Для чего – неизвестно, но уж значит – так сложилась его жизнь. Любящее сердце не позволяет себе критиковать поступки любимого, а жизнь наша вообще – загадка, и должно в ней быть что-нибудь особенное. Когда он уходил, жена думала: «Вот он сидит там, и все на него смотрят». И на сердце ее становилось легко и приятно.

А он нисколько не рисовался. Он тоже чувствовал, что в его судьбе есть странность и что иначе поступать нельзя, как, например, нехорошо зарывать свой талант или уклоняться от исполнения общественного долга. Иногда и погода была плоха, и не совсем здоровилось, – а он все-таки шел на бульвар отбыть положенное время, полчаса или весь час. Был и тут добросовестен и аккуратен, как на службе в акцизном ведомстве. Сначала его смущало внимание прохожих, особенно у самого памятника, где легче проверить сходство. Затем он привык. Обычно сидел, слегка склонив голову, и ловил доносившийся шепот: «Посмотрите, вот удивительное сходство!» Людей он разделял на две категории: на замечавших и ничего не замечавших. Первые были образованными и порядочными людьми, а вторые – бессмысленная чернь, чуждая поэзии. Но никогда он не старался сам каким-нибудь жестом привлечь на себя внимание. Посидев – шел домой в прежней задумчивости. Придя – переодевался, пил чай с баранками, а вечером заполнял взятые со службы бланки, а жена рядом что-нибудь вязала или вышивала. Хотя она была немногим его моложе, но он часто почти по-отечески гладил ее по голове и говорил что-нибудь ласковое, и она была очень этим счастлива. По воскресеньям, по ее просьбе, он читал ей стихи Пушкина, и тогда обоим казалось, что вот он читает ей свое, посвященное ей. Так что когда он ей читал, например:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы ... –

то ей думалось, что вот тут, во второй строчке, ударение, пожалуй, и неправильно, – но сказать, конечно, не решалась, чтобы не обидеть автора.

Таков был Александр Терентьевич Телятин. Не фигляр, не актер, не заносчивый человек, а как бы человек, отмеченный перстом судьбы и несший свою участь безропотно, достойно и вполне скромно.

* * *

Мы же были студентами, я и Петька Шулепов, тоже юрист, но большой озорник. Я убеждал его, что не стоит, выйдет какая-нибудь неприятность, но он настоял на своем, а мне, в общем, было тоже любопытно.

Петька подошел первым, снял шляпу, низко поклонился и сказал:

– Александр Сергеевич, от имени русской молодежи, воспитанной на ваших великих произведениях, и от имени всей России – позвольте выразить вам глубочайшую нашу радость, что видим вас опять живым и здоровым!

Сказав, отступил на шаг. Я думал: вот сейчас начнется скандал. Петька, правда, здоровяк и будет биться до последней капли крови, но у Пушкина толстая палка.

И вдруг человек, похожий на Пушкина, поднял голову, посмотрел грустными глазами и ответил:

– Пожалуйста, благодарю вас.

Ко всему мы были готовы, а такого простого ответа как-то не предвидели. Даже Петя Шулепов смутился и забормотал:

– Мы ведь только так... Вот позвольте представить вам моего товарища, он тоже стихи пишет.

Хотя я стихов не писал, но пришлось раскланяться, а Пушкин протянул мне руку и сказал:

– Очень приятно... если у кого талант.

Тут я потянул Петьку за тужурку и говорю вполголоса: «Идем, что ли, будет», – но он шепчет в ответ: «Как-то теперь неудобно уйти» – и опять к Пушкину:

– А что, Александр Сергеевич, может, сделали бы нам честь, зашли бы с нами выпить пивца? О литературе там поговорим и о прочем.

– Покорно благодарю, с удовольствием.

Так и пошли. Мы по бокам, с почтительным смущением, а он посередине, в широкой крылатке, волосы в кудрях, голова немножко книзу – совершенный Пушкин. Публика смотрит с изумлением.

В дверях пивной, пропустив его вперед, немножко задержался, и я спрашиваю Петьку Шулепова:

– На какой черт ты его позвал, он, кажется, сумасшедший?

– Вот вздор, здоровый человек; а может быть, он и впрямь Пушкин!

– Ну тогда, значит, ты сам рехнулся.

– Да будет тебе! Зайдем выпьем, а там посмотрим.

Нам подали калинкинского; пиво плохое, но свирепое. А к нему этакие маленькие бараночки, вроде обручального кольца, но с солью. Особо заказали раков.

Человек как человек, не смущается, помалкивает, только грустный. Сначала у нас разговор не выходил, но скоро пиво помогло. Через полчаса, за которой-то бутылкой, Петька уже кричал на всю пивную:

– Вы, Александр Сергеевич, поймите, каково это нам читать на вашем памятнике неправильные строчки! Что это за «прелестью стихов я был полезен» – какая польза от прелести? А у вас как написано: «Что в мой жестокий век восславил я свободу»! Вот за это, Александр Сергеевич, мы вас и любим, мы, русское студенчество. Только вы плохо пиво пьете, а раки нынче очень хороши.

Еще через полчаса Петька неистовствовал:

– Вот что, Пушкин, ты слушай! Хочешь, сейчас пойдем к твоему памятнику – и всю надпись к черту! Ты мне верь, Саша, я зря не говорю! Ты меня поцелуй, Саша, вытри бакены и поцелуй, а то как ты сосал рачью клешню, так у тебя и застряла корочка.

Человек, похожий на Пушкина, пил пиво большими глотками, ласково кивал, иногда отвечал односложно, целовал Петю толстыми пушкинскими губами и был, по-видимому, доволен. Только к концу дюжины пива я заметил, что если пьян Петя Шулепов, если и мое сознанье не очень ясно, то наш гость совсем плох. То ли он не привык пить, то ли мы оглушили его беспардонной болтовней. Голова его склонилась, волосы спутались, галстук сбился набок, – и совсем он не был теперь похож на собственный памятник. Особенно пострадала крылатка, нехорошо им запачканная, когда мы подымали его из-за столика. Одним словом, кончилось это не так приятно, как началось.

Адрес он все-таки нам сказал. Усевшись в пролетку, подъехали к дому в Мерзляковском переулке. С извозчика драгоценный груз нам пришлось тащить обоим, а на неистовый Петькин звонок отперла дверь толстая женщина, ахнувшая при виде мужа.

Я еще довольно сносно владел языком и пытался ей объяснить, что вот какая произошла случайность, но что это ничего, даже очень хорошо. Но Петька перебил меня восклицанием:

– Па-л-учите! И вот, Нат-т-талья Гон... Гончарова, к чему п-приводит легко... легкомысленное п-поведение. Мы, Наталья Г-гончарова, мы его привезли п-прямо с дуэли, а вот это (показал на меня), это – сам Дантес, и я ему р-разобью...

– Перестань, Петька, нехорошо!

– Знаю, что нех-хорошо, знаю! И все же не п-позволю обижать великого п-поэта!

Назавтра мы, посовещавшись, чинно и благородно явились на квартиру нового знакомого извиняться. Его дома не было, а жена встретила нас сначала не очень дружелюбно. Но мы были молоды, а Петька, хоть и буян, – умел быть галантным и милым человеком. Главное – мы искренне раскаивались. Посидевши минут десять и объяснив, что во всем виноваты были мы и что силой затащили «Александра Сергеевича» в пивную, мы смирненько удалились. И, мне кажется, что была, в общем, довольна жена человека, похожего на Пушкина. Ведь все это происшествие было как бы доказательством того, что он – человек особой судьбы, как бы отмеченный роком. А Петька еще догадался ввернуть несколько слов о ничтожных детях мира, о святой лире и божественном глаголе. Удивительно, как у этого болтуна все приходилось к месту!

* * *

Очень много – лет пятнадцать – спустя, после всяких житейский скитаний и мытарств, в дни революции, разрухи и московского голода, я вез однажды на детских санках полтора пуда мерзлой картошки. На улице были сугробы снега, а на Тверском бульваре дорожка более или менее протоптана и для санок удобна. И только повернул на бульвар со Страстной площади, как почти столкнулся с человеком странного вида, толстогубым, с полуседыми редкими кудрявыми баками, в легкой, вызеленевшей крылатке – это по зимнему-то морозу! Я был в валенках, а он в каких-то необычных глубоких калошах с меховой оторочкой многолетней давности. Сам – сгорбленный под кулем какого-то зерна, надо полагать – овса или проса.

В другом месте я бы не вспомнил, а тут, у памятника Пушкина, сразу узнал человека. Теперь о сходстве, конечно, смешно было говорить, – а все-таки что-то осталось, вероятно в глазах или в странности одежды.

Подумал сначала – не заговорить ли? Напомнил бы ему, как подшутили мы над ним в студенческие годы, – ведь быть того не может, чтобы он поминал нас злом. А время сейчас такое, что приятно отвлечь мысли от житейских забот. Но, посмотрев на свои саночки, решил, что накинуть на них еще его мешок – будет слишком тяжело, видеть же, как он надрывается под непосильной ношей, и забавлять его приятными воспоминаниями – как-то нелепо. Так я и не остановил человека, некогда похожего на Пушкина.

Но вот что, помню, пришло мне тогда в голову. Пушкина мы все знаем по его молодым портретам, и умер он молодым. Мне же, – и тут смеяться нечему! – удалось видеть его старым и несчастным. Потому что ведь сходство то, столь разительное, сохранилось бы и в старости!

И еще я подумал: а что этот человек, пушкинский двойник, испытывал, когда изменили надпись на памятнике Тверского бульвара? Вероятно, это было дня него некоторым праздником. Может быть, жена, – если еще жива, – его поздравляла, а вечером они, после чаю, читали вслух:

И долго буду тем любезен я народу...

Конечно – мысли праздные. Но не всегда же думать о серьезных делах.

МАРИНАД

– Я извиняюсь, гражданин...

Мне стало сразу грустно. Три красноармейца, человек в черной коже и гудок автомобиля у подъезда. Ясно. Все же я попробовал сделать шаг вперед.

– Гражданин, я фактически прошу вас остановиться.

Пришлось фактически остановиться. Менее чем в четверть секунды припомнил, что у меня в карманах, чье письмо осталось на столе... Не забыть взять с собой подушку и сунуть в башмак огрызок карандаша... Известить Союз писателей... Помнить, что все это делается для счастья потомства, в интересах социальной справедливос-

ти и гражданской свободы... Перед увозом закусить, так как до завтра бурды не дадут...

– Пожалуйте с нами в эту квартиру.

– Я живу выше.

– Не имеет значения, гражданин. Ваше присутствие необходимо при вскрытии.

Волосы зашевелились. Дело выходит хуже обычного. Еще четверть секунды на воспоминания о том, кого я мог убить и чей труп будут вскрывать. Но все же уголовное дело лучше политического.

– Вы, гражданин, не преддомком?

– Нет, я просто жилец.

– Не имеет значения. Можно и так. Потрудитесь удостовериться, что печати целы.

На двери квартиры этажом ниже моей уже с месяц висят печати. Жил здесь врач, но куда-то исчез; говорят – убежал, опасаясь ареста. Квартиру его опечатали, позабыв потушить электричество. Домовый комитет ходатайствовал о временном снятии печатей на предмет поворота выключателя, но совдеп не разрешил. Так и светились окна всю ночь.

Отлегло от души: вскрывают не труп, а квартиру. А я не преступник, а свидетель. Приободрился, повеселел, осмотрел печати:

– Да, все в порядке.

– Фактически удостоверились, гражданин? Во избежание в будущем нареканий на власть.

– Фактически.

– А-атлично. Петь, ломай печати к чертовой матери!

Петь, красноармеец, сломал печати. Ключа не было, но шофер дал ломик вроде фомки и показал, как делается.

– Дверь, гражданин, заперта, по какой причине отворяем при помощи орудий производства.

– Можно бы ключ в домкоме попросить.

– Времени, гражданин, мало, не до ключа.

– Вы там электричество потушить хотите?

– Об электричестве ордера нет, хотя, конечно, потушим, если что горит. Мы же на предмет реквизиции.

Петь, очень добродушный красноармеец, пояснил:

– У нас насчет небели мандат, для домашнего театра. Цельный список имеем. Вот товарищ комиссар нам выдаст. А вы, значит, за понятого.

Вошли в квартиру. Обстановка очень хорошая. Столовая карельской березы, гостиная со всякими пуфами и интимными

уголками. Кабинет серьезный, деловой. Шкап с медицинскими книгами, другой с инструментами, третий заперт на ключ. На стенах недурные картины, оригиналы скромных художников.

– Ну, Петь, забирай, что надо. Где список ваш? Вы, гражданин, извольте удостовериться, что все по списку. Номер первый: четыре картины. Забирай, Петь, и выносите, времени у нас мало.

– А какие брать-то? Вон их сколько.

Красноармеец постарше предложил:

– Бери, которые побольше и повиднее.

Но Петь колебался:

– Вы, гражданин, не посоветуете нам, которые брать?

– А вам для чего картины?

– Все для театра. Только я вот не помню, на какой нам лях картины.

Мы обошли комнаты. В спальне и в прихожей висели нелепые полотна в золоченых рамах. Я посоветовал остановиться на них: и ярко и здорово.

Отобрали три, а четвертую Петь облюбовал в кабинете. Сняли со стены.

– Ну, теперь тащи их в машину. Следующий номер: стол столовый один.

– Нам бы взять тот, писчебумажный, из кабинета.

– Сказано: столовый, значит, этот и бери. Тот для учреждения потребуется.

– Этот-то жалко брать, он от цельной обстановки; что ж ее разрушать.

– Есть что жалеть: буржуазную мебель. Бери, что по списку указано. Того стола я фактически не могу позволить. Вот пускай гражданин сам убедится.

– А нам первое дело занавески нужны.

– Занавески? Тут занавески не показаны в списке.

– Как же не показаны. Вот пусть гражданин понятой проверит.

Я взял список, читаю:

– «Четыре гардины, стол столовый один...»

Объясняю:

– Вы, гражданин комиссар, ошиблись. Сказано: четыре гардины, а не картины. Гардины – это и есть занавески.

Петь обрадовался:

– Вот я тоже и говорю! Нам главное дело в занавесках.

– Ага. Так, значит, гардины. Это и есть... Эй, товарищ шофер, назад картины. Не нужно. Сымай, Петь, тряпки с окон. Напишут тоже, черти, и не разберешь.

Еще отобрали зеркало, ломберных столиков два, кресел кожаных два, ковер и умывальник.

– Зачем вам умывальник для театра?

– Ну, это уже так, для удобства. Чтобы умываться. Для полной обстановки.

Список кончен. Петь умаялся. Его товарищи расселись на диване и тушат папиросы об исподнюю часть стола, а не то чтобы обо что попало. Один вышел плюнуть в переднюю.

– А славно буржуи живут. Я бы так пожил.

Комиссар заметил:

– Несообразно рабоче-крестьянским интересам; хотя безусловно удобно. Кабинет, например, отличный для серьезных занятий.

В кабинете порылись по ящикам; любопытного было мало. При помощи того же фомки вскрыли шкап – и ахнули.

– Вот это запасы! – сказал Петь.

– Что же тут у него припрятано? – заинтересовался и комиссар. – Вот, гражданин, потрудитесь взглянуть. Банки стоят, а что в банках...

Петь вскрыл банку и понюхал:

– Ребята, да это спирт!

Оживились все. Перенюхали банку за банкой. Даже комиссар не скрыл удовольствия:

– Спирт безусловный. И не воняет ничем особым. Однако что в нем плавает? Вот, гражданин, не потрудитесь ли удостоверить находку? А главное, не вредно ли? Отравы нет ли?

Я прочел латинскую надпись на банке и охотно удостоверил:

– Нет, это вредным не должно быть.

– Маринад какой?

– Вроде маринада.

– А если попробовать?

– Не знаю. Как вам понравится. Вреда, конечно, не будет.

Комиссар подумал и сказал решительно:

– Придется законфисковать и реквизировать. А ты, Петь, попробуй на язык.

– Кабы чего не вышло.

– Вон гражданин говорит, что вреда не будет.

Соблазн был силен: Петь сначала лизнул языком краешек банки, затем пригубил, наконец отпил глоток, крякнул и вытер рукавом губы:

– Спирт как есть, настоящий. А на чем настоян – не разберешь. Плавает что-то.

Попробовал и комиссар:

– Натуральный спирт. А что же тут написано? Вы, гражданин, по-иностранному знаете?

– Знаю.

– Окажите помощь власти, гражданин. Объясните нам, а мы в протоколе запротоколим.

Из простого понятого я был повышен в эксперты.

– Вот тут, товарищи, написано: «Солитер».

– Это что же?

– Это вроде глиста, только не круглый, а ленточкой.

– Тьфу, – сказал Петь. – Это который мы пили?

– Нет, другой.

– Ну, слава тебе, а я испугался. А на нашем что?

– На вашем... как бы вам объяснить... Вроде маленького человека; по четвертому месяцу выкидыш.

Шофер, что стоял в дверях, так и лопнул от хохота, вроде резиновой шины. Петь остолбенел, а комиссар пришел в негодование:

– Я извиняюсь, гражданин, но вы за это ответите. Я вас фактически спрашивал...

– Вы спрашивали, не повредит ли. Я вам ответил, что ничего вредного тут нет.

– Этакую мерзость давать людям пить.

– Кто же вас заставляет. Я тут ни при чем.

Петь пришел в себя, долго вытирал губы, сплевывал на ковер и пугливо косился на шкап с банками:

– А ничего от этого в нутре не станет?

Шофер оскалил зубы:

– Смотри не забеременей.

Подошел к шкапу, похлопал дверцу и жалостливо прибавил:

– Эх, добра-то сколько загублено. И на что! На паршивых на глистов да на бабье непотребство. Уж действительно!

Из соседней комнаты нас позвал комиссар:

– Вот, гражданин, соблаговолите расписать фамилию под списком, что все из квартиры забрано согласно мандата.

Я подписался.

Мы вышли. Дверь снова опечатали. Поднявшись в свой этаж, я услыхал гудок отъезжавшего грузовика.

А вечером, выйдя подышать воздухом, увидал освещенные окна квартиры беглого врача. Электричество так и забыли погасить.

ПЕНСНЕ

Что вещи живут своей особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, – но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, – и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан – носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница – почтовая марка.

Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, – живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живет жизнью менее индивидуальной и заметной.

Но особенно меня всегда занимала одна любопытная черточка в жизни вещей – не всех, а некоторых. Это – страсть к путешествиям. Таковы: коробка спичек, карандаш, мундштук, гребенка, шейная запонка, еще некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, это эти вещи время от времени уходят гулять – на минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические (семисвечник, голубой бриллиант, исторический труд Тита Ливия и пр.), но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля, случай, злой умысел; на примере мелких вещиц легче установить полнейшую самостоятельность поступков.

Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал, и, не приди мне в голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности и «неодушевленности», – я бы и посейчас думал так элементарно.

Все читающие в постели знают, с какой настойчивостью «теряется» в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладете на одеяло карандаш. Через минуту – карандаша нет. Вы шарите, ищете, злитесь: нет и нет. Откидываете простыни, смотрите под подушкой, на коврике, на столике: нет нигде. Ворча встаете,

лезете в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо – но карандаша нет. Ежась от холода, вы плететесь к столу, берете другой карандаш (обычно он оказывается неочиненным), чините его, возвращаетесь. Подоткнув под себя одеяло, чтобы согреться, вы наконец берете книжку, отложенную потому, что нечем было отчеркнуть нужное место. Раскрываете книжку – карандаш в ней.

Ясно, что сам попасть он в нее не мог, – но не менее ясно, что вы его туда не положили, не могли положить.

Обычно мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно! Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали.

Я помню поразительный случай с моим пенсне: простое пенсне, без оправы – два стекла и легкая дужка.

Сидя в кресле у стены, я читал; на новой главе хотел протереть стекла, вынул платок, и вдруг – пенсне исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы, складки одежды, щели в кресле, маленький столик рядом, листы книжки – все решительно. Пенсне не было нигде; не быть и раньше не могло, так как я очень дальнозорок и мелкой печати без стекол не разбираю.

Не подумайте, что пенсне мое оказалось на носу; в таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу; на ней были две свежие ямки – и ничего больше. Я отодвинул кресло, осмотрел на нем все кисточки и пуговки, о которых Козьма Прутков сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком, – и все бесплодно.

Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмел паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной – все было напрасно.

Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенсне; я еще порадовался, что – судя по звуку – оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами – чтобы хоть раздавить его, проклятое, и наконец успокаиваюсь. Ни-ка-ких!

Так и исчезло – как провалилось. Но в паркете не было ни единой щелочки.

Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл и много раз о нем рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла

тряпочкой все предметы, вымела все пылинки и даже вымыла черную лестницу (до следующего этажа). Вся квартира обновилась, посвежела – но пенсне не было.

Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, – и целый день мыслил, пользуясь, главным образом, методом исключения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы.

И вот сидел я однажды в том же кресле у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению отчеркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенсне, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг – раз! – и падает карандаш. Перепуганный (не шутя! тут любопытнейшее психическое переживание!), я бросаюсь вдогонку. Мне почему-то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены, и... рядом с ним, смирненько, плотно прижавшись стоймя к стене, блеснули два стекла с тоненькой дужкой.

Вы можете, конечно, смеяться и утверждать, что я слеп (это неправда! я дальнозорок, но вижу отлично), что слепы все мои знакомые, слепа прислуга, ежедневно подметавшая каждый вершок пола, что это просто курьезный случай и прочее. Реалистически мыслящий человек имеет на все готовый ответ. Но нужно видеть физиономию моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это – не случай и не недоглядка.

Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно – наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.

Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно, в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность?

На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и

страшной душевной усталости, – в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.

Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов, показал его прислуге, знакомым, от которых, впрочем, не услыхал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно «странно упало». Действительно, странно! Почему-то с людьми этого никогда не случается!

Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довел до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка: он искал пенсне, как предмет плоский (?!), лишь в двух измерениях, между тем как оказалось оно именно в третьем. По-моему, это – чепуха.

Между прочим, кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул; пенсне упало плашмя на пол и разбилось в мельчайшие осколки.

Пусть это будет случайностью – мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные считать этот «случай» самоубийством. И что могло побудить эту в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек?

Мне жаль бедняжку! Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на малейшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности.

ПО ПОВОДУ БЕЛОЙ КОРОБОЧКИ

Одно время меня стала упорно преследовать белая коробочка от какого-то лекарства, коробочка белого некрашеного дерева с отлично пригнанной выдвижной заслонкой. Было достаточно сесть за стол с добрыми намерениями (я пером спасаю человечество), как сейчас же мысль отвлекала коробочка, не нашедшая ни места, ни применения. Выбросить такую коробочку свыше моих сил. Тут и любовь к деревянным предметам, особенно некрашеным, и сознание того, что коробочка есть продукт труда, и вообще жадность человека к

вещам, во мне развитая до болезненности, так что я утопаю в бумажках, мундштуках, ножичках, пепельницах, скрепках для бумаги, острых и тупых карандашах, зажигалках, футлярах, гребешках, штемпелях, зубочистках, стаканчиках, календарях, одних разрезательных ножей шесть или семь штук, пять резинок, хотя ничего не стираю, губка для марок, всегда сухая, очки для дали, для близи, для чтенья, для разговора, лупа большая и три маленьких, оставшаяся от фонарика лампочка, пипетка для бензина, складной метр, белый клей, точилки, ключики, от чего-то отпавшие и еще не приклеенные кусочки, ножницы газетные, да ножницы малые прямые, да кривые для ногтей и на случай заусеницы, да цветной детский кубарик с цифрами, три пинцета, и уж не говорю про чернильницы, про коробочки с неизвестными мелочами, про книги, про папки, про газеты – и все это только на столе, а если начать выдвигать ящики стола, и тот, где бумаги, и тот, где курительное, и тот, где столярные инструменты, и где фотографии, и где вообще то, что больше никуда не засунешь, или, если обвести глазами книжные полки и регистраторы, висящие защипочки с приглашениями и воззваниями, да портреты, да кружка пивная немецкая, да кинжал арабский, да тот самый пистолет, из которого Пушкин убил Лермонтова, да деревянная ложка, которою Суворов хлебал солдатские щи, да шахматы, да портфели и портфельчики, если, говорю я, все это обвести деловым взглядом задавленного и затравленного вещами человека, – то захочется из этой комнаты убежать в другую, где придется делать новую опись, начав с подсвечника в стиле Людовика XXVIII и кончив глиняным этрусским сосудом для испарения воды, который подвешивается к паровому отопителю и покупается в хозяйственных лавках.

Все это утрясается и находит свое место, так что иногда, не видя перед собою испорченного и давно уже, лишь за выслугу лет, сохраняющегося стило, испытываешь беспокойство и, оставив работу, принимаешься за поиски, куда оно к черту затерялось, и тут кстати, на тарелочке с мелочами, находишь бритвенный ножичек, щетины не режущий, но еще способный на много полезных дел, не знаю, каких именно, но чувствую, как это чувствовали изобретатели применения к делу предметов, утративших силу первоначального назначения, но вполне сохранивших первоначальный облик, совершенно так же, как и белая коробочка, грустно и обиженно слоняющаяся по столу, запинаясь за уже прижившиеся и уверенно стоящие на своих местах многочисленные предметы моего вещевого хозяйства. Найдя наконец стило (уходившее

навестить свою тетку, щеточку от пишущей машины), водворяю его на обычное место в высоком ассиро-вавилонской работы металлическом стакане с пометкой «1926» и вижу, с каким презрением смотрит на него стило новое, носящее имя «товарищ Ватерман». И тут же жмется и теснится вместе с другими орудиями писательского производства перо гусиное, серое и потрепанное, оставленное не за красоту, а за то, что гусю, мне его подарившему, было от роду восемьдесят лет, я же раньше и не подозревал, что гуси так долговечны. Иначе говоря, из хвоста того же гуся мог в Париже дергать перья, например, Иван Сергеевич Тургенев, который в ранние годы своего писательского труда писал, несомненно, перьями гусиными, и этот гусь мог знать Ивана Сергеевича еще не старым человеком, сам будучи уже достаточно взрослым и женатым на стаде жен, даже дедушкой. Попробуйте-ка решиться выбросить такое историческое перо, которым, может быть, написаны на рю де Риволи «Записки охотника»!

И вот, поставив перед собою, чтобы записать для потомства эти свои встречи с Тургеневым, машину с русскими буквами, которую я зову ласково Машей, в отличие от Пупси, машинки с латинским шрифтом, ревнивой и замкнутой, живущей у меня на положении терпимой иностранки (налоги полностью, права с ущербом), – я замечаю, что забыл слепить с бездушной оболочки чрезвычайно милых заграничных писем почтовые марки с изображением отрезанных королевских голов, невинных девушек, львов, рыб, голубя в шестиконечной звезде, скал и готических зданий. Старый законопослушный интеллигент, я считаю собирание марок воздействием наследственной психопатии и счел бы личным оскорблением, если бы меня заподозрили в филателизме; и я охотно опорожниваю коробку с собранными сокровищами в карман первого зашедшего ко мне человека с признаками атавизма и остановившимся взором. Но бросать в корзину конверты вместе с головами королей, великих ученых и красноармейцев – мне не по силам. Марка – вещь, и у каждой вещи есть своя душа, не угасимая штемпелем. Возможно также, что мы не миримся с фактом мгновенной утраты некоторыми вещами их ценности без их физического уничтожения; символ не зачеркивается так легко. Если, например, на тысячефранковый билет надлежащей властью будет поставлен штемпель «Ничтожен» – вы все-таки его не выбросите, а будете носить в бумажнике, притом так, чтобы был виден кончик, когда в магазине «Юни-при» платите франк за шнурки для башмаков. Никогда у меня не поднималась рука выбросить металличес-

кую коробку от табаку какого-то Скаферлати-Визир (не очень верю в его существование!); коробки накапливаются десятками, сотнями, колоннами, тоннами, загромождают квартиру, пока не находится благодетель, радостно ахающий и уносящий их в три приема, причем я убежден, что и он не знает, что с ними делать. Не любопытно ли, например, что некоторые с удовольствием освобождаются от ненужной им газовой плиты, потому что перешли на электрическую, даже жертвуют в библиотеку прочитанные номера «Современных Записок» вместе с началами, концами и продолжениями начал и окончаний, то есть расстаются с длительными ценностями, но никогда в своей жизни не решились бросить в сорный ящик одно «маленькое су», никчемно валяющееся на столе, на которое уже нельзя купить даже металлического колесика от ножки подержанного депутатского кресла? И я хотел бы видеть человека, носящего на носу семь близоруких диоптрий, который не сохранял бы неизвестно для чего стекла очков своей молодости, хотя сквозь эти стекла он уже не способен прочитать даже заголовок о похищении нового генерала; разве что у него есть дети, подающие надежду на такую же близорукость. И я должен сознаться, что пришел в восхищение, когда один вполне родственный мне по духу человек аккуратненько срезал острым ножиком остатки щетины на истертой зубной щетке, а костяную ее рукоятку спрятал, потому что мало ли на что она может понадобиться, например – размешивать какую-нибудь смесь, или же можно из нее выточить потерянные фигурки карманных шахмат, для чего достаточно приобрести токарный станок и хорошенько подучиться на нем работать. Он же срезает с изношенных помочей металлические части и накопил бы их очень много, если бы не случайные утраты имущества, связанные с революционными событиями. После этого можно ли удивляться, что мне не дает покоя белая деревянная коробочка от патентованного лекарства, потерянно гуляющая по моему столу: и она найдет свое место!

Поставим вопрос шире и научнее. Есть несомненная духовная связь между гоголевским Плюшкиным и Иваном Калитой, как между последним и Владимиром Лениным, изрекшим, что «в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится». Это мудрость людей кондовых, людей от земли, понимающих, что такое компостная куча, как она составляется и какие выгоды сулит хозяйственному мужичку. Плюшкин напрасно Гоголем изображен в таком неприглядном виде. Имея достаточно оснований не любить людей (даже родная дочь его обиде-

ла), неистраченную любовь он перенес на вещи. В молодые годы он был прекрасным хозяином и семьянином. «Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум: опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать». Он был по природе скопидомом, и в это слово следует вдуматься: оно по корню своему имеет смысл положительный. И Плюшкин был виноват лишь в том, что пришла старость и пришло одиночество и он перестал отряхивать пыль с накопленных вещей и вещичек и уже не берег вещей, а губил их – заплесневел сухарь, засох лимон, высохли чернила, как в чахотке, пожелтела зубочистка и в рюмку попали три мухи. А пройдись Плюшкин по вещам пылесосом, – и заблестели бы они спокойной красотой и уютом домовитости. Не ценил Плюшкин только человеческих мертвых душ, почему и продал их Чичикову по столь невероятно низкой цене: по 32 копейки ассигнациями за штуку.

Как плесенью сухарь, покрываются патиной времени милые вещи, и у каждой из них есть своя биография. Бывают фамильные серебряные ложки, съеденные с левого боку. В скольких ртах они побывали, скольких зубов коснулись, сколько раз наблюдали, как мягкий пух над верхней губой сменялся русым волосом и колючей седой щетиной. Бывают печати и печатки, на своем веку замкнувшие тысячу тайн, слов деловых, любовных, дерзких, презрительных, просительных, холодных, пылких, сдержанных, свидетели житейских трагедий и водевилей. Потемневшим серебром отделана ручка костяного ножа, спутника многих дум и эстетических радостей, участника безмолвных бесед, товарища в мучительной бессоннице. Я знаю медное проволочное колечко с грошовым кораллом, одно из двух купленных на базарном лотке в чужом приморском городе; шумела пестрая толпа, пахло цветами и пригорелым оливковым маслом, шатались люди, ошалелые от жары и праздничного восторга, лошадиные морды были украшены перьями и бумажными цветами, в процессиях колебались раскрашенные мадонны, к приходу сумерек были заготовлены бумажные фонари на протянутых через улицу проволоках, – и два одинаковых кольца были куплены с шутливым смехом и великим смущеньем. Сколько есть на свете превосходных тайн!

И вот наконец последний рассказ о карманных часах, дешевых, но очень хороших, подаренных мальчику, который ими гордился, пока, подросши и став студентом, не увидал у богатого товарища золотой хронометр. Тогда он изменил сво-

им детским часам для других, и много раз в течение своей долгой жизни повторял измену. Но с ним, по путям жизни и любви, городам и весям невольных странствий, путешествовали и эти старые часы в обшарпанном футляре, забытые среди других вещей и вещиц, которыми обрастает человек. Случайно встречаясь с ними во время редких походов в прошлое, он считал их сломанными, но не решался выбросить, потому что... как же все-таки бросить вещь, связанную с какими-то смутными воспоминаниями? И должен был прийти такой день, – и он пришел, – когда ко внешне ничтожному вернулась внутренняя ценность, понимаете: вместе с листками пожелтевшей от времени бумаги, с выцветшими снимками милых и смешных улиц, ну, там еще с чем-нибудь, что способно вернуть обратно ленту жизни. И тогда, нажав пуговку футляра, он вынул эту уморительную и пугливую вещицу, часы состарившегося мальчика, и пальцами большим и указательным попробовал завести пружину, без надежды, но с трогательной осторожностью. И его часы, забыв обиду и зачеркнув протекшее так незаметно для них время, погнали стрелку вперед с того самого места, где ее когда-то остановила раскрутившаяся и уснувшая пружина. Учтите: каких полвека были списаны со счета, каких страшных полвека, – как одна незначащая минута, как легонькое забытье, послеобеденный сон, мелькнувший верстовой столб, пролетевшая птица! Он плотно приложил часы к уху, потому что уже плохо слышал, и стекло коснулось седины висков, как раньше касалось волос шелковистых, и когда, довольный, стал переводить стрелку, в круглом стекле вынырнуло и забегало отражение верхней лампочки веселым и молодым огоньком. И больше ничего, если не довольно этой сцены, подсмотренной в щелку костлявой и злорадной женщиной, которая хотела удостовериться, дома ли хозяин, к которому она послана сообщить, что его срок истек.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

О любви написано так много, что, пожалуй, ничего нового не скажешь. Но так как про нее пишут обычно гадости оттенка собачьего, и это считается особенно важным и занимательным, то остается область менее исследованная, а именно любовная простота и беззаветность, когда самого себя человек берет за скобку и больше не видит, а весь мир, и вся радость, и вся красота, и все благородство воплощается в другом человеке, который стоит перед ним денно и нощно, в

необыкновенном сиянии, лучезарный без пятнышка, милый до сладости и душевного таянья, всех на свете лучше и единственно необходимый и во всех поступках оправданный и святой, так что хочется зажечь перед ним лампадку и бить земные поклоны. Эта влюбленность и это обожествление выше той любви, когда «она» будто бы потеряла сознание, а «он», надрываясь от тяжести, тащит ее через две комнаты в третью, после чего им на некоторое время становится скучно и нечего делать; и уж второй раз он ее не потащит, только для первого раза старался, и идет она просто своими ногами, а он за ней, неспешно докуривая папиросу, – так что и любовь сразу идет на ущерб. Такая любовь обычно изображается в романах, иногда занятно, с разными еще подробностями, и чем их больше, тем и роман считается лучше. Кончается же тем, что ее тащит уже другой, а первый хоть для виду и обижается, но на самом деле думает: «Слава тебе, Господи, а я пойду любить в другом месте или просто отдохну».

Нет, совсем не так полюбил и любил мой герой, может быть, потому, что был человеком на возрасте, сорок с лишним, или все пятьдесят, основательным, устроенным, отнюдь не лысым, с небольшой бородой, высшим образованием, отличным аппетитом, независимым положением, серыми глазами и неистраченным сердцем. Рост несколько ниже среднего, походка устойчивая, пальцы короткие с припухлостями, лицо, совесть и белье чистые, пиджак темно-серый, в едва намеченную клетку синеватых нитей, в одном кармане бумажник, в другом документы, носовой платок с меткой гладью, зубы ровные, крайних коренных нет, но выпали не сами, а извлечены зубным врачом, очень хорошим, принимающим только по записи, телефон Дантон тридцать два зеро семь; да еще находишься к нему, так как, поковыряв минут десять, просит прийти через два дня и записывает в большой книге, делая на личной карточке, на изображенной в ней челюсти, пометку – где и что сегодня ковырял. Перед тем как жениться, описываемый мною герой привел зубы в полный порядок, обновил гардероб, добавив теплый костюм домашний, лаковые башмаки, две пижамы, двенадцать отложных воротничков с длинными кончиками, галстуков четыре длинных и один для смокинга, голубых кальсон шесть, шелковых рубашек три, мохнатых полотенец столько-то, носки со стрелкой и без стрелки и все прочее, в чем был недостаток. И три новые шляпы: котелок, мягкая и кепка для поездок, – и так он уехал

из мира холостого в мир семейного счастья и разделенной любви.

Перечень предметов сделан нами умышленно, как бы в легкую насмешку над вот каким буржуем: все у него в порядке и все предусмотрено. Это чтобы отметить, каким человек был раньше, до встречи и совместной жизни с женщиной, которую он полюбил так, как редко кому может присниться. В этом и весь рассказ, в силе любви, событий же никаких и не будет. Такая любовь сама по себе событие, к которому прибавлять нечего.

Она, его жена, ничем особенным, говоря по совести, не выделялась из среды живых существ. Была молода, что, конечно, очень хорошо, наилучшее качество женщины. Красива – не знаю, но ничего себе. В ней была та физическая приятность женщины, когда сразу видно: если ее нечаянно заденешь, то не ушибешься и не уколешься, а даже хорошо; так ласков бывает к шарам борт хорошего биллиарда; так скачут плоские камушки по гладкой воде; так цирковой гимнаст падает в предохраняющую сетку. Приятно было в ней и то, что, совсем не будучи дурой, она была чувствительно-глупенькой, и носик ее был приподнят и притуплен, видимо – теплый, как у проснувшейся собачки, перед тем спавшей калачиком, мордочкой в собственную печурку; и тогда у собачки это уже не признак нездоровья, а, наоборот, совершенного благополучия: вертит хвостиком и томно улыбается. И руки у нее были не из тех маленьких и худосочных, как у кенгуру, какими восхищаются поэты и прочие безвкусные люди, а руки настоящие, по большому росту, в меру сильные, способные к обмену пожатий, и все-таки женские. Вообще, без лишних духовных очарований, она была настоящей женщиной, с белыми ровными зубами, крутыми подъемами и безопасными спусками, летом похожей на яблоню, весной на березу, осенью на клен, зимой на елку, во всякое время года – на сезонный овощ; опускается этакий крепкий кочанок цветной капусты в воду, варится сколько надо, и потом – с маслом и мелко поджаренными сухарями, предварительно пропустив одну-две с легкой и не слишком соленой закуской. Иных же, более возвышенных, впечатлений она не производила.

И вот, когда он ее встретил и потом на ней женился, – внезапно произошел в рядовом, земном и пожившем человеке изумительный переворот, который может создать только большая и настоящая любовь.

Человек совершенно преобразился, как бы приподнялся на цыпочки. Стала легкой его походка, волосы приобрели

блеск, брови загнулись дугами повыше и застыли в радостном удивлении. И хотя он был ниже ее ростом, но стал казаться как бы футляром, в который на обитое бархатом ложе укладывается, все впадины точно заполняя, серебряная золоченая ложка с монограммой, семейная драгоценность. Или как если бы отличный и солидный кожаный с тиснением переплет обнял и не выпускает из объятий новоизданную занимательную книгу с золотым обрезом – приятно развернуть, причем листы в обрезе еще слипаются, и опять ревниво захлопнуть, то подержать перед собой на столе, то поставить на полку и любоваться хорошо оттиснутыми буквами на корешке и выпуклостями, прикрывающими сшивку, ощущая эту книгу собственной и любимой. Или погрузить зубы в свежее и сочное яблоко и держать, не сразу откусывая и наслаждаясь ароматным холодком и предвкушая легкий хруст белоснежного откола, внутри же ни единой червоточины, а только в блестящих чешуйчатых кроватках молочные зернышки, которые можно, тоже раскусив, проглотить с великим удовольствием, и так съедать по яблочку каждое утро и каждый вечер, никогда не пресыщаясь, но чувствуя нарастающее здоровье и постоянную свежесть во рту. Но, конечно, никаким уподоблением не передашь человеческого полного счастья от необычайной удачи жизненного шага, столь важного и ответственного.

Что такое любовь? Любовь – это когда любимый чихает в соседней комнате, и вся квартира, весь дом, вся страна и весь мир наполняются музыкой, из-за облаков выходит солнце, птицы голосят неугомонно, журчат ручейки, все кругом заляпано необыкновенным цветами, рот от улыбки растягивается до висков и хочется повизгивать от накатившего волною счастья. Любовь – это шутливо прокатившийся мимо блестящий шарик, за которым нужно гнаться, забыв и о возрасте, и о солидности, и о брюшке, и о мозоли, детски хихикая, спотыкаясь, прыгая через клумбу, через куст, через речку и Эйфелеву башню, умоляя шарик немножко обождать, чтобы наконец, догнав его, броситься на него всем телом, а он выскользнул, щелкнул по носу и уже катится дальше, вертясь и сверкая, дразня и заманивая к черту на кулички, в страну неугасимых желаний. Любовь – это свежеоструганная палочка, стопа чистой бумаги, свистулька из вишневой ветки, сотовый мед, венецианская стекляшка, выдутая на острове Бурано, свет через прорезанное в ставне сердечко, вскрывшийся в апреле лед на рыбной реке, корректура первой книги, шкурка чернобурой лисицы, отчаянный «морской житель» на

былом московском вербном рынке, в потолок хлопнувшая пробка, звон бубенчика или детский барабан. И еще любовь – это волны дыхания, сжатые плечи, мурашки по коже, прилив-отлив, низким облаком отраженный колокольный звон. И наконец любовь – это ты и я, или даже только ты, всех прочих – долой, – и опускается железный занавес шелковым покровом.

Именно так он и полюбил, с головы до ног омытый, выскобленный, обновленный мочалкой влюбленности, скребком любви, зубилом и напильником необычайных открытий. Мир, в котором раньше было только несколько знакомых улочек с рестораном, мясной, зеленной лавочкой, со службой, театром и газетным киоском, а люди ходили надоело знакомые, достоинством на три с плюсом, – вдруг этот мир осветился и наполнился висячими садами и приветливыми рожами, поющими осанну той, которая в центре и от которой многоцветным бисером во все стороны идет неистовое сияние. Она идет, покачиваясь, с венчиком на голове – и ряды старых и новых домов расступаются, почтительно склоняя крыши и давая ей широкую дорогу. Она взглянула – и тучи светлых елочных ангелочков облепляют глаза, шеберстят в волосах крылышками, шабаршат в карманах, как заобойные тараканы, шебалшат в уши свои разные ангельские благоглупости, розовыми культяпками хлюпают по губам, весело тюрюкая и тюлюлюкая певучие радости. Она заговорила – и сто пчел в куполе цветущей липы перекликаются с арфой, по струнам которой скачут кузнечики, кобылки, коньки и прузики, пел бы и соловей, да он днем молчит. Может быть, и нет в ее словах никакого такого и этакого смысла, ни Сократа, ни Платона, ни даже Владимира Соловьева, а просто о том, куда мы пойдем в воскресенье, и еще что-нибудь съестное, но звук милый из милых губ со знакомыми уголками, вместе грешили и не каемся, и уж ты говори не говори, дело не в том, и не это самое главное, под бровями глаза, в глазах дневная заслоночка, а что за ней, то никого не касается, а слова только для обычая, как для обычая застегивается ненужная пуговка и ходим мы на задних ногах. Кто понимает – его счастье, а беспонятному этого, конечно, не втолкуешь.

И даже если он ошибался, – такую ошибку можно любому пожелать. Я забыл прибавить, что любовь, это – когда человек рисует с натуры, и рисует он телеграфный столб, на столбе галка, а на бумаге райская птица в Семирамидином саду

кушает миндаль. И надоел райской птице художник даже до чрезвычайности, и миндалем она объелась, и хочется ей чего-нибудь менее торжественного и поновее, и ищет ее куриный мозг положительных знаний. Ему же, пишущему всякое слово с прописной буквы, даже эти ее коварные поиски кажутся откровением и сладкой пастилой: будь счастлив твой каждый шаг, и каждая твоя улыбка, даже в сторону, будь благословенна! Потому что любовь – это крепкая вера, священное писание, незыблемый и нетленный гранит, уровень и отвес, в гимназические годы осиянно воспринятая тригонометрия, в которой ошибки не бывает.

И так человек из серенькой нашей жизни выгадал и выкроил два ярких и полновесных года, в каждом году сто лет. Большим шестигранным карандашом зачеркнул в бухгалтерии своей молодости скучные цифришки случайных и банальных увлечений, попытки карабканья на скользкий столб с призовым подарком наверху, и проигрышные дни забот о житейском благополучии, и кожаное кресло солидного одиночества, и вообще все, что предшествовало его неожиданному последнему шагу, сдаче в сладкий плен удвоенного бытия. И, нужно сказать, он действительно выиграл, и не на мелок, а в звонкой монете, которую не копил, а тратил щедрой и счастливой рукой. Будь благословенна доверчивая любовь, солнцем опаляющая зренье, тканой парчой закрывающая нищенские лохмотья, утюгом разглаживающая морщины, в говор струн превращающая шипенье змеи!

Осанна!

Когда же он узнал, – горе тебе, усмешка друзей и проклятый теткин язык! – почему и куда, озабоченно захватив сумочку и меж двух бровей, бровей столь любимых, пристроив складочку хлопотливого неудовольствия, уходит дважды в неделю в половине пятого, – когда он узнал это внезапно, решительно и точно, – ухнуло дальнобойное орудие, с горы скатился обломок скалы, лопнула оболочка распухшего, от любви глянцевитого сердца, и он умер, не успев сложить руки крестиком и пристроить на лбу обычаем установленный венчик. И он лежал, крестом прилипнув к земле, пока прилетевший изнеподалека ангел, пощупав пульс, не записал его номерок, прибавив на полях расчетной книжки:

«Вот что такое любовь».

КОММЕНТАРИИ

Тексты романа «Сивцев Вражек», «Повести о сестре», рассказов М. А. Осоргина печатаются по его прижизненным изданиям, с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации.

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

Печатается по первому изданию – Париж, изд. кн. маг. «Москва», 1928; 2-е изд. – 1929.

Из письма Т. А. Бакуниной-Осоргиной к О. Ю. Авдеевой от 6 мая 1989 г.: «Второе издание книги – это просто второй тираж. Первый тираж разошелся мгновенно, и издатель сейчас же сделал второй, по тому же самому набору. А корректуру Михаил Андреевич держал всегда сам и умел делать это».

Отдельные главы публиковались в газетах: «Вечерняя жизнь». Москва. 1918. 22 марта/4 апреля. № 12 (гл. «Обезьяний городок»); «Дни». Берлин. 1924. 27 апреля. № 447; 1925. 18 октября. № 830; «Последние новости». Париж. 1924. 20 апреля. № 1226; 1926. 31 января. № 1775; 12 декабря. № 2090; 26 декабря. № 2104; 1927. 2 января. № 2111; 10 февраля. № 2150; 13 марта. № 2181; 17 апреля. № 2216; 22 мая. № 2251; 1928. 12 февраля. № 2517; 1939. 2 октября. № 6762, и в журнале «Современные записки». Париж. 1926. № 27; 1927. № 33; 1928. № 34.

С. 33. *...ученый-орнитолог Иван Александрович.* – Прототипом героя романа Осоргина был орнитолог Михаил Александрович Мензбир (1855–1935), автор основополагающих трудов по орнитологии и зоогеографии, в частности двухтомника «Птицы России».

С.37. *...шел домой в Гирши...* – Гирши – в конце XIX – начале XX в. московский «Латинский квартал», где жили студенты. Расположены в районе Бронных улиц и переулков (Палашёвские, Козихинские до Садового кольца). Осоргин жил здесь в университетские годы. «Наш мир, наш квартал, наша

жизнь», — писал он о Гиршах (*Осоргин Мих.* Благословенные дни//Русская земля. Париж, 1928).

С. 39. *...грудь австрийского эрцгерцога.* — Наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд и его жена были убиты в г. Сараево 28 июня 1914 г. участниками группы «Молодая Босния» (Г. Принцип и др.), что и послужило поводом для начала первой мировой войны 1914—1918 гг.

С. 40. *...об опытах Майкельсона и Мореля...* — Майкельсон Альберт Абрахам (1852—1931) — американский физик. Проводил эксперименты по определению скорости света; совместно с Э. У. Морли подтвердил с большой точностью независимость скорости света от скорости движения Земли.

С. 46. *...манерками...* — Манерка — походная металлическая фляжка с завинчивающейся крышкой в виде стакана.

С. 47. *В июле была объявлена война.* — 15 (28) июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, 21 июля (3 августа) — Франции, 22 июля (4 августа) Великобритания объявила войну Германии. 10 (23) августа на стороне Антанты вступила в войну Япония.

Осоргин писал в 1940 г., что проклинает всякую войну: «Война не имеет основ в законах природы. Природа оболгана! Жизнь всех живых существ основана на гармонии интересов, на взаимодействии. Дуб не может жить без грибного мицелия, как мицелий не может жить без дуба, растение — без опыляющих его цветы насекомых. Мы говорим о «взаимопожирании» животных и не умеем читать страниц их договора. О, если бы люди пожирали друг друга, — это могло бы быть некоторым оправданием. В мире животных мы знаем только одну войну — муравьев; почти нельзя сомневаться, что будущее человечество организуется по муравьиному образцу: всеобщее счастливое рабство, атрофия мысли и воли, механизация движений, отмена чувств. Мы приближаемся к этому гигантскими шагами» (*Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Париж, 1946).

См.: *Осоргин Мих.* О муравьях // Последние новости. 1930. 10 февраля. № 3246; *Осоргин Мих.* Муравьи // Последние новости. 1938. 15 января. № 6139.

С. 48. Глава *«Время».* — В октябре — ноябре 1924 г., прочитав несколько глав «Сивцева Вражка», Горький писал Осоргину: «Хорошо и — я скажу — даже образцово у Вас то место, где идет ломовик, в балке дома лопнула от сотрясения тонкая ворсинка, упала капля воды, началось гниение, — вот это правдиво, просто — художественно» (Архив М. Горького. Москва).

С. 55. *...курс остеологии...* — Остеология — раздел анатомии, изучающий строение, развитие и изменения костного скелета.

С. 72. *...Устроил юриста Мертваго <...> в Земгор.* — Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный 17 июля 1915 г. для помощи правительству в снабжении русской армии.

С. 74. *Обедал Вася в столовой Троицкой...* — О студенческой столовой Ю. А. Троицкой, находившейся у Никитских ворот (д. 28), см. статью М. А. Осоргина в газ. «Власть народа» (1917. 14 ноября. № 160).

С. 86. *...земнии убо от земли создахомся...* — Из надгробной молитвы «Сам Един еси Бессмертный...» (Псалтирь. Последование по исходе души от тела. Песнь 6. Икос).

С. 91. *...Спасских казарм...* — Спасские казармы располагались на Садовой-Спасской (д. 1). В годы первой мировой войны в Спасских казармах размещался 192-й пехотный запасной полк, солдаты которого участвовали в Февральской и Октябрьской революциях 1917 г.

С. 107. *...Арсенал...* — Здание Арсенала, расположенное в Кремле, предназначалось для хранения оружия, снаряжения и трофеев русской армии.

...Александровское училище — среднее военное учебное заведение для подготовки офицеров пехоты (1863—1917). Находилось на углу Арбатской пл. и ул. Знаменка. В октябрьские дни было основной базой сопротивления, главным оперативным штабом Московского военного округа. Юнкера училища, а также офицеры под руководством Комитета общественной безопасности участвовали в боях против красногвардейцев. Захватили Манеж, 28 октября (10 ноября) овладели Кремлем, заняли Арбат, захватили Брянский (ныне Киевский) вокзал. Разоружены 3 (16) ноября.

С. 108. *...пройтись до Бориса и Глеба...* — Церковь Бориса и Глеба на Поварской (иначе Спаса Нерукотворного), построенная в 1804 г., не сохранилась.

С. 109. *...хомяковский дом хмурился степенно...* — Дом № 7 на Собачьей площадке. Построенный в стиле ампир в начале XIX в., дом пережил пожар 1812 г. Принадлежал писателю А. С. Хомякову. Частыми гостями в этом доме были Гоголь, Аксаковы, Киреевские, Герцен, Грановский, Чаадаев, Языков, Погодин. В 1919 г. в нем был открыт «Бытовой музей 40-х годов». Дом не сохранился.

...обогнуть Николу в Плотниках... — Церковь Николая Чудотворца в Плотниках, построенная при Алексее Михайловиче в 1677 г., находилась в одном из арбатских переулков — Плотниковом. Снесена.

С. 124. *...памятник Скобелеву* — конный памятник генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву (1843—1882), герою русско-

турецкой войны 1877–1878 гг., был установлен в 1912 г. по проекту П. А. Самонова. Снесен в 1918 г. Заменен обелиском Октябрьской революции со статуей Свободы (архитектор Д. П. Осипов, скульптор Н. А. Андреев). Разобран в апреле 1941 г. В 1954 г. на этом месте был открыт памятник Юрию Долгорукому (скульптор С. М. Орлов), заложенный в дни празднования 800-летия Москвы (1947).

С. 132. *...ставил форшлаг* – мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков и предваряющее какой-либо звук мелодии. Немецкое Vorschlag – предудар.

С. 161. *...в Книжной лавке писателей в Леонтьевском переулке.* – См.: *Богомолов Н. А., Шумихин С. В.* Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1922 годов// Ново-Басманная, 19. М.: Художественная литература, 1990.

...«Считание удобное, которым всякий человек, купующий и продающий, удобно изыскать может число всякие вещи». – М., 1682. См.: *Сопиков П. С.* Опыт российской библиографии. Ч. 1. Спб., изд. А. С. Суворина, 1904.

...«Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека, с присовокуплением некоторых наблюдений и ее изображения, изданное профессором Фишером» (М.: Университетская тип., 1815). – Об этой книге см. статью Мих. Осоргина «О степени интереса» (Последние новости. Париж, 1928. 4 декабря. № 2813). Вошла в кн.: *Осоргин М. А.* Заметки старого книгоеда. М.: Книга, 1989.

С. 167. Глава *«В белом платье».* – «Относительно главы о Танюше, которая идет по Москве, Вы ошибаетесь: это не я. Роман был начат в ссылке в Казани, а встретились мы потом. Он даже шутя говорил, что это было предвиденье. Я уже писала Ир. Алекс. <директору Музея А. И. Герцена Ирене Александровне Желваковой>, что ни особнячка, ни профессора, ни Танюши не было, все чистая фантазия. А что я любила Москву до крайности, это верно. Летом даже не хотела уезжать из нее на отдых, так мне было приятно по улицам идти через весь город». (Из письма Т. А. Бакуниной-Осоргиной к И. М. Геника от 19 апреля 1993 г.)

Т. А. Бакунина-Осоргина категорически не соглашалась с предположением, что она была прототипом Танюши в романе «Сивцев Вражек». Но сам Михаил Андреевич в письмах к ней говорил о ее связи с этим образом: «Вы растете на моих глазах, девочка, с которой я сидел рядом в театре на «Турандот», дочь моего друга, мой друг и моя дочь. В повести трех последних лет – моя любимая страничка...» (Из письма Осоргина к Т. А. Бакуниной от 5 февраля 1925 г.); «Скоро печатаю главы романа... В романе фигурирует Танюша, его героиня. А начат был роман еще в Казани; кончится

же неизвестно когда...» (Из письма Осоргина к Т. А. Бакуниной от 21 декабря 1925 г.).

... на Благуше... – Благуша – местность на востоке Москвы, соседствующая с Измайловом. Название ее произошло от Благушенской казенной рощи, вырубленной к середине XIX в. Сохранилось в наименовании ул. Благуша.

С. 169. *... Чернышёвские...* – Малый Чернышёвский пер. – с 1922 г. Елисеевский пер.

... Воскресенские... – Воскресенская пл. – с. 1918 г. пл. Революции.

...Советскую площадь... – Носила такое название с 1918 г. В августе 1919 г. Осоргин, вспоминая о Piazza del Popolo, – площади Народа в Риме, писал: «У нас нет площади Народа. У нас была площадь Скобелевская, ставшая площадью Советской, – до иного мы не додумались. Париж создал площадь Согласия. Но то – Париж. У нас же славный город Рыбинск наименовал лучшую площадь города – площадью Борьбы со Спекуляцией. Мы смеемся, но стыдиться своей глупости еще не научились» (*Осоргин Мих.* Из маленького домика. <Рига>, 1921). С 1994 г. Тверская пл.

С. 170. *...церковь Введения на углу.* – Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, стоявшая на углу Б. Лубянки и Кузнецкого моста, построенная в 1749 г., снесена.

С. 189. Глава *«Жмурики»*. – Интересен отзыв Георгия Иванова о главах «Сивцева Вражка», печатавшихся в «Современных записках» с 1926 по 1928 г. (первая часть романа вышла в 1928 г. отдельным изданием):

«Отрывки из II части «Сивцева Вражка» М. Осоргина, может быть, лучшие страницы из появившихся в печати отрывков этого романа. Они написаны сухо, точно и выразительно. Особенно выразительна в своей страшной простоте глава о «жмуриках». Как всегда у Осоргина, подробности, фон, второстепенные персонажи (например, «суетливая бабенка», для которой закапывать «жмуриков», т. е. расстрелянных, по определению конвойного красноармейца, «любимые занятия») – жизненней центральных фигур. «Приват-доцент философии Астафьев» как-то механичнее всего его окружающего. Но общее впечатление от отрывка, впечатление простоты и жизненности, не оставляет читателя до конца. Но и в этих страницах, как и во всем, что мне довелось читать из «Сивцева Вражка», есть одно свойство, не то что портящее их, но как-то пригнетающее Осоргина к земле, лишающее его роман «крыльев». Это свойство можно бы назвать отсутствием «просвета в вечность», отсутствием того «четвертого измерения», которое сквозит, например, в каждом самом «натуралистическом» описании Бунина и как бы освещает каждую фразу изнутри. Этого у Осоргина нет. Его литературное мастерство – родственно мастерству живописцев-«передвижников». Оно так же «честно» и точно

так же ограничено «непреображенным» бытом» (*Иванов Г. В.* Современные записки. Книга XXXIII// Последние новости. 1927. 15 декабря).

С. 216. *От боярина Кучки...* – Предание, имеющее под собой историческую основу, говорит о том, что на теперешней территории Москвы в XII в. располагались села, принадлежащие боярину С. Кучке. Эти места назывались Кучковым полем (район Лубянки и Сретенки).

...на Житном дворе... – Житный двор находился в начале XVIII в. недалеко от Калужских ворот (ныне – Калужская пл.). О нем напоминает название Житной улицы.

...у Петра и Павла... – Церковь, поставленная в 1700 г. при Петре I у Яузских ворот.

...князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский (ок. 1640 – 1717) – русский государственный деятель, сподвижник Петра I и фактический правитель страны в его отсутствие. Возглавлял Преображенский приказ, ведавший делами гвардии и тайной полиции, был облечен чрезвычайными полномочиями по политическим розыскам (массовые процессы стрельцов, участников Астраханского восстания и др.).

...«у Воскресенья в Кадашах»... – 2-й Кадашевский пер., д. 7. Церковь построена в 1657 г., перестроена в 1687–1718 гг., колокольня возведена в 1695 г.

С. 217. *...одна «на рву»* – собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, в просторечии «Василий Блаженный». Построен Иваном IV в память покорения Казани.

...у великомученицы Варвары... – Церковь построена в 1796 г. на Варварке.

...общество «Якорь»... – В доме на углу Большой Лубянки и Варсонофьевского пер. до революции находилась контора правления страхового общества «Якорь».

С. 218. *...знаменитый Корабль смерти.* – См.: Че-Ка: Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Изд. Центрального бюро партии социалистов-революционеров. Берлин: Орфей, 1922.

С. 219. *... контору Аванесова...* – Варлаам Александрович Аванесов (1884 – 1930) – советский государственный деятель. Член РСДРП с 1903 г. С 1920 г. – один из руководителей ВЧК.

С. 230. *Ни одиннадцатое ноября...* – 11 ноября 1918 г. – день капитуляции Германии.

С. 233. *...Павлов...* – Иван Николаевич Павлов (1872 – 1951) – график. Созданные им циклы гравюр, вошедшие в книги «Уходящая Москва», «Старая Москва», «Московские дворики», «Уголки Москвы», несколько раз переиздавались в конце 1910-х – начале 1920-х гг.

С. 235. *От Владимирских ворот...* – С Никольской на Лубянскую пл. вели Владимирские (или Сретенские) ворота.

С. 236. *Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе.* – В 1920 г. Осоргиным была написана рукописная книга «Копчение академической селедки в самоварной трубе. Осоргинокопчение».

Сильного серого кота отдавали внаймы соседям... – «Как прожить на советское жалование, ни в чем не нуждаясь и не нарушая декретов. Краткие практические рецепты домашнего обихода, как-то: отдача внаймы кошки, помощь правосудию, воспитание мнимого поросенка, разведение бобовых и многое прочее» – так называлась рукописная книга Осоргина (1921).

С. 252. ...*«Лошадь как лошадь»* – название книги В. Г. Шершеневича (М.: Плеяды, 1920).

С. 258. ...*взрыва в Леонтьевском...* – Взрыв в здании МК РКП (б) в Леонтьевском пер. (д. 18) произошел 25 сентября 1919 г. Погибло двенадцать человек, в том числе секретарь МК В. М. Загорский, десятки людей были ранены. Ответственность за этот террористический акт была возложена МЧК на подпольную организацию анархистов и левых эсеров.

С. 269. *Двадцать пятого сентября...* – См. примеч. к с. 258.

С. 275. *«Что было, то и будет...»* – Библия. Ветхий Завет. Книга Екклесиаста, или Проповедника. Гл. 1. Ст. 9.

«Если страдание невыносимо...» – См.: Размышления римского императора Марка Аврелия о том, что важно для самого себя (М.: Посредник, 1911. С. 57).

С. 276. Глава *«Встреча»*. – Горький в письме к Осоргину (март 1928 г.) высказал следующую интересную, но спорную мысль: «...Мне кажется, что Ваш гуманизм исходит из «сострадания» Шопенгауэра, и я думаю, что гуманизм этого буддийского типа совершенно исключает всякий суд и всякое осуждение, а осуждений в книге – много и это очень нарушает ее музыку, ее внутреннюю стройность. В первых ее миниатюрах Вами определенно и настойчиво подчеркнуты стихийные процессы разрушения, направленные против человека и против всяческого «дела рук его», а Ваш милейший орнитолог и все вообще люди, кроме Астафьева, сделаны подчиненными этим процессам. Это – вполне созвучно первым главам и должно бы нерушимо проходить сквозь всю книгу. Астафьева Вы сделали жестко и разрушили его – жестоко; это, мне кажется, тоже противоречит морали «со-страдания». Завалишин показался мне слишком «литературным» (Архив М. Горького. Москва).

ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ

Печатается по первому книжному изданию – Париж: Современные записки. 1931.

В 1928 г. в «Последних новостях» (15–16 дек., № 2824–2825) были опубликованы воспоминания Осоргина о его сестре Ольге Андреевне Ильиной-Разевиг – прототипе героини «Повести о сестре». Отдельные главы повести публиковались в «Последних новостях». 1929. 31 марта. № 2930; 1 окт. № 1929; 7 дек. № 3181. Полностью повесть была опубликована в журнале «Современные записки». Париж. 1930. № 42–43.

С. 303. *...Катюша чувствовала себя Давидом, победившим Голиафа.* – Ветхозаветное предание рассказывает о борьбе израильтян и филистимлян. Юноша-пастух Давид, пришедший в стан израильского царя Саула, поразил великана-филистимлянина Голиафа из пращи и, наступив на него ногой, отрубил ему голову. Гибель силача Голиафа стала причиной победы израильтян – их противники обратились в бегство (Библия. Ветхий Завет. Первая Книга Царств. Гл. 17).

С. 306. *...Фридрих Великий* – Фридрих II (1712–1786) – прусский король с 1740 г.

...Меровинги – первая королевская династия во Франкском государстве (конец V в. – 751).

С. 311. *...«Робинзон в русском лесу»...* – Имеется в виду книга: *Качулова О.* Робинзон в русском лесу. Рассказ для детей. Спб., 1881. 295 с. (4-е изд. – 1900 г.). Об этой книге М. А. Осоргин писал во «Временах»: «Автора не помню, но лучшей детской книги не было никогда написано» (Времена. Париж, 1955).

С. 326. *...апостолы любви «без черемухи».* – Книги С. Малашкина, Л. Гумилевского, П. Романова (в том числе его рассказ «Без черемухи». 1926), посвященные вопросам нового быта и морали, вызвали в 1920-х гг. острую полемику в печати. См. ст. Мих. Осоргина о П. Романове «По полям словесным» (Последние новости. 1927. 15 сент. № 2367).

С. 328. *Подобно Счастливцеву из «Леса» я порою <...> ловил себя на неотступной мысли: «А не повеситься ли?»* – Речь идет о рассказе Счастливцева о жизни у родственников (*Островский А. Н.* Лес. Действ. 2, явл. 2).

С. 329. Глава *«Холодный дом».* – Сестра М. А. Осоргина Ольга Андреевна, как и героиня повести, жила в Сокольниках, на Стромынке, 12, в доме мужа – В. А. Разевига, члена Русского горного общества, владельца торгового дома «М. Франке и К°» (лаки, краски).

С. 346. *...Варя Панина.* – Варвара Васильевна Панина (1872–1911) – русская эстрадная певица, исполнительница романсов, цыганских песен.

С. 351 *...читал в «Русском богатстве» Михайловского...* – Николай Константинович Михайловский (1842–1904) – русский социолог, публицист, литературный критик; народник. Один из редакторов журнала «Русское богатство» (с 1893 г.).

...записался в Румянцевке в очередь на Бельтова и Николая-она... – Псевдонимы Георгия Валентиновича Плеханова (1856 – 1918) и Николая Францевича Даниельсона (1844–1918) – русского экономиста, публициста, одного из теоретиков либерального народничества. Даниельсон перевел на русский язык «Капитал» К. Маркса.

...Петр Струве... – Петр Бернгардович Струве (1870–1944) – русский экономист, философ, историк, публицист.

...Туган-Барановского... – Михаил Иванович Туган-Барановский (1865–1919) – русский экономист, историк. Защитил диссертацию «Промышленные кризисы в современной Англии» (Спб., 1894).

...будучи юристом, я слушал лекции по естествознанию Тимирязева и бродил с группой медиков по клиникам Девичьего поля. – Осоргин вспоминал о своих студенческих годах: «Мы слушали и своих, и «чужих» профессоров, и медик так же неизменно являлся на вступительную лекцию А. Чупрова по политической экономии, как юрист не упускал случая послушать ботаника Тимирязева, орнитолога Мензбира, венеролога Поспелова. Искали общих знаний, а не практической тренировки» (*Осоргин Мих.* Посолонь // Памяти русского студенчества: Сб. воспоминаний. Париж: Свеча, 1934).

...фотография прекрасной, испуганной и негодующей девушки, из рук которой двуглавый орел вырывает книгу законов, – олицетворение Финляндии... – В феврале 1899 г. был издан манифест, в котором царь присвоил себе право издавать для Финляндии законы без согласия Сейма, в компетенцию которого до этого времени входило все законодательство по внутренним делам Финляндии.

С. 356. *...мы решили поселиться на Грачевке...* – Драчевка, она же Грачевка, получила свое название по местности Драчи, известной с XIV в. (здесь жили «драчи», «дравшие» пшено). Эту же местность позднее стали называть и Грачи, так как здесь изготовлялись снаряды для мортир, называвшихся «грачами». Переименована в Трубную в 1907 г.

С. 361. – *«К ногам ее он склонился...»* – Библия. Ветхий Завет. Книга Судей Израилевых. Гл. 5. Ст. 27.

С. 367. *...у нас Кассо!* – Лев Аристидович Кассо (1865–1914) – известный юрист, министр просвещения Российской империи (1910–1914).

С. 394. *...учебника Иловайского.* – Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920) – историк, публицист, автор учебников по русской и всеобщей истории.

РАССКАЗЫ

Три рассказа Осоргина: «Вещи человека», «Портрет матери», «Дневник отца» – печатаются по книге: *Осоргин Мих.* Вещи человека. Париж: Родник, 1929. Два рассказа: «По поводу белой коробочки» и «Что такое любовь» – по книге: *Осоргин Мих.* По поводу белой коробочки: Рассказы. Париж: YMCA-PRESS, 1947. Все остальные рассказы печатаются по кн.: *Осоргин Мих.* Чудо на озере. Париж: Современные записки, 1931.

ЗЕМЛЯ

Впервые: Последние новости. 1929. 1 сентября. № 3084; 7 сентября. № 3090.

С. 399. *«Ибо прах ты – и в прах обратишься».* – Библия. Книга Екклесиаста, или Проповедника. Гл. 12. Ст. 7.

С. 402. *...одни жили близ Мурома...* – Муромская ветвь Осоргиных, к которой по бабке принадлежал и Михаил Андреевич, не входила в число первостепенных родов (род Ильиных был знатнее). Осоргины относились к служилому классу – «классу мыслящему, в среде которого возрождались духовные движения, который одинаково выделял из себя и вольнодумцев, и свободомыслящих, и фанатиков старины» (*Лихачев Н. П.* Грамоты рода Осоргиных. Спб., 1900). Из этого рода происходила причисленная к лику святых Юлиания Лазаревская – одна из героинь работы В. О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» (М., 1915).

С. 407. *...Бархатной книгой...* – Бархатная книга – родословная книга знатных русских боярских и дворянских фамилий. Составлена в 1687 г.

С. 409. *...Юнг-Фрау...* – Юнгфрау – горный массив в Бернских Альпах в Швейцарии.

С. 411. *...от Скутарийского озера...* – Скутарийское озеро – устаревшее итальянское название озера Шкодер – крупнейшего озера Балканского полуострова.

...к Цетинье. – Цетинья – город в Югославии, древняя столица Черногории.

Хребтом Черского в Якутии... – Речь идет о хребте Черского, названном в честь знаменитого исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского (1845–1892).

С. 413. *...Мадонна Доленте...* – Доленте – плачущая, жалующаяся *(ит.)*.

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Впервые: Последние новости. 1927. 12 сентября. № 2364.

Мать М. А. Осоргина – Елена Александровна Савина (1846–1906). В замужестве с 1865 г.

С. 415. *...окончила без шифра...* – Шифр – знак отличия, резной вензель государыни, который получали на выпуске институтки.

С. 417. *...Максимилиан Первый* (1459–1519) – император Священной Римской империи с 1493 г.

ДНЕВНИК ОТЦА

Впервые: Последние новости. 1927. 16 октября. № 2398.

Отец М. А. Осоргина – Андрей Федорович Ильин (1830–1892).

«Таким языком мой отец писал в своем дневнике о моей матери, когда он был еще молод и влюблен в нее. Конечно – наивно писал, может быть, смешно, – но очень искренно. Сейчас, спустя 70 лет, хорошее и полное его чувство передалось мне, снова родилось на свет. А я думал раньше, что не могу чувствовать, как умел он». (Из письма Осоргина Т. А. Бакуниной от 15 января 1928 г.)

ЧАСЫ

Впервые: Последние новости. 1929. 19 июля. № 3040.

ВЕЩИ ЧЕЛОВЕКА

Впервые: Последние новости. 1927. 14 января. № 2123.

МУМКА

Впервые: Последние новости. 1929. 3 февраля. № 2874.

В ЮНОСТИ

Впервые: Последние новости. 1930. 20 апреля. № 3315.

С.450. *...верил <...> в кита, проглотившего Иону...* – Иона – ветхозаветный пророк, получивший от Яхве повеление отправиться в столицу Ассирии Ниневию, чтобы рассказать ее жителям о грядущем возмездии за грехи. Он уклонился от этого и

в наказание попал на море в страшную бурю, его проглотил кит, в чреве которого Иона провел три ночи и три дня. Раскаявшегося грешника кит изверг на землю, и Иона отправился проповедовать в Ниневию (Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Ионы. Гл. 2).

РЫБОЛОВ

Впервые: Последние новости. 1927. 27 октября. № 2409.

С.458. *...жерлица* – закидная уда на щук, в которой крючок прикреплен на проволоке, чтобы щука не перекусила леску.

...перемет – снасть, на которую ловили красную рыбу. Издавна была запрещена, так как портила много рыбы.

БАБУШКА И ВНУЧЕК

Впервые: Последние новости. 1929. 7 января. № 2847.

С.463. *...в руках держала лестовку...* – Ле́стовка – кожаные четки староверов, с кистью кожаных лепестков.

ЧУДО НА ОЗЕРЕ

Впервые: Последние новости. 1928. 9 октября. № 2757.

С.469. *Проф. В. М. Ц-ву.* – Рассказ посвящен геологу Владимиру Михайловичу Цебрикову, другу М. А. Осоргина. Умер в Бельгии.

С.469. *...в местечке Мальчезине...* – Осоргин писал об этом местечке, где «летом образовывался кусочек России»: «Большой отель на самом берегу был полон русскими экскурсантами, посланными сюда московской комиссией образовательных экскурсий. В те года я неизменно ездил на Гарду посмотреть Россию» (*Осоргин Мих.* Очерки современной Италии. М., 1913. С. 26–27).

С. 470. *Я тогда ведал в Италии экскурсиями русских народных учителей...* – См. об этом циклы статей Осоргина, которые публиковались в «Русских ведомостях» (1909. 29 авг. № 198; 1910. 8 авг. № 181; 1911. 22 июля. № 168; 1912. 14 июня. № 136; 24 июня. № 145; 27 июня. № 147; 8 июля. № 157; 15 июля. № 163; 2 авг. № 178; 1913. 14 авг. № 187), а также: «Русские учителя за границей. Изд. Комиссии по организации образовательных экскурсий при Учебном отделе Общества распространения технических знаний» (1910. № 1; 1911. № 2; 1913. № 4; 1914. № 5; 1915. № 6); «Вестник воспитания» (1912. № 7).

ИГРОК

В п е р в ы е: Последние новости. 1927. 5 июня. № 2265.

ТЕРРОРИСТ

В п е р в ы е: Последние новости. 1929. 10 марта. № 2909.

С. 483. *...община может развиваться по Качоровскому...* – Карл Август Романович Качоровский (1870–?) – экономист, статистик. Участвовал в революционном движении с конца 1880-х гг. В 1890-х гг. в ссылке изучал сельское хозяйство и общину. В 1900 г. вышел в свет первый том его труда «Русская община» (в 1906 г. – второй том).

С. 484. *...обсуждали аграрный вопрос по Чернову.* – Виктор Михайлович Чернов (1873–1952) – один из основателей партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении участвовал с конца 1880-х гг. В 1917 г. министр земледелия Временного правительства.

КЛИЕНТ

В п е р в ы е: Последние новости. 1928. 14 января. № 2488.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

В п е р в ы е: Последние новости. 1927. 13 ноября. № 2426.

С. 498. *Она была хористкой оперы Зимина...* – Оперный театр, организованный Сергеем Ивановичем Зиминым (1875–1942), был открыт в Москве в 1904 г.

С. 499. *...артист императорского Большого театра Барцал.* – Антон Иванович Барцал (1897–1927) – певец, профессор Московской консерватории.

С. 500. *...выше Плеваки!* – Федор Никифорович Плевако (1842–1908) – русский юрист, адвокат. Выступал защитником на крупных политических процессах.

С. 502. *Маклаков* Василий Алексеевич, *Тесленко* Николай Васильевич, *Переверзев* Павел Николаевич, *Грузенберг* Семен Осипович, *Слиозберг* Карл Моисеевич – известные московские и петроградские юристы.

С. 503. *...московским Сиротским судом.* – Сиротский суд – городской сословный орган в России в 1775–1911 гг. Ведал опекой над имуществом купцов, мещан, ремесленников и беспоместных личных дворян. Возглавлялся городским головой.

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА ПУШКИНА

Впервые: Последние новости. 1930. 11 июня. № 3367.

С. 505. *Там, где море вечно плещет...* – Стихотворение А. С. Пушкина «Талисман».

С. 508. *...со Страстной площади...* – Страстная пл. – с 1931 г. Пушкинская пл.

МАРИНАД

Впервые: Звено. Париж. 1923. 19 ноября. № 42.

ПЕНСНЕ

Впервые: Дни. Берлин. 1924. 25 декабря. № 650.

С. 514. *...исторический труд Тита Ливия...* – Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – автор «Римской истории от основания города» (из 142 книг сохранилось 35).

ПО ПОВОДУ БЕЛОЙ КОРОБОЧКИ

Впервые: Последние новости. 1938. 23 января. № 6147.

В книге «По поводу белой коробочки» рассказ имеет взятый в скобки подзаголовок «Вместо предисловия».

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Впервые: Последние новости. 1938. 2 января. № 6126.

СОДЕРЖАНИЕ

Осоргин М. А.

О-75 Собрание сочинений. Т.1. Сивцев Вражек: Роман. Повесть о сестре. Рассказы / Составление, предисловие, комментарии О. Ю. Авдеевой. - М.: Моск. рабочий; НПК "Интелвак", 1999. - 542 с.

ISBN 5-239-01984-3 (т.1) ISBN 5-93264-002-2 (т.1)
ISBN 5-239-01983-5 ISBN 5-93264-004-9

В первый том Собрания сочинений Михаила Андреевича Осоргина (1878 - 1942) включен его первый роман "Сивцев Вражек" (1928), изданный, когда его автору исполнилось пятьдесят лет и когда он, вынужденный покинуть Россию, жил в изгнании. В эмиграции написаны и "Повесть о сестре" (1930), и рассказы, вошедшие в этот том.

УДК 82 Осоргин 2
ББК 84 Р

Михаил Андреевич ***ОСОРГИН***

Собрание сочинений

ТОМ 1

Редактор *И. Геника*
Художественный редактор *М. Кудрявцева*
Технический редактор *Е. Молодова*
Корректор *М. Лобанова*

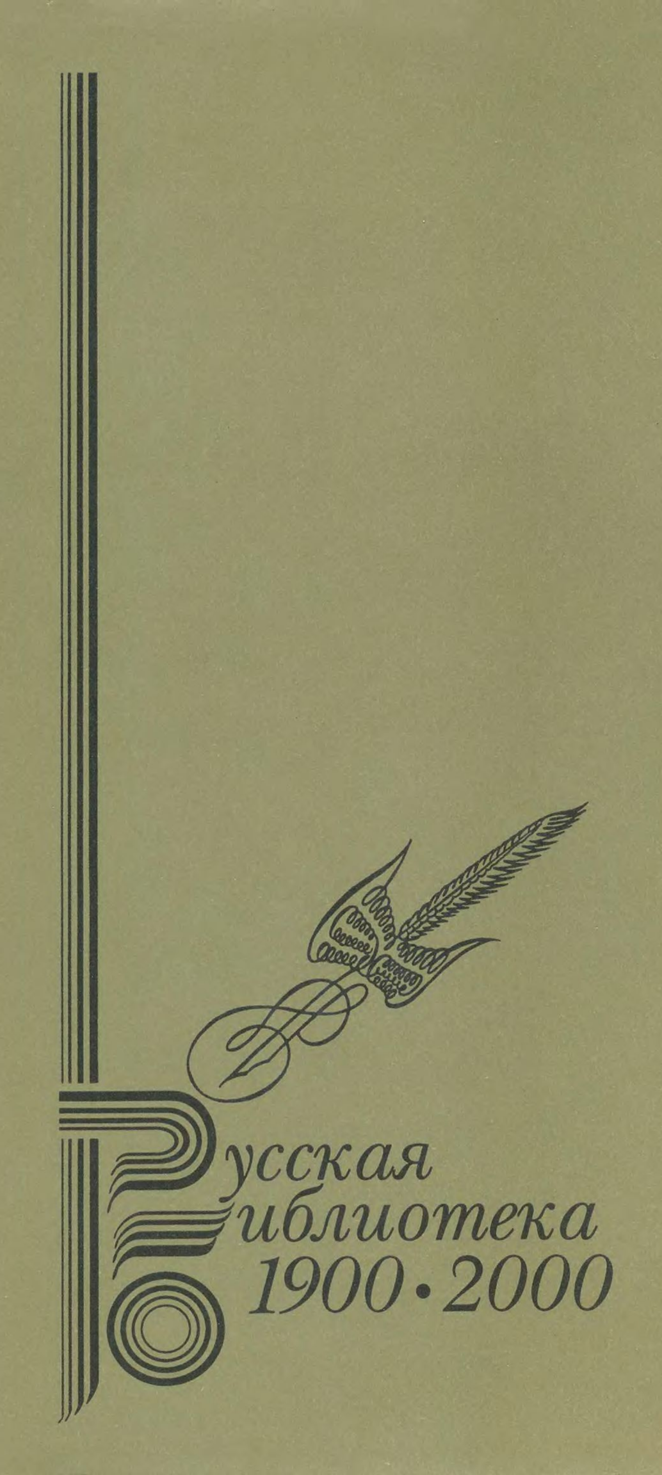
Лицензия № 010184 от 14.04.97. ЛР № 071768 от 15.12.98.
Сдано в набор 27.10.96. Подписано в печать 23.02.99. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Баскервиль". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 31,29. Уч.-изд. л. 34,19. Тираж 5000 экз.
Заказ № 8727.

Издательство "Московский рабочий",
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульв., 8.

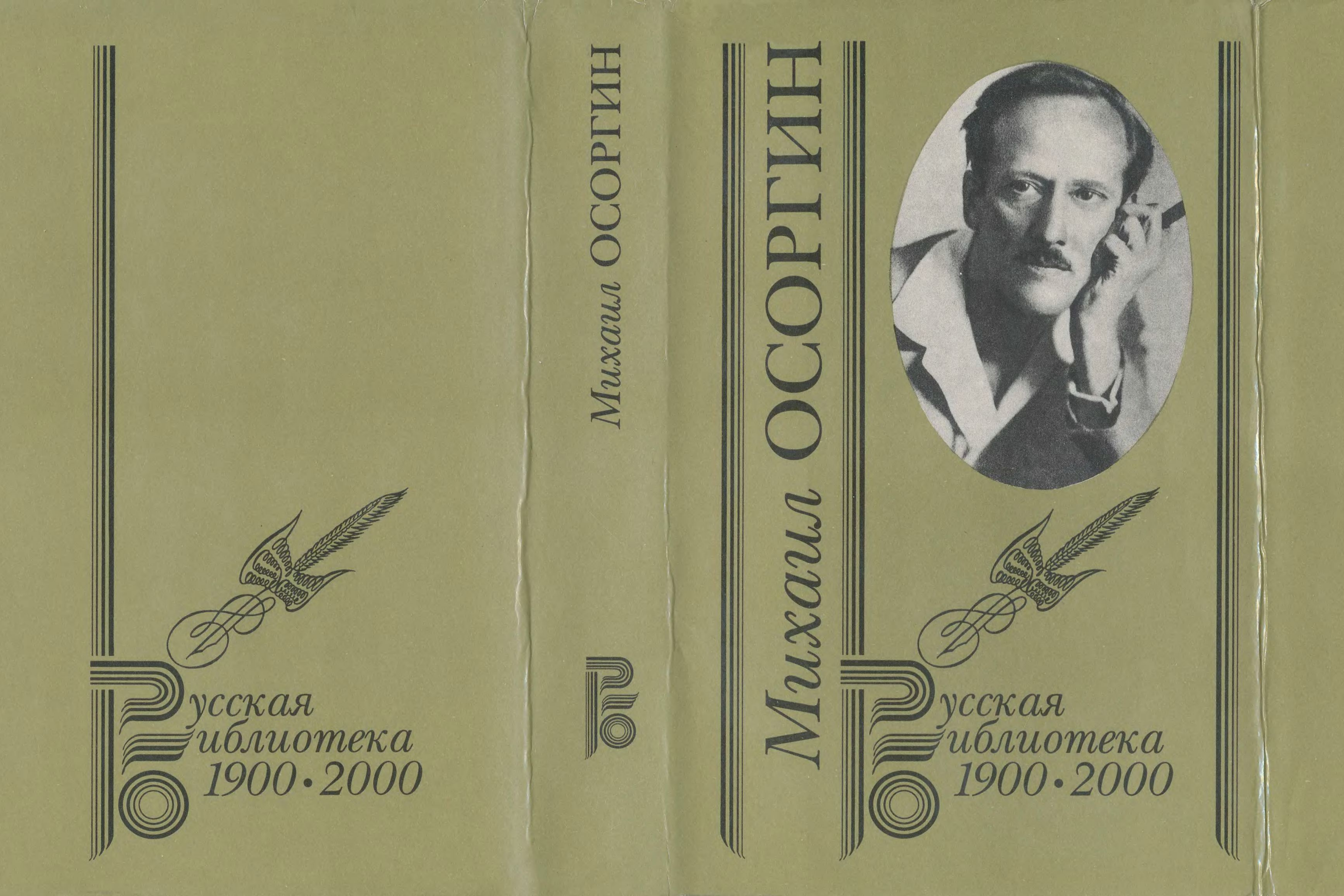
Издательство НПК "Интелвак",
113105, Москва, Нагорный пр., 7. Тел. 127-38-46, факс 127-38-47.

Отпечатано с готового оригинал-макета на Государственном унитарном предприятии Смоленский полиграфический комбинат Государственного комитета Российской Федерации по печати.
214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1.


ISBN 5-93264-002-2
9 785932 640029 >



Русская
Библиотека
1900 • 2000


Русская
библиотека
1900•2000
Михаил ОСОРГИН
Михаил ОСОРГИН
Русская
библиотека
1900•2000